ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

ТОМ ВТОРОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА • 1970

Р 2
П 42

Составитель Борис ЯКОВЛЕВ

Художник В. КРАСНОВСКИЙ

7-3-2
7-70

ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ

Студент университета

ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА

Авторизованный перевод с украинского
Бориса ЯКОВЛЕВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Гудок парохода разбудил Владимира. Он поднялся, выглянул в окошко каюты. И небо и Волга порозовели от утречней зари. На воде виднелись рыбачьи лодки, возле них кружили чайки, голодно и жалобно покрикивая. Громко звучали в чуткой предрассветной тишине голоса грузчиков — с тяжеленными кулями на спине они сновали по узкому, шаткому трапу.

Владимир оглядел каюту. Няня и Оля спали, а мамина койка пустовала. Значит, так и не ложилась! Грустит... А может, плачет, притаившись в укромном уголке, чтобы никто не заметил. Захотелось разыскать маму, но нельзя... нельзя мешать ей оставаться наедине со своими мыслями...

Раздался третий гудок. Грузчики убрали трап. Под колесами парохода забурлила вода, и он, сонливо покачиваясь, отошел от причала. Шел неторопливо, потрескивая и скрипя, словно что-то напряженно рвал да никак не мог разорвать. На дебаркадере Владимир прочитал: «ТЕТЮШИ». До Казани — чуть больше, чем прошли. Видимо, пароход доберется туда к вечеру — воды теперь маловато, уже дважды садились на мель.

Он натянул одеяло на голову — поспать бы еще!

И тут же услыхал: кто-то осторожно открывает дверь. «Это мама! Может, она все-таки ляжет?..»

Владимир боялся пошевельнуться. А мать на цыпочках подошла к Оле, поправила одеяло, села к столику, склонила седую голову на руки. Вот так она всю ночь напролет провела возле отцовского гроба...

Больно было смотреть на нее... Она не плакала, не жаловалась, но Владимир видел, как ей тяжело. Ведь пришлось бросить родной дом, где прожито (и так счастливо!) столько лет. Смерть отца, казнь Саши, ссылка Ани — такие раны не заживают.

Когда умер отец, она сказала:

— И меня, дети, здесь похоро́ните...

Но ни могила отца, ни дом, ни воспоминания — ничто не удержало ее, когда она поняла, что всем этим, таким дорогим, но прошедшим, надо пожертвовать для будущего живых. Перед ней стоял выбор — или бросить все в Симбирске, чтобы сын поступил в Казанский университет, или остаться в своем доме, но лишить Владимира возможности получить высшее образование. И вот они плывут, быть может, навстречу новым невзгодам... Мать тяжело вздохнула, и в тот же миг послышался тихий голос няни:

— Ой, горе мое! Вы, видать, и не ложились?

Мария Александровна не ответила, предостерегающе подняла руку: «Потише, пожалуйста, Варвара Григорьевна! Детей разбудим!»

— И вы поспите, поспите! — зашептала няня.— Сон душу успокоит. А я за всем догляжу...

В каюте все затихло...

На пристани шумела разношерстная и разноязыкая казанская толпа.

— Кого подвезти? Кого подвезти?

— Барабус? Барабус?[1]

— Мама, разреши мне пойти с Володей,— попросила Оля.

— Нет, нет! Я сама... Надо нанять возчиков...

Володя и мама пошли на пристань. Оля видела, как они встретились с Веретенниковыми — тетей Аней и Колей,— и все четверо исчезли за пакгаузами... Потом по трапу пробежали Володя и Коля, а за ними, размахивая связками веревок, спешили два дюжих татарина.

Носильщики уже кончали возиться с поклажей, когда в каюту зашли тетя Аня и мама...

[1] Поедем? *(татарск.)*

Пока выносили вещи, Веретенникова продолжала расспрашивать сестру:

— Так дом ты продала?

— Продала...

— А сколько получила?

— Шесть тысяч...

— Всего-навсего? Почему так мало?

— Больше не давали...

— Зачем было спешить? Пусть бы постоял...

— К сожалению, я не могла так поступить,— не сразу ответила Мария Александровна, и в голосе ее послышалось отчаяние.— Ты даже представить не можешь, как все изменилось после казни Саши... Знакомые,— да что знакомые, казалось, самые лучшие друзья,— не заходили, а встретив на улице, даже не здоровались. Только Вера Васильевна Кашкадамова, Стржалковские да Яковлевы не оставили нас. Ты в письме спрашивала: не жаль ли все бросить? Одно тебе скажу: сейчас чувствую себя, как после похорон Ильи, как после казни Саши... Но надо жить! Володя пойдет в университет. Надеюсь, его все-таки примут. Он золотую медаль получил...

— Ах, какой ты, Володя, молодчина! — воскликнула тетя Аня, протянув руки, чтобы обнять племянника. Владимир покраснел и отступил к двери. Она рассмеялась, ласково потрепала его мягкие волосы и удивленно протянула:

— О-о, да ты стал совсем взрослым!

— И Оля кончила с золотой...

— Боже мой! — всплеснула руками тетя Аня.— Какие у тебя, Маша, умницы дети! Оля, родная ты моя! Куда же ты думаешь поступать? Женские-то курсы закрыли!

— Не знаю...— Оля нахмурила широкие брови, и губы ее, вздрогнув, плотно сомкнулись.

— Да, да!..— сказала тетя Аня.— Сейчас в России девушка, как бы хорошо она ни училась, не может получить высшее образование.

Но вот носильщики забрали последние узлы,— пора было отправляться к тете Ане. А завтра — в Кокушкино! Ну, а потом — снова в Казань. А может, и еще куда-нибудь. Ведь если Володю не примут в университет, они, наверное, в Казани не останутся...

2

Полковник Гангардт решил сделать ход конем. Невзирая на то что казна выплачивала ему пятьсот рублей квартирных, он хотел заполучить столько же и от городской думы. Полковник отлично знал: жандармского ведомства, которому ничего не стоит кого угодно объявить «неблагонадежным», арестовать, выслать, продержать не один месяц в тюрьме без суда и следствия, боятся все. А коли боятся, не посмеют отказать.

Приказав адъютанту никого к нему не пускать, Гангардт вознамерился собственноручно — другие бумаги он только подписывал — сочинить послание думе.

«Я и подведомственные мне офицеры,— старательно выводил полковник,— в силу своих обязанностей, должны располагать вполне благопристойными квартирами для приема высокопоставленных лиц. Но мы не можем этого сделать, поскольку у нас чрезвычайно низки квартирные оклады. Я лично приплачиваю каждый год более четырехсот рублей...»

Это было враньем, но кто проверит? У него все засекречено, все — «государственная тайна».

В кабинет вошел, позванивая шпорами, адъютант — корнет Массалитинов. Гангардт ненавидел корнета, который непрестанно писал начальству анонимные кляузы. А прогнать не мог — ведь того поддерживал сам шеф жандармского корпуса! Однако Гангардт постоянно стремился высмеять и унизить своего «внутреннего врага».

— Ну, что еще? — недовольно нахмурился полковник, хотя по усмешке, подергивавшей верхнюю губу адъютанта с черной, тонкой полоской усиков, понял: какая-то важная новость.— Я же приказал никого не принимать...

— Срочное дело! — доложил Массалитинов, а в серых глазах искрилась неприкрытая наглость: «Знаю, ты готов меня растерзать, да вот, видишь, ни капельки не боюсь».

— В Казань приехала Ульянова.

— Где поселилась?

— На квартире у Веретенниковой.

— Выпроводить на место ссылки!

— Слушаюсь!

Массалитинов четко повернулся, нарочито позванивая шпорами. Он хорошо знал, как это не нравится полковнику.

«Вот мерзавец!» — выругался про себя Гангардт. Закурив, прошелся по ковровой дорожке. Успокоился, только выкурив две папиросы, и снова уселся за стол. Долго не мог вспомнить, что хотел написать дальше. Перечитав несколько раз написанное, наконец-то сосредоточился:

«Доводя до сведения Казанской городской думы, имею честь просить последнюю не отказать в назначении мне, а также жандармским офицерам («Гроша ломаного не дам!» — злорадно подумал он об адъютанте), которые проживают в городе Казани, дополнительных квартирных окладов до действительной надобности, приняв во внимание исключительные условия жандармской службы...»

Полковник еще не дописал неуклюжую, длинную фразу, как в дверях снова показался адъютант.

Корнет молчал, и Гангардт гневно отшвырнул ручку:

— Ну, что опять стряслось?

— Осмелюсь доложить: маленькое недоразумение,— спокойно ответил адъютант.— В Казань приехала не Анна Ульянова, а Мария — ее мать, с семейством. Дворник пьян, ну и... перепутал.

— Не помню случая, чтобы вы хоть когда-нибудь доложили не перепутав! — раздраженно перебил Гангардт.

Встав из-за стола, он подошел к окну. Ему хотелось скрыть раздражение, которое не удалось сдержать в первую минуту.

— Ну, хорошо,— обернувшись, сказал Гангардт,— не Анна, а Мария Ульянова с семейством. Какими еще сведениями вы располагаете об этих гостях?

— Остановились проездом в Кокушкино,— сообщил адъютант.— Дом свой в Симбирске Ульянова продала. Сын ее, кажется, Владимир, намеревается поступить в наш университет. Вот пока и все...

— Так... А сколько здесь перепутано?

Массалитинов не ответил. Только вздрагивала его верхняя губа с тонкими усиками.

— Все это вы доложили со слов дворника? А дворник еще от кого-нибудь услыхал? Ведь не станет же

Ульянова с ним делиться своими намерениями... Прикажите — все проверить! Не знаю, как вы, господин корнет,— помолчав, заметил Гангардт,— а я отнюдь не в восторге от того, что Ульяновы из Симбирска переселились в Казань.

— Совершенно с вами согласен,— сказал адъютант.— Это всем нам лишние хлопоты...

— Ну, а сама Анна Ульянова,— продолжал Гангардт, желая возможно чувствительнее уязвить адъютанта.— Не сбежала еще из Кокушкина?

— Никак нет! Она там, как докладывает исправник, вместе с братом Дмитрием и сестрой Марией...

— Благодарю вас, господин корнет, вы меня успокоили. Буду весьма обязан, если проверите все, что сообщили, и, разумеется, доложите мне.

— Слушаюсь!

— Что же вы стоите? Я вас не задерживаю...

Когда адъютант вышел, даже забыв побренчать шпорами, Гангардт удовлетворенно усмехнулся.

А Массалитинов приставил кулак к багровому носу дворника. Верхняя губа адъютанта дергалась так, что сверкали мелкие зубы.

Растолковав дубине-дворнику, как надлежит следить за новыми квартирантами, корнет повелел:

— Как только выедут,— тотчас сообщи...

— Бегом примчусь! — испуганно пообещал дворник, хлопая красными веками.— Сей же час доложу. Ведь они, слыхать, собираются ехать сегодня. Когда шел к вам, за возчиками посылали...

3

В Кокушкине Ульяновы, как всегда, разместились во флигеле. В доме жили сестры Марии Александровны — Любовь и Анна со своими большими семьями. После смерти сестры Екатерины, в 1883 году, состоялся новый раздел наследства.

Флигель, который отдали Марии Александровне сестры, был достаточно просторным и тихим. Это особенно нравилось Владимиру. Он сразу засел за старые журналы из обширной библиотеки покойного дяди Пономарева, некогда служившего в цензуре.

Мама захворала. Первые дни Аня не разрешала ей даже подниматься с постели. Врач не нашел ничего серьезного.

— Головные боли — от переутомления и нервного напряжения...— заверил он. Но Владимира и Аню это ничуть не успокоило.

Они помнили: доктор, осмотрев больного отца, сказал: «Ничего опасного нет», а через сутки Ильи Николаевича не стало. Мать, как и отец, никогда не хворала, и ее болезнь невольно воскрешала в памяти последние дни жизни отца, нежданную-негаданную смерть...

Мария Александровна, как всегда, ни на что не жаловалась, а только грустно смотрела на всех добрыми карими глазами. Каждое утро пыталась встать с постели. Ей казалось: она совсем-совсем окрепла, но голова так кружилась, что приходилось снова ложиться.

Укутав голову компрессами, обессиленно улыбаясь, она успокаивала детей:

— Ничего, ничего! Еще денек-другой полежу да и встану. Сегодня мне значительно лучше. Митя! Маняша! Идите гулять. А ты, Оля, присмотри за ними. Вчера Митя, мне Ардашевы говорили, заплывал на речке в самые глубокие места.

— Вот и неправда! — негодовал Митя.— Там и всего-то чуть повыше головы...

— Ну, конечно! Для тебя это слишком мелко,— улыбнулась мать и попросила: — Купайся там, где все. Хорошо?

Митя кивнул головой. Ему это совсем не нравилось, но возражать маме он не решился...

— А с Володей повсюду можно купаться? — подумав, спросил он.

— С Володей можно,— разрешила мама.— Ну, идите, идите...

Маняша и Митя выбежали из комнаты, а Мария Александровна призналась старшим:

— Все эти дни меня тревожит мысль — где вещи, которые остались после Саши? На одном свидании он говорил: при аресте забрали фотографию отца. И часы, которые подарил ему папа... Просил, чтобы я все это получила. А я совсем забыла... А вот теперь вспомнила... Грустно мне, что не выполнила его последней воли... И где похоронили его — не знаю...

— Мама, давай отправим в департамент полиции прошение вернуть Сашины вещи,— предложил Володя.

— Так они и вернут! — гневно воскликнула Оля.

— А ты, Аня, как думаешь? — спросила мать.

— Я тоже не уверена в успехе. Что ждать от полиции и жандармов. Но написать все равно надо...

В дверь постучали.

— Войдите! — ответила Аня.

В комнату, перешагнув высокий порог, зашел маленький человечек в полицейской форме, с шашкой на боку. То был здешний урядник. Приложив растопыренную пятерню к потрескавшемуся лакированному козырьку фуражки, поздоровался, внимательно всех оглядел и сказал усмехаясь:

— А к вам, госпожа Ульянова, хе-хе-хе, кажись, гости приехали...

— А что — по инструкции не полагается? — вспыхнула Аня.

— Почему же? Разрешено,— подтянув волочившуюся по полу шашку, сказал урядник так, будто разрешение это целиком зависело лично от него.— Вам самой, госпожа Ульянова, не дозволено куда-нибудь ездить. А к вам в гости — пожалуйста. Но...

— Вам приказано доносить о тех, кто ко мне приезжает...

— Что поделаешь, госпожа Ульянова! Служба-с,— развел урядник короткими ручками. И, раскрыв книгу, которую держал под мышкой, попросил:

— Распишитесь, пожалуйста... Потому как спешу...

— Донести начальству, что ко мне приехали родные? Ведь так?

Урядник переступил с ноги на ногу.

— Что поделаешь, служба...

— Возьмите книгу! — нахмурилась Аня.— Я здесь расписалась за всю неделю сразу...

— Что вы натворили! — перепугался урядник.— Это ж инструкцией запрещено! Вы должны расписываться каждый день. И без разрешения господина исправника никуда отсюда не выезжать...

— Спасибо, господин урядник, за еще одно — и столь основательное! — разъяснение инструкции о моей жизни,— сказала Аня, презрительно взглянув на незадачливого полицейского служаку.— Всего хорошего!

Когда урядник, позабыв даже козырнуть, неуклюже повернулся и вышел, Аня нервно заговорила:

— Видите! Они уже знают: вы приехали. Они приказали следить и за вами! Все это вам придется переносить из-за меня. И так будет и завтра, и послезавтра, и год, и два, и пять...

— Аня, успокойся! Успокойся! — просила Мария Александровна.— Все это не так страшно, как тебе кажется. Правда, Володя?

— Конечно! На меня вся эта дурацкая слежка никак не действует.

— И на меня!— сказала Оля.

— Вот видишь, Аня! Так что ты напрасно за нас волнуешься. Да и вообще, чего это вы все возле меня уселись? — Мария Александровна улыбнулась.— Идите-ка займитесь своими делами...

— Мама, можно я съезжу за врачом? — спросил Владимир.

— Нет, нет! Я совсем хорошо себя чувствую. А тебе пора отправляться в Казань. Ведь, наверно, время сдавать документы в университет...

— Я тоже так думаю... Но разреши сделать это, когда ты подымешься с постели. Неделей раньше — неделей позже,— для подачи документов не имеет никакого значения, а если я тебе понадоблюсь и меня не будет...

— Понимаю, сынок,— ласково сказала Мария Александровна и положила свою ладонь на руку Володи.

Владимир нагнулся и поцеловал руку матери. Глаза ее вспыхнули, лицо прояснилось, она легко вздохнула и повторила:

— Идите, дети, идите! Я и впрямь оживаю.

Оля и Аня прижались к маме, поцеловали ее, и все трое вышли. А Мария Александровна лежала и думала: примут ли Володю в университет? И что делать, если откажут? Опять — Петербург? Снова — к тем же министрам, к тем же директорам департаментов, в приемных которых еще недавно она просиживала сутками, борясь за жизнь Саши? И все оказалось тщетным. Саша был прав, когда говорил: «Все уже решено». Может быть, и с Володей все решено? А Оля? Куда ей теперь деться? Еще недавно были высшие женские курсы, а теперь и они закрыты...

Все эти горькие мысли держали Марию Александ-

ровну в каком-то заколдованном круге. Судьба детей — главное, ради чего она живет на свете. Как не хотелось бы ехать в Петербург! Но знала: понадобится,— опять поедет. Поедет!..

Владимир совсем уж было собрался в Казань, когда в Кокушкино приехал знакомый тети Ани — приват-доцент Казанского университета Георгий Николаевич Шебуев.

Он привез «Волжский Вестник» с правилами приема в университет. Правила состояли из множества параграфов и примечаний к ним. Владимир подчеркнул основное: за год надо выплатить пятьдесят рублей!

Чтобы не нанимать подводу — это стоило недешево! — Володя решил подождать возвращения в Казань Шебуева и уехать вместе с ним.

Шебуев, несколько раз побеседовав с Владимиром, сказал, что ему обязательно надо поступать на физико-математический факультет.

— У вас явно математический склад ума! — говорил Георгий Николаевич.— Уверяю вас, как математик: вы совершите большую ошибку, если не прислушаетесь к моему совету. Да и вообще, когда речь идет о выборе факультета, молодым людям свойственно ошибаться. Потому-то после поступления в университет немало студентов, послушав лекции месяц-другой, идут к ректору с прошением о переводе на другой факультет...

— Думаю, и я поступил бы так же, если бы пошел на математический...— возразил Владимир.

— Извините, а какой же вы избрали?—спросил Шебуев. И по тону вопроса Владимир понял: приват-доцент удивлен.

— Филологический! — выпалил Коля.— Ну, что, угадал? Угадал! Ведь все учителя, говорила тетя Маруся маме, советовали Володе идти именно на филологический факультет...

— Нет, Коля, ты ошибся, что с тобой случается очень редко,— улыбнулся Владимир.— Я подаю документы на юридический и не собираюсь потом переходить на какой-либо иной. Это я решил твердо.

— Но почему же ты выбрал именно этот факультет? — недоумевал Коля.

— Теперь такое время, что нужно изучать право и политическую экономию...

— Понятно! — протянул Коля, хотя, по правде сказать, ничего не понял.

— Время, в которое мы живем, поистине сложное,— после продолжительной паузы заговорил Георгий Николаевич.— И тот, кто хочет отдать себя науке, должен быть подальше от политики..

4

— Володя, не задерживайся в Казани,— наказывала Мария Александровна сыну.— Сдай документы и сразу возвращайся...

— А если скажут, что за ответом надо прийти денька через два или три?

— Тогда, конечно, останься...

— А когда пойдешь по Воскресенской, будь поосторожнее! Ведь по ней лихачи гоняют как одержимые,— заметила тетя Аня.— В газетах только и читаешь: того задавили, этого сбили...

Прибежал, запыхавшись, Коля:

— Володя, ну, что же ты? Георгий Николаевич давно ждет...

— Бегу! Бегу! — торопливо обняв мать, воскликнул Владимир.

— Сынок, проверь еще раз, не забыл ли чего,— напомнила Мария Александровна.

Он ничего не забыл, но, чтобы не огорчать маму, развязал папку с документами и перелистал бумаги.

— Может, ты в Казани сфотографируешься? — попросила мать.— Ведь у нас не осталось ни одной твоей карточки.

— С удовольствием, но ждать, должно быть, придется долго...

— Ты прав. Ну, будь счастлив, сынок!

Коля поехал с Владимиром. В Кокушкине, с мелюзгой, ему было скучно. Да и хотелось посмотреть, как сдают документы. Ведь после окончания гимназии это предстоит и ему. Если, конечно, не повысят плату за учение! И пятьдесят рублей маме трудновато выкроить, а увеличат, скажем, плату до ста, о чем сейчас ходит столько слухов, тогда — прощай университет!..

— Как Володя за последнее время изменился! — сказала Анна Александровна, когда бричка скрылась в овраге.— Он стал таким сдержанным, немногословным, серьезным. Прямо-таки не узнаю его.

— Что ж странного: он, можно считать, уже студент.

— Но ведь ему всего-навсего семнадцать...

— Илья, как ты помнишь, любил повторять: не годы, а жизнь старит людей,— грустно заметила Мария Александровна.— А за последнее время нам довелось столько пережить — и мне, и Володе. Об Ане и не говорю: сама видишь, что с ней сделала тюрьма. Без боли в сердце не могу взглянуть на нее... А жить надо!..

— Надо, Маша...

Сестры тяжело вздохнули. Обе они вдовы, с кучей детей на руках. И Люба — вдова, и у нее много ребятишек. Каждый год занимает хлеб у кокушкинских богатеев — своего не хватает до нового урожая. Екатерина умерла, оставив десять сирот. Могилы, могилы родных и близких окружают их все теснее...

День был солнечный, тихий. Володя не заметил, как домчались до Казани. У Веретенниковых переоделся в гимназическую форму и отправился в университет. Коля увязался за ним. Владимир издали увидал возле колонн университета множество гимназистов. А может, кто-нибудь приехал из Симбирска? Хотя зачем им сюда тащиться. Они могут переслать документы. Это, должно быть, одни казанцы. Не успел Владимир перейти улицу, как парадные двери открылись и вышел швейцар.

Придерживая дверь, он почтительно склонил голову, провожая какое-то высокое начальство. Гимназисты, словно по команде, сняли фуражки. В дверях показался дебелый человечище в мундире действительного статского советника (усы и борода у него были точь-в-точь, как у царя).

Гимназисты робко поклонились.

— Инспектор Потапов! — прошептал Коля и тоже снял фуражку.— Злой, как сто чертей и одна ведьма. Чуть что не так — сразу в карцер, а то и вон из университета...

Инспектор, грозно нахмурив брови, оглядел гимназистов и вопросил:

— Из какой гимназии?

Гимназисты хором что-то залопотали. Владимир не смог разобрать ни слова: через улицу было плохо слышно.

— Хорошо! — благосклоннее, но все же сурово изрек Потапов.— Прошения уже подали?

— Подали...— ответил чей-то тоненький голосок.

— Тогда ждите ответа,— распорядился инспектор и пошел вдоль высоченного забора. За ним — Владимир только сейчас обратил на это внимание — плелся худой, долговязый студент, обреченно опустив голову.

— Уже одного изловил,— сказал Коля, водружая на голову фуражку.— Ну и гадина! Делать ему нечего, вот он и шпионит повсюду. За версту видит, у кого пуговица оторвалась, у кого крючок на воротнике не застегнут... Видал, как он на нас посмотрел?

— Не на нас, а на тебя! — улыбнулся Владимир.

— А почему на меня? — испуганно спросил Коля.

— Наверно, очень удивился: и чего этот гимназер даже на другой стороне улицы торчит без фуражки? Ну пошли, а то и до вечера простоим!

— Куда это вы, господа гимназисты? — спросил швейцар, преграждая дорогу.

— К господину ректору,— ответил Владимир.

— Их превосходительства нет.

— А кому же подать документы для зачисления в университет?

— А-а, вам документы подать!..— поощрительно улыбнулся швейцар.— Так бы и сказали. Документы надо подавать в канцелярию, а не их превосходительству. Идите вот сюда, направо. Вторая дверь — это и есть канцелярыя. Спросите там письмоводителя, он вам все и объяснит.

— Благодарю вас!

— Пожалуйста, сюда! — вышел вперед швейцар, которому понравилась вежливость Владимира.— Вон та дверь, как раз открыта.

В канцелярии собралось немало гимназистов. Они сидели вокруг стола и что-то старательно писали.

Письмоводитель, невысокого роста, лысый, пересмотрел документы Ульянова и произнес тихим голоском:

— Изволили закончить гимназию с золотой медалью?
— Да,— подтвердил Владимир.
— И такой еще юный? — удивленно спросил письмоводитель.— Хорошо-с, очень хорошо-с! А прошение-с у вас не по форме. Вот вам, господин Ульянов, образец, садитесь и пишите. Да пишите внимательно, а то кое-кто умудряется, даже переписывая с готового, наделать ошибок...

Владимир взял образец прошения, обмакнул перо в чернильницу, попробовал, как пишет. Царапает... Пачкает бумагу... Но коли нет ничего получше, придется писать этим:

Его Превосходительству господину Ректору
Императорского Казанского Университета
Окончившего курс в Симбирской
гимназии, сына чиновника,
Владимира Ильина Ульянова

ПРОШЕНИЕ

Желая для продолжения образования поступить в Казанский университет, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжение о принятии меня на первый курс юридического факультета, на основании прилагаемых при сем документов, вместе с копиями с оных, а именно: а) аттестата зрелости, б) метрического свидетельства о времени рождения и крещения, в) формулярного списка о службе отца, г) свидетельства о приписке к призывному участку по отбыванию воинской повинности и д) двух фотографических карточек.

При сем на основании § 100 Высочайше утвержденного устава Императорских Российских Университетов обязуюсь во все время пребывания моего в Университете подчиняться правилам и постановлениям университетским.

Окончивший курс в Симбирской гимназии

Владимир Ульянов

Город Казань. Июля 29 дня 1887 года.

— Вот теперь все как положено! — удовлетворенно сказал письмоводитель, прочитав прошение.— Все, господин Ульянов,— присовокупил он, увидев, что Владимир не собирается уходить.

— Когда можно прийти, чтобы узнать, принят ли я?

— Вы проживаете в Казани?

— Нет, в селе Кокушкине.

— А, знаю, знаю! Это в Лаишевском уезде. Там совсем недавно дотла сгорело село Щекино. От нищих-погорельцев отбоя нет. Ну-с, так... Наведайтесь денька через... три.

Когда Владимир вышел, Коля сказал:

— Поздравляю тебя! Теперь, брат, считай себя студентом!

— Погоди! Пусть сначала примут.

— С золотой медалью, да чтоб не приняли!.. Нет, теперь все: ты — студент!

— Ну, спасибо. Если ректор не примет, утешусь хоть тем, что ты меня зачислил!..

5

Ректор Кремлев еще не вернулся из отпуска. Его обязанности, как старший по чину, исполнял декан медицинского факультета, профессор Щербаков. Но прежде чем документы поступающего попадали к ректору, их просматривал инспектор. Его заботило одно — принять в университет только «благонадежных». Почти что из года в год повторялись выступления студентов — начальство именовало их «студенческими историями». Значит, надлежало приложить все усилия, чтобы набрать таких верноподданных и благонамеренных, которые о политике и не помышляли бы...

— Вот-с, извольте, ваше превосходительство,— письмоводитель вручил инспектору документы Владимира Ульянова.— Окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью.

— Ульянов?

— Да-с! Владимир Ильин Ульянов-с...

— Погодите, погодите!.. Владимир Ильин?.. Не брат ли того Ульянова, которого казнили весной за покушение на государя-императора? Тот ведь тоже учился в Симбирской гимназии. Кстати, Керенский и ему дал золо-

тую медаль. Да-да,— тоже сын покойного директора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова. Я его знавал...

Прочитав копию формулярного списка Ильи Николаевича, Потапов нахмурился:

— У такого отца и такой сын!

— В наше время, ваше превосходительство, все возможно-с...— угождая начальству, заметил письмоводитель.— Не хотят сыновья следовать по стопам родителей...

Потапов пошел с делом Ульянова к Щербакову.

— Не знаю, Арсений Яковлевич, как вы к этому отнесетесь, но я со своей стороны считаю необходимым посоветоваться с помощником попечителя,— сказал инспектор.— А то и с полковником Гангардтом...

— Что ж, это можно сделать,— недовольно ответил Щербаков, полагая, что ректор имеет право принимать в университет и без этакого консилиума с начальством.— Не знаю только, почему мы должны думать, что Владимир Ульянов последует примеру брата, а не отца? Илья Николаевич был тружеником, каких мало. Он и умер так рано потому, что просто-напросто надорвался на службе,— мне рассказывал окружной инспектор Тимофеев. Наконец, мы с вами располагаем множеством примеров, когда братья далеко расходятся во взглядах на жизнь и становятся врагами.

— Что же вы предлагаете? — спросил Потапов.

— Гм!.. Он даже с золотой медалью...— перелистав дело, заметил Щербаков.

— Керенский и того Ульянова, которого казнили, тоже выпустил с золотой медалью,— напомнил Потапов.

— Ну, это свидетельствует лишь о том, что и Александр Ульянов был весьма даровит. Федора Михайловича Керенского я знаю как сугубо требовательного и взыскательного педагога. Он не даст медаль тому, кто ее не заслужил! И ежели Владимиру Ульянову присудили медаль после казни брата, это говорит о многом.

— А именно?

— Видимо, Ульянов — необыкновенно способный юноша. Иначе Керенский не отважился бы наградить его. Давайте, Николай Гаврилович, запросим из гимназии характеристику. Я убежден: Керенский не покривит душой и напишет все что думает. Отказать Ульяно-

ву, располагая этими документами, у нас нет никаких оснований.

— Что ж, характеристику можно запросить,— неохотно согласился Потапов.

— Значит, я так и пишу: «Отсрочить до получения характеристики», — наложил Щербаков резолюцию на прошение Владимира Ульянова.— У вас есть еще замечания или предложения? Какие и относительно кого?

— У остальных все вполне благополучно...

И на всех других прошениях того дня появилась резолюция Щербакова: «Принять». Дела вернулись в канцелярию. А в Симбирск отправили письмо с настоятельной просьбой незамедлительно прислать характеристику Владимира Ульянова. Когда Володя пришел в назначенный день, письмоводитель развел руками: пока, мол, ничего не известно.

Владимиру показалось: старик что-то скрывает. А когда письмоводитель предложил зайти не ранее чем через недельку, юноша окончательно убедился: дело совсем не в том, что ректор не успел ознакомиться с его документами...

Околачиваться неделю в городе, в опустевшей квартире тети Ани не хотелось. Ехать в Кокушкино — тоже. Мама сразу встревожится. Ведь директор департамента полиции Дурново сказал, чтоб она и не думала посылать сына в столичные университеты. Туда ему, мол, дорога закрыта навсегда. Горько это, ну да ничего! Не примут в России, поедет за границу. Немецкий язык он знает неплохо, поступит в Берлинский университет...

Володя все-таки вернулся в Кокушкино. И от матери, конечно, ничего не скрыл, совсем не умея говорить неправду. Мать, как всегда, встретила его сообщение спокойно. Но Владимир видел — спокойствие это только внешнее. Мать стала еще задумчивее. Она почти не улыбалась, даже когда возле нее без умолку щебетала Маняша. А если и улыбалась, то как-то вымученно, словно превозмогая боль.

«Примут или не примут» — дамокловым мечом висело над Владимиром, и он, читая книги, с трудом заставлял себя сосредоточиться. А дни тянулись мучительно долго. Неделе, казалось, и конца не будет...

6

Характеристика Владимира Ульянова пришла из Симбирска довольно быстро. Письмоводитель понес ее профессору Щербакову. Тот, не читая, спросил:

— Господину инспектору показывали?

— Нет, ваше превосходительство!

— Тогда, пожалуйста, попросите его зайти ко мне.

Пока письмоводитель ходил за инспектором, Щербаков прочитал характеристику. Директор гимназии отлично аттестует Владимира Ульянова...

Щербаков считал, что университет существует для науки, а не для политики. Он сожалел, когда талантливым юношам не давали получить образование из-за того, что кому-то они показались «неблагонадежными». А может, именно среди «неблагонадежных» и найдутся новые Лобачевские и Бутлеровы? Ведь посредственность не привлекает к себе внимания, ничем не выделяясь. А талант всегда на виду. Поэтому к нему присматриваются пристальней. Ему завидуют бездарности...

Пришел Потапов.

— Извините, Николай Гаврилович, что я вас потревожил,— сказал Щербаков.— Садитесь, пожалуйста,— и, подождав, пока Потапов, тяжело ступая штиблетами, дошел до кресла, продолжал:— Как вы помните, мы запросили характеристику Владимиру Ульянову. И вот мы ее получили. Она невелика. Если не возражаете, я прочту вслух...

— Прошу, Арсений Яковлевич,— сухо ответил инспектор. По тону и настроению Щербакова он понял: характеристика вполне удовлетворительна.— Прошу вас...

— Так-с... Вот что пишет Керенский,— Щербаков нацепил на мясистый длинный нос очки в золотой оправе, откашлялся и прочитал:

— «Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению».— Щербаков взглянул поверх очков на Потапова. Но тот ничего не сказал, и Щербаков продолжал читать:

— «Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или

делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение».

— Что-то уж слишком идеальным изображает этого гимназиста Керенский! — усмехнулся Потапов.

— Вам так кажется? — спросил Щербаков, не скрывая, как его удивляет такое замечание.

— Меня настораживает, когда кого-нибудь чрезмерно расхваливают. В преувеличении всегда есть некий умысел...

— Теоретически это вполне возможно. Извините, Николай Гаврилович, здесь есть еще несколько слов: «За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения свои на воспитании детей. В основе воспитания лежала религия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости и чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами... и вообще нелюдимости...»

— Хоть одну негативную черту нашел! — сыронизировал инспектор.

— А мне кажется, в замкнутости и нелюдимости господин Керенский видит именно позитивную черту характера, подчеркивая, что Ульянов не мог принимать участие в каких-либо противозаконных кружках. Я считаю, это говорит о многом. Керенский добавляет: «Мать Ульянова не намерена оставлять сына без себя во все время обучения его в Университете». Это очень важно! Как вы отлично знаете, Николай Гаврилович, в беспорядках участвуют преимущественно студенты, которые живут без родителей, под влиянием всяких темных личностей, а не семьи.— Щербаков снял очки, вытер платком широкую лысину и сказал, заметив, что Потапов отнюдь не намерен высказаться первым:

— Полагаю, золотая медаль и эта характеристика дают все основания принять Ульянова в университет.

— Ну что ж, это ваше, Арсений Яковлевич, право,— сухо заметил Потапов.— Но я бы на вашем месте все-таки посоветовался с помощником попечителя...

— Хорошо! Подумаю об этом,— пообещал Щербаков, откладывая в сторону дело Ульянова.

Попечитель учебного округа Масленников был, как и ректор, в отпуске. Еще в мае он выехал куда-то «на воды» лечить почки и до сих пор не вернулся. Всеми делами ведал его помощник Малиновский. К нему и отправился Щербаков с делом Ульянова. Очень не хотелось идти к начальству, но Щербаков знал: если не он, это обязательно сделает Потапов. А инспектор считал наилучшими студентами тех, кто сидел на лекциях тише воды, ниже травы, четко козырял, шпионил за товарищами. Потапов отнюдь не стремился укомплектовать университет по-настоящему одаренными молодыми людьми.

Когда об этом заходила речь, он твердил одно:

— Государю нужны верноподданные слуги, а не ученые крамольники!

Малиновский хорошо знал покойного Илью Николаевича, глубоко уважал его. А потому, выслушав Щербакова, заявил:

— Конечно, Арсений Яковлевич, надо принять! Ведь нет никаких формальных оснований для отказа. И вообще: почему брат должен отвечать за преступления брата? Вы совершенно справедливо говорите: есть все основания думать,— этот сын пойдет по стопам отца.

И на прошении Владимира Ульянова появилась еще одна резолюция: «Принять».

Произошло это 13 августа 1887 года. Давно в семье Ульяновых не было такой радости.

Лишь няня, вздохнув, суеверно сказала:

— Все слава богу! Одно худо — тринадцатое число. Ну что им стоило принять Володю деньком раньше или позже...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Весной 1887 года, когда охранка раскрыла новое покушение на царя, министр просвещения Делянов приготовился к отставке. Ведь вожаками заговора оказались студенты Ульянов и Шевырев. И почти вся группа, которую они возглавляли, состояла из студентов Петербургского университета. Александр III так разгневался на

Делянова, что, не заступись за него всесильный обер-прокурор синода Победоносцев, Ивану Давыдовичу ни за что не усидеть бы в министерском кресле...

Но буря пронеслась, и Делянов приказал, дабы хоть как-нибудь оправдаться в глазах царя, очистить университеты от «неблагонадежных элементов». Боясь, чтобы студенты, как это они всегда делали, не поднялись на защиту товарищей, чистку провели, когда занятия в университете закончились. Документы исключенным вручали через полицию, не поясняя, за какие прегрешения они отчислены. Да никаких причин, собственно говоря, и не было! Просто изгоняли всех, кто хоть чем-нибудь не угодил инспекции.

И вот сейчас, с приближением нового учебного года, Делянов тревожился: не поднимутся ли студенты на защиту однокашников? К тому же есть и еще повод для недовольства студентов — плату за учение повысили до пятидесяти рублей. Сделано это прежде всего, чтобы выжить из университетов бедноту. Среди нее особенно много неблагонадежных. Это, разумеется, подольет масла в огонь, коль он вспыхнет...

Делянов тяжело вздохнул: «Ох уж эти распроклятые университеты! Никак не приберешь к рукам. Сколько сил потрачено на то, чтобы провести новый устав. Он-то, казалось, удержит студентов в покорности. И вот — при новом-то уставе! — раскрыто покушение на царя! Кружки землячеств, сколько их ни запрещали, продолжают существовать и по-прежнему сеют среди студентов крамолу. Ведь и процесс участников покушения на государя доказал: именно из землячеств пополняются ряды террористов. Вот кошмар, вот зло, против которого, кажется, испробованы все способы борьбы, а ничего не помогает! И сидеть сложа руки нельзя. Надо что-то придумать. Может, взять со всех студентов подписку, что они не будут участвовать в запрещенных кружках?..

Мысль эта показалась Делянову небесплодной, и он отправился к Победоносцеву — посоветоваться. Обер-прокурор синода довольно скептически отнесся к задуманному министром «мероприятию». По его просвещенному мнению, современная молодежь настолько развращена и заражена нигилизмом, что ни на какие ее подписки полагаться немыслимо.

Тогда Делянов выдвинул новый аргумент: с помощью

подписки, возможно, посчастливится выявить самых неблагонадежных. Руководители всех этих неуловимых землячеств станут агитировать студентов, призывая не подписывать обязательств, и тем выдадут себя. Их незамедлительно исключат из университетов. А землячества, потеряв руководителей, распадутся. Этот замысел Победоносцев одобрил и посоветовал доложить государю.

От Победоносцева Делянов поехал к министру внуттренних дел графу Толстому, без одобрения которого тоже ничего не предпринимал...

Граф Толстой обитал на Аптекарском острове, на даче министерства внутренних дел.

Истощенный, мертвенно-бледный, он встретил Делянова мрачно. Моросил дождь, и у графа опять ломило суставы. Портило настроение и то, что после казни Ульянова, Шевырева, Андреюшкина, Генералова и Осипанова он получил немало писем, сообщавших, что террористы готовят покушение на него...

Граф уверял царя: «Все нигилисты пойманы», но сам предпочитал отсиживаться под охраной. А если и выходил из своего добровольного заключения, то не иначе как в сопровождении целой роты жандармов и всяческих «ангелов-хранителей».

— Возле Иисуса Христа меньше ангелов,— говорили тогда,— чем вокруг графа Толстого агентов.

— Вы полагаете, Иван Давыдович, это поможет уничтожить землячества? — желчно спросил граф.

— А что же делать? — ответил вопросом на вопрос Делянов. Он знал: Толстой хоть иронизирует над его предложениями, а сам точно так же ничего другого придумать не может.

— Ну что ж, собирайте автографы студентов,— помигав желтыми слезившимися глазами, сказал граф.— Возможно, когда-нибудь и пригодятся...

И вот Делянов едет в Гатчину. Сегодня день его доклада царю. Настроение у министра прескверное. После университетского устава, который он проталкивал четыре года, Делянов решил приняться за реформу реальных училищ. Цель реформы: закрыть двери высших учебных заведений перед детьми бедняков. Но проект составили так сложно и путано, что царь не понял, о чем там говорится, и наложил резолюцию, не слишком грамотную,

как всё, выходившее из-под императорского пера, зато достаточно выразительную:

«Проект оставить без последствий».

Это была оплеуха, но — царская! И за нее Делянов должен был еще и премного благодарить. Надо все переделывать заново... Да как? В старой голове министра не было ни одной удачной мысли.

В Гатчину Делянов приехал на час раньше — осведомиться у начальника царской охраны генерала Черевина, в каком настроении изволит пребывать его величество.

Черевин, несмотря на поздний час, только что встал. В одном халате он расхаживал по спальне. Одежда была раскидана на стульях. На столе чай, водка, с которой Черевин не расставался, закуска.

Генерал пригласил Делянова к столу. Тот отказался, сославшись на утренний завтрак.

— Может, водочки выпьете? — усмехаясь, спросил Черевин, отлично зная, что министр не пьет.

— Куда там! — махнул рукой Иван Давыдович.— Я позабыл, как она и пахнет! Вот два месяца жую пилюли,— он достал из кармана жилетки одну, бросил в рот, проглотил и сказал: — Земляк-армянин прислал. Но все равно не помогают...

— А что у вас? — спросил Черевин, уплетая за обе щеки.— Несварение желудка? От этой болезни одно лекарство — водка с перцем. Вчера мы ездили на охоту, так я и государя соблазнил выпить перцовочки. Лихая была охота: государь двух волков убил. Я — тоже двух. А великий князь Владимир — одного. Вернулись поздно — малость и проспал...

— Петр Александрович, скажите откровенно,— попросил Делянов, вкрадчиво улыбаясь.— Государь изволил сильно на меня гневаться, когда начертал резолюцию на проекте о реальных училищах?

— А вы, Иван Давыдович, сами его спросите,— опрокинув еще рюмку водки, посоветовал Черевин и так поморщился, что трудно было разобрать — от водки или от смеха, который его душил.— Может, государь вам и жет...

Это Делянову совсем не понравилось. Коли Черевин говорит: «может», значит, твердо знает, что будет. Так и случилось. Царь долго и сердито рассуждал, какими

ему хочется видеть реальные училища. Он не высказал ни одной своей мысли, а лишь повторял то, что говорил Делянову, прочитав его проект, Победоносцев, однако министр все записывал дрожащей рукой. На его совиной физиономии сияла улыбка.

Когда царь закончил, Делянов облегченно вздохнул: буря миновала. И точно: Александр молча выслушал доклад. Со всем, что предлагал министр, согласился. Спросил только:

— Вы посоветовались с графом Толстым?

— Да, ваше величество! И граф Толстой, и Константин Петрович Победоносцев весьма одобрительно отнеслись к моим предложениям. Полагаю, ваше величество, взять подписки у студентов в первые же дни занятий.— В некоторых университетах, например в Казанском, скоро торжественные акты. А на актах, как правило, и начинаются студенческие истории.

— Вполне справедливо,— царь погладил бороду-лопату и, не сдержавшись, зевнул. Достал носовой платок, высморкался и спросил, сонно моргая серо-водянистыми глазами.— А кружки землячеств, кажется, все-таки существуют в университетах?

— Да, ваше величество! — покаянно вздохнул Делянов.— Надеюсь, в самое ближайшее время мы объединенными усилиями разгоним землячества, в которых крамола, как вы однажды изволили истинно заметить, вербует себе сторонников. Первым мероприятием в этом направлении и будет взятие подписки, на проведение которой вы дали свое высокое согласие...

Царь встал. Это означало — аудиенция закончена. Делянов поднялся и так низко поклонился, что царь увидел его лысину и багровый от напряжения затылок, весь в старческих морщинах. До середины кабинета Делянов пятился, а потом, еще раз поклонившись, хотя царь уже стоял у окна и на него не смотрел, повернулся и засеменил к дверям. Ступал он так, словно нес в руках до краев наполненный чернилами стакан и боялся капнуть на ковер царского кабинета. В дверях оглянулся, еще раз поклонился и осторожно-осторожно, будто царь засыпал, прикрыл створки...

За неделю до начала занятий в «Волжском Вестнике» Владимир прочитал, что министр просвещения приказал взять от всех студентов подписку о неучастии

в каких бы то ни было недозволенных начальством кружках. Особенно это относилось к запрещенным землячествам. Предпринимается сие, сообщалось в газете, дабы политические агитаторы не втягивали легкомысленную молодежь в преступные сообщества, используя ее в своих противоправительственных целях.

В то самое время, когда Владимир читал это сообщение, инспектор Потапов получил из типографии печатные бланки расписок.

Текст их был таков:

> «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь не состоять членом и не принимать участия в каких-либо обществах, как, например, землячествах и т. п., а равно не вступать членом даже в дозволенные законом общества без разрешения на то, в каждом отдельном случае, ближайшего начальства».

Студентам оставалось только поставить свою подпись...

2

На другой день после того, как сына приняли в университет, Мария Александровна собралась в Казань. С ней поехали Владимир и Оля, а Маняша и Митя остались с няней и Анной.

С завистью смотрела Аня на уезжающих: ей еще пять лет, будто в тюрьме — только без решёток да часовых — надо провести в этом флигеле...

Приехав в Казань, Мария Александровна принялась искать жилье. Владимир просмотрел в библиотеке последние номера газет и выписал адреса. Оля и мама пошли осматривать квартиры, а Володя — заказывать студенческую форму. Не любил он всяческих форм, был рад-радешенек, сняв гимназический китель. Но что поделаешь — без формы в университет не пустят! Даже предупредили: за студенческими билетами надо прийти при полном параде, потому что их будет выдавать сам господин инспектор. Он же обревизует и форму. А дело с приемом так затянулось, что времени на шитье оставалось совсем мало. Пришлось переплатить, чтобы получить к сроку.

В этот день Оля провожала брата. Владимир чувствовал себя чуточку неловко перед сестрой: он — студент, а для нее двери университета закрыты навсегда.

— Ничего, Оля! — Пытаясь подбодрить сестру, говорил Владимир.— Год поучишься в музыкальной школе, а потом поедешь за границу. Тебе легко даются языки...

— Все это так, но откуда мама возьмет денег, чтобы меня отправить? — грустно спросила Оля.

— А я начну давать уроки — маме будет полегче. Помнишь, папа рассказывал, как он учился? Одними только уроками и зарабатывал на хлеб. Почему же я не могу делать то же самое? Обязательно, немедленно стану искать уроки... Ну что же — подождешь меня или нет? — подойдя к университету, спросил Володя.

— А ты долго там пробудешь?

— Не знаю... Получить билет — на это хватит и минуты. А вот сколько часов господину инспектору будет благоугодно читать всяческие инструкции да нотации, одному богу известно. Видел я кое-кого из студентов-земляков, все, как один, ругают инспектора последними словами...

— Тогда пойду домой,— Оля взглянула большими, всегда лучистыми, а сейчас погасшими глазами на дубовые двери здания.— Сегодня мы с мамой должны посмотреть еще две квартиры. Ну, Володя,— пусть тебе повезет! — воскликнула Оля, поборов минутную грусть.— Обняла бы тебя вот тут, на пороге «храма науки», да знаю, ты этого не любишь!..

Владимир взбежал по ступеням и оглянулся. Оля махала рукой, улыбалась, а по щекам катились слезы. Опасаясь, чтобы брат не вернулся, не стал ее успокаивать, она не пошла, а побежала, исчезнув за углом дома.

Слезы сестры взволновали Владимира. Несколько минут он ходил вдоль колонн и не мог успокоиться — жаль было Олю... Ведь она очень способна и дьявольски трудолюбива!..

— Будь прокляты все эти порядки! — сказал Володя.

— Ульянов, кого это вы проклинаете? — послышался вдруг чей-то голос.— Не узнаете?

Перед Владимиром стоял высокий чернобровый, черноусый студент и, сдержанно улыбаясь, пристально смотрел на него голубыми глазами.

— Полянский! — обрадовался Владимир, узнав земляка в студенте, который походил на цыгана.— Здравствуйте, Сергей.

— Вас можно поздравить? — спросил Полянский, прищурив голубые глаза, отчего они сразу потемнели.

— Как видите,— раскинул руки Владимир.— Обмундирован!

— Рад за вас! — Полянский крепко пожал ему руку и спросил: — А кого еще из наших приняли?

— На юридический поступили Андреев, Гнедков, Забусов, Писарев, Разумов. Списки других факультетов я не просматривал. И никого не видел, жил в Кокушкине и только недавно приехал в Казань. А с Симбирском мы распрощались навсегда...

— Слышал, слышал,— нахмурил цыганские брови Полянский.—И считаю, правильно сделали. Входной билет получили?

— Вот иду.

— Я буду в библиотеке. Если располагаете временем, загляните туда. Познакомлю вас со своими друзьями.

— Обязательно зайду! — пообещал Владимир. Полянский был на четвертом курсе — от него можно было многое узнать об университетских порядках...

В канцелярии инспектора уже собралось около двадцати новичков. Все выстроились вдоль стены, словно солдаты, перед которыми вот-вот появится генерал. Владимиру тоже пришлось встать в эту шеренгу. Он хотел было остаться возле дверей, но педель, сутулый, длиннорукий, с ужасно озабоченным видом бросился к нему, испуганно зашептав:

— Что вы делаете! Здесь нельзя стоять! Извольте пройти вон туда,— побежал в противоположный угол комнаты, ткнул в пол пальцем.— Извольте встать вот тут! И подравняйтесь, подравняйтесь, господа, а то их превосходительство не любят, когда нет порядку-с...

Почти час пришлось простоять в приемной, пока к новичкам в сопровождении секретаря соизволил выйти инспектор.

Теперь Владимир мог рассмотреть его подробно. Широкие брови сурово нахмурены, а краснощекое, курносое лицо простовато. И если бы не новый — с иголочки — мундир действительного статского советника, Потапова

можно было бы принять за преуспевающего купчину. Мундир инспектора украшала широкая лента, а слева красовался новехонький орден.

Инспектор поздоровался так, словно перед ним стояли солдаты. В ответ послышалось нескладное (Владимир промолчал) бормотание, от которого инспектор поморщился, как от зубной боли.

— Господа! — начальственно возвышая голос, заговорил инспектор.— Сегодня вы получите входные билеты, заплатите двадцать пять рублей за первое полугодие и станете полноправными студентами нашего университета. Тот, кто не заплатит денег до начала занятий, на лекции допускаться не будет. Предупреждаю: вы не имеете права передавать билеты другим лицам. Тот, кто это сделает, будет сурово наказан. Это первое, что я должен сказать. Далее. Студент обязан отдавать честь, прикладывая вот так,— инспектор показал, как именно,— руку к козырьку фуражки. Кому и как отдавать честь? Императору, императрице, наследнику, великим князьям, великим княгиням и великим княжнам честь должно отдавать, становясь во фронт. Министру просвещения, товарищу министра, попечителю, помощнику попечителя, генерал-губернатору, губернатору, градоначальнику, городскому архиерею и всем своим прямым начальникам и профессорам, не становясь во фронт. Правила будут вывешены на доске объявлений. Прошу заучить и неукоснительно исполнять. Тому, кто уклонится от отдачи чести, доведется посидеть в карцере, а возможно, и совсем распрощаться с университетом...

Наступило долгое, гнетущее молчание.

— Вопросы есть? — нарушил его инспектор.

Все безмолвствовали. Сказанное Потаповым не нуждалось в разъяснениях. В гимназии хоть и не отдавали чести, а только кланялись и снимали фуражки, хорошо знали, как инспектор может наказать за непочтительность. Но тогда думалось: «Вот закончим гимназию, станем свободными людьми. В университете совсем другие порядки». А оказывается, здесь еще строже... Вот тебе и «храм науки»! Вот и «свобода», о которой они так мечтали.

Владимир знал об университетских порядках из рассказов Александра и ничему не удивлялся. Кроме карцера, инспектора, субинспектора и педелей, которые бу-

дут следить за каждым шагом, в университете есть то, чего в гимназии не было и в помине: профессора; лекции, а не уроки; большая библиотека...

— Если вопросов нет, попрошу называть факультет и фамилию,— подойдя к столику, за которым сидел секретарь с входными билетами, опять заговорил инспектор.— Прошу начинать от дверей!

Когда Владимир назвал свою фамилию, инспектор посмотрел на него пристальнее, чем на других, и переспросил, будто не дослышав:

— Ульянов?

— Да.

Инспектор взял билет из рук секретаря, повертел, словно раздумывая, отдавать или не отдавать, и наконец сказал:

— Возьмите, Ульянов!..

— Благодарю, господин инспектор,— произнес Владимир, смотря прямо в глаза Потапову.— Я могу идти?

— Да, идите! — разрешил инспектор, подумав: «Похож на отца. Даже картавит совсем как Илья Николаевич. Ну что же, может, и впрямь этот пойдет по стопам отца, а не брата».

3

Мария Александровна искала квартиру в том же квартале, где был дом сестры Анны. Ей частенько придется ездить в Кокушкино, чтобы хоть как-нибудь скрасить жизнь Ане. А сестра, если удастся найти квартиру где-нибудь поближе, конечно, позаботится о тех детях, которые будут жить в городе. Правда, одно неудобно — далековато до университета. Володя проверил — идти ровно полчаса. Впрочем, он уверял: это чудесно! Пока, мол, дойдешь, хорошенечко прогуляешься! Просил искать квартиру именно здесь. Ходил по улицам, читал на домах объявления о сдаче. Но ничего подходящего не попадалось. И только в конце августа Ульяновы переехали в дом, где жила сестра Марии Александровны — Любовь Ардашева-Пономарева. Две комнаты первого этажа они сняли у хозяйки дома Ростовой, а еще одну уступили Ардашевы, занимавшие весь второй этаж. Комнаты были тесноваты, и Мария Александровна продолжала искать квартиру попросторней. Пока же решили, что Володя привезет из Кокушкина Митю, которому

надо поступать в пятый класс гимназии, а Варвара Григорьевна с Маняшей поживут в деревне.

В тот самый день, когда Владимир получал входной билет, он записался и на лекции. Историю русского права и энциклопедию права читал профессор Загоскин. Он считался (об этом говорил Шебуев) одним из лучших преподавателей университета. На историю римского права Владимир записался к профессору Дормидонтову.

Немецким и французским Владимир неплохо овладел в гимназические годы. Поэтому здесь решил изучить английский.

Записался к преподавателю Орлову, которого хвалил Полянский. Ну, пришлось записаться и к протоиерею Миловидову на лекции по богословию,— эта «наука» была обязательной для всех факультетов. Четыре часа в неделю!.. И в гимназии надоел «закон божий», а тут придется снова его пережевывать. Хотя лекций в первом семестре было немного, но расписание составили так, что в университет надлежало ходить ежедневно.

Возле расписания занятий висело объявление:

> Имею честь уведомить господ профессоров и преподавателей, что 1-го будущего сентября профессор православного богословия, протоиерей Н. К. Миловидов в актовом зале университета от 10 до 11 часов утра имеет прочесть вступительную лекцию по богословию для господ студентов первого семестра всех факультетов.

Объявление подписал профессор Щербаков. Он продолжал исполнять обязанности ректора.

Значит, и профессорам придется внимать отцу протоиерею! А зачем? И профессора, и студенты заранее знают, что скажет Миловидов. Но так уж заведено: все должны отдать дань «святому» вранью. Всем известно,— это напрасная трата времени, надругательство над совестью, а идут, сидят, делают вид, что внимательно слушают. И ему придется пойти слушать болтовню протоиерея: пропустить первую лекцию — да еще по богословию! — означало сразу нажить кучу неприятностей.

Вернувшись из университета, Владимир отправился в Кокушкино. Он рассказал старшей сестре о первых впе-

чатлениях от университета и особенно от встречи с инспектором.

— Казарма, а не «храм науки»! — как всегда горячо, возмущался Владимир.— Говорят, педеля выискивают, как псы, не скрываясь, подслушивают, о чем говорят студенты. Это шпионство так мерзко — слов не хватает! Дали мне постоянный номер на вешалке и предупредили: не оставлю там фуражку, будет считаться, на лекции не был. А о пропуске каждой лекции педеля докладывают инспектору... Пока все, что я слышал,— одни разговоры о благонадежности, о правилах поведения, о дурацком порядке отдачи чести, а не о науке...

— Что ж делать? Такова жизнь...— Аня грустно помолчала и продолжала:

— И вообще, хочу посоветовать тебе: относись ты ко всему этому более... ну, как бы поточнее выразиться... более философски... А ты на все слишком горячо реагируешь. Нам обоим в этом отношении надо поучиться у Саши. Какая у него была железная выдержка! От меня, самого близкого ему человека, и то он умел скрывать не только свои дела, а даже свое настроение, когда считал это нужным. Здесь я снова и снова вспоминаю, все больше преклоняюсь перед ним и все глубже убеждаюсь: Саша был человеком необыкновенным...

— Володенька, я все собрала,— приоткрыв дверь, озабоченно сказала Варвара Григорьевна.— Идите пообедайте да и поезжай с богом.

— Спасибо, няня, сейчас иду! — ответил Владимир.— Ты, Аня, говорила, что дашь список книг, которые хочешь прочитать. Составила его?

— Пока нет. И вообще, у меня сейчас такое настроение...— исхудавшее лицо Ани помрачнело, левое веко вздрогнуло и заметно запульсировало. Аня прищурила глубоко запавшие глаза, пытаясь сдержать дрожь, болезненно усмехнулась.— Да ты и сам видишь: нервы мои все еще никуда не годятся. Попробовала было готовить Маняшу к гимназии, да ничего не вышло. Хочу все же взять себя в руки и начать заниматься систематически.

— Да, тебе обязательно надо это сделать,— согласился Володя.— А реестрик книжек составь и пришли, постараюсь достать все, что тебе понадобится. Ну, пора обедать — нам уже время выезжать...

4

Владимир торопился в университет, чтобы не опоздать на лекцию, но всех студентов повели на молебен в университетскую церковь.

Храм сей был весьма невелик. Владимир стоял среди однокурсников, зажатый так, что не мог пошевельнуться, и разглядывал довольно своеобразную церковь. Колонны вдоль стен поддерживали сводчатый потолок. Дневной свет проникал сквозь желтые граненые стекла единственного оконца — некоего подобия «всевидящего ока» господнего. Духота, теснота, глухой гомон... Но пришел конец и молебну! Студенты весело двинулись к выходу. Ульянов не вышел,— толпа вынесла его из церкви.

— Фу-у,— вытирая вспотевший лоб, произнес Полянский, остановившись возле него.— Еще один такой молебен, и я отдам господу богу нашему свою бессмертную душу...

— Чего это вы тут встали? — подошел к Владимиру и Полянскому его друг Федор Мотовилов.— Пошли в курилку!

— Да я...— замялся Володя,— не курю...

— Ничего,— сказал Сергей.— Туда и некурящие ходят: ведь курилка — наш, так сказать, парламент.

Комната для курения оказалась просторной. Посредине — стол. У стен — два старых, потертых дивана, несколько видавших виды стульев. Почти все студенты здесь были, как определил Владимир по форме, со старших курсов. Стояли группами, тихо беседовали.

Полянский хлопнул в ладоши и, когда все обернулись, сказал:

— Господа, прошу познакомиться: брат Александра Ульянова — Владимир.

— Того Ульянова, которого казнили? — спросил кто-то.

— Да, того, которого казнили! — ответил Сергей, подчеркнув последнее слово.

И сразу же Владимира окружили тесным кольцом. Пожимали руку, называли фамилии, предлагали папиросы. Спрашивали, на какой факультет поступил. Влади-

мира взволновало уважение студентов к Саше. Но любовь к брату как бы переносилась и на него, хотя он ничем этого не заслужил. Его юное высоколобое лицо раскраснелось, карие глаза искрились. Значит, и здесь, словно из подземных источников, пробивается иная жизнь, неподвластная инструкциям и воле грозного инспектора! И в эту жизнь, почувствовал Владимир, его уже ввел Александр. Понимал он и другое: на этом миссия Александра и завершилась. Все остальное будет зависеть от него самого.

В дверях показался педель Матвеев. Владимир видел его, когда получал билет.

— Господа, кончайте курить, лекции начинаются!..— прохрипел он.

Студенты неохотно гасили папиросы — педель, сердито хмурясь, продолжал стоять в дверях — и не спеша выходили из курилки.

Актовый зал, куда Владимир вошел впервые, был переполнен студентами. На стене, как и в гимназии, красовался портрет царя. После казни брата Владимир не мог без отвращения смотреть на здоровенное бородатое страшилище, так похожее на мясника.

Первые ряды сверкали лысинами: там восседали профессора и преподаватели.

Владимир был вынужден пробираться вперед: все задние места заняли те, кто пришел пораньше.

К кафедре, путаясь в полах рясы, проплыл какой-то дамской походкой протоиерей Миловидов. Его лицо побледнело от волнения. Ведь это первая лекция протоиерея в университете, да еще в присутствии господ профессоров и преподавателей!

Миловидов поправил на шее толстую цепь с крестом и произнес сдавленным голоском:

— Многоуважаемые господа!

Протоиерей кашлянул, приложил ладонь к губам. Потом провел рукой по бороде, словно вытирая пальцы. По залу, точно шорох ветерка, пробежал смешок. Миловидов, видимо, решил погасить смех и выпалил, не переводя дыханья:

— Догматическое богословие, курс которого я вам, господа, имею честь прочитать — это основанное на слове божьем систематическое изложение учения о триипостасном боге, его истинных качествах и деяниях...

К Владимиру наклонился сосед и шепнул:

— Он в нашей гимназии преподавал закон божий. И знаете, как его окрестили? Мадам Миловидова!

Услышав это, Владимир не мог без улыбки смотреть на протоиерея: тот и жестами, и голосом, и мимикой действительно смахивал на старую деву, которая давно примирилась с тем, что ей никогда-никогда не выйти замуж.

— Господь бог — существо бесконечное и непостижимое силой ограниченного разума,— вещал Миловидов, словно не с университетской кафедры, а с амвона.— И сколько бы ни тщился разум проникнуть сквозь завесу, что скрывает от него божественную сущность, в учении о боге всегда останутся тайны, которые постигает лишь вера. Если в боге заключена наивысшая истина, то и учение, которое благовестится людям под именем божественного откровения, не только не должно содержать в себе ничего противоположного законам здравого рассудка, но и располагать очевидными доказательствами божественного всеведения. Такого рода неоспоримые доказательства божественного откровения составляют в священном писании открытия истин, которые невозможно постичь разумом...

— Вы что-нибудь поняли из того, что он изрек? — спросил Владимира сосед.

— Только одно: надо не думать, а верить!— улыбаясь ответил Владимир.— Тогда-то и откроются все тайны мира.

— Вот наказанье господне! — вздохнул сосед.— Я бы лучше в карцере просидел это время, чем здесь. Вы с медицинского факультета?

— С юридического.

А глухой шум в зале все возрастал. Особенно когда Миловидов прищуривал очи и вздымал длани к небесам, словно призывая на помощь самого господа бога... Начальство из первых рядов сердито оглядывало зал: кто это, мол, позволяет себе смеяться, когда речь идет о слове божьем?

Однако новоиспеченных студентов начальственные взоры не пугали: они шумели все громче. А Миловидов, как старательный пономарь, продолжал бубнить, давным-давно привыкнув к тому, что его никто не слушает...

Об отъезде Ульяновых из Кокушкина урядник безотлагательно доложил лаишевскому исправнику, а тот — самому губернатору.

Губернатор Андреевский таил к Ульяновым личную неприязнь. Его двоюродный брат — Иван Ефимович — был ректором Санкт-Петербургского университета в то время, когда там учился Александр Ульянов.

После ареста и казни участников заговора против Александра Третьего ректору Андреевскому пришлось подать в отставку. На его место назначили профессора Владиславлева. Он обратился к царю с верноподданнической запиской о мерах, каковые должны были, по его разумению, раз и навсегда покончить с крамолой в университетах.

Царь весьма одобрил записку ограниченного, но зато благонамеренного служаки. И именно это, а не какие-либо научные заслуги, восблагоприятствовало тому, что Владиславлев уселся в кресло ректора, о котором давно мечтал. Он, как водится, не пожалел красок, чтобы очернить своего предшественника.

Встретившись с братом-губернатором, экс-ректор сетовал:

— Удар они нанесли мне в спину! И надо же было случиться, что главе заговора, Ульянову, мы выдали золотую медаль буквально за несколько месяцев до ареста. Ректор,— твердили все в один голос,— не только пригревает, а еще и награждает нигилистов. А негодяй Владиславлев пустил слух, будто я смотрел сквозь пальцы на то, чем занимались в лаборатории заговорщики, намекая, что бомбы они якобы изготовляли в университете. Разумеется, следствие установило, что этого не было и в помине, но сплетни Владиславлева сделали свое дело. Ведь и суд и следствие велись за закрытыми дверями, что там происходило, мало кто знал, а сплетни передавались из уст в уста по всей столице.

— Понимаю тебя,— посочувствовал губернатор и сокрушенно добавил: — Граф Толстой заметно изменил свое отношение и ко мне...

— Не может быть!

— Точно так!

И правда! Министр внутренних дел не мог спокойно

слышать имя ректора Андреевского, считая, что крамола свила гнездо в университете именно благодаря его либерализму. Раскрытие заговора для Толстого, который заверял царя, что выловил всех нигилистов поголовно, было громом среди ясного неба. Как раз в те дни, когда арестовали Александра Ульянова и его друзей, губернатор Андреевский приехал в Петербург. И граф Толстой, не ответив даже на его приветствие, спросил с раздражением:

— Слыхали, какое осиное гнездо таилось под крылышком вашего родственника?

— Да, ваше сиятельство!..— склонил седую голову Андреевский.

— Кстати,— продолжал столь же раздраженно министр.— Один из участников заговора — студент Осипанов обучался у вас, в Казани. А другой преступник — Андреюшкин имел в Казани друзей, с которыми все время переписывался! Известно ли это вам, господин губернатор?

— Известно, ваше сиятельство,— сказал Николай Ефремович, еще ниже склонив повинную голову.

— Каракозов, Осипанов... Хочешь не хочешь, а пожалеешь, что государь Александр Первый не согласился с попечителем Магницким, который предлагал закрыть Казанский университет. Все, кто бывал в Казани, твердят в один голос: в казанских студентах — дух Пугачева! Настоятельно советую: займитесь университетом, очистите его от всяческой погани! Пусть лучше останется десяток студентов, но истинно благонадежных, истинно преданных государю...

Полковник Гангардт, узнав, что Владимира Ульянова приняли в университет, не посоветовавшись с ним, послал адъютанта к помощнику попечителя. Малиновский сослался на характеристику, написанную Керенским, после которой у него не было никаких формальных оснований отказать Ульянову.

Встретив Потапова в доме дворянского собрания, Гангардт сердито сказал:

— Пусть уж старые либералы Щербаков и Малиновский не посоветовались со мной. А почему вы не поинтересовались моим мнением?

— Я был уверен, что это сделал господин Малиновский,— прилгнул Потапов.

— Он и не подумал!

— Жаль! Очень жаль. Сам попечитель никогда бы такого не допустил. А Малиновский...— Потапов пренебрежительно махнул рукой.— Извините меня, Николай Иванович, но скажу откровенно: пустое место. Что ему кто скажет, то он и делает.

— Однако к вам, насколько мне известно, он не очень-то прислушивается,— заметил Гангардт.

— Это так. И могу сказать, почему...

— А я догадываюсь,— произнес Гангардт, самодовольно усмехаясь, как всегда делал, когда хотел показать, что ему все известно.— Кто-то предуведомил господина Малиновского, что вы метите на его место.

— И все-то вы знаете, Николай Иванович,— вздохнул Потапов.— Можете представить, как мне трудно работать...

— Ну, Николай Гаврилович, давайте заглянем в буфет, а потом, может, сыграем в преферанс? — перебил Гангардт, зная, что жалоб Потапова не переслушаешь и до утра.— Или вы пойдете танцевать? — добавил полковник с иронической усмешкой.

— Э-э, я свое давно уже отплясал! — махнул рукой Потапов...

6

— У тебя сегодня много лекций? — спросила Мария Александровна, когда сын, позавтракав, собирался в университет.

— Всего-навсего две,— ответил Владимир, взглянув на мать, и почувствовал: у нее есть какое-то дело к нему.

— Я тут подыскала одну квартиру,— тихо и словно извиняясь, что вынуждена потревожить его, сказала Мария Александровна.— Хочется, чтобы и ты посмотрел.

— Чудесно! — обрадовался Владимир,— нескончаемые поиски квартиры уже порядком ему надоели.— А где этот дом?

— На Ново-Комиссариатской.

— Так это же совсем рядом!

— Дом новый,— продолжала Мария Александровна.— Там еще работают маляры. И перебраться туда

можно через месяц. Вот почему хочется, чтоб и ты посмотрел.

— Хорошо, мама! Пойду из университета и обязательно загляну. Кого там спросить?

— Хозяйку дома — Соловьеву.

— Непременно зайду! — повторил Владимир, надевая фуражку.— Ты уже договорилась с хозяйкой, какие комнаты она сдает?

— Да! Она все покажет. И место, и дом мне нравятся,— говорила Мария Александровна.— Одно страшит: не будет ли там сыро, ведь дом-то новый...

— Этого, мама, должно быть, никто не угадает. Все зависит от того, из чего построен дом, как отапливается. Ну, я побежал,— взглянув на часы, заторопился Владимир.— Оля, ты пойдешь со мной?

— Иду! — откликнулась Оля из своей комнаты.— Иду!

— Так собирайся поскорей, а то я опоздаю.

— Сейчас! Сейчас!

Но это «сейчас» тянулось еще минуты три. Наконец Оля вышла. Владимир посмотрел на нежное лицо сестры, на черные брови, выгнутые, словно крылья ласточки в полете, полные, четко очерченные губы. Он встретился взглядом с веселыми темными глазами, так дружелюбно смотревшими из-под пушистых ресниц, и невольно сам улыбнулся.

Брат и сестра торопливо вышли. А Мария Александровна смотрела им вслед, улыбалась и думала: «Вот верные друзья! Друг без друга шагу ступить не могут...»

Володя и Оля были неразлучны с самого раннего детства. Они почти сверстники, да и в характерах их было много общего. Когда Владимир поступил в университет, это родство душ еще больше окрепло. Оля неудержимо тянулась к знаниям, Владимир горячо сочувствовал сестре, не щадя ни времени, ни сил, делился с ней всем, что давал университет. Оля принялась было проходить вместе с Володей курсы лекций, которые он слушал. И ее острый ум быстро все усваивал. Но в России не было ни одной женщины-юриста! Юриспруденция — привилегия мужчин. И Оля охладела к занятиям. Жалела, что брат не поступил, как советовал директор гимназии Керенский, на филологический. Тогда бы она могла, пройдя дома весь курс университета, сдать экзамены и стать

учительницей. Ведь вместе с Володей так легко все изучать...

— Володя, у тебя есть друзья? — спрашивала Оля, заглядывая брату в глаза.

— Да,— ответил Владимир.— Познакомился с кое-какими земляками.

— С кем, например? — допытывалась Оля.

— Ты их, наверно, не знаешь,— они всего лишь на год позднее Саши окончили нашу гимназию.

— Пригласи их к нам,— предложила Оля.— Ведь любопытно знать, кто твои новые друзья. Тем более студенты, да еще старшекурсники!

— Переберемся на новую квартиру, устроимся, и обязательно приглашу. Я им, кстати, сказал, что у меня, кроме той сестры, которая отбывает ссылку, есть еще одна,— Владимир мягко улыбнулся и, лукаво взглянув на Ольгу, добавил: — Сказал даже, что она, ты то-есть, очень умная и симпатичная...

— И ничего такого ты не говорил! — вспыхнула Оля.

— А вот придут — спросишь, говорил или нет.

— Ох, хитрец! — засмеялась Оля.— Я тебя тоже распишу моим подругам!

— Именно на это я и рассчитывал! — не растерялся Владимир.— Ведь ты сама не додумаешься. Ну, я побежал! Педеля, наверно, самому попечителю донесли: на вешалке нет моей фуражки. У нас такое правило — лишь бы фуражка висела на вешалке, а слушает хозяин фуражки лекцию или нет,— никого не волнует. Надо, пожалуй, вторую сшить, повесить, и пусть себе внимает лекциям протоиерея Миловидова...

Профессор Загоскин все еще не вернулся из отпуска, и первая лекция не состоялась. Владимир отправился в курилку. Полянский и Мотовилов уже были там. Рядом с Сергеем стоял тощий узколицый студент и, размахивая руками, что-то рассказывал.

Владимиру не понравился этот рыжий молодчик с деланной усмешкой на тонких губах, и он подошел к Мотовилову, который, как всегда, одиноко стоял, о чем-то глубоко задумавшись, и курил одну папиросу за другой. Но Полянский, увидев Ульянова, махнул рукой: подойдите, мол, сюда.

Сергей познакомил Владимира со своим собеседником — Павлом Ферлюдиным, тоже из Симбирска.

— Вас не помню, а вот Александра Ильича знал. Он всего на год раньше меня и Сергея закончил гимназию,— вяло пожав руку Владимиру, сказал Ферлюдин.— И признаюсь откровенно, никогда не думал, что он так кончит. Такой был тихий, спокойный...

— А ты думаешь, настоящий революционер только тот, кто умеет орать да руками размахивать? — раздраженно спросил Полянский.— Каракозов, рассказывали мне, тоже тихий был, а первым в истории выстрелил в царя! А вот кое-какие крикуны стали изменниками,— гневно сверля Ферлюдина потемневшими глазами, говорил Полянский,— и просто негодяями. Один нашелся и среди наших земляков...

— Кого ты имеешь в виду? — как показалось Владимиру, явно приняв намек Полянского на свой счет, спросил Ферлюдин.

— А ты не слышал? — нарочито удивленно поднял Полянский смолисто-черные брови.

— Н-нет! — тихо ответил Ферлюдин с той же деланной усмешкой, но Владимир заметил, как в зеленоватых глазах его промелькнула растерянность.

— Подожди тогда малость,—сказал Полянский угрожающе.— Услышишь...

Наступило напряженное молчание. Его нарушил студент Сараханов. Зайдя в курилку, он поздоровался с Ульяновым и Полянским, а Ферлюдину так сжал руку здоровенной мужицкой лапищей, что тот, присев от боли, подул на пальцы.

— Вам бы, господин Сараханов, подковы гнуть! — еле выдавил он.

— И шеи сворачивать негодяям! — добавил Сараханов выразительно.

Опять помолчали, надеясь, что Ферлюдин уйдет. Но он стал рассказывать, как, получив золотую медаль за работу о полицейском праве, заложил ее и послал деньги домой, когда там беда стряслась — околела кобыла. О подвиге во имя сдохшей кобылы все слышали не раз. Сараханов схватил Ферлюдина за пуговицу тужурки и, презрительно взглянув на него сверху вниз, потому что был выше на голову, спросил сочным басом:

— А нельзя ли, Павел Иванович, рассказать о чем-нибудь другом? Ну хотя бы о том, за что вам инспектор дал стипендию Сперанского?

— Вы считаете, я ее не заслужил?

— Кто это вам сказал? — спокойно забасил Сараханов, продолжая держать Ферлюдина за пуговицу, словно опасаясь, что тот сбежит. — Напротив! Удивляюсь, почему вам инспектор не дал заодно и стипендии Александра Второго, которую вы вполне заработали... А вообще, господа, это неинтересная тема,— отвернувшись от Ферлюдина, продолжал Сараханов.— Давайте-ка лучше пройдемся да где-нибудь выпьем портера. Ульянов, вы — с нами?

— С удовольствием! — ответил Владимир. Сараханов нравился ему все больше.

Когда вышли из университета, Сараханов, увидев, что Ферлюдин вовсе не собирается оставить их, спросил:

— Господин Ферлюдин, а вас я разве приглашал?

— А я думал...— промямлил Ферлюдин,— ...нам по дороге...

— Возможно... Но не имею чести знать, куда вы пойдете. Всего хорошего, господин Ферлюдин! — откозырял Сараханов так, словно перед ним стоял сам инспектор.— Пойдемте, товарищи!

— Вот что, друзья,— продолжал Сараханов, когда наконец они избавились от Ферлюдина.— Мы с Полянским выяснили точно: Ферлюдин — шпион. Он обо всем доносит инспектору. От него-то инспекция и дозналась о существовании землячества. Досконально этого еще не знаю, но предполагаю: десять наших товарищей, которых весной исключили «без объяснения причин», тоже жертвы его доносов. А раз есть немало доказательств шпионства Ферлюдина, я, как председатель студенческого суда, предлагаю немедленно рассмотреть его дело...

— Давай соберемся сегодня вечером у меня,— предложил Полянский,— и потолкуем... Вы, Ульянов, зайдете?

— Обязательно!

7

Метрика Сергея Полянского гласила: «незаконнорожденный сын дворовой девицы Ирины Евдокимовой» — бывшей крепостной у вдовы Житковой, владелицы села Михайловки.

Кем был отец, Сергей не знал. Одни говорили: мать

прижила сына с каким-то заезжим цыганом, потому-то Сергей смуглый да кудрявый, и только светло-голубые глаза — совсем не цыганские, а материнские. Другие поговаривали: он сын полковника Житкова, который умер за три месяца до рождения Сергея. Последнее больше походило на правду. Недаром госпожа Житкова взяла мальчика к себе на воспитание. Сергей закончил гимназию и поступил в университет. Свою покровительницу он не любил,— так высокомерно относилась она к его матери.

Когда он подрос и больше не нужна стала нянька, а «дворовая девица» служила в усадьбе именно в этой должности,— Житкова делала все, чтобы он отрекся от матери, и постоянно твердила:

— Раз я тебя кормлю, значит, я и есть твоя мать!..

Но Сергей любил свою горемычную родительницу. И, поступив в университет, отказался от помощи госпожи Житковой.

Приходилось зарабатывать уроками, разгрузкой дров — мать не в силах была ему помочь. Поселился Сергей там, где ютились самые бедные студенты,— в Собачьем переулке, грязнее которого в Казани не сыщешь.

Когда Мария Александровна узнала, что Владимир собирается идти к другу в Собачий переулок, она сказала:

— Очень прошу, не задерживайся дотемна!

— А почему? — удивился Володя, мать раньше никогда не вмешивалась в его дела.

— Читала в газетах: там ежедневно грабят и убивают.

— Убивают тех, у кого денег много,— шутливо ответил сын.— А каждый знает: со студента взятки гладки! Так что за меня можешь быть спокойна!

— И все-таки прошу,— настаивала Мария Александровна,— не задерживайся там.

— Хорошо! — пообещал Владимир.— Через два-три часа буду дома.

Владимир еще ни разу не бывал в Собачьем переулке и с трудом отыскал хибарку, где обитал Полянский. Такие хибарки студенты прозвали «скитами». В темных сенях гость ощупью нашел дверь и постучал.

Ответил чей-то сердитый голос:

— Кого это черти несут?

— Здесь живет Сергей Полянский? — спросил Владимир, не открывая двери.

— Заходи! — пригласил тот же голос.

Владимир толкнул дверь и очутился в крохотной каморке. В единственное оконце, выходившее на темный, грязный двор, проникало так мало света, что в комнатенке царили вечерние сумерки, хотя еще ярко светило солнце. Вся обстановка «скита» состояла из двух деревянных кроватей, на которых валялись тощие матрацы, стола и стула. На столе, вперемешку с конспектами лекций, разбросаны человеческий череп, кости. Все вместе напоминало разграбленный могильный склеп. Сам хозяин возлежал на кровати в одних исподних. Увидев незнакомца, он поспешно натянул грязную дырявую простыню и растерянно заговорил:

— Извините, что так вас принимаю. Я думал, кто-нибудь из наших...

Он хотел поскорее надеть очки, но это никак не удавалось. Связанные в нескольких местах проволокой, они распадались.

— Садитесь, пожалуйста,— вооружившись наконец очками, попросил хозяин.— Эй-эй, погодите! — вдруг закричал он, вскочив.— Стул сломан!.. Садитесь-ка сюда, на кровать!..

— Я, собственно говоря...— смутился Владимир...— вероятно, не туда попал. Я ищу Сергея Полянского...

— Да, вы ошиблись дверью! Комната Сергея — в самом конце коридора. Но его сейчас нет дома. Он, э-э... выполняет одно... важное поручение. Скоро должен вернуться. И зайдет именно сюда! Так что, если не возражаете, подождите у меня. Кстати, нам пора познакомиться,— хозяин «скита», обернувшись простыней, точно юбкой, подошел к Владимиру и подал руку:— Леонид Троицкий... Медик.

— Ульянов. Юрист,— ответил Владимир.

— Вы брат Александра Ульянова? — спросил Троицкий, прищурив близорукие глаза.

— Да...

— Боже! — взъерошил Троицкий густые, длинные волосы.— Мы же земляки! Я вместе с вашим братом начинал ходить в гимназию! Очень, очень рад вас видеть! —

крепко пожимая руку Владимира, говорил он.— Перед Александром я благоговею. Я сам не раз решал: куплю пистолет, поеду в Петербург и убью царя. И все что-то мешает: то денег нет, то вдруг себя жаль станет, то родных... Черт знает что!.. А когда окончательно решил — мне осталось только одно: убить проклятого мучителя,— нищета заела... Попросил Сергея, чтоб он продал мои башмаки, а то с неделю почти ничего не ел. Нет, клянусь: дали бы мне приодеться, пистолет у меня есть,— прошептал Троицкий,— я тотчас поеду в Петербург и убью коронованного палача! Мне все равно терять нечего...

Не постучавшись, зашел Сергей.

— А вы, Ульянов, как сюда попали? — удивился он.

— Заблудился...

— Ну, пойдемте ко мне. А тебе, сын Эскулапа, возвращаю башмаки. Ни одного дурня, который дал бы за них хоть гривенник, я не нашел.

— Что же мне делать? — с отчаянием спросил Троицкий.— Ведь это была моя последняя надежда...

— Потом поговорим, а сейчас извини,— меня давно ждут дела поважнее,— ответил Полянский.— Пойдемте, Ульянов.

— Если вас, господин Троицкий, устроит, я могу дать вам денег,— сказал Владимир, доставая кошелек.— Возьмите, пожалуйста.

— Подаяния не беру! — горделиво выпрямившись, воскликнул Троицкий.— А если вы даете мне в долг и не боитесь, что я его никогда не верну,— то, пожалуйста...

— Ну что ж, берите в долг! — едва сдерживая улыбку, сказал Владимир. При всей трагичности Троицкого сейчас он выглядел очень смешным.

У Полянского уже собралось немало студентов.

Поздоровавшись со всеми, Владимир окинул взглядом комнату. Она была чуточку просторнее и светлее, чем та, в которую он попал по ошибке. Но стены и здесь так же черны. Штукатурка так же отваливается. Все сидели на кроватях. Их в комнате было три, а стул — опять один.

Решали, как провести суд над Ферлюдиным.

Одни считали: предателя обязательно надо позвать,

потому что именно судебный процесс должен повлиять на него.

Другие, среди них был и Владимир, возражали.

Речь сейчас идет не о совести Ферлюдина, говорили они, а о том, чтобы все, кто шпионит, знали, что их ожидает кара.

— И главное,— сказал Владимир,— разве Ферлюдин не назовет всех, кто его судил? Я лично склонен предполагать: он предаст всех!

— И я согласен с вами! — поддержал Владимира Полянский,— Ферлюдина на суд звать не надо.

— Быть по сему,— пробасил Сараханов, когда почти все согласились с Владимиром.— Ферлюдина вызывать не будем. А суд подготовим и проведем как можно скорее...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

— В ветеринарном институте,— сказал однажды Ульянову Полянский,— учится мой друг Константин Выгорницкий. Он до самого ареста переписывался с Пахомом Андреюшкиным, которого казнили вместе с Александром Ильичем. У Выгорницкого после ареста Андреюшкина был обыск, но он человек осторожный, и полиции не удалось хоть что-нибудь найти. Выгорницкий очень хотел бы познакомиться с вами.

— Рад буду встретиться,— отвечал Владимир.

— Есть возможность сделать это сегодня...

— Где?

— Ветеринары создают кружок саморазвития. Вечером они соберутся у Выгорницкого. Приглашают и нас. Пойдем?

— Непременно!

— Тогда так,— Полянский насупил цыганские брови, помолчал, что-то соображая, и предложил: — Заходите за мной в половине девятого.

Владимир и Сергей долго блуждали по Закабанью, темными кварталами татарской бедноты, пока нашли маленький домишко, возле которого их встретил студент-ветеринар Александр Скворцов. Он хорошо знал и По-

лянского, и Ульянова, но, попросив прикурить, повел друзей в самый конец мрачного узкого переулка. Постояли молча. И, лишь убедившись, что Сергей и Владимир не привели за собой шпика, возвратились к дому. Скворцов проводил друзей, а сам остался на улице ждать еще кого-то.

В небольшой комнатке, где горела свеча и клубился папиросный дым, собралось человек пять. Среди них две девушки, очевидно курсистки, Сараханов и Португалов, которых Владимир узнал сразу. Сараханов подошел к нему по-крестьянски неторопливо и подчеркнуто-уважительно пожал руку. Сергей представил Ульянова курсисткам — Анне Амбаровой и Юлии Беловой. О них Владимир уже слышал — обе входили в кружки землячеств. Из Петербурга их выслали за участие в добролюбовской манифестации, о которой, помнится, рассказывала ему Аня.

Амбарова энергично тряхнула руку Ульянова, пристально заглянула ему в глаза и сказала громко, для того, как показалось Владимиру, чтобы все обратили на нее внимание:

— Я знала Александра. Нас познакомила ваша сестра Анна. Мы тогда учились на Бестужевских курсах. Скромный был, сдержанный... И вдруг слышим: покушение, арест, казнь... Мы не могли поверить. А вы... вы мало похожи на брата Даже совсем не похожи! — повторила она.— Правда, Юля?

Белова подняла большие, красивые, но какие-то сонные глаза не на Владимира, а на подругу, кивнула головой и покраснела. Амбарова громко засмеялась:

— Ох, Юля, Юля!..

Вошел приветливый круглолицый юноша. Нарочито смешно надув щеки и выкатив серые глаза, он нес в вытянутых руках самовар. Это был хозяин комнаты — Константин Выгорницкий. Горячо обняв Володю, он заговорил быстро, словно опасаясь, что кто-нибудь перебьет:

— Рад! Страшно рад, что и вы среди нас! Ведь это символично: на место одного погибшего брата встает другой! На место одного погибшего борца — встанут тысячи!..

Скворцов, приведший еще одного студента ветеринарного института, прервал Выгорницкого. Это очень обрадовало Владимира. Он чувствовал себя неловко и от пыл-

ких объятий, и от пышной речи. Скворцов заметил, что Выгорницкий, по обыкновению, «пересолил», и поэтому, быстро познакомив Владимира со своим спутником, деловито сказал:

— Все, кого мы приглашали, собрались. Давайте начинать...

Подождал, пока кружковцы уселись, и продолжал:

— Прежде всего нам надо определить программу занятий.

— А также программу действий! — добавил Полянский.

— Что вы имеете в виду? — настороженно спросил Скворцов.

— Пропаганду среди рабочих.

— А может быть, все-таки сначала станем изучать труды, скажем, Маркса, а уж потом пропагандировать их,— иронически усмехнулся Скворцов, что сразу насторожило Полянского.

— А я считаю, нам надо и учиться и учить! — настаивал он.— Кстати, встречи с рабочими нас будут обогащать ничуть не меньше, чем книги. Только вчера я прочитал в «Волжском Вестнике»: рабочие фабрики Алафузова остановили работу за полтора часа до конца смены. Что это, по-вашему? Маленькая забастовка! И вот ее причина: рабочим снизили расценки. На стеариновом заводе Крестовниковых взорвался котел. Взрыв разрушил здание. Несколько человек убито. Все это, как мне кажется, готовит почву для пропаганды идей социализма.

— Выходит, надо идти на завод читать рабочим «Капитал»? — сказала Амбарова.

— Это ваше предложение?

— Только вопрос! — нахмурилась девушка.

— Тогда позвольте и ответить вопросом,— продолжал Полянский.— Как вы считаете, нам самим надо штудировать, например, брошюру «Царь-Голод» или нести ее рабочим?

— Брошюра «Царь-Голод» — пройденный этап,— бросила Амбарова, закурив новую папиросу.— Я говорила, как вы слышали, о «Капитале».

— Друзья! — вмешался Скворцов.— Давайте сперва все-таки поговорим о нашем кружке... Я, например, пришел сюда с одной целью: найти единомышленников, с которыми можно было бы значительно глубже изучить тру-

ды Маркса, Энгельса, Чернышевского, Плеханова. А что касается пропаганды, это совсем иная статья. Об этом, по моему мнению, нужно потолковать отдельно. И лучше всего, когда работа нашего кружка наладится. У меня есть несколько каталогов литературы. Она изучалась, да и сейчас изучается в марксистских кружках, созданных Николаем Федосеевым.

— А почему вы его самого не пригласили? — спросила Амбарова.

— Сейчас ему не до нас,— ответил за Скворцова Выгорницкий.— Начальство следит за каждым шагом Николая...

— Вернемся к обсуждению программы нашего кружка,— сказал Скворцов, которому явно не понравилось, что с первых же минут начались споры.— С вашего разрешения, я прочту список книг, рекомендуемых для изучения. Или не стоит этого делать?

— Читайте! Читайте! — послышались голоса. Скворцов показал каталог. «Капитал» и «Нищета философии» Маркса стояли в них на первом месте. Потом предлагалось изучать «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, книгу Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», «Наши разногласия» Плеханова, очерки политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского.

— Программа основательная! — сказал Владимир.— Однако, полагаю, начать следует не с «Капитала», а с работы Чернышевского.

— И я так думаю,— поддержал Владимира Сараханов и спросил: — А где же мы добудем книги?

— Вот и проблема номер один,— заметил Скворцов.— В библиотеке Федосеева всего несколько книг. В том числе и «Капитал»...

— На немецком? — спросил Владимир.

— Нет, на русском. Хотя большинство названных работ есть только в оригиналах. Это значительно усложнит нашу работу,— не все свободно владеют немецким, английским и французским. Есть еще замечания о программе кружка?

Все молчали. Тогда Выгорницкий пригласил гостей к столу, пошутив:

— Может, после горячего чая будет потеплее, а то как-то... холодновато...

Но и после чаепития общая беседа так и не завязалась. Амбарова шепталась с Беловой. Ветеринары, собравшись в уголке, толковали о чем-то своем...

— Я все-таки хочу вернуться к тому, о чем уже говорил,— произнес Сергей, поставив на стол стакан с недопитым чаем.— А именно, будем ли мы вести пропаганду среди рабочих?

— Тогда нужно создавать кружки на заводах и фабриках,— ответил Скворцов.— А это страшно трудное дело.

— Согласен,— через кружки лучше всего было бы объединиться с рабочими,— продолжал Полянский.— Согласен,— создать их нелегко! Но не могу согласиться с тем, что пока мы не создадим кружки, ничего нельзя сделать для рабочих. Ведь мы можем напечатать на гектографе брошюру «Царь-Голод» и распространить ее, скажем, на Алафузовской фабрике...

— Это можно сделать,— согласился Скворцов.— Но поймут ли рабочие все, о чем там говорится?

— Думаю, поймут, ведь написана брошюра очень просто. Вот один абзац,— Полянский раскрыл тетрадь, в которую был переписан «Царь-Голод», и прочитал:

— «Воруют министры, воруют спокойно: только ордена получают. Воруют и взятки берут губернаторы — кто этого не знает? Воруют исправники, становые, урядники, грабят своих рабочих фабриканты, помещики. Этих всех преступников по тюрьмам нет». Разве этого не поймут рабочие? Еще как поймут! Брошюра рассказывает, где рабочим искать выход. Вот вам еще один — и последний — абзац: — «Не природа создала капитализм, а люди. Поэтому люди могут и должны изменить строй. Социалисты думают, что необходимо создать совершенно новый порядок — порядок социалистического хозяйства, при котором будут изжиты все те бедствия, которые происходят из капиталистического хозяйства». Более чем понятно! — закрыв тетрадь, закончил Полянский.— И так написана вся брошюра.

— Что же мы решим?

— Я за то, чтобы напечатать брошюру и распространить среди рабочих,— сказал Владимир.

— Эту книжку и крестьяне охотно прочитают,— спокойно, с мягкой улыбкой пробасил Сараханов.

— В принципе и я не возражаю,— заговорил Выгор-

пицкий, осторожно взглянув на Скворцова, который недовольно морщил лоб.— Но, думаю, за это нужно взяться... немного позднее...

— Мы с Юлей тоже так считаем! — подтвердила Амбарова, высказавшись за подругу явно без ее согласия.— Белова удивленно взглянула на нее.

— Большинство решило вернуться к этому вопросу позднее, когда наладится работа кружка,— подытожил Скворцов, вполне удовлетворенный, что все вышло, как ему хотелось.— Вы не возражаете, Полянский?

— Мне остается подчиниться воле большинства,— сухо сказал Сергей.— Если большинство не возражает, я откланяюсь.

— Я тоже должен уйти,— встал Владимир.

— А мы еще...— начала было Амбарова, но в этот момент поднялась и Белова.— А ты, Юлия, куда?

— Я тоже...— смущенно сказала Белова.— Мне пора уходить.

— Сядь,— схватив ее за руку, сердито приказала Амбарова.— Сядь, пожалуйста...

Белова залилась краской, но не села. Амбарова, увидев, что ее безмолвная, но упрямая подруга не собирается подчиниться, принялась, все так же сердито, собираться. Владимир поспешил выйти из комнаты.

Когда они с Полянским очутились на улице, Сергей раздраженно сказал:

— Энергичная особа эта Амбарова!

— Даже слишком энергичная! — вспомнив, как Сергей смотрел исподлобья на Амбарову, засмеялся Владимир.— А как вам понравилось собрание кружка?

— Я еле удержался, чтобы не высказать Амбаровой все, что думал,— гневно признался Полянский.— Нет, из этой затеи философа Скворцова наверняка ничего не выйдет! А вы, видимо, не согласны со мной?

— И согласен, и нет,— ответил Владимир.— Скованность неизбежна, когда сходятся незнакомые люди. А общий язык, полагаю, найти все-таки можно...

— Так, значит, стоит ходить на занятия?

— Да,— твердо сказал Владимир.— И вот почему: вопервых, ничего лучшего нет, а во-вторых, работу кружка можно повернуть по-всякому...

2

Попечитель Масленников вернулся из отпуска только в сентябре, когда в университете уже шли занятия. Первым, кто пожаловал к нему с докладом, был, разумеется, Потапов.

— Ну-с, Николай Гаврилович, докладывайте, как вам здесь без меня жилось? — спросил Масленников, осторожно поправляя за большими ушами длинные, точно у монаха, прилизанные волосы.

— Ох, и не спрашивайте, Порфирий Николаевич! — горестно вздохнув, махнул рукой Потапов.— Без вас, скажу вам чистосердечно, не работа была, а мука мученическая. Ни одного вопроса я не мог решить, как положено.

— Разве с Щербаковым трудно работать? — притворно удивился Масленников, и его обрюзгшее лицо с черными мешками под глазами залоснилось самодовольством: Потапов, конечно, лжет, но все-таки чертовски приятно услышать, что его никто не может заменить понастоящему!

— Да, трудно! Правда, он не игнорировал меня столь откровенно, как это делает Кремлев, но все же и не прислушивался к моим советам.

— А почему вы не обратились к моему помощнику? — спросил Масленников, прекрасно зная, что ответит инспектор.

— Обращался. И не раз! — помрачнел Потапов.— Но он делал все по советам Щербакова.

— Так-так...— многозначительно протянул Масленников.

— Да и вообще,— продолжал Потапов,— Щербаков набрал множество таких студентов, которых нам придется вскоре исключить... И вот еще одно из последствий либерализма Щербакова: родной брат государственного преступника Ульянова стал студентом нашего университета.

— Вот уж новость так новость! — недовольно поджав губы, покачал головой Масленников.

— Кремлев около недели в университете, а я с ним еще ни разу не смог поговорить,— жаловался Потапов.— Дома он меня не принимает, хотя для всех других, даже для студентов, двери всегда открыты. В университет является только на свои лекции. Приходится ловить его во время перерывов и говорить при свидетелях, что, как

вы знаете, не всегда удобно. А он демонстративно не принимает меня одного, показывая всем: к тем мероприятиям, какие применяет инспекция для наведения порядка в университете, он, мол, никакого отношения не имеет. Скажу вам, Порфирий Николаевич, как на исповеди,— работать с таким ректором просто наказание божие, нравственная мука! Я подумываю, не подать ли в отставку? — приврал Потапов, хорошо зная: Масленников никогда на это не пойдет.

— Об отставке и не помышляйте! — сердито возразил попечитель.— И я, и министр, который с большим уважением относится к вам, о чем свидетельствуют назначенные вам и чин, и пенсия, и орден, ни за что вас не отпустим. А о либерализме ректора Кремлева я докладывал не раз. И министр склонен заменить его... но, как сам мне признавался, не имеет для этого формальных причин...— Масленников помолчал и, озабоченно сморщив лоб, спросил: — Подписку у студентов, как приказывал министр, отобрали?

— Так точно!

— Все прошло спокойно? Таких, что отказывались, не оказалось?..

— Ни одного. И это очень нас поразило. Мы были уверены, начнется агитация: «подписок не давать». А как позднее донес студент Ферлюдин, руководители землячеств решили подписку давать, но не считать себя ею связанными...

— Вон оно что! — воскликнул Масленников, и черные мешки под его глазами задрожали.

— Ведь кружки землячеств продолжают существовать,— докладывал Потапов.— И сегодня вот педели сообщили: в Собачьем переулке одно землячество устроило столовую, в которой проводятся всяческие противозаконные сборища...

— Ну, а как профессор Загоскин? — спросил Масленников, когда инспектор умолк.— Намеревается он изменить направление своей газеты?

— Кажется, нет. Насколько мне известно, в составе сотрудников редакции неблагонадежных стало еще больше. Они развращающе влияют на студентов, которые читают газету. А многие, например студент Чириков, рьяно сотрудничают в ней. Прямо удивительно: Загоскин пребывает на государственной службе. Как профессору уни-

верситета, ему доверено воспитание молодых людей в духе верноподданности, а он настраивает студентов против правительства.

— Я, как вы помните, писал декану юридического факультета профессору Осипову,— сказал Масленников, сердито растирая кулаком обвисший подбородок (так он делал всегда, когда его охватывала бессильная злость),— просил предупредить Загоскина: если он в ближайшее время не изменит состав сотрудников, я вынужден буду ходатайствовать о его освобождении от обязанностей профессора. Звание профессора университета и должность редактора газеты несовместимы.

— Уверяю вас, Порфирий Николаевич, Загоскин и не подумал прислушаться к вашим советам,— заюлил Потапов.— К подобным указаниям он относится с откровенным пренебрежением. Вызовите профессора Осипова. Как цензор газеты, он вам скажет, сколько приходится выбрасывать явно крамольных статей, сколько политически скомпрометированных лиц печатают там все, что заблагорассудится. Просмотрите цензорские экземпляры и убедитесь: я нисколько не преувеличиваю.

3

Земляки уже не раз приглашали Владимира к себе. Он пообещал как-нибудь заглянуть, но все откладывал— не забыл, как в первые дни после казни Александра одноклассники держались от него на весьма почтительном расстоянии: мы, мол, хоть и учились вместе, но дружбы с братом государственного преступника не ведем. А здесь, в Казани, вдруг обнаружили: студенты-старшекурсники не только не избегают Ульянова, а, наоборот, за честь считают дружить с ним.

Да, Казань — не заштатный Симбирск! Здесь господствуют совсем другие законы, и к тем, кто пренебрегает этими неписаными законами, относятся с презрением.

— Послушайте, Ульянов,— сказал однажды Полянский,— на вас сердятся земляки-симбирцы. Приглашаем, говорят, а он только обещает...

— Было время,— помрачнел Владимир,— когда я в Симбирске приглашал их. Они обещали, но не заходили...

— Это им, разумеется, чести не делает,— заметил Сергей,— но надо принять во внимание: там приходи-

лось прислушиваться к тому, что скажут папочка с мамочкой. А здесь можно жить своим умом.

— Об этом, по правде говоря, я не подумал,— признался Владимир.— Придется зайтн.

— Так, может, сейчас и заглянем?

— Ну что ж — давайте...

На углу Рыбнорядской и Малой Проломной находились так называемые «Степановские номера», где останавливались студенты. Здесь уже несколько лет постоянно обитал симбирец Федор Мотовилов, тихий и добрый юноша. Каждый, кто приезжал из Симбирска и не знал, где остановиться, шел к нему. Если в номерах не было места, Федор отдавал гостям свою комнату, хотя частенько гостей этих он видел впервые, а сам отправлялся ночевать к знакомым. И в первые дни занятий всегда выходило так, что гостеприимный Федя неделями не бывал у себя дома. Помог он устроиться и одноклассникам Ульянова.

Владимир и Сергей застали их за пирушкой—«посвящением» новичков в студенты. В небольшом номере Мотовилова было полным-полно подвыпивших земляков.

Увидев друзей, они оставили спор о смысле жизни и бросились усаживать гостей за стол.

Но вина не осталось ни капли. Федя Мотовилов куда-то исчез и через несколько минут вернулся с двумя бутылками. Наполнили стаканы, выпили. И снова завели отчаянные споры. Каждому хотелось высказать заветные мысли, которые в гимназии скрывались за семью печатями, а здесь рвались на свободу. Все кричали, и, как всегда, когда к спору примешивается вино, никто никого не слушал.

К Владимиру подсел Мотовилов.

— Рад, что вы зашли,— ласково сказал Федор.— Давно хотел познакомиться с вами поближе, да все както... не получалось. Я хорошо знал вашего брата, хоть и старше его на три года. Я часто болел, и он не только догнал меня, а даже годом раньше закончил гимназию. А один год мы учились вместе... И вот я услышал, что его казнили... Раньше я не верил только в бога, теперь не верю и в людей, и, что всего страшнее, в самого себя. Скажите, вам доводилось чувствовать что-нибудь подобное?

— Кажется, нет,— ответил Владимир, пристально взглянув на Мотовилова.

— Ваше счастье! — словно завидуя, улыбнулся Федор. Помолчав, робко спросил:

— А брат вам никогда не говорил, что он утратил веру во все на свете?

— Нет! В бога он, конечно, не верил. А о том, что можно не верить в людей, в самого себя,— такого я от него никогда не слышал. Саша очень любил жизнь и свято верил: человечество непременно построит когда-нибудь общество, о котором мечтали его лучшие сыны...

— А я в это не верю! Ни во что не верю! — с отчаянием признался Мотовилов.— Иногда мне даже кажется, что я уже не я, а только моя тень. Странное чувство. Никому его не пожелаю...

— О чем это вы? — Полянский наклонился к Федору и сам ответил: — О том, как тяжко жить на свете без веры в бога, в себя и в людей?

— Вот видите, Ульянов,— сказал Мотовилов и в мягком голосе прозвучало столько боли, что Сергей смутился.— И он издевается...

— Федя, прости! Прости,— обняв Мотовилова, примирительно сказал Сергей.— Выпил я, вот и пошутил... И вообще, господа...— вскочил и хлопнул в ладоши Полянский.— Внимание, сыны alma mater!

Когда шум затих, Сергей предложил:

— Хватит спорить! За один вечер мы все равно мир не переверием, людей не осчастливим. У нас еще будет время все это сделать, от всего этого отречься, все это забыть, над всем этим посмеяться, как над ребяческой мечтой! Давайте-ка, споем! Федя, запевай!

— Нет настроения...— смущенно улыбаясь, тихо ответил Мотовилов.— Лучше выпьем еще по одной...

Но несколько голосов закричало:

— Песню! Песню!

Мотовилова окружили, упрашивали, зная, как хорош его голос. Федор наконец сдался и затянул мягким, грустным тенором:

Золотых наших дней
Уж немного осталось,
А бессонных ночей
Половина промчалась.

Все хором подхватили:

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей,
Пусть студентов семья
Соберется тесней...

...Когда поздним вечером вышли на улицу, Федор сказал Володе:

— Вижу, вам не очень-то понравилась эта компания...

— Я так и не научился пить,— отшутился Владимир.— А трезвый среди пьяных, как известно, всегда чувствует себя неловко...

— Согласен с вами. Но не огорчайтесь,— мягко усмехнулся Мотовилов.— Это, кажется, легчайшая из всех наук, какие существуют на свете. Говорят, вино заглушает боль души. А моя душа устроена почему-то наоборот...

Помолчали.

— Извините, Ульянов,— опять раздался в темноте голос Мотовилова,— мне хотелось бы кое-что спросить у вас о брате. Вы разрешите?

— Да, да, пожалуйста! — ответил Владимир.— Я всегда рад говорить о Саше. Но должен признаться: брат не только мне, но и сестре Анне, которая жила тогда в Петербурге, ничего не сообщал о своих революционных делах. Более того, он тщательно скрывал от всех. И те, кто думает, что я все знаю о революционной деятельности брата, но не хочу о ней рассказывать, ошибаются.

— Я вам верю,— сказал Мотовилов.— На месте Александра Ильича и я бы поступил именно так. Но я хотел спросить о другом. Все говорят: террористы — люди, которые ни во что не верят. А раз в моей душе не осталось никакой веры, может, и я — террорист? Может, и мне надо бомбу швырнуть под карету царя? Это, наверно, смешно, но именно эта мысль удержала меня от самоубийства. Да, да, честно вам говорю,— заметив удивление Ульянова, сказал Мотовилов.— Я и револьвер купил и письма написал, в которых изложил мотивы самоубийства. А тут пришла весть: казнили вашего брата и его друзей. Стыдно мне стало,— вот как они распорядились своей жизнью,— а я... Ну, и разорвал письмо, а револьвера не продал. Может, еще пригодится для другого дела, поважнее... Был у меня единомышленник — студент Рафаил Владимиров. Мы даже решили с ним создать

группу террористов. Но он не выдержал нищеты и недавно, как вы, наверно, знаете, застрелился. А что мне делать? Никак не могу решить...

Долго ходил Владимир с Мотовиловым по городу в тот вечер. О многом говорил с ним. Добрый, тихий Федя с печальными глазами понравился ему. В этом человеке было что-то общее с братом. Так же, как Сашу, его любили все, кто знал. Он, как и Саша, был одним из тех редкостных людей, которые не имели врагов, хотя никогда не поступались своими убеждениями. Не было в Саше только этого неверия, этой смертельной тоски в глазах.

4

Наконец объявили: завтра начнет читать лекции профессор Загоскин. В небольшой аудитории — первый курс юридического слушал лекции на втором этаже правого крыла университета — собрались все. Каждому хотелось послушать человека, которого так хвалили старшекурсники. Интересно и посмотреть на того, кто не только читает лекции, но и издает «Волжский Вестник», нередко публикуя там довольно смелые статьи. Сколько раз газету хотели закрыть за откровенно либеральный дух, но она все держалась благодаря энергии и недюжинному уму издателя.

Еще до начала занятий объявили темы работ на золотые медали по юридическому факультету. Профессор Загоскин предложил тему: «История кодификации в России от издания уложения царя и великого князя Алексея Михайловича до издания свода законов Российской империи». Тема не для Ферлюдина и таких «ученых», как он. Чтобы разработать ее, надо было изучать первоисточники, а не одни справочники. И любители легкой добычи медалей ухватились за тему приват-доцента Виноградского: «Уголовно-судебная экспертиза». А Владимир решил: если он и возьмется написать работу на золотую медаль — ведь Саша писал! — то обязательно по теме Загоскина.

О профессорах студенты знали всё: как они учились в гимназии, как закончили университет, какие научные труды написали. Знали, кто по чьей высокой протекции поднимался в гору. И все это влияло на отношение студентов к своим наставникам.

У профессора Загоскина биография была блестящей: гимназию и университет он закончил с золотыми медалями. В двадцать восемь лет был доктором государственного права, профессором, автором многих научных трудов по истории русского права.

Наслышанный об издателе «Волжского Вестника» и любимом преподавателе студентов, Владимир предполагал, что в аудиторию войдет пожилой человек. И очень удивился, когда на кафедру поднялся мужчина с густой шевелюрой, совсем без седины. Высокий лоб, под широкими черными бровями — умные глаза с тем особенным выражением, какое бывает у человека с добрым, мягким сердцем. Усы, коротко подстриженная, густая, смолисто-черная борода. Оказывается, профессору исполнилось всего-навсего тридцать шесть лет.

Загоскин, поздоровавшись, пристально осмотрел аудиторию, улыбнулся.

— Господа, прежде чем я начну курс, мне хотелось бы познакомиться с вами. Я прочту список. Тех, чьи фамилии я назову, прошу, если вас, господа, не затруднит, вставать. Ни у кого нет возражений? — Все молчали.— Тогда разрешите начать по алфавиту...

И Загоскин стал читать список. Некоторых расспрашивал, в какой гимназии учились. У тех, кто был слушателем год или два на других факультетах, узнавал, по каким соображениям перешли на юридический.

— Ульянов, Владимир Ильич...

Владимир поднялся.

— Закончили Симбирскую гимназию с золотой медалью? — не совсем так, как на других, взглянул на него Загоскин.

— Да...

— Очень приятно,—радушно улыбнулся профессор.— Садитесь, пожалуйста!..

— Наука антропологии и история первобытной культуры,— начал Загоскин лекцию,— свидетельствуют о том, что человек никогда не существовал без объединения с подобными себе существами. Все учения о первобытном естественном состоянии — status natural,— которыми были так богаты XVII и XVIII столетия, следует признать лишь искусственными исходными точками для построения более или менее остроумных теорий и систем естественного права. Человек — это существо, которому наряду

с другими живыми существами свойственны различные потребности, необходимые для удовлетворения целей его существования. Прежде всего — существования физического. Инстинкт каждого человеческого рода подсказывает ему и необходимость пользоваться теми благами, которые так или иначе благоприятствуют удовлетворению этих потребностей. Но что произошло бы с человеческим общежитием, если б люди руководствовались только своими животными инстинктами?

Профессор помолчал, словно ожидая, что кто-нибудь ответит на его вопрос, и продолжал:

— При таких условиях была бы возможна лишь стадная, а не общественная жизнь, которая основывается на взаимном соглашении между отдельными индивидами; на том великом принципе общежития, когда свобода одного лица была бы совмещена со свободою тех, кто его окружает; на общем стремлении не только к материальным, но и духовным целям своего существования. Поэтому проявлением духовной жизни человечества и стало право, которое, базируясь на экономических интересах, присущих каждому человеку, представляет собою совокупность условий для разумной жизни как отдельных индивидов, так и человеческих обществ. Условий именно для разумной жизни, ибо все, что противоречит разуму, не может быть и предметом права...

Говорил Загоскин без конспекта. На память приводил и цитаты. Чувствовалось: профессор едва успевает передавать слушателям поток своих мыслей.

Студенты увлеченно ловили каждое слово. Наконец-то перед ними настоящий ученый, а не чиновник от казенной науки!..

5

До выезда из Симбирска ни Владимир, ни Ольга золотых медалей не получили. Им сказали: документы будут готовы в сентябре. Теперь надо было ехать в Симбирск и получать награды.

Владимир отказался наотрез.

— У меня нет никакого желания,—сказал он,—встречаться со всей этой омерзительной публикой.

Да и пропуск лекций в первые недели занятий мог обернуться большими неприятностями.

За медалями согласилась поехать Оля. Солнечную по-

году вот-вот могли сменить холода. Поэтому она не стала ждать переселения на новую квартиру и собралась в дорогу. Володя написал доверенность, заверил ее у нотариуса. Ведь речь шла как-никак о золоте.

Мария Александровна в это время находилась в Кокушкине, и провожать Олю отправились Володя с Митей.

— Ты не задерживайся долго,— попросил старший брат, прощаясь,— мама будет волноваться. А я почувствую себя совсем виноватым, что сам не поехал...

— Не забудь мой ножик захватить,— в десятый раз повторял Митя.— Я его спрятал в беседке, за скамейкой. А мне он непременно нужен. Слышишь, Оля?

— Да слышу, слышу! — смеясь отвечала Ольга.— Обещаю: не вернусь домой, пока не найду твой ножик. Ну, мальчики, идите — уже третий гудок... Сейчас уберут трап.— Оля обняла Митю, крепко пожала руку Володе.— Ступайте, ступайте...

— Смотри, скорее возвращайся! — крикнул Владимир, когда пароход отошел от пристани.

— Ножик не забудь! — опять напомнил Митя.

Оля махала рукой, улыбалась и что-то кричала, но ее совсем не было слышно. Она видела, что братья долго оставались на пристани и, только когда пароход из устья Казанки вышел на Волгу, затерялись в толпе...

В Симбирске Оля остановилась у Веры Васильевны Кашкадамовой. Она решила еще в Казани — и на этом особенно настаивал Владимир — ни к кому, кроме Кашкадамовой и Яковлевых, не заходить. Даже к подругам... Они-то обрадуются, но их родные могут посмотреть на ее визит совсем иначе... Все, конечно, узнают, что она приехала, и те, кто захочет — и не струсит! — сами придут к ней. Так и получилось: почти все знали, что Оля приехала, а зашла к ней только дочь Стржалковского — Нина. Ее отец работал вместе с Ильей Николаевичем и пережил его всего лишь на два месяца. Старая дружба Стржалковских с Ульяновыми не порвалась и после казни Саши.

Нина пошла проводить Олю до гимназии. По дороге они заглянули на почту, и Оля телеграфировала брату, что доехала хорошо. Только-только они вышли из почтамта, как встретили преподавателя физики Годнева. Поравнявшись с подругами, он, приподняв шляпу, приветливо поздоровался с Ниной. А на Олю даже не взгля-

нул, словно ее здесь и не было. Девушка готова была сказать какую-нибудь резкость, но сдержалась ради подруги. Она-то уедет, а Нине здесь жить. Все и так станут — это уже очевидно — косо поглядывать на Нину за то, что ходила по городу с сестрой «государственного преступника». Оля глубоко вздохнула:

— Какое все-таки счастье, что мы уехали отсюда! Жить среди таких, как Годнев, было бы страшной мукой...

Возле гимназии девушки столкнулись с учителем Егоровым. Тот тоже поздоровался только с Ниной, сделав вид, что не узнал Олю. Ей захотелось немедленно сесть на пароход и вернуться в Казань, чтобы не встречаться со всеми этими трусливыми негодяями. Но ведь если она не получит медалей, ехать придется маме. Значит, все это надо вытерпеть, не перекладывая лишнюю тяжесть на плечи мамы, которая и без того столько выстрадала.

— Я тебя подожду в Карамзинском сквере,— сказала Нина, когда они дошли до мужской гимназии.

— Нет, нет, иди домой, я не уверена, что освобожусь быстро.

— Хорошо. Только обязательно зайди к нам, а то мама обидится...

— Зайду!

Первое, что увидела Оля в вестибюле, была мраморная доска, на которой золотыми буквами перечислялись имена медалистов. Доску успели переделать: имени Саши на ней теперь не было. Не значился на ней и Володя. Это уж было просто смешно! Золотой медалью наградили, а написать имя убоялись. А вдруг и медаль не выдадут? Эта мысль поразила Олю, и она несколько минут простояла в коридоре,— хорошо, что гимназисты на уроках и никто этого не заметил. Что же ей делать: зайти все-таки к директору или повернуть назад?

Но Керенский встретил Олю приветливо. Пригласил сесть, справился, приняли ли Володю в университет. И когда Оля сообщила, что брат уже ходит на лекции, на широком, с резкими чертами лице Керенского появилась улыбка. Он спросил, какой факультет выбрал Володя. То, что он поступил на юридический, Федор Михайлович не одобрил. Он по-прежнему был убежден, что истинное призвание Владимира Ульянова — литература. Никто так хорошо не писал сочинений, как он...

— Буду рад, если он станет учиться в университете так же, как в нашей гимназии,— сказал в заключение Керенский.— А его медаль мы вам сейчас выдадим. Пойдемте в канцелярию...

В коридоре Оля снова встретила учителя Егорова, который, увидев девушку рядом с господином директором, учтиво поклонился. Но теперь она сделала вид, что не заметила его.

В канцелярской книге она написала:

Золотую медаль Владимира Ульянова по поручению его получила 13 сентября 1887 г.

В тот же день Оля получила и свою медаль. На могиле отца она положила возле креста букет георгин. Вручила сторожу пять рублей, как наказывала мама, и попросила, чтобы он присматривал за могилой. С кладбища пошла к родному дому. Но у ворот разволновалась,— такая боль сжала ей сердце, такая тоска... Даже, когда они уезжали из Симбирска, не верилось, что она никогда больше сюда не вернется. И Оля почувствовала: она не в состоянии зайти в дом...

Вспомнила о Митином поручении .. Чтобы не огорчать брата, купила новый ножик. Навестила и других верных друзей — Яковлевых. И как ни просили они хоть немного погостить, Оля в тот же вечер села на пароход. На этот раз она прощалась с Симбирском навсегда...

6

В конце октября Ульяновы перебрались на новую квартиру. Наступили холода. Утром все белело от ночных заморозков. А скоро выпал и снег.

В квартире было холодно и неуютно, и Владимир забегал домой лишь пообедать. Свободное от лекций время он проводил то в библиотеке, то в курилке.

Мария Александровна, как только более или менее устроились на новом месте, поехала в Кокушкино — Аня заболела инфлюэнцей. Чтобы все хозяйство не оставалось на руках одной Оли, из Кокушкина вернулась Варвара Григорьевна.

А через два дня пришла взволнованная тетка — Анна Александровна.

— Где мама? — спросила она Олю.
— Уехала в Кокушкино.
— Когда вернется?
— Должно быть, не скоро. А что случилось?
— Где Володя? — не ответив, спросила тетя Аня.
— В университете... Вернется вечером.
— Ох! — тяжело вздохнула тетка.— Пойдем-ка, Оля, посекретничаем.

Они вышли в другую комнату. Тихо, чтобы не услышала няня, Анна Александровна шепнула: — Опять какие-то неприятности! — достала из сумочки бумагу, подала племяннице.— Вот, смотри: Машу вызывают в полицию. Я просто ума не приложу, что могло случиться?

Оля прочитала повестку и сразу предположила:
— Может, это ответ на мамино письмо? Ведь мама просила вернуть Сашины вещи.
— Слава-те господи! — облегченно вздохнула тетя Аня.— А то я уж и не знала, что подумать. Надо, значит, кого-нибудь посылать в Кокушкино?
— Зачем? Мамин паспорт дома, возьму его и пойду сама. Если не захотят со мной разговаривать, пошлем за мамой. Конечно, я только предполагаю, что речь идет о Сашиных вещах. Может быть, и что-нибудь другое.
— Что же именно? — снова разволновалась тетя.
— Возможно, Ане сократили срок ссылки. Или разрешили отбывать ее в Казани... хотя бы зимой. Надо все разузнать, а тогда уж посылать и за мамой. А то представьте ее состояние: получит вызов в полицию, не зная, по какому делу. Чего только она, бедная, не передумает, пока доберется до Казани. А как разволнуется Аня, если мама уедет... Нет, мне обязательно нужно сходить самой!
— А не лучше ли пойти мне? — спросила тетка.
— Нет-нет, я сама!..
— Ну бог с тобой, иди. Да когда вернешься, сразу забеги ко мне и расскажи, что там такое.

Когда Оля подошла к зданию полиции, она почувствовала, как часто стучит ее сердце. Смело подала повестку дежурному и спросила, к кому должна обратиться. Тот показал, как пройти к полицмейстеру.

Хотя фамилию полицмейстер носил русскую — Панфилов, он напоминал татарина: бритоголовый, скуластый. Косые глаза хитро прикрывались припухшими веками. Он спросил Олю, почему мать не пришла сама, фальшиво посочувствовал: «Ах, как жалко!», узнав, что заболела сестра, посоветовал побольше сидеть дома. Ведь эпидемия распроклятой инфлюэнцы охватила почти всю Казань! Потом достал из стола пакет.

— Вообще-то я не имею права выдавать это письмо вам,— полицмейстер поморгал косыми глазами, притворно вздохнул.— Но ничего не поделаешь,— придется учесть обстоятельства!— он вручил Оле конверт.— Только распишитесь, пожалуйста, что получили письмо по доверенности матери...

Домой Оля не шла, а бежала. К счастью, и Володя вернулся из университета. Они, спрятавшись от няни в комнате Володи, распечатали конверт, прочли письмо. В нем сообщалось: плед и часы, которые остались после казни Александра, проданы. Деньги сданы в казну на покрытие судебных издержек.

7

У инспектора Потапова было два помощника-субинспектора и восемь педелей-надзирателей. А он все жаловался, что у него слишком мало людей. Субинспекторы и педели весь день шарили по коридорам и в аудиториях. И как только им удавалось найти случайно оброненную записку, подслушать дерзкое словечко,— все тотчас доносилось начальству.

Одних педелей можно было подкупить рюмкой водки. Других — пятаком. Третьих — всего лишь папиросой. А педель Поморов был «неподкупным» служакой: брал все, что давали, но все равно доносил.

Поморова — бывшего жандармского унтера — полковник Гангардт выгнал потому, что унтер писал доносы даже на него самого. Опасаясь новых кляуз — а Поморов слишком много знал! — полковник уговорил Потапова взять его педелем. Истинную причину увольнения Гангардт Потапову, разумеется, не сообщил. Состарился, дескать, Поморов, трудно ему конвоировать арестантов, а вот в педелях эта многоопытная персона еще послужит...

Поморов был худ и долговяз. Голова маленькая, уши огромные, как у летучей мыши. Нос перебит и заметно искривлен. Верхняя губа рассечена. И когда на его землистой узкой физиономии появлялась улыбка, казалось, он кого-то передразнивает. Что такое совесть, стыд, он, очевидно, не знал совсем.

Стоит как-то Поморов у двери, приложив к щели широкое ухо, подслушивает. Подходит к нему Полянский и спрашивает:

— Ну что, господин Помро́в,— так звали педеля все студенты,— слушаете лекцию по паразитологии?

— Так точно, слушаю,— криво усмехаясь, отвечает Поморов.

— А за такое слушание, полагаю, можно и оплеуху схлопотать?

— Можно-с,— соглашается Поморов с той же усмешкой.

— Кто-нибудь может, не подозревая, что вы слушаете лекцию, и в физиономию вам плюнуть?

— Плевали,— признается Поморов.— И такое бывало. А я взял платок да и утерся...

Владимир однажды видел, как Поморова отливали водой. Подслушивал он, по обыкновению, под дверью. И то ли зазевался, то ли кто-то специально подстроил, как вдруг дверь, распахнутая гурьбой студентов, которые выходили из аудитории, так бахнула Поморова по голове, что он потерял сознание. Неделю ходил с забинтованной головой, а студенты с притворным сочувствием спрашивали:

— Что же у вас, господин Помров, врачи нашли?

— Сотрясение мозга,— со смешной гордостью отвечал педель.

— Вот так чудо! В вашей голове и вдруг — сотрясение мозга. Это, знаете ли, прямо открытие...

— А череп у вас не треснул?

— Нет! Только в правом ухе все звенит.

— А ежели зазвенит и в левом?

— Придется, должно быть, уйти на пенсию.

— А как же мы без вас останемся? Нет, вы на пенсию не уходите. А то и университет закроют! Посмотрит-посмотрит министр, да и скажет: «Ежели нет там моего По-

мрова, не нужен и весь университет». Так что уж вы, пожалуйста, нас не бросайте...

Полное удовлетворение получал Поморов, когда удавалось изловить кого-нибудь, одетого не по форме. Он прямо-таки сиял, увидев, что студент скрывает под тужуркой крамольную красную рубаху. Бежал как очумелый доложить инспектору: найден новый кандидат для карцера.

А когда вел дерзновенного краснорубашечника в карцер, вид у него был такой, словно конвоировал по меньшей мере цареубийцу. И весь день после сего торжественного акта ходил именинником. И за эту «страсть» к красному студенты его проучили.

Лестницы правого крыла университета были построены так, что снизу легко просматривались коридоры второго и третьего этажей. Глянул однажды Поморов наверх, и — о радость! — кто-то, опираясь на перила, освещенный сквозь стеклянную крышу, стоит в красных штанах. Ну, теперь благодарность инспектора обеспечена! Это надо же — не в рубахе, спрятанной под тужуркой, а в красных штанах вместо форменных! Поморов помчался наверх.

Забрался на третий этаж, перевел дыхание. Но красных штанов нигде не видно. Что такое? Неужто примерещилось? Еще раз оглядел аудиторию — нет красных штанов, да и только. Пошел вниз. Глядь — опять наверху красные штаны!

Семь раз бегал он наверх, а красные штаны то появлялись, то исчезали. К восьмому разу у него не хватило сил взобраться на третий этаж. Он стоял внизу и словно завороженный смотрел на красное. А потом поплелся за субинспектором Войцеховичем. Но штаны больше не показывались, хотя они вдвоем долго и пристально смотрели наверх.

Войцехович что-то сердито сказал Поморову и ушел. Студент в красных штанах тотчас появился снова.

Поморов, растерянно моргая, смотрел снизу на страшный призрак. Потом крикнул, не имея сил подняться наверх:

— Эй, кто там в красных штанах! Сойдите-ка сюда!

Вокруг Поморова стали собираться студенты. Спрашивали, кого он зовет? Почему так волнуется? И уверяли: никаких красных штанов они на третьем этаже не ви-

дят. Советовали обратиться к университетскому врачу. Ведь когда человеку мерещится что-то красное,— дело плохо. Значит, у него начинается «красная горячка», ее не избежать тому, у кого было сотрясение мозга.

А объяснялось «чудо» просто. Студент Константин Алексеев, отсидев за красную рубашку три дня в карцере, решил «отблагодарить» Поморова. Он сшил красные брюки из самой тонкой материи, да так, что их можно было сбросить в одно мгновение. Надел в аудитории на форменные брюки и вышел в коридор. И начался, как он рассказывал, бой тореадора с быком. Пока Поморов поднимается наверх, Алексеев заскочит в аудиторию, сбросит кощунственные штаны и спрячет в карман. Спустится педель вниз,— снова напялит их...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Министр просвещения Делянов по-прежнему стремился, елико возможно, изгонять из университета «неблагонадежных», высылать их подальше от университетских городов.

Получив телеграмму Масленникова с просьбой убрать из Казани курсисток, Делянов незамедлительно отправился к графу Толстому: министр внутренних дел обладал правом на подобные начальственные «мероприятия».

По дороге к графу Делянов, как издавна было заведено, заехал к Победоносцеву. Обер-прокурор синода хворал и еще больше, чем обычно, был всем недоволен. Жаловался, что в Гатчине к нему теперь не прислушиваются. Государя, твердил он, окружили бесчестные интриганы...

Делянов слышал эти жалобы тысячу раз, но угодливо улыбался да кивал дынеобразной головой:

— Так... Именно так!

— Один граф Толстой и заботится о государственных делах,— закончил Победоносцев свою тираду.— Только он и проявляет твердость духа. Но я прихожу в ужас, когда вспоминаю, что по здравию своему он уже одной ногой в могиле. Где найти замену, когда его не станет?

— Да, выглядит Дмитрий Андреевич очень худо,— сокрушенно согласился Делянов.— И я сам от него слышал: не подает в отставку, дабы довести до конца в государственном совете свой проект о земских начальниках...

Говорил Делянов, как всегда, не то, что думал. На самом деле на высоком посту министра внутренних дел графа Толстого удерживали отнюдь не законопроекты государственного значения, а положение всевластного первого министра империи, шестьдесят тысяч годового оклада, казенные апартаменты...

Делянов, как и все другие министры, завидовал Толстому, боялся его, ненавидел. Но всячески лебезил перед графом.

Толстой же, не скрывая презрения к Делянову, окрестил его «армянским нулем».

— Ну, что вас, Иван Давыдович, опять привело ко мне? — не поднимаясь с кресла, спросил Толстой, подав Делянову костлявую руку, холодную, точно у мертвеца.— Садитесь, пожалуйста. Я сегодня, как видите, чувствую себя неплохо.

— Так точно, Дмитрий Андреевич, выглядите вы значительно лучше, чем на прошлой неделе,— лгал Делянов, льстиво улыбаясь.— Заметно лучше, и я очень рад...

Это была правда: Делянов хоть и терпеть не мог Толстого, но панически боялся часа, когда этот полумертвец отдаст душу господу богу.

В будущем году исполнялся пятидесятилетний юбилей верноподданнического служения Делянова «престолу и отечеству». Он мечтал о вожделенном титуле графа. Говорил об этом с Толстым, и тот пообещал исходатайствовать царскую милость...

— А привело меня к вам, ваше сиятельство,— сказал Делянов,— крайне важное дело. Через несколько дней в Казанском университете — торжественный акт. Попечитель и инспектор принимают все меры, чтобы торжество прошло без всяких инцидентов, которыми столь часто омрачает наши университетские акты злонамеренная агитация нигилистов. Из телеграммы, которую я сегодня получил от попечителя Казанского учебного округа, видно: крамольники могут использовать акт в своих преступных целях. А посему попечитель Масленников просит незамедлительно выдворить из города девиц-нигилисток Ам-

барову и Белову. Их, сообщает Масленников, в прошлом году выслали в Казань из Петербурга.

Граф позвонил. Дежурный офицер мгновенно появился в дверях.

— Пригласите ко мне Дурново! — распорядился министр.

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

Когда директор департамента полиции явился, Толстой запросил дела высланных в Казань Амбаровой и Беловой.

— Вот видите, Иван Давыдович, я, оказывается, был прав: наши хваленые женские курсы готовили лишь одних нигилисток,— твердил Толстой.

— Да, да, хорошо сделали, прекратив в прошлом году прием на них,— поддакивал Делянов.— Хотя, как вам небезызвестно, это кое-кому не понравилось.

— Понравилось или нет,— сердито перебил Толстой,— но я не допущу, чтобы наших девиц превращали в обезьян. Государь и государыня всячески меня поддерживают в этом...

Граф не преувеличивал. И царь и царица были решительно против высшего образования для женщин.

Царица так всем и говорила:

— Не понимаю, зачем женщине высшее образование? Оно только портит и развращает...

Пришел Дурново с делами Амбаровой и Беловой. Граф, просмотрев их, нахмурился и раздраженно спросил:

— Кто же приказал выслать этих нигилисток в университетский город?

— Генерал Оржевский, как видно по резолюции,—доложил Дурново.

Графа передернуло: опять бывший шеф жандармов! Долго он не мог избавиться от этого интригана, но, свалив на него всю ответственность за покушение, подготовленное группой Ульянова, наконец выгнал.

— Только такой болван, как генерал Оржевский, и мог это сделать! — желчно буркнул граф.— Обе милые особы, как видно по их делам, состояли в подпольном «Товариществе санкт-петербургских мастеровых»... За одно это их следовало загнать в Сибирь лет эдак на пять... Кроме того, они участвовали и в добролюбовской демонстрации. В той самой, листовку о которой, как уста-

новило следствие, написал Ульянов. Сестра Ульянова училась на тех же курсах, где и эти девицы. Вот вам круг и замкнулся!

— А теперь они в Казани, куда переехали Ульяновы,— вставил Делянов.— И отнюдь не исключена возможность, что они связались и с сестрой Ульянова, и с его младшим братцем в Казанском университете.

— А зачем вы его туда допустили? — сердито спросил Толстой.

— Это сделали, не посоветовавшись, к сожалению, со мной,— спохватился Делянов. Он был сам не рад, что проговорился.— Придется серьезно заняться Казанским университетом. В будущем году намерен туда съездить.

— И хорошо сделаете! Когда я принял пост министра просвещения и объехал учебные заведения волжских городов, сразу убедился: именно там крамола начинает вить свои гнезда, а потом, окрепнув, переносит вредоносную деятельность в Петербург. И смотрите: Каракозов— из Казани. Ульянов — из Симбирска...

— Лучше всего было бы, конечно, закрыть университет в Казани. Туда-то и лезут дети бедняков,— подхватил Делянов. Он отлично знал: граф готов уничтожить все университеты.— Но что скажет Европа?

— Вот в том-то и беда наша — вечно оглядываемся на Европу,— обозленно воскликнул Толстой.— Оглядываемся, забывая, что почти всюду там конституции, а у нас, слава богу, самодержавный строй, без которого Россия погибнет... И этой очевидной истины, к сожалению, многие не понимают, о чем я не раз докладывал государю.

Воспользовавшись паузой, Делянов снова спросил:

— Могу я быть уверен, ваше сиятельство, что означенных нигилисток вышлют из Казани?

— А когда акт? — спросил граф.

— Пятого ноября, ваше сиятельство.

Граф повернулся к Дурново и распорядился:

— Немедленно телеграфируйте губернатору! И предупредите — об исполнении приказа доложить. А то Андреевский, кажется, ничуть не лучше своего кузена, экс-ректора... Вас, Петр Николаевич,— сказал Толстой, возвращая Дурново бумаги,— более не задерживаю. Прошу прощения и у вас, Иван Давыдович,— с трудом поднимаясь с кресла, сказал Толстой...

2

Оля сияла: Володя пригласил ее на вечеринку землячества, где собирался выступить.

А Сергей Полянский попросил разрешения зайти за ней, если, конечно, она не возражает. Боже! Кажется, никогда ничего ей так не хотелось, как оказаться в кругу друзей брата. Почти все, с кем Володя подружился, ровесники Саши. Все преклоняются перед ним. Называют стоиком, образцом революционера, которому убеждения были дороже жизни. Нет, Саша не умер! Он живет, он борется, если его примеру следуют, если у него учатся самоотверженности, с какой надо отстаивать свои убеждения...

Приближался вечер, а Владимир из университета не вернулся. Оля нервничала: неужто о ней забыли? И Сергей почему-то не заходит. Но Володина тетрадка дома. Вот тщательно переписанный конспект выступления. Вчера брат просидел над ним всю ночь: что-то перерабатывал, дополнял, читал и перечитывал статьи Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

Еще в Кокушкине Володя штудировал очерки политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского. Саша недаром советовал ему, прежде чем засесть за «Капитал» Маркса, изучить труды Чернышевского по политической экономии.

Володя тогда увлеченно говорил сестре о Чернышевском:

— Как энциклопедичны знания этого человека! Как ярки его революционные взгляды! Как беспощаден полемический талант! И все это он сделал в тисках цензуры! Только когда перечитаешь его статьи по нескольку раз, находишь ключ для безошибочной расшифровки...

За окном совсем стемнело, няня зажгла свечи, а Володи все не было. Оля вскакивала от каждого стука калитки. Господи! Что это стряслось? Не мог же Володя забыть и о ней, и о вечеринке, где должен выступать? Перенесли на другой день? Что-нибудь случилось с Володей? Волнение Оли, которая места себе не находила, передалось и няне. Теперь они вдвоем прислушивались к каждому шороху. Но вот наконец-то знакомый стук в окно!

— Володя! — радостно крикнула Оля и помчалась к дверям.

— Как хорошо, что ты меня встретила! — сказал Владимир.

— Что случилось? — уловив в голосе брата непривычные нотки, спросила Оля.

Владимир огляну лся, не подслушивает ли кто-нибудь, и тихо сказал:

— Амбарову и Белову арестовали!

— За что? — удивилась Оля.— Когда?

— Два часа тому назад, сказал мне Сергей, а за что — можно только догадываться. Кроме Амбаровой и Беловой, арестовали еще нескольких женщин. А еще раньше — Николая Баранова, убежденного социалиста, с которым они были связаны. Возможно, при следствии по делу Баранова что-нибудь выплыло и о них. Но все это предположения! Вполне вероятно, что их предал тот же Ферлюдин. Ведь они не раз выступали в кружках землячеств. Это изменило все наши планы...

— Так вечеринки не будет?

— Сегодня, конечно, нет. Кое-кто думает, что после арестов начнется новая чистка университета. Найдутся и формальные обстоятельства,— выяснится, например, что кто-нибудь член землячества. Вот и все. Подписка дает полное право исключить из университета. Ну, пойдем ко мне! Мама не приехала?

— Нет. Пришло письмо от Ани. Чувствует себя значительно лучше. Просила маму вернуться в Казань, а мама и слышать об этом не хочет, считает ее еще больной. Так думает и доктор. О нас все соскучились. Просят приехать...

— Надо, надо их навестить! Может, и вы, Варвара Григорьевна, съездите с нами в воскресенье?

— А на кого дом оставим?

— Няня, ведь это не наш дом! — засмеялся Владимир.— Привыкайте к тому, что у нас соседи. Есть здесь и хозяйка...

— Легко тебе говорить: «Привыкайте». А ежели никак не привыкается? Ну, что — ужинать будешь? А то Оля ждала ждала тебя, и не пообедала. Только Митя покушал, как из гимназии вернулся. А потом убежал к Ардашевым, да до сих пор и нету.

— Знает, что вы маме не пожалуетесь, потому и разгулялся,— сказал Владимир.

— Да, не умею я жаловаться,— посетовала няня.— А надо бы сказать Марии Александровне, чтоб знал, как не слушаться. А ты куда? — заметив, что Владимир не садится к столу, а идет в свою комнату, спросила няня.— Садись-ка, поужинай, а то как бы и на тебя не довелось рассерчать.

— Наливайте, Варвара Григорьевна, я сейчас!

— Ох, знаю я это твое «сейчас»! — грустно покачала головой няня.— Знаю...

И все-таки отправилась на кухню за ужином. А Ольга и Владимир, запершись, принялись пересматривать книги и журналы.

Сергей посоветовал Володе:

— Надо «почиститься» самим, пока этого не сделала полиция.

Впрочем, ничего особенно опасного у Владимира не оказалось. Только книги и журналы, которые раньше издавались вполне легально, а сейчас — под цензурным запретом. Жаль, если их заберут! Да могут и прицепиться: зачем сохранял? Зачем читал, если все это запрещено? Ведь известно: все самое мудрое и самое полезное дозволено начальством. Вот единственная на святой Руси истина, которая не нуждается ни в каких доказательствах...

3

В «Волжском Вестнике» появилось сообщение:

> «Годовой акт Казанского университета состоится, по традиции, 5-го ноября. Торжество почтит своим присутствием новый городской владыка, его Высокопреосвященство, член святого синода архиепископ Казанский и Свияжский. Его Высокопреосвященство выразил желание лично служить литургию, которая состоится в университетской церкви».

Студенты злословили:

— Теперь осталось превратить университет в духовную академию. Вот тогда бы инспектор спал спокойно!..

Но в объемистую бочку меда ненароком угодила кап-

ля дегтя! Вместо «Императорского Казанского университета» газета напечатала просто: «Казанского...» За такое оскорбление императора попечитель Масленников сделал очередное «внушение» нерадивому Загоскину.

Суеверный помощник попечителя Малиновский увидел в этом плохую примету. Он говорил профессору Щербакову:

— Хотя Потапов и уверяет, что акт пройдет спокойно, я не верю. Он окружил себя такими помощниками и педелями, которые боятся сказать ему правду. Да и ума у них не хватит, чтобы вовремя разгадать замыслы хитрых и многоопытных в подобных затеях студентов. Разве может безграмотный педель перехитрить студента? Масленников, по обыкновению, слег. Значит, на акт опять придется идти мне... Ну что вы скажете?..

На другой день после того, как газета опубликовала сообщение о торжественном акте, кто-то вывесил в курилке объявление:

«Студенты! Просим внести, кто сколько может, на венок господину инспектору. Всем известно, как заботился о нас покойный, как его все любили. Он совершил для университета столь много, что лучше не перечислять всего, а то от наших похвал он и в гробу перевернется. Только прошлой весной, по его требованию, были исключены из университета: Быховский, Гончаров, Войцеховский, Барсов, Гайнобург, Зимин, Женжурист, Соколов, Станкеев, Шестаков. Все они глубоко благодарны покойному. Ведь он их, как сам говорил, спас от тюрьмы и, добавим мы, от науки. Покойный, как детей родных, любил своих ближних, то есть педелей,— он с готовностью помогал всем, даже и тем, кто отнюдь не хотел этого делать, покинуть университет.

То, что наука потеряла в лице покойного, перечислить невозможно, потому что никаких его заслуг не существует. Одно его творение должно было появиться — речь над могилой любимого педеля Помрова. Но поскольку инспектор отдал господу богу свою бессмертную душу раньше, чем его клеврет, то и это произведение так и осталось в гениальной голове ученого. Велика, невосполнима потеря, ибо кто же мог сеять что-нибудь разумное, доброе и вечное, как не сам господин инспектор?

Поскольку вынос тела покойного из актового зала университета состоится 5-го ноября, то есть как раз в

день акта — и умудрился же почить именно в дни таких торжеств! — убедительно просим всех внести на венок свою посильную лепту».

Прочитав объявление, тотчас же сорванное педелями, Потапов позеленел от ярости. Хотелось помчаться к попечителю, но разумней было сжечь гнусную бумажонку и никому не показывать — меньше позора. До чего додумались, мерзавцы! А как прикажете это понимать: «вынос тела покойного состоится в день акта?» От таких негодяев можно ожидать всего что угодно. Ведь два студента покончили с собой, и крамольники воспользовались этим: распускают слухи, что до самоубийства довел их именно инспектор. Где гарантия, что не найдется еще один сумасшедший, который выстрелит не в себя, а в него? Или так: убьет его, а потом и себя?

— Вы что-нибудь узнали об арестованных? — спросил Владимир Полянского, как только встретился с ним утром в университете.

— Да,— мрачно ответил Сергей.— Всех выслали из Казани!

— Куда?

— Никто не знает. Обысков не было. Да, наверно, теперь и не будет... А ежели так, значит, их выслали, заподозрив по чьему-то доносу, что они подстрекают студентов сорвать акт.

— Мерзкий произвол! — возмущенно воскликнул Владимир.

— Что поделаешь,— пожал плечами Полянский,— в таком царстве-государстве живем...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Архиепископ, сухонький, угрюмый старичок, увидев, что церковь почти пуста, сердито спросил ректора старчески шамкающим голоском:

— Разве литургия назначена позднее?

— Нет, ваше высокопреосвященство,— смущенно ответил Кремлев.— Вы пожаловали своевременно.

— А где же тогда студенты? — удивленно приподнял седые брови архиепископ.

— Инспекция считает, ваше высокопреосвященство,— сообщил Кремлев,— что студенты имеют право на акт не являться.

— Странно! — сказал озадаченный владыка. Он был уверен: в церковь набьется столько народу, что иголке некуда будет упасть. А тут извольте служить литургию в присутствии какой-нибудь полусотни рабов божьих.— Почему же вы меня не предупредили? Может быть, мне не следовало приезжать?

— Ваше высокопреосвященство, как ни удивительно, но я лишь сегодня утром услышал о распоряжении инспекции,— с искренним возмущением признался Кремлев.— Инспекция действует по указаниям господина попечителя, а не ректора.

— А господин инспектор здесь? — спросил архиепископ.

— Нет!..— ответил Кремлев и, помолчав, добавил не без иронии: — Не почтил акт своим присутствием, как видите, и господин попечитель.

— Они что же — неверующие? — нахмурился архиепископ.

— На этот вопрос, ваше высокопреосвященство,— тонко улыбнулся Кремлев,— лучше всего могут ответить они сами. Вас же все мы, ваше высокопреосвященство, просим, если вам будет угодно, отслужить литургию. Будем весьма признательны, коли вы почтите своим высоким присутствием и акт...

Пришлось архиепископу служить литургию в полупустой церкви. Вслух возносил молитвы господу богу, а про себя ругательски ругал попечителя, который пригласил его в университет, а сам пожаловать не соизволил.

Архиепископ, уже сочиняя в уме жалобу обер-прокурору синода, не подозревал, что Масленников — креатура Победоносцева. Из директоров гимназии на пост попечителя он попал по протекции монахини — родственницы своей супруги. Студенты, узнав это, окрестили Масленникова «Афонским монахом». Прозвище было метким — попечитель очень походил на святошу. Постная, обрюзгшая физиономия, прилизанные волосы, расчесанные на пробор,— во всем этом было что-то поповское.

В университете царила тишина. И те пятьдесят (из де-

вятисот десяти!) студентов, которые забрели на акт, притаились в темных уголках. Вид у них был явно сконфуженный: они точно извинялись перед товарищами за то, что пришли... Отстояв литургию, все собрались в пустом актовом зале...

После речи профессора Бердникова — «Форма заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии» — прозвучали жиденькие аплодисменты. Речь оказалась заурядной лекцией по курсу церковного права. Бердников читал его и в университете, и в духовной академии.

Несколько оживился зал, когда ректор Кремлев стал выдавать студентам золотые медали. Только эти студенты и чувствовали себя хорошо, не опасаясь осуждения со стороны товарищей: им полагалось прийти на акт — получить награды.

Едва закончился акт, как к Потапову со всех ног помчался субинспектор Войцехович доложить, что никаких инцидентов не произошло.

Восемьдесят вторая годовщина основания университета праздновалась в пустом зале, но зато тихо и мирно.

Потапов послал Войцеховича к Масленникову с запиской, уведомляя: акт «отпразднован вполне благополучно». Но попечитель все же не отпустил охрану от своей квартиры. То, как прошел акт, еще ничего не означало. Студенты и ночью могут бог знает что выкинуть!..

2

На другой день Масленников отправил Делянову пространное донесение. Жаловался на губернатора и полицию. Не посчитавшись, сетовал попечитель, с его настойчивыми просьбами, полиция все-таки допускала студентов в пивные, их там было полным-полно. «Из этого,— утверждал Масленников,— я могу сделать вывод, что полиция не получила соответствующих указаний от губернских властей». На вечере в здании дворянского собрания читались стихи. А он на это разрешения не давал. Да и сами стихи были «чрезвычайно неуместны для публичного исполнения, ибо превратно действовали на возбуждение студентов».

В заключение Масленников писал, что отныне не разрешит никаких студенческих вечеров. Так будет спокой-

нее! Одно жаль: неизвестно, каких студентов наказать — от полиции на этот счет он соответствующих сообщений не получил. О том же, что ни он сам, ни Потапов, ни подчиненные ему субинспектора на вечере не отважились появиться,— Масленников скромно умолчал. А чтобы выгородить себя, привел пространные выписки из своих распоряжений. Вот, дескать, как проницательно он все предвидел, всех предостерегал, всех предупреждал...

Получив донесение из Казани, Делянов облегченно вздохнул: по крайней мере хоть один акт обошелся без очередной «студенческой истории». Он тотчас доложил царю. Александр Третий, угрюмо выслушав министра, заметил:

— Значит, вы уверены, что и в других университетах акты пройдут спокойно?

— Так точно, ваше величество,— заискивающе отвечал Делянов.— В казанских студентах, как все говорят, играет пугачевская кровь. И все-таки акт прошел тихо и мирно. Это свидетельствует, что нигилисты в Казанском университете свое влияние потеряли. Из донесений попечителя других учебных округов видно: студенты поумнели. Поняли, куда их может завести крамола. Казнь Ульянова и его группы — суровый урок для всей молодежи. Думаю, студенческие истории, которые приводили к закрытию университетов, более никогда не повторятся...

— Дай бог, чтобы так было,— буркнул царь.— А то наши университеты словно государство в государстве. Заговоры, бунты, демонстрации... Черт знает что! Ни в одной стране студенты так упрямо не лезут в политику, как у нас. Даже в тех государствах, где конституционные порядки. А у нас им до всего дело. Они пролезают во все щели, как тараканы! Хватаются за бомбы! Позор! А все потому, что допускаем в университеты детей вчерашних крепостных мужиков, кучеров да кухарок. Ведь Ульянов, как он сам признался, готовил в университет незаконного сына какой-то акушерки. А на днях спросил я своего кучера, где его старший сын? И вдруг слышу, поступил в университет и от родителей отрекся. Хотел я выгнать старого дурня, да государыня заступилась... Ну, видели вы эдакого мерзавца? Сам мужик неотесанный, а сына сует в университет!

— Ваше императорское величество, так было, но больше не будет,— заверил Делянов.— После моего цир-

куляра, на который вы изволили дать высокое согласие, ни один простолюдин не будет принят в университет. Множество сыновей бедняков,— докладывают попечители,— после повышения платы за обучение бросают университеты и возвращаются к делам, которые отвечают их званию. А все они и есть те неблагонадежные элементы, из каковых крамола пополняла свои ряды...

3

В воскресенье Владимир и Ольга отправились в Кокушкино. Митя, конечно, тоже просился, но его не взяли — так он кашлял. Опасались, как бы еще больше не простудился. Вообще, Митя осенью то и дело хворал. Няня считала, что виновата в этом Казань. В Симбирске он-де и знать не знал болезней. Няня жаловалась, что и у нее болят ноги, и на все лады ругала Казань, где, куда ни кинь, все болота да болота. В топях одного Булака — тыщи всяких напастей. Оттуда не ровен час и сама холера может броситься на людей...

— Все-то вам, Варвара Григорьевна, здесь не нравится! — сказал Владимир.

— А что ж в этой Казани хорошего? Ничего! Симбирск куда лучше,— не сдавалась няня.— Не знаю, как вы, а я бы хоть завтра туда вернулась. Да еще в свой дом. Господи! Да разве можно его сравнить... с этой распроклятущей сырой, холодной да тесной квартирой...

— Да, няня, такого чудесного дома, как в Симбирске, у нас уже никогда не будет,— отвечал Владимир.— А все-таки Казань, на мой взгляд, лучше Симбирска. Несравненно лучше!

— Да чем же она так тебе понравилась,— удивилась няня.— Чем приворожила?

— Об этом, Варвара Григорьевна, рассказывать долго, а нам время ехать,— улыбнулся Владимир.— Оля! Не забыла, что нужно привезти из села?

— Не забыла,— сказала Оля,— у меня список,— и спросила няню: — А зачем так много картошки?

— Как зачем? — удивилась няня.— А чем же мне вас кормить? Того мешка, что привезете, и на месяц-то не хватит. Если бы хозяйка позволила пользоваться ее погребом, я бы заказала не один мешок, а три.

— Хорошо, Варвара Григорьевна! Все ваши распоря-

жения будут выполнены,— пообещал Владимир.— Поехали, Оля!

— А меня, значит, так и не возьмете? — спросил Митя.— Так и оставите одного?

— Митя, дружище! — попытался утешить брата Владимир.— Пойми, пожалуйста, мы бы обязательно взяли тебя, будь ты здоров. Для меня, например, нет ничего приятнее ехать куда-нибудь вместе с тобой. Да, боюсь, тебе — а еще больше мне! — достанется от мамы, если мы в Кокушкино привезем тебя больного...

— Ох, Митенька, и не везет же тебе в этой Казани, чтоб ей пусто было! — воскликнула няня.— Ну поезжайте, а то и лошади застоялись, да и возчик чуть не пляшет от холода. Сами-то не простудитесь! Закутайтесь теплее!

— Не волнуйтесь, няня! — сказал Владимир с озорными искорками в глазах.— Оля наденет папин тулуп, а я до самого Кокушкина побегу за санями. Вот и не замерзнем!

— Шути, шути! — пригрозила няня Володе, как маленькому.— А ты, Оля, приглядывай за ним, не то отморозит уши, да и не заметит. С Ильей Николаевичем было так. Приехал из Порецкого, а уши-то белым-белы... Мы давай снегом оттирать. Терли, терли, да ничего не помогло. И потом все жаловался: мерзнут, мол, очень! Хоть и морозу большого нет, а мерзнут...

Митя видел в окно, как Володя и Оля уселись в сани. Потом возчик дернул вожжи и вскочил на свое место. Бубенчики весело зазвенели, словно звали Митю: «Поехали с нами! Поехали!» Никогда-то он не ездил так далеко на санях...

День выдался солнечный, с небольшим морозцем. Лошади попались добрые и по хорошо накатанной дороге бежали быстро. Оля в валенках и отцовском тулупе сидела, словно на отменно протопленной печи. А Владимир не раз соскакивал с саней и бежал рядом, чтобы согреться.

— Напрасно,— шутил он,— нанимали возчика! Можно было добежать скорее...

Возле самого Кокушкина навстречу промчалось на тройке начальство. Лаишевский исправник, собственной персоной!.. Он, наверно, навестил Аню, не доверяя уряднику, от которого ежедневно получал рапорты о поднадзорной.

Владимир не знал, что урядник пожаловался на Аню. Неучтива, мол. Не допускает его в свою комнату. Приходится передавать книгу для расписки через мать. А в инструкции прямо обозначено: убедиться, на месте ли сосланная. Взять подписку. Вот тогда он будет твердо знать: не сбежала, и другим докажет — в такой-то, мол, день оставалась на месте, потому как вот и ее подпись. А может, кто-нибудь за нее расписывается, а ее и след простыл? Мать говорит — больна, и доктор распорядился никого из чужих не допускать. Расспросить бы доктора, но до него пятнадцать верст с гаком. Может, и дома не застанешь!.. Лучше сделать, как положено: заметил неладное — незамедлительно доноси исправнику.

Всегда бывало так: не успевали бубенчики забренчать во дворе, как навстречу выбегали Маняша и Аня, выходила мама. А сейчас никто не показывался. Не расхворались ли все?

Владимир помог сестре выкарабкаться из тулупа и помчался во флигель.

Маняша, завидев его, повисла на шее, весело закричала:

— Володя! Володя!..

Из другой комнаты выбежала Аня. За ней — мама. Владимир передал Маняшу Оле, обнял мать и сестру, спросил:

— А почему не встречали?

— Мы подумали: исправник вернулся,— объяснила Аня.— Они мне так опостылели, что я смотреть на них не могу спокойно. С каждым днем придираются все больше. Ну, хватит! Это мой крест, который я должна нести еще не один год. Раздевайтесь! Рассказывайте, что у вас там нового?

— А почему Митю не взяли? — спросила Мария Александровна.

— Он, мама, очень кашляет, и няня не пустила,— ответил Владимир...

Когда все домашние новости были рассказаны, Аня принялась расспрашивать брата об университете.

— Только профессора Загоскина и можно слушать,— сказал Владимир.— А сидеть приходится на всех лекциях — педеля следят в оба, кто посещает университет, а

кто манкирует. Инспектор, гнуснейший тип, окружил себя шпиками. Впрочем, его проучили. Бойкот акта провели так, что он боялся и нос высунуть из квартиры. Вообще, должен тебе сказать: приятного в университете маловато. Ну а как ты, Аня, здесь?

— Хвораю, хандрю!..— горько усмехнулась Анна.— Когда мне объявили, что высылают на пять лет в деревню, я, просидев столько месяцев в тюрьме, подумала: «Да разве это наказание?» А вот теперь вижу, как глубоко ошиблась. Читаю и перечитываю Надсона. Помнишь его строки:

Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем,
Нас томит безверье, нас грызет тоска...
Даже пожелать мы страстно не умеем,
Даже ненавидим мы исподтишка!..

— Но у Надсона есть и совсем другие стихи,— возразил Владимир:

О, проклятье стонам рабского бессилья!
Мертвых дней унынья после не вернуть!
Загоритесь, взоры, развернитесь, крылья,
Закипи порывом, трепетная грудь!

— Да, есть и такие строки,— грустно согласилась Аня.— Но, мне кажется, те, которые я вспомнила, искреннее и точнее. Хоть это и зависит от того, с каким настроением и какими мыслями читаешь... Когда-то я плакала над тем, над чем сейчас смеюсь. Ну есть ли на свете существо легкомысленнее меня?..

— Аня, ведь ты сама писала стихи,— заговорила Оля.— Почему бы тебе не заняться поэзией всерьез?

— Пытаюсь, да ничего не выходит,— помолчав, призналась Аня.— Нет в душе моей того огня, какой нужен для стихов... Не получается...

— Не прочтешь нам что-нибудь? — спросила Оля.

— Мой первый и единственный читатель — тот самый огонь, которого мне не хватает,— ответила Аня.— Все, что выходит из-под моего пера, сразу летит в печь...

— И напрасно! — огорчился Владимир.— Бывает, и авторы ошибаются. Вспомни: Гоголь отрекся от всего, что писал... Нет, ты все-таки хоть что-нибудь оставляй. Мне и Саша говорил: есть в тебе искра поэзии...

В комнату вошла мать, позвала к столу. Как она исхудала! Заметив, что Володя пристально смотрит на нее,

Мария Александровна улыбнулась. На лице показались морщины, которых раньше не было. Постарела за полгода!

Послезавтра восьмое число — день казни Саши. Володя вспомнил о письме из полиции и не знал, как поступить: сказать о нем маме здесь или в Казани? Нет, надо рассказать сейчас...

Мария Александровна выслушала сына спокойно. Прочитала письмо. Долго все молчали. Притихла даже Маняша, которая, прижавшись к Оле, все время о чем-то с ней шепталась.

— Как все-таки подлы эти люди,— нарушила скорбное молчание мать,— не могли даже сообщить, где его похоронили!.. Все, все у них построено на обмане...

4

Вернувшись из Кокушкина, Владимир прочитал в «Волжском Вестнике»:

> «Самоубийство студента. Вчера, около трех часов пополудни, в «Степановских номерах» (квартира 9), что на углу Рыбнорядской и Малой Проломной улиц, выстрелом из револьвера покончил свою жизнь студент Казанского университета второго курса юридического факультета Федор Андреевич Мотовилов».

Владимир не поверил своим глазам. Еще раз прочитал заметку. Нет, нет, это — Федя! Он позвал:

— Оля! Оля!

— Что случилось? — встревожилась она, заметив, как побледнел брат.

— Застрелился Федя Мотовилов...

— Не может быть!

— Я тоже не поверил. Но вот в газете написано. Послушай...

Владимир прочитал заметку.

— Это... это невероятно...— дрогнувшим голосом сказала Оля, которая хорошо знала доброго, сердечного Федю Мотовилова.— Ужасно! Мне трудно представить, как это могло случиться!..

— Он покончил с собой в день акта! И это не случайно!

— Неужели он решил так выразить свой протест? — тихо проговорила Оля.— Я так и вижу его добрые, грустные глаза. Ни у кого, кажется, не было таких глаз...

— Пойду к Сергею! — сказал, одеваясь, Владимир.— Он наверняка знает больше, чем написано в газете...

У Полянского уже набилось полно народу.

—...Долгов у Феди не было. Деньги, которые ему недавно прислали из дому, он, как обычно, роздал всем, кто просил,— рассказывал Сергей.— Кроме приведенной в газете записки — ее, к сожалению, забрала полиция,— была еще просьба никого в его смерти не винить. На столе валялась газета с письмом другого самоубийцы. Федя, должно быть, прочел письмо — несколько строк подчеркнуто тем же карандашом, каким написана и записка.

— А где газета? — спросил Владимир.— Тоже забрала полиция?

— Нет, вот она.— Сергей протянул смятый листок.

Владимир просмотрел подчеркнутые строки: «Борись, а не прозябай, и найдешь утешение среди людей,— твердил я себе.—Бороться, жить, искать утешения среди людей? Но где же эти люди? На этот страшный вопрос я не нахожу ответа».

И еще, чуть дальше: «Тот, кто прозябает, должен освободить место для способных к борьбе. Да, но с чем бороться? За что и для чего? Я искал истины, но не нашел ее. А кто виноват? Любопытно было бы для доктора-психиатра заглянуть в мою душу. Неужели он назвал бы меня сумасшедшим? О, если б это было так!..»

Инспектор Потапов хотел похоронить Мотовилова тайно, как и студента Владимирова, который застрелился несколько недель тому назад. Но Симбирско-Самарское землячество решило превратить похороны в демонстрацию. Объявили — на похороны должны прийти все студенты! Ведь Федор Мотовилов наложил на себя руки, протестуя против произвола инспекции, против шпионства, доносов, страха, который парализует жизнь университета. Каждый думает: «Если сегодня ни за что, ни про что исключили десятерых, завтра могут вернуть документы и мне, а то и через полицию выслать».

Утром 8-го ноября возле Богоявленской церкви, где состоялась заупокойная служба, собрались почти все студенты. Гроб с телом Мотовилова несли на плечах,

Люди останавливались, спрашивали:

— Кого это хоронят? Профессора?

— Нет, студента...

— Богатый был?

— Честный!..

— Вот чудо!

Несколько дней после похорон почти все аудитории пустовали. Владимир побывал на лекциях лишь 10-го и 11-го, а потом не приходил до 18-го ноября. С утра до ночи читал и перечитывал политическую экономию Милля с примечаниями Чернышевского.

На собрании кружка он должен был выступить с обзором этого большого интересного труда. Работал напряженно, но мысли нет-нет, а возвращались к Федору.

Что же все-таки толкнуло его на этот шаг? Потеря веры, о которой он говорил и написал в записке? Или что-то другое?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Хотя 22-го ноября выпало на воскресенье, Делянов провел день в своем министерском кабинете. Он штудировал новый вариант проекта закона о реальных училищах. Собственно говоря, все тот же прежний вариант, на котором царь наложил резолюцию:

— «Оставить без последствий».

Менялось одно: обучение в реальных училищах теперь должно было продолжаться вместо пяти лет — шесть. Так посоветовал Победоносцев царю, а тот повелел Делянову. Иван Давыдович знал: царская резолюция всем предоставляла право пренебрежительно относиться к законопроекту. Теперь его станут осуждать и те, кто, не зная резолюции государя, и словечком бы не возразил. Ведь куда лучше — годами помалкивать в Государственном совете и получать восемнадцатитысячный оклад, чем выскакивать со своими соображениями и ненароком лишиться теплого казенного места...

— Предчувствую, Александр Иванович, у нас еще будет много забот с этим проектом,— признался Делянов

своему главному советнику, председателю ученого комитета министерства Георгиевскому.— Резолюция государя крайне нас подкосила...

— Так точно! Однако отступать некуда,— сказал Георгиевский.

— То-то и беда наша...

Лишь вечером Делянов покинул министерство. Но все-таки решился заехать к Победоносцеву и выведать, как он относится к переработанному проекту. Ведь обер-прокурор синода сегодня говорит одно, а завтра — прямо противоположное... И при этом ведет себя так, словно никогда в жизни не отступал от единожды высказанной мысли.

Победоносцева дома не оказалось. Тяжело вздохнув, Делянов отправился восвояси. Ох, нелегко в его-то годы оставаться министром! Скоро семьдесят! Но что поделаешь — надо дотянуть до графского титула...

Поужинав, Делянов лег отдохнуть. Но задремать не успел: примчался курьер с телеграммой из Москвы. Иван Давыдович кряхтел и охал — вставать не хотелось,— но прочитал телеграмму, и сон словно рукой сняло. Попечитель Московского учебного округа сообщал: студент Синявский дал пощечину инспектору университета Брызгалову. Произошло это на вечере в дворянском собрании.

Синявский во всеуслышание заявил, что влепил пощечину по поручению всех студентов, как воздаяние Брызгалову за его подлые, мерзкие поступки...

— Чувствуется,— заключил попечитель,— студенты встанут на защиту оскорбителя.

— Ну не наказание ли божие?! — простонал Делянов.— Этого сейчас только и не хватало!..

По собственному опыту — а Делянов несколько лет был попечителем учебного округа — он знал: началась очередная «студенческая история», которая вполне может закончиться тем, что придется подавать в отставку...

Нужно незамедлительно принимать меры, гасить огонь, не дать ему разгореться в полную силу, охватить другие университеты. Что-что, а давно известно: вспыхнул бунт студентов в одном университете,— тотчас перебрасывается на другой, третий... И тогда нужны месяцы, чтобы восстановить порядок. А нынче студенты раздра-

жены новым уставом, повышением платы за учение, циркуляром, запретившим принимать в гимназии детей бедняков...

Как ни поздно было, но Делянов решил немедленно переговорить с графом Толстым, упросить его приказать московской полиции особо следить за студентами...

Граф был уже в постели. Однако к Ивану Давыдовичу вышел — он тоже получил телеграмму из Москвы.

Халат на высокой худой фигуре висел, точно на палке. Худое землистое лицо перекосила желчно-ироническая усмешка. Она и подсказала Делянову — графу все известно. Ничего не было приятнее Толстому, чем дать понять: он все знает раньше других.

— Что это вам, Иван Давыдович, не спится? — спросил Толстой, прищурив глаза.— Не дает покоя завтрашнее обсуждение законопроекта?

— О нем, ваше сиятельство, я и думать забыл,— возразил Делянов.— Меня привела к вам в столь позднее время неотложная телеграмма из Москвы...

Делянов не сказал, о чем телеграмма, твердо зная: Толстому это не понравится. И чутье не подвело старика. Граф, усмехаясь, подхватил:

— Уж не о пощечине ли господину инспектору телеграмма?

— Да, ваше сиятельство! — горестно признался Делянов.— Какой-то негодяй ударил инспектора Брызгалова.

— Вы этого не ожидали?

— Нет! Хоть и знал: честное, строгое исполнение своего долга инспектором Брызгаловым не по душе многим студентам. Особенно, конечно, тем, кто заражен нигилизмом. Но не мог же я считаться с ними! Попечитель неизменно аттестовал Брызгалова как образцового инспектора, человека вполне благонадежного, честного, преданного делу; человека, который интересы службы ставит превыше всего.

— А я получил сообщение,— слукавил собеседник, имея только телеграмму, пришедшую час тому назад,— что господин Брызгалов слишком высокомерно держался со студентами, раздражал их придирками, двуличностью, непорядочностью. Вот это и привело к пощечине...

— Возможно,— отступил Делянов,— возможно! И знай я об этом, разумеется, не стал бы держать его в Москве, а перевел в другое место. Я тотчас телеграфирую, чтобы Брызгалов более не вмешивался в дела университета. И вообще, после этой истории ему нельзя вернуться на свое место. Придется отозвать...

— Совершенно с вами согласен,— сказал Толстой.— Я уже дал указания губернатору, что делать, если студенты примутся митинговать, как бывало во времена прежних историй.

— Спасибо, ваше сиятельство! — льстиво поблагодарил Делянов.— И еще раз прошу извинить, что в столь поздний час потревожил...

От графа Делянов поехал к Победоносцеву, боясь, чтобы его не опередили: ведь о событиях в Москве завтра узнают все...

С Победоносцевым беседовали две монахини. Одну из них — дородную, похожую на перекупщицу,— Делянов знал. По ее-то ходатайству Победоносцев и рекомендовал Масленникова на пост попечителя. Она тотчас спросила Делянова, доволен ли он ее крестником?

Иван Давыдович ответил, что Масленников навел в округе порядок. Одно худо — его слабое здоровье. Часто болеет! В этом году четыре месяца провел в отпуске.

— Но что поделаешь! Все мы хвораем,— годы берут свое.— Делянов страдальчески нахмурил совиное лицо.— Я вот тоже,— и он принял пилюлю,— страдаю желудком...

— Вам надо пить освященный липовый мед,— посоветовала родственница Масленникова.— Если разрешите, мы пришлем со своей монастырской пасеки. Константин Петрович в прошлом году соизволили нас осчастливить — месяц провели в монастыре. Мы их высокопревосходительство тоже лечили освященным медом...

— Да, да, Иван Давыдович! — подтвердил Победоносцев, поблескивая холодными глазами за стеклами очков.— Не мед, а целебный нектар. Несколько месяцев я чувствовал себя так, словно никогда и ничем не болел. Но вас, полагаю, привело ко мне какое-то неотложное дело? Зайдемте в кабинет...

Когда Делянов рассказал, что произошло в Московском университете, Победоносцев пророчески заявил:

— Я знал, что подобное произойдет! И на этом история

отнюдь не закончится. Следует ожидать новых неприятностей. И немалых! Ибо крамола переместилась после разгрома группы Ульянова в Московский университет. Брызгалова, конечно, жаль, как всякого честного человека, но надо признать откровенно — он перестарался. Никто не возражает,— среди студентов надлежит иметь своих людей. Педеля не могут знать всего, что делается в университете. Но дойти до того, чтобы каждый второй или третий студент стал осведомителем — абсурд, бессмыслица! А господин Брызгалов, как мне сообщали, именно того и добивался. И вот чем закончилась его деятельность. Весьма прискорбно... Государь будет очень опечален,— ничто его так не волнует, как университетские истории.

Выслушав доклад Делянова о поступке студента Синявского, царь яростно выругался:

— Мерзавец!.. Он, кажется, поляк?

— Так точно, ваше величество, поляк! — сокрушенно подтвердил Делянов.— Хотя его родители давно живут в России...

— Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит!— повторил царь то, что сказал ему Победоносцев.— Это явно дело рук поляков! Они хотят использовать университет в своих преступных целях. Именно поляки дали Ульянову яд, револьвер и кислоту для изготовления динамита. Нет, мало мы их вешали в шестьдесят третьем году! Мало в Сибирь загнали!

— Ваше величество, по закону, принятому по предложению Константина Петровича Победоносцева,— тихо начал Делянов, дождавшись, пока царь кончил поносить поляков,— поступок студента Синявского карается содержанием в дисциплинарном батальоне на протяжении трех лет.

— Мало! Надо бы дать лет десять! — перебил его царь.— Но коли уж есть закон, пусть так и будет. А ко всем студентам, которые встанут на защиту негодяя, применить самые суровые меры! Достаточно того, что столько лет нянчились с ними. Видите, к чему это привело! Принялись изготовлять бомбы! Я графу Толстому еще тогда говорил: «Мало мы вешаем! И вешаем исполнителей, а не тех, кто подготавливал заговор, кто его воз-

главлял и направлял!» Граф Толстой уверял: все, причастные к заговору, арестованы, а университеты очищены от крамолы. Я поверил. И что же? Не прошло и полугода, как крамола снова подняла голову. И это при новом уставе, при котором, как вы все меня уверяли, студенты не посмеют и пикнуть!

Царь встал из-за стола, прошелся медвежьей походкой по кабинету. Мундир так плотно обтягивал раздобревшее тело, что казалось, вот-вот треснет по швам. Толстое, мясистое лицо покраснело от волнения, как всегда, когда царь вспоминал о покушении...

Делянов вскочил, почтительно склонив лысую голову, ждал, что изречет государь... «Гроза, кажется, миновала. Аудиенция, слава тебе господи, должно быть, сейчас закончится»,— подумал он и не ошибся.

Царь, потопав сапожищами по паркету — он любил расхаживать так, чтобы слышались его шаги, и потому в кабинете не расстилали ковров,— уселся в массивное кресло, которое под ним заскрипело.

— А что в других университетах? — спросил он.

— Все тихо, ваше величество!

— Отрадно! — заметно успокоившись, сказал царь.— Буду доволен, если и в Москве быстро наведете порядок...

2

В кружке прочитали и обсудили статьи Добролюбова и Писарева. Три недели ушло на перевод главы политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского. Потом принялись за «Исторические письма» Лаврова. Никаких острых споров книга не вызвала.

— Все явно переросли ее,— сказал Владимир Полянскому.— Но знать ее, конечно, нужно. Она в свое время глубоко влияла на тех, кто «ходил в народ».

Не зная этой работы, трудно было бы понять полемику с ее автором Плеханова, за изучение трудов которого — «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» — кружковцы предполагали засесть после «Исторических писем». Но раздобыть плехановские труды не удавалось. Решили взяться за «Капитал» Маркса. Успели прочитать только первый раздел, и события в Московском университете отодвинули чтение и обсуждение книг в кружке на второй план.

Из рук в руки ходило письмо из Москвы. Когда оно попало к Владимиру, он пригласил к себе Полянского, Выгорницкого и Португалова — прочесть вместе и решить, что делать. Оля принесла им чай и тоже села послушать. Все университетские дела она так близко принимала к сердцу, словно сама там училась.

«В воскресенье двадцать второго сего месяца,— неторопливо и выразительно читал Владимир,— в зале дворянского собрания был студенческий концерт. Во время антракта между первым и вторым отделением, когда публика начала возвращаться на свои места, студент третьего курса юридического факультета Синявский приближается сзади к инспектору и окликает его по имени и отчеству. «Что вам угодно?» — оборачивается к нему инспектор. «Вот что мне угодно от лица всех студентов!»— отвечает студент да влепил ему такую оплеуху, что тот еле на ногах удержался...»

— Ну, нашего фельдфебеля Потапова и колотушкой бахни, устоит на ногах,— бросил Полянский.

«Инспектора, бледного как смерть, вывели из зала,— продолжал Владимир.— Бросившимся к нему Синявский совершенно спокойно сказал: «К чему весь этот шум, ведь я не удираю. Сидите и слушайте музыку, а я с полицейскими пойду себе, куда мне нужно...»

— Молодчина! — восторженно воскликнул Выгорницкий.— Вот и нам бы...

— Выгорницкий, вы, видимо, хотите произнести речь? — спросил Португалов, близоруко прищурившись.

Константин и впрямь намеревался поораторствовать, но тут словно споткнулся. Он растерянно взглянул в глаза Португалова, однако за толстыми стеклами очков трудно было уловить их выражение, Ульянов, нахмурив высокий лоб, с нетерпением ждал, когда можно будет читать дальше. На лице Выгорницкого выступили красные пятна. Сконфуженно он ответил Португалову:

— Нет, я все сказал...

— «Для того, чтобы выразить сочувствие поступку Синявского, показать, что это было общее дело, а не индивидуальная, личная месть, студенты на следующий день затеяли сходку,— продолжал Владимир.— Каким-то путем проведала об этом полиция и осадила ворота... Вчера я в двенадцать часов подхожу к университету... вижу такое зрелище: масса (до двух тысяч) студентов

стоит перед зданием университета и перебранивается с приставами и полицейскими, которые заперли ворота и стерегут находящихся за воротами во дворе человек пятьсот студентов. Через несколько минут приходят к тем (во дворе) педели и под предлогом, что ректор хочет с ними говорить, зовут их в актовую залу. Студенты пошли. Пришедши туда, они, однако, узнали, что это была хитрая заманка и больше ничего: ректор за ними присылать и не думал, их заманили, а затем заперли...»

— Вот подлецы! — гневно воскликнул Сергей.

— «Лишь только об этой проделке узнали на улице, волнение между студентами увеличилось еще более. Приезжает Юрковский (обер-полицмейстер, «сиятельство») и начинает убеждать студентов расходиться по домам. Ему отвечают, что это сделают не раньше, чем выпустят тех. Тут пошли перекоры да переговоры, вдруг донцы — доблестное воинство донских казаков с трехсаженными пиками да с фунтовыми нагайками! Что дальше произошло, описать трудно. Солдаты, студенты, народ, полицейские — все это смешалось в один клубок. Били нас и казаки с нагайками, били и мясники с Охотного ряда... Били по голове, по лицу, словом, куда попало. Пытавшихся обороняться сажали на извозчиков и увозили... Запертых в актовом зале под вечер выпустили, отобрав сначала у них билеты и арестовав тех, кого принимали за зачинщиков (говорят, до ста человек), остальным запретили являться в университет «впредь до особого распоряжения»...

— Не знаю, как на вас, друзья, а на меня письмо произвело крайне тяжелое впечатление,— сказал Владимир.— Какая все-таки дикость! Какая подлость! Студенты собрались высказать свои требования, а на них, точно на вражеское войско, натравливают вооруженных казаков. Их не просто разгоняют, а убивают! Даже трудно понять этот патологический страх перед людьми, которые собрались без разрешения свыше. Выходит, хочешь заявить что-нибудь властям — строй баррикады и веди переговоры с оружием в руках!..

— Так и будет! — заверил Полянский.

— Будет, но когда? — спросил, скептически улыбаясь, Португалов и сам ответил: — Думаю, не скоро. Более того, я совсем не уверен, что мне доведется увидеть баррикады, скажем, на улицах Казани...

— Доживем или не доживем до баррикад, как вы сами понимаете, спорить сейчас не время,— заметил Владимир.— Но одно неоспоримо: мы должны поднять студентов! Когда правительство увидит, что выступили все университеты страны, оно будет вынуждено пойти на уступки! Если же москвичей никто не поддержит, их борьба и жертвы останутся без каких бы то ни было последствий. Москвичи сознательно принесли себя в жертву, чтобы облегчить судьбу всех нас. Они были уверены: их пример всколыхнет тех студентов, которые не продались инспекции, не примирились с тяжкими условиями, созданными для нас новым уставом. Для меня учиться при таких условиях — сплошная пытка, и против нее я не могу не бороться.

— Я готов дать пощечину Потапову! — азартно воскликнул Полянский и даже вскочил.

— Выступить, разумеется, нужно,— сказал осторожный Португалов.— Здесь двух точек зрения быть не может. Но вот как организовать выступление? Как бороться и добиться своего? Ведь мы знаем: даже самые малые победы стоят больших жертв...

— А вы что же, хотите победы без жертв? — спросил Полянский.— Такого не было и не будет!

Утром 26-го ноября в курилке университета, на скамьях аудиторий, в ящиках лабораторных столов появилась гектографированная листовка. В ней говорилось:

«Товарищи!

Тяжким бременем лег новый университетский устав. Вас, питомцев дорогой «alma mater», вас, представителей молодой интеллигентной мысли, он отдал во власть шпионствующей инспекции, он сузил и низвел на «нет» значение профессорской коллегии, сделал из них учителей-чиновников, он ограничил доступ в университет сыновьям бедных отцов, увеличив взнос за право слушания лекций, установив тяжелые условия при получении стипендий и т. д. Но это еще не все: циркуляр министерства народного просвещения от 18 июня 1887 года лишил ваших юных братьев возмож-

ности получать даже гимназическое образование. Наконец, в событиях московских 23, 24, 25 ноября текущего года, когда лилась кровь наших товарищей (два студента были убиты), когда нагайки свистали над головами их, в этих событиях нанесено было позорное оскорбление всей русской интеллигентной молодежи.

Казанские студенты!

Неужели мы не встанем на защиту попранных прав наших университетов, неужели мы не выразим нашего протеста пред разыгравшейся во всю ширь реакцией? Мы верим в казанское студенчество и мы зовем его на открытый протест в стенах университета!»

3

Студент Евгений Чириков, который публиковал в «Волжском Вестнике» рассказы и стихи, написал сатирическую оду. В ней, по слухам, высмеял царя. И довольно остро. Полянский попросил автора прочитать оду на вечеринке Симбирско-Самарского землячества.

Когда Владимир и Оля пришли на вечеринку, в квартире Португалова яблоку было упасть некуда. Собрались не только студенты, но и фельдшерицы: после чтения оды предполагались танцы. Евгений Чириков — высокий, лохматый — стоял посреди комнаты, окруженный юношами и девицами, и, манерно растягивая слова, откровенничал:

— Бывают, господа, такие случаи в жизни, за которыми ощущается рок...

— Вот тебе и позитивист! — воскликнул Константин Гнедков.

— А разве позитивизм, отграничивая доступное познанию от недоступного, не утверждает тем самым, что недоступное существует? — спросил Чириков, свысока взглянув на Гнедкова, и сам ответил: — Ведь бывает же такое исключительное стечение обстоятельств, за которым стоит не простой случай, а...

— Судьба! — подсказал Гнедков.

— Да! И подобных стечений обстоятельств в миллион раз больше, чем количество комбинаций, например, в шахматной игре. Жизнь наша — неуловимое мгнове-

ние! И вот в одно из мгновений, блуждая по вселенной, попадаешь в такой узел обстоятельств, которому суждено сыграть главную роль во всей твоей жизни. А может, даже перевернуть весь ход и направление твоего бега в просторах вселенной...— Чириков выдержал паузу, наслаждаясь вниманием первокурсников.— А вообще, господа, самое важное одно: чтобы душа горела пламенем, не тлела, не чадила. Все доброе и разумное свершается лишь, когда оно идет от горящей души! Только в этом правда! Где нет огня, а господствует одна логика — там ложь. Это в науке логика чиста и прекрасна, а в повседневной жизни логика — шельма, мошенница!

— Браво, Евгений Михайлович! Брависсимо! — зааплодировали фельдшерицы.

Чириков сдержанно усмехнулся, шутливо заметив:

— Женщины, как известно, яростнейшие враги логики...

Все уже собрались. Пора было начинать... Чириков пригладил длинные волосы, помолчал, склонив голову, словно ожидая какой-то особенной тишины. Читал поэт, как и говорил, нарочито растягивая слова:

О, русский царь! И вдохновенье
Не может подыскать сравненье,
Как ты умен, как ты велик!..
Как чуден твой священный лик!..
Могучи плечи, мощны руки,
Ты гнешь подковы без натуги..,
Твоя священная брада...
Нет!.. Не осмелюсь никогда
Я подыскать браде сравненье!
То наша гордость, украшенье!..
Но что ты сам!.. Твои деянья
Превозошли все ожиданья...

— Боже, как смело! — воспользовавшись паузой в декламации, воскликнула какая-то слушательница.

Поэт притворно-сердито взглянул на нее, и читал дальше с еще бо́льшим подъемом:

Воссел на трон,— и злу крамолу,
Ползущу к царскому престолу,
Ты грозно стал карать, казнить,
Стрелять, и вешать, и топить...
Ты понял, что источник бед
Таится с испокону лет
Под крышей пакостной науки...

Откуда дерзновенны руки
Трясут с главы твоей венец...
Один постиг ты, наконец,
Что книга — вот источник зол,
Рассадник всяческих крамол!..

— Метко! — крикнул Полянский, решив, вероятно, что ода кончилась — так затянул паузу Чириков. Но автор все еще не дочитал до конца:

Ты всеобъемлющим умом
Печешься даже и о том,
Чтоб наши будущие жены
Умели шить нам панталоны,
Чтобы не с книгой и пером
Они сидели перед нами,
А с кочергой иль со штанами!!!

Фельдшерицы бурно зааплодировали.

Чириков удовлетворенно усмехался, предостерегающе подняв руку: довольно, дескать, довольно!

Когда снова воцарилась тишина, Чириков наконец дочитал:

Но будет! есть всему конец...
Пусть блещет царственный венец,
Сияньем солнце затмевая,
Пусть благоденствует народ,
Тебя, наш царь, благословляя!
Цари же ты, Романов дом,
Указан божиим перстом,
Цари и славься много лет
И кровью смой крамолы след!
Стреляй и вешай нигилистов,
Социалистов, атеистов...
О, царь! Врагам твоим ка́ра,
Всем — петля, пуля — всем... Уррра!!!

Это «уррра!» Чириков прокричал, как солдаты на параде, когда его принимает сам царь.

Автора наградили дружными рукоплесканиями. Такого успеха он еще не знал. Читали, похваливали, но, чтобы так восторженно и бурно аплодировать, эдакого не бывало. Молодежь окружила поэта. Кое-кто просил переписать стихи, но Чириков сказал, что Казанское землячество напечатает оду на гектографе. Вот тогда ее и получат все, кто захочет. А единственный экземпляр он дать не может — работа над одой еще не завершена...

4

У полковника Гангардта было прескверное настроение: городская дума отказала в квартирных. А профессор Загоскин поспешил сообщить об этом в своей газете: «На заседании городской думы рассматривалось довольно любопытное прошение начальника жандармского управления...»

До чего же ехидно пишут: «довольно любопытное!» И полностью приводят — а кто это им разрешил? — весь текст прошения.

Полковник вызвал Загоскина и долго «вразумлял» его. Но профессор, спокойно выслушав угрозы жандарма, сказал с едва скрытой иронией:

— Как вам небезызвестно, господин полковник, обо всем, что происходит в городской думе, нам дано право писать. Если же относительно сего есть какие-то новые цензурные указания, извините, я о них ничего не знаю...

— Дело не в инструкциях, а в такте,— несколько изменив тон, заметил Гангардт.— Не обо всем, что разрешено, стоит писать. А вы, господин Загоскин, пишете преимущественно лишь о таких событиях, о каких лучше бы промолчать. Более того, вы, как я вижу, внимательно читая вашу газету, именно такие события всячески акцентируете. Именно их подаете так, чтобы все заметили. Я просматривал цензорские экземпляры. И должен, господин Загоскин, сказать: ваша газета не закрыта до сего времени только потому, что профессор Осипов — отменный цензор. Если бы в газете появились все статьи, которые он повыбрасывал, вы давно бы распрощались с вашим «Волжским Вестником». Вот, к примеру, 25-го сентября напечатан «психологический этюд» студента Чирикова «Возле окна»...

— Никакой крамолы в этюде не вижу...— перебил профессор жандарма.

— И я ее там, господин Загоскин, тоже не нахожу!— усмехнулся полковник.— А вот в этом произведении все того же Евгения Чирикова, которого вы столь охотно печатаете, крамолы гораздо больше... Прочитайте, будьте любезны,— Гангардт вручил Загоскину напечатанную на гектографе «Оду русскому царю».

— Ну, что вы теперь скажете? — спросил, все так же усмехаясь, полковник, когда профессор вернул оду.

— Скажу одно, господин полковник,— я отвечаю лишь за произведения, публикуемые на страницах моей газеты.

— А мне кажется, господин профессор, вы должны знать людей, чьи писания печатаете. Тем паче, когда речь идет о студентах, которых вы призваны воспитывать в духе уважения к государю и порядкам, установленным законом! А вы всё делаете наоборот! Печатаете политически неблагонадежных людей, скрывая их настоящие фамилии за выдуманными. И не удивительно: в прошлом году студенты забрались именно на здание вашей редакции, чтобы прокричать на весь город: «Виват, демократия!» Смотрите, господин Загоскин, вы играете с огнем...

После ухода Загоскина полковник вызвал Чирикова. И когда тот появился в кабинете, Гангардт спросил нахмурившись:

— Вам что, господин Чириков, в крепость захотелось?

— Не понимаю вас, господин полковник,— неуверенно ответил Чириков.

— Садитесь, господин Чириков! — не пригласил, а скорее приказал Гангардт.

— Благодарю, ваше высокоблагородие,— преодолев первую растерянность, довольно твердо ответил Евгений.

— Вы догадываетесь, господин Чириков, зачем я вас пригласил?

— Пока что — нет.

— Отлично! Именно на такой ответ я и рассчитывал. Прочитайте, пожалуйста, вот эту оду и скажите, как человек, пишущий стихи, кто, по вашему мнению, ее автор?

Чириков взглянул на злополучную оду и с ужасом почувствовал, как вспыхнули его уши... Вот проклятье! Он сделал вид, будто внимательно читает, чтобы успокоиться. Но тщетно,— лицо пылало, лоб вспотел. Кто же его предал? И какой черт дернул читать оду на вечеринке! Сестра подбила!.. Да чего там валить на сестру! Захотелось всех поразить. А вот теперь... Но ведь подписи нет! Он никому, кроме самых близких друзей, не говорил, что написал стихи сам. Почерк не его,— ода напечатана на гектографе. Еще есть возможность отречься.

И он оживленно сказал, скрывая внутреннюю растерянность:

— Прочитал...

— И что скажете? — прищурив глаза, спросил Гангардт.

— Сатира как сатира...— ответил Чириков, тотчас спохватившись, что ответил не совсем удачно.

— Гм!.. Сатира как сатира. А как вы думаете, кто автор этого пасквиля? У кого поднялась рука написать такое об его императорском величестве?

— Меня удивляет, ваше высокоблагородие, почему вы именно ко мне обращаетесь с подобным вопросом? — не сдавался Чириков.

— А я могу сказать, почему,— отвечал полковник, усмехнувшись так, словно то, что он скажет, будет очень приятным его собеседнику.— Этот пасквиль читали на вечеринке вы...

— Да, я читал оду! — поспешил подтвердить Чириков, чтобы полковник не заподозрил его в неискренности. Он решил категорически отрицать лишь свое авторство.— Поскольку я сам пишу стихи, меня и попросили прочитать...

— Кто попросил?

— Этого я не помню.

— А кто же дал вам текст?

— Рукопись лежала на столе, и я сам ее взял.

— Похоже на правду. Следует только добавить: на стол оду положили вы сами, потому что сами и написали. Так или нет?

— Нет! Я только прочитал...

— Хорошо! В таком случае придется встретиться с вами, господин Чириков, еще разок. С вашего, разумеется, согласия,— съязвил полковник Гангардт.— На нашей встрече будут присутствовать и те, кому вы говорили, что написали сей пасквиль. Вот и выбирайте, скажете вы правду сегодня и тем облегчите свою судьбу или совершите это завтра, отягчив вашу и без того тяжкую вину?

— К тому, что я сказал, мне, господин полковник, добавить нечего,— ответил Чириков, хоть и чувствовал: кончится тем, что придется признаться в авторстве.

«Сам виноват! — ругал себя Чириков, возвращаясь от Гангардта.— Зачем было говорить, что я написал? И главное: зачем согласился напечатать оду? Чудовищно глупо! Но кто же меня все-таки предал? Ферлюдин, ко-

торому нечего терять: все и так знают — он шпик... Но его на вечеринке не было. Да разве мало в университете шпионов, кроме Ферлюдина? Инспектор Потапов стремится, чтобы все студенты стали шпиками, следили друг за другом и доносили ему. Брызгалову за пристрастие к доносам москвичи дали оплеуху, а Потапова век, должно быть, никто не тронет. Да, Казань — не Москва! Хотя некогда и казанские студенты умели защищать свои права...»

5

Попечитель Московского учебного округа Капнист отправил Делянову несколько телеграмм. Просил приостановить занятия в университете. Все предварительные меры, которые он применил, не смогли утихомирить студентов. На закрытие университета Делянов должен был испросить разрешение царя. А он побаивался идти к государю-императору с таким ходатайством и всячески оттягивал аудиенцию...

Но и губернатор Москвы, князь Долгоруков, обратился с настоятельной просьбой закрыть университет к графу Толстому. Пришлось Делянову идти с докладом к царю, по обыкновению заручившись поддержкой Победоносцева и Толстого.

Царь хмуро выслушал министра и раздраженно сказал:

— Мерзавцы!

— Точно так, ваше величество! — стремясь попасть в тон, подтвердил Делянов.— Страшнейшие наглость и неблагодарность! Страшнейшие...

— Чего же эти болваны хотят?

— Студенты, собственно говоря, ничего не хотят,— солгал Делянов, не отваживаясь показать царю петицию московских студентов.— Их подстрекают крамольники, не имеющие никакого отношения к университету...

Это был, конечно, весьма увесистый камень в огород графа Толстого, но что поделаешь! За кого же и прятаться, как не за своего благодетеля?

— Предположим,— согласился царь.— Но чего же студенты добиваются?

— Студенты, ваше величество, просят отставить Брызгалова с поста инспектора...

— Завтра они попросят, чтобы я и вас отставил. А

послезавтра, не имея возможности отставить меня, швырнут бомбу...— с яростью говорил царь.— Негодяи! Немедленно закрыть университет и всех разогнать! Пусть останется в университете десяток студентов, но благонадежных.

И 30-го декабря на дверях Московского университета появилось извещение:

«Впредь до особого распоряжения занятия прекращены».

Во все другие университеты страны полетели приказы Делянова. Они обязывали, применяя самые суровые меры, не допускать студенческих бунтов. Масленников получил телеграмму министра:

> «В случае беспорядков действуйте без послабления».

Попечитель послал письменное распоряжение Потапову:

> «Усилить надзор за студентами как в здании университета, так и за его пределами».

Потапов дал соответствующие инструкции своим подчиненным.

...Педель Поморов докладывал инспектору:

— Весьма подозрительно ведет себя Ульянов, ваше превосходительство. Вместе с Полянским он явно готовит что-то скверное. Все время, хоть и не курит, торчит в курилке. Сколько раз, заглянув туда, я видел, как он что-то проповедует...

Утешало Потапова одно: пока все идет тихо и спокойно. 3-го декабря он сообщил ректору: «До сего времени не замечено действий или поступков, на основании которых можно было бы сделать вывод, что беспорядки вот-вот начнутся».

Но хоть в университете царило спокойствие, начальство предусмотрительно готовилось к любым неожиданностям.

> «Ввиду студенческих беспорядков в г. Москве,— писал губернатор Андреевский графу Толстому,— я своевременно сделал должное распоряжение о принятии надлежащих мер к предотвращению противозаконных сборищ

студентов Казанского университета в портерных, кухмистерских и других частных домах, где, по обыкновению, у них бывают предварительные суждения. Кроме сего, на всех пунктах, удобных для сборищ, был усилен полицейский пост, а Командующему войсками Казанского военного округа было сообщено о сделании распоряжений, чтобы на всякий случай был в готовности один из расположенных в Казани батальонов...»

Из Осокинских казарм выступил батальон пехоты, винтовки его были заряжены боевыми патронами. К зданию университета примыкал двор полицейского управления. Там-то и расположились солдаты.

6

В курилке дым столбом, шум. Всех волнует борьба московских студентов. Утром каждый приносил новые слухи. Одни уверяли: из самых верных источников известно — убито вовсе не два студента, а двадцать. Другие сообщали: университет закрыт. И не на день-два, а на весь год. Сам царь сказал, утверждая смертный приговор Ульянову и его друзьям:

— Университеты, эти гнезда крамолы, надо уничтожить...

Ну, министр просвещения Делянов и рад стараться! Ведь для него главное — угодить царю. Он готов не то что закрыть, а сжечь дотла все университеты — с ними ему больше всего забот!

«Правительственный Вестник» опубликовал сообщение о событиях в Московском университете. Газета переходила из рук в руки, ее читали вслух. В официальном сообщении приводились почти все факты, о которых говорилось в письме студента из Москвы. Сообщалось и о пощечине Брызгалову, и о том, что казаки разогнали сходку. Признавалось, что сходку возле Екатерининской больницы, «поскольку ее участники сопротивлялись, пришлось рассеять с помощью жандармов и полиции». Причем, как выяснилось после точно собранных сведений, «никому не были нанесены увечия или тяжелые повреждения».

— Вранье! Вранье! — кричал первокурсник Константин Алексеев каждый раз, когда кто-нибудь снова читал вслух эти строки.— Точно известно: двух студентов убили именно там! Вот у меня письмо одного москвича. Слушайте!..

И Алексеев, размахивая смятым листком над лохматой, рыжей головой, пытался перекричать всех. Его никто не слушал — письмо уже знали наизусть.

— Тихо! Тихо! — кричал Сараханов, размахивая газетой,— послушайте-ка вот что: «Поскольку беспорядки не прекратились, генерал-губернатор признал необходимым немедленно арестовать и выслать на родину тех студентов, которые и раньше обращали на себя внимание своей неблагонадежностью. В свою очередь, правление университета исключило двадцать семь студентов, замеченных в подстрекательстве на всех сходках. Исключенные студенты, по распоряжению генерал-губернатора князя Долгорукова, были тогда же арестованы и высланы из столицы». Ну что ж это такое? Губернатор, а вместе с ним и профессора хватают тех, на кого донесли мерзкие педеля, и выгоняют из города.

— Позор!

— Если так, и мы должны их бить! — воскликнул Алексеев.— Инспектора, субинспекторов, педелей...

— Я первый дам пощечину Потапову! — перебил его Полянский.

— А я давно решил это сделать! — гневно выкрикнул Алексеев.— Он, мерзавец, у меня в печенках сидит!

— Не бить, а убивать! — истерично закричал Троицкий, прицеливаясь палкой, словно ружьем.

Поднялся страшный шум. Одни кричали, что стоит наградить Потапова пощечиной. Другие предлагали сначала провести сходку. А если, дескать, инспектор вызовет полицию, вот тогда и набить ему физиономию.

— А кто весной исключил наших товарищей и выслал документы через полицию? — негодующе спросил Полянский.— Кто заполнил шпиками весь университет? Кто за всякую ерунду тащит в карцер?

— Инспектор! Инспектор! — послышались голоса.

— Так вот! Пощечину он давно заработал! — подытожил Полянский и, заметив, что в курилку вошел Ульянов, обратился к нему: — Правильно я говорю?

— К сожалению, не слышал, о чем речь,— улыбнулся Владимир.

— О пощечине нашему инспектору!

— Пощечина, я бы сказал, деталь,— отвечал Владимир.— А главное вот что: выступим ли мы в поддержку студентов Москвы? Будем бороться за свои права или отступим? Московский университет, как мы уже читали в официальном сообщении, закрыт. Это большая победа! Власти показали: они беспомощны перед объединенными действиями студентов. Сараханов, дайте, пожалуйста, газету! Вот в чем признается наше всемогущее начальство: «Студенты окончательно вышли из границ подчинения. Настал психологический момент, когда толпа утрачивает какую бы то ни было способность воспринимать что-либо разумное и не подчиняется никаким уговорам». Думаю, и мы подошли к тому психологическому моменту, когда наступило время прекратить споры и начать действовать!

— Действовать! Действовать! — закричали все.

— Педель! — раздался чей-то предостерегающий голос.

На мгновение в курилке все затихло.

7

В те дни Владимир был крайне озабочен, часто забегал из университета домой. К нему приходило немало товарищей.

Няня спросила Олю:

— Чтой-то у них там делается?

— Праздник, няня!..

— То-то вижу — Володя себе места не находит. Вот уж неугомонная душа! Обедать-то придет?

— Обещал прийти...

И правда, к обеду Владимир пришел. Да не один! Привел с собой Полянского и Выгорницкого. Все трое ели так, словно на пожар спешили, и, пообедав, сразу ушли. Оля тоже отправилась с ними, но скоро вернулась с каким-то узелком. А Владимир долго не появлялся.

Няня спала, когда он постучал в окно. На сей раз Владимир привел шестерых товарищей. Оля пообещала няне, что сама напоит их чаем, поставила самовар и ушла в комнату брата.

Самовар закипел, и Варвара Григорьевна, сокрушенно вздыхая, встала и подошла к комнате Володи. Там стоял такой шум, что она разобрала только — «полиция» и «обыск». О какой полиции и каких обысках они толкуют?

Приоткрыла дверь, заглянула в комнату. Дым — клубами. Спорили горячо, и няню никто не заметил.

— Оля, самовар вскипел!..

— Ой, совсем позабыла! — бросилась Оля к двери.— Извините меня, Варвара Григорьевна!..

— Тебе помочь?

— Нет, я сама. Отдыхайте!

— А долго они тут пробудут?

— Да еще часика два, а то и три. Завтра в университете произойдет очень важное событие. Вот они и готовятся.

— Опять праздник? — недоумевала няня.

— Да, праздник! — ответила Оля, скрывая улыбку.— А где у нас сахар? Вот он! Нашла...

Когда Оля вернулась с самоваром, ее встретили рукоплесканиями.

— Итак, завтра — в бой! — сказал Владимир.— Если, конечно, сегодня ночью нас не пересажают. К этому тоже надо быть готовым. Вполне вероятно, инспекции и полиции от шпионов известно, что мы будем протестовать. А если они узнают, когда мы выступаем, все может сорваться. Батальон пехоты со двора полиции ночью перейдет в университет, и нас туда не пустят. Это самое скверное. А остальные помехи, думаю, мы легко преодолеем. Ведь все ждут сигнала для выступления. Я согласен: начинать сходку надо в двенадцать. Во-первых, мы собьем этим с толку инспекцию, которая будет ждать выступления на первых лекциях. Во-вторых, как раз в двенадцать ректор читает лекцию на третьем курсе. Значит, не придется его разыскивать, чтобы вручить петицию.

— Ну, а если солдаты захватят университет? — спросил Сараханов.— Что тогда делать? Отложить?

— Ни в коем случае! — горячо ответил Владимир.— Это все погубит. Если нас не пустят в здание университета, соберемся во дворе. Если, скажем, не пустят и во двор, соберемся на улице, перед университетом, а к ректору пошлем с петицией делегатов.

— Давайте теперь решим, когда лучше всего присоединиться к нам ветеринарам. Костя! — обратился Полянский к Выгорницкому.— Изложите-ка свои планы!

— В десятом часу начинается заседание Ученого Совета нашего института,— сказал Выгорницкий.— Там будет и директор. Вот мы и подадим ему петицию. А к двенадцати часам отправимся к вам на сходку.

— Если б все так вышло, было бы великолепно! — воскликнул Владимир.— Ну, а студентов духовной академии, кажется, вряд ли удастся поднять. Мы с Сергеем заходили туда. Будущие попы открещиваются от сходки, как черти от ладана. Думаю, с ними не стоит связываться...

Когда наконец договорились обо всем, стрелка часов подошла к двенадцати. Начали расходиться. Последним, как всегда, ушел Полянский.

Прощаясь с Владимиром, спросил:

— Как считаете, пойдут студенты на сходку?

— Пойдут,— уверенно ответил Владимир.

— Ну хорошо,— крепко пожал Полянский руку друга.— Завтра посмотрим, что получится.

...Владимир и Оля еще сидели вместе. Им было не до сна.

Завтра сходка...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

— Няня, как сегодня на улице? — спросил Володя утром, когда Варвара Григорьевна зашла в его комнату за самоваром.

— Такой холодище, что хороший хозяин и собаку не выгонит! А ты-то зачем рано встаешь? Еще совсем темно...

— Не спится...

— А я тебе говорила: укройся теплым одеялом, ведь холодно! Не послушался, вот и не спится. Я сама к утру замерзла так, что еле-еле у плиты отогрелась. О господи! — тяжко вздохнула няня.— И что это за дом такой: воз дров сжигаю, а все одно — холодно. А в нашем-то доме, бывало, бросишь охапку в печку и уж тебе тепло, как в раю. Мы тут мерзнем, а Мария Александровна с

Аней да Маняшей — в Кокушкине. Вчера приезжала Любовь Александровна, говорила: вода в ведре к утру замерзает. А зима только начинается...

— Да и у нас вода замерзла,— сказал Владимир, разбивая ковшиком тонкий ледок.— А нуте-ка, Варвара Григорьевна, полейте мне!..

— Погоди, я тебе теплой принесу.

— Э-э, нет! Лейте холодную! — настаивал Владимир, раздевшись до пояса.— И смелее! Смелее! На спину лейте! Эх, до чего же хорошо!

— Будет тебе хорошо, если простудишься,— сердито ворчала няня.— Проваляешься тогда дома, как Митя...

— А Митя потому и простудился, что побаивается холодной воды. Если бы умывался, как я, давно бы поправился...

— Да ты и маленький почти не хворал. И на Аню, и на Сашу какие только хворобы ни наваливались, а тебя бог миловал.

— И знаете, почему? — спросил ее питомец, пряча в карих глазах озорную улыбку.

— Почему ж?

— Всегда вас слушался.

Няня засмеялась и покачала головой — ни с кем у нее не было столько хлопот, как с Володей. Бывало, отвернется, а его уж и след простыл.

— Слушать-то ты меня слушал,— ласково сказала она,— но такого вьюна-непоседы, как ты, и на свете, видать, не было. Прямо из рук, бывало, выскользнешь, да так, что и не почуешь...

— Оля, ты спишь? — тихо спросил Владимир, подойдя к комнате сестры.

— Нет! — ответила Оля.— Я так и не смогла заснуть...

— Холодно было? — спросил Владимир, зайдя к ней.

— Я все думала, думала...— Оля пристально взглянула на брата.— А ты спал?

— Мало, но зато довольно крепко. А квартира и впрямь точно погреб. Надо отыскать что-нибудь получше. Ну, а теперь придется уж мерзнуть до весны. Зимой не переедешь! Да и мама, видимо, всю зиму проведет с Аней в Кокушкине.

— А что же ей, бедной, делать? — горько сказала Оля.— Ведь одна Аня там без нее пропадет.

Грустно помолчали. Очень трудно все сложилось после казни Саши. Мало того что лишились своего угла, приходится жить на два дома...

— Ты волнуешься? — спросила Оля шепотом, чтобы брат сразу понял, о чем идет речь.

— Да...— признался он.

— Володя! Самовар готов! — послышался голос няни.

— Иду!

— Я сейчас встану,— решила Оля.— Провожу тебя до университета, если не возражаешь.

— Буду рад! — ответил Владимир.— Но няня говорит: сегодня страшно холодно.

— Все равно пойду! И вообще, не знаю, как я останусь дома, когда у вас такое делается...

Они позавтракали и вместе отправились в университет. На морозе и впрямь дух захватывало. Снег скрипел под ногами, а в лучах солнца, которое только что выглянуло из-за стен кремля, искрилась изморозь.

— Мне так хочется быть сегодня вместе с тобой! — призналась Ольга.

— Ничего, Оля! — попытался утешить сестру Владимир.— Когда дело дойдет до баррикад,— а когда-нибудь до этого дойдет! — мы обязательно будем вместе. А пока иди домой...

— Если тебя долго не будет, я приду. Слышишь? — крикнула Оля.

Владимир кивнул и показал: ступай же!

Оле очень хотелось постоять здесь, но она знала: Володя не откроет дверей, пока не убедится, что она отправилась домой.

Пришлось уйти, чтобы брат не простудился, ведь он совсем легко одет — в шинельке, без башлыка. Правда, Володя легко переносит холод: он спокойно работает в комнате, где Оля и часу бы не выдержала...

Первым в университете Владимир встретил Павла Ферлюдина. Он выходил из квартиры инспектора и, по всему было видно, никак не ожидал наткнуться на Ульянова.

Растерянно оглянувшись, Ферлюдин спросил:

— Что это вы, Ульянов, изволили прийти спозаранку?

— Проверить, правда ли, что вы и почуете у инспектора? — ответил Владимир.

— Как всегда, шутите,— хихикнул Ферлюдин.— Потолковал бы с вами, но, извините,— спешу!

— К попечителю? Или еще куда-нибудь?

— На что это вы намекаете? — нахмурился Ферлюдин, пытаясь скрыть испуг.

— Именно на то, о чем вы, господин Ферлюдин, подумали,— не скрывая презрения, Владимир резко отвернулся и пошел дальше.

Эта встреча основательно испортила настроение Ферлюдину. Он специально пришел пораньше: незаметно передать инспектору записку — и вот на тебе! — нарвался на Ульянова!

На душе стало так скверно, что захотелось вернуться и забрать донос у педеля Поморова. Но тот уже, наверно, вручил его Потапову. Ведь Ферлюдин не раз повторил педелю, как дело важно и неотложно. И зачем было писать? Передал бы на словах, и все. А теперь останется улика. Если инспектор прочтет его студентам, Ульянов сразу догадается, чья это работа...

2

Господину инспектору не спалось. Хотя в университете было пока спокойно, шпионы доносили: студенты собираются в портерных и на квартирах, устраивают вечеринки и всяческие собрания, где ораторы призывают поддержать студенчество Москвы.

— Поморов! — позвал Потапов педеля, всю ночь дежурившего в прихожей.

— Слушаю, ваше превосходительство! — откликнулся тот из-за двери, не осмеливаясь заглянуть в спальню.

— Там кто-то, кажется, заходил?

— Точно так, ваше превосходительство! Студент Ферлюдин принес записку. Просил передать как можно скорее, но я не посмел разбудить вас.

— Давайте сюда! — приказал Потапов...

Ферлюдин писал:

> «Желая предотвратить зло, могущее возникнуть от предполагаемого восстания студентов университета и ветеринарного института, я решился известить Вас, что сегодня или зав-

тра, или вообще на этих днях студенты договорились устроить общую сходку в университете не очень миролюбивого характера... Будьте осторожны...»

— Немедленно разыскать Ферлюдина! — приказал Потапов.

— Слушаюсь! — вытянулся Поморов.— Прикажете привести сюда?

— Нет, в канцелярию! Я сейчас туда приду. Стойте! Еще не все! — раздраженно крикнул Потапов.— Созовите в канцелярию всех служителей инспекции.

— Слушаюсь! Разрешите идти?

— Ступайте!

Когда Потапов вошел в канцелярию, там собрались субинспектора Виноградов и Войцехович, все педели. А Ферлюдина не было — в университете его не нашли. Потапов прочитал вслух записку, приказал бдительнее следить за студентами. Педели доложили: занятия начались, как обычно. Одно, дескать, вызывает подозрение: вчера аудитории почти пустовали, а сегодня — полным-полно. Пришли даже те студенты, которые неделями не появлялись в университете...

— Курилку студенты превратили в клуб,— сказал с заметным польским акцентом Войцехович.— Ферлюдин туда и заглянуть боится. Мне не раз приходило в голову: не закрыть ли ее совсем?

— Я бы давно закрыл, да ректор не разрешает! — сердито нахмурился Потапов.— Кстати, господин Кремлев пришел?

— Не видел,— ответил Войцехович.— Ведь у него лекция только в двенадцать...

Не хотелось Потапову идти к ректору на квартиру, но надо было показать записку Ферлюдина, выяснить, что намерен предпринять Кремлев. Отношения между ними окончательно испортились, и они избегали встречаться. Инспектор, по новому уставу подчиняясь непосредственно попечителю, чувствовал себя в университете полновластным хозяином. Он лишал студентов стипендии или, наоборот, назначал тем, кто ему служил верой и правдой. С ректором он давно ни о чем не советовался, а лишь ставил в известность о решениях, принятых им самим.

Кремлев, в свою очередь, не приглашал инспектора на заседания Ученого Совета и правления. А если тот приходил, то ректор высмеивал Потапова, издевался над ним, да так, как умел только он один: внешне корректно, но по сути убийственно.

Потапов уже четверть часа ждал Кремлева. «Нарочно, нарочно, он это делает! — бесился инспектор.— Знает: дело важное, срочное, если я не мог дождаться, пока он придет на лекцию, а все равно не торопится».

— С добрым утром, ваше превосходительство! — сухо произнес Кремлев, выйдя наконец в приемную:— Чем могу служить?

«Даже не извинился, что заставил меня столько ждать»,— подумал Потапов, а Кремлев, словно поняв, что укололо инспектора, непринужденно добавил:

— Извините, ваше превосходительство, что вынудил вас ждать. Я одевался. Прошу вас, пройдемте в кабинет.

— Ваше превосходительство, я всего на несколько минут,— не двигаясь с места, предупредил Потапов тем же официальным тоном, каким разговаривал с ним ректор.— Прочтите, пожалуйста, вот это!

— Одну минуту! Я возьму в кабинете очки,— и Кремлев неторопливо исчез за дверью. Что он там делал: действительно искал очки или испытывал терпение инспектора — неизвестно, но появился ректор в приемной нескоро.

— Ну-с, что у вас, ваше превосходительство? — Взглянув на измятый листок, Кремлев брезгливо усмехнулся.— Такое послание принесли и мне.

— И какие же меры вы, ваше превосходительство, думаете предпринять? — хмуро спросил Потапов.

— А я хотел спросить об этом вас,— заметил Кремлев.— Полагаю, сие прежде всего касается инспекции.

— Мы принимаем все меры...— едва сдерживая раздражение, ответил Потапов.

— Знаю! И вижу: вы принимаете меры, а студенты преспокойно готовят бунт. Правильно, ваше превосходительство, я понял вас? — спросил Кремлев с презрительной усмешкой.

Потапов не нашелся сразу, что ответить. А ректор невозмутимо продолжал:

— Вижу, вам возразить нечего. Разрешите тогда, ваше превосходительство, спросить, что предпримет ин-

спекция, если бунт вспыхнет? Какие меры она предусматривает?

— Это зависит от того, как развернутся события. Если, конечно, бунт все-таки вспыхнет... Вы, я вижу, в этом убеждены? — уязвил наконец ректора и Потапов.

— Моя убежденность в реальной возможности бунта основывается на том, что вы, ваше превосходительство, не могли обождать несколько часов, а даже решились зайти ко мне на квартиру,— ответил Кремлев все с той же тонкой улыбкой, не скрывая презрения к инспектору.— Но я, невзирая ни на какие доносы ваших шпионов,— подчеркнул ректор два последние слова,— буду читать свою лекцию по расписанию, как делал все эти дни.

Потапов поспешил к Масленникову. Попечитель, опять сказавшись больным, не выходил из дому, и его квартиру охраняли солдаты.

Выслушав Потапова, он обещал заставить Кремлева подать в отставку, а всех студентов, которых инспектор считает неблагонадежными, хоть сегодня исключить из университета. Потапов давно приготовил список подлежащих исключению, но понимал: сейчас это подольет масла в огонь и погасить его тогда станет еще труднее...

— Извините, Порфирий Николаевич, я пойду в университет, слишком тревожно у меня сегодня на душе,— сказал Потапов.

— Идите, идите, Николай Гаврилович! — напутствовал инспектора Масленников.— И в случае бунта действуйте со всей решительностью! Если сочтете необходимым, обращайтесь к военным властям...

3

Утром 4-го декабря Португалов тоже пришел в университет.

— Кто вас сюда пропустил? — обозлился инспектор, когда Португалов зашел к нему.— Вы не имеете права переступать даже порог университета.

— Ваше превосходительство! — спокойно ответил Португалов,— все это я и сам хорошо знаю. Я пришел к вам выяснить, когда могу получить свои документы?

— Кто у вас делал обыск? Полиция?

— Да...

— Полиция, по существующим правилам, и вышлет вам документы. Можете идти.— Потапов свирепо взглянул на Португалова, добавив: — И чтоб я вас в университете больше не видел!..

От инспектора Португалов поспешил в курилку, понимая, что Потапов прикажет педелям немедленно его выдворить.

— Теперь я окончательно убедился: меня обыскивали по доносу инспектора! — взволнованно рассказывал Португалов окружавшим его студентам.

Он не знал, что обыск произвели по приказу Гангардта, последовавшего после перлюстрации письма сестры. В том злополучном письме сестра поздравляла его с избранием в состав студенческого суда...

— Документы он мне не выдал. Сказал, что получу их в полиции. Это означает: дело мое еще далеко не закончено и меня ожидает какая-нибудь полицейская кара. Говорил инспектор со мной чудовищно грубо... Такая же судьба ждет и многих из вас. Неужто мы все это простим? И вы будете ждать, пока и ваши документы вышлют через полицию?

— Не будем! Все — в актовый зал! На сходку! За мной, друзья! — азартно крикнул Полянский. И повторяя: «За мной! За мной!» — первым помчался по коридору к актовому залу.

За Полянским побежали Владимир и Португалов. За ними ринулись все. Шум и свист не заглушали выкриков:

— На сходку!

— В актовый зал!

— Ректора в зал!

— Долой инспектора!

— Ко всем чертям инспекцию!

Врывались в аудитории и, несмотря на то, что там читались лекции, призывали:

— На сходку, друзья!

— На сходку!

Студенты выбегали в коридор, присоединялись к толпе. Только филологи, которым читал лекцию профессор Нагуевский, остались на месте. Профессор встал в дверях и со слезами на глазах умолял:

— Не губите себя... Не губите!..

В кабинет инспектора без стука ворвался педель Поморов и, задыхаясь, выпалил:

— Бунт, ваше превосходительство!

Потапов уже все понял по свисту и шуму, выбежал в коридор, опередил толпу и, раскинув руки, приказал:

— Стойте!

Толпа на мгновение задержалась. Но Полянский воинственно призвал:

— Вперед, друзья!

— Вперед! Вперед! — закричали все и бросились за Полянским и Ульяновым, повторяя:

— Долой инспектора!

— Ко всем чертям инспекцию!

Инспектор по-прежнему стоял, раскинув руки, а толпа, обтекая Потапова, точно пень на дороге, неслась к актовому залу. Но когда добежали до дверей, выяснилось, что они заперты. Кое-кто растерялся...

— Бомбу! Дайте бомбу, я взорву их! — орал Леонид Троицкий и колотил палкой по филенкам.

Под напором студентов дубовые двери заскрипели, зашатались, и вдруг с глухим треском распахнулись. Те, кто оказался впереди, едва удержались на ногах. А Троицкий споткнулся о свою же палку и упал. Его подхватили на руки, покачали с хохотом и свистом и внесли в зал.

Размахивая палкой, он кричал:

— Смерть инспекции!

Царь Александр Третий с огромного портрета на стене, казалось, испуганно смотрел на взбунтовавшихся студентов. А бородатый двойник самодержца — инспектор Потапов, сопровождаемый педелями и субинспектором Войцеховичем, прошмыгнул в зал через вторые двери из коридора юридического факультета.

Взобравшись на кафедру, инспектор, багровея, заорал:

— Именем закона предлагаю немедленно разойтись!

Толпа гневно зашумела:

— Долой! Долой!

— Ректора сюда! — крикнул Ульянов.

— Бей инспекцию! — горланил Троицкий.

— Петицию! Петицию ему!

Студенты окружили инспектора и его подручных тесным кольцом. Педели, вместо того чтобы защищать на-

чальство, попятились, увидев, что студенты готовы сейчас на все...

Нервы Потапова не выдержали, и он яростно крикнул:

— Стойте, мерзавцы!

Ругательство ударило всех точно кнутом. Студенты онемели от неслыханного оскорбления. А Потапов, не дав им опомниться, добавил:

— Если немедленно не прекратите буйство, вызову солдат и они штыками выбросят вас отсюда! — и тут же понял, что пересолил.

Студенты грозно молчали.

Потом из толпы вышли двое: Константин Алексеев и Леонид Троицкий. Алексеев, опередив Троицкого, подошел к инспектору вплотную и спросил дрожащим от бешенства голосом:

— Кого же это вы, господин инспектор, обозвали мерзавцами?

Все замерли: что ответит Потапов? А он растерянно вглядывался в лица молодых людей, которые с нескрываемой ненавистью смотрели на него, и не знал, решительно не знал, что ответить.

Наконец уже не грозно, а испуганно инспектор крикнул:

— Еще раз повторяю: если не разойдетесь...

Закончить фразу ему не удалось. Высокий рыжеволосый Алексеев размахнулся, и пощечина прозвучала в тишине словно выстрел. Толпа, которая едва сдерживала гнев, взорвалась:

— Бей его! Бей!..

Троицкий схватил стул и швырнул в Потапова, угодив в субинспектора Войцеховича. Другим стулом он метил в педеля Поморова, но не попал. Поморов опрометью выбежал из зала.

Троицкий догнал его. Схватив ненавистного педеля за грудки, тряханул так, что посыпались пуговицы, и закричал:

— Убью гадину!..

Педели, увидев, как Троицкий расправляется с Поморовым, пустились наутек. Войцеховича и Потапова толпа вытолкнула из актового зала.

Когда педели, благоразумно поджидая начальство в коридоре, заперли двери, опасаясь, как бы студенты не

погнались за ними, благородный пан Войцсхович, одернув помятый мундир, от волнения сказал по-польски:

— Straszny sąd! [1]

— О господи! — крестился Поморов, ощупывая сюртук, где только что красовались начищенные до блеска медные пуговицы:

— У меня прямо в глазах потемнело...

4

Торжествующий шум и свист не стихали несколько минут. Казалось, студенты, ворвавшись в актовый зал, добились всего, ради чего шли на сходку...

— Ура-а!

— Наша взяла!

— Рсктора, ректора сюда!

— Петицию ректору! — выделялось из общего шума.

К кафедре подбежал Евгений Чириков, который не забыл, как слушали его оду.

Но это была не вечеринка землячества, а сходка! Да еще в зале, взятом штурмом, словно крепость, где только что Потапову, как и Брызгалову в Москве, влепили пощечину.

Сейчас было не до сатирических од, даже самых дерзких. Увидев, что никто не собирается его слушать, Чириков схватил стул, которым Троицкий швырнул в инспектора, ударил им по кафедре. Стул разлетелся в щепки. Все расхохотались и затихли.

— Сыны alma mater! — подняв над головой ножку стула, словно гетманскую булаву, провозгласил Чириков.— Поклянемся, братья, что все, как один, будем отстаивать наши требования! Пожертвуем собой ради победы над произволом! Погибнем, но добьемся своего.

Две сотни студентов закричали:

— Клянемся!.. Клянемся!..

И снова начались речи. На стульях и подоконниках появились новые ораторы. И хоть Чириков оглушительно стучал ножкой стула по кафедре, большс никто его не слушал.

Но вот к кафедре подошел Владимир Ульянов и, улыбаясь, посмотрел на товарищей. Именно то, что он не

[1] Страшный суд! *(польск.)*

стремился никого перекричать, а терпеливо ждал, пока шум утихнет, привлекло к нему всеобщее внимание.

— Ульянов!

— Слово Ульянову! — закричали в толпе.

Владимир спокойно, без театральной аффектации, с которой только что выступал Чириков, сказал:

— Друзья! Пощечина инспектору — это далеко не все. Главное — вручить ректору нашу петицию. Ее уже все читали, и, думаю, нет необходимости оглашать здесь текст. Или, может быть, прочтем?

— Не надо! Знаем! — закричали студенты.

— Нам нужно вызвать сюда ректора,— продолжал Владимир.— Нужно не объясняться, не просить, а требовать! Наступать, а не шуметь, топчась на месте!

— Наступать! Наступать! Наступать! — понеслось со всех сторон.

— Инспектор угрожал нам всяческими карами за буйство, как он сказал. И кое-кто, видимо, растерялся. Не нужно было трогать инспектора, а провести все как-нибудь тихо да мирно? Да, я согласен! — откинул Владимир прядь волос с высокого лба.— Если бы нам разрешили проводить сходки, мы не ломали бы дверей, а спокойно зашли сюда и обсудили все, что нужно. Если бы нас не бросали в карцер за незастегнутую пуговицу на воротнике, если бы наших товарищей не выгоняли из университета только за то, что они откровенно высказывали свое презрение к инспекции, всем полицейским порядкам, заведенным новым уставом, мы и поступали бы иначе.

— Святая истина! — крикнул Троицкий.

— Мы ощущаем насилие на каждом шагу! Нас отдали под власть грубых пьяных невежд-педелей. Инспектор по доносам своих ничтожеств лишает нас стипендии, исключает из университета. Разве это не насилие?

— Насилие! Долой инспекцию! — закричал Троицкий.

— Так давайте бороться против произвола, против всего, что отравляет нам жизнь! Если ректор не придет, пошлем к нему делегацию с петицией! Я, если на то будет ваше согласие, готов пойти к ректору!

— Я тоже пойду! — присоединился к другу Полянский.

— И я... и я...

Снова, как и в первые минуты, когда студенты ворвались в зал, говорили все сразу, и никто никого не слушал...

5

Пощечина не произвела на инспектора того впечатления, на которое рассчитывали студенты. Потапов не укрылся в своей квартире, как битый московский коллега, а продолжал действовать.

Субинспектора Войцеховича он послал с докладом к попечителю, а сам отправился к ректору. В университетском кабинете Кремлева не оказалось. Снова пришлось идти к нему домой.

Кремлев встретил сообщение инспектора о пощечине так спокойно, словно ничего другого не ожидал. Он не выразил Потапову сочувствия, а только спросил:

— Кто нанес вам оскорбление действием?

— Студент Алексеев.

— Может быть, есть какие-нибудь личные счеты?

— Нет! Алексеев поступил в университет в этом году. Сначала учился на медицинском факультете, потом перешел на юридический.

— Откуда приехал? Из какой семьи?

— Из Уфы... Сын исправника.

— Исправника? — удивился ректор.

— Да.

— Гм!.. Ну и что же, они продолжают сходку в актовом зале?

— Так точно.

— А вы мне еще вчера докладывали: не замечено ничего, что говорило бы о подготовке к выступлению.

Потапов растерянно промолчал.

— И какие меры вы думаете применить?

— Вызвать солдат! Я хочу, чтобы попечитель обратился по этому поводу к губернатору.

— Напрасно! — сердито возразил ректор.— Прежде чем вводить в университет солдат, следовало узнать, согласен ли на это я. А я, господин инспектор, пока остаюсь ректором, не позволю солдатам разгуливать по университету! То, что вы не нашли общий язык со студентами, отнюдь не означает, что никто этого не в силах сделать! Я сейчас же пойду к ним и побеседую.

— Как вам угодно! — ответил Потапов тоном, в кото-

ром слышалось: «Буду весьма рад, если они и вам закатят оплеуху!».— Прошу только не забывать, господин ректор: я и попечитель имеем право обратиться к таким мерам, которые сочтем необходимыми.

— Тогда, может быть, господин попечитель сам захочет поговорить со студентами? — не скрывая иронии, спросил ректор.

— Об этом я сейчас узнаю,— ответил Потапов, хотя был уверен: Масленников ни за что не появится в университете.

— Прошу известить меня о прибытии господина попечителя. А солдат, повторяю, без моего разрешения в университет не впускать!

Когда педель Поморов увидел, что ректор идет в зал, он бросился навстречу, умоляя:

— Ваше превосходительство, не ходите туда!

— А что такое? — спросил ректор.

— Там страшно...

Кремлев усмехнулся.

— Там убить могут...

— Вы там были?

— Был, ваше превосходительство...

— Вас не убили?

— По милости божьей, нет...

— Ну, может, и меня не убьют...

На втором этаже Кремлева встретил полицмейстер. Он поклонился и сказал:

— Я к вашим услугам. Если сочтете необходимым, я сейчас же пойду в зал и прикажу студентам немедленно разойтись.

— Ну, а если они вас не послушают? — спросил ректор.— Что тогда делать?

— Кроме моих людей, ваше превосходительство, наготове батальон солдат.

— Спасибо за сообщение,— сухо ответил Кремлев.— Но пока мне помощь не нужна. Я попробую поговорить со студентами.

— А я все-таки прикажу никого не впускать в университет,— сказал полицмейстер.

— Я, господин полицмейстер, как вам известно, отвечаю лишь за то, что происходит здесь. На улицах полновластный хозяин — вы. Потому и поступайте, как сочтете нужным. Я со своей стороны не вижу большой

опасности в том, что в университет придут еще несколько студентов...

В сопровождении двух субинспекторов и педелей (Потапов войти в зал не решился) ректор появился перед взволнованными студентами.

Послышались голоса:

— Ректор!

— Тихо! Ректор пришел!

— Долой инспекцию!

— Долой педелей!

Крики не утихали до тех пор, пока Кремлев не приказал представителям инспекции оставить его со студентами одного. Бурными рукоплесканиями и свистом проводила молодежь субинспекторов и педелей из зала...

Потапов, когда педели доложили, что Кремлев — не студенты, а именно Кремлев! — выставил их из зала, обратился к полицмейстеру:

— Видите, что делает? А вы, наверно, думали, я преувеличиваю? Нет, работать с таким ректором — наказание божие! Не настраивай он против меня студентов, ничего бы этого не было. Ну, ладно! Поглядим, как он их утихомирит! — сказал Потапов.— Посмотрим!.. А университет я все-таки прошу оцепить...

6

Низенький щуплый ректор стоял возле кафедры и растерянно смотрел на «бунтарей». В университете он бывал так редко, что Владимир видел его два-три раза, когда ректор, задумчиво склонив седую голову, проходил из канцелярии в аудиторию.

Кремлев никого к себе не вызывал и совсем, казалось, не интересовался, как и чем живут учащиеся. Но если к нему кто-нибудь приходил с жалобой, он, как правило, становился на защиту студентов. И спокойно, без шума добивался своего. Он даже настаивал на своем, когда инспектор требовал наказания какого-нибудь юноши.

— Ничего, ничего,— говорил в таких случаях ректор Потапову,— это вы еще успеете сделать. А пока прошу не трогать его. Да и вообще стоило бы вам, Николай Гаврилович, не забывать, что кроме карцера существует немало других средств, пользуясь каковыми можно влиять на молодые души...

Когда студенты умолкли, ректор поднял руку и тихо произнес:

— Господа, я совсем не против того, чтобы побеседовать с вами...

— Ура-а! — закричало несколько человек.

Две сотни молодых голосов подхватили это «ура». Значит, ректор понимает их! Он не орет, как инспектор, не угрожает наказаниями. Это вселило веру: они всего добьются. А Кремлев, сконфуженный неожиданным приемом, терпеливо ждал, когда сможет говорить. Эта восторженность совсем не радовала ректора. Ведь ему придется сказать этим юношам то же самое, что они слышали от инспектора, только в другой форме.

— Просим принять нашу петицию,— подойдя к ректору, сказал Полянский, когда в зале стало тихо.

— Я заранее знаю, чего желают студенты,— не взяв петиции, ответил Кремлев.— Вы добиваетесь, конечно, права сходок, студенческого суда, студенческих касс, библиотеки, кухмистерской...

— Есть и кое-что другое,— заметил Полянский.— Взгляните!

— Ну, давайте вашу петицию,— вздохнул ректор, которому совсем не хотелось читать ее, но все складывалось так, что он был вынужден это сделать.

Студенты торжествующе зааплодировали. Им удалось вручить ректору петицию, и это было еще одной победой. И в Москве, и в Петербурге, и в других университетах начальство боялось и прикоснуться-то к такому документу. А Кремлев взял, надел очки, спокойно, словно пришел читать очередную лекцию, разгладил подстриженную клинышком редкую бородку, откашлялся и прочитал вслух:

— «Собрало нас сюда не что иное, как сознание невозможности всех условий, в которые поставлена русская жизнь вообще и студенческая в частности, а также желание обратить внимание общества на эти условия и представить правительству нижеследующие требования...» Так-с! — удивленно протянул Кремлев, который никак не предполагал, что студенты размахнутся столь широко...— «Сознание невозможности всех условий, в которые поставлена русская жизнь...» («Ишь чего захотели! Изменить весь государственный строй! Это явное влияние

крамольников, которые, должно быть, и взбунтовали студентов...»)

— Во-первых, милостивые государи, я вас хочу спросить вот о чем,— прочитав петицию, сказал Кремлев.— Кто вас уполномочил заявлять о невозможности условий русской жизни вообще? Разве вам не известно, что каждый, согласно закону, имеет право просить только за себя лично, а за других лишь в том случае, когда получает на это полномочия? Если вы этого еще не знаете, я должен вам рассказать о правах и обязанностях граждан нашей страны. Во-вторых, вы хорошо понимаете, что сходка ваша незаконна и путем насилия вы ничего не добьетесь...

— Неправда! — горячо возразил Полянский, выступив вперед.— Неправда! Болгария открытой борьбой добилась освобождения от турецкого ига, конституционной формы правления, о чем мы не можем даже и мечтать!

Кремлев, не отвечая на столь опасную реплику, предупредил студентов: если его будут перебивать, он окажется вынужденным покинуть зал. А инспектору разрешит действовать так, как тот сочтет необходимым...

Студентов возмутила хоть и не прямая, но достаточно явственная угроза. Шум долго не стихал. Ректор молчал, терпеливо ожидая тишины. И когда она наступила, Кремлев обиженно произнес:

— Я привык говорить прямо и откровенно! И если мои слова кому-нибудь не нравятся,— это не моя вина. Вы свои мысли высказали в петиции, позвольте же и мне сказать, что я думаю по всем тем вопросам, которые вы затрагиваете. Во-первых, я никому не могу передать вашу петицию, не имея на это права, как и вы не имели права вручать ее мне.

И Кремлев принялся читать лекцию о том, что в России разрешено и запрещено делать. Ведь недаром он был профессором права.

— Сами интересы общества,— говорил Кремлев, не обращая внимания на все возрастающий недовольный гул,— повелительно требуют, чтобы правительство приостанавливало всяческие стремления отдельных лиц или групп самовольно вмешиваться в такую деятельность, которая не разрешена законом. Отсюда вывод: поскольку ваша сходка не дозволена законом, за участие в ней предусмотрено наказание. Далее. То, что вы самозванно

взяли на себя роль защитников прав народа, точно так же не разрешено законом и грубо нарушает права того самого общества, о которых вы так хлопочете...

Шум в зале усиливался. Кремлев понял, что студенты совсем не настроены слушать его рассуждения, и заговорил о том, как молодость доверчива и благородна. Однако этими чудесными качествами пользуются люди, которые хотят загребать жар чужими руками в своих преступных целях.

— Знаете ли вы, чего хотят эти самозванные реформаторы? — спросил ректор.— Они хотят уничтожить все и всех, кроме самих себя. И этот чудовищный замысел скрывают за красноречивыми фразами о всеобщем благе, народном счастье, свободе и равенстве! Террор — постоянный спутник подобных непрошеных благодетелей человечества. Обратитесь к страницам истории, присмотритесь к событиям последнего времени, и вы поймете — я говорю вам чистейшую правду. Не такова истинная наука. Она светла, как безоблачное небо, лучиста, словно солнце. Она — великая сила, пред которой гибнет всяческая тля, что подтачивает нашу жизнь. Наука может дать и дает духовное наслаждение и счастье человеку, который посвящает ей все свои силы и способности. Своими открытиями она расширяет умственный кругозор человечества, распространяет всюду изобилие без какого бы то ни было насилия. И тот, кто встает под ее светлое знамя, борется за благо подлинное, а не мнимое...

Долго Кремлев читал свою лекцию о «чистой науке», хотя видел, что студенты не обращают на него никакого внимания. И уж разумеется, высказывают мысли, противоположные всему, что он говорил.

7

Проводив брата, Оля вернулась домой. Но на душе у нее было тревожно, и через час, побродив по квартире, она оделась и отправилась к университету. Ей не терпелось узнать: что же там происходит? Удалось ли Володе и его друзьям поднять студентов на выступление? И если сходка началась, чем она кончится? Ведь говорили, что во дворе полиции наготове стоит батальон пехоты. Оля прошла мимо этого двора, но ничего не увидела — таким высоким забором он был обнесен.

По тому как студенты бегали, накинув шинели, казалось — в университете ничего не происходит.

Оля даже спросила одного:

— Скажите, пожалуйста, скоро будет перерыв?

— Нет, лекции только что начались...

Значит, еще тихо! Оля пошла домой и, согревшись, снова оделась.

Няня удивилась:

— Куда это ты опять?

Оля могла сказать, что идет к тете Ане, но ей не хотелось обманывать Варвару Григорьевну. Она ответила уклончиво:

— Я скоро вернусь...

Возле колонн университета стояли, притопывая, чтобы согреться, городовые. С ними о чем-то спорили несколько студентов. Оля прошла мимо и по донесшимся обрывкам фраз поняла: полиция никого не пропускает в здание. Сердце ее тревожно забилось. Если полиция здесь, что же будет? Всех арестуют? Или, может быть, кто-то донес, что студенты готовят сходку, и полиции удалось опередить их?

И вдруг из-за угла улицы показалась толпа студентов ветеринарного института. Впереди шли друзья Володи — Выгорницкий и Скворцов. Выгорницкий заметил Олю и приветливо кивнул ей.

Городовые тем временем преградили дорогу новоприбывшим. В дверях университета показался сам полицмейстер. Но студенты прорвали полицейскую цепь, и Оля увидела, как один за другим они исчезли в темном дверном проеме.

— Что это там? Пожар? — спросила какая-то старушка у офицера, который стоял рядом с Олей, наблюдая за происходящим.

— Похороны! — сердито ответил офицер.

— А кто ж помер? — допытывалась старуха, видно возвращавшаяся из церкви.

— Наука!

— Ну, царствие ей небесное! — благоговейно перекрестилась она.

Офицер высокомерно усмехнулся и пошел к зданию полиции, где стоял батальон пехоты... А что, если офицер сейчас выведет солдат? Оля подождала с полчаса, но солдаты не появлялись. Она промерзла до озноба и по-

шла домой, чтобы согреться и снова вернуться сюда. Ей казалось: сегодня произойдет что-то очень значительное! Ведь в Москве был настоящий бой с полицией и казаками... Два студента убиты, несколько ранено. И если здесь начнется что-нибудь подобное, она будет рядом с Володей. Этого ей никто не запретит!

Ученый Совет ветеринарного института, преподаватели и студенты собрались на защиту диссертации. Директор института звякнул колокольчиком, оповещая: заседание открывается. Но к столу поспешно подошел Александр Скворцов, подал директору лист бумаги и взволнованно объявил:

— Петиция от студентов!

— От кого? — испуганно переспросил директор.

— От всех нас! — крикнул Скворцов.

— От всех! — поддержало его несколько голосов.

Директор растерянно оглянулся... Потом взял петицию, протянутую Скворцовым. Но сразу отбросил ее и разъяренно захрипел:

— Прочь! Приказываю всем...— одышка мешала ему говорить,— студентам... немедленно... оставить зал!

Ответом были выкрики:

— Трус!

— Негодяй!

Директор размахивал колокольчиком, но его никто не слушал. Тогда, объявив, что закрывает заседание, он отправился к попечителю.

Выгорницкий забрался на стол, произнес путаную, но пылкую речь и призвал идти на помощь студентам университета.

— Требования у нас едины. Значит, и бороться за них мы должны совместно. За мной, друзья,— закончил Константин и, спрыгнув со стола, бросился к выходу.

— В университет! В университет! — воскликнул он.

Возбужденная толпа двинулась за Выгорницким и Скворцовым с криками:

— В университет! Ура!

...Запыхавшиеся, раскрасневшиеся от мороза и волнения ветеринары с победными восклицаниями ворвались в коридор университета. Оказалось, что двери на второй этаж заперты. Сквозь стекло студенты увидели суб-

инспектора Виноградова, который отнюдь не собирался открывать дверь. Но вот подбежал вездесущий Троицкий и со всего размаха ударил по стеклу палкой. Субинспектор испуганно отскочил, а Троицкий мигом открыл дверь ключом, оставшимся в замке. Ветеринары с криком «ура!» хлынули к актовому залу. Осколки стекла захрустели под сапогами...

Кремлеву пришлось прервать «лекцию»,— поднялся такой шум, что он и сам себя не слышал. Ректор смотрел, как бурлила молодежь, и с отчаянием думал: «Теперь придется начинать все сначала». А отступать не хотелось. Ведь если он не уговорит студентов мирно разойтись, придется вызывать полицию и солдат, разогнать сходку силой. А студенты так возбуждены, что без жертв не обойтись... Да и хотелось доказать инспектору, а вместе с ним и попечителю: ректор обладает авторитетом среди студентов. И Кремлев терпеливо ждал, когда юноши угомонятся...

— Ваше превосходительство! Что прикажете делать? — тяжело дыша, спросил директор ветеринарного института, рассказав все Масленникову.

— А каков ваш план? — ответил Масленников, не зная, как распорядиться.

— Я бы попросил полицмейстера прислать людей и разогнать бунтовщиков!

Масленников согласился. Но правитель канцелярии Жохов, когда директор передал ему распоряжение попечителя, сообщил:

— Господин директор! У вас полиции уже нечего делать!

— Почему? — испуганно спросил директор.

— Все ваши бунтовщики отправились в университет!

— Слава богу! — невольно перекрестился директор. Но тут, спохватившись, добавил: — Слава богу, хоть не подожгли институт...

Масленников, узнав о событиях в университете, тотчас телеграфировал Делянову. А в университет то и дело посылал курьеров с записками, приказывая инспектору немедленно принять все меры к прекращению сходки. Заручился он и разрешением губернатора — разогнать студентов, которые митинговали уже два часа, с помощью солдат...

Кремлев, как доносил Потапов, и слышать не хотел о том, чтобы пустить солдатню в университет.

«Это либеральничанье ректора,— злорадствовал Потапов,— дорого ему обойдется. Но ничего! Теперь попечитель убедится, насколько я был прав, когда говорил: работать с таким ректором — мука мученическая! Хорошо, если б Кремлеву студенты дали по физиономии, как в свое время ректору Фирсову... Ну, да и без этого он вряд ли удержится на месте ректора. Попечитель обещал сделать все от него зависящее, чтобы выгнать Кремлева. Да не только с поста ректора, но и вообще из университета. Наука от этого не слишком много потеряет».

8

Кремлеву показалось: вот-вот он уговорит студентов разойтись. Воинственный запал сходки явно угасал. Слышались даже голоса:

— А если разойдемся, нас не накажут?

Ректор пообещал сделать все возможное. Однако этим никого не успокоил. Студенты знали, что инспекция может выгнать их из университета, несмотря на протест ректора.

Полянский спросил:

— Ваше превосходительство! Летом из университета исключили десять студентов. Скажите, за что их так сурово наказали?

— К сожалению, причины исключения этих студентов мне не известны,— откровенно признался Кремлев.

— А разве правильно,— продолжал Полянский,— что ректору не известно, за что исключают студентов?

— Таков устав,— пожал плечами Кремлев.

— Вот мы и выступаем против диких порядков, при которых инспекция делает все, что ей заблагорассудится! — гневно воскликнул Полянский.— Мы требуем отмены нового устава! И тот, кто не на словах, а на деле любит науку, кто желает студентам добра, не может не поддержать нас! Он будет за нас потому, что наши требования продиктованы одной заботой: чтобы университет стал не полицейским участком, в который его превратил новый устав, а подлинным храмом науки! И если вы не можете передать правительству нашу петицию, просим пригласить сюда всех профессоров!

Студенты дружно закричали:

— Просим профессоров!

— Профессоров сюда!

— Профессоров!..

— Вот вам, ваше превосходительство, мнение всей сходки! — сказал Полянский, когда голоса утихли.— И мы не разойдемся, пока профессора нас не выслушают. Мы полагаем, наши наставники не откажутся постоять за ту правду, о которой они так часто говорят на своих лекциях? Они поймут нас и возьмутся передать правительству петицию с изложением всех наших требований.

— Господ профессоров я сюда пригласить не могу...

Слова ректора встретили рукоплесканиями и свистом. Свистели те, кто, стоя ближе к кафедре, услышал ответ Кремлева. Аплодировали в задних рядах, не разобрав,— хочет Кремлев пригласить профессоров или отказывается.

— Разъясните, пожалуйста, ваше превосходительство, почему вы не хотите пригласить профессоров? — спросил Полянский. За два часа сходки он уже не раз ставил ректора своими вопросами в весьма затруднительное положение.

— А вот почему,— ответил ректор, радуясь, что студенты хоть немного притихли и слушают его.— Во-первых, совместное собрание студентов и профессоров для обсуждения ваших требований стало бы новым нарушением закона. Во-вторых, такое собрание, будучи противозаконным, не может иметь никаких других последствий, кроме наказания его участников. И все, что решит подобное собрание, будет признано незаконным. В-третьих, просьба ваша практически неосуществима. В университете шестьдесят профессоров, и нам слишком долго придется ждать, пока они соберутся. Многие сейчас отсутствуют.

— Пусть это вас не волнует, ваше превосходительство! — сказал Полянский.— Мы готовы ждать хоть до утра!

В то время когда ректор тщетно пытался уговорить студентов разойтись, в читальном зале собралось шестнадцать профессоров и пять приват-доцентов. Утром преподавателей было гораздо больше. Но, когда студенты взбунтовались, многие, как сказал протоиерей Милови-

дов, ушли от греха подальше. А те, кто остался, не знали, что делать. Одни советовали идти на выручку ректору, который уже два часа единоборствует с бунтовщиками; другие, ссылаясь на законы, уверяли, что этого делать нельзя.

Послали спросить мнение инспектора, но Потапова на месте не оказалось — он снова отправился к попечителю.

— Нет, господа,— говорил профессор Щербаков,— не следует нам в столь опасную для университета минуту оставаться в стороне. Наше звание, наша совесть и наконец инструкции министерства обязывают нас убедить студентов разойтись...

— Да, да, наше место не здесь, а рядом с ректором!— поддержал Щербакова профессор Загоскин.— Мы обязаны помочь ему успокоить студентов.

— А я полагаю, господа,— возразил профессор Дормидонтов,— нам туда идти не следует. Своим появлением мы можем только повредить. Если бы господин ректор нуждался в нас, он давно бы за нами прислал.

— Воистину так! — согласился протоиерей, который не успел сбежать вовремя и теперь не знал, как это сделать.— Господин ректор наверняка прислал бы за нами...

— Нет, господа, надо все-таки туда пойти! — заявил Загоскин.— Я, например, буду считать, что, не сделав этого, не выполню свой гражданский долг.

— Я тоже! — присоединился к нему профессор Щербаков.— И если разрешите, я, как старший, поговорю со студентами от вашего имени.

Когда почтенные коллеги услышали, что профессор Щербаков решил побеседовать со студентами,— не только Загоскин, а почти все согласились пойти в актовый зал. Ведь стоять там молча — это совсем не то, что произносить речи на запрещенной сходке. Пусть даже эти речи будут направлены против студентов, все равно могут сказать: «Кто дал вам право выступать на незаконной сходке?» Неприятностей не оберешься и за то, что они явятся туда, куда их никто не приглашал. Но не хотелось и впасть в немилость у ректора. А он, несомненно, не простит, что его никто не поддержал, не помог погасить бунт...

Бурными рукоплесканиями встретили студенты профессоров. Ректора появление коллег тоже порадовало. Он не знал, что делать: и к военным властям не хотелось

обращаться, и чем дальше, тем больше убеждался он: студенты не поддаются на его уговоры.

— Господа студенты! — заметно волнуясь, начал профессор Щербаков, когда в зале стало тихо. —По поручению моих коллег, а ваших наставников, я, как старейший среди них, прошу вас понять: университет — храм чистой науки, не место для такой буйной сходки, какую вы затеяли. Вы пришли сюда учиться... А потому все свои силы должны отдавать интересам науки. Решать вопросы общественного значения вы не призваны. Да и не можете! Для этого вам не хватает необходимой подготовки. Вы станете полноценными членами общества лишь после того, как получите высшее образование. Только тогда вы обретете возможность с пользой для общества применить знания, полученные в университете. А из-за того, что вы собрались здесь незаконно, вы рискуете не завершить образования. И следовательно, рискуете остаться на всю жизнь людьми, которые не принесут никакой пользы родине, чьи интересы, надеюсь, вам так же дороги, как и нам, вашим учителям. Ради науки, ради блага дорогой нам отчизны, ради чувства долга и законности, прошу вас разойтись. Успокоившись, вы сами потом осудите свой поступок. Лучше исправить ошибку, пока еще есть возможность...

Студент Скворцов, воспользовавшись паузой, бросил:

— Профессора заодно с инспекцией!

— Профессоров не нужно путать с инспекцией! — ответил профессор Загоскин под рукоплескания студентов.— У нас с инспекцией различные функции!

— Непра́вда! — крикнул Скворцов.— Все профессора — шпионы!

— В таком случае нам не о чем с вами говорить! — Профессор Загоскин решительно направился к выходу.

Зал встревоженно загудел, и трудно было разобрать, что преобладало — осуждение Скворцова или недовольство Загоскиным. Остальные профессора тоже двинулись к выходу, торопясь воспользоваться столь удобным поводом. Им было ясно: никакие уговоры не помогут — студенты упрямо добиваются своего.

Но возле самых дверей толпа преградила им дорогу. Послышались голоса:

— Просим остаться!

— Просим! Просим!

Студенты потребовали, чтобы Скворцов отказался от своих слов, и он заявил:

— Я имел в виду профессоров ветеринарного института, а не университета!

Когда студенты умолкли, вперед снова выступил Полянский и горячо сказал:

— Мы видим, что ни господин ректор, ни господа профессора не желают поддержать наши требования, не хотят передать нашу петицию правительству. В таком случае нам остается одно — оставить университет, который из «храма науки» превратился в полицейский участок. Вот, господин ректор, мой входной билет! — Полянский бросил его на стол.— В таком университете я учиться не желаю!

— Я тоже не хочу! — бросил свой билет и Владимир.

— Я тоже!.. Я — тоже!..— Я тоже!..

На стол, словно осенние листья, сорванные ветром, полетели студенческие билеты.

Ректор и профессора растерянно смотрели на это, как им казалось, безумство юных...

В зал вошел профессор математики Преображенский, которого студенты очень любили. Он крикнул:

— Господа! Некоторое время тому назад я представил начальству прошение об отставке. Могу сообщить вам радостную для меня весть: сегодня наконец отставка моя принята.

Заявление это встретили бурей рукоплесканий, криками «ура». Теперь даже те, кто не решался отдать входной билет, двинулись к столу. Груда билетов все росла.

Студенты уходили из университета...

9

Когда Кремлев пообещал полицмейстеру утихомирить студентов, тот не поверил. Он не сомневался: не пройдет и десяти минут, как ректор запросит помощи. Ведь студенты, если верить инспектору, совсем обезумели! И полицмейстер терпеливо сидел в кабинете Потапова, куда то и дело забегали педели и доносили, что происходит в зале... Но вот прошел час, два, три, а ректор на помощь не звал.

Полицмейстер решил поехать к губернатору и посоветоваться о событиях в университете. Он уже верил

инспектору, что во всем этом печальном происшествии виноват ректор. Вместо того чтобы разогнать студентов, он болтает с ними о всяком вздоре. А тем временем возле университета собирается все больше молодежи и рвется в здание к бунтовщикам...

— Какой все-таки позор! — твердил Потапов.— Студенты буйствуют, а господин ректор не отваживается применить силу против силы. И все это, чтобы насолить мне, показать: студенты, мол, воинственно настроены только против инспекции!..

— Я уезжаю,— сказал полицмейстер. Ему опостылело слушать, как Потапов ругает ректора.

— Я тоже еду к попечителю! Господин Войцехович! Если случится что-нибудь непредвиденное, сразу же пошлите за мной.

В этот день губернатор отложил прием посетителей. Опасался, чтобы студенты не пришли и к нему — ведь порой они вручали петиции и губернаторам! Полицмейстер куда-то исчез, и полковник Гангардт тоже не появляется. Должно быть, ничего толком не знает, хоть и хвастает, что у него повсюду свои агенты. Командир Ревельского полка, чей батальон стоит во дворе полицейского участка, докладывает: приказа занять университет никто не отдавал.

Все ругают ректора, который слишком либерален, боится применить решительные меры... А произойдет что-нибудь серьезное, отвечать придется губернатору!..

— Ваше превосходительство, извините, но мы словно в западню угодили...— пожаловался внезапно появившийся полицмейстер.

— Почему? — удивленно поднял брови губернатор.

— Все наши действия парализовал ректор!

— Не может быть! — воскликнул неприятно пораженный Андреевский, давно друживший с Кремлевым.

— Точно так, ваше превосходительство! — подтвердил полицмейстер.— Я просил у ректора разрешения разогнать студентов, а он не согласился. Конфликт между инспектором и ректором так обострился, что одному из них придется, очевидно, подавать в отставку.

— Ну, тогда инспектор далеко пойдет,— криво усмехнулся Андреевский.

— У меня такое же впечатление,— позволил себе ухмыльнуться и полицмейстер, радуясь, что начальство не гневается.— Доходили до меня слухи, будто он целит на должность помощника попечителя...

— Что же будем делать? — перебил полицмейстера Андреевский. Сейчас ему было не до сплетен.

— Признаюсь, не знаю, ваше превосходительство,— ответил полицмейстер.— В столь глупое положение я, кажется, еще никогда не попадал. Потапов составил список студентов, которых надлежит исключить из университета и выслать из города... Он уверяет, что попечитель его поддержит. Сейчас поехал к Масленникову. А тот должен обратиться к вам...

— Вы предполагаете,— спросил губернатор,— арестовать студентов прямо на сходке?

— Ректор вряд ли согласится,— огорченно заметил полицмейстер.— Да и трудно в университете взять сразу человек сорок. Это лучше сделать, когда они разойдутся по квартирам... А студента Алексеева, ударившего Потапова, я приказал арестовать, как только он выйдет из университета.

— Кто этот Алексеев? — спросил Андреевский.— Наверно, сынок какого-нибудь ссыльного?

— Это было бы неудивительно, ваше превосходительство,— вздохнул полицмейстер.— Но когда мне сказали, кто его отец, я не поверил. Алексеев — сын исправника!

— Вот как! — воскликнул губернатор.— А впрочем, удивляться не приходится. Ведь отец Ульянова был директором народных училищ именно в нашем учебном округе. Кстати, как ведет себя брат?..

— Потапов утверждает, что младший Ульянов пошел по дорожке старшего.

В это время Потапов был с докладом у Масленникова. И по его словам получалось, что студенческая сходка в университете — прямое следствие либерализма ректора. Студенты, дескать, отважились на бунт лишь потому, что были уверены: ректор оставит это безнаказанным, потому что даже не скрывает своего враждебного отношения к инспекции. Ведь Кремлев, зайдя в актовый зал, не только не осудил постыдный поступок Алексеева, но даже не упомянул о нем ни единым словом. Студенты

восприняли это как одобрение возмутительного рукоприкладства.

— Вот, Порфирий Николаевич, список студентов — участников сходки,— положил Потапов перед Масленниковым бумагу.— Против фамилий тех, кто особо отличился, я поставил три креста. Их, я считаю, надлежит незамедлительно исключить из университета и выслать из города. На Алексеева, как обещал полицмейстер, будет заведено уголовное дело.

— Та-ак,— протянул Масленников, просматривая список.— Против Ульянова тоже три креста...

— Я уже говорил вам, Порфирий Николаевич, Малиновский и Щербаков напрасно приняли Ульянова в университет. Вместе с Полянским, тоже, кстати сказать, воспитанником Симбирской гимназии, он бежал впереди толпы, всячески подстрекая ее. Таким место не в университете, а в Сибири!

— Совершенно с вами согласен,— сказал попечитель.— Поведением ректора я возмущен не менее, чем вы. А особенно тем, что он не осудил позорного поступка Алексеева. Об этом я доложу министру. Попрошу предложить Кремлеву подать в отставку.

— Благодарю, Порфирий Николаевич,— почтительно склонил голову инспектор.— Если Кремлева устранят, я, невзирая на нанесенное мне страшное оскорбление, останусь на своем посту...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Московский университет закрыли, и студенты, казалось, угомонились. В других университетах пока все обстояло благополучно, кроме Петербургского, где возникла распря между профессорами и новым ректором Владиславлевым: Менделеев выгнал его однажды из своей лаборатории, а профессора и студенты стали на сторону Дмитрия Ивановича. Назревал бунт...

Делянов усердно пытался помирить профессоров с ректором, а главное — утихомирить студентов. Вспыхнут студенческие волнения в Петербурге,— волна мигом докатится и до провинции.

Посоветовавшись с Толстым и Победоносцевым, Де-

лянов решил испросить царского разрешения неукоснительно закрывать университеты в случае студенческих бунтов. Как показал опыт, это — наилучшая мера для наведения должного порядка.

Карета уже была у подъезда, когда Делянову вручили телеграмму из Казани. Попечитель сообщал: студент Алексеев ударил инспектора, молодежь бунтует, и просил разрешения с помощью солдат очистить университет от смутьянов и прекратить занятия.

Но ведь тот же Масленников на днях телеграфировал: в Казанском университете все спокойно... Делянов перечитал телеграмму. Плохо дело! Бунт может охватить все университеты. Такого не было лет пять. Он же заверял царя, что «студенческие истории» больше не повторятся...

И министр гневно написал на телеграмме Масленникова:

— Для спасения благомыслящих не щадите негодяев.

Приказав тотчас отправить телеграмму в Казань, он поехал к царю — теперь уже не в Гатчину, а в Аничков дворец.

Император принимал Толстого. Когда Делянов появился в приемной, граф выходил из кабинета. По самодовольной усмешке Толстого, Делянов догадался: граф вполне удовлетворен приемом.

— Ваше сиятельство! — тихо сказал Делянов.— Я только что получил телеграмму из Казани...

— Знаю! — перебил Толстой.— И в Казани дали пощечину инспектору... Я приказал губернатору выслать главных бунтовщиков из города.

— А как государь? — осторожно спросил министр просвещения, понимая, что Толстой говорил с царем и о студенческом бунте в Казани.

— Гневается!

Делянова пригласили в императорский кабинет. Государь встретил его довольно приветливо. Но приветливость эта, министр понимал, была показной. И не ошибся: сказав несколько общих фраз — царь повторял их во время каждого приема,— он спросил, не ожидая, пока заговорит министр:

— И в Казани — тоже бунт?

— Точно так, ваше величество! Студент Алексеев

ударил инспектора Потапова. Студенты взломали двери актового зала и устроили сходку. Я приказал попечителю действовать со всей решительностью.

— И что же? — нахмурился царь.— Разогнал он бунтовщиков?

— Уверен, разгонит, как человек весьма энергичный...

— Вы уверяли меня, что студенческая история не пойдет дальше Москвы! — сердито напомнил царь.— А выходит, она перебрасывается на все университеты! Бьют инспекторов, ломают двери, устраивают сходки... Им осталось только сжечь Москву, Казань, Петербург, Киев... И кто это удосужился принять в Казанский университет брата того самого Ульянова, который готовил на меня покушение?

— Это была, ваше величество, страшная ошибка,— дрожащим голосом сказал Делянов.— Попечитель и ректор находились в отпуске, а их заместители не посоветовались со мной...

— Почему же вы не предупредили заранее о том, чтобы близких родственников такого злодея, как Ульянов, и на пушечный выстрел не подпускали к университетам?— грозно продолжал царь.

— Я это сделаю сегодня же, ваше величество! — заискивающе отвечал Делянов.

— И главное, скажите мне наконец, где же корень зла? — раздраженно спросил царь.— Кто готовит бунты? Почему студенты не занимаются тем, для чего они поступили в университет, а лезут в политику?

— Я, ваше величество, все время размышляю об этом,— сказал, помолчав, Делянов. И, решив еще раз «отблагодарить» графа Толстого, который, вероятно, и донес царю, что брата Александра Ульянова приняли в Казанский университет, присовокупил: — И все больше склоняюсь к тому, что таковы плоды влияния крамолы на студентов...

— А почему крамола влияет именно на студентов? — гневно спросил царь и сам ответил: — Мы набили университеты простолюдинами, которые легко поддаются злонамеренной пропаганде... С этим надо покончить!

— Слушаюсь, ваше величество! — покорно склонил Делянов лысую голову.

— А того, кто ударил инспектора Казанского университета... Как его там?

— Алексеев, ваше величество...— поднял Делянов глаза, почуяв, что государь несколько успокоился.

— Я приказал отдать его на три года в дисциплинарный батальон.

— Благодарю вас, ваше величество! — еще ниже склонил голову Делянов.

— И не нянчитесь с бунтовщиками! — приказывал царь, когда Делянов, пятясь, выходил из кабинета.— Считайте всех этих смутьянов отъявленными врагами престола и отечества...

2

Ульянов и его друзья собрались после сходки в курилке. Педели не догадались ее запереть. Правда, забежал было Поморов, но Троицкий решительно вытолкал его. Когда стали обсуждать результаты сходки, Владимир сказал:

— Нам осталось одно: подать прошения ректору о том, что мы не желаем учиться в университете при условиях, сложившихся из-за нового устава. Если такие заявления подадут все — пусть даже не все, а подавляющее большинство! — это не может не привлечь внимания правительства. Министрам и царю придется задуматься, почему все оставили университет? И возможно, этот бойкот вынудит начальство пересмотреть устав...

— А если они закроют университет? — спросил Сараханов.

— Нет, правительство не пойдет на то, чтобы закрыть университеты. Ведь это позор перед всем цивилизованным миром! — ответил Владимир.— Если даже при Александре Первом не отважились уничтожить наш университет, как предлагал мракобес Магницкий, сейчас тем более этого бояться нечего. Меня волнует другое, подадут ли прошения все студенты, за исключением, конечно, явных и тайных шпионов? Входные билеты, как мы видели, отдали далеко не все...

— У многих их не было с собой! — заметил Полянский.— Они пошли за билетами. Кое-кого и вообще не оказалось в университете. И они еще не знают, что произошло...

— Тогда надо их разыскать, уговорить, чтобы все написали,— предложил Владимир.— Этим мы и должны

немедленно заняться. А сейчас покажем пример другим — напишем прошения сами.

И студенты принялись писать, пристроившись где попало — одни у стола, другие на подоконниках. Бумаги договорились подать завтра. Поэтому датировали их 5-м декабря.

> «Не признавая возможным продолжать мое образование в Университете, при настоящих условиях университетской жизни,— писал Владимир в своем прошении на имя ректора,— имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского Университета».

Набралось семьдесят восемь прошений. Решили, не откладывая на завтра, передать их ректору тотчас. Полянский и Владимир отнесли документы в канцелярию. Ректора, как им сказали, в университете не было — его вызвал попечитель. Все очень проголодались — часы показывали половину шестого,— поэтому решили выпить где-нибудь чаю, а потом пойти по квартирам — уговаривать студентов подавать прошения об уходе.

Когда они вышли, то увидели: университет окружен полицией. С другой стороны улицы Оля Ульянова махала брату рукой.

— Ты все время стояла здесь? — спросил Владимир, подбегая к ней.

— Нет! Пришла сюда к пяти,— скороговоркой ответила Оля и засыпала брата вопросами.— Что у вас там было? Почему так долго не выходили?

— Пойдем с нами! Я тебе все расскажу,— взяв сестру под руку, пообещал Владимир.— Как ты замерзла! Вся дрожишь!..

— Это от волнения,— засмеялась Оля. Она была счастлива: наконец-то увидела Володю и узнает о событиях в университете.

— У вас всё, ваше превосходительство? — спросил Масленников, когда Кремлев, кратко доложив о том, что произошло, замолчал.

— Да, кажется, всё...

— Не предполагал, ваше превосходительство, что вы проявите такую нерешительность,— заворчал Масленников.— Почему вы сочли, что ни полицию, ни солдат не следует допускать в университет?

— Я, ваше превосходительство, объяснил уже причины,— спокойно ответил Кремлев.— Но могу повторить: прежде чем вызвать солдат и с их помощью разгонять студентов, воспитание коих доверено мне, я должен был совершить все от меня зависящее, чтобы вразумить их. И я этого добился — студенты разошлись...

— Разошлись, но когда? — зло усмехнулся Масленников.— После того как оскорбили действием инспектора и четыре часа безнаказанно дебоширили в актовом зале! После того, наконец, как швырнули вам свои билеты. Короче, после того как содеяли все, что задумали! Ведь не вы, а они оказались победителями... Инспектора избили. Петицию вручили...

— Я петицию только прочел, а не принял...

— А вы не имели права ее даже в руки брать! — вскочил Масленников, позабыв, что до сих пор притворялся больным.— Это непростительная ошибка. И за нее придется ответить!

— Я никогда не боялся за свои ошибки отвечать,— с достоинством сказал Кремлев.

— Хорошо! — несколько успокоился попечитель.— А почему вы не позволили инспекции присутствовать на сходке? Ведь вы лишили ее возможности наблюдать за тем, что вытворяли бунтовщики...

— Я был бы очень рад видеть там и господина инспектора и всех, кто имеет отношение к университету.— Кремлев решил наступать на сановного труса.— Но никто, кроме полицмейстера, не соизволил прийти в университет в эти трудные минуты. Точнее сказать — часы. Что касается педелей, я их вовсе не выгонял. Посоветовал лишь держаться подальше, не раздражать студентов. И педели могли оказаться в том же незавидном положении, в какое угодил господин инспектор.

— Тогда, может быть, вы сами напишете, кто произносил речи и что говорили вам? — спросил Масленников.

— К сожалению, этого я сделать не могу,— ответил Кремлев, еле сдерживаясь, чтобы не сказать какую-нибудь непозволительную резкость.— Во-первых, там было

много первокурсников, которых я совсем не знаю. Во-вторых, кричали и произносили речи решительно все. Так что трудно выделить кого-либо. Да я и не прислушивался... Мои мысли были заняты одним — утихомирить студентов, уговорить их разойтись... При таком напряжении умственных и душевных сил — не до подслушивания. И я весьма благодарен коллегам, не убоявшимся прийти мне на помощь...

— А я считаю, что профессора не имели никакого права идти на незаконное сборище студентов. Своим приходом они словно узаконили сходку! — заявил Масленников, нахмурив жирный лоб.

— Тогда логично умозаключить,— возразил Кремлев,— что в зал не имел права зайти и господин инспектор. Ведь самое появление его означало то, о чем вы, ваше превосходительство, изволили заметить.

— Инспектор имел право! — отрезал Масленников.— Он по инструкции обязан следить, чтобы студенты не нарушали правил...

Попечитель перечислял параграфы устава, инструкции, а ректор молчал. Он видел: доказать что-либо этому человеку невозможно. Его волнует одно, как выгородить себя. Позор! Студенты бунтуют, а попечитель сидит, словно арестант, под охраной солдатни. Даже на акт не осмелился пожаловать! Да и вообще года два не бывал в университете. А делает вид, что знает, чем взволнованы студенты и профессора. И уже наверняка телеграфировал министру: благодаря именно его усилиям студенты мирно разошлись, а сходку можно было бы разогнать еще скорее, если бы ректор прислушался к советам попечителя. Министр, конечно, поверит, что все так и было.

— Инспектор подал мне список зачинщиков,— достав из ящика лист бумаги, сказал Масленников.— Таких набралось тридцать девять... Возьмите, ваше превосходительство, список, соберите правление и немедленно примите решение об исключении из университета всех этих негодяев...

— А вы, ваше превосходительство, уверены, что инспекция не ошибается? Не считаете нужным прислушаться к голосу правления? — спросил Кремлев, взяв у Масленникова список.

— Если правление признает необходимым дополнить

список, я возражать не буду,— ответил попечитель.— Кстати, в списке есть лица, которые вообще попали в университет случайно. Я имею в виду, например, брата государственного преступника Ульянова. Инспектор особо отмечает...

— К сожалению, я с ним не успел познакомиться...

— Вот и скверно, господин ректор, не знать в лицо даже таких студентов, как Ульянов. А вам надлежало бы присмотреться к нему как следует...

— Надеюсь, ваше превосходительство, вы примете участие в заседании, где будет решаться столь важный вопрос?

— К сожалению,— поморщился Масленников, словно у него опять что-то заныло,— я слишком худо себя чувствую. Пусть уж господин Малиновский... Заседание прошу провести сегодня же, и всех бунтовщиков исключить из университета! А дела их передать полиции!..

3

По приказу губернатора в городе закрыли все портерные. Всюду стояли усиленные полицейские посты. Голодные студенты толпами слонялись от одной портерной к другой, проклиная полицию. Потом решили устроить демонстрацию перед квартирой попечителя.

Троицкий, а за ним и еще несколько самых отчаянных стали собирать камни, чтобы выбить окна в доме «Афонского монаха». Но Ульянов, Полянский и Сараханов уговорили их не подменять серьезную демонстрацию буйством.

Возле дома Масленникова стояли солдаты. Весь город знал, как «бдительно» они охраняют попечителя. Когда к часовым подошел корнет Массалитинов и спросил, зачем они тут стоят, проверяя, правильно ли понимают солдаты свои обязанности, они браво ответили:

— Да вот, ваше благородие, стережем, чтобы не сбежал...

— Кто?

— А вон тот генерал, что на втором этаже,— сказал солдат.— Он чего-то там наколобродил со студентами, вот нас и поставили, чтобы мы и шагу не дозволили ему ступить. Когда сегодня его возили на допрос к самому губернатору, так четверо верховых карету охраняли.

И назад привезли под конвоем. С того часу он из квартиры и не показывался...

— Ну, а если студенты надумают его освободить, что вы сделаете? — спросил корнет, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться — столь невероятной оказалась эта анекдотическая ситуация.

— Будем стрелять! — ответил солдат.— Нам и патроны выдали!

— Молодцы! — похвалил Массалитинов.— Смотрите, не пристрелите ненароком самого генерала!..

Беседу слышали студенты, которые добивались аудиенции у попечителя, и пересказали ее в университете. Через шпионов и педелей она молниеносно достигла ушей инспектора, и Потапов поспешил передать ее самому Масленникову. Тот страшно перепугался: такая, с позволения сказать, «охрана» скорее может навредить, чем помочь.

Когда после сходки студенты подошли к дому попечителя, Полянский сказал часовому:

— Сбегай к его превосходительству и скажи: студенты хотят с ним поговорить!

— Не имею права отлучаться с поста,— испуганно ответил солдат.

— Тогда позвольте нам пройти к нему,— попросил Владимир.

— Приказано никого не пропускать!

— А что же, по-твоему, нам делать? — спросил Сергей.

— Не могу знать!

В это время кто-то крикнул, заметив, как за окном квартиры попечителя мелькнула тень:

— Попечитель!

Толпа подхватила хором:

— Попечителя!

— Попечителя!..

Кричали до хрипоты, но Масленников не появился. Приказав запереть все двери, он опасался подойти даже к окну. И тенью, промелькнувшей за шторой, была горничная. Супруга Масленникова послала ее посмотреть, что делают студенты.

Из толпы раздались гневные голоса:

— Инквизитор!

— Ничтожный трус!

— Афонский монах!

— Вечная па-мять!..— затянул Сараханов густым басом.

И все подхватили:

— Вечная память!.. Вечная память!.. Вечная память!..

— Господа студенты, что вы делаете? Грех-то какой!..— крестился солдат из охраны.— За это бог вас накажет!..

— Не накажет,— ответил Полянский.— Ведь попечитель уже и впрямь, наверно, помер с перепугу...

Масленников встал с постели только после того, как горничная доложила, что студенты разошлись. Мысли путались от пережитого страха и бессильной ярости. Как его опозорили! Снова весь город будет повторять, что он трус, будет уверять, что веди он себя смелее, тогда и студенты не взбунтовались бы. И в болезнь его никто не верит.

Попечитель вызвал унтера из охраны и сердито спросил:

— Почему не разогнали студентов?

— Ваше превосходительство! Нас — четверо, а их было больше сотни...

— Все равно вы должны были действовать, а не стоять и смотреть, как они буянят!

Унтер видел, как у «его превосходительства» дрожат руки, дергается щека. Конечно, каждый задрожит, услышав, как ему, живому, поют вечную память. Такое могут придумать только безбожники-студенты. Но и сам тоже хорош! Не мог выйти, поговорить. Не съели бы его! А теперь, вишь, не знает, на ком злобу сорвать — на охрану набросился... Еще, глядишь, начальству пожалится. Ну и люди, эти штатские генералы! Никак им не угодишь....

4

Члены правления университета собрались только к половине двенадцатого ночи. За некоторыми профессорами пришлось посылать по три раза. Многие сказались больными. Хотели отложить заседание на завтра, но Масленников на это не соглашался. Ему не терпелось доложить министру об исключении из университета во-

жаков бунта. Кроме того, правление обязано было по приказу того же Масленникова принять решение о прекращении занятий. С завтрашнего дня университет должен быть закрыт...

Все предполагали, что Потапов не явится на заседание правления. И ошиблись — инспектор пришел и вел себя так, будто ему не пощечину дали, а по меньшей мере орденом наградили.

Потапов был уверен: Кремлев, открыв заседание, от имени всех профессоров и преподавателей выразит ему сочувствие в связи с оскорблением, нанесенным студентами. Но ректор и словом об этом не обмолвился. Он сказал, что собрал правление по приказу попечителя и столь многозначительно взглянул на Потапова, что все поняли: этого добивался инспектор.

— Мы должны решить два вопроса. О прекращении занятий в университете и об исключении студентов по списку, подготовленному инспекцией,— хмуро сказал Кремлев.— Прекратить занятия в университете нам предписывают на срок, который сейчас крайне трудно установить сколько-нибудь точно. Исключить из университета предлагают тридцать девять студентов. Точнее, приказывают. Мы вынуждены принять на веру, что инспекция внесла в список именно тех студентов, которые заслужили такое суровое наказание. Кто, господа, выскажется по этим вопросам?

— Разрешите мне, Николай Андреевич,— первым отозвался профессор Щербаков.

— Пожалуйста, Арсений Яковлевич!

— Прежде чем мы приступим к рассмотрению поставленных перед нами вопросов, я хочу сказать несколько слов. Все мы или почти все, кто здесь собрался, были свидетелями того, как вы, глубокоуважаемый Николай Александрович, четыре часа вели единоборство со взбунтовавшимися студентами. И благодаря вашему такту, вашей выдержке, энергии, наконец, вашему авторитету среди студентов они разошлись со сходки спокойно. Вы спасли университет от печальной необходимости вызвать солдат, как это произошло в Москве. Разрешите мне, дорогой Николай Александрович, старейшему среди членов правления, от имени всех нас, от имени всех честных людей, сердечно любящих университет, желающих ему добра и процветания, поблагодарить вас за это...

Щербаков крепко пожал руку Кремлеву. Профессора поднялись, зааплодировали.

Потапов почувствовал: лицо его побагровело и горело, словно он получил еще одну пощечину!.. Члены правления недвусмысленно дали понять, что ждут его отставки. Так нет, господа профессора, не будет по-вашему! Он не только не уйдет в отставку, а всех разгонит! Он — не Брызгалов. Его пощечиной из университета не вытуришь! А вот многим из вас придется распрощаться с кафедрами... За это он готов поручиться...

Когда Потапов прочитал список студентов, подлежащих исключению, профессор Щербаков воскликнул:

— Так это же самые лучшие студенты! Это — наша надежда!

— Уж не имеете ли вы в виду брата казненного государственного преступника Ульянова? — не сдерживая ярости, спросил Потапов.— От имени инспекции я должен вас поблагодарить: хорошую услугу вы оказали университету, приняв его...

— Господин инспектор, вы хотите что-либо добавить к прочитанному вами списку? — вмешался Кремлев, опасаясь, что может вспыхнуть ссора.

— Все названные мною студенты — вожаки и зачинщики сходки,— настаивал Потапов.

— Какие у вас доказательства? — спросил профессор Загоскин.

— Мои собственные наблюдения, доклады моих помощников и педелей,— ответил инспектор.

— Я успел перед заседанием проглядеть список студентов, по сведениям субинспекторов и педелей принимавших участие в сходке,— снова взял слово Загоскин.— Здесь много ошибок! А именно: в списке значатся студенты, которых на сходке не было. И, с другой стороны, я не нашел в нем студентов, вернувших входные билеты ректору, а значит, побывавших на сходке. Что вы скажете по этому поводу?

— В список попали только те студенты, которые ворвались в зал до прихода господина ректора,— пояснил Потапов.— Те же, что пришли на сходку с разрешения его превосходительства, в список не внесены.

— И неудивительно! — иронически заметил Загоскин.— Ведь никого из инспекции в зале не было...

— Чинов инспекции не оказалось в зале потому, что

господин ректор приказал им выйти,— огрызнулся Потапов,— а не потому, что они не хотели там быть.

— Если верить вам, господин инспектор, я и вас тоже попросил выйти из зала,— не скрывая иронической улыбки, сказал Кремлев.— Инспекцию, господа, студенты просто-напросто выгнали из актового зала. Жаль, что нам не дают возможности разобраться в этом деле. Я целиком согласен с Арсением Яковлевичем,— инспекция, особенно в тех условиях, в какие она была поставлена, не могла не допустить ошибок. Совершенно верно, мы берем большой грех на душу — исключаем из университета людей, за которыми нет вины. Они, возможно, и не были на сходке. А что такое исключение молодого человека из университета, вы все хорошо знаете. Исключение, а за ним, как правило, и ссылка лишают молодых людей возможности закончить образование и занять соответствующее место в обществе. Следовательно, бросает в среду, которая превращает их в бунтовщиков и смутьянов... А потом — скамья подсудимых, ссылка, каторга! А то и виселица! Вот на какой путь мы, господа, благословляем сейчас лучших наших воспитанников, даже не разобравшись в деле, как совершенно справедливо заметил Арсений Яковлевич. Судебно-полицейская статистика свидетельствует: студенческие бунты тысяча восемьсот шестьдесят первого года подготовили каракозовцев. Беспорядки тысяча восемьсот шестьдесят девятого — процессы тех, кто ходил в народ. В государя Александра Второго бросили бомбу студенты, исключенные из университета. Наконец, совсем недавно казнены студент Александр Ульянов и его группа, к которой принадлежал и питомец нашего университета — Осипанов. Вот я и спрашиваю вас: не пополним ли мы подобным исключением ряды крамольников?

— Вполне возможно! — ответил за всех профессор Щербаков.

— Мне тоже кажется, что именно так и будет. Ведь я вынужден голосовать за исключение этих молодых людей только потому, что мне приказано это сделать...— Кремлев помолчал и спросил:— У кого, господа, есть еще какие-либо замечания?

Все молчали... Казалось, никто не поднимет руки за исключение студентов. Но когда Кремлев попросил голосовать, все опустили глаза, а руки подняли. Потапов

облегченно вздохнул. И презрительно взглянул на членов правления: «Посмотрите-ка на этих умников! Разглагольствовали-разглагольствовали, а все-таки проголосовали за исключение».

Прямо с заседания (оно окончилось в половине первого ночи и потому датировалось уже 5-м декабря) инспектор поехал на квартиру полицмейстера и передал ему список исключенных.

5

Алексеева арестовали первым. Именно в то время, когда заседало правление, полковник Гангардт допрашивал его.

Полковник сразу понял: Алексеев из тех «героев», которые, выпив рюмку, готовы на все. А проходит хмель — тоже готовы на все, лишь бы выпутаться из тенет, куда угодили, томимые ненасытной жаждой прославиться.

— Садитесь, господин Алексеев! — пригласил Гангардт, заметив, что арестованный трусит.— Садитесь, садитесь! И привыкайте к тому, что вам придется сидеть долго...— насмешливо подчеркнул он.— Надеюсь, вы знали, каким образом наказан студент, давший пощечину инспектору Брызгалову?

— Да, знал.

— Чудесно! Значит, вы шли на «подвиг» вполне сознательно? Или вы жертва жребия? — спросил Гангардт оробевшего юношу.— Буду вам весьма признателен, господин Алексеев, если вы ответите на мои вопросы с такой же смелостью, с какой действовали на сходке.

Но Алексеев молчал. Ударил он Потапова по собственной инициативе. Ссылаться было не на кого. Он привык пускать в ход кулаки, зная, что ему, сынку всемогущего исправника, все сойдет с рук. В каких только поножовщинах он не участвовал! И всегда благодаря папеньке выходил сухим из воды. Вот и инспектору закатил оплеуху, не задумываясь, чем это кончится. Лишь когда его арестовали, понял: на этот раз отец не выручит. Придется отвечать за свой поступок самому. А наказание ждет суровое! И он решил приврать.

— Я не намеревался бить господина инспектора,— сказал Алексеев.— Я просто взмахнул рукой, а он стоял рядом, вот я его случайно и задел...

— Ну что ж, это весьма похоже на правду,— продолжал иронизировать Гангардт.— Я бы на вашем месте добавил: ударь, мол, я инспектора по-настоящему, ему бы не устоять на ногах. Ну, а теперь скажите, что вы знаете о землячествах? Кто готовил сходку? Кто выступал на сходке? Чтобы вы не оказались в ложном положении, должен сообщить: на все эти вопросы я уже располагаю достаточно подробными ответами. Следовательно, спрашиваю вас, дабы проверить, хотите ли вы сказать правду?

Алексеев молчал. Гангардт понимал, что юноша внутренне еще не расстался с ролью героя дня, не забыл, как он ударил инспектора и ему бурно аплодировали, кричали: «Ура, Алексееву!».

— Я понимаю вас,— сказал Гангардт,— боитесь назвать товарищей, чтобы они вам не отомстили. Так знайте, в то время когда мы столь приятно беседуем, ваших дружков исключают из университета. А так как вам тоже вряд ли когда-нибудь удастся туда вернуться, то и не придется больше с ними встречаться. Сегодня мы на этом закончим. В камере у вас будет достаточно времени все обдумать как следует. Меня особенно интересует: кто готовил сходку? Кто руководил ею? Полянский? Ульянов? Сараханов? Португалов? Подумайте обо всем. Особенно прошу подробно написать о Полянском и Ульянове...

— Я с ними мало встречался.

— Это вы расскажете своему папаше! — издевательски усмехнулся Гангардт.— Кстати, я телеграфировал, чтобы он немедленно приехал.

Гангардт был уверен: Алексеева перепугает приезд отца. Но тот облегченно вздохнул. Отец вызволит его из беды! Может, и на этот раз обойдется?

.

Студенты надеялись, что их протест против нового устава поддержат профессора. Когда математик Преображенский объявил на сходке, что получил отставку, распространились слухи, будто тридцать профессоров намереваются подать в отставку на заседании правления. Но надежды оказались тщетными — ни один преподаватель в отставку не подал. А студентов исключили единогласно. Сколько исключили и кого именно — никто

не знал. Говорили, что исключили всех, кто был на сходке в актовом зале.

— Ну, как вам нравится поддержка профессоров? — спросил Ульянов Полянского.

— Фарисеи!

— Пойдемте к нам, чайку попьем,— пригласил Владимир.

— Пойдемте! Пойдемте! — поддержала брата Оля.— Ведь вы весь день ничего не ели...

— Спасибо, но... уже поздно,— ответил Полянский.— Пойду домой. Какие у нас на завтра планы? Где соберемся?

— В университете,— ответил Владимир.— Если туда не пустят, придумаем что-нибудь другое. Завтра мы должны сделать все, чтобы как можно больше студентов подали прошения о выходе из университета.

Когда Оля и Владимир пришли домой, была половина второго ночи.

Няня, открыв дверь, с отчаяньем спросила:

— Где ж это вы пропадали?

— Где пропадали, Варвара Григорьевна, там уж нас нет,— весело ответил Володя.— А сейчас мы дома, так дайте, пожалуйста, поесть...

— Ох, горе мне с вами! — вздохнула няня.— Хоть бы Мария Александровна приехала, что ли...

Владимир улыбнулся и примирительно сказал:

— Успокойтесь, няня! У меня сегодня было столько дел, что свободной минутки не оставалось. Завтра, кстати, дела будет не меньше. А Оля была со мной. Она мне помогала...

После ужина Владимир сразу лег спать. Он очень устал и заснул как убитый...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Всех студентов, чьи имена инспектор отметил тремя крестами, надлежало арестовать. А раз понадобилось схватить ни много ни мало тридцать девять «преступников», да у каждого произвести обыск и отвезти в тюрьму, на ноги поставили всю полицию. Столь больших аре-

стов в Казани давным-давно не бывало, и в полиции творилось такое, словно к городу приближался со своими войсками по меньшей мере Пугачев.

Полицмейстер Панфилов собрал всех приставов, приказал согнать извозчиков, которые чем-нибудь проштрафились или добровольно оказывали услуги полиции. Перед тем как отправить свое воинство за смутьянами, полицмейстер распорядился:

— Смотрите у меня! Берите их осторожно! Студенты такие шельмы — могут пустить в ход и оружие. На сходке чуть не убили господина инспектора. Педели докладывали: кое у кого были револьверы. Помните самоубийство Мотовилова? И главное — тщательно обыскать! Забирайте все, что вызывает подозрение... А вам, Арсений Васильевич, особое задание,— полицмейстер обратился к приставу первого участка Чехметьеву.— Вы арестуете Владимира Ульянова. По аттестации инспектора, он, как и его казненный брат, личность весьма опасная. Старшая сестра Ульянова — Анна — отбывает ссылку в Кокушкине. Обнаружите какие-нибудь улики, что она участвовала в этой истории, придется вам отправиться и в Кокушкино. После того, конечно, как доставите в тюрьму Ульянова...

— А если Ульянов сбежал? — нерешительно спросил Чехметьев.— Что тогда делать?

— Немедленно ехать за ним в Кокушкино! Ульянов — один из главных зачинщиков бунта. Ежели мы его не схватим сегодня, неизвестно, что он натворит завтра... Есть еще какие-нибудь вопросы?

Все молчали.

— Ну, коли все понятно,— с богом!..

И по заснеженным, скованным морозом улицам Казани, поскрипывая полозьями, во все концы города помчались сани.

Приставы и городовые, кутаясь в вонючие казенные тулупы, ругали студентов последними словами. И какой черт надоумил их бунтовать в эдакий морозище! Что б им подождать, пока хоть чуточку потеплеет...

Няню разбудил стук в дверь. Кто бы это мог быть? Может, Мария Александровна приехала? Почему тогда так поздно?..

Няня набросила тулуп, открыла дверь в сени, спросила:

— Кто там?

— Это я, Варвара Григорьевна! — послышался хриплый голос дворника.— Телеграммка вам...

— Сейчас разбужу Володю...

— Зачем его тревожить? Примете телеграммку, да и делу конец! А утром отдадите...

— И то правда!

Варвара Григорьевна зажгла свечу, открыла дверь, испуганно воскликнула:

— Господи, да что же это такое?!

— Тихо! — шепотом приказал пристав.— Тихо! Студент Владимир Ильин Ульянов дома?

— Дома...

— Отлично! — обрадовался Чехметьев.— Где он?

Из своей комнаты, закутавшись в халат, вышла Оля. Сердито спросила:

— Что вам, господа, угодно?

— Извините, с кем имею честь? — учтиво заговорил Чехметьев.

— А я кого имею честь видеть в нашем доме? — сказала Оля.

— Пристав Чехметьев,— козырнул незваный гость.— А вы, наверно, сестра студента Ульянова?

— Да.

— А кто вам разрешил проживать в Казани?

— А кто меня лишил такого права? — удивилась Оля.

— Местом вашей ссылки назначено село Кокушкино! И вы обязаны немедленно выехать туда.

— Я весьма признательна, господин пристав, за то, что вас так волнует мое местопребывание. Но Анна Ульянова, за которую вы меня, очевидно, принимаете,— в Кокушкине. Я — Ольга Ульянова.

— Прошу прощения, госпожа Ульянова,— извинился Чехметьев.— Прошу прощения! Мы, собственно, приехали к вашему брату — Владимиру. Проводите нас в его комнату.

— Подождите, я его разбужу!..

— Нет, нет, мы вместе с вами! — устремился за Олей Чехметьев со всей своей свитой: городовым, дворником и хозяйкой дома.— Мы с вами...

Устав и переволновавшись за день, Владимир крепко спал, не услышал ни стука в дверь, ни людей, что ввалились в комнату. Проснулся, лишь когда Оля несколько раз окликнула его. Поднялся, прищурив глаза, оглядел всех. Спокойно спросил:

— Чему обязан столь высокой чести?

— Вы студент Владимир Ильин Ульянов? — проверил Чехметьев, опасаясь снова ошибиться.

— Да...

— Вы арестованы!

— Приятная новость! — усмехнулся Владимир.— Разрешите, господин пристав, одеться или так в одеяле и повезете?

— Одевайтесь! А мы, с вашего разрешения, произведем обыск,— сказал Чехметьев.

— А у вас разве нет разрешения? — насмешливо спросил Владимир.

— Почему же, есть! Вот, смотрите,— предъявил Чехметьев ордер.

— Тогда мне остается разрешить вам, господин пристав, произвести обыск.

Пристав и городовой рьяно принялись все перетряхивать в квартире. Разбудили и Митю. Моргая заспанными глазами, он растерянно смотрел, как полицейские рыскали по всем углам. Наконец процедура эта закончилась. Пристав отметил в протоколе: «Ничего противозаконного не обнаружено». Дворник и хозяйка дома подписались как понятые. Их отпустили, а Владимиру приказали одеться потеплее. На улице — мороз! Да и там, куда его повезут, не слишком тепло...

Няня заголосила:

— Боже мой, боже мой! Что же мне делать?..

— Варвара Григорьевна, успокойтесь! — ласково сказал Владимир.— В том, что меня арестовали, вы нисколько не виноваты.

— Как же не виновата? — твердила няня.— Мария Александровна наказывала: «Смотрите, берегите...» Вот и уберегла!.. Господин пристав! Не забирайте вы его!..

— Не могу, у меня приказ...— пробормотал пристав.

— Так хоть скажите, ради христа, куда вы его повезете? Меня мать его спросит, где он? А что я скажу?..

— Оля, успокой няню! — попросил Владимир сестру и повернулся к приставу:— Поехали!

Владимир вышел из дому первым. За ним двинулись пристав и городовой. Няня и Оля побежали вслед, а Митю не пустили...

Мальчик бросился к окну и увидел, как Володя сел в сани. Рядом — пристав, а городовой примостился на козлах с кучером. Уже совсем было поехали, да няня что-то закричала, и сани остановились. Оля хотела за чем-то забежать в дом, но Володя не разрешил. Забыли что-нибудь? Да нет, кучер дернул вожжи, и лошади рванули с места, точно их изо всей силы стегнули кнутом. Сани исчезли, а Оля и няня еще долго стояли на улице...

Ночь была лунная, морозная. Когда выехали на Воскресенскую, Владимир увидел: и спереди, и сзади, и следом за ними мчатся сани с арестованными. Схватили не его одного!

— Так вы что же, решили весь университет переселить в тюрьму? — спросил он пристава.

Тот в свою очередь задал вопрос:

— Ну что вы бунтуете, молодой человек? Ведь — стена!

— Стена, да гнилая,— ответил Владимир,— ткни — и развалится!

— Ох, не развалится! — покачал головой Чехметьев.— Вы в этом убедитесь, когда посидите в тюрьме...

2

В тюрьме, сдавая Ульянова дежурному надзирателю, пристав переспросил:

— Так говорите «ткни — и развалится»?

— Развалится, господин пристав! — весело ответил Владимир.

— Ну, ну, посмотрим, как развалятся те стены, за которые вас упрячут...

Надзиратель повел Владимира по коридору. Одна дверь. Другая. Третья... Наконец остановились в небольшом помещении с грязным столом и койкой, на которой валялся засаленный матрац, а подушку заменял свернутый тулуп.

За столом сидел унтер-офицер, усы и борода у него были совсем как у инспектора Потапова (вот и еще двойник царя!). И только круглая, большая голова была голой, словно колено, а широкую лысину пересекал баг-

рово-синий шрам. Наверно, воздаяние какого-нибудь лихого арестанта...

Стол был завален пирожками, колбасой, хлебом. Рядом — бритвы, ножи, портсигары, деньги, карандаши, бумага. Все это явно отобрали у тех, кого уже обыскали и рассадили по камерам. Владимир мельком улыбнулся — няня на улице вспомнила, что забыла дать ему какой-нибудь еды. Оля хотела сбегать за пирожками, но он сказал, что ничего не возьмет. Словно знал, как тут будет...

Унтер вытер ладонью толстые, жирные губы и спросил надзирателя:

— Кого привел?

— Ульянова, господин старший надзиратель!

— Ульянова? — перестал жевать унтер.

— Так точно!

— Вон как! — оглядев Владимира, сказал унтер.— Так вы, значит, брат злодея, который поднял руку на священную особу его императорского величества?

— Да, я брат Александра Ульянова! — гордо ответил Владимир.

— Так-то вы благодарите государя-императора за то, что он и вас заодно не наказал? — закачал лысой головой унтер.— За то, что вас приняли в университет?

— На подобные вопросы,— отрезал Владимир,— я отвечать не желаю.

— Вот как! Ну ладно! Эй, Петров. Где ты там?.. Обыщи! — Унтер ткнул пальцем на карманы Владимира.— И отведи в седьмую. Печь там затопили?

— Еще нет,— отвечал Петров, бесцеремонно выворачивая карманы арестованного.

Унтер не сомневался: арестант станет просить, чтобы его не сажали в холодную камеру. А он только усмехнулся.

— Весьма признателен, господин унтер-офицер, за все заботы обо мне.

— Веди! Веди его! — заорал унтер.

— Извольте идти за мной! — сердито сказал Петров.

Выйдя в коридор, они поднялись по лестнице. На третьем этаже их встретил низенький, вертлявый надзиратель.

— В седьмую! — сказал Петров.

— Она ж не топлена! — растерянно заметил тот.

— Это родной брат государственного преступника Ульянова, казненного за покушение на государя-императора,— сурово произнес Петров.— Понятно тебе?

— Понятно! — испуганно взглянул на Владимира надзиратель.

Петров ушел, а надзиратель спросил заключенного, словно извиняясь:

— Приказ слышали?

— Слышал!.. Но буду жаловаться не на господина унтер-офицера, а на вас! Вы поленились протопить камеру и сажаете меня, по сути дела, в карцер, на что не имеете права.

— Печь затопим,— пообещал надзиратель, опасаясь, как бы ему и впрямь не пришлось отвечать, ежели студентик замерзнет.— А пока печь нагреется, я вам, кроме халата, разрешу взять свою шинель, хоть инструкцией это строго-настрого запрещено.

Камера оказалась довольно просторной. Здесь стояли столик с табуреткой, на узкой железной койке лежал такой же рваный, засаленный матрац, как и в комнате унтер-офицера. Пахло мышами, точно в старом, пустом амбаре. И холодно было, словно на улице.

Владимир провел пальцем по спинке койки, и от прикосновения остался темный след — железо покрывала изморозь.

Взялся за матрац — из дырки, рассыпав истертую солому, выпрыгнула мышь. Владимир тряхнул матрац посильнее,— выскочило еще несколько испуганных мышат.

Надзиратель принес отобранную у арестанта шинель и сокрушенно признался:

— Мыши — горе наше. Никогда столько не разводилось, как в этом году. Старики говорят: к голоду! Подушки и одеяла у нас, извиняйте, нету. Вашего брата, студента, сегодня навезли — начальство не знает, куда вас и девать. А печь — сейчас затоплю. К утру нагреется...

— Почему же только к утру? — спросил Владимир.

— Дрова сырые! Ведь в тюрьму везут то, что никому не надо. А потом мы же и виноваты...

— Кто же вас заставляет здесь служить?

— А где ж я больше заработаю?

— Хорошо платят? — полюбопытствовал Владимир.

— Гроши! — махнул рукой надзиратель.— Одна и выгода, что здесь все надежно...

— Вот это вы точно сказали,— рассмеялся Владимир.— Более надежного заведения, чем тюрьма, в Российской империи не отыщешь.

— Да-да! — согласился надзиратель, не уловив насмешки в словах заключенного.— Место надежное! Я уж двадцать три года служу здесь, и слава богу. А братан мой не захотел землю бросить, так и помер, царство ему небесное... с голоду...

Растопив печь, надзиратель запер камеру. Вскоре где-то запищали мыши. Владимир топнул ногой. Они притихли. Но лишь на мгновение! Потом снова заскреблись под половицами, зашныряли по камере. На столе чуть светила плошка. Владимир слышал, как надзиратель топал по коридору, бросал возле двери охапки дров.

Владимир подошел к стене, постучал, хотелось узнать, нет ли у него соседа? Никто не ответил. Постучал в другую стену — тоже тихо. Спят соседи... А может, те камеры еще пустуют?

Когда Аня сидела в тюрьме, она научилась перестукиваться. Владимир упросил сестру показать ему, как это делается. Аня удивлялась: «Зачем это тебе?» Володя отшучивался: просто, мол, любопытно! И он из своей комнаты перестукивался с Аней, пока в совершенстве не овладел таким способом беседы. И вот занятия тюремной азбукой пригодились куда раньше, чем можно было предположить. Утром он снова постучит. А когда наступит утро? Сейчас, вероятно, четвертый час ночи, не больше. Может, все-таки попробовать заснуть? Владимир развернул матрац и лег, укрывшись халатом и шинелью. Но согреться не мог. Особенно мерзли ноги. Он решил походить, пока камера нагреется. Если, впрочем, это вообще когда-нибудь произойдет. Надзиратель недаром предупреждал, что дрова сырые. Да он и не слишком усердствует, памятуя указание начальства: можно и совсем не топить. Экое свинство! Но что поделаешь — тюрьма... Вот так и Саша замерзал в Петропавловской крепости, ведь его посадили, когда еще было совсем холодно. Однако Ане он писал: «Всё благополучно, чувствую себя хорошо как морально, так и физически...»

Владимир шагал из угла в угол и думал о своих. Завтра Оля, наверно, поедет в Кокушкино и скажет маме, что его арестовали. А этого делать не надо. И как он по-

забыл посоветовать сестре пока не ездить в Кокушкино! Ведь вполне возможно, через день-два его выпустят. Маме лучше рассказать обо всем, когда он окажется на свободе. А может, Оля утром прибежит на свидание? Должно быть, так и будет! Но вряд ли ее допустят. Тогда нужно хотя бы письмо отправить. А как это сделать?

Утром он попробует достучаться до соседа. Глядишь, тот что-нибудь присоветует... О том, как примет мать весть о его аресте, не хотелось и думать. Но именно это особенно тревожило. Вспомнилось, как мама говорила, что от одного воспоминания о тюрьме у нее замирает сердце...

Кого же из товарищей арестовали? Всех посадить они, конечно, не смогли. Значит, надо связаться с теми, кто остался на воле. Они-то и доведут дело до конца. Завтра утром, когда появится тюремное начальство, он потребует перевода в камеру, где сидят все студенты...

Часа три Владимир ходил из угла в угол — такой холод стоял в камере. Печка немного прогрелась лишь в одном-единственном месте. Здесь ее протерли спины арестантов, которые точно так же мерзли тут до Владимира. Чтобы сесть спиной к теплому местечку и ноги укутать халатом, он решил пристагвить к печи табуретку. Но сдвинуть не смог, оказывается, ее намертво прикрепили к полу. Пришлось стоять. И хоть спину чуточку согревало, коченели ноги — так тянуло холодом. И холод, поднимаясь снизу, пронизывал все тело.

Владимир снова принялся ходить по камере.

— Оля! А за что Володю арестовали? — спросил Митя.— Он тоже хотел убить царя?

— О господи! — перепугалась няня.— Да кто ж это тебе сказал?

— Никто не говорил,— ответил Митя.— Я сам так подумал. Ведь Сашу арестовали за то, что он царя хотел убить? Да?

— Митя, послушай меня внимательно,— попросила Оля.— Володю арестовали не за то, что он хотел, как ты говоришь, убить царя. А за то...— Оля запнулась, не зная, как лучше объяснить брату...— За то, что он не подчинялся инспектору...

— Значит, его посадили в карцер? — спросил Митя.

— Это мы узнаем завтра,— ответила Оля.— Но куда бы его ни посадили, он скоро будет дома. Как только рассветет, я пойду искать Володю. Няня, готовьте передачу! И еще раз прошу, успокойтесь! Арест Саши и Володи совсем разные вещи. А в Кокушкино пока ничего не надо сообщать,— я уверена, что Володя скоро вернется. Митя, иди спать! Няня, и вы ложитесь. Да не плачьте, слезами горю не поможешь!..

Оля не плакала, не волновалась, а спокойно рассуждала, что и как нужно делать. И это немного успокоило няню. Может, и правда, ничего опасного нет? Няня помнила, в каком отчаянии была Оля, узнав об аресте Саши.

Варвара Григорьевна легла, но заснуть ей не удалось. Она слышала, как Оля убирала в комнате Володи, долго возилась на кухне. Кажется, даже что-то сжигала. И когда наконец Оля прошла в свою комнату, няня встала. В половине пятого она принялась готовить котлеты для Володи. Растапливая плиту, увидела там пепел от сожженной бумаги.

Ох, что-то опять скрывают! Да ведь и верно, что она, неграмотная, может понять в этих бумагах? Если бы Мария Александровна была дома.. И что ей, горемычной, снится там, в Кокушкине? А если и Володю засудят? И подумать-то об этом страшно...

Оля тоже не сомкнула глаз. Она не могла дождаться утра, когда можно будет побежать к Полянскому и узнать, за что арестовали Володю. А время, казалось, остановилось...

3

Полицмейстер Панфилов не ложился всю ночь, но зато все тридцать девять исключенных из университета были в тюрьме, а университет закрыт. Значит, и остальные студенты в полном распоряжении полиции. Последнее, говоря по правде, полицмейстера не очень ободряло. Объединенными усилиями инспекции и полиции бороться было бы легче. А теперь студенты, как во время бунта 1882 года, снова толпами будут шляться по улицам, собираться в портерных, кухмистерских, на квартирах...

Губернатор еще не появился в канцелярии, а полиц-

мейстер уже ждал его с докладом. Он знал, Андреевский телеграфирует графу Толстому. Тот доложит царю... Ведь такого бунта в Казани не было лет пять. Надеялись, никогда больше не будет! И вот на́ тебе! Не прошло и полугода после казни петербургских террористов, а проклятые студенты снова взбунтовались. Ничего, выходит, не боятся! Даже виселицы... Ну и молодежь пошла, вешай каждого второго, и не ошибешься...

Губернатор тоже приехал на полчаса раньше чем обычно. Увидев полицмейстера, осведомился:

— Всех арестовали?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — отрапортовал полицмейстер.— Все — в тюрьме. Ульянов, как приказано, в одиночке...

— Оружие у него нашли?

— Никак нет-с...

— Зачем же тогда посадили его в одиночную камеру? — поморщился губернатор.— Я приказал сделать это, только если найдется оружие.

— Виноват! Прикажу перевести в общую,— вытянулся полицмейстер, увидев, что перестарался.

— А что вообще дали обыски? — спросил губернатор, удобнее усевшись в кресле.

— Кроме гектографированного текста петиции — ничего.

— Где петиция?

— Вот! Пожалуйста, ваше высокопревосходительство,— полицмейстер подал губернатору листовку.

— Мечтания дерзких мальчишек! — процедил губернатор, прочитав петицию.— И сразу чувствуется — написана под диктовку крамольников. Вы только послушайте: «Собрало нас сюда не что иное, как сознание невозможности всех условий, в которые поставлена русская жизнь вообще...». К тому же, они не просят правительство, а требуют! И это, когда они даже просить не имеют никакого права! Грустно и в то же время смешно...

— Ужасная молодежь пошла! — вздохнул полицмейстер.— Учись, веди себя как положено... Так нет, им, видите ли, хочется всю жизнь перекроить по своей колодке...

Вчера губернатор действительно телеграфировал графу Толстому. Запросил, что делать с теми студентами, которых исключают из университета. Вечером, когда

правление университета собралось на заседание, Андреевскому принесли ответ:

> «Благоволите исключенных студентов немедленно выслать из города».

Это и дало ему право арестовать всех исключенных.

Высылали студентов, как всегда поступали в таких случаях, на их родину. А тех, у кого в родных местах никого не оставалось,— куда они пожелают. За исключением, конечно, столиц и университетских городов. Многим приходилось ехать далеко, а у них и в помине не было теплой одежды. Значит, выслать их незамедлительно губернатор не мог. Надо дождаться, пока родные или знакомые принесут студентам теплые вещи.

— Разрешаю свидание с арестованными,— сказал губернатор полицмейстеру.— Сегодня же опросите всех и уточните, кто куда будет выслан. Предупредите, кому в течение двух дней не принесут теплых вещей, того отправим в арестантском халате...

Утром 5-го декабря попечитель Масленников получил телеграмму Делянова, разрешающую закрыть университет. И когда студенты пришли на лекции, они прочитали у входа объявление: занятия прекращаются. А на какой срок — не сказано.

> «Хотя в городе спокойно,— телеграфировал Масленников Делянову,— но беспорядки, надо полагать, еще не прекратились. Приглашенные вчера на всякий случай войска в составе батальона с боевыми патронами занимают постоянные караулы в разных частях города. В случае повторения сходок и других беспорядков будут приняты энергичные меры».

И Масленников действительно принял меры: кроме зачинщиков сходки в университете, приказал исключить семнадцать студентов ветеринарного института. Всех их тоже арестовали.

Попечитель переслал Делянову и петицию студентов со своими комментариями. Он отмечал, что в «дерзких

студенческих требованиях отсутствует какой бы то ни было практический смысл».

Подчеркнув красным карандашом строки петиции: «...необходимо, чтобы были наказаны те лица, по приказанию или недосмотру которых были совершены в 20-х числах прошлого месяца зверские насилия над нашими товарищами, московскими студентами...», присовокупил: «Судя по четвертому пункту этих требований, они отредактированы в Москве».

Этим он хотел намекнуть, что казанские студенты взбунтовались, подстрекаемые москвичами. А значит, он никак не повинен, что не доглядел, не предотвратил бунта. Не мог же он знать, что задумали студенты Московского университета!

В заключение попечитель снова конфиденциально настаивал: ректора Кремлева необходимо сменить. Все беды в университете из-за его либерализма...

Когда утром разнеслись слухи о ночных арестах участников сходки, немало студентов обратились к ректору, чтобы забрать свои прошения, поданные накануне. Кремлев беспрепятственно их возвращал. Узнав об этом, Потапов помчался к Масленникову. Тот приказал ректору доставить ему все прошения и возвращенные студентами входные билеты. Попечитель еще раз дал понять Кремлеву, что его почти отстраняют от дел.

Студенты видели: ректор ничем не может им помочь, а обращаться к попечителю — напрасная трата времени. Оставалось доказать свое алиби! И в канцелярию университета посыпались свидетельства квартирных хозяек, врачей, знакомых...

Расправлялся со студентами человек, говорили в городе, который, как лицо потерпевшее, не может быть справедливым и беспристрастным. Утверждали, что даже правление университета собиралось только для проформы. Все уже предрешил всемогущий Потапов...

4

Утром Оля вышла из комнаты, ласково поздоровалась с няней и сказала:

— Давайте позавтракаем, и я пойду к Володе.

— А разве ты знаешь, куда они его отвезли?

— Найду!

— Боже, боже! — тяжело вздохнула няня.— И за что ты караешь нас, грешных?

— Если зайдет тетя Аня, Коля или кто-нибудь из Ардашевых, не говорите, что Володя арестован...

— Да уж я знаю! Когда арестовали Сашу, Мария Александровна тоже просила, не говорите, мол, никому. Но все скоро и сами узнали! Боже праведный! Неужто допустишь, чтоб они и Володю казнили? — не выдержав, расплакалась няня.

— Варвара Григорьевна, уверяю вас, Володя если не сегодня, так завтра будет дома,— обняла няню Оля.— И не плачьте, ради бога!..

— Ну, хорошо, хорошо, не буду! А ты найди его. Ведь он куска хлеба с собой не взял. Я вот коклет нажарила. Отнеси, пусть поест. Только надо завернуть, чтобы не остыли. И сегодня на улице страх какой морозище. Такого холоду в Симбирске никогда не бывало...

И няня снова принялась бранить Казань... Оля машинально поддакивала... А сама в это время думала. Куда его отвезли? Как сказать о его аресте маме? И когда лучше это сделать? Поедет она в Кокушкино, конечно, одна. Там сперва посоветуется с Аней... Вспомнилось, как стоически встретила мама весть об аресте Саши и Ани. Как она, бросив все, поехала в Петербург.

Узнав об аресте Володи — Оля была уверена в этом,— мама ни минуты не останется в Кокушкине, хотя Ане и Маняше она очень нужна: Маняша еще совсем маленькая, Аня больна.

Если бы Аня имела право уехать из Кокушкина, они бы там и дня не остались. Ведь флигель такой холодный. Весь день печи топят, а в комнатах тепло еле-еле сохраняется. Аню все время мучает мысль, что из-за нее мерзнут мама и Маняша. Сколько раз просила начальство разрешить хотя бы в такие морозы переехать в Казань. Отказывают! А теперь, когда арестован Володя, тем более в Казань не пустят. Что же делать маме?

Оля взяла приготовленный няней узелок и отправилась разыскивать Володю. Сначала решила пойти к университету, посмотреть, что там делается. Мороз, и правда, стоял лютый. Прохожих на улицах почти не видно. А возле университета студенты, подняв воротники шине-

лей, приплясывали от холода. Здание окружили солдаты. Они тоже топали сапогами, пытаясь хоть немножко согреться. Увидев среди студентов женщин и мужчин в штатском, Оля подошла поближе. Выяснилось: университет закрыт. А собрались матери и отцы арестованных этой ночью юношей. Значит, схватили не одного Володю!

Какой-то студент сказал: в тюрьму (так вот где Володя!) упрятали всех, кто был на сходке. Другой возразил:

— Ничего подобного! Посадили только тех, кто произносил речи, кто аплодировал, когда Алексеев залепил пощечину Потапову...

Как Оля ни всматривалась, она не приметила в толпе никого из друзей Володи. Неужто все они в тюрьме? Пошла на квартиру Полянского. Хозяйка — толстая, сердитая бабища — сказала, что ее квартиранта, слава-те, господи, посадили за решетку. И давно, дескать, надо было это сделать. Одна беда,— три месяца за квартиру не платил. Но сама виновата, говорили люди добрые — не пускай студентов, с ними беды не оберешься. Не послушала...

Оля знала, где живет и Португалов, но к нему не пошла. Если еще за два дня до сходки у него был обыск и Португалова исключили из университета, этой ночью его наверняка арестовали раньше всех. И она отправилась к тюрьме...

Возле тюремных ворот толпились люди с узелками, корзинками. Но свидания никому не давали. Ждали начальства. А когда оно соизволит явиться, никто не знал...

5

Нескончаемо долгой показалась Владимиру эта первая ночь в тюрьме. Наконец взошло солнце. А больше сквозь окно ничего не видно — так замуровал его мороз.

Владимир процарапал ногтем крохотный глазок, чтобы посмотреть, куда выходит окно. И увидел заснеженные крыши, над которыми в морозной кисее стояли серые столбы дыма.

Вспомнилось Кокушкино. Над флигелем, где живут мама с Аней и Маняшей, должно быть, поднимается в небо такой же столб. Маме и не снится, что он в тюрьме. Оля, если поедет туда, то только сегодня утром. А может,

она все-таки сперва придет на свидание, а потом отправится в Кокушкино? Ведь она даже не знает, куда его посадили! А мама именно об этом спросит. Нет, Оля, ничего не разузнав, в Кокушкино не помчится...

Стукнуло оконце в двери. Послышался голос надзирателя:

— Завтрак!

В оконце — рука с кружкой, прикрытой ломтем черного хлеба. Володя подошел к двери, взял еду. Грязная рука исчезла. Чуть теплый чай пахнул так, словно заварили сено... Но Владимир, измерзнув за ночь, жадно выпил его. А есть совсем не хотелось. Хлеб он положил на стол. Стало немного теплее. Да и печь к утру малость согрела камеру... Уже жить можно!..

Дверь снова открылась, и надзиратель сказал:

— Давайте-ка сюда вашу шинельку, одевайте халат и выходите...

Увидев, что арестант не притронулся к хлебу и не намеревается захватить его с собой, добавил:

— А хлебушек я бы вам посоветовал взять. Кормят тут совсем не так, как дома.

— Это я уже заметил,— ответил, улыбаясь, Владимир.— Но было бы нечестно с моей стороны ничего не оставить мышам, с которыми я так весело провел всю ночь...

Спустились на второй этаж, и Владимир услышал песни, шум. Не иначе как студенческая братия нарушает покой тюрьмы!

— Слышите, как ваши разбушевались! — сказал надзиратель.— Сейчас поют, а потом плакать будут...

А в камере гремела песня:

Студент, беспечный весельчак,
Родившийся в Одессе,
Всю жизнь провел, свистя в кулак,
Как следует повесе.

Хо, ха, хо-ха! Как следует повесе!
Хо, ха, хо-ха! Как следует повесе!

Бывало, ветер зашумит
В трубе его холодной.
А он себе сидит, свистит,
Как будто не голодный.

Хо, ха, хо-ха! Как будто не голодный.
Хо, ха, хо-ха!..

Остальные слова не допели — дверь открылась, и в камеру, весело улыбаясь, вошел Владимир.

— Ульянов! — закричал, бросаясь к нему, Полянский.

Владимира окружили, стали расспрашивать, когда арестовали, где сидел?

— Забрали нас, как цыплят,— сказал Полянский.— Но не будем падать духом! Ведь им пришлось закрыть университет.

— Да? — обрадовался Владимир.— Откуда знаете?

— Павлу и Петру Пчелиным отец передал провиант. Богачу, как известно, разрешается то, чего нельзя беднякам... Ну, он и поведал чадам своим: «Вот, мол, негодяи, чего натворили!.. Мало того, что мне на позор сами в тюрьму угодили, так еще и университет из-за вас закрыли. И солдат поставили, точно возле тюрьмы...»

— Чудесное сравнение! — рассмеялся Владимир.— А больше никому свиданья не разрешили?

— Обещают скоро разрешить. Да мне-то все равно! Ко мне никто не придет,— вздохнул Полянский.— Разве только хозяйка захочет лишний раз изругать, что не заплатил за квартиру.

Камера была большая, с двухэтажными, как в казарме, нарами и голыми, изъеденными мышами, матрацами. На них, невзирая на песни и шум, спало сном праведников несколько студентов, накрытых серыми, тоже изодранными арестантскими халатами.

На верхних нарах братья Пчелины играли в карты с Троицким и Сарахановым. Остальные декламировали запрещенные стихи, спорили, пели. Дверь камеры открылась. Надзиратель громко объявил:

— Господа, приглашаю пройти на свидание! Нет-нет, не все сразу! — остановил он студентов, которые толпой хлынули к двери.— Я назову фамилии тех, кому свидание разрешено.

Надзиратель принялся читать список. Слушали его затаив дыхание. Читал он с грехом пополам. Путал фамилии, да так, что не раз вспыхивал хохот.

Владимир с нетерпением ждал: вызовут ли его? Столько раз надзиратель запинался и, казалось,— уже конец! Больше никого не вызовет!.. Ан, нет,— преодолев очередное препятствие, он читал дальше.

Наконец Владимир услышал: — Ульяков...

Все засмеялись.

— Ульянов! Ульянов! — закричали студенты.

— Ага! Ульянов! — прочитал снова надзиратель и облегченно вздохнул.— Вот, слава богу, и все... Становитесь вот сюда. Буду выпускать в коридор по списку.

И когда вызванные встали группой, надзиратель снова принялся читать список, вымучивая каждый слог. Наконец процедура закончилась. Двинулись на первый этаж. А вот и камера, перегороженная посередине решетками до самого потолка. За решетками — еще и стенка из проволоки. В камере — ни скамьи, ни стула, ни табуретки. Здесь, выходит, никто не имел права сидеть. Даже надзиратели! Это, наверно, чтобы они не дремали, а следили в оба за тем, как ведут себя арестанты и те, кто пришел на свидание.

— Можно пускать! — крикнул надзиратель, который привел студентов.

Второй надзиратель открыл дверь и повторил:

— Эй, можно пускать!

Послышался топот. И в комнату вместе с клубами холода ввалилась толпа посетителей. Владимир сразу увидел среди них Олю. Долго, наверно, мерзла бедняга возле тюрьмы — ресницы, брови, прядь волос, которая выбилась из-под платка, побелели от инея. Студенты были в серых арестантских халатах, и Ольга в первый момент не узнала брата.

Он подбежал к перегородке, позвал:

— Оля! Сюда!

— Володя!—откликнулась Оля.—Боже, какие ужасные халаты на вас напялили! Ну, как ты здесь?

— Все хорошо! Нас тут тридцать девять душ. Да ветеринаров, говорят, семнадцать. Но они где-то в других камерах. А я побаивался, что ты поедешь к маме, не повидавшись со мной...

— Так к ней не ехать? — спросила Оля.

— А ты как думаешь?

— Я... я не знаю...— замялась Оля.— И не хочется маму волновать... И скрывать от нее невозможно... Ведь все равно она узнает...

— Я тоже так думаю,— сказал Владимир.— Скрывать от мамы нельзя. Но нужно, чтобы ты сама все ей рассказала. Писать или посылать кого-нибудь — не следует ни в коем случае...

— Хорошо! Я сегодня же поеду...

— Оденься только потеплее, а то замерзнешь.

— Не замерзну!

— Ну, а как там няня? — спросил Владимир.

— Горюет...

— Успокой ее, пожалуйста! А то она, чего доброго, вообразит — раз меня арестовали, значит, и казнят, как Сашу...

— Ты угадал! Она уже об этом говорила. Но что же, Володя, сказать маме?

— Скажи: в университете была сходка, арестовали десятка четыре студентов. О таких арестах она не раз слышала и знает, что они обыкновенно ничем серьезным не грозят. Лучше бы сперва рассказать обо всем Ане. Она сделает все, чтобы мама отнеслась к моему аресту как можно спокойнее. Скажи маме — и пусть Аня подтвердит,— что нас долго в тюрьме не продержат. Поэтому ей незачем сюда приезжать. А я, как только выпустят, приеду в Кокушкино...

— Хорошо. Все передам! — пообещала Оля и спросила: — Вас покормили?

— Да! Мне ничего не нужно...

— А я принесла котлеты,— показала Оля узелок.— Да, должно быть, они замерзли. Очень долго пришлось ждать. Возьми, а то няня, если принесу обратно, решит, что тебя уж и на свете нет...

— Ну, если так, придется взять. А вообще — не беспокойтесь. С голода здесь не умру. Ведь тюрьма — единственное место в России, где нет голода, и где никто не боится, что его арестуют. А в камере у нас — полная свобода слова, чего в России еще долго, наверно, не будет. Ради одного этого стоило сюда угодить...

— Ты, как всегда, шутишь,— грустно улыбнулась Оля.

Надзиратель объявил: — Свидание закончено!

Посетители, оставив свои узелки прямо на полу, вышли. Надзиратель запер дверь камеры и разрешил студентам разобрать передачи.

6

К счастью Ульянова и его друзей, Алексеев ничего не знал ни о кружке, ни о тех, кто готовил сходку. И сколько Гангардт не допытывался у него о Полянском, Сара-

ханове, Португалове и Ульянове, которых считал вожаками, Алексеев ничего сказать не мог.

Департаменту полиции Гангардт сообщил: Алексеев не принадлежит к числу выдающихся в умственном отношении молодых людей. С политическими и социальными теориями совсем не знаком. И по своему уровню не отличается от массы ординарных гимназистов старших классов. Тут же Гангардт присовокупил — Алексеев не только раскаялся, но и сообщил все, что знал.

Но Алексеев не ограничился откровенными показаниями полковнику Гангардту. Он написал покаянное письмо инспектору Потапову. Он все еще предполагал, что его слезные мольбы, а также прошения отца, которые тот посылал из Уфы всему начальству, помогут ему.

> «Ваше превосходительство, Николай Гаврилович! — писал Алексеев инспектору.— Осознав весь ужас своего проступка, совершенного мною не нарочно, а лишь под влиянием стадного побуждения, умоляю, Ваше превосходительство, поверить моему искреннему раскаянию, поскольку лично против вас я не смею иметь ничего, как против лица, которое честно и строго выполняло свой долг. Еще раз умоляю, Ваше превосходительство, как должностное лицо и как человека, не только принять это мое письменное раскаяние, но и разрешить мне публично испросить у вас прощения.
>
> Я решил просить у Вас прощения не для того, чтобы облегчить наказание, которое меня ожидает, а чтобы в этом прощении найти утешение для своей совести. Всей будущей жизнью своей постараюсь искупить тяжесть своего преступления. Умоляю, Ваше превосходительство, принять уверения в моем глубоком уважении к вам
>
> Бывший студент *Константин Алексеев*».

7

После свидания с Володей Оля не пошла домой, а принялась искать возчика до Кокушкина. Под стеной кремля стояло несколько саней. Низкорослые татарские

лошаденки, покрытые драными попонами, дрожали от холода. Отправляться в такую даль никто не хотел. Наконец один татарин, увидев, как огорчилась девушка, спросил, сколько она заплатит, если он поедет в это село.

Оля, никогда не нанимавшая возчиков, не знала, что и ответить. Спросила, сколько он возьмет? Татарин потер рукавицей побелевший нос, задумчиво прищурил глаза и спросил:

— А ты меня долго задержишь?

— Нет! Туда — и сразу же обратно.

— Тогда — пять рублев...

Оля торговаться не умела и сразу согласилась. Няня, узнав, сколько запросил возчик, страшно рассердилась: до Кокушкина и обратно всегда брали три целковых. Она хотела было пойти поторговаться, но Оля ее удержала — хорошо, мол, что и за пять-то рублей согласился поехать. Остальные и слушать не хотели, а Володя просил, чтобы она сегодня же известила маму об его аресте. Тогда няня достала из своего сундучка два рубля.

— Дай этому басурману, только не сейчас, а когда подъедете к селу, два целковых. А Мария Александровна ему остальные три заплатит. Только маме не признавайся, а то скажет: «Пусть Оля не знает, сколько платить, но вы-то куда смотрели?»

— Не скажет она так,— уверяла Оля.

— Скажет или не скажет,— настаивала няня на своем,— а ты сделай, как я тебе говорю.

— Хорошо!..

Оля много раз ездила из Казани в Кокушкино. Но никогда дорога не казалась ей такой бесконечно долгой. В степи ветер гнал и гнал снеговую порошу, которая засыпала сани. И хоть няня старательно закутала Олю в тулуп и одеяло, она замерзала.

Чуть шевельнется, чтобы хоть капельку согреться,— еще хуже, снег сразу набивается во все щели. А отощавшая, маленькая лошаденка бежит неторопливой рысцой. Возчик, подставив спину ветру, согнулся в три погибели, изредка подергивая вожжи, словно проверяет, а на месте ли еще животина? А то вдруг выпрямится, заговорит по-татарски да сердито взглянет на Олю. Наверно, ругает себя, что подрядился так далеко ехать в эдакую

непогоду. Бранит Олю за то, что уговорила его. И зачем шайтан понес ее в это Кокушкино именно сейчас!..

Пока добрались до Кокушкина, дважды останавливались в попутных селах, чтобы хоть немного согреться. Оля приехала чуть живая.

— Боже! Из Казани в такой мороз! — недоумевала мама.— Что случилось? Почему не приехал Володя?

— Сейчас, мамочка, все расскажу, дай только чаю, а то прямо сердце останавливается... А возчика хорошо бы угостить водкой. Ведь он, наверно, всю дорогу проклинал себя за то, что согласился поехать...

— Аня, дай Оле чаю, а я позову возчика,— сказала мама и вышла, набросив тулуп.

Оля только и ждала этого...

— Аня, нам надо потолковать с глазу на глаз. Пойдем-ка к тебе,— попросила она старшую сестру.

И когда они вошли в комнату Ани, Оля шепотом сказала:

— За участие в сходке арестовано около сорока студентов университета, Володя тоже в тюрьме. Посоветуй, как об этом сказать маме...

В комнату вошла Мария Александровна. Оля и Аня растерянно переглянулись, и мать сразу поняла: стряслась новая беда, и дочери советовались, как сказать ей об этом.

Она села на стул, тихо попросила:

— Ну, говорите, что произошло?

— Мамочка,— начала Оля,— ты, пожалуйста...

— Оля, погоди! — остановила сестру Аня.— Мама, в университете была сходка. За участие в ней арестовано почти сорок студентов. Среди них и Володя. Это страшно неприятно, но ничего особенно опасного нет. Я уверена: Володю арестовали только потому, что его брат казнен, а сестра в ссылке. А если так, значит, скоро выпустят...

Мария Александровна долго молчала. Потом спросила:

— Когда забрали Володю?

— Этой ночью,— ответила Оля.— Я уже побывала на свидании. Сказал, никакой вины за собой не чувствует,— добавила Оля, хотя Володя этого и не говорил.— Все считают, что студентов скоро выпустят. Арестовали их, чтобы они не собирались на сходки. Занятия в универси-

тете прерваны. И это, мамочка, не в одной Казани, а и в Москве...

— Да-а!— тяжело вздохнула Мария Александровна.— Аня, дай Оле чаю.— Я пойду оденусь...

— Поедем в Казань? — обрадовалась Маняша.

— Может, ты, Маняша, останешься с Аней? — спросила Мария Александровна.— А то, боюсь, замерзнешь...

— Не замерзну! Не замерзну! — закричала Маняша, которой очень захотелось съездить в Казань.

— Маняша, успокойся! — попросила Аня.— Мама скоро вернется. Да и мне в Кокушкине одной, без тебя, будет скучно и страшно.

Девочка растерялась. Ей не хотелось огорчать Аню, но она давным-давно не видела няню и Митю, соскучилась по ним. Особенно по Мите, с которым всегда так интересно играть.

Аня обняла сестренку и сказала:

— Ну, ладно! Я поживу тут одна. Только ты поскорей возвращайся...

Возчику дали водки. Он выпил, повеселел. Уплетал жареную картошку, жаловался на полицию. Всю прошлую ночь, дескать, заставили студентов в тюрьму возить. И ни гроша не заплатили! Еще и пригрозили: будешь болтать, и тебя посадим...

— Студенты небось с жиру бесятся, а бедным возчикам покоя нет! — роптал он.

Выехали из Кокушкина под вечер, а к полуночи добрались до Казани, где Варвара Григорьевна встретила Марию Александровну со слезами...

8

Возле университета, несмотря на мороз, весь день бурлила возбужденная студенческая толпа. К ректору шли делегация за делегацией с прошениями выпустить из тюрьмы арестованных товарищей и открыть университет.

Кремлев отвечал, что он сделал бы все это с радостью, но не разрешает попечитель. Квартиру Маслен-

никова по-прежнему окружали солдаты. Студентов к его дому и близко не подпускали. Даже правитель канцелярии Жохов куда-то исчез. Потапов тоже сидел под охраной — его квартира находилась в здании университета, окруженного войсками. Ходили студенты и к губернатору, но тот приказал их к себе не пускать и никаких петиций не принял.

Лицом к лицу со студентами оставался один полицмейстер. Губернатор не давал ему ни минуты покоя, все требовал докладывать, что делается в городе.

— Как мы их ни разгоняем, они собираются снова и снова,— говорил полицмейстер.— Хоть стреляй в них!

— Боже вас упаси! — встревожился губернатор.— И так публика недовольна закрытием университета и арестами студентов. Им почти все сочувствуют. У меня сегодня побывало несколько весьма уважаемых лиц, которые высказали крайнее возмущение действиями университетской инспекции. Все шире распространяются слухи, что наказано, мол, много ни в чем не повинных молодых людей. Слухи эти, как ни удивительно, подтверждают и кое-какие профессора. Так что, Павел Борисович, действуйте очень осторожно. А то беды не миновать. Попечитель и инспектор, которые заварили всю кашу, останутся в стороне, а отвечать придется нам с вами. Признаюсь откровенно, исключенных студентов можно было выслать из Казани и без арестов. Ну, а теперь их выпускать нельзя. Сами понимаете, как это будет воспринято. И так студенты считают, что закрытие университета — их большая победа. А тогда вообще один бог знает, что скажут...

— А как мы будем их высылать из города в такие морозы? — спросил полицмейстер.— Ведь они чуть ли не полураздеты.

— Выдадим казенные тулупы и валенки...

— Тогда с каждым придется посылать и конвоира.

— Что поделаешь? Придется...— согласился губернатор.— Ну, а чего студенты требуют?

— Освобождения арестованных, удовлетворения петиции. Ну и просто хулиганят! Когда стемнело, они, пользуясь тем, что в толпе трудно кого-либо опознать, двинулись по Воскресенской и пели такое, что я... даже не осмеливаюсь вам повторить...

— Что-нибудь вульгарное или... политическое?

— Политическое...
— Что же именно? — допытывался губернатор.
Полицмейстер тяжело вздохнул:
— На мотив государственного гимна пели: «Боже, царя схорони! Сильный жандармами, славный казармами...» А дальше и язык не поворачивается повторять это чудовищное богохульство. Ужасная, страшная молодежь пошла!..
— Да-да! — подтвердил губернатор.— И так будет продолжаться, пока не докопаемся до корня зла. Вся наша борьба с крамолой напоминает мужика, который вместо того, чтобы вырвать бурьян с корнем, только скашивает его из года в год.
— Когда же высылать арестованных? — спросил полицмейстер.
— Завтра,— ответил губернатор.— И чтоб как можно меньше шума...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Когда арестованные студенты узнали, что придется распрощаться и с университетом, и с Казанью, кое-кто растерялся. Но большинство не падало духом. Сегодня, мол, исключили, а завтра опять примут. Зато совесть чиста, сделали все, что могли, да и борьба еще не закончена, она только начинается. Царю и его министрам все-таки придется отменить новый устав! Большинство арестованных свято верило: именно так и будет. А потому и настроение было отменное. Всю ночь камера не умолкала...
Надзиратели ругались:
— Ну и бестии! Ничего-то они не боятся!..
А «бестии» пели хором:

О, Казань, ты, Казань многогрешная,
За грехи наказал тебя бог!
Темнота в тебе вечно кромешная,
В тебе нет ни воды, ни дорог!
Из военных твоих губернаторов
Много вышло преглупых сенаторов,
Переполнился ими сенат.
А совсем уж негодных ребят
Шлют тебе просвещенья рачители
На подножны кормы, в попечители...

— Господа студенты, прекратите крамольные песни! — стучит в дверь надзиратель.— Прекратите, а то вызову начальство...

— Давно ждем,— отвечает хор голосов.— Ура начальству!

— Ну, не черти?! — качает головой надзиратель.

— Просидят здесь такие с месяц — рехнешься,— говорит другой, постарше.— Да завтра их, слыхать, развезут кого куда...

А в камере, так и не дождавшись грозного начальства, затянули новую песню...

2

Мария Александровна и Оля пришли к тюрьме задолго до свидания. Немало людей уже толпилось возле запертых ворот.

Рядом с Марией Александровной стояли бородатый купец и чиновник.

Купец разглагольствовал:

— Вся беда в том, что строгости мало, страха! Можно ли робенка научить чему-нибудь путному без розги? Да ни в жисть! Когда меня учили, еще при царе Николае, сто разов шкура на спине слезала и опять нарастала. И сейчас еще рубцы на погоду отзываются. Вот то была наука! А сейчас что? Их никто и пальцем не тронь, а они — подумать только! — начальство, слуг царских бьют. Бунтуют, точно дикари какие. Студенты! А что ж после такого делать темному народу?

— Меня там не было,— поддакивал купчине чиновник.— Я бы приказал окатить из пожарной кишки — и делу конец.

— А я велю своих мерзавцев кнутом отхлестать, чтоб знали, как бунтовать,— продолжал купец.— Такие деньжищи трачу, в люди их вывожу, а они вон что творят...

Из калитки вышел надзиратель.

— Пустим на свидание к студентам в двенадцать,— сообщил он хриплым голосом.— Приказано принести одежду потеплее, потому как всех отправят по месту назначения...

Посыпались вопросы:

— Куда отправят? Когда?

Надзиратель ничего ответить не мог.

Родственники с узелками стали расходиться, а студенты, пришедшие проведать коллег, видимо, уходить не собирались и о чем-то таинственно перешептывались.

Мария Александровна взяла у Оли узелок с передачей и сказала:

— Сходи домой за тулупом, а я пойду к ректору. В двенадцать встретимся здесь.

Университет по-прежнему охраняли солдаты и полицейские, не пуская туда студентов. Но родственники могли пройти в здание, и поэтому в приемной ректора собралось множество просителей. Женщины плакали. Мужчины сердито хмурились. В уголке сидел насмерть перепуганный попик, что-то шептал и то и дело крестился.

Ректора еще не было. Мария Александровна встала около окна — сесть было негде. Положила узелок на подоконник. На заваленном снегом дворе, как и на улице, топтались, коченея от холода, охранники. Дворник разгребал снег.

Когда-то Илья Николаевич много рассказывал ей об этом университете. Ей вспомнилось, как они просили Сашу, чтобы он учился в Казани, а не в Петербурге. А когда его казнили, она часто думала: будь он в Казани, может, и не погиб бы?.. Но вот Володя — поступил в Казанский, а все равно без ареста не обошлось.

— Вы тоже за сына просите? — сказала женщина с покрасневшими от слез глазами, подойдя к Марии Александровне.

— Да, за сына,— сухо ответила Ульянова, она не любила делиться с незнакомыми своими горестями.

— А ваш на каком курсе был?

— На первом.

— О, это еще не так обидно! — женщина не могла сдержать слез.— А моему — я мать Евгения Чирикова — до окончания оставалось всего несколько месяцев... А я вдова. У меня еще трое,— на него только и надеялась... А он, вместо того чтобы учиться, увлекся стихоплетством. Пасквиль, как мне сказали, на самого государя сочинил... Я и у губернатора уж побывала. Принял любезно, а помочь, сказал, ничем не может. Послал к попечителю. Тот болен — никого не принимает. А начальник его канцеля-

рии отправил к ректору. Если и ректор не поможет, не знаю, что и делать...

В приемной появился невысокий мужчина. Бородка клинышком, густые брови, седина. Приятное, но бледное, измученное лицо. По форме видно — из высшего университетского начальства.

Попик, подхватив рясу, бросился ему навстречу:

— Господин ректор, умоляю вас, выслушайте несчастного отца! — И не ожидая разрешения, во всеуслышанье возопил: — Сыны мои, студенты медицинского факультета Николай и Петр Васильевы, увлеченные пагубным примером сотоварищей, подали прошения об исключении из университета. Господь бог свидетель, ваше превосходительство,— торопливо перекрестился несколько раз поп,— что я им, душам анафемским, не давал на это разрешения, да они меня и не спрашивали. Ваше превосходительство! — воскликнул попик так, словно стоял не перед ректором, а перед самим господом богом.— Всеми святителями умоляю вас: верните прошения безрассудных чад моих, кои уже горько раскаялись в содеянном. Утешьте отцовское сердце!

— Я рад бы это сделать, но все прошения студентов давно переданы попечителю,— отвечал ректор.— Поэтому я лично ничем, к сожалению, помочь вам не смогу.

— Господин попечитель болен, не мог принять,— плаксиво сказал поп.— Так что же мне теперь делать?..

Кремлев сокрушенно развел руками.

— Если у кого-нибудь есть дела ко мне, прошу в кабинет! — пригласил он.

— Мне бы хотелось, господин ректор, поговорить с вами,— сказала Мария Александровна.

— Прошу вас, сударыня! — Кремлев открыл дверь.— Садитесь, пожалуйста,— указал он на кресло.— Чем могу служить, госпожа...

— Ульянова,— представилась Мария Александровна.

— Так вы мать студента Ульянова?.. Слушаю вас...

— Я хотела бы узнать, за что так сурово наказан сын мой, Владимир.

— Как это ни прискорбно, госпожа Ульянова, но я, ректор, не могу ответить на ваш вопрос. Решающая роль во всех этих весьма печальных событиях принадлежит инспекции,— смущенно признался Кремлев.— Могу вам

сказать откровенно, мне очень жаль молодых людей, которые были украшением университета...

Помолчали. Мария Александровна почувствовала, что ректор говорит искренне. Значит, надо идти к инспектору...

Не успела она перешагнуть порога приемной Потапова, как из кабинета, придерживая полы рясы, выбежал сияющий попик.

Почтительно прикрыл за собой дверь, перекрестился:

— Вот истинно святая душа! Вымолил у него прощения для чад моих неразумных,— теперь они, слава всевышнему, спасены. Век буду молить бога за господина инспектора...

Мария Александровна отвернулась и поспешила войти в кабинет по приглашению письмоводителя, распоряжавшегося приемом.

За огромным письменным столом она увидела широкоплечего мужиковатого чиновника.

Хмуро, исподлобья взглянув на просительницу, он буркнул:

— За кого пришли хлопотать?

— Я — мать Владимира Ульянова...

— А-а, Ульянова! — резко откинувшись на спинку кресла, произнес Потапов.— Госпожа Ульянова!..— Хороших сыновей, милостивая государыня, воспитали, нечего сказать...

— Вы исключили Владимира из университета только за то, что он брат казненного,— спокойно и решительно сказала Мария Александровна.— Так прикажете вас понимать?

— Я этого не говорил,— огрызнулся Потапов.— Студент Владимир Ульянов наказан за свои собственные проступки.

— Зачем же тогда вы, господин инспектор, начинаете разговор с моего старшего сына?

Потапов, поняв свой промах, невольно заерзал в кресле.

— Что вам от меня угодно?

— Больше ничего. То, что я хотела узнать, вы, господин инспектор, мне сообщили. Да я, собственно, и не

сомневалась: моего сына исключили только за то, что он брат казненного...

— Ошибаетесь, госпожа Ульянова! — раздраженно воскликнул Потапов.— Не кто иной, как ваш сын вел студентов в актовый зал на сходку. Я собственными глазами видел, как он вместе со студентом Полянским бежал впереди толпы, воинственно размахивая руками. А за ними потянулись и те, кто потом горько раскаялся. Это я должен сказать вам, госпожа Ульянова, о вашем сыне Владимире. Александра я не знал, но из того, что прочитал в газетах, сделал вывод: смертную казнь он заслужил. Не хочу ничего предсказывать. Однако, если ваш младший сын пойдет и дальше по такому же пути, нетрудно, полагаю, догадаться, чем кончит. И я посоветовал бы вам...

— Благодарю! — прервала его Мария Александровна.— Мне остается принести извинения, что я потревожила вас, господин инспектор...

3

Текст листовки был готов за час до свидания арестованных с родными и знакомыми. Студенты писали:

> Прощай, Казань! Прощай университет!.. Недалеко еще то время, когда мы въезжали сюда, полные веры и любви к университету и его жизни, мы думали, что здесь, в храме науки, мы найдем те знания, опираясь на которые, мы могли бы войти в жизнь борцами за счастье и благо нашей измученной родины! Мы страстно искали этих знаний... Но с чем же столкнулись мы здесь?.. Навстречу нам шла та «наука для науки», которую так яростно защищали некоторые из господ профессоров на сходке 4-го декабря, та наука, благодаря которой, говорили они, мы, студенты, могли бы спокойно и бесстрастно смотреть на гнет и страдания дорогой родины... Вместе с тем нас охватило деморализующее влияние инспекции и клики ее шпионов, клевретов... Жутко и холодно стало нам... Мы не пошли за нашими учителями...

Наша молодая кровь, наше молодое сердце заставили искать выхода... Наступившие ноябрьские события в Москве, факты нахальной и зверской расправы с нашими товарищами, студентами Московского университета, нанесли нам, как студентам, кровное оскорбление... Мы должны были протестовать, и наш протест вылился в активную форму — сходку... За наш протест нас исключают из университета и изгоняют из Казани!!!

Мы уезжаем из Казани с глубокой верой в правду нашего дела!..

Жмем руки тем, кто любит нас!!!

Надзиратели принесли завтрак. Студенты приняли чай, а хлеб вернули, не зная, куда девать всякую снедь, которую принесли им родные, друзья и совсем незнакомые люди.

Не успели они выпить чаю, как в камеру зашел полицмейстер, сопровождаемый толстым усатым канцеляристом с бумагами и чернильницей в руках.

— Господа студенты,— сказал полицмейстер.— Мне приказано сообщить вам, что по решению министра внутренних дел вы высылаетесь из Казани на родину, под надзор родителей и полиции. У кого родители живут в столицах и университетских городах, тем предоставляется право выбрать себе место ссылки в каких-либо иных городах и селах.

— На сколько месяцев или лет нас высылают? — спросил Владимир.

— Этого я сказать не могу,— ответил полицмейстер.

— А если я выберу, скажем, Швейцарию? — созорничал Полянский.

— За границу выезд запрещен.

— А в Сибирь? — не умолкал Сергей.

— У вас там родные? — спросил полицмейстер.

— Господин полицмейстер! — не растерялся Полянский.— Разве вам неизвестно? У каждого узника больше всего родных именно в Сибири...

— Ваша фамилия! — гневно нахмурился полицмейстер, раздраженный студенческим озорством.

— Полянский...

Полицмейстер обратился к канцеляристу:

— Иван Семенович, разыщите дело господина Полянского. Где он родился?

— Я и сам могу ответить,— усмехнулся Полянский.

— Нет-нет! — предостерегающе поднял руку полицмейстер.— Ваши слова для нас не документ.

— Полянский Сергей Федоров,— нарочито торжественно прочитал канцелярист.— Родился в селе Михайловка Ардатовского уезда Симбирской губернии. Незаконнорожденный сын дворовой девицы Ирины Евдокимовой...

— Хватит! — остановил полицмейстер.— Вот и поедете, господин Полянский, в село Михайловку. Это единственное, что могу вам предложить. А не согласны — пишите губернатору или кому угодно. Иван Семенович, теперь давайте по алфавиту!

Когда канцелярист назвал Ульянова, полицмейстер, прищурив опухшие веки, посмотрел на Владимира и спросил:

— Так это ваш брат казнен за покушение на государя-императора?

— Господин полицмейстер, вы отлично знаете, что я брат Александра Ульянова...

— Поедете в Симбирск! — сердито бросил полицмейстер.— Кто там следующий?

— Позвольте, господин полицмейстер,— перебил Владимир.— Если верить тому, что вы сказали, нас приказано высылать туда, где живут родные. А моя семья из Симбирска выехала.

— В Казани мы вас оставить не можем!

— Значит, господин полицмейстер, вы знаете не только то, что я брат Александра Ульянова, но и где живет моя семья. И все-таки сведения ваши не совсем точны. В Казани я живу с сестрой и младшим братом. А мать проживает в селе Кокушкино.

— Там, где отбывает ссылку ваша сестра?

— Видите, вы и об этом знаете! — усмехнулся Владимир.

— Запишите, Иван Семенович! Доложу губернатору. Он и решит... Я же имею право выслать вас только в Симбирск. Кто следующий? — обратился полицмейстер к канцеляристу.

— Чириков Евгений Михайлов. Сын подпоручика...

Закончив опрос, полицмейстер сообщил:

— Сейчас вам будет разрешено свидание с родными и знакомыми. Отправка к месту ссылки начнется завтра утром. Поэтому собирайтесь. Предупреждаю, заезжать домой строго запрещено.

— А в магазины?

— Тоже запрещено. Отсюда вас повезут прямо к месту ссылки. Еще вопросы есть?

— А когда мы получим документы? — поинтересовался Владимир.

— Мы их перешлем.

— Когда? — допытывался Владимир.

— Как только их передадут из университета.

Когда полицмейстер и канцелярист вышли из камеры, Полянский сказал:

— Они все-таки нас боятся. Значит, за нами сила...

Но никто не поддержал разговора. Мысли были заняты другим. Вчера высылка их из Казани была лишь слухом, а сейчас стала горькой реальностью. Завтра надо отправляться в дорогу. Невеселую дорогу! А встречи с родителями? Слезы, укоры, а может, и проклятья... И что хуже всего — неизвестно, сколько лет придется изнывать под надзором полиции...

4

Возле ворот тюрьмы Оля, накинув на плечи отцовский тулуп, принесенный для Володи, разговаривала с какими-то гимназистками. Директора гимназий уже строго-настрого запретили гимназистам собирать средства для передачи арестованным студентам. Но, несмотря на запрет, ученики все равно собирали деньги, часы, шарфы, тулупы, валенки...

Когда Мария Александровна с сестрой Анной подошла ближе, Оля дрожащим от возмущения голосом сказала:

— Мама, эти девочки и их подруги собрали деньги, чтобы арестованные студенты купили себе одежду потеплее. Начальница гимназии назвала их «нигилистками», кричала, что всех, кто даст бунтовщикам хоть копейку, сейчас же исключат из гимназии. Но девочки не

испугались и принесли собранные деньги. Разве они не имели права это сделать?

— Конечно, имели,— ответила Мария Александровна.

— Я тоже так им сказала,— обрадовалась Ольга.— И думаю, мама, ты позволишь мне взять у них деньги и передать студентам, а то они побаиваются. Еще увидит кто-нибудь да донесет начальнице...

— Разумеется! Возьми и передай,— разрешила Мария Александровна.

— Спасибо! Большое вам спасибо! — благодарили гимназистки.

А потом одна из них, сунув Оле узелок с деньгами, шепнула что-то на ухо.

Отбежав, крикнула:

— Не забудь зайти!

Надзиратель объявил: на свидание сначала пойдут те, у кого родные живут в Казани. Потом — остальные. Но студенты решили, что пойдут или все, или никто. Надзиратель, недовольно покачав головой, исчез и через некоторое время принес разрешение начальства. Оно было встречено дружным «ура!». Настроение поднялось — как-никак, а своего добились!

Арестантов построили парами, и Владимир очутился в самом хвосте... Рядом с ним встал Полянский. Он не спешил, зная, что никто не придет к нему.

У камеры для свиданий строй нарушился. Студенты скопом кинулись в открытую дверь. Когда наконец все протолкнулись, в камеру вошел и Владимир. По ту сторону двойных решеток размахивало руками и платочками столько людей, что, казалось, и яблоку упасть некуда. И все же среди десятков веселых и заплаканных, возбужденных и полных отчаяния лиц Владимир узнал спокойное, самое родное на свете лицо матери, бросился к решеткам, но их обступили в несколько рядов и с одной и с другой стороны. Тогда он шагнул назад, чтобы увидеть за шумной, суетящейся толпой маму, Олю, тетю Аню. Они тоже не смогли протолкаться вперед. Оля что-то кричала, размахивая узелком, но он не мог разобрать ни слова. Надо было кричать во весь голос и повторять одно и то же по нескольку раз, чтобы понять друг друга.

— Куда тебя высылают? — спрашивала Оля.

— В Кокушкино! — кричал Володя.— Но это еще не точно!..

— Что-о? — Оля приставила к уху ладонь.

— В Кокушкино! — громко закричал Володя.— Но это еще не точно!..

— Почему не точно?

— Хотят выслать в Симбирск!

— Куда?

— В Симбирск!

Оля сокрушенно показала пальцами на уши: ничего, мол, не слышу! Володя повторил, но с тем же результатом. Увидел, как встревожилась мама. Закричал громче. А шум стоял такой, что и он-то своего голоса не слышал.

Так до конца свидания и не удалось толком поговорить ни с мамой, ни с Олей...

В кармане тулупа, который передали Владимиру, оказался узелок с деньгами — семь рублей сорок три копейки и записка:

«Студентам-героям от учениц шестого класса Мариинской гимназии. Гордимся вами! Преклоняемся перед вами!»

Владимир отдал деньги в общую кассу. Ее вел Полянский.

5

Прямо из тюрьмы Мария Александровна решила пойти к губернатору, зная по опыту: от него зависит, куда вышлют сына. От одного предположения, что местом ссылки может оказаться Симбирск, мучительно заныло сердце... Нет, если не в Кокушкино, то куда угодно, но только не в Симбирск. Тогда она похлопочет, чтобы и Аню перевели туда, куда вышлют Володю, и сама переедет к ним с малышами.

— Ступайте по домам! — сказала Мария Александровна дочери и сестре, когда вышли из тюрьмы.— А я пойду к Андреевскому. Наверно, ждать придется долго!

— Хорошо! — согласилась Анна Александровна.— Но оттуда непременно зайди к нам.

— А мне, мамочка, разреши пойти с тобой,— попросила Оля.— Дома все равно делать нечего. А тебе я, может быть, чем-нибудь помогу.

В приемной губернатора, как и в камере для свиданий, не то что сесть, встать было негде. Чиновник, который пропускал посетителей, записал Марию Александровну, но предупредил:

— На то, что губернатор успеет вас принять сегодня, надежды мало. Лучше бы зайти завтра...

Но Мария Александровна настаивала: ей необходимо сегодня же побывать у губернатора,— завтра будет поздно. Чиновника, вероятно, поразило, что Ульянова держится так спокойно, с таким чувством собственного достоинства. За эти дни ему надоели слезы, униженные мольбы, истерики, даже обмороки.

— Хорошо! Я доложу...— пообещал он.

Мария Александровна и Оля отошли к стене. Стояли молча, невольно прислушиваясь к разговорам.

Отставной военный рассказывал отцу братьев Пчелиных, как арестовали племянника, как он ходил на свидание с ним.

— Прихожу в тюрьму. Приводят голубчика. Спрашиваю: это что за фокусы? А он, сопляк эдакий, нос задирает: «Дядя, попрошу вас...» Молчать! Вижу, коленки задрожали. Ага, думаю, испугался, герой! А теперь отвечай, какое ты имел право меня, дядю родного, так перед всеми опозорить? А он опять за свое: «Дядя, попрошу вас...» Молчать! Вижу, покраснел, точно свеклой натерли. Ага, думаю, припекло! Спрашиваю: да как же ты, мерзавец, посмел меня, честного человека, превратить в родственника нигилиста? Мало тебе, разбойнику, что мать свою убиваешь, так еще и меня на смех поднял. Отвечай: что все это значит? А он стоит и нахально улыбается: говори, мол, говори, а я по-своему буду делать. Ну не каналья, а?

— Каналья! — сердито подтвердил купец.— И спасение от этой заразы только кнут...

Одни на все лады ругали сыновей. Другие уверяли — они совсем не виноваты. Третьи грозились сурово наказать, и почти все порицали инспекторов и попечителя.

— А я вам скажу,— возражал чиновник купцу Пчелину,— начальство не виновато. Весь корень зла — в зачинщиках бунта. А среди зачинщиков, оказывается, был брат того казненного Ульянова, который покушался на его императорское величество. Во время обыска, говорят, нашли в подушках две бомбы. «Это что такое? Для че-

го?» — спрашивают. Да это, говорит, от старшего брата осталось. Одной бомбой хотели убить инспектора. Другой — попечителя. Ну что вы скажете? А?

— Может, сплетни? — усомнился купец Пчелин.

— Почему сплетни? — воскликнул тот дядя, который вразумлял своего племянника-«нигилиста».— Бомбы у брата террориста — вещь вполне возможная. Вот когда я служил в Петербурге, в штабе жандармского корпуса — командовал нами тогда генерал Оржевский,— был подобный случай. Повесили одного террориста, а через пару дней выяснилось, что виноват не он, а его брат...

Мария Александровна отошла, чтобы не слышать жестокой бестолковой болтовни. Но в какой бы уголок приемной они с Олей ни переходили, всюду слышалось: во всем виноваты зачинщики бунта. И фамилия «Ульянов» называлась чаще других. Мария Александровна не могла понять, действительно ли Володя один из вожаков студенческого бунта, или в этом столько же правды, сколько в том, что во время обыска нашли бомбы в подушках... Одно было сейчас ясно: обывательские сплетни повредят сыну...

— Много еще там? — спросил губернатор, когда чиновник зашел в кабинет.

— Тридцать семь просителей!

— О боже! — ужаснулся Андреевский.— Приму семерых — и довольно!.. Кто на очереди?

— Ваше превосходительство, может, лучше я прочту весь список, а вы решите, кого примете... Большинство уже побывало у вас несколько раз...

Прослушав список, губернатор спросил:

— Ульянова, кажется, пришла впервые?

— Да, ваше превосходительство. И, полагаю, стоит ее принять. Вполне возможно, желая вернуть сына в университет, она сообщит нечто важное. Ведь Ульянов — один из вожаков бунта...

— Хорошо! Ее приму. А остальных — пустите по собственному выбору.

— Чем могу служить, госпожа Ульянова,— поднявшись с кресла, когда Мария Александровна вошла в кабинет, спросил губернатор.— Садитесь, пожалуйста...

Андреевский приветливо улыбался, но Мария Алек-

сандровна сразу почувствовала: все эти любезности отнюдь не искренни...

— О том, чтобы вернуть моего сына в университет, я не прошу. Знаю, это не в вашей власти.

— Да, выполнить вашу просьбу я не смог бы при всем желании,— согласился губернатор.— Здесь в силах помочь лишь попечитель...

— С вами, ваше превосходительство, я хотела бы поговорить о другом. Только что я была на свидании с сыном. Всех, кого арестовали вместе с ним, высылают туда, где живут родные. А ему будто бы придется ехать в Симбирск, хотя там у нас нет даже дальних родственников. Я переехала на постоянное жительство в село Кокушкино. Поэтому прошу, ваше превосходительство, принять это во внимание. И, если сыну назначено столь тяжкое наказание, предоставьте ему хотя бы возможность поехать в Кокушкино. Не могу, ваше превосходительство, не сказать: побеседовав с инспектором университета, я убедилась — он преследует сына прежде всего потому, что казнен его старший брат Александр.

— Ошибаетесь, госпожа Ульянова! Ваш сын, мне докладывали, один из вожаков бунта...

— Об этом я, ваше превосходительство, слышу не от вас первого. Но, когда начинаешь разматывать нить, она неизменно ведет к инспектору. Поэтому и получается, что все повторяют слова господина Потапова.

— А кому же мы должны верить, как не инспектору, поставленному именно для того, чтобы наблюдать за поведением студентов? Я посоветовал бы вам, госпожа Ульянова, не защищать сына и не поддерживать этим его. Лучше бы вы повлияли на него так, чтобы он понял, на какой опасный, на какой преступный путь встал... Вот тогда и я смог бы что-либо сделать. А сейчас, извините, не могу... Не могу, ибо от преступника, который не раскаялся, надо ожидать новых преступлений. А тогда понесет ответственность и тот, кто этого преступника защищал.

— Благодарю вас за разъяснения,— Мария Александровна встала.— Вижу, придется ехать в Петербург. Здесь справедливости не добьешься...

Губернатор знал от двоюродного брата, как сражалась Ульянова за жизнь старшего сына, знал, что она добилась высылки дочери не в Сибирь, а в Кокушкино.

Значит, добьется, что и Владимиру разрешат отбывать ссылку там же. Ведь, собственно говоря, для высылки в Симбирск нет никаких оснований. Губернатору, понятно, совсем не хотелось, чтобы на него жаловались министру и его решения отменялись...

Подумав, он сказал:

— Куда выслать вашего сына, госпожа Ульянова, окончательно не решено. Сегодня у меня будет полицмейстер со списками исключенных из университета. Возможно, мы удовлетворим ваше прошение...

— Буду вам очень признательна,— сухо сказала Мария Александровна.

— Только предупреждаю,— сурово добавил губернатор,— если будет замечено, что ваш сын и в ссылке станет поддерживать связи с преступными элементами, мы незамедлительно вышлем его в места весьма отдаленные.

Мария Александровна сделала вид, что не расслышала этой угрозы, поклонилась и вышла.

6

— Ульянов!

— Я!

— Собирайтесь!

Владимир попрощался с товарищами, взял вещи, пошел за надзирателем.

Не успел он перешагнуть порога тюремной конторы, как навстречу выбежала Маняша. Володя поднял сестренку, а она, обняв его за шею, зашептала:

— Тебя выпустили? Ты поедешь с нами?

— Да, Маня!

— Ой как я рада!

— Маняша! — ревниво сказала Оля, которой не терпелось обнять брата.— Дай же Володе поздороваться с мамой.

Володя, поцеловав Олю, подошел к матери. Сердце его учащенно забилось: что-то она скажет! Но мать с мягкой улыбкой обняла его:

— Исхудал ты...

— Мама, я не мог иначе,— сказал Владимир.

— Понимаю,— тихо ответила она.— Понимаю...

У Владимира отлегло от сердца. Он поцеловал ей руку, обернулся к приставу:

— Так что же, можно ехать?

— Пожалуйста,— разрешил пристав.— Но еще раз повторяю, заезжать никуда не дозволено. Я провожу вас за город...

Вместе с Володей в сани сели мама и Маняша. Оля с Митей и няней приедут позднее: в Кокушкино решили переселиться всем домом. В сопровождении все того же пристава Чехметьева — он ехал верхом — сани двинулись со двора тюрьмы. На улице стояла толпа студентов. Увидев Ульянова, они замахали шапками, закричали:

— Ура героям! Ура!

Возчик испуганно подскочил, дернул вожжи, хлестнул кнутом лошадь. И сани, поскрипывая полозьями, помчались с горы. Но когда выехали на Воскресенскую, снова, почти на каждом перекрестке, наталкивались на толпы студентов. Они криками «ура!» встречали и провожали Ульянова, как и каждого из высланных студентов. А из магазинов, услышав эти крики, выбегали какие-то женщины, бросали в сани свертки. Некоторые студенты, догнав сани, подсаживались к Владимиру.

Чехметьев испуганно уговаривал:

— Господа, не нарушайте порядка!

Но на него никто не обращал внимания.

Владимир махал шапкой товарищам, пока не свернули за угол. А когда сел, мать, закутывая его в тулуп, сказала:

— Так можно и простудиться...

— Володя, а почему полицейский едет за нами? — спросила Маняша, увидев, что Чехметьев не отстает от саней.

— Боится, чтоб ты не сбежала! — пошутил Владимир.

Когда выехали из города, Чехметьев остановился. Маняша несколько раз оглядывалась, а пристав все стоял возле полосатой будки заставы. Потом сани съехали в овражек, и полицейский исчез.

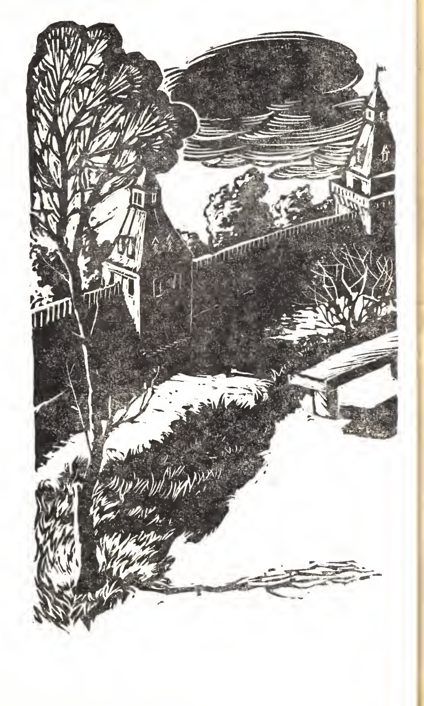
Дула поземка, заметая все следы на дороге, печально позвякивал под дугой колокольчик.

Ехали молча. И думали: как-то теперь сложится их жизнь...

Житомир — Казань. 1965—1970.

САВВА ДАНГУЛОВ

Тропа



ОТ АВТОРА

Ленин — это целый мир, прекрасный и огромный.

Я задался скромной целью: на большой карте этого мира осветить одну точку — Ленин разговаривает с Америкой. Все началось с рассказа о Ленине и Раймонде Робинсе. Вначале это был даже не рассказ, а глава из книги о советских дипломатах, над которой я работал. Перечитывая рукопись, я прочел и эту главу. Прочел и подумал: вот эта история с американцем Робинсом, который приехал к нам недругом, а уехал другом, не является ли она впечатляющим примером того, как Ленин воевал за разум и сердце человека, как он отбивал у того мира лучших людей? Если говорить об Америке, то там был не только Робинс, но и Джон Рид, Линкольн Стеффенс, Роберт Майнор... Да только ли они? А что, если написать книгу, в которой на примере Америки (кстати, хорошо, что это именно Америка, которую тот мир прямо противопоставляет нам) показать, как Ленин искал и находил друзей?

Сама мысль об этой книге глубоко взволновала меня. Я увидел Ленина вместе с его знаменитыми собеседниками. Я увидел, как он стоит с Джоном Ридом у карты России и рисует ее будущее, как в живом диалоге с Рисом Вильямсом на трибуне Михайловского манежа помогает тому говорить с солдатами по-русски, как он жестоко спорит с Линкольном Стеффенсом о праве революции карать врагов. В этих беседах Ленин доброжелателен и непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящейся сказать другу «нет».

Итак, Ленин разговаривает с Америкой. Вначале я не знал, какой эта книга будет по жанру, по манере, по внутреннему строю. Многое подсказала написанная глава: в центре рассказа должна быть судьба кого-то из американских собеседников Ленина, судьба со всеми ее коллизиями и взрывами, вся книга должна быть написана от первого лица. Именно от первого: от имени военного деятеля, хозяйственника, может быть, дипломата. Даже лучше дипломата — ему ближе всего интерес Ленина к Америке. Это давало большие преимущества для решения главной задачи — раскрытия образа Ленина. Взглянув на Ленина глазами дипломата Рыбакова, я обретал и свой угол зрения, и свои краски, и какую-то свою интонацию, подсказанную простотой и сердечностью, которая была свойственна атмосфере, окружавшей Ленина.

Имена американских собеседников Ленина хорошо известны. Мне хотелось сообщить о них нечто такое, что наш читатель не знает. Я написал пятнадцать писем в Америку. Пятнадцать. Писателям,

журналистам, общественным и религиозным деятелям. Многих из них я знал лично. Я получил ответы на все свои пятнадцать писем. Эти письма — воспоминания обо всей плеяде людей, которых я позднее показал в книге.

Но письма, при их неоспоримых достоинствах, не могли дать всего. Необычайно полезны были беседы с очевидцами и современниками событий. Я приехал в Ленинград и начал предметное изучение дипломатического Питера — без этого не воссоздать атмосферы, в которой жили мои герои. Мне удалось составить своего рода путеводитель по дипломатическому Питеру. Я побывал в зданиях бывшего английского посольства у Троицкого моста, французского и японского — на набережной, американского — на Фурштадтской, Российского министерства иностранных дел — на Дворцовой, 6, и т. д. Больше того: мне хотелось отыскать кого-нибудь из чиновников министерства. По справочной книге «Петроград» я восстановил список личного состава министерства и отправился на поиски. В скромном особнячке на Кирочной я беседовал с человеком, который в свои восемьдесят с лишним лет сохранил и остроту восприятия, и свежесть памяти, и работоспособность.

Для меня эта работа была тем более поучительна, что труд писателя здесь сочетался с трудом исследователя. Были у меня тут и неудачи Несмотря на помощь американских друзей, мне так и не удалось разыскать текст статьи Бесси Битти о беседе с Лениным. Мне кажется, что, если бы эта статья была найдена, я бы мог вписать в рассказ «Вера» страничку, которой так недостает.

Были и удачи. В Париже, на авеню д'Обсерватуар, в семье литератора Ли Голда мне был передан из рук в руки архив Джона Рида. Стоит ли говорить, какая это была радость! Когда под рукописной страничкой письма я увидел характерное «Reed», мне показалось, что я ощутил тепло ридовской руки

Я бесконечно завидую тем, кто может сказать: «Я видел Ленина». Скажу больше — не многие из моих сверстников могут сказать: «Я видел Ленина»,— но народ это сказать может. Образ Ленина, каким он возник у меня в книжке, я старался вызвать силой сердца, силой, я хочу сказать, любви, которая живет к Ленину в народе и хочет видеть Ленина живым, только живым.

МАНДАТ

Помню сизое, в отблесках небо над Петроградом, ветер, неживой стук осенних ветвей о крыши домов и оклик:

— Кто идет?

Из окна была видна громада Нарвских ворот и по плечо им белесое облако тумана. Иногда туман подступал к воротам. Тогда возникал неясный их контур, обвалившиеся столбы, руины. Единственное, что незыблемо стояло днем и ночью наперекор туману и ветру,— голос, тревожный, грозно-тревожный:

— Кто?

У входа в здание — международный знак Красного Креста: ярко-белый диск с алым крестом в центре. Парадная лестница ведет на второй этаж. Ковровая дорожка истерлась на сгибах: следы сапог, чиненных гвоздями и деревянной шпилькой, подбитых фигурной резиной и железной подковой, месивших глину и мшистые топи на Висле и Сене.

А на втором этаже сумеречно и тихо. Точно строгое каре на параде — столы, двенадцать столов. Каждый стол обжит прочно: юристы, дипломаты в отставке, много дипломатов в отставке, фармацевты, военные врачи и просто врачи, кадровые чиновники, администраторы — владетельные хозяева лабазов с мукой, бинтами, подсолнечным маслом и йодом, и поодаль, в углу, за столом для заседаний,— четверо большевиков с Николаевской железной дороги и Русско-Балтийского завода на Малой Невке: накануне мы пришли сюда по приказу Петроградского Совета.

Наш угол, где стоит конторка, зовут «красным».

— Ну что ж, это не так плохо,— говорит мой дружок

Парамон Дементьев, прозванный за крутой лоб Сократом.— Нет в избе угла, почетнее красного.

Он говорит громко, так, чтобы слыхали все двенадцать столов, но столы молчат, смущенно молчат.

Вечер бесснежный, но морозный.

Шумно распахнулась дверь. Вошел человек, облегченно и счастливо сжал кулаки, вздохнул:

— Good evening, friends![1] — сбросил тяжелую шапку, не снял, а свалил с плеч доху, долго тер озябшими руками щеки.— Colonel Robins...[2] — протянул свою красную руку к крайнему столу.— Robins...— Он явно задался целью обойти все столы.

Так вот он какой, Раймонд Робинс! Его официальное качество— представитель американского Красного Креста,— кажется, отступило на второй план. Более существенным оказалось иное: в Петроград прибыл Робинс, рудокоп, фермер, золотоискатель, ковбой и бизнесмен, обладатель миллионов. Он связывал, как говорили, с поездкой в Россию далеко идущие планы.

Его рука, большая и холодная, еще хранит дыхание декабрьской стужи.

— Colonel Robins...

— Is our winter too cold for you, mister Robins?[3] — замечаю я.

— O! Familiar accent! I can feel America! Have you ever been there?[4]

Был ли я в Америке? Да, был. Знаю и Ном, и Ситку, и Фэрбенкс, и даже Форт-Юкон, но не говорить же Робинсу вот так, вдруг об этом. Впрочем, он уже минул наш угол и, склонившись у печи, открыл дверцу.

— Ничего не знаю лучше северной зимы...— замечает он и садится в кресло подле, так, чтобы видеть все двенадцать столов.— Не знаю лучше...— повторяет он, но уже думает об ином, о чем-то совсем ином, что неизмеримо важнее сказанного.— Любое благодеяние обесценивается, если пострадавший должен жертвовать своей свободой...— произносит он неожиданно и поднимает глаза.

[1] Добрый вечер, друзья! *(англ.)*

[2] Полковник Робинс.

[3] Не слишком ли русская зима холодна для вас, господин Робинс?

[4] О! Знакомая речь! Чувствую американца! Вы когда-нибудь бывали там?

Он молчит, вытянув навстречу огню белые руки, и свет углей, уже покрытых нетолстой пленкой пепла, лежит на его набухших, с просинью веках.

Потом он говорит, что преуспевающая Америка могла бы помочь разоренной России восстановить хозяйство. Он деловой человек и считает, что эти отношения могут многое дать и России и Америке.

Он говорит, а в комнате становится все тише. Кто-то зябко поводит плечами, кто-то извлекает платок и торопливо сушит лоб. А Робинс приподнимается с кресла, не отнимая вытянутых рук от печи, и мне кажется, что его синяки медленно растекаются.

— А не мог бы я, господа, поговорить с Лениным?— произносит Робинс и смотрит вокруг, точно хочет внимательно прочитать все двенадцать лиц; теперь понятно, почему он сел так, чтобы все столы были перед ним...

Поздно вечером я возвращался домой. В те годы мы жили в деревянном флигельке у Николаевского вокзала. Флигелек стоял в глубине обширного двора, открытый всем ветрам. Издали были видны его пять окон. Если четыре окна были затенены, пятое — освещено: вечера отец проводил за книгой.

Отец пристрастился к книге в пору наших странствий по Америке. Томики чеховских рассказов сопровождали нас повсюду, напоминая о родине.

Начав чтение, отец уже не мог оторваться от книги, даже когда она его не совсем устраивала. Дочитав, долго ругался:

«Вот прочел, и... пустой, как барабан пустой... Зачем читал?»

Но чаще было по-иному.

«А вот что говорит твоему сердцу такое имя — Певцев? Прочти его книжку про Кунь-Лунь и Чжунгарию. Ой как занятно!..»

Лет пять назад, расставшись с паровозом, отец пошел сторожем в железнодорожную школу. Он был горд, что мог как равный говорить со старшеклассниками о Пушкине и Толстом, а при случае решить алгебраическую задачу. Этой гордостью, может быть чуть-чуть наивной, объясняется и то, что он на последние гроши, собранные за годы скитаний по белу свету, определил меня в тех-

ническое училище. Он хотел, чтобы я стал паровозостроителем, и был немало опечален, когда после училища я пошел в депо. Как все отцы, он желал своему сыну того, что не удалось совершить самому. В том, как полно удастся осуществить мне свои замыслы, отец хотел видеть свершение самых заветных планов и своих, и братьев, и всей великой династии Рыбаковых, берущей начало от тех верхневолжских крестьян, что из века в век волокли по большой реке на своей костистой и могучей вые плоты и баржи.

Весть о революции насторожила его, потом воодушевила и увлекла.

«А не конец ли это их царству?— спросил он меня однажды и добавил значительно:— Бойся пули шальной!» Он явно хотел вложить в эту фразу больший смысл, чем она на первый взгляд в себе заключала.

Ему не очень понравилось мое новое назначение в Красный Крест, но, как обычно, он выразил свое неудовольствие в форме шутки.

«Там паровозы строят?» — спросил он меня.

«Нет».

«Плохо,— заметил он, глядя на меня улыбающимися глазами.— А мне бы хотелось, чтобы и там паровозы строили...»

Скоро одиннадцать. Давно погас огонь в печи. Поодаль лежит не дочитанная отцом книга с вложенными в нее очками. Электричество выключили час назад, и его заменила керосиновая лампа. Отец слушает меня, чуть-чуть наклонив голову.

А все-таки время жестоко обошлось с ним: морщины, как шрамы, иссекли лицо, такое родное. Мне даже кажется, что я сейчас увидел морщины, которых не замечал прежде, хотя они успели глубоко прорезать кожу.

— Значит, так он и сказал: «А не мог бы я видеть Ленина?»?— переспрашивает отец.

— Так и сказал.

Отец молчит. Пришла в движение память. Наверно, вспомнил Америку. Вспомнил, как строил в сорокаградусную стужу мост из деревянных бревен через Юкон, строил день и ночь, торопясь закончить его к ледоходу. Река тронулась накануне, а в следующую ночь отец был разбужен неистовым гудением колокола. То, что открылось глазам, наверно, уже не забыть никогда. Было тихо,

и пламя горящего моста, казалось, добралось до самого облачка. Пламя взметнулось к небу и опало: мост сгорел быстрее свечи. С тех пор отец не мог успокоиться: «Что заставило людей запалить мост? Волчья борьба за золото или жажда разбоя?» И еще: «Человек, запаливший мост, думал ли о людях, которые мост строили? Думал? Тогда почему он зажег?»

А может, отец вспомнил сейчас раннюю весну девятьсот третьего года, когда отправился вместе с такими же, как и он сам, за Полярный круг. Да, так, прямо по цельному снежному пласту в глубь белой пустыни шла партия рудокопов во главе с боссом. Где-то там, в полумгле, подсвеченной белесым северным солнцем, говорят, была полузаброшенная шахта. Снежная равнина походила на затвердевший свинец... нет, пожалуй, на белый лист цинка. Снег блестел, по его поверхности передвигалось солнце. Шли два часа и отдыхали, на большее не было сил — ветер сек косо, в висок. На третий день пути на горизонте обозначилась точка, будто чистую бумагу прокололи булавкой. Приблизились... Человек, один человек. Он стоял посреди белого поля с распростертыми руками: «Не пущу!» Да, он хотел стать на пути всех, заслонив собою и поле и небо: «Не пущу!» Какая тут, к черту, романтика! У человека были черные, опаленные морозом руки. И этого воспоминания тоже хватит на всю жизнь. В самом деле, почему человек распростер руки? Хотел ли он защитить то, что нашел, или, может быть, хотел защитить собой самую землю и здесь вот, где стоял, и далеко вокруг? Так, может быть, и мост был спален, чтобы охранить землю от грабежа? Тогда какая цена труду, который вложили люди, чтобы этот мост построить?

— У нас думают, что Америка—это размах и риск.— Отец пододвигает керосиновую лампу: ему кажется, что она светит недостаточно ярко.— Размах? Да, но если есть расчет размахиваться... Риск? Да, но если нет иного выхода.— Отец снимает с лампы стекло, выкручивает фитиль и твердыми, не боящимися огня пальцами снимает с фитиля нагар.— Вот я и говорю: коли Америка явилась в Питер в такую пору, значит, наши дела не так уж плохи.— Отец надевает стекло и отодвигает лампу — в комнате посветлело.— В такую пору...

Больше отец ничего не сказал, но этих нескольких слов мне было достаточно, чтобы не уснуть до утра.

В длинных, со сводчатыми потолками коридорах Смольного сумеречно, и плечистая фигура Робинса, идущего впереди, почти слилась с полутьмой.

Сейчас распахнется дверь, и мы увидим Ленина.

Но мы подходим к двери и вдруг обнаруживаем: она полуоткрыта и комната, кажется, пуста. Виден письменный стол, массивный, на резных ножках. На дворе по-осеннему ненастно, а настольная лампа не зажжена, хотя Владимир Ильич, как мне кажется, только что встал из-за стола: на четвертушках, заполненных его быстрой рукой, еще просыхают чернила. Он работает, видимо, при дневном свете даже вот в такой пасмурный день.

— Здравствуйте... здравствуйте!— Он выходит из боковой двери.— Заходите, пожалуйста...— В голосе радушие.— Вот сюда... здесь вам будет удобно,— указывает он на кресла в белых чехлах, большие и домовитые. Он зажигает верхний свет, и из комнаты уходят сумерки.— Вот так лучше.

Робинсу показалось, что последнее слово он понял.

— Лутше... лутше,— повторяет он, улыбаясь, и, обратившись ко мне, произносит озабоченно:— Would you kindly tell mister Lenin... Yesterday evening I walked along the Mokhovaya street...[1]

Да, вчера вечером он гулял по Моховой и был свидетелем такой сцены. Мальчик продавал с рук книжку кого-то из сподвижников Керенского. Подошел патруль, два солдата с красными повязками на рукавах (Робинс показал на руку), и отобрал книжки. «Это контрреволюция»,— сказали солдаты. (Робинс пытался произнести это слово по-русски: «Контрреволюция!») Мальчик завопил. Собралась толпа. И все стали кричать на солдат, все тридцать человек. Про книжки, конечно, сейчас же забыли. Только кричали: «Самозванцы! Узурпаторы!..» Вчера вечером эти солдаты были очень одиноки. А Робинс подумал: «Кого же представляют эти два человека, если их... двое, а тех тридцать? Может, и в самом деле... самозванцы, а!»

Робинс умолк и взглянул на Ленина строго, без улыбки. Ленин сдвинул брови — то ли задумался над самой сутью вопроса, то ли почувствовал в тоне собесед-

[1] Не будете ли любезны сказать господину Ленину... Вчера вечером я гулял по Моховой...

ника неприязнь. Было тихо. Необычно ярко светило электричество, лампочка была без абажура. И крупинки серебра в обоях будто ждали этой минуты, чтобы стать видимыми. Мне подумалось, что беседа оборвется, не успев начаться.

— Это было на Моховой? — спросил Ленин, не поднимая глаз.

— Да,— ответил Робинс.

— А представляете...— возразил Ленин. (По тому, как он произнес это, я понял, что система контрдоводов уже сложилась в его сознании и ему остается ее только высказать.) — А представляете, если бы этот случай с патрулем произошел вчера в пять часов вечера, ну, скажем, на Васильевском или на Черной речке? Там было бы тоже так... два и тридцать, но тридцать на стороне...— Ленин тронул руку выше локтя, точно неприметным этим жестом хотел обозначить патруль, несущий охрану революционного Питера.

— Но Моховая — это тоже Россия,— возразил Робинс.

— Да, Россия,— произнес Ленин,— но если говорить о России, то она не на Моховой, где живет знать, а там...— Он взглянул в окно, заполненное полумглой. Россия, о которой он говорил, лежала там, он видел ее так, как, может быть, никогда и никто ее не видел.— И те патрули на Моховой... тот патруль говорил от имени России...

Робинс покинул кабинет Ленина уже вечером.

Как было условлено, я проводил Робинса к машине и вернулся к Ленину.

— Эти буржуа, вышедшие из низов, хороши хотя бы тем, что знают жизнь,— заметил Ленин. (Мне показалось, что какой-то гранью своего характера Робинс был ему симпатичен.) — По-моему, это чисто американское явление. Вы согласны?

— Да,— ответил я.

— Кстати, вы действительно жили в Америке? — спросил он.

Я сказал, что в девятьсот втором, когда волна переселенцев двинулась со всего мира в Америку, среди них была и наша семья.

— И все говорите по-английски? — спросил Ленин.

— Все, Владимир Ильич,— ответил я.— Отец говорит: «Ты, Митяй, не больно хвастай своим английским. Невелика заслуга! Если бронзовую лошадку Петра переместить с Сенатской площади туда, где ты был, и она заговорит по-английски...»

Ленин повеселел:

— Значит, невелика заслуга? Но отец... отец тоже говорит?

— Да, но не очень любит.

Ленин вспомнил этот разговор, когда несколькими месяцами позже направил меня на работу в Наркоминдел.

Я шел вдоль набережной. Слева, смягченные легким туманом, несмело прорисовывались линии набережной, моста и зданий по ту сторону реки. Нева, срезанная полукругом моста, поблескивала тускло. Ненастье загасило краски, оставив только черно-белые.

Когда справа осталась Сенатская площадь (бронзовый конь Петра был окутан туманом, точно пороховым дымом), я увидел двух человек, медленно идущих мне навстречу. Раймонда Робинса (он был, как обычно, в своей тяжелой дохе) я узнал тотчас, но кто был второй, в овчинном полушубке и островерхой шапке, какую носят разве только на нашем юге — на Днепре или даже Днестре? У него был вид крестьянина.

Два человека были так увлечены беседой, что, не рискуя нарушить ее, я мог приблизиться. Сейчас я слышал голос собеседника Робинса. Ну конечно же, он говорил по-английски, говорил с тем характерным произношением, которое выдавало в нем шотландца. У меня теперь не было сомнений, что рядом с Робинсом был Артур Рэнсом. Да, да, это мог быть он...

Какими все-таки своеобразными путями человек может прийти к пониманию революции! Это звучит необычно, но именно своей любви к сказкам Рэнсом обязан тем, что знал Россию, при этом и в беде и в радости. Рэнсом — писатель. Было время, когда имя Артура Рэнсома отождествлялось в сознании английского читателя лишь с книжками для детей. Англичане по маленьким книжкам Рэнсома познавали родную историю, уклад быта и особенно природу: заливы, озера, реки Англии были стихией Рэнсома, путешественника и рыболова.

Рэнсом приехал в Россию как собиратель фольклора. Это было в году тринадцатом. Когда началась мировая война, англичанин пошел корреспондентом на Восточный фронт, на линию огня, в окопы. Он пережил вместе с солдатами и неудачу на Висле, и надежду на победу революции в Феврале, и разочарование в этой революции. Именно разуверившись в своих февральских надеждах, он покинул Россию. Весть о победе Октября застала его в пути. Он сдал билет и повернул обратно в Россию. Он поселился в гостинице, половина номеров которой была необитаема, и одна за другой пошли телеграммы в Лондон: «Я хочу, чтобы люди, раздвинув завесу клеветы, которая окружает большевиков, увидели идеал, за который те сражаются...»

А когда кончался страдный петроградский день и последние телеграммы были отправлены, Артур Рэнсом выходил на набережную постоять на ветру.

Иногда рядом с ним оказывался Робинс.

У Робинса была своя судьба, во многом отличная от судьбы Рэнсома. И все-таки (Рэнсом это понимал) американца и англичанина многое сближало и в их отношении к России. У себя на родине и один и другой шли отнюдь не революционной дорогой. Происхождение Рэнсома, как говорил он сам, не располагало к тому, чтобы революция стала его стихией, его призванием. И тем не менее и Робинс и Рэнсом увидели в революции то, что не могли увидеть другие.

Ранней весной восемнадцатого столица переезжала в Москву.

Поздно ночью я прошел к запасным путям. Там уже стояли три эшелона. Погрузка была закончена только что, ждали отправления. В поезде не зажигали огней. Эта предосторожность в ту пору казалась оправданной.

Было пасмурно и тепло. На путях еще лежали глыбы снега, не успевшего стаять. В белесой мгле неярко поблескивали озерца талой воды. Где-то далеко-далеко кричали паровозы — глухо, вполголоса, точно опасаясь потревожить и тьму и тишину этой ночи. Свет, пролившийся на землю, был не щедр; казалось, его восприняли только лица — они стали лучше видны.

Приехал Ленин. Он шел вдоль вагонов, приподняв воротник демисезонного пальто, шел медленнее, чем обычно. Он поднялся на подножку вагона и, оглянувшись, посмотрел далеко вокруг. Мне подумалось, что именно в этот миг Ленин прощался с Петроградом. Может быть, он благодарил великий город за подвиг.

Поезд ушел.

Повсюду на путях стояли латышские стрелки и вооруженные рабочие.

Я прибавил шагу и пошел к вокзалу.

— Мить...

Поодаль стоял отец. Он был в своем полушубке, но заметно озяб: видно, стоял давно. Над его правым плечом невысоко поднимался туповатый ствол трехлинейки.

— Вот уйдет третий эшелон, тогда пойдем...— сказал отец.

Мы возвращались домой под утро. Было так же пасмурно. Накрапывал дождь. Поблескивали рельсы. Говорили о поездах, которые ушли в Москву, о Москве, теперь столице, о Ленине.

— Нет, здесь верный расчет,— раздумчиво говорил отец.— Граница все больше становится линией огня. А коли так, зачем на линии огня держать ставку? Ленин отодвинул ее туда, где ей надлежит быть. По всем правилам военной науки, и не только военной.

Через два дня в Москву переехали и мы с отцом. Ему было труднее, чем мне, расставаться с Питером, но он тешил себя мыслью, что питерский железнодорожник наполовину москвич, а московский — питерец. Пятьсот сорок верст не в счет. К тому же недалеко была железнодорожная школа, едва ли не такая же большая, как в Питере. Отец тут же начал работать в ней.

Большие московские гостиницы «Националь», «Метрополь» сделались резиденцией правительства.

Ленин жил и работал в «Национале».

Наркоминдел разместился в «Метрополе».

Кремль был рядом. От «Метрополя» до Никольских ворот пять минут ходьбы, до Троицких — десять. Действовал еще порядок Смольного, и часы приема иностранных посетителей были самыми неожиданными: в полдень и в полночь, на вечерней заре, а иногда даже и на заре утренней. Дело немало облегчалось тем, что почти весь состав Наркоминдела жил тут же, в гостинице.

В «Метрополе», теперь уже у Чичерина, нередко бывал и Раймонд Робинс. «Наш приятель полковник Робинс»,— говорил Чичерин. А однажды я видел, как Чичерин прошел вместе с Робинсом к главному подъезду, где их ждала машина. Куда они поехали? Быть может, к Ленину. В Наркоминделе было известно, что Робинс все чаще бывал у Ленина.

Робинс, как мне казалось, был интересным собеседником для Ленина. У него были и юмор, и знание жизни, и широта. Да, именно широта, которой всегда отмечен талантливый человек из народа, даже после того, как он стал человеком состоятельным. В нем было что-то от наших уральских заводчиков Демидовых и Строгановых, хотя было и нечто отличное. Те, наши, частенько не признавали ни черта, ни бога, а этот был набожен, фанатически набожен. Но вот загадка: что влекло его к Ленину? Одни говорили, Робинс, вопреки своей размолвке с Френсисом, американским послом в Петрограде, выполнял его миссию; другие утверждали, что Робинса влечет к большевикам его... религиозность, так как он одержим идеей примирить «Коммунистический манифест» с библией. Были и третьи: этому миллионеру, вышедшему из сельских пролетариев, говорили они, приятно иметь дело с главой первого рабочего правительства.

Я допускаю, что, беседуя с Робинсом, Ленин знал мнение одних, и других, и третьих.

Знал и все-таки полагал, что этот человек был способен многое понять в Советской России. В планы Ленина, разумеется, не входило обращать Робинса в свою веру, но нейтрализовать его, если можно, сделать лояльным, а еще лучше — дружески расположить, Ленин определенно рассчитывал. Робинс видел разгадку всех тайн в существовании невидимых и мощных сил, кодексом которых была библия. Ленин мог оставить без внимания доводы оппонента, ведь для материалиста они несостоятельны. Но Ленин поступил иначе: на много часов католичество, его суть, его философия стали предметом спора. Ленин выступал в этих беседах как революционер и первооткрыватель. Я представляю, какую щедрость, широту и воинственность обрела в этих спорах ленинская мысль! Именно революционер и первооткрыватель, но, может быть, немножко и дипломат, отстаивающий интересы молодого Советского государства.

Вот и апрель, солнечный и тихий. Тает снег; он теперь лежит длинными утесистыми островками лишь в Александровском саду да в темных московских двориках, отделенных от неба и солнца многоэтажными домами.

В Колонный зал собрались депутаты Московского Совета. Повод более чем убедительный: Москве необходимы дрова.

— Не могли бы вы мне помочь переговорить с Лениным?.. По-моему, он сейчас в комнате за сценой. Два-три слова, но очень важные.

Передо мной Робинс.

Из-под пиджака — шерстяной свитер с высоким, облегающим массивную шею воротником. Пожалуй, этот строгий костюм больше соответствует суровой натуре времени.

— Я только что видел Ленина...— говорит Робинс и достает из кармана блокнот: хочет удостовериться, что блокнот здесь, ему надо записать нечто действительно важное.— Пойдемте...

Мы идем.

Зеркала вдоль стен,— очевидно, во время концертов комната служит и гримерной,— стол, и на нем гора пальто и шинелей. В комнате нет стульев — все на сцене, и Ленин устроился на скамеечке, пододвинул ее к подоконнику, использовав подоконник вместо стола. Скамеечка очень мала (на такой хорошо сидеть у раскрытой печи), но Ленин, я так думаю, не испытывает неудобства. Подобрав ноги и опершись рукой о просторную доску подоконника, он весь ушел в работу. Перед ним листы блокнота, заполненные энергичной скорописью,— очевидно, тезисы выступления.

Он не хочет замечать ничего: и то, что обшлага брюк касаются пола, и то, что сидеть ему вот так не очень удобно, и то, что в комнату могут войти и увидеть его в столь необычной позе. Все это для него не имеет значения. Главное — что надо сполна, обязательно сполна, использовать эти четверть часа и записать все, что следует сказать.

Время от времени он прерывает записи и как-то печально и, так мне кажется, устало опускает голову на раскрытые ладони и сидит неподвижно, точно

опасаясь неосторожным движением потревожить мысль, которая зреет сейчас.

А мы с Робинсом стоим у двери и не дышим, особенно я. Чувствую, что у меня не хватит ни сил, ни смелости подойти к Ленину и заговорить, да и американец, кажется, лишился столь характерной для него решительности. Я не знаю, как долго мы стояли бы вот так у двери, переминаясь с ноги на ногу, если бы Ленин вдруг не поднял глаза.

И здесь действительно рухнуло небо.

Его лицо помрачнело, и нетерпеливо сжалась рука, в которой он держал карандаш.

— Нет, друзья, увольте... Я сейчас занят. Нет, нет...— произнес он, не скрывая своего недовольства.— Если смогу, то через полчаса... Простите. Если смогу...

Мы вышли. Это был Ленин, и мы плохо знали его, плохо. Он мог вот так категорически отказать даже другу, может быть, именно другу.

Мы решили ждать.

Ленин уже был на трибуне, и тишина, нарушаемая сдержанным гудением голосов, овладела залом.

Ленин говорил...

Он говорил о революционной России, поднявшейся на борьбу со старым миром, об ожесточении борьбы и о решимости России отстоять свою свободу.

Вспыхивали и медленно стихали — так остывает добела накаленный металл — аплодисменты. Ленин кончил говорить.

И вновь мы входим с Робинсом в комнату за сценой.

Ленин стоит у того же окна, и солнце золотит у виска его волосы.

— Ну, вот теперь я вас слушаю,— говорит он, оборачиваясь, говорит, а в глазах строгость: то ли он не может простить нашего вторжения, то ли все еще находится под впечатлением всего того, о чем говорил с трибуны.— Да, да, пожалуйста...

Нет, Робинс действительно лишился своей прежней смелости.

Он говорит, что собирается в Америку и в этой связи решил обеспокоить Ленина: быть может, мысль Ленина, высказанная не однажды, о широком развитии торговых связей могла быть теперь реализована. По крайней мере, Робинс взял бы на себя труд сообщить об этом Америке.

Ленин пристально взглянул на Робинса:

— Америке?..

— Да... Америке.— Робинс почувствовал, что его идея увлекает Ленина.— Все сделать, чтобы Америка узнала...

Ленин отходит от окна и движением глаз приглашает нас последовать за ним. Мы тихо идем через комнату по диагонали.

— Ну что ж, мы приготовим к вашему отъезду наш про́ект.— Ленин произносит на старинный манер: «про́ект».— Я говорил уже вам: главное для нас теперь — новые машины для нашей индустрии и земледелия, новые!.. Мы готовы заказать их в Америке в обмен на сырье. Эта мысль ляжет в основу нашего проекта: Америка может рассматривать его как официальное предложение революционной России...

Робинс остановился.

— Быть может, и адрес должен быть официальным?

— То есть?..

— Адресовать президенту...

Ленин взглянул на гостя:

— Вильсону?

Американец помедлил.

— Я бы хотел... попытаться.

Ленин зашагал дальше, мы последовали за ним.

— Ну что ж, если вы полагаете...

Робинс поблагодарил Ленина.

— Думаю, что я уеду в мае... в первой половине.

— Наш проект я вручу сам.

Робинс ушел.

Ленин взглянул на меня грозно (а теперь он отчитает меня за непрошеное вторжение, подумалось мне, обязательно отчитает). Но Ленин вдруг улыбнулся:

— И чего вы с ним вломились ко мне тот раз?.. Боялись отказать? Ну скажите, побоялись сказать ему «нет»?..

— Да, Владимир Ильич, боялся...— признался я.

Он рассмеялся.

— Зря. В жизни надо уметь сказать человеку «нет»...— Он махнул рукой.— Ну что с вас спросить?.. Чичерин говорит, что прошлый раз в Большом театре вы задели колонну плечом и извинились... Так?

Теперь мы смеялись оба.

Накануне позвонили из Кремля: я буду с Робинсом у Ленина.

Помнится, что Ленин тогда жил на неширокой кремлевской улочке, идущей от Боровицких ворот к Троицким. Я приехал минут за пятнадцать до встречи и видел, как он вышел из этой улочки и направился через площадь, мощенную торцом, к зданию Совета Народных Комиссаров. Дойдя до середины площади, он на минуту остановился, снял кепку и как-то нетерпеливо и счастливо посмотрел на небо, которое было в тот день полно солнца.

Итак, мы были в кабинете Ленина, в его кремлевском кабинете, известном теперь по множеству снимков.

Ленин пригласил Робинса занять кресло слева, то самое невысокое кресло, обитое черной кожей, в котором позднее сидели все знаменитые собеседники Ленина — от Линкольна Стеффенса до Герберта Уэллса.

Ленин заговорил с Робинсом по-английски, и одно это уже свидетельствовало, что за эти пять месяцев он достаточно привык к своему американскому собеседнику. Кстати, позже я заметил: чтобы «разогреть» беседу и сообщить ей непосредственность, Ленин начинал ее с чего-то самого простого, быть может даже личного. Вот и сейчас речь шла о письмах из Флориды (там было имение Робинса) и, кажется, из Лондона (там жила сестра Робинса). Ленин не спешил перейти к делам. Он будто хотел показать, что во всей беседе его интересовало только это, и ничего больше. Может быть, он полагал, что гость, пришедший с деловым визитом, должен начать деловой разговор сам. Он ждал первого слова Робинса.

— Я надеюсь быть в Вашингтоне еще летом...— произнес Робинс.

Разумеется, американец явился сюда, чтобы продолжить, а может быть, и завершить тот памятный разговор с Лениным в Колонном зале.

— Как я обещал,— заметил Ленин и неторопливо выдвинул ящик письменного стола,— вот документ, в котором наш взгляд на торговлю с Америкой отражен достаточно полно.— Ленин положил перед Робинсом незапечатанный конверт и закрыл стол.

Да, Ленин передал Робинсу документ, открывающий перспективу широких экономических связей между нашими странами, дав понять, что он доверяет Робинсу в известной мере говорить и от имени русских.

Робинс медленно отвернул клапан конверта и извлек бумагу. Он держал бумагу обеими руками.

— Все, что в моих силах... Видит бог: все...

— Да, разумеется, разумеется...— не без смущения произнес Ленин и взялся за перо.— Так вы едете через Владивосток?

— Да, Владивосток.

— Путь долгий и небезопасный,— произнес Ленин и пододвинул к себе блокнот со штампом «Председатель Совета Народных Комиссаров». Он зачеркнул на бланке «Петроград» и быстро начертал: «Москва, Кремль, 11.5.1918».

Все, что написал Ленин дальше, я увидел, когда вручал этот документ Робинсу уже у выхода из ленинского кабинета. Документ энергично предписывал «оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы во Владивосток полковнику Робинсу». Под своеобразным этим мандатом стояло такое знакомое «Предс. СНК В. Ульянов (Ленин)».

Я проводил Робинса до машины.

Прежде чем сесть в машину, Робинс поднял лицо и оглядел небо. Оно было голубым. Потом он чуть-чуть отошел к машине и робко и внимательно посмотрел вверх — там, на третьем этаже, были окна ленинского кабинета.

Робинс улыбнулся, поднял руку, сжал и разжал пальцы — в окне стоял Ленин.

Робинс уехал. Ленин ждал меня — я вернулся.

— Ну вот, наше послание ушло в Америку! — произнес Ленин. Он уже видел, как стремится Робинс через холмистые зеленые моря Зауралья и Сибири, через ненастье большого океана на восток, на восток, к пологим и скалистым берегам Орегона и Калифорнии.— Что по этому поводу сказал бы Рыбаков-старший? — улыбнулся Ленин.— Кстати, отец с вами, в Москве?

— В Москве, Владимир Ильич.

— Хорошо. Он ведь старый спец по Америке. Как он полагает, получится у нас с ней, а?

Поздно вечером я вышел из Троицких ворот и побрел вдоль Александровского сада к реке. В саду было темно. Снег сошел недавно, и земля не просохла. Сад дышал холодной сыростью. В глубине сада на маковках дубов и

лип шумели птицы. Они прилетели в этом году явно до срока — весна была поздней.

Я уже прошел сад и готовился повернуть к мосту, когда слева увидел идущих от реки двух человек. По старой питерской традиции, друзья вышли сегодня вечером к реке. Ну конечно же, это были Робинс и Рэнсом (без дубленого полушубка Рэнсома узнать труднее).

— Вот сейчас условились,— произнес Рэнсом, обращаясь ко мне,— что завтра уйдет в Америку и мое скромное послание.

— Письмо?

— Да, письмо, при этом в самый высокий адрес... Президенту! Хочу написать, как понимаю положение дел здесь я, человек, проживший несколько лет в России и видевший все своими глазами. Просижу всю ночь, а напишу...

Они ушли.

Робинс готовился к обстоятельному разговору со своим президентом. Главное — сказать ему все то, что Робинс хочет сказать. В этой связи письмо, которое намеревается сегодня ночью написать президенту Рэнсом, в высшей степени важно. Да, письмо, очень личное, написанное простыми и очень человеческими словами, не может не тронуть сердце человека, если по природе он добр. Не может...

Они ушли, а мне отчетливо представилась комната Робинса и эти два человека. Распахнутый чемодан уже стоит на стуле. Дорожный костюм уложен. На столе в толстом конверте лежит послание Ленина и поверх него — сложенный вдвое мандат. Робинс берет стопку исписанных блокнотов, еще раз неторопливо просматривает. Блокноты пронумерованы. Вся история русской революции, как отложилась она в записях Робинса в эти шесть месяцев, здесь...

Он кладет блокноты в конверт и пододвигает его к середине стола, туда, где лежит послание.

Что еще надо взять?

А в соседней комнате нетерпеливо ходит Рэнсом, и на мраморной доске стоящего поодаль столика вздрагивает пустой стакан.

Потом он садится и начинает писать.

Он умеет вот так, не вставая, заполнить своим более чем убористым почерком несколько страниц.

«Я пишу так быстро, что едва не сломал перо, помня все время о том, что через несколько часов человек, который должен отвезти мое письмо, уезжает...»

Рэнсом говорит о вождях новой России как о людях с чистым сердцем, чей благородный идеал переживет их.

«Они вписали в историю человечества мужественную страницу... И, когда спустя много лет люди прочтут эту страницу, они вынесут приговор вашей стране и моей, в зависимости от того, помогли мы или помешали написать ее...»

Рэнсом закончит свое письмо, когда неяркий майский рассвет уже зажжет над Москвой облака.

Он погасит электричество и уже при дневном свете перечитает письмо, задумается... Над чем? Может, и над своей судьбой.

Вот жил человек, очарованный природой, и думал, что истинное его призвание — ходить росными утрами в лес, слушать зоревое пение соловьев, плыть по спокойным равнинным рекам в лодке или стоять над рекой, устремив взгляд на поплавок. Жил человек и думал, что природа только с ним откровенна и его назначение — прилежно записать все, что она рассказывает ему. Записать и поведать людям. А потом поездка в Россию... И все взорвалось, все взвилось и рухнуло: лес, соловьи, лодка на стремнине, зори... Остались только сумеречный блеск северного солнца и грозный голос: «Вся власть Советам!» Вторглась революция в жизнь человека, и все сдвинулось со своих мест...

Как жить человеку дальше: уйти в революцию и сделать ее своим призванием, дышать ею, носить ее в себе, сделать ее сердцем своим или возвратиться в бестрепетные заводи природы? Как жить человеку дальше?..

Пресса сообщила, что Робинс благополучно достиг американских берегов и хочет видеть Вильсона. Для Робинса наступили дни ожидания. Вот сейчас все его думы о президенте («Сын пресвитерианского священника, профессор, автор книг об Америке»), все думы о Вильсоне обретут истинный смысл.

Первый удар: «Президент отказался принять Робинса». Второй: «Робинс держит ответ перед сенатской комиссией». Третий: «По молчаливому знаку газеты начали кампанию против Робинса».

А потом от здания, которое так воодушевленно сооружал Робинс в своих мечтах о президенте, не осталось и руин: по приказу Вильсона Америка начала интервенцию против России...

Облака плывут над Кремлем, ярко-белые, перистые, напоенные солнцем. Плывут облака над Москвой, и по торцовым кремлевским мостовым движутся озера солнца. Ленин стоит с Рэнсомом у окна и смотрит, как солнечное озерцо движется по земле, точно теплой волной ударяясь о белые стены. Если подняться повыше, то можно увидеть, как дымная солнечная волна, накатываясь, укрыла темно-красный кирпич кремлевской стены, непрочное золото куполов, деревья, каменные лестницы, мостовые.

Ленин вспомнил Лондон, шумное собрание. Шоу на трибуне.

— Нет, Шоу не клоун! Нет!.. Может быть, он и клоун в буржуазном государстве, но в революции его не сочли бы клоуном... Кстати,— Ленин переводит взгляд на Рэнсома,— вы полагаете, что, если бы вы согласились сказать правду о России, вам бы это разрешили в Англии?.. Разрешили, да? — Ленин делает паузу.— А как же Робинс?..

Вот Ленин и назвал имя американца. Теперь его собеседник может сказать о нем все, что ему так хочется сказать.

Рэнсом задумывается.

— Знаете, что сказал Раймонд Робинс о России перед отъездом в Америку? — Англичанин рад этой возможности, ему приятно вспомнить друга.— Робинс сказал: «Да поймите, Рэнсом, что я не могу враждебно относиться к младенцу, у колыбели которого я провел, бодрствуя, шесть месяцев».

Ленин останавливается у дальней стены, смотрит на карту. В его взгляде задумчивость, мечтательная задумчивость. Точно окинул взором бескрайную даль степи или моря и утолил жадность глаз, а может, и сердца к высокому небу, к солнцу. Нет ничего радостнее для человека, как сознание того, что тот, в кого он уверовал, до конца остался человеком.

— Ну что ж,— говорит Ленин, и неизбывным теплом лучатся его глаза,— Робинс — честный человек и более дальновидный политик, чем многие. А насчет... младенца — хорошо!..

Ленин смеется. В этом смехе и его душевное здоровье, и чудесное настроение. Ах, какое счастье верить в человека и не ошибиться в этой вере! Ленин смеется долго и, успокоившись, говорит негромко:

— Младенец... Да, у колыбели этого младенца были еще миллионы других, не смыкавших глаз... Миллионы...

В этот день Рэнсом занес в свой дневник:

«Больше чем когда-либо раньше Ленин произвел на меня впечатление счастливого человека. По пути домой из Кремля я пытался вызвать в памяти образ другого деятеля такого же масштаба, который обладал бы жизнерадостностью Ленина, но не смог. Этот невысокий человек с лицом, усеянным морщинками, который покачивается на стуле, заразительно смеясь то по одному, то по другому поводу, в то же время готов каждую минуту дать любому, кто попросит его об этом, серьезный совет, причем совет столь основательный и продуманный, что для приверженцев он звучит еще убедительнее, чем всякий приказ.

Каждая морщинка на его лице лучится смехом; это морщинка смеха, а не тревоги. Я думаю, это объясняется тем, что он первый великий руководитель, который полностью отрицает значение своей личности. Он абсолютно лишен какого бы то ни было личного тщеславия. Более того, он, как марксист, верит в движение масс, которые с ним или без него будут неуклонно двигаться вперед. Он безраздельно верит в те стихийные силы, которые поднимают и ведут массы, а его вера в самого себя — это не что иное, как вера в свое умение правильно оценить направление этих сил. Он не верит, что один человек в силах совершить или остановить революцию... поэтому он испытывает такое всеобъемлющее чувство свободы, какое прежде не приходилось испытывать ни одному великому человеку».

А как Робинс, что было с ним? Он остался верен нашей дружбе, на всю жизнь верен.

В тридцатых годах Робинс вновь посетил Россию. Направляясь в Кремль, он предъявил мандат, выданный ему Лениным. Он заявил тогда, что улучшение советско-

американских отношений считает делом жизни. Речь шла о признании Советской страны Америкой.

Робинс дождался своего времени. Все, что он не смог сообщить Вильсону, он сказал Франклину Рузвельту. Он был одним из тех, кто использовал свой престиж, чтобы добиться признания.

Есть такая традиция, освященная устойчивым светом времени: в память о друге человек сажает дерево, многолетнее дерево, которому жить столетия,— дуб, кедр.

Человек точно хочет продлить жизнь друга: «Расти, дерево, шуми звонколистой кроной, и пусть под твоей густой тенью находят отдых люди! Расти, дерево, и пусть шум твоих обильных листьев, то сурово-грозный, то могуче-величавый, то воинственно-гремящий, напоминает людям о далекой стране по ту сторону большого моря и ее великом сыне, чья мудрая вера и воля всегда, пока есть рабство на земле, будут звать людей к борьбе за свободу... Расти, дерево...»

Во Флориде есть «дерево Ленина».

Его посадил Раймонд Робинс, американец, которого Ленин сделал другом Советской России.

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ

Машина прошла мимо нас, и след ее шин отпечатался на влажном снегу.

– Кто-то в машине третий,— сказал Робинс, когда автомобиль был уже за воротами Смольного.— Кроме мистера Ленина и его жены... В шапке нерусского покроя...

— Даже в шапке нерусского покроя,— усмехнулся Вильямс и взглянул на меня, точно искал сочувствия тому, что намеревался сказать.— Эти американские буржуа! И здесь им видятся зловещие тени!

Ну конечно же, мои американские друзья благополучно пошли по новому кругу. Я даже знал, как будет продолжен спор. Робинс скажет, что профессия журналиста предполагает умение видеть, журналист — единственный человек, который стоит между событием и читателем, он очевидец, а это значит, что глаза всегда должны быть при нем. В ответ Вильямс заметит, что до Робинса нечто подобное заявил Теодор Рузвельт, когда хотел скомпрометировать свободную прессу. Все это будет произнесено с добродушием и добрым юмором, какой всегда присутствует в их беседах, хотя не следует переоценивать ни добродушия, ни юмора: то, что они хотят сказать друг другу, они скажут. Так было и прежде: когда в доброжелательном, но упорном единоборстве они отстаивали свои принципы, я мысленно переносился на землю Америки. Нет, они вели спор не только от своего имени — за каждым из них стояла Америка, своя Америка.

— Если в шапке нерусского покроя, то это Платтен,— сказал Вильямс.

— Платтен? Но у нас в Америке говорят,— заметил Робинс, помолчав: — «За новогодним столом не сидят чужие...»

— У нас в Америке еще говорят: «Нет чужих среди людей...» — улыбнулся Вильямс.— К тому же Платтен Ленину не чужой. Не каждый решится пойти с тобой опасности навстречу.

Да, Вильямс так и сказал: «Опасности навстречу», — а Робинс внимательно и тихо посмотрел на него.

— Погодите, погодите...—произнес он едва слышно.— А не тот ли это Платтен, не тот ли это швейцарец Платтен, что после Февраля?..

— Тот.

Мы долго шли вдоль дороги — автомобиль ожидал нас где-то на Леонтьевской,— шли молча.

— Сейчас я вспомнил,— сказал Робинс.— Платтен начинал свою жизнь в России и, кажется, говорит по-русски...

— Хорошо говорит,— подтвердил я.

— А вы знаете Платтена? — спросил меня Робинс.

— Да, немного.

— Что он за человек? Расскажите.

Наш путь лежал на Арсенальную набережную—здесь на рабочем балу выборжцев Ленин встречал Новый, 1918 год.

Всю дорогу я говорил о Платтене...

Итак, Платтен. Фриц Платтен. Это был человек лет тридцати трех — тридцати пяти. Казалось, облик этого человека как-то своеобразно воспринял строгую прелесть Швейцарии, ее долин и снеговых кряжей. Человек был и строен, и красив. Мне трудно сказать, когда познакомился с ним Ленин, но в Циммервальде они уже знали друг друга. Я бы не назвал Платтена единомышленником Ленина в те годы или, тем более, другом. Его движение к большевикам было хотя и неуклонным, но достаточно медленным. В сочинениях Ленина, как узнал я позже, есть страницы, где Владимир Ильич критиковал Платтена, подчас сурово, как, впрочем, есть страницы — и не одна,— где он поощрял Платтена в его действиях и даже защищал. Когда грянул русский Февраль и возник вопрос о поездке Ленина в Россию, среди швейцарцев было не много охотников, кто взял бы на себя ответственность за эту поездку. Платтен не просто дал согласие, он был волонтером... Но я, кажется, поспешил и обогнал самого себя. Все, что произошло тогда, я узнал непосредственно от Платтена, и об этом стоит рассказать особо.

Я познакомился с Платтеном вскоре после его нынешнего приезда в Россию. Только что были расшифрованы первые тайные договоры царского правительства, и возник вопрос об их переводе на языки. Я переводил на английский, Платтен помог уточнить немецкий текст. Однажды мы засиделись до утра и возвращались домой вместе.

Невский чем-то напоминал Неву, вдоль которой мы только что прошли. И, как на Неве, берега-тротуары были неколебимо прямы. Ветер свивал здесь снежные вихри, однако гнал их не от берега к берегу, а по течению — в этот поздний час Невский был пустынен.

— Я заметил,— сказал Платтен,— природа не очень торжественно обставляет события, которые ты ждешь всю жизнь. Швейцария, Цюрих, март 1917 года... День был пасмурный, с серой водой и небом. Ленин уже пообедал и готовился идти в библиотеку. Кажется, он взял тетрадь и, развернув, обнаружил, что исписал ее еще утром. «Надя, дай мне чистую тетрадку...» В эту минуту он увидел, как через двор, направляясь к их двери, бежит поляк Бронский, именно бежит, заплетаясь в полах шинели. Ленин устремился к двери, распахнул. Бронский стоял уже на пороге бледнее смерти,— он бежал сюда через весь город. «Пал царь,— сказал Бронский,— в России революция!» Вот и судите сами, умеет ли природа торжественно обставлять события, которые человек ждет всю жизнь... «Надя, убери чистую тетрадку,— произнес Ленин, помедлив; эти слова ему были нужны, чтобы как-то разобраться в том большом, что произошло.— Убери тетрадку,— произнес он медленно,— и идем к озеру... там газеты!» Потом не шли, нет, бежали к озеру — под навесом на щите последние цюрихские газеты. К щитам не пробиться. Никогда здесь не было так много народу. Ленин приподнимался на цыпочки, чтобы хоть одним глазом дотянуться до газетной строки: «Петроград. Царь Николай отрекся от престола...» А когда отошли от берега, остановились: там, у самой воды, стояла еще толпа, небольшая и такая тесная, что издали была похожа на уступ камня. Но камень пел, пел по-русски: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Да, то были русские, стайка гонимых, те, кто знал Шлиссельбург и Петропавловку, кто гремел кандалами по Владимирскому тракту, обогре-

вал дыханием камни Алексеевского равелина. Ленин устремился туда, запел радостно и воодушевленно-тревожно: «Вы отдали все, что могли, для него...» А потом из России пришла телеграмма ЦК: «Ульянов должен приехать немедленно...»

Минуту ничего не видно — та сторона улицы размылась и пропала в белой мгле. Потом снег поредел, из белой мглы проступили темные глыбы построек. Снега уже нет, и улица, казалось, открылась из края в край. Только небо в дымах, сизых, тревожных.

— Я хорошо помню: вначале в Россию хотели выехать сотни русских, но, как только выяснилось, что возможен проезд лишь через Германию, их число уменьшилось до нескольких десятков,— все было непросто. Помню один разговор с Лениным в эти дни. Нет, это было не в Цюрихе, а в Берне. Март, молодая листва еще не набралась сил и на солнце казалась бледно-зеленой. Однако солнце уже яркое, белое в полдень. В ресторане окна открыты настежь, и запахи солнца заполнили дом. Ленин сидит за крайним столиком справа. Он давно поел, допит традиционный кофе — пустая чашка стоит посреди стола. Ленин наклонился над газетой. Видно, он уже пробежал ее от начала до конца — прочел телеграммы, которые все швейцарские газеты дают под одним аншлагом — «Революция в России», и сейчас читал комментарии. На какой-то миг он оторвал глаза от газеты и увидел меня. Увидел и, сложив газету и сунув ее в боковой карман пиджака, зашагал мне навстречу. «А нельзя ли нам уединиться, друг Платтен?»—произнес Ленин, и его глаза стали строгими. Я попросил его идти за мной. «Говорите... здесь можно»,— сказал я, когда мы, пройдя буфетный зал, а затем коридор, оказались в тихой и укромной комнате. «Вот что...— сказал Ленин и открыл окно. Старый конспиратор, он полагал, что шум улицы заглушит наши голоса, но был тот тихий полуденный час, когда затихает даже большой город.— Я прошу вас быть нашим доверенным в переговорах с немецким послом Ромбергом. Больше того: я прошу вас говорить с ним от моего имени... Кстати, мы были бы вам благодарны, если бы вы последовали через Германию с нами... При всех обстоятельствах между русскими и немцами нужен посредник. Если им будет гражданин нейтральной Швейцарии... Вы решились, товарищ Платтен?..» — спросил он. «А вы,

Владимир Ильич?» — «Я? — переспросил он.— Разумеется... товарищ Платтен».

Платтен остановился, пошел медленнее.

— Уже когда поезд тронулся,— продолжал Платтен,— Ленин вдруг спросил меня: «А вы не боитесь?» — «А чего мне бояться?» — «Как чего?..—переспросил он.— Ваши братья социалисты предадут вас анафеме... обвинят в том, что продались самому дьяволу...» Я улыбнулся: «А дьявол кто?» — «Немцы, разумеется». Я засмеялся: «Да и вас, наверно, обвинят в том же, Владимир Ильич».— «Каждый воюет как может... Пусть обвиняют — я готов...» А поезд уже шел по немецкой земле. «Островом в море огня мне видится иногда Швейцария...» — сказал я Ленину. «И чтобы уйти с него, надо шагнуть через огонь?» — спросил Ленин. «Да»,— заметил я. «Значит, надо шагнуть через огонь...» — сказал Ленин. Мне кажется, он знал в ту пору, что идет через огонь. Временное правительство только что заявило: каждый, кто осмелится пересечь Германию, будет обвинен в государственной измене. Да, очевидно, он шел через огонь...

Я закончил рассказ, когда наша машина уже была у Литейного моста.

— Через огонь? — взвил могучие брови Робинс и продолжил задумчиво: — Я верю, что это был риск, и риск немалый. Тот же Платтен... рисковал не только своим именем, но и жизнью. А если ты ставишь на карту жизнь, ты должен получить взамен что-то...

— Что именно? — спросил Вильямс.

Робинс забеспокоился:

— Вы это знаете не хуже меня, Альберт. В моих родных местах, во Флориде, где вода лежит на глубине ста футов, прежде чем спуститься в колодец и поскрести дно (это надо делать и к рождеству и к пасхе, иначе дно зарастет песком), человек хочет знать, что́ будет иметь за это... потому что на дне отслоился не только песок, но и дурной воздух. Что будем иметь за это! Вот это и есть американская вера. А русская?.. Легко сказать: через огонь! Если ты в своем уме, то, прежде чем броситься в огонь, должен дать себе отчет: что сулит тебе такая перспектива?

— Не в этом дело,— усмехнулся Вильямс.

— Но в чем? В чем все-таки? — настаивал Робинс.— Ленин возвращался на родину, он желал свободы своему народу. А Платтен... кого освобождал Платтен?

Вильямс не ответил. Казалось, он ждет своей минуты, чтобы сказать Робинсу все, что хотел сказать.

Мои друзья умолкли. Каждый пытался осмыслить по-своему все, что услышали они о Платтене. Это было тем более значительно для них, что еще этой ночью им предстояло увидеть и Платтена и Ленина.

Мы минули Николаевский вокзал и продолжали путь по Невскому. Робинс предполагал ненадолго остановиться на Невском, 28,— у него были дела в американском генеральном консульстве.

Видно, человека, который был нужен Робинсу, в консульстве не оказалось, и наш друг вернулся тотчас. Мы видели, как он проворно сбежал по ступеням парадного подъезда на тротуар и, очутившись на заснеженной мостовой, медленно пошел к машине.

— Хэлло, Робинс! — окликнул его баритон, низкий и гудящий.— Согласитесь, ничто в мире не может сравниться с русской зимой!

— Да, господин посол, ничто в мире...— смущенно отозвался Робинс и остановился, не зная, продолжать ему путь или подождать посла, который медленно выбирался сейчас из машины, остановившейся в стороне.

— Ничто в мире...— Посол сделал несколько шагов и оглянулся на машину, точно желая удостовериться, стоит ли она там или нет.— Ах, этот Новый русский год, как русский снег... Такой холодный!..— произнес посол и вновь посмотрел на машину,— он явно опасался, что она вдруг сорвется со своего места и устремится прочь, бросив его на произвол судьбы.— В наше тоскливое время почему не отпраздновать еще один Новый год?..— Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, образовав вокруг себя островок притоптанного снега.— На Фурштадтской сегодня весь дипломатический корпус... и русские гости, так сказать, вечер дружбы с русскими.— Он взглянул на Робинса: — Будет этот Кукорихин или Куковихин со своими сподвижниками. Все они депутаты, все решительно! — закончил речь посол.

— Учредительное собрание на Фурштадтской!..— вдруг произнес Вильямс, и тишина, первозданная тишина, какой никогда не было здесь с тех пор, как первые строители этого города вбили грубо заструганные сваи в мокрую землю приневских берегов, распростерлась над городом.

Посол онемел, он явно не знал, что ответить Вильямсу.

— Ну что ж! — произнес посол и бойко повернулся, точно желал показать, как безопасно и уютно он чувствует себя на своем островке.— Я еду к Куковнхину!.. А вы? — Посол был серьезен, игра плохо давалась ему.

— Мы? — Робинс смутился.— Куда едем мы? — Он был озадачен вопросом посла.— Мои друзья говорят: мы едем к Ленину.

— Ну что ж, пути доброго! — произнес посол, не без труда овладевая собой.— Не теряю надежды, что еще этой ночью вы будете на Фурштадтской! — добавил он и приветственно приподнял руку, желая показать выразительным этим жестом, в какой мере устойчиво его хорошее настроение.

Они разминулись, и посол исчез за тяжелой дверью консульства.

Робинс шел к машине в тревожном раздумье, взрывая грубыми башмаками снежный покров,— позади него далеко протянулась полоса рваного снега. Так выглядит след человека, бесконечно уставшего.

Робинс влез в машину и будто внес туда и тишину, что проволок с собой по рваному снегу, и усталость.

Мы приехали на Арсенальную уже после одиннадцати, но Ленина там еще не было. Только что кончился концерт, и начались танцы. В этом белом зале с окнами, выходящими на восток и запад, в зале, который видел и блеск мундиров и торжественное пристукивание шпор, этот рабочий вальс в канун восемнадцатого года прозвучал необычно... Я взглянул на Робинса. Его глаза были устремлены на паркет: валенки, сапоги на толстой коже, легкие туфли, подозрительно шумные — очевидно, деревянные шлеры (в конце семнадцатого они входили в моду), башмаки с обмотками, солдатские тускло-зеленые «коты» — сапоги с обрезанными голенищами (голенища пошли на вторую пару), еще раз валенки, шлеры, башмаки... Нет, белый зал Михайловского юнкерского училища (двенадцать окон на запад, двенадцать на восток) не видел такого вальса...

Но, едва набрав силы, оркестр запнулся, и тотчас по залу прошумели аплодисменты, вначале смущенно робкие, потом неожиданно горячие и единодушные. В левом углу сцены стоял Ленин. Он был в пальто, и капельки

только что стаявшего снега серебрили его воротник. Видно, он хотел войти в зал, не нарушая торжества, искал бокового входа и оказался на сцене.

— Вы попали сюда с Арсенальной? — крикнули Ленину из зала.

— Зачем ходить с Арсенальной, когда Симбирская рядом! — произнес он и засмеялся. Как устоять от соблазна лишний раз произнести: «Симбирская... Симбирская...»

То ли зал проник в смысл этих слов, то ли его привела в восторг сама возможность услышать голос Ленина — вспыхнули аплодисменты.

Ленин снял пальто и приблизился к рампе.

— Товарищи... дорогие товарищи выборжцы!..— Он произнес «выборжцы» с характерным «р».— Поздравляю вас с Новым годом!

Он говорил, и земля, русская земля, огромная и такая неустроенная в эту новогоднюю ночь восемнадцатого года, будто поворачивалась перед ним со всеми своими бедами и невзгодами... Глубоким окопом, что перехватил степь, точно сабельный рубец лицо, шли солдаты, шли почти в рост, как не ходили с начала войны... Стоял завод с черными глазницами окон, диковинно большой и мертвый,— как он держался на ногах с остановившимся сердцем?.. Старик шел несжатым полем, черным и полегшим, останавливался и долго смотрел вокруг, и глаза его, словно бочаги воды, были полны горя... Ленин говорил о том, как тяжел был год минувший и как нелегко придется в год грядущий. Но он убеждал рабочих не падать духом, теснее сплотить ряды...

— Да здравствует пролетариат Питера! — воскликнул Ленин, заканчивая речь.— Да здравствуют выборжцы!

Оркестр грянул «Интернационал».

Его лицо, только что такое радушное, стало торжественным. Строгим.

Начались танцы. Девушка в ярко-зеленой блузе, с косынкой, повязанной вокруг шеи, подбежала к Ленину.

— Владимир Ильич... вальс!..

Ленин смущенно поднес руки к груди:

— С удовольствием, барышня, но, право, я...— Он оглянулся вокруг, точно желая найти себе замену.— Сейчас мы вам найдем кавалера...

Он подвел девушку к капельмейстеру и движением глаз дал понять ему, что единственная надежда на него.

Капельмейстер положил на пюпитр свою палочку (оркестр продолжал играть без него), протянул девушке руки — торжественно и плавно они пошли в вальсе.

Ленин долго следил за ними, пока они не скрылись в толпе танцующих.

Пока под мерные вздохи десяти труб молодые люди кружились в вальсе, гостей пригласили к столу.

— А у вас изобилие! — заметил Ленин, оглядывая стол.

— А это мы от солдатского пайка,— сказала девушка, стоявшая рядом, и оглядела стол.

Граненый стакан с капелькой вина (чуть повыше донышка), правильный кружок колбасы, кольцо репчатого лука, кусочек селедки, пластинка сыра, тонкая, просвечивающаяся, черный сухарь (я знаю: сухарь с красным вином — это очень здорово).

— Значит, из солдатского пайка? — переспросил Ленин.

— Завтра уходим, Владимир Ильич...

Ленин задумался.

— Завтра?

— Вечером у нас митинг в Михайловском манеже... Нам сказывали: там будете и вы...

Ленин встал.

— Да, я обещал Подвойскому... Буду...

Мы прошли вдоль окон, стараясь не мешать танцующим, и приблизились к сцене. Там, у самой рампы, Ленин беседовал с Платтеном. Ленин говорил, поглядывая на сцену, а Платтен стоял, не в силах поднять глаза, и в его фигуре, чуть напряженной, были и симпатичная неловкость, и радушие, и согласие. И, признаюсь, мне казалось удивительным, что эти люди стояли сейчас передо мной рядом, как, очевидно, стояли рядом где-нибудь в укромной комнате бернской гостиницы, когда впервые заговорили о проезде через Германию, а потом у окна вагона, когда поезд пересекал немецкую землю, и еще позже в пограничном финском городке Торнео — Временное правительство не пустило Платтена в Россию.

— Вы сказали: через огонь...— тихо, но как-то очень внятно произнес Робинс. Видно, он был упорным полемистом, удерживал в памяти все, что было произнесено по

поводу Ленина и Платтена, и мысленно продолжал спорить с Вильямсом.

— Видите ли, полковник,— Вильямс не сводил глаз с Ленина и его собеседника,— пока мы скребли колодцы во Флориде, эти люди создали свое понимание идеала... когда американец с радостью жертвует жизнью ради блага русского, а испанец идет на смерть во имя жизни серба...

— Все это слишком красиво, чтобы быть правдой! — воскликнул Робинс.— В жизни все и проще и жестче...

— Да, в жизни, в жизни...— заметил задумчиво Вильямс.

Мы покинули вечер выборжцев уже во втором часу.

— На Фурштадтскую! — сказал Робинс шоферу, когда мы сели в машину.

— Вы хотите воспользоваться приглашением посла? — спросил Вильямс. Машина еще не набрала скорость, и он мог говорить, не делая усилий.

— Нет, зачем же? Но проехать по Фурштадтской стоит...

— Ну что ж... На Фурштадтскую так на Фурштадтскую!..

Было тихо и ясно. Когда мы ехали сюда, мне казалось, что все растушевалось в петербургской мгле, все утратило свои очертания — линия набережной, грани невских мостов, ломаные и прямые линии прибрежных особняков. Но вот снег перестал идти, и все обрело твердость — белый бордюр оттенил линии камня, вернул ему прежние грани. Вместе с новым снегом в городе прибыло и свежести и света.

Машина вошла в Фурштадтскую, и шофер убавил скорость.

Глянул красный уступ елисеевского дома, мрачного, без огней, и напротив него освещенные окна посольского особняка.

Машина остановилась, и Робинс, вздыхая и покряхтывая, выбрался из нее и пошел к парадной двери.

Большие, цельного стекла окна не могли удержать мощных вздохов духового оркестра, которыми вздувало и пучило особняк. (Посол Френсис убежден: духовая музыка — русская музыка.) Матово-белый плафон особняка застилали тени танцующих. То ли зал был подсвечен снизу, то ли был выключен верхний свет и зал освещали

тихо тлеющие бра, но тени накатывались на потолок, точно морская волна в пору прилива.

Но вот зеленый сумрак в окнах посольского особняка погас и вспыхнул фиолетовый сумрак, потом бледно-розовый, потом синий. И снег перед особняком становился зеленым, розовым, синим. И не только снег, но и камни елисеевского дома.

Иногда казалось, что посольский особняк улыбается дому напротив, больше того, кротко подмигивает ему. Но дом был непроницаемо мрачен.

Робинс вернулся, и машина продолжала свой путь.

— Кто гости... русские? — спросил Вильямс.

— Да, почти все...

— Но кто они — депутаты собрания?..— Последние два слова он произнес по-русски.

— Да, депутаты Учредительного собрания,— ответил Робинс по-русски.

— Что так?

— Пятое января не за горами,— ответил Робинс, помолчав.

А до 5 января (день первопрестольный — открытие Учредительного собрания) действительно рукой подать. С тех пор как совершился Октябрь, и на Фурштадтской, и на Морской, и на Французской набережной (не надо торить троп между посольскими особняками союзников) не было более обещающей даты, чем эта. Если и суждено совершиться чему-то значительному, то это произойдет 5 января.

Может, поэтому так людно сегодня на Фурштадтской и русский Новый год, которого нет ни в одном американском календаре, вдруг отмечается с щедростью и размахом, какого не знал здесь даже праздник американской независимости.

В машине тихо, и каждый из нас, как может, переносится в своих мыслях в особняк на Фурштадтской.

Серо-стальной мрамор лестницы, укрытой ворсистой дорожкой (в глубокий ворс, как в траву, каблук приятно вминается), торжественное свечение драеной бронзы, зеленая матовость ломберных столов, белые, в фиолетовых прожилках сгариковские руки.

— Карты любят счет... Моя игра. Вы, очевидно, пас?..

Круглый журнальный столик в гостиной точно опушен бородами — шесть человек, шесть солидных депу-

татских бород: белый клинышек, округлый веник, ухватистый «лемешок», белая «лопата» (такой гребут снег и зерно), плоский «совок», удлинивший подбородок и сделавший его квадратным, и «ложка», разумеется деревянная. Шесть бород, шесть депутатских персон.

У Вильяма Френсиса нет бороды, больше того, его тщательно выскобленные и обильно припудренные щеки соперничают с белизной крахмального воротничка, каменно-твердого, негнущегося, точно специально созданного для того, чтобы подпереть дряблую шею посла и не дать его голове свалиться набок.

У Вилли Френсиса нет бороды, но в зыбкой мгле депутатских бород ему дышится легко.

— А не допускаете ли вы такой возможности,— произносит Френсис и пододвигает руку, непривычно покорную, к середине стола,— делегатов приглашают в Таврический дворец и просят утвердить декреты Советской власти... Прежде всего — Декрет о земле...

Кажется, что по бородам прошел ветер — они грозно вздыбились.

— Но ведь это же экстремизм!..

Рука посла, лежащая на столе, приходит в движение — пальцы вздрогнули. Они вот-вот застучат по столу.

— Но, как свидетельствует октябрьский случай, экстремизм... опасно недооценивать...

Бороды недвижимы, они замерли в своей печали.

— Очевидно, есть одно средство,— хмуро гудит «лопата».

— Какое? — нетерпеливо вздрагивает «лемешок».

— Экстремизм...— шуршит пересохшими ветками «веник».

Бороды торжественно вздыблены, и желтое петроградское электричество, как может, золотит их.

Посол встает и едва заметным движением головы, почтительным и нетерпеливо-просительным, приглашает гостей в банкетный зал.

Посол идет медленно, и шесть бород берегут его драгоценное молчание и не менее драгоценное поскрипывание его штиблет.

Кажется, что крахмальные скатерти озарены золотыми нимбами, так они белоснежны, так они чисты. Правильный квадрат стола в дальнем конце зала, куда имеет обыкновение уединяться с особо желанными гостями по-

сол, накрыт так щедро и изысканно, что возникает желание накрыть это добро стеклянным колпаком и выставить на всеобщее обозрение. Нет, это не картон, не папье-маше, не муляж — это все настоящее, доподлинное, с естественной маслянистостью, ароматом, способностью хрупко колоться, течь, рассыпаться: апельсины, консервированная ветчина, солнечные ломти сыра, кетовая икра, обесцвеченная лимоном и приобретшая золотистый отсвет, колбаса, нежно-розовая, приятно-жирная, шпроты, обильно залитые маслом, севрюга и самое диковинное, непередаваемо-фантастическое — хлеб, белый хлеб, с чуть подпаленной краюшкой; казалось, что представление о нем утратилось еще в том веке, да существовал ли он когда-нибудь, этот хлеб?..

— Вы сказали: есть одно средство? — спрашивает посол.

— Экстремизм, господин амбассадор...— скрипуче повторяет «веник».

Необычно встречается русский Новый год в американском посольстве на Фурштадтской.

Вечером следующего дня я увидел у подъезда Смольного машину Владимира Ильича. Подошла девушка-телеграфистка и ощупала чуткой ладонью смотровое окно. Смольный покинул человек с кожаной сумкой нарочного и, дотянувшись кончиками пальцев до смотрового стекла, отнял руку. Явились солдаты (они несли караул в правом крыле Смольного). Руки медленно двигались по стеклу, точно желая прощупать его твердь. «Четыре выстрела один за другим!..» — «Ленин был в машине?» — «Как всегда на заднем сиденье...» — «Однако смерть была рядом...»

Автомобиль, стоявший у подъезда, пришел в Смольный час назад. Ленин выступал на митинге в Михайловском манеже, да, на том самом митинге, о котором шла речь вчера ночью на встрече Нового года. Машина отошла от манежа и направилась к мосту через Фонтанку— это был самый простой и короткий путь. Видно, стрелявший был на митинге. Ему нетрудно добежать до моста раньше, чем там будет автомобиль Ленина. Взбираясь на мост, машина должна замедлить ход, к тому же туман... Четыре выстрела в упор, четыре пробоины в обшивке автомобиля и в смотровом стекле. Ленин спасся чудом. Чудом ли?..

Был десятый час вечера, когда на парадной лестнице Смольного я увидел Робинса.

— Я узнал об этом в городе,— произнес Робинс, указывая взглядом в сторону подъезда, у которого стоял автомобиль Ленина.— Говорят, что четыре пули почти исключали промах.

— Да, к счастью, все обошлось,— произнес я.

— При чем здесь счастье, когда дело в конкретном человеке? — поднял на меня удивленные глаза Робинс.— Говорят, что он отвел голову Ленина, при этом пуля обожгла ему руку... Но кто он? Ленин приехал в манеж с сестрой Марией. Это была она?

— Нет, хотя она и была в автомобиле вместе с Лениным.

— Тогда, быть может, Подвойский?.. Он открывал митинг, он военный человек...

— Нет, это не он... Впрочем, его в машине не было.

— Тогда шофер? Он-то был в машине?

— Да, разумеется, был, но был еще и четвертый.

— Кто?

Робинс досадовал, почему я медлю с ответом.

— Это был Платтен,— сказал я.— Тот самый Платтен, сын маленькой Швейцарии, который уже однажды ценой жизни...

— Шагнул через огонь?

— Через огонь.

(Я не видел больше Робинса и Вильямса вместе, а следовательно, не знал, чем закончился их спор, но встреча их была, и разговор имел место, при этом было произнесено несколько слов, которые и решили спор. Что это были за слова?.. Возможно, Вильямс сказал, что в мире родилась и торжествует новая вера, большая вера коммунизма, когда американец идет на смерть ради испанца, а сын маленькой Швейцарии готов пожертвовать жизнью ради русского.)

Мы поднялись на третий этаж — там в правом крыле был кабинет Ленина.

— Такой день,— произнес Робинс смущенно,— а мы с делом.— Он указал взглядом на папку, которую держал в руках.— Удобно ли?..

— Если Ленин не примет...

Мне хотелось сказать: «Если не примет, то вы поймете: день нелегко сложился...», но Робинс прервал меня:

— Я понимаю... Я все понимаю...

Мы пошли тише, хотя время близилось к урочной минуте.

— По-моему, я вижу мистера Ленина...— произнес Робинс.

Я всмотрелся в неясный полусвет коридора — да, это Ленин. Он шел медленно, стараясь приспособиться к шагу своего спутника, которому, как мне показалось, идти было нелегко.

Не сговариваясь, мы с Робинсом замедлили шаг — не хотелось вторгаться в беседу идущих впереди. Впрочем, Владимир Ильич и его спутник достигли бокового коридора и скрылись в нем — кабинет Ленина был там.

Мы готовились уже свернуть в боковой коридор, но едва не столкнулись с Владимиром Ильичем и его спутником,— видимо, достигнув поворота, они остановились, чтобы закончить беседу.

— О, мистер Робинс! — воскликнул Ленин воодушевленно (я заметил: голос его был свободен от невзгод минувшего дня).— Вы не знакомы? — Он поднял глаза на своего спутника.

Только сейчас я увидел: то был Платтен. Приветствуя Робинса, он склонил голову.

— Вот я говорю товарищу Платтену,— обратился Ленин к Робинсу, будто желая заручиться его поддержкой и решить спор,— если бы Пуанкаре не держал деловых людей за руки,— Ленин энергично сжал запястье своей левой руки,— то никакая сила не уберегла бы их от торговли с нами...— Ленин взглянул на меня.— Дмитрий Дмитриевич, так и переведите: «Никакая сила».

— А что ответил господин Платтен?..— спросил Робинс и внимательно посмотрел на спутника Ленина.

— Он полагает...— заметил Ленин и запнулся.— Впрочем, почему я должен цитировать вас в вашем присутствии? — засмеялся он, засмеялся так, точно хотел и подзадорить чуть-чуть Платтена и, быть может, немного воодушевить.— Итак, что полагаете вы?..

Платтен улыбнулся — воинственность Владимира Ильича была ему по душе.

— Мы говорили о торговой дипломатии,— смущенно заметил Платтен и улыбнулся вновь: возможность изложить свои мысли перед столь своеобразной аудиторией окончательно лишила его смелости.

— Погодите, а почему мы должны беседовать на эту тему в первозданном мраке, словно заговорщики? Кажется, Горчаков сказал: «Благородные цели не требуют тайных средств». Кстати, и вы,— обратился он к Платтену.— Закончите с Подвойским — заходите. Имейте в виду, что мы одинаково заинтересованы с мистером Робинсом в ваших идеях торговой дипломатии... Верно, мистер Робинс?..

— Да, интересно,— произнес Робинс.

Платтен все так же учтиво склонил голову.

Мы вошли в кабинет Ленина. После полутьмы смольнинских коридоров желтое свечение лампочки, которой был освещен кабинет Владимира Ильича, показалось ослепительным.

Ленин предложил гостям сесть.

— А вы, Дмитрий Дмитриевич, рядом со мной, да поближе, поближе!..

Он любил, когда я сидел между ним и человеком, с которым он беседует. Его беседа, как всегда стремительная, построенная на репликах, лаконичных и действенных, требовала внимания, столь неослабного и зоркого, что вряд ли за нею можно было уследить, если ты не находишься с ним рядом. Я взял стул и сел рядом с Лениным. Только сейчас я заметил: кожу его лица, обычно золотисто-белую, точно обволок пепел — слишком ненастным был для него этот день.

Робинс привстал:

— Этой карте не угрожает перспектива быть военной?

Ленин поднял глаза — ему нелегко было оторвать их от просторного листа бумаги, лежащего на столе.

— Я — человек прямой, колонел Робинс,— произнес он и остановился. Радушному «друг Робинс» он предпочел более строгое — «колонел».

— До сих пор не лишали меня этого достоинства и вы,— заметил американец.

— Тем более наша беседа имеет шансы быть искренней,— произнес Ленин.

— Иначе в ней нет смысла.

— Итак, вы полагаете, что с этих четырех выстрелов у моста через Фонтанку начался новый этап русской революции и название ему — гражданская война?

Робинс внимательно взглянул на Ленина.

— Я не хотел бы лишать вас качества, которое очень ценил в нашем президенте Линкольне... Он умел не обманываться относительно своих успехов.

— И первым предрек приход гражданской войны?

— Не только предрек, но и попытался предопределить ее исход...

— Ну что ж, я хочу воспользоваться привилегией искреннего разговора до конца... А не думаете ли вы, полковник... если Америка того не захочет, в России не будет гражданской войны?

Робинс потемнел в лице.

— Вы полагаете, что эти четыре выстрела...

— Я полагаю только то, что я сказал: если Америка не захочет, в России не будет гражданской войны...

— Тогда что из этого следует?

— Что следует? — переспросил Ленин и пододвинул карту.— То, что я хочу вам сказать сейчас, мне не просто сказать именно сегодня, но я скажу: Россия хочет добрых отношений с Америкой...

— Ваша позиция — торговля?

Ленин занял свое место за столом.

— Наша позиция? Вот она.— Он взглянул на карту, и в глазах его отразились и воинственная прямота, и строптивая непримиримость, и вызов.— Вот она — наша позиция! Вы полагаете, что я сейчас буду говорить о льне, пеньке, щетине и необработанных кожах — обо всем том, что извечно Россия гнала по своим санным путям, порожистым рекам и морям на запад? Разумеется, будут и лен, и конский волос, и копыта, как будут еще марганцевая руда, платина, нефть и меха! Будут!.. Но мне видится большее. Не о завтрашнем дне России, а о дне сегодняшнем думаю я, когда говорю о новых стальных путях Сибири и на нашем европейском севере, о новых гидроцентралях на Волхове и Свири, о водной дороге, короткой и действенной, из Сестрорецка в Петроград, об угле на Командорах и лесе в Южной Камчатке... Вот программа нашего технического комбатантства!

— Вы полагаете, что опыт и мысль американской техники могут участвовать во втором рождении России?

— Да, я полагаю, что любое участие Америки в индустриальном прогрессе России может нами приветствоваться, и на этой основе мы готовы все наши заказы адресовать Америке: генераторы и турбины, трубы и про-

вод, паровозы и станки... Да, Россия, социалистическая Россия, готова торговать и сотрудничать с самой могучей страной капитала: ничего предвзятого, только дело! У нас передышка короче короткой — день сегодняшний. Быть может, завтра заговорят орудия и начнется война. Мы должны это сказать друг другу: нет необходимости решать наш спор, скрестив рапиры...

— Вы полагаете, что пришло время сказать об этом прямо?

— Да, время не только пришло, но оно уже уходит... Сказать сегодня.

Он сказал: «Сегодня», хотя не знал и не мог знать, как это верно. Еще 27-й полк нес свою службу в Маниле (густо-синее небо и черные пальмы на белом песке) и сыпучие снега России даже не виделись солдатам во сне. Еще посольский лимузин носил Френсиса по Петербургу и знаменитая фраза «Антибольшевистский переворот назначен на сегодня...» не легла на бумагу. Еще флагманский крейсер «Бруклин» под штандартом командующего Азиатским флотом США шел через грохочущие холмы океана и Остин Ной был мрачнее моря: «Какой смысл было уходить из Владивостока, когда мы все равно туда вернемся?» Еще 8-я дивизия, расположенная в калифорнийском лагере Фремон (черные кактусы на белом песке), не получила приказа: «Выделить пятитысячный отряд для службы в Сибири». Еще Вильсон не предал гласности свои четырнадцать пунктов и тем более секретные комментарии к ним.

Все-таки это был необыкновенный день — 1 января 1918 года. День-остров. Выберись на него и оглянись вокруг. Позади огонь, впереди, быть может, тоже огонь. Все, что хочешь сказать, скажи сейчас, пока полая вода пламени не подобралась к твоим ногам.

Что сказать?..

Робинс стоит над картой.

— Я верю, что мы можем торговать.

— И я верю,— говорит Ленин.

— Америка и Россия могут сделать много доброго.

— Добрые слова гибнут, если они не заключены в железные пределы дела,— говорит Ленин.

— Как вы мыслите?

— Вот мой план,— замечает Ленин и смотрит на карту.

Они склоняются над картой...

Робинс уходит едва ли не в полночь.

Ленин идет вместе с Робинсом, распахивает дверь — у стены стоит Платтен, очевидно, он вернулся давно, но войти в кабинет не решился.

— Ну что же вы стоите там? — кричит Ленин Платтену.— Заходите! И вы, Дмитрий Дмитриевич... Вы давно вернулись, друг Платтен?

— Часа полтора, Владимир Ильич. А что?

— И все это время просидели в приемной?

— Нет, я был в коридоре...

Ленин не прошел, а пролетел комнату по диагонали, только башмаки гремят.

— Чего ради вы простояли в темном коридоре полтора часа, когда... мне ваше присутствие было необходимо здесь? Поймите: необходимо, и не по соображениям общечеловеческим или там... личным. Отнюдь!.. Вы нужны были мне из соображений... деловых!

Платтен обескуражен:

— Но, быть может, еще не поздно? Спрашивайте, если не поздно?

Ленин подошел к Платтену...

— Да, пожалуй, еще не поздно.— Он взглянул на забинтованную руку.— Жжет?

— Сейчас нет, прежде...

Ленин осторожно берет руку Платтена и переносит ее на свою ладонь.

— Мы марксисты, и не нам клясться на крови...— Его ладонь, удерживающая забинтованную руку, вздрагивает.— Не нам клясться, но гнев, что копился века, не растрачен, и силы наши готовы воспрять невиданно..

Ленин смотрит на Платтена с пристальной строгостью, точно хочет рассмотреть в нем нечто такое, что не рассмотрел прежде. Сейчас я вижу руку Платтена. Ни одна капелька крови не пробивается сквозь пористую ткань бинта.

Я вижу, как побледнел Платтен: кажется, что он сейчас вновь пережил все, что произошло у Симеоновского моста, и слово за словом повторяет вслед за Лениным:

— Силы наши воспрянут...

Я покидаю Смольный после полуночи. В кабинете Ленина свет погашен, но мне кажется, что он все еще стоит у окна, смотрит в ночь.

ДИПЛОМАТЫ

Повалил снег и быстро устлал землю. Смольненский собор блеснул куполами и погас. Река точно сузилась, потом отошла во мглу.

— Как встревожилась природа! — остановился Ленин.— Кажется, в Смольном зажгли свет... Вот и закончилась наша прогулка — надо возвращаться. Дипломаты в четыре?

— В четыре, Владимир Ильич.

— Время быть дома,— заметил он и прибавил шагу.— Значит, цель визита — казус с Диаманди?..

— Именно.

— Этот маршал Авереску верен себе, а? — тропка была узка, и я замедлил шаг; он шел сейчас впереди, я — чуть поотстав.— Авереску, Авереску...— произнес он, и фигура его почти исчезла в снежной мгле.

Быть может, он вспомнил седьмой год, восстание крестьян на степных просторах румынского Придунайя и жестокий артиллерийский смерч, несущийся от деревни к деревне. В ту пору европейские газеты много писали об Авереску — он первый применил скорострельную артиллерию против крестьян. И вот имя Авереску возникло вновь: румынский маршал решил интернировать русские войска, возвращающиеся на родину, а мы в ответ распространили ту же меру на представителей Румынии в Петрограде... Очевидно, визит дипломатов (первый визит к председателю Совета Народных Комиссаров) вызван этим событием.

— А какой довод выставят дипломаты в защиту Диаманди? — вдруг спросил Ленин, не убавляя шага.

— Очевидно, скажут, что нарушено право дипломатической неприкосновенности,— ответил я.

— Ну, этот довод легко опровержим: чтобы Диаманди мог опереться на это право, он должен его иметь.— Прищурившись, Ленин смотрел вперед, теперь зажженные окна Смольного были перед нами.— Ведь между нашими странами нет отношений, и положение Диаманди в Петрограде своеобразно...— Ленин задумался.— Однако говорить это дипломатам не следует...

— Сказать так, значит бросить вызов и остальным. В конце концов и их положение своеобразно.

— Прибережем этот довод на крайний случай,— быстро произнес Ленин.— На крайний.

Мы вошли в здание, и Ленин, обернувшись ко мне, улыбнулся:

— Погодите, весь дипломатический корпус так и явится к нам? Вот сплоченность! — воскликнул он и остановился. Он был строг.— А мне кажется: полное единодушие у них невозможно в силу их природы...— Ленин пошел быстро, как ходил только под открытым небом.— Подумайте, это задача для дипломата...

В четыре часа пополудни я встречал дипломатов у входа в Смольный. Кавалькада автомобилей, расцвеченная флажками двадцати государств, въехала в главные ворота и остановилась неподалеку от парадного крыльца. Дэвид Френсис, американский посол и старейшина дипломатического корпуса, был нетерпелив и даже в торжественных обстоятельствах открывал дверцу автомобиля сам. Но на этот раз он не торопился и выждал, пока его шофер, дюжий техасец, покинет место у руля, обогнет машину (у техасца было свое достоинство) и, не сгибая горделивого стана, возьмет дверцу на себя. Но и в этом случае посол не спешил. Из машины выдвинулся его штиблет, прикрытый ворсистой тканью гамаши. Потом посол осторожно нащупал ногой землю. Он стоял и смотрел по сторонам, как гусыня, поджидающая гусят. Первым к нему подобрался Жозеф Нуланс, посол прекрасной Франции в Петрограде. Его собранные в щепотку и подрумяненные морозцем щечки делали лицо и моложавым и безмятежным. Потом тропку проторил бразильский посланник Алквивиад Песанья, туманно-смуглая кожа которого недвусмысленно свидетельствовала об его индейско-испанском происхождении. Френсису изменило терпение, он махнул рукой и зашагал, но у самого парадного входа остановился. Прямо перед ним

стоял солдат в шинели и серой папахе. Да, не швейцар в ливрее, расшитой золотом, как на Дворцовой площади, 6, а солдат, в шинели и папахе. Френсис сгорбился и пошел вперед, остальные двинулись за ним. Чем-то невидимым этот солдат, стоящий на часах у Смольного, лишил посла прежней уверенности — посол минул часового и стал на голову ниже.

Дипломаты шли коридорами Смольного. Здесь была своя иерархия: впереди — американский посол, где-то посредине колонны — шведский посланник, генерал Эдуард Брендстрем, разумеется, без регалий, но сохранивший и выправку, и шаг. В этой штатской компании, неторопливо движущейся своей шелестящей иноходью по коридорам Смольного, генеральского шага как раз и не хватало. И завершающим — маленький сиамец Пра-Визан-Бачанакич, с круглыми глазами и меланхоличной улыбкой. И только быстроногий француз Жозеф Нуланс не хотел подчиняться никакой иерархии и поистине был неутомим. Он носился от американца к сиамцу и обратно, успев обронить по слову и греку, и бельгийцу, и итальянцу.

Дипломаты благополучно завершили свой марш по коридорам Смольного, пододвинули вперед американца и бесшумно втекли в приемную, а потом в кабинет Председателя Совнаркома.

Ленин вышел из-за стола, поклонился.

— Дуайен? — переспросил Ленин Френсиса, улыбнулся радушно, но, взглянув на дипломатов, которые с угрюмым любопытством наблюдали за ним, стал строг.— Очень приятно.

— Я бы хотел представить вам дипломатов,— произнес Френсис, глаза уперлись в Ленина.— Разрешите?

— Да, да, пожалуйста,— сказал Ленин, не выразив этим «пожалуйста» ни нетерпения, ни удовольствия: в конце концов он готов был принять и эту условность.

Френсис склонил голову.

— Граф де Буиссера Стеенбекеде-Бларениен.— Громоздкое это имя дуайен произнес с истинным изяществом.— Чрезвычайный посланник и полномочный министр Бельгии...

Церемония представления дипломатического корпуса началась. Ленин внимательно следил за происходящим.

О чем думал Ленин?

Через неделю будет два месяца, как свершился Октябрь. Ни одна страна не признала нового правительства России. Ни одна страна даже отдаленно не дала понять, что акт признания может иметь место. Все чаще Советскую Россию сравнивают с утесом в безбрежном море. Да, именно утес — каменная глыба, неколебимо мощная, но пока что единственная — кругом водяной простор, пустыня. И вот двадцать послов и посланников, все те, кто представлял разные страны земного шара, в том числе всю группу великих держав-союзников, явились к главе Советского правительства. Нет, здесь был иной мотив, более значительный, чем эпизод с Диаманди. Очевидно, посещение дипломатами Ленина было рассчитано на внешний мир и призвано было свидетельствовать, в какой мере непримиримы державы-союзники к Республике Советов. Непримиримы... Вильямс Френсис и Жозеф Нуланс — да только ли они? — явились сегодня сюда, чтобы взглянуть своему врагу в глаза, первый раз и, очевидно, последний... Взглянуть и сказать: «Мы едины в своей решимости...»

Да, церемония представления дипломатического корпуса началась. Маленький человечек, чья страна в силу железной логики дипломатического протокола открывала церемонию, не без труда протолкался вперед и пожал руку Ленину.

А Френсис точно похвалялся звонкими титулами:

— Граф де ла Виньяза, посол Испании... Маркиз Карлотти ди Рипарбелла, посол Италии; барон Свеерто де Ландас-Виборг, посланник Нидерландов; барон Ичино Мотоно, посол Японии.

Ленин был настроен иронически-доброжелательно. Все время, пока продолжалась эта более чем необычная для него церемония, лукавая смешинка горела в уголках его прищуренных глаз. Казалось, что-то неотвратимо-бедовое сорвется с его уст так, чтобы сразу обнажилась суть этого спектакля. Когда, завершая церемонию представления, японец протянул маленькую руку, Ленин оглядел смеющимися глазами присутствующих:

— Как расценивать ваше рукопожатие, господа? Как акт признания Советского правительства?..

Шутка имела успех, раздался смех. Против него никто не защищен — смеялись все. Но кто-то спохватился

первым и, закрыв глаза, полные веселых слез, открыл их, когда они были сухи.

— Да, да... признания... признания...— неопределенно повторил Нуланс, чтобы заполнить паузу. Ах, эта пауза — она должна быть достаточно продолжительной, чтобы разрушить весело-ироническое настроение, созданное фразой Ленина, обязательно разрушить, иначе заявление, которое собираются сделать дипломаты, потеряет смысл.

Френсис достает из бокового кармана сложенный вчетверо лист бумаги (надо сделать это неторопливо), укрепляет пенсне (укрепляет тщательно — и это имеет смысл), значительно откашливается (это дает пару драгоценных секунд) и начинает читать:

— «Мы, нижеподписавшиеся, главы дипломатических посольств и миссий всех стран, представленных в России...»

Френсис читает без воодушевления, как можно прочесть письмо, начинающееся столь официально. Короче, послы и посланники, глубоко оскорбленные арестом Диаманди, требуют его освобождения. Разумеется, при этом дипломатический корпус не преминул заявить, что фактом ареста нарушен сам принцип дипломатической неприкосновенности, признанный в течение веков, сам принцип.

Текст зачитан.

Дипломаты смотрят на Ленина.

Что скажет этот человек, самый загадочный из людей? Вознегодует, разведет руками или настороженно сосредоточится? Какая мысль клокочет в недрах его крутого лба, который он охватил сейчас усталой рукой?

В самом деле, о чем думает Ленин?

Быть может, он вдруг подумал о ситуации, совершенно необычной: где-то в европейской столице произошел казус с посланником, весьма вероятно даже с румынским, но не тем, кто представляет генерала Авереску, а с тем — нет, может быть такое совершенно необычное обстоятельство? — кого генерал Авереску расстреливал... Как тогда поведут себя дипломаты, явившиеся к Ленину? Отважатся ли они тогда на такой демарш?

Во взглядах людей, собравшихся здесь, и хмурое любопытство, и робкий укор, и вызов, и раздумье, и внимание.

— Как можно говорить о нарушении дипломатических норм,— Ленин отнял руку и взглянул Френсису в глаза,— когда речь идет об обстоятельствах, никакими трактатами и дипломатическими обрядностями (он так и сказал: обрядностями!) не предусмотренных?..

Казалось, за этой фразой Ленина будет следующая: ведь между нашими странами нет отношений, и Диаманди не может претендовать на право, которого он не имеет. Но Ленин хранит этот довод в резерве, этот главный довод.

Но и того, что сказал Ленин, было достаточно, чтобы краска залила лицо Жозефа Нуланса: он нетерпеливо дернулся и вскочил. Он поднял голову, и все, кто сидел здесь, к ужасу своему, увидели, что на шее посла вспух и судорожно запульсировал синий сосудик, еще мгновенье, и он лопнет, этот сосудик.

— Нет, не наше дело исследовать причины... Не наше! — воскликнул посол, и его рука осторожно прикрыла шею, на которой дергался и дрожал сосудик.— Мой коллега Диаманди должен быть освобожден без всяких условий...

Ленин выждал, пока Нуланс произнесет все, что он хотел произнести, выждал терпеливо.

— Я бы хотел, господин дуайен,— Ленин перевел взгляд на Френсиса, видно, у него не было большого желания смотреть в эту минуту на Нуланса,— чтобы теперь был зачитан наш документ...

В том, что Ленин обратился к Френсису, не было ничего необычного — в конце концов Френсис был старейшиной корпуса, но в том, как Ленин открыто игнорировал реплику Нуланса и строго, но миролюбиво обратился к Френсису, было очевидно: он достаточно уяснил себе, что Френсис занял пока нейтральную позицию и хотел эту позицию дуайена и сберечь и, быть может, укрепить...

Движением глаз, нет, не руки, а глаз, Ленин дал понять мне, чтобы я прочел телеграмму.

Я начал читать и, изредка отрывая глаза от телеграммы, посматривал на Ленина, только на него, и мне казалось, что гнев, которым была полна телеграмма, теперь сообщился ему. Видно, телеграмма, которую не раз он читал, в этой своеобразной аудитории прозвучала для него с новой силой.

...Где-то в равнинной Румынии, на ее придунайских просторах, покрытых обильными декабрьскими снегами, русские полки возвращались на родину. Они шли степными дорогами день и ночь — мажары, тачанки, походные кухни, артиллерия. Скорее, как можно скорее перейти Дунай — метели с неистовым ветром и морозами здесь начинаются в декабре. Лошади устали, да и люди выбились из сил — только тех, кто не может передвигаться, кладут на мажары. Но лошади не тянут. Бросить артиллерию? Нет, ни в коем случае, а как же тогда с людьми?.. Перейти Дунай до снегопада, перейти Дунай! Все запасы фуража, как запасы хлеба,— на учет. Фураж что хлеб — жизнь. По белой равнине на много верст протянулась русская армия: к Дунаю, в Россию. И вдруг из конца в конец заснеженной степи тревожная весть: прегражден путь, фураж отобран, силой разоружаются полки, Троицко-Сергиевский окружен и интернирован... Полки, все полки остановились. В Петроград, Ленину, пошла телеграмма: «Если арестованные не будут освобождены, мы готовы выступить и силою оружия освободить их...»

Ленин обводит молчаливым взглядом своих знатных гостей.

Гости заметно смущены таким поворотом дела: челюсти сомкнуты, подбородки недвижимо лежат на твердых и мягких воротничках, глаза уткнулись или в пол, или в потолок; пальцы с нанизанными перстнями сжаты. Молчат графы, маркизы, бароны...

И вновь всплескиваются маленькие ладони Жозефа Нуланса, и дипломаты с ужасом отводят глаза от его вздувшейся вены.

— Но произвол имеет место и в Петрограде! — восклицает французский посол почти патетически.— Не раньше как сегодня ночью солдаты ворвались в квартиру моего коллеги,— он смотрит на итальянского посла, который смущенно потупил взор,— такой славы итальянцу не надо,— и ограбили... винный погреб. Нет, нет, вы подтвердите, коллега...— требует Нуланс у итальянца — француз решительно не может остановиться.

Маркиз Карлотти ди Рипарбелла недоуменно смотрит на Нуланса, точно хочет сказать: «Вот как плохо, когда язык и ноги опережают голову...» Но Нуланс уже и сам понял, что обскакал самого себя.

— Но оставим солдат в винном погребе моего итальянского коллеги, пусть найдут они там то, что ищут! — великодушно восклицает он и даже пробует улыбаться...— Я хочу еще раз сказать: личность посла неприкосновенна...

Ленин встает — ему решительно антипатична истерическая манера речи Нуланса.

— А по-моему,— говорит Ленин, и в этот раз обращаясь не к Нулансу, а к Френсису, хотя видимых признаков того, что американский посол занимает другую позицию, чем его французский коллега, пока нет или почти нет, но Ленина это не смущает — у него есть своя линия беседы.— А по-моему,— повторяет Ленин, обращаясь к Френсису,— жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата... Для социалиста по крайней мере...

Нуланс втягивает шею. «...Жизнь тысяч солдат...» Французский посол не понимает такой постановки вопроса.

— ...Жизнь дороже спокойствия...— говорит Ленин.

Теперь Нуланс смотрит на своего итальянского коллегу, точно хочет найти у него защиту от Ленина, но итальянец мрачно пассивен — в нем еще не улеглась обида на французского посла. Разумеется, погреб есть в каждом большом доме, тем более в доме посла, как есть в этом доме, ну, предположим, постель, но зачем разбирать и перетряхивать ее в таком месте? Надо утратить чувство меры, чтобы в столь напряженном разговоре, когда речь идет о судьбе людей (здесь итальянский посол не может отвергнуть формулу русских), вдруг заговорить о винном погребе. Нуланс опускается в кресло и угрюмо смотрит в потолок; сильнее, чем прежде, на шее трепещет сосудик.

Я смотрю на Френсиса — очевидно, пришел черед говорить ему. Интересно, что он скажет? Кстати, и Ленин сурово сосредоточился. Очевидно, и ему любопытно, что скажет дуайен.

— Мы все-таки надеемся,— подает голос дуайен, его тон спокойно-доброжелателен,— что Диаманди будет освобожден...

Больше того, Френсис полагает, что освобождение Диаманди подкрепит справедливое доверие со стороны цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому прави-

тельству... он хочет думать, что Диаманди арестован ошибочно, но ошибка эта может отдалить столь желанный мир...

Кажется, Ленин выиграл бой и сохранил в резерве главный довод. Сейчас слово за ним, но он не торопится произнести его. Разумеется, реплику Френсиса не стоит переоценивать (он еще покажет себя, этот Френсис!). К тому же, в этой реплике есть нечто такое, что достойно отповеди («Арест Диаманди отдалит мир» — чепуха!), но, может быть, это не надо замечать, во всяком случае теперь. Очевидно, следует откликнуться на реплику Френсиса в той мере, в какой она доброжелательна, разумеется, внешне, но это уже вопрос особый.

— Я полагаю,— говорит Ленин,— что слово старейшины является словом всего дипломатического корпуса.

Ленин свел брови, кажется, даже полузакрыл глаза, точно захотел на миг заглянуть в самую глубь своего сознания. А положение у нас действительно архи... отчаянное, бесправное, точно говорит он. Вот терпят бедствие наши люди в румынской степи, и нет сил им помочь! Старый русский посланник в Бухаресте Поклевский отказался служить новой России и приказом Наркоминдела смещен. Советского посла в Бухаресте нет, и этот самый простой и естественный путь исключается. Румынский посол в Петрограде страшится иметь с нами дело в силу обычной логики — его правительство нас не признало. Обратиться к третьей стороне и просить защитить наши интересы в Бухаресте мы также не можем — нас не признают. Как в этих условиях изволите действовать?.. Конечно, арест дипломата не средство решения конфликта, но в данных обстоятельствах, быть может совершенно чрезвычайных,— средство протеста...

— Для нас это средство протеста,— говорит Ленин.

Нуланс неожиданно оживает, кажется, он уже отдохнул и прежние силы вернулись к нему.

— Мы не можем признать права протестовать таким образом...

Кто-то несмело его поддержал:

— Не можем!

И еще один голос:

— Нет!

И еще:

— Поймите, наконец...

Кажется, это сказал бельгиец. Сказал и оглянулся на американца.

— Поймите...

Но американский посол молчит, на всякий случай молчит. То ли он не согласен с категорическим суждением своего французского коллеги, то ли... осторожно резервирует свою позицию: как подсказывает ему опыт, дуайен не должен плестись в арьергарде, но и рваться вперед ему не резон. При всех обстоятельствах он должен сохранить возможность и отказаться от предложенной формулы и, чем черт не шутит, принять ее. Исключена ли такая возможность? Нет, в дипломатии, как в шахматной игре, самые зыбкие тропы — тореные...

А Ленин внимательно следит за баталией, которая вдруг разыгралась в его смольнинском кабинете. Старое правило действует и сейчас — самое опасное внушить себе, что тот мир монолитен. Даже тогда, когда он действует под знаком единства, попытка расколоть его небезнадежна... Нуланс и Френсис...

Прием закончен. Френсис подходит к Ленину и в почтительном поклоне склоняет голову.

— Значит... средство протеста?

Ленин смотрит на Френсиса: однако он не лучше своего французского коллеги, и кто знает, какие сюрпризы можно еще от него ожидать. Но сегодня его позиция, может быть, нам и более благоприятна.

— Средство протеста? — повторяет дуайен. Очевидно, Френсис акцентирует на этой формуле, чтобы иметь возможность вернуться к ней.

— Именно...— отвечает Ленин.

Жозеф Нуланс протягивает руку, не глядя в глаза.

Меланхолически улыбается сиамец.

Молодцевато прищелкивает каблуками шведский посол.

Мрачен маркиз Карлотти ди Рипарбелла — французский коллега безнадежно испортил итальянцу настроение.

Послы и посланники улыбаются. В их словах тоже улыбка, робко-почтительная, растерянная.

— Благодарю вас.

— Весьма признателен.

— Благодарю.

— Очень приятно.
— С почтением.

Действует инерция: произносятся слова, которые, казалось бы, не должны быть произнесены.

Сиамец обернулся к Ленину, меланхолически улыбнулся и бережно закрыл за собой дверь — он завершал шествие...

Дипломаты ушли.

Двумя часами позже раздался звонок из американского посольства.

— Примите, пожалуйста, телефонограмму.

Я не тороплюсь взять бумагу: телефонограмма от Френсиса, что это может значить?

Очевидно, вся кавалькада машин из Смольного проследовала на Фурштадскую (как, впрочем, я уверен, она и прибыла в Смольный оттуда), и в большой гостиной американского посольства, быть может, за чашкой кофе, дипломаты обсудили ситуацию вновь...

— Я вас слушаю.

В телефонной трубке и гудение прибоя и посвист ветра — обычные звуки, которыми полон нынче петроградский телефон, но, побеждая все звуки, явственно слышно, как тревожно дышит человек на том конце провода:

— Господину Ленину от посла.

Американский посол почти торжественно провозглашал, что если Диаманди будет освобожден, то он, Френсис, заявит протест против действий румынского командования и будет квалифицировать (на какой-то момент голос в трубке совсем источился и иссяк)... и будет квалифицировать арест румынского дипломата как протест со стороны русского правительства против недопустимого образа действий румынских властей...

— Простите, не были бы вы так любезны повторить?

Я слышу, как человек набрал в легкие воздуха и произнес раздельно:

— ...Как протест со стороны русского правительства против недопустимого образа действий румынских властей...

— Благодарю вас.

Я кладу трубку. Текст телефонограммы лежит передо мной. Сейчас я его перепишу и отнесу Ленину.

Нет, совет дипломатов на Фурштадской был определенно плодотворен.

Ленин занят, у него Совнарком, и я передаю телефонограмму через секретаря.

Поздно вечером мне сообщают: решено освободить Диаманди. Разумеется, учтено заверение дуайена. В постановлении Совнаркома так и сказано: «Принимая во внимание обещание Френсиса». Постановление категорически обусловлено: «В трехдневный срок русские солдаты должны быть освобождены».

Ленин приглашает меня к себе.

В его кабинете свет пригашен. Ленин стоит у окна. Сквозь стекла, которые едва тронула изморозь, видно, как валит снег.

В белом кругу настольной лампы лежит телефонограмма Френсиса. Видно, Ленин пододвинул ее в поле света только что. Прочел еще раз и отошел к окну.

— Как вам... телефонограмма американского посла? — спрашивает он.

Я стою сейчас у стола, и текст телефонограммы на белом блюдечке света виден мне.

— Как вам? — повторяет Ленин нетерпеливо, продолжая смотреть в окно. Я заметил: он любит наблюдать природу, когда она, как сейчас, и красива и могущественна.

— Мне кажется,— говорю я,— что Френсис признал... нашу правоту и косвенно не согласился с Нулансом...

Ленин внимательно смотрит на меня:

— Так, значит, они были там не так единодушны, как здесь?

— Даже наоборот, Владимир Ильич,— говорю я и не могу скрыть улыбки.

Ленин подходит ко мне.

— Вы помните наш разговор у Невы? — он указал на окно, на сыпучую мглу.— Чтобы действовать сплоченно, у них должна быть натура иной... Здесь немалые возможности для нас... Вдумайтесь: вот задача для дипломата...

Его взгляд по-прежнему был прикован к окну — картина снегопада увлекла его.

— Будет же такое время и, быть может, недалекое,— произнес он,— когда мы разрубим обруч, этот железный обруч, которым нас душат...— он умолк, стал и суров и печально задумчив.

ГЛАЗА

Случалось ли вам, обернувшись во тьму большого зала, вдруг увидеть глаза? То ли они светятся своим внутренним светом, то ли отразили неощутимый свет извне, но глаза горят и пронзают тьму. Вам даже кажется, что вы увидели цвет глаз — так силен этот огонь. Да, светло-серые, почти белые, полузастланные туманом. Какой огонь несут в себе эти глаза, какая искра накалилась в них: добра, благодатного и щедрого, или неприязни?

Многое в эту ночь произносилось по инерции:

— С Новым годом, с новым счастьем, господа!

Со счастьем? Новым?..

Чистый кружочек в наледи, застлавшей окно, отогревался нелегко: лед был толстым. На улице ветер и снег. Неудержимо мигает фонарь, точно ему на роду написано мигать и мигать. Ветер сорвал с рекламной тумбы плакат и стучит им, будто жестью. Из трех громовых слов на плакате остались только два, но смысл нерушим: «...власть — Советам!.. Советам!.. Советам!..»

— С Новым годом! С днем грядущим!..

Грядущим? Но что он готовит, этот грядущий день?

Он наступит здесь вместе с бледным рассветом почти в восемь. Каким будет он, этот день, открывающий новый год, и что он явит? Наверно, иные краски земли и неба, иные формы облаков, иное свечение... Каким он будет, этот день?..

День настал, и приход его был обставлен природой весьма обыденно. Петроградское небо было, как обычно в эту позднюю пору, невысоким, и краски были тусклые, серо-лиловые, под цвет осенней невской воды (Нева еще

не стала), под цвет неба и камня, под цвет Литейного и Невского.

Кстати, утром первого января на Невском было необычно пустынно. Я уже достиг Литейного, когда из-за угла вышла шумная ватага молодых людей. Да ватага ли это? Их всего трое: двое мужчин и женщина.

— Хэлло, товарищ Рибакоу! Приходите в манеж!..

Утро пасмурное, в неясной дымке тумана лиц не разглядеть, зато плечистая фигура Джона Рида, характерный наклон спины обнаруживаются безошибочно.

— Да, да, приходите в манеж! Там сегодня половина Петрограда.

— Что так?

— Ленин! Товарищ Ленин!..

Рид прибавил шагу и быстро перешел трамвайную линию. Женщина, идущая рядом, едва поспевала за ним, тоненькая, с муфтой из черно-коричневого скунса, с копной тяжелых волос, на которых едва держалась ее меховая шапка. А завершал шествие великан. Да, он был очень высок, этот человек в ушанке, и шел, спрятав руки в карманы, ссутулясь, смешно раскачиваясь, наклоняя голову в такт шагам. Что-то неуловимое (нет, не покрой пальто, не кашне), что-то действительно неуловимое выдавало в нем соотечественника Рида. Да не Вильямс ли это?

— Приходите в манеж!.. Ленин!..— крикнул Рид.

Но проникнуть в манеж оказалось делом нелегким. На подходах к манежу — толпы вооруженных рабочих, автомашины, броневики. В самом манеже негде яблоку упасть, дымят факелы, и черные тени движутся от стены к стене. Матросские бескозырки, серые папахи солдат, надвинутые на уши (здесь только ветра нет, а холод и сырость такие же, как на улице), картузы рабочих, мягкие кепи и котелки служилого люда, а над всем этим, как дым, штыки, лес штыков. Ну конечно же, сюда собрался вооруженный Питер, чьей волей и храбростью был совершен Октябрь.

— Ленин!

Грянули аплодисменты, и манеж точно раскололся. Да, я физически ощутил, как масса народа, заполнившая манеж, раздалась и неширокой стежкой, возникшей в толпе (так колется льдина и возникает полоска чистой воды), к трибуне направился Ленин. Он шел быстро,

приветственно подняв ладонь. Он дошел до броневика, стоящего в центре манежа (трибуной должен был служить этот броневик), и, обернувшись, внимательно оглядел зал. Нет, в облике людей, что пришли сюда в этот новогодний день, не было ничего праздничного — эта мысль не могла не встревожить его сознания. Ничего праздничного.

Только сейчас я увидел, что Ленин вошел в манеж не один. Подле стояла Мария Ульянова, сестра Ильича (я и прежде видел ее рядом с Лениным). Легко угадывался Николай Подвойский в кожаной куртке, полураспахнутой у воротника. Как ни старался я обнаружить Рида, его там не было, хотя спутник Рида (тот, рослый, в русской шапке-ушанке), с которым Рид перебегал трамвайные пути, направляясь в манеж, стоял у самого броневика. По-моему, то был Вильямс, Альберт Рис Вильямс, американский социалист, друг Рида. Митинг открыл Подвойский, открыл, чтобы первое слово предоставить Ленину.

Ленин без видимых усилий поднялся на крыло броневика, потом ступил на площадку, образуемую радиатором, перешел на крышу корпуса и появился на башне.

Зал загудел и стих. Ленин начал говорить.

Зал был огромен, но голос Ленина обнимал зал.

Он говорил о простых и прекрасных вещах: о нашем светлом будущем и борьбе за него, все еще суровой и кровавой, о мужестве, о необходимости сильным поддержать слабых, укрепить веру у колеблющихся и сплотить, во что бы то ни стало сплотить ряды.

Я смотрел в зал. Он был плохо освещен. Виден был лишь броневик, с которого сейчас говорил Ленин, и воины, стоящие подле. Сотни, а может быть, и тысячи людей тонули во тьме. Дымный огонь факелов не мог победить темноты сумерек, которые заволокли зал. Какая мысль светилась во взглядах людей, которые смотрели в эту минуту на броневик?.. Надежда — у одних, вера в недалекую победу — у вторых, решимость идти за Лениным, за большевиками — у третьих... Но, может быть, сквозь толстый полог сумерек, укрывших сейчас зал, на броневик смотрели и иные глаза, в которых были предубеждение, неприязнь или даже ненависть? Сумерки были почти непроницаемы, а манеж велик, сумерки могли укрыть, а манеж вместить и злой блеск ненави-

сти... Ненависти?.. Петроград все еще находился в опасности.

— А теперь перед вами выступит американский товарищ...

Это сказал Подвойский. Я взглянул на спутника Рида и сделал еще несколько шагов по направлению к броневику.

— Говорите по-английски, а я буду переводить,— услышал я голос Ленина; сейчас нас разделяло всего несколько шагов.

— Нет, я хочу говорить по-русски...— заметил американец, улыбаясь, и взобрался на броневик.— Товарищи! — обратился он к залу.

Ленин улыбнулся: он знал об умении американца говорить по-русски. Впрочем, на первых порах мне показалось, что американец не без оснований решил говорить без переводчика. Его речь была стремительна. Американец назвал себя социалистом и сказал, что симпатии трудового народа Америки на стороне русской революции. Но уже следующую фразу он произнес не без труда.

— Какого слова вам недостает, товарищ Уильямс?..— поднял на американца смеющиеся глаза Ленин; он продолжал улыбаться, но в этой улыбке не было иронии: веселая отвага американца, решившегося с трибуны говорить по-русски, была симпатична Ленину.

— Enlist,— несмело произнес оратор.

— Вступить...— подсказал Ленин, и множество людей улыбнулись вместе с ним.

А оратор обратился за помощью к Ленину вновь, и, ответив ему все так же охотно, Ленин добавил:

— Да, да, товарищ Уильямс.

Я не ошибся: то был Альберт Рис Вильямс. Если верно, что его дед был шахтером, а отец — проповедником, то в его облике дед определенно возобладал над отцом: железная могучесть шахтера передалась внуку. И не только могучесть, но и бесстрашие: в дни революционных битв Вильямс вместе с Ридом был среди рабочих и солдат, штурмовавших Зимний.

Вильямс кончил. Раздались аплодисменты. Ленин аплодировал вместе со всеми. Теперь Ленин стоял рядом с Вильямсом. Его определенно умиляла храбрость американца. «Однако я не ожидал от вас такой лихости,—

точно говорил Ленин.— Вон вы какой...» А Вильямс и сам, казалось, несколько опешил. Происшедшее и для него было неожиданностью, мне так казалось — радостной неожиданностью.

— Ну вот, как бы там ни было, начало в освоении русского языка сделано,— вдруг заговорил Ленин. Он поднял глаза на Вильямса, тот был много выше.— Но вы должны продолжать заниматься им серьезно,— добавил Ленин и едва не коснулся полусогнутой ладонью груди Вильямса.— А вы,— обратился он к спутнице Вильямса (позже я узнал: это была знаменитая Бесси Битти, корреспондентка сан-францисской «Кроникл». Она сейчас была рядом с Вильямсом и все порывалась заговорить с Лениным),— вы тоже должны изучать русский язык.— Ленинская улыбка перенеслась на нее.— Дайте в газете объявление, что хотите обменяться уроками. И потом просто читайте, пишите и говорите только по-русски.— Ему было приятно радостное внимание американских друзей.— С соотечественниками не разговаривайте,— произнес Ленин, смеясь,— все равно пользы от этого не будет!..— Он собрался идти, потом обернулся, точно вспомнил нечто важное, и сказал Вильямсу и Битти: — Когда мы встретимся в следующий раз, я вас проэкзаменую...

Ленин простился и поспешил к выходу, и все, кто был подле, устремились вслед. Ленин шел сейчас тем же быстрым шагом, каким вошел в манеж, приветственно подняв руку. И, едва он вышел из манежа, толпа расступилась.

Между входом в манеж и машиной теперь было свободное пространство. И Ленин стал виден далеко вокруг: из распахнутых ворот напротив, из окон большого дома, что стоял на отшибе. И много глаз следило за ним, исполненных веры и верности. И опять я подумал: быть может, были там и иные глаза, глаза, застланные зимним ненастьем, хмарью, едким дымом ненависти? Были?

А машина с Лениным прошла мимо меня, прошла небыстро: и дорога, и скорость, и ветер, если его можно было вызвать в большом городе, были впереди. Я видел, как машина, повторяя неровности дороги, устремилась вперед, потом повернулась и ушла за угол, в сумерки боковой улицы, в полутьму деревьев, нависших над дорогой, в тишину. Чем дальше я шел, тем бóльшая тишина

окружала меня, неощутимая и бездонная, как вечность. Сознаюсь, что я не слышал ни голосов, ни выстрелов. Я хорошо помню, что выстрелов я не слышал.

Ночью поднялся ветер. Он дул со стороны Финского залива, наперекор течению Невы. Если бы Неву не сковал лед, она бы вышла из берегов. Ветер дул, и с каждым новым его порывом скрипели схваченные морозом деревья в парке Смольного и гремела, неистово гремела крыша. Между десятью и двенадцатью в Смольном был свой час «пик» — от далеких питерских окраин и застав сюда съезжались все, кого не было в течение дня, именно в этот час здесь можно было увидеть революционный Питер, да только ли Питер? Как в ту октябрьскую ночь, на белом снегу, застлавшем смольнинский парк, догорали поленья. Их неяркое мерцание было видно издалека. Горящие угли не успевал затянуть пепел, ветер срывал его.

Я едва не столкнулся с Ридом у входа.

— Вы были в манеже? — спросил он, не останавливаясь, спросил по-русски.— Нет, нег.., вы были? — прервал он меня. Ему не терпелось сообщить мне нечто необычное, при этом все, решительно все он хотел сказать по-русски.— Ленин... вы слыхали: Ленин...— Бледность его лица была нерушима вопреки холодному ветру, который проник и сюда.— Ленин...— произнес он не столько голосом, сколько дыханием, шумным и прерывистым.

— Что случилось? — спросил я его.

— В Ленина стреляли... Четыре пули по машине...

— Но он жив?..

Рид хотел ответить единым духом, ответить по-русски, но память изменила ему.

— Альберт...— молвил он, беспомощно всплеснув руками.

И тотчас над ним выросла фигура Вильямса.

— Ленин невредим...— сказал Вильямс.

Я вздохнул. Ах, какими добрыми в этот миг показались мне и хмурое небо над Петроградом, и гаснущие огни на снегу, и деревья.

Мы отошли в сторону, под защиту мощного дуба, и Вильямс продолжал:

— Да, в манеже... через минуту после того, как отъехала машина... Четыре пули по кузову. В машине несколько дыр, пробито стекло...

Я смотрел на Вильямса: нет, сейчас он не был похож на того Вильямса, что стоял вместе с Лениным у броневика в Михайловском манеже, за десять минут до покушения. И я подумал: наверное, и в сознании Ленина этот день, этот тревожный новогодний день, такой опасный и все-таки счастливый, будет отождествляться и с именем Вильямса, с веселым, озорно-веселым диалогом, который возник между ними на глазах у целой армии питерских добровольцев.

Я так думал.

А несколькими днями позже я вновь увидел Ленина и Вильямса рядом. Впрочем, Джон Рид был третьим.

Было это на том самом заседании Учредительного собрания, на котором эсеро-меньшевистское большинство сказало «нет» декретам революции о земле, мире и было распущено.

Ленин сидел в первой ложе справа и молча наблюдал за происходящим. Он сидел неглубоко, положив бледные руки на борт ложи. Когда, увлеченный волнением зала, он пододвигался ближе к барьеру, свет ложился на его лицо. Был виден рыжеватый отсвет его волос, блеск глаз: они были строги в этот день.

Потом Ленин поднялся и вышел из ложи, а когда появился в ней вновь, подле него были Джон Рид и Альберт Рис Вильямс. И зал, как он ни был увлечен тем, что говорилось с трибуны, невольно обратил глаза к крайней ложе справа: там Ленин беседовал с американцами. В какой-то миг показалось, что беседа увлекла Ленина: его лицо оживилось. Он улыбнулся, потом сделал движение рукой (жест был не резкий, но очень эмоциональный) и неожиданно засмеялся.

Рид стоял к залу спиной, и я не видел его лица, но зато лицо Вильямса было хорошо видно. Кстати, как мне казалось, Ленин говорил сейчас, обращаясь именно к Вильямсу, потому что тот пытался что-то объяснить Ильичу и неловко и смущенно двигал длинными руками. Я подумал тогда: как-то сложится его судьба? Он, в сущности, молодой человек, и впереди мгла десятилетий. Сейчас он наш друг, но останется ли он им через десять, двадцать, тридцать, а может, и сорок лет?

Я не знал тогда Риса Вильямса так, как узнал позже. Дорога только начиналась, годы испытаний были впереди. Ему еще предстояло взять на себя почин создания революционного иностранного отряда и самому выступить на фронт. И книга Вильямса «Сквозь Русскую революцию» еще не была написана тогда, книга суровой и радостной правды о революции в России. И столица России еще была в Петрограде, и Вильямс не знал о своей встрече с Лениным в Кремле. «У вас прекрасная коллекция документов»,— сказал Вильямсу Ленин, убеждая его написать книгу о Советской стране. И Вильямс еще не пересек океана и не познал стыда и мук допроса в так называемой «оверменовской комиссии». «Я верю в Советскую власть»,— заявил он комиссии. И идея большой поездки по Америке еще вынашивалась Вильямсом, поездки по сыпучим равнинам американского Запада, по богатым тихоокеанским городам, по степным поселкам хлопкового и табачного юга. И, разумеется, в тот момент, стоя перед Лениным, Вильямс еще не знал о своей новой поездке в Советскую Россию через несколько лет после революции, о встрече с Михаилом Ивановичем Калининым, о своем решении поселиться на несколько лет в России и изучить все процессы ее становления: по своей давней и испытанной привычке, Вильямс не хотел, чтобы между ним и жизнью был еще третий человек,— он все хотел видеть сам, все испробовать своими руками. Он подолгу живет в деревне — вначале на Украине, близ гоголевской Диканьки, потом в Подмосковье. Он и механик, и косарь, и пахарь. И не мог Вильямс заглянуть на двадцать с лишним лет вперед и увидеть, как июньским утром дымное пламя немецких минометов опалит созревшие русские хлеба. Едва весть об этом достигла Америки, Вильямс, по честной и бескорыстной службе сердца, счел себя мобилизованным. И вновь, как некогда, он проехал Америку из конца в конец, рассказывая о России и справедливой ее борьбе...

В тот вечер, когда Вильямс, робея и смущаясь, стоял перед Лениным, трудно было заглянуть на десять, двадцать, тридцать, а тем более сорок лет вперед, но хотелось верить: он будет нашим другом, большим нашим другом...

А зал, огромный зал следил за тем, как Ленин беседовал в ложе с американцами, чей радикализм был столь

хорошо известен Петрограду. Какие тайны поверял вождь Республики Советов своим американским единомышленникам, по каким вопросам советовался? Что мог означать нетерпеливый ленинский жест, ободряющий кивок, наконец, улыбка, одновременно ироническая и такая сокровенная, больше того — таинственная? Не созревал ли в крайней ложе справа заговор, угрожающий самим устоям Америки?

Подле меня сидел человек с бычьей шеей. Голова возникала у него из плеч, точно обломок колонны. Его костюм из ворсистой серо-коричневой ткани выдавал в нем иностранца.

Я посмотрел в его сторону и вздрогнул. Я увидел глаза, которые мне виделись все эти дни. Они были обращены на ложу, где Ленин беседовал с американскими друзьями. Говорят, что одними глазами нельзя выразить ни скорби, ни радости, ни гнева. От меня был скрыт рот человека, мне были доступны только его глаза, и в них была ненависть, столько ненависти, что одним ее огнем можно было бы сжечь человека. И я подумал: эти глаза смотрели на Ленина из тьмы, эти глаза мне виделись, эти... они не могли быть иными.

Я встретил моих американских друзей через час на дорожке, ведущей от парадного крыльца Смольного к воротам.

— Послушайте, о чем вы беседовали с Лениным? — обратился я к Вильямсу.

— О чем? — Вильямс улыбнулся.— Ленин спросил меня, как подвигается дело с изучением русского языка, могу ли я понимать все эти речи.— Вильямс не без смущения пожал плечами. — «В русском языке так много слов»,— сказал я Ленину...— Вильямс виновато улыбался, не желая того, я заставил Вильямса еще раз пережить смущение, которое он испытал так недавно.— «О нет! — решительно отрезал Ленин.— В том-то и дело, что языком надо заниматься систематически!» И Ленин стал обстоятельно излагать свой метод. Ленин советовал вначале выучить все существительные, потом все глаголы, потом все причастия и прилагательные... освоить грамматику, орфографию и синтаксис, а затем... «Вы же знаете, что следует делать затем? Практика везде и всюду, да, практика...»

— Даже с трибуны Михайловского манежа? — спросил я Вильямса.

Вильямс потер согнутым пальцем подбородок.

— Даже с трибуны манежа...— улыбнулся Вильямс.— В общем, он продолжал разговор, который был в манеже...

Вильямс ушел, и мы остались с Ридом одни.

— Вот сейчас смотрел в зал и думал,— произнес Рид, устремив печальные глаза во тьму смольнинского парка,— революция совершилась, революция продолжается, и много битв еще предстоит впереди... много...

В эту минуту мимо прошел человек с обломком колонны вместо головы.

Я взглянул на моего собеседника. Нет, я не спросил его ни о чем, я просто взглянул на него. Но Риду мой взгляд показался вопросительным.

— Кто бы это мог быть? — как бы переспросил Рид и ответил себе и мне: — Мой соотечественник, которому революция помешала овладеть русскими нефтяными полями.

Мы расстались, а я долго смотрел во тьму, куда ушел этот человек, ушел и унес свои глаза. Их было трудно ему нести, очень трудно — так они были обременены ненавистью...

Я вновь увидел Риса Вильямса месяца через полтора. Был февраль. Пришла телеграмма с фронта: немцы возобновили наступление. Свет в окнах Смольного, как это было в Октябре, не гас до утра.

Питер взялся за оружие. По заснеженному невскому льду, уже тронутому февральской оттепелью, дни и ночи с правого берега на левый двигались рабочие отряды. Шел отряд по Морской: рабочие в стеганках, солдаты в серых папахах, матросы, матросы, много матросов. И рядом с ними высокий человек, чуть сутулый, в легком пальто и шляпе,— я узнал Вильямса.

Отряд прошел, поземка замела его следы, но еще долго в смутной полумгле февральского дня я видел сутуловатую фигуру американца...

«Всех благ тебе, наш друг,— хотелось сказать человеку,— всех благ на долгом и нелегком пути, который ты избрал».

СЕРДЦЕ

Память прочно сохранила подробности этого утра. Петроград, осеннее ненастье, предрассветное небо с остановившимися облаками, черные окна (они так и не зажглись в эту ночь и казались чернее обычного), мокрые камни и площади, тишину, как обычно в эти дни, недолгую и непрочную.

Броневик ворвался на площадь и ударил под арку по толпе. Крик, живой комок боли некуда было упрятать. Толпа приникла к стене, черная, как стена, и нерасторжимая с нею, но человек выпал из толпы, как выпадает яблоко из рук. Один человек, второй... Вот тогда-то из-под арки полетела граната. Раздался взрыв, очень сильный (казалось, и черные окна осыпались и сдвинулись со своих мест облака). На этот раз тишина была прочной.

А потом к броневику подошел парень в форменной фуражке железнодорожника и сунул в неширокую щель броневика штык: «Кто там есть еще живой-здоровый, выходи!» Но ответа не было, и парень отошел в сторону и положил ладонь на рукоятку гранаты: «Выходи, говорю!..»

В это утро парень показался мне самим олицетворением мужества: нелегко встать перед броневиком один на один.

Деталь, может быть, незначительная: эти оконные стекла посол привез в Петроград из-за океана. У них было немалое достоинство — скрашивать петроградский сумрак. Да, стекла обладали способностью обращать серый день со шквальным балтийским ветром в едва ли не

калифорнийскую благодать. Всем комнатам служебного особняка посол предпочитал «фонарь» с оранжевыми окулярами. Здесь было все, что требовалось для беседы: иллюзия золотого солнца, крепкий бразильский кофе, почерневшие бананы (их запахом напитана даже обшивка софы), граммофон с устрашающим раструбом и стопка пластинок, разумеется, народные мелодии: заунывные — Миссури, грозные — Кордильер. И голос посла был мягкий, как вата, и, как вата, душный.

— Америка уже вернулась из своего похода за свободу...

Таинство причастия, великое таинство первой встречи с соотечественником, происходило у посла в этой комнате. И день следующих встреч устанавливался тоже здесь. Они должны происходить систематически, иначе в них нет для посла смысла. Именно систематически, хотя разговор никого ни к чему не обязывал — свободная беседа интеллигентных людей в час досуга; театр, прогулка на острова, встреча с поэтами — именины сердца, домашний спектакль, новая книга... митинг на Сестрорецком. Да, митинг на Сестрорецком тоже возможен. Вот и вся беседа. Послу не обязательно идти дальше, послу... Главное, чтобы расписание встреч выполнялось свято и присутствовала формула: «Америка уже вернулась из своего похода...»

Пусть горит земля за окнами и сердце России стучит громовыми раскатами «Авроры», оранжевое солнце в посольском особняке должно быть незатухающим, и на его блеклое свечение должны сходиться граждане заокеанской державы, если они хотят вернуться на родину.

— Нет, Америка лишь собирается в свой поход за свободу...

Это сказал послу Джон Рид. Сказал и точно выбил в «фонаре» оранжевые окуляры, дав грозовому небу вломиться в дом, небу и ветру, который бушевал над Петроградом.

Два человека стояли сейчас лицом к лицу, белые в своем гневе. Две Америки. Потом дверь распахнулась, будто ее в самом деле разверз ветер, широкая спина Рида возникла в пролете двери и исчезла. Посол медленно раздвинул шторы, взглянул на улицу. Рид уходил. Тишина словно приковала посла к окну. Уходил, уходил... Какая сила увлекла сейчас этого человека, думал посол, и

какая это должна быть сила, если тот пренебрег общностью рода и класса, нерасторжимой общностью традиций и самого строя жизни? Какая это должна быть сила?..

...Из окна гостиницы был виден клен. Зеленым я его уже не застал. В начале октября он был желтым, в конце ноября, с первыми морозами и снегом,— цвета красной меди. Казалось, что отсвет клена лежит на стенах комнаты, беленной известью, на потолке, на кафеле. Кафель был горячим только к концу дня, когда топили в гостинице печи, но Рид все тянулся ладонью к его полированным камням. Хотя он родился на американском северо-западе и привык к холоду, он был порядочным мерзляком. К вечеру он перебирался со своей машинкой ближе к печи. Раздумывая, он приникал к стене, и кафель приятно согревал спину.

Есть фотография, где Рид сидит за машинкой. Он в пиджаке с закругленными полами. Белая сорочка оттеняет его стриженый затылок и шею. Руки белые, почти неотличимые от обшлага крахмальной сорочки. Мягко отсвечивают волосы. Чуть выше виска лег на лоб темный завиток волос. Руки задержались на клавишах. Лист, вложенный в машинку, начат. Виден номер страницы (черновик пронумерован — он все делал тщательно) и четыре строки, написанные без помарок. Писал он не быстро, точно торил тропу в зарослях леса, точно прорубал тоннель в массиве породы. Взмах и удар киркой — сделан шаг, еще взмах — еще полшага. И вид Рида (пиджак с округлыми полами, крахмальная сорочка), и обстановка комнаты (стол с изогнутыми ножками, толстая книга со множеством закладок, пепельница) переносят нас в атмосферу большого города, отделенного от войны непробиваемой стеной океана.

Иным я помню Рида в Петрограде, в комнатке с красным кленом под окном. Рид работал в белой сорочке, выше локтя закатав рукава. Комната была заполнена листами плакатов. Ими были выстланы пол, кровать, подоконник, они были прикреплены к тюлю и зеленому сукну штор. Казалось, что в тишине этой комнаты, изредка нарушаемой стрекотом машинки, плакаты продолжают сражаться: «Всем честным гражданам!», «Всем рабочим и солдатам!» и еще: «Всем, всем!» Слова гневались, взывали к разуму и участию.

Маленький англо-русский словарик Рида был не в

силах вместить эти моря гнева. Рид вновь и вновь обращается к русским текстам. И его речь, каких бы отдаленных проблем она ни касалась, все чаще заканчивалась вопросом:

«Не были бы вы так любезны пояснить мне: «Жизнь и служба казака были всегда неволей и каторгой... Как понять это — «неволей»?..»

Собственно, эта фраза явилась поводом и для нашего знакомства. Я подозреваю, что Рид впервые увидел меня, когда я переводил импровизированную беседу коменданта Смольного с иностранными корреспондентами.

В людском море, каким тогда был Смольный, Рид приметил меня настолько, что однажды окликнул:

«Не были бы вы так любезны...»

Я шагал длинным коридором Смольного. Навстречу, едва не сталкиваясь со мной, спешили люди. В коридоре не было света, и лица были затемнены. Рука на белой перевязи — солдат с фронта, светлая блуза — наверно, телеграфистка, скрип костыля во тьме — опять солдат, блеск кожанки — самокатчик, опять костыли — солдат... И вдруг в коридоре, где тьма была особенно плотна,— стесненное дыхание, потом вздох и голос:

— Не были бы вы так любезны, товарищ Рыбаков...

В стороне на длинном столе, накрытом клеенкой, гудит и сыплет искрами самовар. Подле хлопочет солдат, смертельно уставший. А еще дальше, склонившись над столом,— Рид. Видны горящие глаза, нос, широкий у переносья, крупный подбородок — тьма оставила на лице все самое характерное. На том конце стола, где сидит Рид,— точно рассыпанные ветром страницы рукописи. Наверно, он облюбовал это место, чтобы накоротке, «в два удара», набросать корреспонденцию, которая еще сегодня должна быть передана за океан.

Накануне я видел его с Лениным.

Это было в парке Смольного. Был поздний вечер, и Ленин вышел ненадолго подышать. Рядом был Рид. Они подошли к старому дереву с раскидистой, но сейчас обнаженной кроной, и Ленин медленно поднял глаза. Чтобы увидеть маковку, надо было отойти, и Ленин пошел по неглубокому снегу, осторожно ставя ноги. Рид последовал за ним. Они стояли и смотрели на дерево. Ленин что-то говорил, все выше поднимая руку, а Рид задумчиво слушал, глядя на Ленина.

Я не знал, о чем шла речь между ними, но мне показалось, что так могут говорить люди, которые в беседах между собой уже проложили первую стежку и могут коснуться частностей, без которых нет жизни,— о небе, снежном поле или, как сейчас, о дереве.

Быть может, этот разговор был аллегорическим и дерево явилось поводом для большого?

Кстати, как могла произойти их первая встреча? Очевидно, был кто-то третий, кто знал Рида и рассказал о нем Ленину.

А могло быть и иначе. Ленин беседовал с иностранными корреспондентами. Беседовал не раз. Многих он знал уже в лицо.

«Нет, мне чужда ваша точка зрения...» — мог бросить он корреспонденту и при этом назвать его имя.

Или:

«Ну что ж, это разумно... Я, пожалуй, тоже думаю так».

Да, с каждым днем он все лучше знал корреспондентов, и не только в лицо. Он знал, какие вопросы характерны для одного и какие для другого, чего можно ждать от одного и что вряд ли позволит себе другой.

«Скажите, а что за человек этот темноволосый американец?.. Писатель?.. Автор нескольких книг? Вот как! А почему же я не читал его?..»

Могло быть и так. Могло быть.

— Не были бы вы так любезны...— просит сейчас Рид.

Ну конечно же, надо прояснить смысл очередного документа. Этой ночью революционная армия в сражении под Царским Селом рассеяла (единственное это слово он произносит по-русски) войска Керенского. В Смольном получено донесение. Вот его текст, переписанный от руки.

Он наливает чаю мне и себе.

— Пожалуйста...

Я перевожу донесение, а он пишет, изредка прихлебывая из граненого стакана.

— Да, да... «Принять все меры к захвату Керенского...»

Я не успеваю закончить последнюю фразу, а он уже опускает на стол стопку плакатов, да не стопку, а плиту, скрепленную клейстером, который успел превратиться в

камень. Может, поэтому ее соприкосновение со столом вызывает такой грохот.

— Вот, содрал с рекламной тумбы на Невском,— прочно переходит он на английский.— С одного удара низверг и кадетов и правых эсеров...— Он осторожно отдирает от плиты первый плакат.— Знаете, как у реставраторов живописи — древняя икона нанесена на самый холст.— Он наловчился отдирать плакаты, не повреждая их.— Чтобы добраться до такой иконы, надо смыть три слоя: портрет фаворитки императора, пастушка с рожком, зеленое поле с рябыми коровами... Древняя икона всегда на самом дне...

— Но ведь это всего лишь история! — пробую я подзадорить его.— Не каждый любит оглядываться назад, да, может, газетчику это и ни к чему. Газета — не книга...

Он встревожился:

— Книга?..— Потом произнес задумчиво: — Книга... книга...

И вот мы сидим в комнатке с белой кафельной стеной. Одиннадцатый час вечера.

— Значит, не каждый любит оглядываться?..— Он пододвигает большой чемодан, обтянутый кожей, и едва трогает замок. Чемодан шумно распахивается, и невидимая рука разбрасывает по полу листовки.— Вот мое богатство! — улыбается Рид.— Нет, газетчик должен оглядываться.

— Так вот где у вас хранится старинная иконопись!

Ночью мы идем с Ридом вдоль Обводного канала. На Риде короткая куртка на меху, «канадка». Руки в карманах, плечи приподняты.

— Мир интересует только одно: как это было в России. Нет, никакой беллетристики! Нужна книга записей, свидетельство летописца... От часа к часу, ото дня ко дню... Каждая деталь бесценна, если она документальна... Именно летопись революции...

Он ушел — у него была встреча с друзьями,— и я продолжал путь один. Вода была недвижима. Время от времени на ее поверхность ложился сухой лист и слабые круги шли по воде. Вода успокаивалась, а лист продолжал лежать.

Рид был художником, влюбленным в свет и краски. Наверно, ему хотелось щедрой горстью бросить на холст краски, как в его мексиканской книге: блеск песка, белая

глина, рассеченная трещинами, небо цвета ультрамарина, жирная зелень кактусов. Но после Мексики талант Рида возмужал, а где возмужание, там строгость. Он недаром говорил о свидетельстве летописца. Но краски будут и здесь. И главное — там он был свидетелем событий, хотя и деятельным, здесь — участником.

Высыпал снег, и клен под окном Рида потускнел и медленно погас. Но зато заревой свет в окне был все гуще. Будто окно похитило у клена его блеск и свечение. Рид работал над книгой, и друзья берегли спокойное пламя освещенного окна: они бывали теперь не так часто. Может быть, в эти дни как раз и были написаны страницы, которые позднее заняли свое место в книге: поездка в Пулково, Ленин, выступающий на Втором съезде Советов. Помните, как здорово там у Рида: «Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них». И лаконичная зарисовка Ленина, говорящего с трибуны: «Широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что бы напоминало кумира толпы,— простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума... Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания».

А название, наверно, возникло позже. Первая мысль: «Рождение бури». Потом эти слова сместились в подзаголовок и возникли новые, не столь лапидарные, но более мужественные: «Десять дней, которые...».

Рид выехал в Америку в феврале.

Самое большое богатство — чемодан с листовками и плакатами.

Падал мокрый снег. Рид ехал через город в фаэтоне.

Уже на вокзале носильщик едва оторвал чемодан от земли. Рид улыбнулся. «Бумаги что железо — одного веса»,— подумал он.

В мглистую мартовскую рань корабль подплывал к Америке. Рид стоял на палубе. Точно из воды, медленно поднялись небоскребы, сутулые, без плеч, шатаясь от непосильной ноши,— им было явно не под силу подпереть небо.

Рид сошел в нью-йоркской гавани и собирался уже сделать первый шаг, когда из полумглы выступили двое. Они были широки в плечах и толсты, как кули с древесным углем, лежащие подле. Дежурное приветствие (в Америке ничего не делается без приветствия) и привычное движение руки к лацкану пиджака. За лацканом — тусклая бляха агента тайной полиции. Они указали взглядом на чемодан. Значит, им уже все известно. Молва и на этот раз обскакала Рида. Они предупредительно приняли из рук Рида чемодан и ушли, даже не предложив Риду следовать за ними.

Рид стоял на цементной платформе пристани. Дул ветер и холодил затылок. По серому небу мчались облака. Не облака, а железные чушки — как только они не свалятся с неба! Ветер взрывал воду, и на лицо ложилась водяная пыль. Вода была солоновато-терпкой, горькой. И на душе было горько. Вот так, будто у тебя отняли нечто такое, без чего ты уже не сможешь жить: книгу, годы. Взяли и отняли сразу три года жизни, может быть, самых дорогих, а вместе с ними мысли, которые, казалось, возникли раз и никогда не повторятся.

Не такой он себе представлял встречу с родиной, не такой.

И в этот миг, стоя на цементной платформе нью-йоркской пристани, Рид острее, чем когда-либо прежде, осознал, чем были для него годы, проведенные в России, и чем в конце концов могла явиться для него эта книга. Ну конечно же, это мог быть рассказ о революции, может быть, первый и действенный рассказ о событии, которое решительно изменило судьбу человека и показало ему его завтрашний день. Как должен быть счастлив человек, которому суждено свершить это нелегкое и такое благородное дело! Разумеется, эта книга могла явиться испо-

ведью Рида перед временем, перед самим собой, наконец, перед Америкой. Нет, не перед той Америкой, что сейчас выступала в полумгле раннего нью-йоркского утра жирными боками своих банков и деловых контор, а той, что лежит на каменистых полях Запада, на некогда плодородных равнинах, разрушенных эрозией, на дорогах... Она могла явиться исповедью, в которой бы человек осмыслил все, что было пережито в эти годы, и решил, как надо жить завтра. И не беда, что в эту исповедь зримо вторгался громогласный и жесткий говор афиши и плаката,— может быть, сегодняшний день и отличается тем от дня минувшего, что сердце разговаривает с сердцем, как площадь говорит с площадью,— ничего не тая. Исповедь... Нельзя отнять у человека слово, которое в нем вызрело. Ведь бывает же так с человеком: если слова этого не произнесешь — сердце остановится...

Нет, Рид не отдаст так просто того, что добыто в эти годы, что выстрадано и вошло в жизнь.

И он рванулся вперед, неся с собой бурю.

Казалось, в квадратную комнату, куда был внесен чемодан, вторглись вместе с Ридом и небо, укрывшее землю и воду от горизонта до горизонта, и океан, лежащий рядом.

Нелегко устоять перед такой силой.

Победил Рид.

В Нью-Йорке он облюбовал маленькую комнату с кафельной стеной, как в России, но только не квадратную, а пятигранную. В комнате было одно окно. Оно повисло где-то между землей и небом. Облака были по плечо Риду, да что облака — солнце было на уровне вытянутой руки. Но гул и скрежет, которые издавал город, поднимались и сюда, выше солнца и облаков.

Рид извлек из чемодана бумаги.

Это и в самом деле было похоже на чудо, что Рид донес в эту заокеанскую даль, на эту заоблачную высоту свой чемодан.

Книга должна родиться здесь. Но от замысла до свершения было не близко. Нет, древние летописцы не знали такого подвижничества. Дни и ночи, дни, дни, ночи...

Белый накал электричества и стук машинки.

Он кончил книгу на исходе ночи и едва дождался утра, чтобы отнести издателю. Уже на город пали туманы и небоскребы стояли точно обезглавленные. Блестели

тротуары от холодной январской влаги, и еще не погасшие фонари тускло отражались на мокром камне. А человек спешил через город со свертком под мышкой, словно город гнался за ним по пятам, пытаясь отнять.

И наборщик протянул руку к затененным ячейкам наборной кассы и положил на верстатку первую крупинку свинца. «Эта книга — сгусток истории...» — прочел он первую строку.

Нет, недаром Рид бежал через город с рукописью в руках. Невидимые тени действительно гнались за ним. Нью-йоркский издатель Гораций Ливерайт задумчиво свел лохматые брови: он понимал, рукопись какой книги находится у него в руках. Он понимал, что отныне он бросил вызов врагу беспощадному. Кто ему противостоит? Город? Нет, не город. Сильные этого города. Гораций Ливерайт, прежде чем сдать книгу в набор, перепечатал ее и схоронил экземпляры в разных концах города. Если полиция отнимет один экземпляр, останется другой.

Первое посещение полиции было корректным. Агенты полиции вошли в наборный цех. «Простите, но рукопись мы должны конфисковать...» Хрустнул замок портфеля, и рукопись потонула в его черной коже. Но на другой день в цехе появился новый экземпляр, и заповедная строка легла на верстатку вновь: «Эта книга — сгусток истории...» На этот раз полиция грубо вторглась в дом: «Эта книга не должна набираться...» Кожа портфеля действительно казалась бездонной. А потом набеги следовали один за другим: ранней осенью и на ее исходе, зимой и в начале весны.

В марте, я это знаю, шелковистая зелень затягивает прибрежный песок в Гудзоне, и небо в Нью-Йорке, зажатое камнями, кажется недосягаемо высоким, как из колодца.

Книга вышла в марте.

Известна даже дата: 18 марта.

Первый экземпляр Рид вручил издателю: «Моему издателю Горацию Ливерайту, едва не разорившемуся при печатании этой книги».

Книгу ждали в Москве. Думали: каким путем она придет, когда придет? Через Владивосток — далеко, к тому же весна девятнадцатого года... А может, через Скандинавию, а потом через Ревель и Ригу? И таким

путем шла почта из Америки в Россию. Нет, все-таки через Скандинавию.

— Есть ли уже в Москве книга Рида?

— Кажется, есть один экземпляр, но его отдали в Кремль. Читает Ленин.

Мне виделся поздний вечер в квартире Ильича в Кремле, сияние настольной лампы, раскрытая книга и словарик рядом, тоже раскрытый, лежащий корешком вверх. Недели две как перестали топить, и по вечерам в комнате прохладно. Начало мая. Ленин сидит, накинув на плечи демисезонное пальто, то самое, черное, с плюшевым воротником. На кухне хлопочет кто-то из домашних. Сюда доносится негромкий говор, гудение печи, клокотание кипящего чайника. Ленин любит эти звуки, уютные звуки обжитого дома, где все имеет свой установившийся черед. Может быть, эти звуки напомнили ему Симбирск, родительский дом, когда за стол садились большой семьей: отец сидел во главе стола, мать — напротив. Но это было давно, и нужно немалое усилие, чтобы все это вспомнить.

А сейчас Ленин еще ниже склоняется над книгой и, протянув руку, обнаруживает, что чашка, стоящая рядом, пуста.

— Дай мне, пожалуйста, чаю, Маняша!..— кричит он сестре, не отрываясь от книги.— Да погорячее...

В полночь, когда в доме уже все давно спят, он тихо закрывает книгу (палец удерживает непрочитанные страницы), ненадолго выключает свет. Минута раздумья. Окно будто придвинулось к нему. Видно все, что лежит за его чертой: небо, по-весеннему высокое и студеное, бегущие облака. Ветреный, ветреный май... То ли на кремлевском холме так сквозит, то ли повсюду в Москве? Ветрено и холодно.

Он вновь включает лампу и склоняется над книгой.

Через два часа, когда он гасит свет, чтобы погрузиться в думы, он видит, что с погасшей лампой света почти не убавилось — утро уже пришло.

«Вам удалось уже прочесть Рида?..» — этот вопрос я слышу все чаще. Еще не увидев книги, я чувствую: теперь по Москве уже ходит несколько ее экземпляров.

Да только ли по Москве? На книгу отозвались парижские газеты, потом лондонские, потом берлинские.

Плотина прорвана, попробуй теперь унеси чемодан с листовками революции, укради манускрипт, рассыпь набор! Попробуй, когда книга пошла гулять по свету, как ветер, которому не заказаны рубежи!

Попробуй надень кандалы на ветер...

Поздняя осень девятнадцатого года. Вечер. Снег. Ясность.

Только что в Кремле закончилось совещание коммунистов, уезжающих на Украину,— там будет дан контрреволюции решительный бой.

Перед коммунистами выступал Ленин.

Поезд уходит сегодня в двенадцатом часу ночи. До отхода всего три часа, но никто не торопится.

Все еще идет снег, а толпа у Большого дворца не расходится.

— Ах, как у него хорошо было на душе сегодня!..

— Да, да...

— Простите, но чем вы объясняете... как бы это сказать по-русски?..

Человек запнулся: то ли неожиданно оборвалась мысль, то ли действительно не нашел подходящего русского слова.

Я оглянулся — Рид.

Нет, не в куртке на меху и шапке-ушанке. Короткое пальто, шляпа, без перчаток.

— Идите сюда, я вам отвечу на все вопросы...

Он поднял руку, поднял высоко, намереваясь с грохотом опустить ее на ладонь собеседника,— так здороваются только в России.

— На все вопросы...

Мы уходим далеко, к Тайницкому саду. Снег неглубок, и можно идти тропкой даже там, где еще никто сегодня не ходил.

— Ленин? Нет, еще не говорил, видел... но только издали. Он приметил меня и кивнул головой очень радушно. У него действительно очень хорошо на душе: эта осень была тяжелой, но зато... Увижу еще сегодня. Ночью? Очевидно, в десять, как в Смольном...

Риду очень нравится задеть плечом ветвь, полную снега. Дерево вздрагивает, и снег падает большими хлопьями.

— Как вы думаете, он читал уже?..

— Да, несомненно.

— Значит, его улыбка этим вечером и кивок... не просто приветствие? — Рид посуровел.— Как вы?..

Вот бывает же так у писателя, подумалось мне. Все время, пока пишется книга, один человек стоит перед глазами, только один. Кто же этот человек, невидимо слившийся с тобой? Друг, непреклонно строгий и взыскательный, чьими устами глоголет правда? Твоя юная подружка, совсем юная, в простодушном взгляде которой тебе вдруг почудилась мудрость мира? Твой многоопытный родитель, который всегда, сколько ты помнишь себя, был судьей твоим и советчиком, или, как сейчас, вождь, наставник, истинно добрый гений твой? Ты пишешь, и прозорливые его очи глядят тебе в сердце. И нет странички, да что странички — фразы, слова, которые бы ты не соразмерил с его быстрым и требовательным взглядом на жизнь, с его совестью, с нерушимой правдой его бытия: как он, что скажет он, отвергнет нетерпеливо и бескомпромиссно или все-таки примет? И у Рида, наверно, было так в его пятигранной комнате в Нью-Йорке. Писал и все думал: «Как все-таки примет книгу он, в России?..» И сейчас эта тревога не размылась. Может быть, наоборот, сейчас она стала ощутимее, чем прежде.

— Улыбка Владимира Ильича и кивок этим вечером... не просто? Как вы?..

Мы возвращаемся. Снег забелил Риду плечи.

Рид смотрит на часы.

— Скоро десять... Мое время.

Он не может скрыть волнения: никогда встреча с Лениным не вызывала у него такой тревоги, как этим вечером. Впрочем, никогда прежде ей не предшествовало так много, как сегодня. Я это тоже понимаю, может, поэтому волнение Рида сообщилось и мне...

Мы вновь встречаемся с Ридом за полночь.

В эти полтора часа выпало много снега, и кругом белее белого. В кремлевском городке светло как днем. Рид — рядом, торжественный и безгласный.

— Как?

— Хорошо.

Он останавливается и распахивает пальто. В его руках трепещет страничка. Наполовину она исписана. Я узнаю стремительную ленинскую руку. Хочу вынести на свет, смотрю на небо. Ах, какая светлая ночь, но все-таки буквы невидимо слились — нет, мне не прочесть.

— Хорошо... все хорошо? — спрашиваю я.
— Он дал мне крылья! — говорит Рид.— Крылья дал!
Мы простились.

Только позже, много позже я понял, что в эту ночь, освещенную мглистым свечением зимнего неба, я держал в руках страничку с ленинским текстом, который и сегодня открывает книгу Рида: «Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки...»

Ленин действительно дал ему крылья.

И в какой уже раз я вспомнил жизнь Рида, все, что я знаю о нем, и, конечно, историю его книги. Это был подвиг сознания, а значит, и сердца — оно неотделимо... И в памяти встал хмурый рассвет над Петроградом, мокрые камни Дворцовой площади, броневик перед аркой и человек с гранатой в руках,— да, храбрый человек, вышедший на борьбу со старым миром один на один. С ним был его разум, его светлый разум, да еще сердце, которому ничто не страшно.

ПИСЬМО

В длинном ряду окон Малого дворца попеременно вспыхивает свет. Видно, комендант совершает по дворцу свой вечерний обход. Окна в кабинете Владимира Ильича освещены. Нет лучшего времени для работы, как воскресный вечер: Малый дворец безлюден и даже громкоголосые телефоны онемели.

Но в окнах не зеленый сумрак настольной лампы, а белое свечение люстры; значит, Ильич не один. Быть может, кто-то из его постоянных собеседников, с кем он и прежде любил поговорить на свободную тему,— воскресный вечер дает такую возможность. На свободную тему? Да, беседа, как равнинная река, вольно текущая, полноводная. Гегель и Марксова «Рейнская Газета», защитительная миссия Короленко по Мултанскому делу и августовское наступление союзников...

Я поднимаюсь на третий этаж. В доме действительно тихо и необычно сумеречно. Двери открыты повсюду, и голос Ильича слышен явственно.

— Да, да. Люберсак мне так и сказал: «Я монархист, и моя единственная цель — поражение Германии»,— произнес Ленин воодушевленно.— «Коли поражение Германии, то нашим союзником может быть даже монархист»,— сказал я и, представьте, пожал ему руку. Каково?

Было слышно, как рассмеялся собеседник Ленина, рассмеялся густым, полнозвучным баритоном.

— Вы полагаете, Владимир Ильич, что и этот факт имеет отношение к американской истории? — произнес собеседник Ленина, отодвинув стул.

— Нет, не этот именно, но аналогичный! — отозвался Ленин быстро — так было всегда, когда система доводов

прочно сложилась в его сознании. Излагая эти доводы, он как бы вновь ощущал их логическую силу, их стройность.— Когда американцы вели свою освободительную войну против угнетателей-англичан, им, американцам, противостояли также угнетатели — испанцы и французы... Вы помните, что сделали сыны Америки? Они раскололи единый фронт врага и пошли на союз с французами и испанцами. На союз с угнетателями. Да, на временный союз — вначале победили англичан, а потом, отчасти с помощью выкупа, французов и испанцев...

Было слышно, как собеседник Ленина зашагал по комнате, зашагал небыстрым и легким шагом.

— Пример с Люберсаком и американской историей нужен вам, чтобы объяснить американцам Брест? — спросил человек, останавливаясь; голос его заметно сместился, видно, он стоял сейчас в противоположном конце комнаты, возможно, у кафельной стены.

— Да, чтобы объяснить американцам Брест,— согласился Ленин.— Революция имеет право на союз с одними деспотами против деспотов других, если это служит делу революции...— Ленин на минуту умолк, прислушиваясь.— Это вы, Дмитрий Дмитриевич? Вечер добрый! Тексты я оставил на столе... Мы сейчас уходим! — произнес он и добавил, обращаясь к своему собеседнику:— Да, разумеется, если это служит интересам революции, Вацлав Вацлавыч...

Я невольно остановился: значит, собеседником Ленина был Воровский, наш посол в Стокгольме? Он приехал в Москву в начале июня и по своей беспокойной натуре очутился в центре событий, которыми жила летом восемнадцатого года Москва: сражался с эсерами на съезде Советов и создавал обширное досье для предстоящих переговоров с немцами, в тревожную ночь на 6 июля готовил коммунистов к уличным боям (эсеры решили взять Москву приступом) и неоднократно, как мне показалось — больше поздними вечерами, беседовал с Лениным, беседовал подолгу. Нет, здесь дело было не только в том, что их связывала давняя и верная дружба. Важным было и другое: интеллект собеседника, острота его политического зрения, его способность прощупывать пульс времени, его умение прозорливо смотреть в завтра. Как мне казалось, Воровский был в курсе больших дипломатических замыслов Ленина. Главные линии диалога,

услышанного мною, прочерчивались зримо: как объяснить американцам нашу политику в таком непростом вопросе, как договор с немцами, Брест?..

Мне показалось, что собеседником Ленина был только Воровский, и я немало удивился, когда с Вацлавом Вацлавовичем (в своем темном, безупречно сшитом костюме, с портфелем, перетянутым ремнями, он выглядел человеком, для которого дипломатия была профессией давней) увидел второго. Это был человек немалого роста с усами лемешком.

— Вы полагаете, товарищ Бородин,— обернулся Ленин к своему второму собеседнику,— письмо должно быть послано из Стокгольма нарочным?

— И не одним,— ответил тот.

— Из трех один дойдет наверняка,— сказал Ленин, уступая дорогу своим гостям.— Вацлав Вацлавыч, когда вы намерены покинуть нас? — спросил Ленин, когда они уже были в коридоре. (До возвращения в Швецию Воровский должен был побывать в Германии.)

— В пятницу, с тем чтобы в понедельник быть на месте,— ответил Воровский.— На понедельник у меня назначена встреча с мюнхенскими купцами...

— Узнаю старого боевика,— произнес Ленин.— Не беда, что ты в Москве и впереди версты и версты, ты должен быть на том конце планеты в урочную минуту.

Воровский смущенно закашлял и, как мне показалось, ускорил шаг.

Разговор, невольным свидетелем которого я был, показался мне любопытным. Речь, очевидно, шла о посылке трех гонцов в Америку с письмом, которое Ленину и его собеседникам представлялось важным. Но, сколько я ни думал, мне было трудно проникнуть в тайну этого письма. Кстати, к тому, что я знал тогда, ничего не прибавляла и фраза Ленина о Люберсаке и праве американцев раскалывать сплоченный фронт своих угнетателей.

Мое любопытство немало возросло, когда неделей позже (Воровский был уже в Германии, и встреча с мюнхенскими купцами осталась позади), все в такой же поздний вечерний час, я увидел Владимира Ильича и Бородина, медленно прохаживающихся у Малого дворца — после четырех-пяти часов напряженной работы

Ленин иногда выходил погулять, подчас вместе с человеком, которого он только что принимал.

— Именно вы нам и нужны, Дим Димыч! — окликнул он меня весело.— Вот мы вам сейчас зададим задачу по истории Америки: чем вы объясняете, что Америка семидесятых годов, по крайней мере ее экономика, вдруг обратилась вспять?

Беспокойство охватило меня.

— Но то был регресс частичный и, очевидно, временный? — произнес я несмело.

— Но почему все-таки он имел место, этот регресс, как вы говорите, почему? — повторил Ленин настойчиво.

— Простите, Владимир Ильич, что мой ответ прозвучит чуть-чуть школярски, но деспотия рабовладельцев была по-своему производительна, и прежде чем укрепились новые отношения...

— ...должно было пройти время?

— Очевидно, Владимир Ильич,— заметил я.

— Ну что ж, товарищ Бородин,— взглянул он на своего спутника,— после того как мы получили эту справку, справку верную, хотя и несколько ученическую, мы можем запечатать наше письмо и надписать адрес. Не так ли?

Признаться, я с завистью взглянул на Бородина, которому была доступна тайна письма. В тот момент я не знал, что не пройдет и трех дней, как секрет знаменитого письма станет известен и мне, при этом не без участия Бородина.

Старые наркоминдельцы помнят: в наркомате всегда был рабочий кабинет для советских дипломатов, приезжающих из-за рубежа. Здесь они читали прессу и корреспонденцию, встречались со своими коллегами по наркомату, нередко принимали посетителей, писали отчеты. Кабинет был оклеен терракотовыми обоями и слыл у дипломатов «терракотовым».

Был девятый час вечера, когда я встретил Бородина, быстро идущего к терракотовому кабинету.

— Дмитрий Дмитриевич, не могли бы вы быть у меня сегодня часов в одиннадцать?

Просьба Бородина озадачила меня — вечер у меня был всегда занят больше утра.

— В одиннадцать? — переспросил я.

— Да, в одиннадцать...— повторил он с необычной

для него жесткостью и добавил, как мне показалось, и мягче и доверительнее: — Ночным поездом я уезжаю в Стокгольм.

«Не о письме ли идет речь?» — подумал я, однако тут же отогнал прочь эту мысль — о письме Бородин мог сказать мне и прежде, для этого времени было более чем достаточно.

Я обещал Бородину быть.

В одиннадцать я направился в терракотовую комнату. Ночью уходила диппочта на запад (не с тем ли поездом, которым уезжал Бородин?), и, как это всегда бывало накануне, в Наркоминделе громче обычного стрекотали машинки.

Дверь в кабинет я застал полуоткрытой — Бородин ждал меня.

— Дмитрий Дмитриевич, я задержу вас лишь на минутку,— произнес Бородин, отрываясь от бумаги, которую он читал с пером в руках.— Вы знаете, что у Ленина был давний план, который он осуществлял с первых дней революции методически: сделать капиталистическую Америку с ее технической мощью, энергией и предприимчивостью ее народа союзницей Советской России! Перспектива такого союза была бы для нас весьма заманчива! Ленин осуществлял этот план с энергией, страстью и, главное, последовательностью, на какую способен только он, и во многом успел: Америка понимала нас до сих пор лучше старушки Европы.

Я слушал Бородина и думал: он мыслит, как стратег, с той прозорливой и всеохватывающей широтой, какая необходима революционеру. В тот момент я знал Бородина недостаточно, но эта его черта была слишком характерной, чтобы ее не заметить. Если бы я мог заглянуть в завтрашний день этого человека, то подивился бы тому, как необыкновенно проявилась эта черта в его деятельности.

Бородин взглянул на объемистый пакет, лежащий перед ним:

— Однако события последних трех месяцев в Европе подействовали и на Америку гипнотически...

— Обходный маневр в Бельгии, прорыв линии Зигфрида? — спросил я.

— Да, пожалуй, и Бельгия и линия Зигфрида,— заметил Бородин и нетерпеливо пододвинул к себе пакет.—

Трудно поверить, но патриотический угар заволок и Америку, при этом какую-то гибкость ума утратили даже те, кто нас до сих пор понимал. Возникла необходимость обратиться к Америке — может быть, даже к пролетарской Америке,— объяснить все до конца, и Ленин написал вот это письмо...— Бородин отвернул клапан конверта и быстро извлек стопку машинописных страниц, тщательно сколотых.— Сегодня ночью я увезу письмо в Стокгольм и сделаю попытку...

— ...переправить письмо в Америку? — спросил я осторожно.

— Да, чего бы это ни стоило,— согласился Бородин.— Это тем более необходимо, что есть опасность, да, опасность более чем вероятна: текст письма может быть искажен...

— Каким образом? Ведь все экземпляры письма у вас? — спросил я.

— В том-то и дело, что не все,— произнес Бородин.— Послезавтра письмо будет напечатано в «Правде» и станет достоянием корреспондентов, при этом каждый из них будет переводить текст, как ему вздумается.

— Но, может быть, есть резон перевести письмо нам и вручить корреспондентам вместе с русским текстом и текст английский? — спросил я осторожно.

— Вот об этом-то я вас и хотел просить. Впрочем, не один я.

— Чичерин?

— Нет, не только он,— Ленин.

Бородин встал и украдкой взглянул на большие часы, стоящие слева в углу,— ну конечно, час отъезда грозно приближался и вожделенных тридцати минут уже не хватало.

— Да, Владимир Ильич хотел бы, чтобы перевод был выполнен самым тщательным образом и закончен завтра же — тексты следует вручить корреспондентам в ночь на двадцать второе. Копия письма для вас должна быть готова через полчаса...

— А как будет в Америке? Не просто сегодня напечатать там письмо Ленина: Дебс — в тюрьме, Хейвуд — объявлен красным, Рид...

— Может быть, Рид,— сказал Бородин.

Мы простились.

И вот письмо лежит передо мной.

«Мы жали друг другу руки, с французским монархистом, зная, что каждый из нас охотно повесил бы своего «партнера».

И еще:

«В 1870 году Америка в некоторых отношениях, если взять только «разрушение» некоторых отраслей промышленности и народного хозяйства, стояла *позади* 1860 года. Но каким бы педантом, каким идиотом был бы человек, который на *таком* основании стал бы отрицать величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение гражданской войны 1863—1865 годов в Америке!»

Я вспоминаю тот вечер, тот первый вечер, когда я шел коридорами Малого дворца и неожиданно услышал голос Ильича: он говорил тогда о Люберсаке.

Значит, в тот вечер, в тот поздний вечер, когда неожиданно Ленин и Бородин повстречались мне в кремлевском дворике перед Малым дворцом и Ленин с веселым озорством решил проверить, как знают американскую историю дипломаты, последняя точка в письме еще не была поставлена.

Я вышел из Наркоминдела в первом часу ночи. С полчаса, как ушла диппочта (ну конечно же, она отправлялась в Стокгольм одним поездом с Бородиным), и окна большого дома были погашены. Только в трех проемах четвертого этажа горела недремлющая люстра — у Чичерина продолжался страдный день. Завтра приблизительно в это время Чичерин пригласит к себе корреспондентов и вручит письмо. И я переношусь мыслями в завтрашний вечер: мне нравится эта церемония, и торжественная и радостно-тревожная. Вечером секретари Чичерина позвонят корреспондентам: «Господин Арчибальд Кинг... да, текст письма Ленина Америке...» А потом приемная Чичерина, белый накал люстры, приторновато-сладкий запах заморского табака, неловкий, не очень сообразуемый с благородным деревом панелей и чистым свечением люстр грохот подбитых гвоздями башмаков, в которые обуты корреспонденты (дань войне), и голос Чичерина: «Господа, мне поручено сообщить вам, что завтра утренние московские газеты опубликуют...» И долго еще в просторных проемах чичеринского кабинета будет гореть белая люстра и гудеть телефон:

«Георгий Васильевич, мы даем письмо без комментариев? Все комментарии завтра...» И кажется, что в слова эти мощно вторгается гудение печатных машин, и первые оттиски газет ложатся в стопу. «Письмо к американским рабочим... Письмо к американским... Письмо...»

Я иду по ночной Москве, и письмо Ильича, как его восприняло сознание при первом же чтении, припоминается вновь и вновь. И ясный взгляд Ленина, и его убежденность, и гнев против деспотии капитала... Кстати, как корреспонденты отзовутся на письмо? Подхватят его и разнесут по миру или сомкнут губы и предадут забвению? Иногда, желая обскакать друг друга (закон капиталистической конкуренции жив!), они могут пожертвовать и собственными интересами, иногда... Если стать у большого наркоминдельского окна, выходящего на площадь, можно видеть, как почтенные представители агентств бегут на телеграф. Впрочем, вначале слышно, как гремит лестница. Нет, не лифт, а именно лестница! Горный обвал кажется игрушечным в сравнении с теми громами, которые сотрясает здание «Метрополя», когда ватага крепконогих молодых людей низвергается с четвертого этажа. А потом можно стать у окон, выходящих на площадь, и взглянуть, как единоборствуют агентства: оказывается, чтобы победить «ЮПИ» (Юнайтед пресс», год основания 1907), нужны и сильные ноги, и автомобиль со скоростью гоночного, и исправный мотор, и бачок горючего про запас, при этом сердце корреспондента не должно уступать в надежности мотору автомобиля, что стоит у подъезда. Корреспонденты выбегают на площадь и мчатся к машинам, моторы — заведены. Включается скорость, над радиатором вспыхивает бензиновое облачко, и, подскочив, автомобиль устремляется вперед. Какое дело корреспонденту, что означает факт. В конце концов, в агентстве разберутся. Главное — не дать «Эй-Пи» («Ассошиэйтед пресс», год основания 1848) обойти тебя на повороте. Но рождение новости, даже сенсационной, в Москве не всегда отзывается за океаном. Законы политической сейсмографии неисповедимы: точно на полпути из Европы в Америку встала стена и поглотила токи...

Не получится ли так и в этот раз?

Но пакет с ленинским письмом увез в Стокгольм Бородин.

Идут дни — один, второй, третий. Скоро неделя, как Бородин покинул Москву. Где он сейчас? Очевидно, где-то копятся телеграммы: Бородин минул Петроград, он прибыл в Ревель, пароход бросил якорь в Стокгольмском порту... Сам он повезет письмо дальше или у него примет письмо другой, пока еще безвестный, но храбрый человек, готовый выполнить свой долг перед революцией?

И за каждым шагом Бородина испытующе следит Ленин: Петроград, Ревель, Стокгольм...

Кажется, что с тех февральских дней восемнадцатого года, когда в Смольном было получено сообщение о немецком наступлении, в жизни Республики Советов не было более жестокой поры. И огни Смольного будто переселились в Кремль: не спит Ленин. Карта на стене справа исчерчена его карандашом. Красная змейка карандаша протянулась по Волге, пересекла Сибирь, просочилась к Оке и объяла ее берега, неожиданно вспыхнула капелькой крови в самом центре России, под Тамбовом: третий день там бушует огонь кулацкого восстания. Ленин уходит в первом часу ночи и, вернувшись, застает рядом с пачкой утренних газет аккуратную стопку карточек из желтого картона. Неделя расписана плотно: речь на Всероссийском съезде просвещенцев, в Политехническом музее, в Алексеевском народном доме, на хлебной бирже, на заводе Михельсона... Письмо давно написано и отослано, но то, что было сказано в нем, не дает ему покоя. Может, поэтому в его речах все чаще возникает Америка.

«Возьмем Америку, самую свободную и цивилизованную. Там демократическая республика. И что же?.. Если фабрики, заводы, банки и все богатства страны принадлежат капиталистам, а рядом с демократической республикой мы видим крепостное рабство миллионов трудящихся и беспросветную нищету, то спрашивается: где тут ваше хваленое равенство и братство?»

Это он сказал на заводе Михельсона.

День был пасмурный, далеко не августовский, и под сводами гранатного цеха, где происходил митинг, отстоялся лиловый полумрак. Ленин закончил речь и направился к выходу. Рабочие хлынули вслед.

Владимир Ильич шел, окруженный живым кольцом. Кольцо было нерасторжимым и крепким. Оно смещалось медленно. По каменному полу цеха, через широко распахнутые ворота, по неяркой траве заводского дворика. Уже во дворе кто-то крикнул: «Товарищи, дайте пройти товарищу Ленину к автомобилю!» Кольцо медленно разомкнулось, и все увидели, как Ленин быстро идет к автомобилю, все еще приветственно подняв руку, один идет. Раздался выстрел, потом еще и еще. Кто-то крикнул и побежал. Ленин, опираясь на локти, старался подняться с земли. Его лицо было желтым, под цвет бледного, уже осеннего неба, под цвет неяркой травы...

...Он лежал в своей кремлевской квартире, и перед ним были только столик, покрытый льняной скатеркой, со стаканом воды, термометром, пузырьком валерьянки, горкой ваты да непросторное окно с облачным, уже ночным небом. В комнате было тихо (вода в стакане точно отвердела) и как-то одиноко. Казалось, тишина, что отстоялась здесь, распростерлась далеко в ночи, за пределами этих толстых дворцовых стен, за непробиваемыми валами и каменными глыбами Кремля. Ему невдомек, что комната за стеной полна людей, что город, да что город — вся страна в горестном смятении не может вот уже до полуночи сомкнуть веки... И казалось невероятным, что эту бурю человеческого беспокойства, которая грохочет и гудит вокруг, в состоянии сдержать стены комнаты, в которой он сейчас лежит.

Когда он закрывал глаза, все, что жило в нем в эти дни, что сшибалось друг с другом и единоборствовало, подступало сейчас к кровати, покрытой клетчатым пледом: и тревожные дымы пылающих деревень под Пензой и Рузаевкой, и гул голосов на митинге в Политехническом, и горящие увалы над Волгой, и это письмо в Америку...

Где оно сейчас: все еще по дороге в Стокгольм или минуло Стокгольм, а за ним Гетеборг, а может быть, и Берген и теперь где-то на пути в Америку? Где оно, это письмо? Ему показалось, что рука, схваченная лубком, онемела. Он попытался приподняться, и острая боль поразила его, боль в плече. Он скосил глаза: рубашка была в крови. «Надя,— произнес он (голос, что рука, занемел),— пододвинь подушку...» Где теперь письмо: в Швеции или уже в океане на пути в Америку?..

Он мог всего лишь сказать: «Где теперь письмо?» — и не знал, что на четвертый день путешествия Бородин прибыл в Стокгольм и передал письмо Воровскому. Не знал он, что именно в этот час по беспокойному осеннему океану (в Атлантике дули свирепые норды, и над норвежскими фиордами ветер гнал тучи мелкого снега) возвращался в Россию человек, которому суждено было сыграть немалую роль в судьбе письма, идущего в Америку. Он не знал и того, что человек этот прожил на чужбине одиннадцать лет, одиннадцать нелегких лет, как повсюду на белом свете живут гонимые: корабельный плотник, матрос, землекоп, грузчик. Была у человека фамилия, но больше фамилии было известно его имя, русское имя: Петр. В тот час, в тот нелегкий час Владимир Ильич еще не знал, какая тропа привела человека в дом с серпом и молотом на вывеске и столкнула с послом. Беседа была долгой и показалась человеку странной. Посол спрашивал Петра о том, что, на первый взгляд, не имело прямого отношения к делу. Как ему жилось в Америке, по каким морям он плавал и как добывал себе хлеб. Не знал и не мог знать Владимир Ильич и того, что беседа эта закончилась неожиданно для Петра: Воровский предложил ему вернуться в Америку с письмом Ленина. Бывает же так в жизни: достигнув родного порога и едва ли не взойдя на него, человек повернул на чужбину. И трудно было на месте Ильича нарисовать картину обратного пути, пути длинного и во сто крат более тяжелого, чем путь из Америки на родину: как скрывался человек от датской полиции, как прятал ленинские письма в асбестовом футляре, помещенном в печной трубе, как нанимался матросом на американское судно, как достиг, наконец, далекого берега и как в черной ночи, обвив себя канатом, спрыгнул с судна на берег и устремился нью-йоркскими ущельями искать жилье и убежище, и как принес двумя днями позже письмо Джону Риду... В жестокую августовскую ночь восемнадцатого года, когда Ленин лежал в своей квартире с трижды простреленным плечом, он не знал всех этих подробностей и не мог знать, как шло его письмо в Америку, но он знал и верил, что у него и его дела есть тысячи и тысячи друзей и сподвижников, которые донесут письмо до Америки и сделают его достоянием большого народа. Ленин не знал, что письмо сейчас у Рида, но как хорошо, что оно

попало в руки Джона Рида,— его страсть и преданность сделают все.

...Ленин поправлялся. В газетах был напечатан бюллетень, очевидно, последний. Перед опубликованием его показали Ленину. Владимир Ильич взял карандаш и, не без труда зажав его еще слабыми, неверными пальцами, приписал: «...Покорнейшая моя личная просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами».

Кто-то сказал мне, что Владимир Ильич был на концерте русского хора Пятницкого, а затем беседовал с Пятницким у себя. Нехитрое это сообщение объясняло все: и то, что здоровье Ильича быстро идет на поправку и что у него хорошо на душе, и то, что он со светлой радостью смотрит вперед. А потом Ленин появился в кремлевском дворике. Он был без пальто, в кепке, при галстуке, кстати, галстук был не будничным, в мелкую горошинку. Просторная черная повязка, поддерживающая от локтя до запястья его левую руку, была снята, и это тоже казалось добрым знаком. Он шел медленно, вложив руку в карман, ссутулив больное плечо. Накануне прошел дождь, однако солнце было сильным, не октябрьским, и высушило камни и землю. Только в колдобинах еще сохранилась вода. Ленин иногда смотрел на солнце, щурился и, приподнимая здоровую руку, точно старался отстранить ею дневное светило. Он встретил меня уже у входа в Малый дворец, больше обычного задержав руку над головой.

— Дим Димыч, а письмо наше дошло все-таки в Америку и распропагандировано в тысячах экземпляров! Говорят, довез наш, русский, и передал в руки товарищу Джону Риду.— Ну конечно же. Рид был его слабостью.— В тысячах! — повторил он и рассмеялся.— А вы говорили...

— Да не говорил я ничего, Владимир Ильич...

— Нет, нет... вы что-то говорили... Дим Димыч, что-то в вашем духе.

Он поднял руку, точно характерным этим жестом прося прощения за хорошее настроение, и вошел в Малый дворец.

Иногда мне кажется, что Владимир Ильич создал свое представление обо мне и не может с ним расстаться. Ему хочется видеть меня таким Дим Димычем, добрым малым, чуть-чуть нерасторопным и покладистым, кото-

рому легче даются слова добрые, чем злые. И вообще, как он полагает, меня должно устраивать не столько положение дипломата, сколько переводчика,— в этом случае собственное мнение необязательно. «Да не будьте вы этаким... боженькой! — точно говорит он мне.— И боги гневаются!» Он был немало озадачен, когда однажды после встречи с Вандерлипом в ответ на просьбу американца организовать в оставшиеся до его отъезда два дня новую встречу с Лениным я сказал, что просьба такого рода нарушает нормы, принятые в Москве и в Вашингтоне. Потом он часто вспоминал этот случай: «Впрочем, был... такой факт, когда вы превзошли самого себя, да, да, тот самый, с Вандерлипом, но, как свидетельствует молва, «и заяц может поджечь ригу». Подчас мне казалось, что в сознании Ленина существует два Рыбаковых: Дим Димыч, объект его незлобивых шуток, и Дмитрий Дмитриевич, молодой дипломат, пока еще ненаторенный в премудростях своей профессии, но желающий постичь ее честно. «Дмитрий Дмитриевич,— подходил он ко мне, и в его глазах появлялась та суровость, которая посещала его в минуты раздумий над большим и нелегким делом,— а не полагаете ли вы, что нам надо создать наше представительство где-то на тихоокеанском берегу Штатов, на таких же общественных началах, как в Нью-Йорке?..» Нет, человек остро наблюдательный, он постигал людей постоянно, и ничто не ускользало от его глаз.

Он сказал: «Говорят, довез наш, русский...», а сам, наверно, подумал: «А какой все-таки этот русский, что домчал письмо до Америки наперекор океану и длинным верстам, немецким минам и студеным штормам? Какой он, этот русский?» Быть может, Ильич даже захотел представить себе этого человека, с которым породнило его это письмо? Разночинец — бессребреник, шагающий по морям и океанам в поисках правды, или слабый отпрыск некогда знатного рода, отрекшийся от своих отцов во имя революции, или, наконец, пролетарий, верная и бесконечно храбрая душа, партии рядовой, из тех, первых... Какой он, этот русский?

Прошел год. Осень следующего, девятнадцатого года была в Москве теплой, и зелень удерживалась до позднего октября. Потом ударили морозы, один раз, второй, и точно огнем расцветило листву — ярко-желтые, оранжевые, густо-бордовые всполохи пошли гулять по садам

и паркам. Первый снег словно лег на огонь — как только он не зашипел и не задымился!

Уже в ноябре, когда Москва была завалена снегом, я встретил Джона Рида у книжных лотков, нашедших убежище под прочной сенью Китайгородской стены. Со времени его возвращения в Москву прошло недели три, он серьезно подумывал о своей новой книге, посвященной России, и собирал материал. Его походы к Китайгородской стене служили этой цели. Вот и сейчас в его руках была книга, разумеется старая и довольно редкая: «Россия и папский престол».

— Прямой разговор имеет свои преимущества, тем более с Америкой,— произнес я, листая книгу.— Это понимал, как мне кажется, Чернышевский...

— И Ленин,— заметил Рид и улыбнулся.

То ли дорога, идущая по скату Лубянского проезда, была легка, то ли тема разговора увлекла нас, мы пошли быстрее.

— А как вам все-таки удалось заставить американскую прессу...

— ...проглотить столь горькую пилюлю, как письмо Ленина? — прервал меня Рид.

— Да, пожалуй, так: проглотить пилюлю наигорчайшую... Как?

Рид остановился. Это было нелегко на крутом скате.

— Вы помните в письме Ленина пример с Люберсаком? Так вот вам мой ответ: иногда надо раскалывать угнетателей, обращая огонь одних против других.

— Именно к этому средству вы прибегли, чтобы напечатать письмо?

Рид пошел дальше, пошел медленно.

— Нет, я вам расскажу, как это произошло, а вы судите сами...— Он смахнул с книги легкие снежинки.— Я решил пойти с письмом Ленина... к кому, вы думаете? К сенатору Джонсону.

Да, Рид пошел к сенатору Джонсону и показал письмо Ленина. Рид полагал, что в борьбе со своими политическими противниками сенатор не преминет воспользоваться даже письмом Ленина. Рид хорошо знал Америку и рассчитал все верно: усилиями сенатора письмо стало известно Америке.

Рид взглянул на меня, его глаза, такие молодые, в этот снежный день были полны живой радости.

— Я не знаю, в какой мере выиграл в результате этой операции сенатор,— произнес он ликующе,— но коммунисты от этого определенно выиграли...

Вот и все, что хотел я рассказать об истории письма, отправленного в Америку. А как же гонец Ленина, тот русский, который после одиннадцатилетней разлуки с родиной едва ли не с отчего порога должен был повернуть на чужбину? Кто он, гонец Ленина?

Он доставил письмо, вернулся на родину и был у Ленина. Я представляю состояние Ленина. До сих пор он мог только догадываться, что есть такой человек, который возьмет на себя труд и риск доставить его письмо Америке, должен быть такой человек среди тысяч и тысяч друзей его великого дела, а сейчас этот человек был рядом с ним... Я представляю, как испытующе Ленин смотрит на человека: «Рассказывайте, товарищ, о себе, подробно рассказывайте». Человек говорит, а Ленин думает: «Нет, не разночинец, шагающий по морям, и не слабый отпрыск знаменитого рода, отрекшийся от своего прошлого во имя революции...» «Рассказывайте, товарищ, рассказывайте...» Человек говорит: «Русское имя — Травин Петр Иванович. Рабочий, призванный в революцию в тысяча девятьсот пятом. Приговорен к виселице. Спасся бегством за океан. Коммунист из тех, первых...» Человек говорит, а Ленин точно ловит себя на мысли: «Ну, разумеется, русский пролетарий, быть может, питерский, а возможно, ярославский, чьей большой правдой и верностью жива наша революция...» Человек продолжает говорить, а Ленин уже встал и зашагал по кабинету: «Коммунист из тех, первых,— готов он повторять без конца,— коммунист из тех, первых...»

ФЛАГ

Я жду приема у Ленина и оставшееся время использую для зрительного знакомства с теми, кто пришел сюда до меня.

Их двое. У окна сидит человек в байковой куртке; из того немногого, что он только что сказал секретарю, я понял, что он приехал накануне из Пигера по делам Академии наук. Поодаль, у входной двери, расположился военный — его ярко-черные брови необычно сочетаются с копной седых волос.

В те редкие минуты, когда он поднимает глаза, они обращены к двери кабинета — он явно досадует на человека, который беседует сейчас с Лениным: для такого позднего вечера тридцать минут — срок достаточный.

Военный не хочет скрывать своего волнения: пепельница, которую он держит на коленях, полна окурков.

Наконец дверь кабинета раскрылась, и на пороге появился крестьянин в холщовой рубахе, расшитой грубым, давно выцветшим узором. Он надел тулупчик, взял шапку-ушанку, вздохнул и, коснувшись ладонью груди, пошел к выходу.

— Вы видели, как он тронул грудь и посмотрел вперед?..— произнес военный.— Это жест человека, которому далеко до дому...

— Небось шел через горы и реки,— сказал я.

Военный встал, быстрым жестом смахнул с колен пепел, прошел к печи.

— Через горы — куда ни шло, а вот пройти через линию фронта, как сделал этот американец... пострашнее.— Из-под его исчерна-смоляных бровей смотрели на меня глаза, такие же густо-черные и сверкающие.— Знаете, когда снаряды стучат по каменистой земле, точ-

но кулаки в грудь, и воздух так напитан дымом, что... хоть зарывайся в землю... Если тебя за горло не взяло, не очень-то пойдешь в такое пекло...

— За горло? — переспросил я. Меня все больше захватывал рассказ военного об американце, перешедшем линию фронта.— Тогда почему же человек пошел?

— Почему?

— Да.

Военный взял пепельницу и загасил папиросу.

— Он шел к Ленину.

— Теперь?

— Да, пять дней назад, на границе в ста верстах от Риги,— сказал военный.

— И его пропустили наши?

— Разумеется,— заметил военный и добавил: — Как мне кажется, американец должен быть уже здесь. Такой моложавый, то ли Брайд Мак, то ли Мак Брайд.

— По-моему, его не было,— сказал я.

— Тогда ждите,— произнес военный и улыбнулся.— Стоит ждать.

Через фронт — с белым флагом! Однако этот американец должен быть человеком незаурядным... И я увидел вдруг сумеречное утро после недавнего дождя, озерца воды с отражением черных дымов, набегающих на землю валами, унылые бугры вдоль траншей, невысокие, в рост человека, столбы, разбежавшиеся по полю и для надежности связанные колючей проволокой (чтобы удержали строй), унылую гладь поля и человека, идущего через поле с белым флагом.

В эту осень в Москву съехалось много американцев, и мудрено было обнаружить среди них человека, о котором говорил в тот поздний час мой собеседник. В особняке на Софийской набережной жил американский издатель — он отказывался покинуть Россию без того, чтобы не увидеть Ленина. В Москву прибыла делегация старообрядцев, представляющих русскую общину в Сан-Франциско,— по их словам, поездка в Россию утратит многое, если они не встретятся с Лениным. И, наконец, корреспонденты... В Наркоминделе, в большой приемной Чичерина, и в полуденный час, и в час полуночный можно было встретить иностранных корреспондентов; при этом американцы, как было еще в Смольном, задавали тон... Чичерин читал телеграммы корреспондентов; если

удавалось улучить минуту, приглашал корреспондентов к себе, нередко журил с той веселой дотошливостью, с какой умел это делать только он. Мне было интересно наблюдать в эту минуту Чичерина. В жилете, с закатанными рукавами сорочки, он стремительно двигался по кабинету. Иногда в пылу полемики Чичерин выходил в приемную, корреспонденты окружали его, и едва видимая пелена дыма, заполнявшая приемную, медленно сгущалась. Впрочем, бывало и так, что купол дыма, укрывавший всех, кто стоял под люстрой, точно раздавался и был слышен голос Чичерина:

«Дмитрий Дмитриевич, вы знакомы с новым корреспондентом «Тана»?»

Так было и в этот раз.

Пепельная мгла под большой люстрой, где Чичерин сражался с корреспондентами, казалось, разверзлась:

— Дмитрий Дмитриевич, я хочу представить вам американского журналиста Мак Брайда и прошу быть его гидом при посещении Кремля.

Чичерин обернулся, щуря глаза,— не просто было рассмотреть человека.

— Мистер Рыбаков, мистер Мак Брайд,— произнес Георгий Васильевич.

Человек поклонился мне, и его улыбка, застенчивая и строгая, точно озарила в этой табачной полумгле лицо. Он был могуч в плечах и, как мне показалось тогда, довольно высок. И мне подумалось, что, когда он шел по этим болотам, белый флаг в его поднятой руке был виден издалека.

— Как вы полагаете,— спросил он меня, и его глаза, только что такие горячие, будто обдало холодным ветром,— могу я спросить мистера Ленина о том, в какой мере Советское правительство... намерено привлечь к эксплуатации своих недр иностранный капитал?

— Разумеется, мистер Мак Брайд, можете,— ответил я.

— Exellent! Отлично! — произнес мой собеседник и, достав из жилетного кармашка микроскопический блокнот и такой же величины карандашик, сделал необходимые записи.— И еще один вопрос. Почему в Советской стране меньшинство... правит большинством? — произнес американец.— Так, по крайней мере, формулирует этот вопрос наша пресса. Могу я его задать?

— Конечно,— сказал я.

И мой собеседник сделал следующую запись.

— И попросить разъяснений о сущности Советской власти... ее природе, ее принципах, ее институтах?—поднял на меня глаза Мак Брайд.

— Думаю, что вы получите ответ и на этот вопрос,— заметил я.

Мой собеседник вдруг улыбнулся.

— У мистера Мак Брайда есть еще вопрос? — спросил я.

— Да, разумеется, есть вопрос, но... деликатный.

— Ну что ж... Можете задать и его,— заметил я.

— Нет, я, пожалуй, этот вопрос не задам! — решительно заявил Мак Брайд и, наклонившись ко мне, произнес доверительным шепотом: — Знаете, наша пресса пишет о разном... подчас даже фантастическом... и есть вопросы, о которых спрашивать неудобно.

— Почему же... спросите,— подтвердил я.

— Вы полагаете? — просиял он.— Нет, наверно, не спрошу!

Он так и не признался мне, какой вопрос волновал его. Да это, пожалуй, было и неважно.

Кстати, мне подумалось, что он был очень искренен в своих сомнениях, в тревогах своих. В сочетании с тем немногим, что я уже знал о Мак Брайде, это его качество было мне особенно симпатично.

Что заставило его взять в руки древко с куском белой ткани и пошагать через рубеж, разделяющий враждебные армии? Не просто же страсть к сенсации? Среди тех американских газетчиков, с которыми меня свела судьба в эти годы, было немало таких, кто стал журналистом по зову сердца, по призванию. В этом случае газетчик был искателем правды и на пути к ней, многострадальной и недоступной, готов был идти в огонь. Помните Рида? Его походы по белым мексиканским пескам, когда вместе с воинами Вильи и Сапаты он врывался в горящие города? А какая мечта привела в Россию Мак Брайда? Седоголовый человек с черными бровями сказал мне в тот вечер: «Он шел к Ленину...» К Ленину? Но с какой целью? Конечно, первое впечатление обманчиво, но Мак Брайд, как воспринял его я, был не очень похож на того газетчика, для которого сам факт интервью у премьера, тем более красного премьера, был вож-

деленной мечтой жизни. Очевидно, Мак Брайд шел к Ленину за иным, что имело отношение к самому американцу, что определяло его тревоги и помыслы.

Как было условлено, я встретил Мак Брайда у Троицких ворот без четверти три.

— Очевидно, минувшая ночь прошла в раздумьях: задавать тот проклятый вопрос или нет? — спросил я американского корреспондента смеясь.

— А откуда вы знаете? — вспыхнул Мак Брайд.

— Вы хотите сказать, что я ошибся?

— Нет, вы правы,— произнес он и пошел быстрее.

Мне показалось, что, ускорив шаг, он хотел не столько уйти от разговора, сколько от своих собственных мыслей — сомнения все еще одолевали его.

Мы вошли в приемную, и, обратив глаза на Мак Брайда, я был поражен цветом его лица — нет, оно казалось не смуглым, а белым. Мне было понятно состояние моего собеседника: в конце концов он был на исходе длинного и трудного пути.

Как я понял, в строгий распорядок ленинского дня вторглись внеочередные дела и прием начнется с небольшим опозданием. Я попросил у секретаря последний номер «Таймса» и передал его американцу. Мак Брайд тихо ахнул («Таймс» от 2 сентября в Москве — не сюрприз ли это?) и углубился в чтение передовой,— о лучшем средстве справиться с волнением нельзя было и мечтать.

Было двенадцать минут четвертого, когда дверь кабинета едва слышно приоткрылась и на пороге появился Ленин.

— Рад вас видеть. Извините, что задержал,— произнес Владимир Ильич.

Мак Брайд пошел навстречу Ленину. Казалось, что при одном взгляде на улыбающегося Ленина все переживания Мак Брайда кончились.

— Наоборот, извинения должен принести я, что побеспокоил вас своим визитом,— развел руками Мак Брайд.— К тому же самая середина дня, для вас это не просто.

— Прошу вас.— Ленин предложил гостю войти в кабинет первым и, поотстав, поднял на меня веселые глаза.— Ах, Дмитрий Дмитриевич, вместо того чтобы за-

нять гостя беседой, вы перепоручили эту обязанность лондонскому «Таймсу»! — Смеющиеся глаза Ленина остановились на газете, которую только что держал Мак Брайд.

— Но ведь это было гостю интересно,— попытался возразить я.

— Вы хотите сказать: интереснее, чем беседа с вами? Однако сегодня вы не щадите себя.— Ускорив шаг, он быстро обогнул стол.— Прошу вас,— указал он американцу на кресло и, дождавшись, пока тот сядет, опустился сам.— Как вам Москва, что видели, как долго намереваетесь остаться у нас? — произнес Владимир Ильич и бросил на американца стремительный взгляд.

Мне подумалось, что эта фраза, такая непринужденно-радушная и, в сущности, обычная, нужна была ему, чтобы внутренне сосредоточиться — беседа обещала быть напряженной.

— Мне была интересна Москва... и Большой театр, и Красная площадь,— ответил американец (и ему нужны были эти минуты, чтобы собраться с мыслями).— Кстати, мне говорили, что в первый же день по переезде в Москву вы обошли Кремль и осмотрели его памятники? Новая власть бережет русскую старину?..

— Я люблю Кремль,— улыбнулся Ленин.— С его холмов видна история России.

Он точно взглянул на кремлевский холм издали, с высокого и тугого разлета Москворецкого моста, когда Кремль возникает у тебя на глазах непередаваемо молодой, в завидной могучести своих дворцов, храмов и теремных церквей. Вот там устремил чистое золото Иван Великий, развернул круглые плечи Большой дворец, невысоко приподнял над землей свои купола Архангельский собор, не купола, а ядра, и стена, кремлевская стена, точно могучие руки, взяла в охапку холм со всем его благородным золотом и разноцветьем,— так русская крестьянка сплетает сильными руками сноп сжатого хлеба.

— Согласитесь, что эта любовь новой власти к старине почти парадоксальна? — спросил Мак Брайд.

— Почему же? — возразил Ленин.— Народ почитает свою старину не только в России. В конце концов, это его жизнь.

Мне показалось, что американец насторожился. Не

собирается ли он воспользоваться и этой репликой Ленина, чтобы решительно приблизиться к сути беседы и задать первый вопрос?

Мак Брайд вздохнул и сжал губы. Небо над Кремлем заметно потускнело, и в неожиданно наступивших сумерках точно растушевалась смуглая кожа Мак Брайда — сейчас были видны только белки его глаз, напряженно-белые, тревожные.

— Вы сказали: народ,— заговорил Мак Брайд; он, очевидно, искал возможности задать свой первый вопрос.— Но, как утверждает западная пресса, народ и правительство в новой России — понятия неравнозначные, больше того: на Западе полагают, что в России диктатура меньшинства...

Ленину явно стоило труда усидеть за столом.

— Пусть те, кто верит в эту глупую сказку, приедут сюда, встретятся с людьми и узнают правду,— едва слышно произнес Владимир Ильич и, подняв ручку, лежащую на белом листке бумаги (перед нашим приходом он писал), опустил ее на чернильный прибор, опустил бесшумно.— И рабочие, и крестьяне, по крайней мере большинство их, за Советскую власть и готовы защищать ее ценой жизни.— Ленин пододвинул свой стул к креслу Мак Брайда.— Вы говорите, что были на фронте и вам разрешили общаться с солдатами Советской России, и не просто общаться с солдатами, но осуществлять ваши исследования, да, исследования.— На секунду Ильич умолк. Он не хотел это деликатное слово «исследования» заменить никаким иным.— Кстати, у вас была возможность понять дух рядовых. Так или нет? Вы видели тысячи людей, живущих на черном хлебе и воде... Я пойду дальше: может быть, вы видели больше страданий в Советской России, чем могли себе представить. Во всем этом велика роль и вашей страны,— заметил Ленин медленно, будто хотел дать возможность американцу осмыслить эту фразу.— А теперь ответьте мне,— продолжал Владимир Ильич,— если в столь невыносимых условиях народ берет в руки оружие, чтобы защищать Россию — заметьте, новую Россию,—наверно, она и ее порядки в какой-то мере устраивают народ? Тогда о какой диктатуре меньшинства может идти речь?.. Нет, нет, теперь ответьте мне вы.— Ленин махнул рукой и рассмеялся.— Я жду вас: ответьте...

Мак Брайд молчал, нетерпеливо потирая виски, точно кончиками своих чутких пальцев пытался нащупать стерженек мысли, которая так необходима была ему в эту минуту.

— Нельзя жить на одной планете, не питая друг к другу какого-то доверия,— произнес Мак Брайд; его голос хранил еще строгие тона.— Все, что вы говорите о себе, для западного мира это не более как пропаганда... Мы, американцы, люди деловые, мы готовы верить даже словам, однако в той степени...

— ...в какой они соответствуют делу? — быстро подсказал Ленин.

— Если хотите, в какой они соответствуют делу,— заметил Мак Брайд и медленно вобрал в рукава свои белоснежные манжеты.— Короче, намерена Россия иметь дело с американцами, желает ли она в какой-то мере раскрыть перед ними кладовую своих недр... Кстати, есть американцы, которые утверждают, что Россия пойдет с Америкой и на широкую торговлю, и на концессии. Правы они?

— Да, они правы,— воодушевленно поддержал Ленин.— Меня часто спрашивают, правы ли те американцы — противники войны с Россией, прежде всего буржуа, которые ожидают от нас после заключения мира не только возобновления торговых связей, но и возможных концессий. Я повторяю еще раз: они правы. Продолжительный мир явился бы таким облегчением для трудящихся России...— Ленин замолк на миг и взглянул на карту, висящую направо от него, большую экономическую карту России; последнее время он все чаще говорил о концессиях, и у него была необходимость постоянно видеть карту.— Россия предоставит на разумных началах Западу концессии и примет техническую помощь от Запада. Мы не можем не считаться с объективным историческим фактом: новая Россия сосуществует бок о бок с миром капитала, и всякая иная политика была бы ошибочной.

Как это было много раз прежде, когда мне доводилось переводить Владимира Ильича, по мере того как продолжался разговор, Ленин укреплял контакт с собеседником и сама беседа становилась все увлеченнее. Нет, здесь действовала не только система доводов Ленина, всегда ощутимо веских, взятых из самой жизни, но и та

страстность, то неизменно вдохновенное состояние, которое охватывало его, когда дело касалось святая святых его интеллекта, его душевного мира — убеждений. Не мог Владимир Ильич говорить иначе, когда речь шла о том, во что он верил, что было самой сутью его многотрудной жизни. И еще: всю жизнь эти свои убеждения он сообщал людям, откалывая их от того мира, завоевывая их ум и сердце. Я даже представляю, какое удовольствие испытывал он каждый раз, когда в глухой и темной стене, которую подчас напоминали заблуждения человека, ему вдруг удавалось проломить брешь.

Вот такое состояние Ленин испытывал и сейчас, увидев, что хмурая неприязнь и предубежденность преодолены и хотя по инерции человек еще мрачно противится, но разум, всесильный разум внемлет голосу правды.

— Господин Ленин, поймите меня правильно,— вдруг произносит Мак Брайд.— Я воспитан в том мире, и наши институты, наши главные институты...

— Парламент? — спросил Ленин.

— Быть может, и парламент,— быстро отозвался американец,— казались мне справедливыми... а вот Советская власть, да, Советская власть как форма правления... полагаете ли вы, что именно она соответствует интересам русского человека... нет, не буржуа, разумеется, а крестьянина, рабочего, и способна защитить его совесть, светлый голос его ума?

По мере того как Мак Брайд развивал свою мысль, я видел, как волнение охватывало Ленина. Мак Брайд еще не кончил и Ленин не разомкнул губ, но внутренне Владимир Ильич уже спорил с американцем, и голос мысли, неукротимо яростный, стучался и рвался наружу.

Мог ли иначе отозваться Ленин, когда речь шла о Советской власти,— не было для него детища роднее, в ее жилах текла его кровь.

— Что до Советской власти, то она стала хорошо знакомой умам и сердцам рабочих масс всего мира,— произносит спокойно Владимир Ильич, подчеркнуто спокойно — оно, это спокойствие, стоит ему сейчас немало.— Повсюду трудящиеся понимают гнилость буржуазного парламентаризма, необходимость власти Советов, власти рабочих масс, диктатуры пролетариата, понимают, что иначе от ярма капитала они не освободятся.— Беседа достигла кульминации, он хотел сказать все, что

хотел сказать, и ему трудно было усидеть, он встал, быстро пошел по комнате.— И Советская власть победит во всем мире, как бы яростно ни бушевала мировая буржуазия! — воскликнул он; революционер в нем был неотделим от премьер-министра (такого сочетания история не знала).— Концессии концессиями, но мировая революция с повестки дня не снята. Буржуазия топит Россию в крови...— Он вновь зашагал по комнате, зашагал крепко, так, что вздрогнул стеклянный колпак настольной лампы, на витой подставке качнулась и зазвенела металлическая ручка.— Буржуазия причиняет рабочему классу России небывалые страдания блокадой и той помощью, которую она оказывает контрреволюционерам.— Он достиг дальнего угла комнаты и остановился. Ленин был возбужден и бледен.— Да, да, помогает контрреволюционерам, но мы уже разбили Колчака и сейчас воюем с Деникиным с твердой уверенностью в близкой победе...

Когда он возвращался к столу, я заметил: его шаг был и не так тревожно-стремителен, как прежде, и не так порывист (ручка на витой подставке утихомирилась и лежала непривычно спокойно) — либо он устал, либо смирил в себе тревогу после того, как было высказано главное.

— Погодите, но вы не задали вопрос, который хотели задать... тот самый, деликатный! — заметил я, когда мы с американцем шли кремлевским двориком.

Мак Брайд обратил ко мне бледное лицо — в своих мыслях он был еще в ленинском кабинете.

— Упаси вас бог!—серьезно произнес американец.— Там я понял, что не смогу спросить его об этом, никогда не смогу спросить его об этом...— добавил американец и облегченно вздохнул; только сейчас он справился со своими сомнениями.

— Простите, но какой все-таки это был вопрос? — спросил я.

Мак Брайд взглянул на ровный ряд просветов Малого дворца, пытаясь разыскать два окна ленинского кабинета.

— Я хотел спросить его,— Мак Брайд указал взглядом на окна,— верно ли, что ваш закон о национализа-

ции распространяется и на советских граждан.— Он не без труда оторвал взгляд от окон, прибавил шагу.— Но когда я увидел этого человека с его заботами о благе...— Он остановился, внимательно взглянул на меня.— А вы знаете... из-за океана он подчас видится иным, совсем иным...

Когда я прощался с Мак Брайдом у Троицких ворот, я немало сожалел, что не увижу его. Да и разговор, который у нас начался с ним до его беседы с Лениным, как мне думалось, не был окончен. Этот человек казался мне интересным и очень хотелось продолжить с ним беседу. Однако Мак Брайд, по его словам, мог уехать из Москвы еще сегодня, и я простился с ним, простился без надежды встретиться вновь.

Но произошло по-иному. Около полудня стало известно, что вечером состоится беседа Чичерина с корреспондентами. Речь шла о мирных переговорах молодого Советского государства с прибалтийскими республиками. Эту новость я, разумеется, никак не связывал с отъездом Мак Брайда и был очень обрадован, увидев его вечером у Чичерина: значит, узнав о пресс-конференции, он отложил свой отъезд. Мы обменялись с ним приветственными взглядами, при этом он дал мне понять, что хотел бы видеть меня, как только пресс-конференция закончится.

Мы вышли с ним из Наркоминдела уже в одиннадцатом часу и пошли заметно обезлюдевшей в этот поздний час Тверской к гостинице «Люкс», где жил Мак Брайд.

— А это, наверно, не так просто быть премьером и оставаться, постоянно оставаться обыкновенным человеком,— произнес он, когда мы минули Каретный.— Без наигрыша, без рисовки, обыкновенным человеком, связанным живыми нитями с людьми и доступным людям. Согласитесь, не так просто? — Он задумался, и мне показалось, что его сосредоточенность, напряженную работу мысли фиксируют и его размеренный шаг, и сомкнутые губы.— Когда мы вошли в кабинет и я увидел его, я поймал себя на мысли чисто профессиональной: я подумал, как представлю его своим читателям, и уже смотрел на него глазами тех, кто будет о нем читать, только их глазами.— Шаг Мак Брайда стал почти бесшумным,

как, впрочем, спокойнее стал его голос.— Слушайте, вот что я скажу своим читателям об этой встрече. Ленину можно дать лет пятьдесят, он среднего роста и, как мне показалось, хорошо сложен — говорят, он всегда увлекался спортом. Он подвижен, скажу больше — деятелен физически, несмотря на то что с того августовского дня, вы понимаете меня, носит в себе две пули. Его голова показалась мне массивной, лоб широким и высоким, рот большим, а глаза широко расставленными, в них то и дело вспыхивал острый огонек, особенно когда он смеялся. Его волосы кажутся чуть-чуть пламенеющими, с рыжинкой. Когда он приближался ко мне, я отчетливо различал на его лице морщинки. Некоторые полагают, что это от смеха, но мне думается, не только от смеха, но и от нелегких раздумий и, быть может, страданий, которые принял он, когда был гонимым. Я еще заметил, что во время нашего разговора он все время смотрел мне в глаза. Этот прямой взгляд не мог принадлежать человеку, который хочет быть с тобой настороже. Наоборот, этот взгляд свидетельствовал об искреннем интересе и, казалось мне, говорил: «Я верю, что вы друг. Во всяком случае, у нас будет интересный разговор...» Когда мы располагались у стола, он пододвинул свой стул ближе к моему и повернулся так, что его колени были рядом с моими. Я еще заметил, что он пожал мне руку очень искренне, а когда я вышел из его кабинета, то поймал себя на мысли: кого из государственных деятелей мира я могу поставить с ним рядом? Признаюсь, что я подумал о нашем Линкольне, чей образ возник передо мной в ту минуту. Позднее я объяснил это простотой и скромностью костюма Ленина: на нем были ботинки, как у простого рабочего, поношенные брюки, мягкая рубашка с черным галстуком. Но, может быть, дело было и в ином... У Ленина, как и у Линкольна, доброе и сильное лицо.

Ну что ж, для Мак Брайда это было высшей похвалой: Ленин напомнил ему Линкольна.

— Значит, был расчет идти через линию фронта с белым флагом? — спросил я американца.

Он остановился, удивленно и строго взглянул на меня. О белом флаге между нами не было сказано ни слова.

— Был расчет,— ответил Мак Брайд.

НОЧЬ

Вечер приходит в кремлевский городок своей стежкой. Зашумели деревья в Тайницком садике сухой листвой и смолкли. Вспыхнул закатный блик на карнизе Малого дворца и нехотя перекочевал на крышу. Меловые стены церквей вдруг стали синими, а потом лиловыми. И свет в городке стал лиловым. А закатный блик уже зашагал по куполам и вспыхнул на Иване Великом. Вспыхнул и погас, точно передал непрочный свой свет далекой звезде, что уже зажглась на вечернем небе. Пока блик перебирался с карниза на крышу, с крыши — на золоченые купола кремлевских церквей, солнце село...

Восемнадцатый год. Конец октября.

Вечер.

Стол придвинут к окну.

Видны крыша арсенала и окна верхнего этажа без единого огонька.

Перевод должен быть закончен еще до полуночи: статья из «Таймса» о планах французов в бассейне Черного моря.

На столе секретаря рядом лежит русская газета. Во всю страницу аншлаг: «Наши войска преследуют врага за Волгой. Позади Самара, Сызрань, Симбирск, Казань...» Мне стоит труда, чтобы не взглянуть на газету еще и еще. От одних этих слов захватывает дух.

Представляю, с каким волнением и радостью взял в руки эту газету Ленин: «Позади Симбирск...» Телеграмма от бойцов Первой армии была недавно, помните, та, о взятии Симбирска. И ответ Ильича: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны». После Симбирска были Сызрань и Казань. Красный флажок на своей боль-

шой военной карте Ленин передвигал сам. И все-таки эти новости выглядели с газетного листа необычно: «Наши войска преследуют врага за Волгой... Позади Самара, Сызрань, Симбирск, Казань...» Я вижу, как он развернул газетный лист, наклонился и отпрянул, отпрянул резко — волнение ворвалось в грудь. Захотелось крикнуть: «Послушайте, послушайте, кто там есть...» Но он сдержал себя. Медленно встал, опираясь на правую руку (левая все еще болит — в плече пуля). Встал и придвинул стул, медленно зашагал по кабинету: от пальмы — к кафельной стене, а потом опять к пальме. Подошел к окну и свободным, не знающим предела взглядом окинул небо, сизо-черное, будто в грозовых бурунах,— ах, выйти бы сейчас на берег моря, на простор, на ветер!

Дверь в кабинет открыта. Видна спинка кресла, книги в шкафу позади кресла, полураспахнутая дверца шкафа. Час назад Ленин ушел из кабинета. Тихо, и только телефонные звонки и голос секретаря:

— Кто приехал?.. Товарищ из Америки?.. Ах, тот, что с пакетом?.. Разумеется, ждем... Да, от Тома Мунни...

Я не ослышался: так и было сказано — от Тома Мунни. И точно кто-то положил на грудь теплую ладонь: Мунни. Я смотрел в окно. Где-то над Москвой собирались тучи. Они теперь были ливневые. Неосторожно тронь их — и потоки ливня зальют город. Я смотрел в окно и видел лицо человека. Бледный лоб, очень высокий: человек уже начал лысеть. Лицо немолодого рабочего, может быть отца семейства. Жизнь не баловала его: вон какие морщины разгулялись по щекам, хотя человек и не стар совсем. Он, кажется, литейщик. Наверно, лет двадцать простоял у печи. Я знаю: нет ничего более жестокого, чем белое пламя литейной. Огонь иссушил кожу лица, устояли только глаза. Устояли и глядят на мир бесстрашно, с надеждой. Нет, он не трибун, с виду конечно, и не вожак рабочей рати. Он просто рабочий, знающий, почем фунт лиха. А это не так мало. Его самоотверженность отсюда. И, наверно, трезвость и упорство в борьбе. Упорство рабочего человека, знающего, кто ему друг и кто враг, хорошо знающего, кто ему враг. Он умел разговаривать с отцами города и в открытом бою неизменно брал верх. Но то, что не удалось сделать в открытом бою, отцы города (да только ли они?) сделали тайно.

Первые газетные сообщения. Очень сжатые. «На военном параде в Сан-Франциско взорвалась бомба». И следующее: «Полиция сбилась с ног. Арестован вожак местных синдикатов Том Мунни». И, естественно, портрет Мунни, тот самый: впалые щеки, глаза, заполненные тенями. Америка смотрела на портрет. Миллионы людей напряженно всматривались в лицо человека. Еще Мунни не сказал ни единого слова в свое оправдание. Ни единого. Был только портрет. Конечно же, портрет на газетном листе не может сказать всего. Но было немало людей в Америке, которым он кое-что сказал. Он слишком зрел и умудрен опытом бытия. Эта строгость и эта мудрость в глазах, мудрость ума, а может быть, и жизни. Его бросили в тюрьму летом шестнадцатого года. Сейчас осень восемнадцатого. Больше двух лет. Суд уже состоялся: смертная казнь. Приговор обжалован. Ответа нет. Он ждет казни. В больших американских тюрьмах казнят по четвергам. Человек ждет от четверга к четвергу. Прошел четверг, и впереди точно сто лет жизни. Точно сто лет, а жизни всего шесть дней. Только шесть. Человек шагает по камере. По диагонали — три шага, по прямой — два. Шум шагов да блеск крыши напротив. Солнце приходит только туда, а в окне камеры отраженный свет, да и то июньским утром с семи до половины десятого. А сейчас осень — солнце ушло на год. От июня до июня, что от четверга до четверга... А где следующий июнь? В том веке?.. Нет, до него не достать... По диагонали — три шага, по прямой — два. Нет солнца. Сумерки. Они тяжелее темноты. Если в Москве одиннадцать, какой час в Сан-Франциско? А в Москве сколько сейчас? Где-то в коридоре бьют часы, и их удары неторопливо идут по комнате: одиннадцать... двенадцать...

Открылась дверь — на пороге человек. В руках действительно пакет. Нет, не белый в толстом конверте. Пакет тщательно зашит в материю: может, сатин, а может, атлас. Такой идет на подкладку. Человек стоит ко мне спиной. Я вижу его большие красные руки, на дворе холодно. Он кладет пакет на стол секретаря и едва удерживается, чтобы не потереть руки,— на дворе действительно холодно.

— Да как вам сказать,— говорит человек; голос, что руки, тоже плохо слушается — надо отогреть.— Все было: и легко и лихо.

Да, он так и сказал: лихо. Сказал с тем особым выговором, с каким произносят это слово украинцы. Осторожно закрылась дверь. Человек ушел. Едва слышно зашумели шаги; в них была задумчивость, а может быть, и усталость. Наверно, она была и прежде в человеке, эта усталость, но только теперь, когда дело сделано, она взяла человека в плен всего.

Я приподнялся, взглянул в окно, но человека мудрено было увидеть. Ночь теперь была черной, как кусок атласа, что лежал на столе. И только слышались шаги человека, все такие же размеренные. Шаги по камню. Но смолкли и они. Да и пакета уже нет на столе. Его отнесли Ленину, сейчас он дома.

И снова телефон гудит в ночи.

«Враг потеснен за Волгу... Наступление развивается...»

«В Москву пришел эшелон с хлебом».

И телеграммы из Нью-Йорка, одна, вторая:

«Спасти Тома Мунни...»

Опять Мунни!

Ленин, наверно, уже вспорол черную материю и извлек письмо.

— Надя, Надя!.. Ты взгляни, ты только взгляни, какое это письмо! Помнишь Копенгаген и друга Лунина?

— Лунина?..

— Как же... эм, дабл о, эн, уай...

— Ах да...

И он пододвинул письмо в поле света настольной лампы, и свет точно разрезал письмо надвое. Видна только подпись: «Том Мунни».

Он вспомнил Копенгаген, конгресс социалистов, ну да, тот самый, на котором разыгралась эта знаменитая дискуссия о кооперативах. Ленин выехал туда из местечка Порник на берегу Бискайского залива. Домик таможенного сторожа, в котором приютили Ленина с семьей, стоял у самого моря. Если смотреть с берега (он здесь очень высокий), то чайки над лиловой водой казались седыми и даже мелово-белыми. Корабли шли далеко от берега. Были видны лишь их мачты и редко-редко корпус. Корабли опасались приближаться к берегу: у моряков Бискайя пользовалась дурной славой («Бискайская яма», «Кратер Бискайи» или просто «Злая вода»). Казалось, что блестящий круг моря — это всего лишь ма-

ковка горы, поднятая почти к самым облакам. Наверно, так должна выглядеть плоская вершина Столбовой горы, ее срез. Склон начинается у горизонта, очевидно очень крутой. Будто корабли силятся взобраться на вершину (на горизонте неясно мелькнул срез мачты, потом корпус) и не могут: то ли сил недостает, то ли терпения. На самом деле корабли опасались приближаться к острогрудым камням Бискайи и, едва приметив их, уходили прочь. Но у берега Бискайя была мирной, по крайней мере в лето десятого года.

Ленин любил сидеть на камнях и смотреть в море. Иногда он беседовал с хозяевами. Они рассказывали ему о здешних людях, тружениках моря, рыбаках, грузчиках, чернорабочих Бискайи, обо всех тех, кто связал жизнь со своей грозной кормилицей. Хозяевам пришлись по душе их русские постояльцы умной простотой характера, точным и скромным образом жизни. А от уважения до привязанности и, может быть, настоящего доверия — один шаг. И под вздохи моря, то стесненные, как при сердцебиении, то мерные, как при легком шаге, жена сторожа поведала русским одну из своих тайн. Хозяйка — католичка, у нее есть свой духовник. Он хорошо знает семью хозяйки: мужа, сына, пожалуй, сына даже лучше, чем мужа. Он знает, как ведет себя малыш в семье и на улице, как учится. Пастор установил, что в семье таможенного сторожа растет способный малыш, очень способный. «Самые способные из христиан должны посвятить себя распространению веры Христовой,— однажды сказал духовник женщине.— А чем при монастыре не школа? Она даст вашему сыну не худшее образование, чем школа светская. Нет, не только богословие, но и математика, родное слово...» Конечно же, жена сторожа не вольна была возразить своему духовнику, но подумать она была вольна. «Математика — хорошо...— подумала жена сторожа.— А как... свобода?» На свете нет ничего, на что бы человек мог променять свободу. Нет!.. Она не отдала сына.

Ленин вспоминал этот разговор вновь и вновь. Он вспоминал его не раз и на Бискайе и в Копенгагене, куда вскоре направился с Надеждой Константиновной на конгресс социалистов, и еще позже, в Стокгольме, куда приехал для встречи с матерью, встречи и прощания, последнего прощания.

В Копенгагене русские делегаты часто ездили на море. У конспирации свои законы — море не выдаст. Иногда рядом с русскими были американцы: могучий, с черной перевязью, закрывающей глаз, Билль Хейвуд и худой, с бледным лицом Том Мунни. В здешних местах нет ничего приятнее сентябрьского моря: спокойного (штормы приходят в ноябре) и еще теплого. Русские и американцы шли берегом. В море садилось солнце. Чем ниже оно опускалось, тем становилось больше, багровее. Казалось, солнце коснется поверхности воды, и вода заклокочет и задымит. Вот таким зловеще огненным и огромным виден из телескопа Юпитер. Но море приняло дневное светило молча. Только вода всхолмилась и побелела — так, по крайней мере, виделось это людям. Мунни шел рядом с Лениным. «Кстати, как пишется ваша фамилия? — спросил Ленин.— Эм, дабл о, эн, уай?.. М-у-у-н?..— Ленин указал взглядом на пугливый лик луны, выдвинувшейся из-за облаков: прежде чем обнаружить себя, луна явно хотела удостовериться, что солнце уже зашло.— М-у-у-н! Луна!.. Вы — Лунин!.. Ну что ж, и у русских есть такая фамилия — Лунин!..» А солнце провалилось в море, и вода теперь была не белой, а желтой, как в Бискайе после заката. И Ленин вспомнил Порник, домик таможенного сторожа и разговор с женой сторожа. Она так и сказала: «На что бы человек мог променять свободу?» Они долго шли берегом, и Мунни сказал: «Свобода! Нет ничего прекраснее...» И Ленин откликнулся: «Да, друг Лунин, нет ничего прекраснее...» А потом был Стокгольм, тоже море. Корабль, русский корабль уходил в Россию, и Ленин провожал на пристани мать.

Нелегко ей было приехать сюда. Семьдесят пять лет — это очень немало. Но встреча с сыном была слишком дорога Марии Александровне, и она решилась. По утрам по своей давней привычке Ленин работал в библиотеке, но зато после обеда он был неотлучно с матерью. В девятьсот четвертом во Франции, когда они встретились последний раз, Мария Александровна хотела многое видеть, и они бывали с сыном повсюду. А здесь даже знание немецкого не увлекало ее. Дни их свидания были сочтены — месяц примчался и умчался на крыльях,— и свою более чем скромную комнатку в отеле они предпочитали прелестям шведской столицы. Они точно

предчувствовали, что это их последняя встреча. Она сидела у окна и, по своему обыкновению, что-то шила, а он смотрел на нее из глубины комнаты. За окном пламенело предвечернее небо. Его блики текли по цинковым крышам, по монашеским клобукам куполов, по блестящей хвое сосен — парк был рядом. Ленин смотрел на мать: это было похоже на чудо. Она явилась сюда из далекого далека, что отстояло от этих мест на многие десятилетия, она явилась сюда из детства. И все принесла с собой, ничего не забыв, все самое дорогое: дом с садом позади, отцовский кабинет с уютным креслом и стопкой «Русских Ведомостей», и радостную солнечность большой комнаты, и, наконец, Волгу со Свиягой, просторы поля и неба. Она могла, как сейчас, даже надолго умолкнуть в своей светлой думе, покорно сложив перед собой маленькие, в морщинках, руки, но все оставалось с нею. И глиняный кувшин с холодным молоком из погреба. И ломоть серого, обсыпанного мукой пшеничного хлеба, которым они завтракали в детстве. И деревянная шкатулка, в которой мать берегла школьные сочинения Саши и Ани, Оли и Володи. И рояль, на котором она играла по вечерам,— дети засыпали под мерные его вздохи. И ее сопрано, очень душевное, и эта ария из «Аскольдовой могилы» — так хорошо она получалась у мамы.

А может, от нее неотделимо не только детство, но и годы юности, годы суровой зрелости, годы борьбы — бессонные ночи, тревожные ночи, когда уводили из дому ее детей у нее на глазах, одного за другим... И угрюмая полутьма тюремных сторожек, и желтый свет фонаря на мокрых стенках, и холодный мрамор судебных палат и присутствий, и более чем напряженный диалог с сановными жандармами: «Можете гордиться своими детками: одного повесили, а о другом также плачет веревка!» И ее голос, полный неуступчивой силы: «Да, я горжусь своими детьми!» А сейчас она сидела тихая, исполненная мудрой печали, и вечернее солнце, коснувшись цинковой крыши напротив, высеребрило ее платье. Счастье ее сейчас уместилось в сумеречных стенах этой комнаты — только бы сын был рядом, ощущать его дыхание, слышать голос его.

Лишь однажды она нарушила устоявшийся порядок здешней жизни: пошла в город, пошла с сыном — он выступал перед рабочими. Никогда прежде она не видела

его говорящим с трибуны. Нелегко ей было не выдать своего волнения — она совладала. Только раз, когда сын гневно возвысил голос, говоря о палачах России, Мария Александровна побелела. Быть может, в ее памяти встала весна 1887 года, Петербург и речь старшего сына — речь Саши на процессе народовольцев.

А потом — стокгольмская пристань, расставание... Ленин бережно подвел мать к мостику, прощаться надо было здесь; вот здесь, у трапа, ему предстояло последний раз видеть мать, говорить с нею. Уже палуба корабля была запретной — там он был бы государственным преступником. Сырая мгла Шлиссельбурга, камни Алексеевского равелина, снег и рытвины Владимирки, Сибирь, смерть начиналась за полированным, коричневого дерева барьером палубы. И в какой уж раз на ум пришли слова, сказанные женщиной из Порника и с таким чувством повторенные Мунни! Помнится, американец произнес эту фразу с глухой тоской, будто бы догадывался, что враги его уже гнут и калят железо, в которое навечно закуют его.

«Лунин... Друг Лунин, как ты?..»

Ленин берет письмо и идет в кабинет. Коридор затемнен и заполнен тишиной. Он идет неторопливо. О чем он думает сейчас? Вот весть об Октябрьской революции разлетелась по миру и окрылила людей надеждой. Разлетелась по всему миру и прибавила простым людям и силы и веры. Всем людям, даже тем, для которых уже погасло солнце. И надо все сделать, чтобы укрепить в человеке волю к борьбе, ободрить, прибавить силы.

Ленин ушел к себе, но дверь к нему открыта.

На какой-то миг смолкли звонки, и тишина, теперь уже полуночная, вошла в Кремль — в городе он засыпает последним.

Слышен лишь голос Ленина:

— На провод Симбирск... на провод.

Он произносит «Симбирск», как, наверно, произносил это слово в детстве: энергично, с характерным Ильичевым «р». Сказал «Симбирск» и, наверно, вспомнил июньское солнце на волжском песке, запах ромашкового луга у Волги, цветение вишен за домом в садике, который выходила мать, светлое платье матери, склонившейся над молодой яблонькой, бесконечно родной голос: «Дети, помогите мне окопать это деревце...»

— Волгу на провод...— говорит он и замолкает, точно ждет, когда за окном стихнет ветер.— Все города: и Казань, и Самару, и Сызрань...

Он говорит, а я думаю: «Вот как своеобразно он встретился сегодня ночью со своим детством».

— Каждый город — база наступления... Наступления... Наступления...

И эти слова невидимо перекликаются у него с письмом, которое он получил из американской тюрьмы. Невидимо перекликаются.

А он вновь переждал, пока стихнет ветер, и вновь заговорил, теперь уже громче прежнего, с очевидным намерением, чтобы его услышал и я.

— Рыбаков здесь? Я, кажется, видел здесь Рыбакова...— И еще громче: — Дмитрий Дмитриевич, вы здесь? Зайдите, пожалуйста.

Он стоит посреди кабинета. На столе — кусок атласа, того самого, в который был зашит пакет, пришедший из Америки. В руках — бумага, извлеченная из пакета, тонкая, просвечивающаяся. Волнение, вызванное письмом, не покидает Ленина. Дыхание затруднено (это я слышу), да и прежней свободы движений нет: несколько дней назад он снял левую руку с перевязи.

— Вот, получил письмо из Америки! — произносит он, едва приподняв над столом руку — он оберегает ее от резкого жеста.— Переведите. Надо, чтобы его прочли все... все прочли...

Я беру в руки письмо.

— Но это будет через час, Владимир Ильич, а может, и полтора...

— Ничего, я сегодня уйду не скоро...

Он показывает взглядом на стол, застланный военной картой, и невысоко поднимает руку, но опустить ее уже не может. Некоторое время он держит ее вот так, на весу, и смотрит на меня. В глазах смятение и легкая обида на себя («Ах, не надо, не надо было поднимать руку!»), но боли в глазах нет — он не хочет, чтобы его боль была видна людям.

— Да, да, время не ждет.— Он встал уже над картой, и его мысли перенеслись в далекие заволжские степи.— Есть такой момент, чисто психологический,— отсюда и известный военный закон: если не развивать успех и не преследовать противника, ему потребуется немного

времени, чтобы пережить потрясение. Где-то там, между Волгой и Уралом, враг уже собирает резервы... копит силы... копит...

Я иду из кабинета. Двери, как прежде, распахнуты: из кабинета — в зал заседаний Совнаркома, из зала — в комнату секретаря, где стоит и мой стол. Я иду и слышу, как позади меня тревожится голос Ленина:

— Все фронты мне на провод... Все фронты... Наступление!..

А письмо уже лежит передо мной, и кусок черного атласа действительно похож на небо над Кремлем. И, как прежде, я вновь вижу лицо Мунни, слышу голос его:

«...Приветствую вас, товарищи, в ваших исканиях, в вашей величественной борьбе!

Привет вам, русские рабочие, и в несчастьях, и в невзгодах, и в скорби вашей.

Мне хочется сказать вам, что всем своим существом я с вами; что во мне, в моей скромной по своему значению личности, вы имеете искреннего вашего сторонника и горячего приверженца вашего великого дела.

Не проходит дня, чтобы я мысленно не был с вами. Ваши могучие усилия, ваши напряженные искания влекут мои думы к вам...»

А Ленин невидимо созвал в этой ночи Совет Обороны, и голос его гремит над страной, и его раненая рука простерлась над просторами Родины.

— Развивать успех, развивать!.. Наступление!..

И голос Мунни, идущий издалека, рядом с голосом Ленина в этой ночи, ощутимо рядом:

«Я ваш приверженец, я иду по вашим стопам, насколько условия моей теперешней жизни позволяют мне, а условия эти (таковы уж они) не слишком позволяют проявить себя.

Я печалюсь вашими печалями, страдаю, пока у вас неудачи, и ликую, когда вы одерживаете победы...

Мое личное положение весьма серьезно, но это вопрос лишь моего собственного спасения. Гораздо больше меня интересует спасение того, что достигнуто рабочим классом России в его борьбе...

Еще больше сил, еще больше могущества я желаю вашему удивительному революционному духу, которым проникнуты все ваши честные намерения и благородные усилия.

Величайшее несчастье жизни моей — это то, что я не могу участвовать в вашей славной работе, вместе с вами...»

А Ленин точно разбудил ночь, растолкал, растормошил первозданную тишину полуночи. На проводе — штаб Первой армии, Второй, Третьей, штаб Восточного фронта.

— Наступление...

И голос Тома Мунни:

«...Это послание я передаю с одним русским товарищем, который возвращается в Россию, чтобы присоединиться к русским борцам в их великой работе.

Я передаю его своими руками из «Сан-Францисской Бастилии» в надежде, что вы его получите.

Искренне, честно, по-братски я ваш в деле освобождения от капиталистического рабства».

И голос Ленина живет в этой ночи:

— На Урал... на Урал... Наступление!..

А ночь сгустилась и начала редеть.

Стихли телефоны, и последний самокатчик со срочным пакетом выехал из кремлевских ворот.

— А как письмо Тома Мунни? — спросил Ленин.

Я вошел в кабинет и положил письмо, английский и русский тексты.

Ленин взял русский текст и углубился в чтение. В эту ночь ему предстояло еще раз пережить это письмо.

Очевидно, что-то новое, а поэтому и волнующее открылось ему в письме в этом новом чтении.

— Владимир Ильич...

— Нет, нет... я дочитаю.

И потом голос Ленина, очень тревожный,— он говорил по телефону, объяснял, настаивал, а может, и требовал:

— Надо рассказать миру об этом человеке... Рассказать о его вере и преданности и поднять в людях все самое чистое, благородное и спасти... Во что бы то ни стало спасти... Да, да, энергией, волей миллионов спасти.

Когда минут через десять я вошел в комнату вновь, свет был выключен и Ленин стоял у окна.

Его лицо было таким же строгим, как прежде, но не было уже усталости. Глаза были устремлены вперед, туда, где горели подожженные зоревым солнцем облака, а может быть, дальше, много дальше.

Ночь кончилась. Всходило солнце. Солнце надежды.

ДВОЕ

Не доводилось ли вам зимой или даже в начале весны встречать в Москве гостей, прибывающих с Запада? Право же, смешно наблюдать, как гости выходят из вагона, подняв пудовые воротники (разумеется, воротники сооружались для русской поездки), и через десять минут, к изумлению, а может быть, и к стыду своему, обнаруживают, что их не опалило знаменитой московской стужей. Видно, неумирающий призрак восемьсот двенадцатого года навсегда поселился в западном мире...

Март девятьсот девятнадцатого.

В Москву прибывала миссия Вильяма Буллита. (Цель миссии? Видимая — нормализация отношений между союзниками и Советской Россией. Истинная цель, разумеется, была иной.)

Под стеклянным шатром перрона зашумели колеса, и паровозный пар мягко потек по асфальту. Поезд последний раз вздрогнул и остановился. Я готовился увидеть, как из вагона двинутся на перрон тяжелые шапки и дохи, но был немало удивлен, когда увидел Буллита в более чем легком пальто. То ли он похвалялся своей храбростью (он любил демонстрировать ее и позже), то ли молодостью (ему не было еще тридцати), то ли завидной могучестью своих рук и плеч (как истинный дипломат, он знал, что спортивные успехи — гимнастика, верховая езда, даже бильярд — могут оказать магическое действие на карьеру), а может быть, и первым, и вторым, и третьим.

Буллит обменялся рукопожатием, откланялся и двинулся к выходу. Видный, пышущий здоровьем, знающий цену человеческой гордыне, Буллит будто бы говорил всем, кто этого еще не уразумел: «К вам приехал Вильям

Буллит. Вы только подумайте — сам Буллит пожаловал к вам! Поздравляю!..» Он шел впереди, вся остальная миссия — поотстав. Кстати, это соответствовало и физическому росту сподвижников Буллита. Одни были ему по надбровные дуги, другие — по подбородок.

Однако вскоре Буллит остановился и стал дожидаться, очень терпеливо, пока с ним поравняются все, кто шел позади. Он дождался и с величайшей покорностью и почтительностью (до сих пор она не угадывалась в нем) обратился к человеку в бобровой шапке, который был ему по плечо и которого в этом церемониальном марше американцев бесконечно устраивало место завершающего. Да, рядом с Буллитом оказался маленький человек с бородкой клинышком, с белыми аристократическими руками и с манерами... Нет, он нисколько не чувствовал себя ниже Буллита, даже физически. Теперь они шли к машине рядом, и, пока это продолжалось, он ни разу не пытался поднять на Буллита глаза. Наоборот, Буллит все ниже сгибался к нему, как бы подчеркивая свое почтение.

Буллит задержался у машины, очевидно приглашая своего собеседника воспользоваться ею, потом поспешно сел в автомобиль, а тот, в бобровой шапке, отказался. Буллит уехал, а человек с острой бородкой медленно оглядел площадь. Он увидел девицу в зеленой, не по сезону, шляпе. Приподняв подол длинного, в немыслимых оборках платья, девица быстро перебегала площадь. Не без любопытства оглядел красноармейца в старой шинели и новом шлеме с ярко-красной звездой. Потом он долго смотрел на женщину в лаптях, которая стояла поодаль и держала у губ пальцы, сложенные щепоткой,— знак русского горя...

Да не Линкольн ли это Стеффенс, имя которого я увидел час назад в списке американцев, прибывающих в Москву? Кого ожидает он и не нуждается ли все-таки в машине? Он видел меня среди встречавших. Может быть, он не сочтет за бестактность, если так просто подойти к нему и предложить машину? Я подошел и назвал его Стеффенсом — да, это он, я не ошибся,— однако предложение о машине не воодушевило его. Он взглянул на меня пристально, от этого взгляда его лицо не стало добрее.

— Нет, благодарю вас... Я ожидаю друзей. Они запаздывают...

Да, это был знаменитый Линкольн Стеффенс, автор книги «Позор городов» и «Времена Твида в Сан-Луисе», один из рыцарей более чем грозного легиона «разгребателей грязи». Суд Стеффенса, суд честного пера, был для промышленных и финансовых магнатов грознее официального правосудия Америки: он был неустрашим и неподкупен.

Я уехал. Машина шла через город, а эти двое — Буллит и Стеффенс — не покидали меня. В самом деле, какой смысл преуспевающему дипломату, едущему в Москву с более чем ответственной миссией, брать с собой такого человека, как Стеффенс, и к тому же недвусмысленно демонстрировать симпатию к нему? Какую роль может взять на себя Стеффенс и сочтет ли он уместным взять ее на себя — роль щита, парирующего удары, или разящего меча? А может быть, по мысли Буллита, Стеффенс призван, сам не догадываясь об этом, дезориентировать Москву? В самом деле, один-два разговора Буллита со Стеффенсом на людях, подчеркнутое внимание к Стеффенсу или кажущаяся задушевность в отношениях могут расположить русских. Старая истина жива и сегодня: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты... А возможен и иной вариант: Буллит способствовал поездке Стеффенса, чтобы показать ему Россию девятнадцатого года, Россию, потонувшую во тьме нетопленных и неосвещенных городов... «Этим... брюзжащим надо показывать красную Россию именно теперь... Показать и оставить наедине со своей совестью: пусть думают!..» Или еще вариант: столкнуть неуступчивость старого либерала, безжалостно сшибить его привередливую правду с правдой красной России. Да, чем не замысел: обрушить на большевиков страсти Линкольна Стеффенса! Пусть сожжет он их своей бескомпромиссной совестью.

На другой день Буллит был в Наркоминделе у Чичерина.

Он заметно смутился, когда увидел Чичерина в полувоенном костюме. Что мог подумать Буллит? «Очевидно, советский министр иностранных дел предпочел в этот раз военный костюм черной паре, чтобы недвусмысленно дать понять знатному иностранцу, что революционная Россия не сложит оружия, пока последний иностранный солдат не покинет ее пределов...»

Буллиту стоило труда улыбнуться, когда пришло вре-

мя представлять своих сподвижников по делегации. Он это делал тщательно, не уходя за пределы официального характера встречи. Чичерин, наоборот, был прост и приветлив. По своему обычаю, протокольное рукопожатие он сопровождал одной-другой фразой, часто очень непосредственной... А костюм, военный костюм Чичерина? (Кстати, Георгий Васильевич любил этот свой костюм.) Ну что ж, пусть суровый защитный цвет, как цвет неласкового фронтового неба, напоминает иностранцам о жертвах России. По многовековой традиции, русские — любезные хозяева, но именно в силу этой традиции и опыта они не склонны обманываться: война продолжается...

— Как приняли гости русскую зиму? — произнес Чичерин, смеясь, и взглянул в окно — там мартовское солнце, уже весенне-яркое, растекалось по снегу.— Не обожгла она, наша зима, не опалила?

Гости рассмеялись, и только Буллит невесело и внимательно посмотрел на Чичерина и сощурил левый глаз, стремясь сдержать дрожащее веко (в минуту волнения оно трепетало неудержимо): он искал в этих словах второй смысл.

Через полчаса американцы покинули кабинет Чичерина.

Буллит казался необычно возбужденным.

— Послушайте, Стеффенс,— склонился Буллит к нему почтительно,— мы едем сейчас смотреть Москву. Да, да, по большим и малым ее кольцам...— повторил Буллит с очевидным намерением показать, что осмотр будет отнюдь не официальным.— Хотите с нами?..

Стеффенс смешался. Он печально и смятенно посмотрел вокруг.

— Мы едем... Как вы?..— Буллит выразил голосом нетерпение.— С нами?

Мне казалось, что едва заметная белизна тронула щеки Стеффенса.

— Да, я готов.

Они уехали.

Они уехали, и опять, как накануне, эти двое овладели моим сознанием. Да, Буллит не терял времени даром и постоянно держал в поле своего внимания Стеффенса. Прежде чем Стеффенс соберется посмотреть Москву, Буллит хотел показать ее сам.

Вечером раздался неожиданный звонок в Наркоминделе:

— Стеффенс просит принять.

Он вошел встревоженный, утомленный.

— Можно?

Долго сидел, не говоря ни слова. Сейчас ему не пятьдесят три, а все шестьдесят. Лицо стало желтым и рыхлым, ввалились глаза, его воинственно устремленная вперед бородка потеряла прежнюю форму.

— Не могли бы вы быть вместе со мной?.. Я хочу видеть Москву. Только не сегодня, а завтра... Я хочу все видеть в истинном свете, а вечер обманывает...

— Но вы сегодня смотрели Москву...

— Нет, это иное... совсем иное.

— Ну что ж, пожалуйста.

Уже за полночь меня вызывают к наркому. Он работает едва ли не до утренней зари. Он все в том же полувоенном костюме, но вокруг шеи повязан шарф.

— Застудил горло...— произносит он, не отрывая глаз от газеты. Он понимает, что сочетание пестрого кашне и военного костюма выглядит более чем своеобразно.— Эти мартовские ветры не по мне...— Он отрывает глаза от газеты, смотрит на меня, смотрит удивленно, будто впервые увидел меня.— Устали, наверно? Нет, нет, скажите откровенно... Устали? Чаю хотите, горячего и крепкого? Сколько там на часах? — близоруко всматривается он в циферблат настольных часов.

— Скоро два, Георгий Васильевич.

— Два... Еще рано. Нет, нет, вы не смейтесь, действительно рано...— Он откидывается в кресле, как-то сразу потеряв интерес к газете и к чаю.— Что-то я сегодня устал раньше обычного. А знаете, чем лечится усталость безошибочно?

— Чем, Георгий Васильевич?

— Музыкой. Сяду за инструмент — и словно в озерной воде искупался. Даже вот так, ночью...— Его глаза повлажнели.— В ночи хорошо играется. Ах, музыка мудра, мудра... В ней человек обогнал самого себя на тысячелетие... Слушаешь, и одна мысль: вот на каком языке заговорят наши далекие потомки... Их язык будет точнее, тоньше, может быть, в нем будет больше интеллекта... Как вы думаете?

Он встал, пошел по комнате, дошел до дальней стены.

Там, в тяжелом багете, бушующее море, холмистое, в черно-белых тучах, в штормовом дыму — Айвазовский.

— Хорошо играется...— Он быстро взглянул на меня.— Ну, как вам нравятся наши гости?.. Этот молодой, да ранний? Вы заметили, как он брал папиросу? Тремя пальцами. Есть в нем грубая самоуверенность молодого буржуа. Явление чисто американское... Однако внешне вполне лоялен... А этот Стеффенс хорош. Что ни говорите, а в нем прощупывается аристократическая косточка. Вы заметили, как он смотрел на Буллита? Наверно, так владетельный князь смотрит на нувориша... Или это сравнение устарело? Кстати, Стеффенс приезжал в Петроград летом семнадцатого года и, кажется, слушал Ленина... Был у вас? Просит показать Москву?.. Полагаете, что хочет проехать с вами по тем местам, где был накануне с Буллитом?.. А что может означать такой план?.. Ну что ж... Все, что захочет увидеть, надо показать, но объяснить... ничего не оставить без ответа... объяснить... Однако сегодня я действительно устал...

Я ухожу.

Где-то далеко-далеко от кабинета Чичерина, в затемненном коридоре, останавливаюсь. Нет, меня не обманул слух: я слышу сдержанное гудение рояля. Негромко, точно опасаясь потревожить покой большого дома, играет Чичерин...

Утром мы едем с Линкольном Стеффенсом смотреть Москву.

«Неужели он хочет повторить свой вчерашний маршрут?»

Прошла ночь, а он все еще странно возбужден, будто ко вчерашним тревогам и сомнениям прибавились новые.

— Что бы вы хотели увидеть в городе? — спрашиваю я.

Он устремил на меня пасмурные глаза.

— Что?.. Разумеется, то, что сочтете необходимым показать мне вы...— Он все еще не спускает с меня глаз, и неожиданно (так кажется мне) его лицо добреет.— Пусть это будет свободный полет, так сказать, из одного конца города в другой, но так, чтобы были не только дома, но и люди.

Набегают снеговые тучи, идет снег.

Стеффенс сидит рядом со мной и молчит. Даже за окно не смотрит.

Такое впечатление, что пытается додумать что-то очень важное, в чем-то разобраться до конца, с кем-то доспорить и защитить свою истину.

— Революция — это счастье в слезах,— вдруг говорит он и смотрит на меня.— А очень часто и несчастье... тоже в слезах.

— В слезах?

— Да, и в крови...

Однако вон какие костры запалил в нем первый день пребывания в Москве.

Где-то на Арбате старик в стоптанных сапогах с короткими, едва ли не по щиколотку, голенищами выносит из парадной двери особняка софу, обшитую бордовым плюшем. Он ставит ее на тротуар, садится и блаженно смотрит на небо.

Стеффенс просит остановить машину.

— Что происходит?

— Ущемление! — отвечает старик и, взвалив софу на спину, несет ее во двор, к флигельку, крашенному озорным ультрамарином.

Стеффенс идет вслед.

— Ущемление? — рассуждает вслух американец.— Что это такое?

Я перевожу ему это слово, объясняю, какой смысл оно обрело.

— Ущемление... ущемление...— повторяет он.

Мы следуем за стариком с софой и приходим во флигелек, в его большую комнату. Не обращая на нас внимания, старик осторожно сбрасывает софу с плеч и садится на нее, садится так, как сидел, когда софа стояла на тротуаре.

— Кто переезжает сюда? — спрашивает Стеффенс.

— Хозяин,— отвечает старик.

— А туда? — указывает Стеффенс на особняк.

— Туда... я.

— Почему?

— Как — почему? — недоумевает старик.— У меня семь душ семейства, а у хозяина трое...

— Но почему, почему? — настаивает Стеффенс.

Старику непонятно недоумение иностранца, потом его озаряет.

— Революция! — поднимает он указательный палец.

Стеффенс озадачен, он долго не может вымолвить ни слова.

— А вы кто? — наконец спрашивает он у старика.

— Кто я? — Старик светлеет. Видно, необходимость думать о себе окончательно приводит его в хорошее настроение.— Кто, говоришь, я?.. Сразу и не ответишь! Я, видишь ли, работный человек, кровельщик... Вот пригнись маленько — видишь в окне крыши?.. Да, да, цинковые и железные, некрашеные и крашеные — это все моя работа...

Мы идем со двора.

— Или тебе профессия моя не нравится? — кричит старик вслед.— Небось буржуй... А?..

Стеффенс останавливается и смотрит на меня, но я не перевожу: не очень хочется переводить ему эти слова.

В машине Стеффенс снова уходит в себя, молчит, не поднимая головы, только стекла очков блестят.

— А что все-таки сказал этот... кровельщик, когда мы уходили?

— Кажется, он принял вас за буржуа.

Стеффенс снимает очки: глаза живые, беспокойно-веселые.

— Да, да, я хорошо слышал... он сказал: буржуа, буржуа...

Потом быстро надел очки, точно спешил схоронить за их непроницаемым свечением движение и блеск самих глаз.

— А Ленин вернулся в Россию уже признанным вождем рабочих? — вдруг спрашивает Стеффенс.— Видимо, признание пришло к нему раньше?..

— Да, много раньше.

— Это... не простой факт. Не простой...

— Да...

На Брянском вокзале мы идем через рельсы. Где-то далеко у запасных путей общежитие молодых железнодорожников и их столовка. В общежитии разномастные кровати, одеяла тоже разномастные. На окнах столовой — марлевые занавески, столы без скатертей, но тщательно окрашены. Пахнет жареным луком и пшеном.

— Что на обед? — переспрашивает паренек в солдатской гимнастерке.— На первое — кондер, на второе и третье — тоже кондер...— заканчивает он, смеясь.

— Кондер? — не понимает Стеффенс.

— Да,— весело замечает паренек.— С дымком очень вкусно, особенно если в печку соломки подсыпать. Как в степу...

По-моему, парень тронул даже сердце Стеффенса.

— Степь... это Дон? — задумчиво спрашивает Стеффенс.

— Да, верно, Дон,— говорит парень.

— Вы оттуда?

— Точно... по мобилизации,— отвечает по-военному парень.— По партейной, так сказать...

Стеффенс идет к выходу.

— Может, попробуете кондеру... за компанию?..

— Что, что он сказал?

Я смеюсь:

— Приглашает к столу.

— Так...

Мы идем к выходу.

Уже на рельсах он останавливается.

— Кондер... Это очень вкусно?

— Как кому...

— Тогда почему они все такие веселые?

Теперь мы едем по нешироким улочкам, примыкающим к Петровскому парку.

— Ленин, говорят, из дворян? — спрашивает Стеффенс вне связи с тем, что говорилось только что: у его мыслей какой-то свой черед.

— Да, отец был дворянином.

— А среди его сподвижников есть дворяне?

— Если говорить о сподвижниках, то там больше рабочих и интеллигентов... Из разночинцев, знаете?

— А дворяне все-таки есть?

— Наверно, есть. Да важно ли это?

— Очень важно.

Машина движется медленно, и, заслышав ее шум, к окнам подходят обитатели маленьких особнячков, каменных и деревянных, каких много в этих улочках.

— Кто живет в этих домах?

— По-моему, военные, офицерство.

— Новое?

— Нет, почему же? И старое...

Он пристально всматривается в окна. Теперь и я вижу: к окнам приникли лица, много лиц. Женщина с белыми распатланными волосами, очень бледная. Юноша в гим-

назической форме, лица не видно, но неудержимо блестят на его форменной гимнастерке надраенные пуговицы — солнце прямо перед домом.

Калитка, врезанная в высокие деревянные ворота, распахнулась. Вышел старик в бакенбардах, с деревянной лопатой в руках. Короткая тужурка, отороченная заячьим мехом, полураспахнута. Виден стоячий воротник кителя. Старик уже наработался во дворе: лицо раскраснелось, верхние крючки кителя расстегнуты.

— Остановите автомобиль здесь,— говорит Стеффенс.

Мы выходим. Небогатый кирпичный особнячок. Дверь с облупившейся краской. Старинный звонок (из того века) с ручкой, которую надо дергать.

— Да, хозяин...— Старик торопится сцепить крючки на воротнике кителя.— С кем имею честь? — Голос стеснен дыханием.— Да, пожалуйста. Чем могу быть полезен?

Парадная дверь открывается.

Стеффенс просит у хозяина разрешения задать ему несколько вопросов.

Хозяин смешался.

— Я, собственно, не знаю, смогу ли быть вам полезен...— Он как-то судорожно ощупал свою большую костистую грудь, точно хотел защитить ее ладонью; рука у него тоже была большой, белой, в зеленых венах.— Впрочем, как будет угодно гостю...

Свободным и, как мне показалось, несколько церемонным жестом он указал на дверь (так хозяин приглашает гостей из гостиной в столовую).

Мы вошли в дом.

Все было затенено комнатными цветами: мощными пальмами с железными листьями, дымчатыми кактусами неожиданной яйцевидной формы, могучими фикусами с крупными полированными листьями и олеандрами с ярко-розовыми цветами,— их удушливое дыхание, чем-то напоминающее запах миндаля, казалось, наполняло дом.

— Тут вам не пройти без провожатого, в моих джунглях...— заметил хозяин, указывая дорогу к окну.— Вот заселил дом тропической экзотикой. Всегда считал, что полезно для моих легких... А на крещенье был доктор из молодых и сказал — вырубить! Ну конечно, не вырубить,

а убрать из дому... Что ж, убрать так убрать. В наше время мы должны уметь расставаться... и не только с цветами. Пожалуйте сюда...

Письменный стол придвинут к глухой стене. На столе — стопка писчей бумаги, чернильница на литой чугунной подставке с моделью пушки, очевидно именной подарок.

У стола — старинные стулья с мягкими кожаными сиденьями. Хозяин приглашает сесть.

— Чем могу быть полезен?

Стеффенс потонул в кресле — торчит только его бородка и очки, застланные бликами. За ними, как прежде, плохо просматриваются глаза.

— Наш хозяин артиллерист?..— Тонким перстом Стеффенс указал на пушку.

— Профессор артиллерии...— произнес тот и оглядел смеющимися глазами комнату.— Был... профессором артиллерии, был профессором... у богини войны.

— Был... в смысле того, что сейчас уже не является?

Профессор улыбнулся: у него, наверно, возникло желание разразиться тирадой, но он сдержал себя, почти сдержал:

— Я подал в отставку... вместе с моей богиней.

Теперь над креслом поднялись две руки, поднялись в нерезком движении, выражающем недоумение:

— В смысле того, что богом войны стал аэроплан?

Профессор возликовал:

— Нет, трехлинейная винтовка! Даже больше: обрез. Знаете, такое бревно с самоварной трубой...

Стеффенс не сразу уловил иронию:

— С трубой?

— Да, самоварной. Разве не понятно?..

Пауза.

Стеффенс смотрит по сторонам. Видит портрет в темной, мореного дуба раме. Время затенило портрет, но седые усы с подусниками и эполеты с пышной бахромой, расчесанной едва ли не так же тщательно, как подусники, не в силах затенить даже твердая копоть десятилетий.

— Профессия артиллериста в вашей семье преемственна?

Профессор вздохнул:

— Да, предки.

— Предки?..

— И потомки.

Стеффенс захрустел пальцами.

— Сыновья?..

Профессор протянул руку и сдвинул с места чугунную пушку. Там, где стояла она, глянул кусок новой клеенки.

— Два сына...

— Они с вами?

Рука с зелеными венами пододвинула пушку на прежнее место.

— Младший командует красной артиллерией на Волге, старший... осенью взят Чека и, кажется, расстрелян.

Руки Стеффенса упали.

— Он кто был? В том стане?..

Профессор продолжал смотреть на пушку.

— Эсер...— Он уперся взглядом в пушку, точно хотел ее сдвинуть вновь, на этот раз глазами.— Господи, слово-то какое... нерусское...

И опять профессор вел нас через зеленую полумглу, разгребая худыми руками скрипучие листья:

— Вырублю все... вырублю...

Потом мы ехали через Москву-реку, и Стеффенс остановил машину у моста. По льду, синему, истончившемуся, ветер мел сухой снежок — тонкая линия располосовала лед наискось.

— Раскололось... вы взгляните только, как раскололось!..

Стеффенс смотрел на полосу льда, на снег, на реку, но не о реке он думал в эту минуту, не о реке:

— Раскололось!..

Я заметил: в эти два дня он не произнес ни единого слова, которое бы точно определило его взгляд на то, что он увидел в Москве.

Вечером у Чичерина была очередная встреча с Буллитом. Американцы уехали из Наркоминдела в седьмом часу (они спешили в Большой театр на спектакль), уехали все, за исключением Стеффенса. Он позвонил мне и попросил разрешения зайти.

— Не смог бы я воспользоваться вашей любезностью... Нет, я займу у вас не больше четверти часа.

Я согласился.

— Да, переговоры начались...— произнес он, входя, произнес так, будто хотел всего лишь заполнить паузу,

Казалось, его ум занят бо́льшим, неизмеримо бо́льшим, чем то, что явилось поводом для его приезда в Россию.— Шел сюда и вспомнил Петроград в июле семнадцатого года. Помню особняк и балкон, оплетенный фигурным железом. Ленин говорил, а мимо шли толпы. Они останавливались, слушали и шли дальше, а на их место приходили новые.

Видимо, Стеффенс сказал все, что хотел сказать, и, откашлявшись, поднялся.

— А, наверное, нелегко отцу, когда сыновья вот так вдруг становятся лицом к лицу... врагами?

Он ушел.

Я так и не уразумел, это ли он хотел мне сказать или нечто иное.

Потом в коридоре послышались шаги. Открылась дверь — Чичерин.

— Вот хорошо, что я вас застал!..

Вошел в комнату, приблизился к журнальному столику, без видимого интереса развернул газету, бросил:

— Этот ваш... Стеффенс просится на прием к Ленину. Хотел бы, чтобы приняли его, только его... Что это значит?

Чичерин ушел.

В самом деле, что это могло бы значить?

Стеффенс не хочет, чтобы его смешивали с другими. Есть миссия Буллита — государственная. И еще есть Стеффенса — человеческая.

Нет, это не одна миссия, их две.

И человека два.

Двое.

Буллит понимает это не хуже нас. А лояльность Буллита?.. Это не столько суть его, сколько линия поведения. Старая истина гласит: «При всех обстоятельствах не лишай себя привилегии казаться доброжелательным».

И вновь неспокойные мысли обступают меня.

...Оркестр закончил вступление, и взвился занавес. Розоватый сумрак (на сцене рассвет) уже осветил сидящих в зрительном зале. Лицо Буллита, его округлые щеки, его нос, разделенный на кончике едва заметной бороздкой, его глаза с дрожащим левым веком (оно подергивается сейчас: что-то вспомнил и затревожился) точно покрыты маслянистой влагой и блестят больше обычного.

В ложу вошел Стеффенс и сел на свободный стул во втором ряду. Буллит обернулся к нему, улыбнулся сочувственно.

— Боже, когда вы отдыхаете?.. — Он явно испытывал неловкость, что позади него сидит Стеффенс.— Я смотрю на зал и думаю, что этот театр является клочком сухой земли в городе, затопленном водой революции... Вы видели толпы людей у входа? Как они ломились сюда!.. Будто здесь и только здесь их спасение...— Он помолчал, испытующе глядя на Стеффенса.— Прежде человек в своих мечтах стремился переселиться в будущее, теперь— в прошлое. Прийти в театр, чтобы переселиться в мирное время. Вы заметили, как зовут здесь прежние времена: мирное время...

Буллит умолк ненадолго.

— Вы взгляните только на эти лица... вы взгляните... Прав я?

А Стеффенс действительно смотрел на лица сидящих в зале. Их взгляд был устремлен дальше сцены... Что выражал он? Очевидно, театр был для этих людей клочком земли обетованной, здесь они говорили с будущим... Все хотят говорить с днем грядущим, но для них он больше, чем для нас... Больше?

Два человека смотрели в зрительный зал. Что они хотели увидеть в нем и что видели?

И у одного и у другого была перспектива встречи с Лениным. Как сложатся эти беседы? Миссия одного была государственной, миссия другого — человеческой. Кто знает, какая из них важнее и ответственнее.

Двумя днями позже стало известно, что Ленин принял Буллита.

Ленин изложил ему позиции молодой Советской республики. Да, прекращение военных действий на всех фронтах, войска интервентов должны быть выведены из пределов России и прекращена помощь антисоветским правительствам. Это главное. Все остальное — царские долги, торговля с Западом, правовое положение иностранцев, распределение продовольственной помощи, идущей из-за границы,— все остальное, как бы оно ни было важно, не может быть решено без решения проблемы главной.

На другой день утром раздался звонок от Стеффенса:

— Мне сказали, что вы будете присутствовать на моей беседе с Лениным...

Мы встретились в Наркоминделе в десять и пешком пошли в Кремль.

За ночь выпал снег и забелил крыши домов. Снег был мягким и, казалось, теплым; хотелось взять его в ладонь, сжать.

Стеффенсу было жарко в его тяжелой бобровой шапке. Он снял ее, подставил лицо солнцу.

— Когда мы уезжали из Парижа, там на улицах продавали мимозы... А через месяц обещали сирень... Но вот и в Москву пришла весна...

— Сирень у нас будет в конце мая,— сказал я.— Может быть, даже в июне.

Он оживился:

— Да, в июне я видел в Петрограде сирень. Очень хорошо помню, где-то в садике, за чугунной оградой, кажется, на Миллионной... Есть такая улица в Петрограде?

— Есть.

Мы поднялись на Красную площадь и пошли к Троицким воротам.

— А верно, что после покушения Ленин стал еще непримиримее в своей решимости отстоять...

— Что?

— Революцию...

— В этом у него не было недостатка и прежде.

Мы только что минули Троицкие ворота, когда далеко впереди возникла характерная фигура Ленина. Видно, у него была деловая встреча где-то в ином месте Кремля: в руках Владимира Ильича я увидел легкую папку, которую он нес, прижав к груди. До встречи с Линкольном Стеффенсом оставалось минут десять— пятнадцать, и Ленин заметно спешил. («А он еще одет по-зимнему,— подумал я.— Но скоро сменит пальто с шалевым воротником и шапку-ушанку на демисезонное черное пальто с плюшевым воротником и кепку с широким матерчатым козырьком — верх кепки он забирает назад».) Он шел, приподняв левое плечо: после ранения он по-особому, осторожно и как-то неловко, держал это плечо. Он шел рядом с тропкой, приминая неглубокий снег,— редкая возможность походить прямо по снегу.

— Ленин? — спросил Стеффенс и остановился пораженный.

— Да, Ленин...— сказал я.

Точно уговорившись, мы молча наблюдали, как Ленин приближается к входу в здание. Быть может, ему удобнее было войти в здание одному.

Теперь мы идем медленнее, и мысленно я провожаю Ленина. Он уже поднялся к себе и снял пальто. Достал платок и вытер вспотевший лоб — слабость. Вызвал секретаря и торопливо сел за стол — надо успеть подписать бумаги до приема,— все, что можно сделать свою минуту, откладывать не следует.

— Этот американский литератор, Линкольн Стеффенс... уже пришел?

— Должен быть с минуты на минуту, Владимир Ильич.

— Как только придет, скажите...

Мы ненадолго задерживаемся в комнате ожидания.

— Да, да, Владимир Ильич вас уже ждет.

Едва приметив нас в дверях, Ленин поднимается и быстро идет нам навстречу; его лицо еще хранит прикосновение ветра, щеки подрумянены, и ресницы влажны,— наверно, когда шел по снегу, смотрел на солнце.

— Здравствуйте... здравствуйте...— Он протягивает руку и указывает на кожаные кресла у письменного стола.— Я знаю, что вы бывали в России прежде. Какой вы нашли ее теперь?

Ленин пошел к столу.

Мне казалось, что Стеффенс тщательно обдумал вопросы, которые он предполагал задать Ленину, давно обдумал и все-таки волнуется. Стеффенс достает блокнот и кладет его на стол, извлекает карандаш и пододвигает его к блокноту, подвигает осторожно, будто соприкосновение карандаша и бумаги небезопасно. Ленин смотрит на него, прищурив глаза, и улыбка — как мне кажется, ироническая улыбка — тронула его губы. «Ну, ну, будет мешкать, решайтесь»,— точно говорит Ленин.

Признаться, и я затаил дыхание: как себя обнаружит Стеффенс в эту минуту, которая, больше чем любая иная минута за все время его пребывания в Москве, может быть названа кульминационной? Именно сейчас должны заговорить и немые глаза и сомкнутые уста, все недоговоренное, а может, и вовсе не сказанное должно быть высказано в эту минуту. То многое или, наоборот,

немногое, что мы знали об этом человеке, должно обрести истинную цену сейчас.

Стеффенс перевернул страничку блокнота и заговорил. Да, он пытался сформулировать свой вопрос. Он спрашивал, намерена ли революция продолжать репрессии против своих врагов.

Ленин встал.

— Это вас беспокоит? — спросил он, выделяя «вас».

Я взглянул на Стеффенса: у него хватило сил поднять глаза.

— Не только меня...

Ленин зашагал по комнате.

— Кого может тревожить это?

— Париж...— сказал Стеффенс изменившимся голосом.

— Париж! — воскликнул Ленин и шумно двинулся по комнате.— Хотите ли вы сказать,— произнес Ленин, не останавливаясь,— что те самые люди, которые только что организовали убийство семнадцати миллионов человек в бессмысленной войне, теперь озабочены гибелью нескольких тысяч во время революции? Это вы хотите сказать?..

Ленин шагал по комнате, а в кадке у стола вздрагивала и мелко трепетала твердыми листьями пальма.

— Если мы хотим победы революции...— сказал Ленин, остановившись у кресла Стеффенса; отражение фигуры Ленина легло на кафель позади.— Если мы хотим, мы должны знать, что революция не делается в белых перчатках...

Ленин вернулся на свое место. Лицо стало теперь бело-желтым. Он сидел, положив на стол руки. Казалось, что даже сердце уже унялось, а руки не могли успокоиться, им это было не под силу.

Ленин возобновил разговор не без труда, голос его был едва слышен. Он говорил, как победила революция в России, как она сплачивала народ, сколько терпения и мужества проявила новая власть, стремясь склонить на сторону народа нетрудовые слои населения, и чем закончились эти опыты... Гуманность была принята за слабость, терпимость — за малодушие.

— А об остальном вы знаете...— произнес Ленин.— Революция имеет право карать своих врагов... чтобы жили миллионы.

Стеффенс пристально смотрел на Ленина. Странное дело, но на лице Стеффенса я не прочел ни смятения, ни тем более несогласия. Наоборот, он был благодарен Ленину, что разговор, который начался столь бурно, не оборвался, не осекся на полуслове, появилась надежда его продолжать.

— Хорошо,— сказал Стеффенс,— предположим, вы действуете во имя большинства, но Россия — это прежде всего многомиллионное крестьянство. Дали вы крестьянам землю? Как серьезно вы улучшили положение деревни?..

Ленин взял лист писчей бумаги и мягкий карандаш.

— Вот наш курс в крестьянском вопросе...— произнес Ленин и провел прямую; он любил писать мягкими карандашами, и линия получилась жирной.— Вы хотите знать, где мы находимся теперь? — Ленин сместил карандаш в сторону от прямой.— Вот где мы находимся... Как вы понимаете, мы вынуждены были прийти сюда,— он измерил кончиком карандаша расстояние от первой линии до второй,— но наступит время, и мы вернемся к нашему курсу...— Ленин внимательно посмотрел на Стеффенса.— Главное — что мы знаем, на каком расстоянии мы сейчас находимся от основного курса, а следовательно, точно представляем, когда и как вернемся к нему.

Он пододвинул свой стул с плетеным сиденьем ближе к кожаному креслу Стеффенса (он делал это, когда у него устанавливался контакт с собеседником) и заговорил убедительно:

— Важно понимать, что это не отход от принципа, а временная мера, продиктованная войной...

Мы возвращались со Стеффенсом из Кремля.

Небо потемнело, падал снег.

...А вечером я был у Ленина вновь.

Казалось, что разговор со Стеффенсом происходил не сегодня: Ленин говорил на разные темы, много шутил и ни разу не вспомнил утреннюю беседу. И только перед самым моим уходом он вдруг дал понять, что все помнит.

— Знаю я вас... дипломатов,— произнес он, улыбаясь.— Вот был здесь у меня с иностранцем один ваш коллега. Сидел как на иголках, все опасался, как бы я не сказал чего лишнего! — Ленин встал и от удовольст-

вия потер руки.— Уж он и краснел и бледнел... Очень тревожился, что я скажу все напрямик и испорчу дипломатию... Представляю, как он крестил меня про себя: ах, не дорос Ленин до истинной дипломатии!.. — Он крупно зашагал по комнате, остановился в ее дальнем конце, произнес строго: — А ему невдомек: прямой разговор часто полезнее этой вашей... карусели. Правда лечит души...— Он посмотрел на меня пристально.— Кстати: Стеффенс... Поймет он нас, а? Поймет новую Россию?..

Он поднимает на меня глаза. В них — вечно бодрствующая мысль.

— Дипломат?.. Вот вчера я говорил Чичерину: нам нужна новая дипломатия. Какая?.. Способная идти на бой с врагом, идти самоотверженно, с сознанием, что дело твое единственно правое... Да, способная храбро сражаться за наши идеалы и собирать силы. Собирать!.. Все лучшее, что есть там, все честное, деятельное отвоевать у того мира... Правдой нашей отвоевать, правдой! — Он внимательно посмотрел на меня.— Ведь правда, Дмитрий Дмитриевич, у нас! А чего только человек не может сделать, когда на его стороне правда...— Он задумался, встал вдруг, быстро зашагал по комнате, остановился.— А к нам придут за честностью, за разумом, за жизнью светлой, за счастьем, в конце концов... Человек зрел. Он понимает: только наша правда может сделать его счастливым...

В начале апреля американцы уезжали из Москвы.

Пасмурные сумерки медленно заволакивали город, с минуты на минуту должны были зажечься электрические огни; все вокруг было сумеречным, затененным, светились только рельсы да островки неяркого весеннего снега между ними.

Буллит стоял у окна вагона. Он был мрачен, хотя, казалось, миссия удалась — позиции сторон были определены; думалось, соглашение возможно. И все-таки было нечто иное, может быть, даже большее, чем переговоры в Москве, что отравляло настроение Буллиту.

Раздались три звонка. К окну подошел Стеффенс. Он увидел меня и медленно поднял руку.

Поезд ушел до того, как на перроне зажглись огни.

Я видел, как движется поезд и два человека стоят у окна и смотрят на вечерние поля.

А мимо идет Россия, заснеженные поля с темными

пятнами оттаявшей земли на буграх, овраги, заполненные тьмой, увалы, перелески, деревни, долгие, как перелески, и, как перелески, темные, без огней.

Буллит смотрит на поля, на неоглядные поля и леса... Нет, дело даже не в переговорах. Чего-то он не увидел в Москве такого, что хотел увидеть, а что-то увидел зримо, как видят явь. Что именно? Новую Россию, решившуюся стоять насмерть.

И Стеффенс смотрел на необозримые просторы, что медленно проплывали рядом...

Два человека стояли во тьме и молчали. Да, да, посреди огромного, покрытого наледью русского поля, которое сейчас пересекал поезд, стояли два человека и молчали.

А за окном была Россия. Апрель. Девятнадцатый год...

Вот так мысленно я провожал Стеффенса до Парижа.

По моим расчетам, он должен быть там еще до середины апреля,— кажется, в эту пору в Париже зацветает сирень...

Я мысленно провожал Стеффенса, и одна мысль занимала меня: как откликнется Стеффенс на поездку в Москву, верно ли он поймет жизнь нашу, такую нелегкую и сложную в эту весну девятнадцатого года, советских людей, которые хотели быть и были очень искренними с ним, и, наконец, Ленина, напряженный и все-таки глубоко откровенный разговор с которым не мог не взволновать Стеффенса.

Потом пришла телеграмма, из которой я понял: Стеффенс уже в Париже, и сообщение, короткое сообщение, но в нем было все, чем это время жил я. Стеффенса встретил в Париже Бернар Барух, тот самый Барух, экономист и финансовый магнат.

«Так вы съездили в Россию?» — спросил Стеффенса Барух.

«Нет,— ответил Стеффенс.— Я ездил в будущее, и оно прекрасно...»

Думал ли он тогда, что на многие годы, которые ему предстоит прожить, эти несколько слов станут для него формулой надежды: «Я ездил в будущее...»

МАЛЫШ

И теперь, когда я прохожу мимо этого дома, я вспоминаю те далекие и бесконечные родные мне годы. Я вижу, как на площадь мягко въезжает старомодный «роллс-ройс» и останавливается у главного подъезда. Щелкает и легко распахивается дверца. Прохожие, перебегающие площадь, замедляют шаг.

— Чичерин,— произносит кто-то из них.— Приехал Чичерин.

Да, это действительно Чичерин. Прежде чем войти в здание, он на какую-то минуту останавливается и окидывает площадь взглядом, одновременно беглым и внимательным. Вот он увидел кого-то из сослуживцев, и его темные, чуть-чуть навыкате глаза просияли. Толпа горожан с радостным любопытством следит за ним.

— Наркоминдел Чичерин!

Он входит в здание.

— Здравствуйте! — раскланивается он. — Здравствуйте!

В приемной неяркий свет, темные панели пригасили его.

— Итак, что же я должен знать?

Эту фразу он произносит каждый раз после того, как отлучается из комиссариата. Ее следует понимать так: какие пришли телеграммы, какие были звонки?

— Звонил Ленин и позвонит еще.

Он входит в кабинет, краем глаза поглядывает на телефонный аппарат — ждет. Он садится за стол, на какой-то миг задумывается: «Ждать или звонить?» Чичерин берет трубку. Может быть, она кажется ему ручкой двери, за которой — Ленин. Сейчас откроется дверь, и Ленин приподнимет усталое лицо.

Трубка снята.

— Да, Владимир Ильич... Чичерин.

Вздрогнула мембрана и загудела. Это его голос; как всегда, возбужден.

— Конечно, Владимир Ильич,— говорит Чичерин.— Именно обзор... Нет, не только Европа и Америка, но и Восток... Большая пресса о больших проблемах... Да, разумеется.

Он кладет трубку, задумывается.

— Восток...

А у подъезда уже стоит машина со звездным флажком: у Чичерина прием. Беседа заканчивается через час. Дверь полуоткрыта, и все, кто дожидается Чичерина, слушают, как он прощается с заморским гостем. Главное, что составляет суть беседы, произнесено, и остается лишь, соответственно умению и такту, завершить встречу. Кажется, сами слова уже ничего не значат, и все-таки тишина становится ощутимо хрупкой, а слух таким восприимчивым! Французский, на котором говорит гость, кажется примитивным в сравнении с языком Чичерина. Легко, без видимых усилий он переходит с французского на английский и потом вновь возвращается к французскому. Мне кажется, что одно это способно повергнуть собеседника в уныние. В поединке, которым всегда является беседа дипломатов, это дает хозяину заметные преимущества.

Гость уехал.

Значит, большая пресса о больших проблемах? Так, кажется, он сказал Ленину?

Поздно вечером он излагает мне свой план.

— Я обещал Ленину: все самое существенное, что сообщила иностранная пресса сегодня, должен знать он. Главное — по нашим проблемам, потом по проблемам общим... Быть готовым ответить на любой вопрос, имена и даты держать в памяти. Кстати, когда открылась Версальская конференция? Дату!.. Нет, это не мелочь! Мы с вами должны знать и даты, это наша профессия. Итак, когда?

Я знаю, и это в его манере. Он любит вот так, полушутя, полусерьезно, озадачить собеседника неожиданным вопросом: «Дату!»

— Дмитрий Дмитриевич, вы теперь дипломат. Отныне это ваша профессия, а профессии учатся. Да, да, я не

боюсь этого сравнения: как мальчик, посланный на обучение к бондарю,— пока не научишься набивать обручи, не заработаешь сухаря! Нет, язык — это полдела! А вот уметь наблюдать людей и знать стежку к человеческим сердцам — это сложнее. Фрак? Уметь носить фрак и не замечать его на себе — тоже искусство немалое. Говорят: «Он родился в рубашке». А о вас пусть скажут: «Родился во фраке...»

А в открытое окно видна Москва, которой в эту ночь не очень хочется спать.

— Вот тут у меня есть теремок,— тянется он к дверце, врезанной в полированное дерево шкафа.— Время позднее, в добром доме ужинают,— распахивает он дверцу.— В прежние времена хозяин дома держал в заповедном этом уголке коллекционные вина и фрукты. Как говорят, чем бог послал...— Он извлекает крахмальную салфетку и расстилает ее на краешке стола.— Никогда не было здесь столь обильных запасов, как сейчас! — смеется он и кладет на салфетку краюшку черного хлеба и дольку сыра.— Я предпочитаю черный хлеб белому: только он дает силу рабочему человеку.

Чичерин режет на тонкие ломтики хлеб и сыр, изящно раскладывает.

— Итак, прошу к столу,— указывает он взглядом на салфетку и, возобновляя прерванный разговор, спрашивает: — Что за человек корреспондент «Таймс»?.. Нет, это я знаю, обстоятельнее! Имейте в виду, Ленин знает корреспондентов лучше, чем мы, знает и умеет не то что ладить — строить отношения, подчас сложные, но очень искренние, а поэтому прочные, настоящие. Вы никогда не думали над таким фактом: кем был для него Джон Рид, когда явился впервые в Смольный? Иностранным корреспондентом. Или Линкольн Стеффенс и Роберт Майнор? А как он подвинул их к революции! И заметьте: свято храня принци́пы! Главное принци́п.

Как все старые интеллигенты, он говорил «принци́п».

Прощаясь, я взглянул на стол. На крахмальной салфетке лежала недоеденная черная корочка, и по невидимой ассоциации я вспомнил весь день: визит заокеанского гостя, изысканный французский язык Чичерина, разговор о фраках и принципах.

В полдень в доме открывали окна. Открывали широко, так, что было видно небо, просторное, ничем не защищенное, совсем не городское. И все, что лежало за окном — характерный шатер Троицкой башни, квадратное здание арсенала, даже громоздкий чугун музейных пушек вдоль стен,— казалось легким, по-осеннему невесомым.

Я не заметил, как мальчик вошел в комнату и сел поодаль, но хорошо помню, как улыбка сбежала с лиц усталых людей. Он сидел передо мной. Конверт был большим и синим, таким же, как небо за окном. И глаза у малыша тоже были какие-то сине-серые. Если бы не опорки (в таких вот Россия прошла войну и революцию) да гимнастерка, белая, стиранная дождем и солнцем, малому можно было бы дать лет десять. А на самом деле? Может быть, десять, а может, и все двенадцать.

— Как ты пришел сюда? — заметил кто-то из сидящих рядом.

Но мальчик только повел глазами и указал на конверт, лежащий на коленях:

— Вот...

— Ленин занят и освободится через часа три. Будешь ждать?

Мальчик сжал губы.

— Буду.

— А не проголодаешься?

Паренек вздохнул:

— Нет...

Кто-то сбегал к секретарям и принес стакан чаю и невесомый сухарик.

— Макни в чай. Сухарик с чаем — хорошо.

Но мальчик не шелохнулся.

Потом на сухарик лег кусочек сахара. Сахар был серый, бог знает сколько он пролежал в кармане или в уголке портфеля. Мальчик скосил глаза на сахар и улыбнулся; казалось, мужество вот-вот покинет его. Эта крупинка сахара могла заставить его вновь почувствовать себя ребенком.

Мальчик улыбнулся и отвел глаза от сахара.

А я смотрел на малыша и не мог дышать от волнения. Прямо передо мной с синим конвертом на коленях сидело наше будущее. Оно было таким строгим и возду-

шевлящим и еще таким слабым! Ручеек в открытом поле, изначальный проблеск большой реки.

А солнце добралось до кремлевских золотых глав и погасло.

Сумерки заволокли кремлевский городок.

— Кто меня здесь дожидается?

Вошел Ленин.

Вошел быстрым и все-таки усталым шагом.

— Кто здесь?

Мальчик смешно вытянул длинную шею (вот-вот обломится), привстал:

— Я... здесь.

Ленин остановился, удивленно посмотрел на малыша:

— Ты? Вот как! Пакет?

Мальчик встревожился: неужели все кончится так просто — Ленин примет пакет и уйдет?

— А тут не по-нашему... не по-русскому...

Ленин улыбнулся:

— Вместе разберем как-нибудь.— Он взял в руки пакет, взглянул, приподняв бровь.— Ах! — Надорвал конверт, извлек несколько мелко исписанных четвертушек.— Так, так... Гм!..— Нахмурил брови, и вновь к нему вернулась усталость.— И давно ты меня ждешь?..— взглянул он на мальчика.— Да ел ли ты сегодня, друг мой? А почему чай остыл? И сухарь цел и сахар, почему? Так не годится! Пойдем ко мне. Мой дом рядом. Печку растапливать умеешь? Разогреем обед, сами разогреем и пообедаем! — Он протянул руку и примял непокорный мальчишеский вихор.

В коридоре прошумели их шаги, потом прозвучал детский смех, неожиданно громкий, и все стихло. Пришла тишина, тишина большого дома, для которого вечер означал и покой и отдых. И, может быть, потому, что она была так нерушима, тишина, я увидел, как два человека прошагали в дальний конец коридора и проникли на кухню. Мне виделось, как они гремят посудой, весело хлопочут у печки. А может, они сели уже за стол и Ленин, обратив глаза на мальчика, неожиданно затих... Нет, это была не просто беседа.

В том конце коридора Ленин в самом деле говорил с нашим будущим, с тем заветным, что будет жить в далекое время, когда Россия шагнет к коммунизму.

Двумя часами позже я был у Ленина вновь.

— Каков малыш, а?

Встал, прошелся по комнате и, остановившись подле меня, заговорил:

— А знаете, чем нынешние дети отличаются от прежних? Тем, что горе, которое они несут, не детское...— Отошел к окну, молча посмотрел на площадь, на арсенал, на вечернее небо. Что-то он узнал о мальчике такое, чего не знал я. Ленин вернулся за стол.— Кстати, знаете, от кого этот конверт [«написанный не по-нашему»]? — спросил Ленин.— От Роберта Майнора! Он снарядил ко мне паренька. Майнор!

Я простился, и долго-долго в памяти звучало имя, названное Лениным.

Роберт Майнор, газетчик, наш большой друг, был к тому же еще и художником. Я видел его черно-белую графику. Впрочем, не только я. «The Call» (махонькая газетка на серой бумаге, она призвана была сказать свое слово солдатам интервенции, высадившимся в Архангельске) делалась им не без таланта и в какой-то мере напоминала те американские газеты прошлого века, где редактор в едином лице объединял и очеркиста, и репортера, и, если надо, художника.

Признаюсь, я плохо помню статьи Майнора (очевидно, потому, что они редко подписывались), но графика Майнора была более чем выразительна.

Его рисунок, писанный черной тушью (нет, не перо, а кисть), воспринял что-то и от карикатуры и от плаката. Рисунки были гиперболичны, как следует быть хорошему плакату. Но Майнор был не только редактором и художником — он был и корреспондентом, поэтому часто заходил ко мне в Наркоминдел. Как и прежде, в его руках была папка с рисунками — цветная графика на какое-то время возобладала над черно-белой (пришел мир, а вместе с ним и краски).

В те годы иностранные корреспонденты собирались в Наркоминделе по пятницам на своеобразные пресс-конференции. Майнор иногда заходил ко мне, мы смотрели его новые рисунки.

— Знаете, Майнор, судьба свела меня с вашим нарочным в приемной Ленина,— сказал я ему, когда он в очередной раз зашел ко мне.

— С моим нарочным? — как-то очень неспокойно пе-

респросил меня он.— Ах, да...— И его лицо стало сумрачным.

Майнор стоял у окна и смотрел на площадь. Прохладное сентябрьское солнце лежало на ее камнях. Через площадь спешили прохожие. Где-то позванивал трамвай.

— С моим нарочным? — переспросил он. Видно, с воспоминанием о нарочном и синем пакете у него возникали совсем иные ассоциации, чем у меня.— Вы напомнили мне одну историю,— вдруг заговорил он.— Хотите услышать об этом все? Только под открытым небом. Петровский бульвар...

— Ну что ж...

Мы иногда выбирались с ним на Петровский бульвар и подолгу сидели в тени старых деревьев. Из этой полутьмы небо казалось бездонно глубоким и ярким. Вот и сейчас мы вышли на Неглинную и добрались до Трубной. Говорил Майнор.

— Это было не теперь. Все случилось еще в первый мой приезд в Россию. Погодите, я вам скажу точно: летом или ранней осенью восемнадцатого... нет, все-таки летом, в августе. Вы же знаете, что в ту пору в Москве было не меньше моих соотечественников, чем сегодня. И каждый считал необходимым пожаловать ко мне. Впрочем, справедливости ради следует сказать, я был доволен. В моем родительском доме в Америке было всегда много гостей. А это, как вы знаете, преемственно. И вот однажды ко мне явился некто, по имени Майкл Чамбер, и распростер объятия. Он был очень живописен, поверьте моему профессиональному оку, очень. От американца у него остались кепи и кашне, знаете, такое кашне, разграфленное серо-красными полосами, а в остальном он был одет, как все: сапоги на толстой подошве, френч, брюки. Ну, эти ваши брюки с пузырями, какие носят все военные... Нет, не галифе! Нечто русское, возникшее в наше время. «Эх, Роберт, нет живее города, чем Чикаго! Ты помнишь, как взвился Чикаго, когда Мунни собрались вести на плаху? И вот, представляешь, из Чикаго — в русские леса и болота!.. На Каледина!.. Бей!.. Даешь!..» Эти слова он произносил по-русски, произносил великолепно, и это окончательно покорило меня. Шутка ли, американский рабочий, ставший командиром русского партизанского отряда! Это же мечта моей жиз-

ни. В общем, мы расстались друзьями, чтобы назавтра встретиться вновь. Назавтра он не пришел... Ах, эти русские трамваи! Невозможно говорить!

Мы шли через Трубную, и трамвай, спускавшийся к площади от Сретенки, безбожно гремел. Майнор точно поторапливал трамвай взглядом: «Ну, скорее же там, проезжай скорее...»

— Он не пришел ни через день, ни через неделю. Зато недели через полторы после нашей встречи явилась его жена: «Майкла арестовала ЧК!» Она опасалась за его жизнь. «Только вы один можете...» Да, она так и сказала: только я один на всем белом свете могу ему помочь. По правде говоря, вся эта история меня взволновала. Знал-то я этого парня недолго, но он влез мне в душу. В общем, было бы непорядочно не протянуть ему руки. Самый действенный путь — письмо к Ленину. «Дорогой товарищ Ленин, произошло роковое недоразумение... Жена арестованного и я просим вас вмешаться... Только вы...» Я решил написать это письмо, не теряя ни минуты. Жена бедняги Майкла сидела тут же и как умела помогала мне. Я отправил письмо в Кремль. Ленин, если письмо попадало ему в руки, отвечал на него тут же. Разумеется, все, что в его силах, будет сделано. Он обещал ответить дня через три. Я почти торжествовал победу. Скажу вам больше: я даже попробовал представить, как Майкл вваливается ко мне в своем полосатом кашне и брюках пузырями... Минуло три дня, и письмо от Ленина пришло. Я до сих пор помню это письмо, написанное ровным и жестким почерком: «Дезертировал... похитил жалованье полка... Не могу ходатайствовать».

Майнор сидел поникший. Наверно, рассказ заставил пережить его все это еще раз, пережить остро. Мимо прогремел очередной трамвай, и стало тихо. Да, было тихо и немного торжественно. Вероятно, это ощущение явилось от чистого неба над нами, золотисто-ясного: то ли блуждающий блик вечернего солнца коснулся неба, то ли отблеск сентябрьской листвы, которой осень вызолотила землю.

— Вы понимаете,— продолжал он,— сколько я должен был перечувствовать, прежде чем решился вновь пойти к Ленину, а бывал я у него нередко. Но я пошел. Сколько грозных и в высшей степени справедливых слов мог бы Ленин сказать в мой адрес! А он? Он не произнес

ни единого. Больше того — он вел себя так, будто бы со времени нашей последней встречи не произошло ничего чрезвычайного. Стоит ли говорить, что за эти три года я видел Ленина много раз и ни разу он не обмолвился. Мне даже показалось, что он забыл...

Майнор умолк.

Ветер ворошил опавшие листья.

— И только теперь?..— спросил я Майнора, спросил тихо, не поднимая глаз.

Он не торопился закончить свой рассказ.

— Да, только теперь. «Вы знаете, кого вы мне прислали с пакетом?» — спросил Ленин, имея в виду малыша, которого вы видели. Я сказал: «Знаю, он сын моей квартирной хозяйки». Ленин возразил: «Он сын красноармейца, погибшего под Петроградом». Сейчас, сию минуту, подумал я, он произнесет слово, которого я ждал три года. И я почти не ошибся. Он сказал: «Справедливость может быть суровой, но пусть она будет справедливостью». Больше он ничего не сказал. Он неколебим, когда речь идет о принципах.

Вот и все, что сказал мне в тот раз Майнор, но мне подумалось, что слова эти невидимо продолжают беседу, которая однажды уже была у меня.

И теперь, когда я прохожу мимо этого дома, я вспоминаю те далекие и бесконечно родные мне годы. Я вижу, как на площадь мягко вкатывает громоздкий «роллс-ройс» и останавливается у главного подъезда. Щелкает и легко распахивается дверца. Прохожие, перебегающие площадь, замедляют шаг.

— Чичерин...— произносит кто-то из них.

И я слышу Чичерина, его грудной баритон: «Главное — принцип, главное...»

ТРОПА

Вьюга стихла, и вечернее солнце высветлило город. Оно стояло невысоко, и от этого свежевыпавший, еще не тронутый ледяной коркой снег казался шероховатым.

— Я как лошадь, идущая чутьем к дому,— произнес Рид, когда мы поднялись по Тверской.— Все дороги у меня кончаются здесь.— Он указал взглядом на окна, освещенные закатным огнем.— Мой друг редактор, как всегда, полон сил.— Мне показалось, что он остановил глаза на окне с открытой форточкой.— Войдем?

Мы поднялись на третий этаж. Где-то внизу работала печатная машина, и большой дом редакции будто дышал...

Плечистая фигура редактора газеты возвышалась над профессорской кафедрой — редактор берег сердце и предпочитал работать стоя.

— Какая полоса, Александр? — спросил Рид весело. Очевидно, с этой фразой он не раз вступал сюда.

И произошло чудо: лицо редактора, которое, казалось, навсегда приняло выражение суровой решимости, оживилось.

— Послушайте, Джек.— Редактор отнял от мокрой полосы, лежащей перед ним, глаза, а вместе с ним и рыхлую, в красноватом овале бороду.— Вот тут мы соорудили анкету.— Редактор снял пиджак и, оставшись в жилете, закатал рукава.— Да, анкету: «Ваши планы? Ваш следующий шаг в жизни?» Если вас обстрелять такой торпедой,— как?

— Нет, вы безнадежны, Александр! — улыбнулся Рид.— Неужели вечер не вызывает у вас желания отдохнуть?

— Вечер вызывает у меня желание работать,— еще

выше закатал рукава редактор.— Итак, ваш ответ? «Следующий шаг... Планы?..»

— Ну что ж, ответ так ответ! — воскликнул Рид воодушевленно.— Вот он: хочу быть куском набатной стали, в которую колотят во время пожара! Или лучше колоколом! Да, колоколом, но не тем, что в урочный час гонит рабов на молитву, взвиваясь и падая, как бич,— нет, хочу быть колоколом, что в полночь врывается под крышу дома грохотом тысячи мортир и зовет на бой... Хочу быть колоколом!

Редактор был человеком рациональным и не любил метафор.

— А в переводе на язык дела, Джек?

— Хочу написать книгу, вторую книгу о России, и напечатать там, хотя...— он задумался,— хотя понимаю, что в этот раз путь в Америку будет нелегким.

Из газет я уже знал: Пальмер, министр юстиции в кабинете Вильсона, возбудил судебное дело против Рида и требует его возвращения на родину. Видно, Рид решил явиться.

Мы покинули редакцию на пределе ночи.

— Вы сказали: «В этот раз путь в Америку будет нелегким»,— заметил я.

— Да, в этот раз еще более трудным, чем тогда,— подтвердил Рид.

Я вспомнил рассказ друзей Рида о том, как он пробирался из Америки в Европу.

Он плыл на торговом корабле и долгие дни, пока корабль пересекал Атлантику, стоял у топок.

Для товарищей по кораблю он был Джимом, в судовом журнале значился: Гормли, Джим Гормли. Корабль благополучно достиг Бергена, и Рид перекочевал на другое судно.

— Пальмер настаивает на вашем возвращении и отказывает в визе? — спросил я.— В его требовании нет логики...

— Как и во всем ином.

Тремя днями позже я узнал, что Рид уехал.

...Мартовский вечер с синими тенями на снегу.

Звонок из Кремля:

— Дмитрий Дмитриевич, я решил вас нынче не ждать... Нет, нет, помилуйте, такой вечер! Поедемте в

Сокольники — нет под Москвой лучшего леса и лучшего снега. Мы с вами на снежной стежке все обсудим. Снег еще хорош...

Ленин любил Сокольники. В прошлую зиму там, на Лесной даче, жила Надежда Константиновна, и Ленин бывал там едва ли не каждый вечер.

И вот Сокольники, и в самом деле снежная стежка, кое-где обсыпанная хвоей.

— Вы помните, как объясняли прогресс Америки в том веке? — произносит Ленин и отворачивает меховой воротник пальто: мы идем быстро, и края воротника обнесло инеем.— Там собрались со всей земли самые предприимчивые, храбрые, вольнолюбивые, все, кого вгоняли в землю и гнули к земле...— Он пошел вдоль леса боковой дорожкой — из-за холма выглянула стайка деревянных домов.— Когда-то гонимые бежали в Свет Новый, теперь они повернули обратно. Впрочем...— Ленин обернулся, спокойно взглянул на меня: — А если еще и бегут туда, то лишь для того, чтобы вызволить из плена своих собратьев...

— Рид? — спросил я.

Ленин стоял сейчас рядом со мной, и его лицо, освещенное сиянием снежного поля, было хорошо видно мне.

— Да, если хотите, Рид,— произнес он хмуро.

— Рид отплыл в Америку из Петрограда,— заметил я и взглянул на Ленина: его лицо оставалось сосредоточенно-печальным.— В бункере парохода.

— Да, в бункере, но остановлен в Або,— сказал Ленин тихо.

— Остановлен — значит, арестован?

— Одиночная камера городской тюрьмы в Або,—произносит Ленин все так же тихо.

— Обвинение — нелегальный въезд в страну? — спросил я.

— Нет, обвинение много серьезнее...

Он остановился и суровым взглядом окинул лес. Лес был тих, как нерушимо спокойными были небо над нами и поля, лежащие за лесом. Казалось, века, пронесшиеся над этим лесом и полем, спрессовали тишину, обратили ее в камень. Поэтому она так тверда. Если бы тревога, которой полнится и горит сердце, способна была взломать эту тишину, то как бы вздрогнуло и загремело небо!

— Что-то надо сделать теперь же,— произнес он едва слышно.— Надо...

Мы идем. Я слышу, как хрустит снег, схваченный вечерним ледком. «Надо сделать теперь же, надо...»

Весна пришла поздно, деревья стояли полуобнаженные, и только старая липа у храма Христа-спасителя, склонившаяся над водой, необыкновенно зелена в эту холодную пору. Она точно прилетела из теплых краев и припала к воде, чтобы утолить жажду и полететь дальше.

Ранний вечер.

— Товарищ Рыбаков? Я вам уже звонил дважды... Это я... Опознали? — Однако нелегко узнать голос редактора, того самого, с бородой-лопатой, читающего полосы за профессорской кафедрой.— Сегодня вечером в редакции будет совершенно неожиданно американский делец, друг Ливерайта...

— Это какого же,— издателя Рида?

— Да, именно того Ливерайта! Снаряжен доброжелателями Рида в Европу, в известном роде председатель комитета по спасению Джона Рида, писателя и героя мексиканской войны. Очень колоритен, борода пошире моей... Призван поднять в защиту Рида прессу. Предки из Полтавы, говорит по-русски, но без вас нам не обойтись — Америка.

— Он был в Або?

— По-моему, был.

И вот кабинет редактора. Полосы на кафедре. Стакан с чаем на донышке, очень крепким. Очки в металлической оправе, лежащие дужками вверх. Дужки, что руки, слабо распростерты — жест усталости.

Редактор говорит по телефону. Гневается, отчитывает, остерегает, но голоса не хватает ни на одно, ни на другое, ни на третье — час поздний.

— Что значит — полоса не резиновая? — спрашивает он.— Вот я встану у талера и докажу вам: резиновая! Все заверстаю, всему найду место! — Он положил трубку и взглянул на меня, будто желая найти у меня поддержку.— Легче всего запоминаются глупости: «Полоса не резиновая!..»

Где-то в стороне, быть может даже над нами, хлопнула дверца лифта.

— По-моему, он...— оживился редактор.

В дверях стоит старик: борода действительно пошире редакторской, ярко-черные усы и подусники, а вокруг, точно нимб, сияние седины.

— Здравствуйте, здравствуйте...— Рука горячая и молодая, он жмет, чуть-чуть удерживая вашу руку в своей.— Чаю? Ну что ж, не откажусь...— Когда смеется, губы словно румянеют и завидно белы молодые зубы.— Как говорят на Русской горке во Фриско: «На дорогу — посошок...» А с дороги можно?

— Дорога длинна? — спрашивает редактор.— Длинна и трудна, небось бочаги да кочки, а?

Американец смотрит на редактора — глаза острые.

— Да, кочки, кочки,— говорит он уклончиво.

Он сидит, положив руки на стол.

— Да, верно, камера сорок два. Одиночка, плохо отапливается. По стенам пошла плесень. Сердце прежде не болело — сейчас худо, и разболелись суставы. Старая истина: ревматизм начинает с ног и рук и кончает сердцем. Истосковался по свежему ветру, по открытому небу. Написал письмо Магрудеру. Знаете? Наш консул в Або. «Вы считаете меня виновным? Вы требуете моей явки в суд... чего же вам бояться? Пустите меня в Америку — я хочу говорить с ней». Что ответил консул? Лучше бы отказался принять письмо или вернул его, чем вот так... В общем, они предали Рида анафеме...

Человек медленно сжимает кулаки. Кожа побелела, кулаки дрожат:

— Да, он сказал: «Я сын Америки... Мои предки поселились там триста лет назад. Мой прадед Генри подписывал Декларацию независимости. Другой мой предок был генералом в армии Вашингтона. Третий — полковником в армии северян. Суд? Пусть будет суд!.. Но только без посредников... Здесь я весь — спрашивайте меня, но дайте говорить и мне...»

— Ему ответили?

— Нет.— Он пододвигает стакан с чаем, охватывает ладонью, точно пробует, остыл чай или еще нет,— он, видимо, пьет его холодным.— Газеты утверждают: американцы не могут простить Риду письма́ Ленина, которое нашли при нем ..

— Письма́ Ленина?

Старик отпивает глоток, короткий глоток.

— Нет, не письмо, но в известной мере документ.— Он взял стакан и пригубил, пригубил, чтобы скрыть глаза, теперь смеющиеся.

— Документ Ленина?

— Еще какой документ! — подтвердил американец и, неторопливо допив чай, добавил: — Слово господина Ленина о книге Джона Рида...

— То самое, которым должно открыться новое издание книги? — спросил я.

— Да, это...

Он достал платок — цветной платок, который носовым можно назвать лишь условно, так он был велик,— и тщательно вытер губы.

— Но ведь легко доказать, что письмо Ленина — всего лишь предисловие к книге, которая издана в Нью-Йорке и разошлась в тысячах экземпляров,— возразил я.

Старик стукнул ладонью по ребрышку стакана, стекло звенело,— только сейчас я заметил на среднем пальце старика массивный перстень с крупным аметистом, темно-лиловым обычно, густо-красным теперь, в электрическом свете.

— Когда есть желание осудить человека,— произносит он, глядя на пустой стакан,— ничто так легко не доказывается...

— Вы полагаете, что Риду угрожает?..

Человек отодвинул пустой стакан, точно хотел сказать, что все, что он намеревался нам сообщить, он уже сообщил.

— Да, я полагаю, что приговор может быть очень суровым. Очень... И все, что может сделать ваша пресса...— Он вынес руку в поле света, но перстень был мертв.— Вы даже не представляете, господин редактор, как к ней сегодня прислушиваются там...— Старик ткнул средним пальцем — камень ожил — в окно. За окном еще удерживалась тьма, утро было далеко.

— Как знать, может, и представляю,— заметил редактор.

Ночь, а с нею тишина и покой приходили в Наркоминдел после двух... Я знаю признаки ночи: от подъезда отошла машина — нарочный увез в Кремль последний

пакет. По коридорам прошагал ночной вахтер. Слышен его вздох и щелканье выключателя. И размеренно, раздумывая, точно ошибка будет непоправима, принялись отсчитывать ночное время часы.

В коридорах темно, лишь неясно маячит дальнее окно, будто полярное солнце, низкое и белесое.

Тихо.

Дверь в большую приемную полуоткрыта, хотя света нет, только матово отсвечивает багет да тревожно пульсируют красные нити детектора.

В эфире гроза — звонкий треск грома, клекот ливня. И вдруг голос, задуваемый ветром:

«...Чума в Персии... Землетрясение на Кипре... Смерч... Смерч...»

Мне трудно расслышать, что следует за сообщением о смерче. Я вижу солнце Сахары, колючее, застланное песком, неожиданно черным.

«Гельсингфорс... Гельсингфорс... Лондон сообщает: в Або сегодня казнен американский коммунист Рид, друг Ленина...» Казалось, смерч взломал тишину полуночи и тебя обсыпало черным песком: «...Казнен Рид...»

Я выключаю приемник. Темно и тихо. Дверь в коридор открыта, и далеко-далеко светится все то же окно, действительно похожее на полярное солнце. А в сознании голос, как песок сыпучий: «...Казнен Рид, друг Ленина...»

Я встаю, и мои шаги отзываются эхом в большом и пустом сейчас доме. Выхожу на улицу. Небо мягкое, окутанное глубокой мглой. Кажется, что именно в полночь к городу подкрадывается весна и входит в него, входит сторожко, чтобы рассмотреть дороги и тропы, а потом вторгнуться. А сейчас в городе тихо и не слышен мягкий шаг весны.

«...Казнен Рид, друг Ленина...»

Наверно, это право надо завоевать: друг Ленина.

Где-то долбит камень упрямая вода. Невидимо утончились над Москвой облака, и в городе посветлело. Виден темный островок Александровского сада, изгиб кремлевской стены. Там, за ее могучим пределом, Малый дворец, и окна ленинского кабинета там. Колеблется ли в них зеленый сумрак настольной лампы, или темно уже?.. А может, Ленин не спит и телеграмма пододвинута в поле света: «...В Або казнен Рид...» Я даже вижу, как Ленин зашагал по комнате, зашагал шумно (вздрогнуло

стекло в книжном шкафу и беспомощно мигнула не крепко ввинченная лампочка). Потом остановился, охватив ладонью лоб, будто там, в недрах его мозга, что-то горячо взорвалось: «Весна двадцатого года!.. Кто сказал, что весна — это шум деревьев, свечение грозового неба?.. Весна — это пустые амбары, пустые овины, хлеб с соломой, тоскливые вереницы очередей, вокзалы, забитые людьми, медленно идущие поезда, точно люди, у которых нет сил передвинуть ноги, женщины на крышах вагонов, тиф тиф, тиф и крик над страной, детский крик: «Хлеба!» Ленин шагает по комнате, останавливается, вздыхает: «Вот так нахлынули наши беды, большие и малые, а тут...» Нет боли больней, чем боль от сознания, что ты лишен возможности протянуть руку, помочь.

Я иду. Наслаиваются тучи, тускнеет небо, и полуночная тьма точно возвращается в город. Я сейчас вспомнил... Тот раз, у редактора, когда Рид заговорил о своей второй книге, я подумал: это будет не просто книга о России,— это будет книга о Ленине. Есть в жизни человека такая пора: человек прозревает и вдруг обнаруживает, как необыкновенно богат мир, который его окружает. Встреча с Лениным была для Рида именно таким прозрением. Для Рида Ленин — мир, чьи просторы способны питать человеческое сознание бесконечно, и Рид не перестает наблюдать Ленина и делает всё новые открытия. Мне кажется, что записная книжка Рида, заключенная в красный сетчатый коленкор, полна записей о Ленине. Быть может, некоторые из тех мыслей, которыми он делился со мной, заимствованы из этой книжки.

«В Кремле, под холмом, в саду, который называется «Тайницким», есть тропа... неширокая, в светлые здешние ночи почти белая, неторопливо бегущая. Наши полуночные беседы с ним часто заканчивались здесь. Мир открылся мне своими новыми гранями на этой тропе...» И еще: «...В моей жизни две поры: до встречи с Лениным и после встречи с ним. Ни один человек не дал мне столько, сколько он...» Или еще, очевидно, под впечатлением встречи: «...Он взглянул на солнце, и мне почудилось: у него золотые глаза, совсем золотые — лучистые, полные доброты и лукавства, строго-мудрые...» И последнее: «Иногда мне кажется — эта книга уже вызрела, она стала моим сердцем, и ничто не стоит между нею и мною, ничто не может мне помешать сделать ее книгой, даже

железо на окнах, даже каменные стены одиночки, куда путь мне, наверно, не заказан... Готов гвоздем выцарапать эту книгу на тюремном камне, гвоздем!..»

А небо застлано тучами, и будто вновь безнадежно отделился рассвет. Когда же будет утро?

Утро приходит, холодное и неожиданно ясное: над Кремлем, над белыми стенами его храмов, над его башнями, звонницами и куполами соборов плывут облака.

У подъезда в Малый дворец стоит «роллс-ройс» — видно, Ленин собрался на съезд профсоюзов, который открылся накануне.

Я встречаю Ленина на лестнице. Он задумчив, но на лице никаких следов печали — ну конечно же, он ничего не знает, ночные телеграммы будут у него на столе уже после возвращения со съезда. А быть может, сейчас и говорить не надо, если сказать, то позже?

— Дмитрий Дмитриевич, по-моему, вы хотите мне сообщить что-то, так?

Я останавливаюсь.

— Хотите сообщить?

— Хочу, Владимир Ильич.

— Тогда говорите, только быстрее,— произносит он, и мы выходим из дому.

Точно ветром потянуло — холодно.

— Владимир Ильич, вечером я слушал радио...

Он нетерпеливо машет рукой:

— Ах это ваше радио! Небось опять кинули в небо эту птицу на разлатых лапах, а?.. Кстати, утки-то уже летят! — Он смотрит на небо и улыбается — небо весеннее, голубеющее.— Ну, и что же?

— В Або казнен Рид,— выпаливаю я с маху и смотрю на Ленина, смотрю и глазам своим не верю: Ленин смеется.

— Пустое! — произносит он.— Слышите, пустое! Ваше радио в очередной раз вас подвело. Рид жив!

Он решительно направляется к машине.

— Да, да, Рид жив, и мы его обменяем и возвратим в Россию,— произносит Ленин на ходу.— Говорят, финны просят за него своих профессоров, арестованных нами за контрреволюцию.— Ленин оборачивается, он все еще смеется.— Это же антипатриотично... приравнять одного чужого к своим двум, да еще профессорам!.. Впрочем, двух так двух... За Рида не жаль целый факультет! А от-

куда все-таки взялся этот слух, а? Откуда? — Он подходит к машине, но, прежде чем войти в нее, оборачивается: — Слух как сигнал тревоги?

Кажется, он уже не торопится и машина, что стоит у крыльца, ни к чему здесь — ее можно отпустить.

— Знаете, Дмитрий Дмитриевич, там, в Тайницком... на этой тропе он мне сказал однажды: «Я видел рождение нового мира...» Так и сказал: «Я видел...»

Ленин уехал.

Я заметил: по мере того как он говорил, беспокойство овладевало им. Он тревожился за судьбу Рида...

Минул июнь. В кремлевских садиках горячей пылью обнесло листву. Зной удерживается допоздна — зной от нагретого камня и неба, медленно остывающей воды. Давно закончился длинный совнаркомовский день, и просторные кремлевские покои заметно опустели, но окна все еще распахнуты. Сумерки входят в дом, свивают уютные гнезда в потаенных углах, заволакивают тусклой пленкой стекло, кафель, полированное дерево. И вместе с сумерками входит тишина.

— Да есть ли здесь живая душа?..— В пустых комнатах голос Ленина звучит громче обычного.— Я говорю: кто здесь есть?

Он выходит из кабинета. Пиджак распахнут, и темный, в косую полоску галстук (для него этот галстук необычно наряден — очевидно, дань лету) выбился из-под жилета.

— Дмитрий Дмитриевич! Вот вам новость: Рид в Москве и сейчас будет здесь,— произносит он и устремляется к телефону: — Комендатура? Там в проходной будке у Троицких... Рид, Джон Рид, американский коммунист! (Я слышу, как загремела телефонная трубка.) Дмитрий Дмитриевич, где вы? Да неужели не дождались?..

Но я жду, только не здесь, а далеко за пределами дома, за кремлевскими соборами, на холме: слишком далек и труден у них был путь к этой встрече, чтобы мешать им. Вон там, под холмом, отсвечивает тропка, та самая... Хрустнула ветвь и, точно обломившись, упала. По тропе шли два человека...

ДРУГ

Доброе утро,
Революция!
Ты будешь мне
другом
Самым лучшим.

Ленгстон Хьюз

До полуночи оставались минуты, когда я покинул здание. Где-то за Москвой-рекой взошла луна, и на кремлевских камнях лежал грозный перст колокольни Ивана Великого. Тишина втекала в город вместе с холодным дыханием зелени, вместе с туманом. Она шла, эта тишина, из неширокой поймы Москвы-реки. А луна уже драила тускнеющее золото куполов, дымчатые даже в этот поздний час квадраты торца, острые и округлые кремлевские камни — они будто дожидались полуночного часа, чтобы обрести свои истинные линии и формы. Наверно, необычно гулко в этой тишине прозвучал бы голос человека!

У дороги, там, где кремлевский холм спускается к реке, стояли двое. Луна уже коснулась своей невесомой ладонью их плеч. Это были Ленин и Рид. Говорил Рид. Я еще раньше заметил: он умел говорить одновременно просто и возвышенно. Простота его речи — от зрелости, от желания, чтобы тебя понимали все. А возвышенность? Наверно, от самой натуры Рида, в конце концов он поэт! Я прибавил шагу и минул их. Но чем дальше я шел к кремлевским воротам, тем тише становился мой шаг. Казалось, волнение, которое владело людьми, стоящими на холме, переселилось в меня.

Нет, не случайно Ленин вот уже какой раз избирал своим полуночным собеседником Рида. Говорят, вот так же было и в Питере, в той квадратной комнате с серебристо-сиреневыми обоями, в одной половине которой был кабинет Ленина, а в другой, за фанерной перегородкой, спальня. Тогда беседа начиналась в кабинете, а к полуночи переносилась за перегородку, к чайному столу.

Я готовился сойти с тротуара на дорогу, когда услышал у себя за спиной шаги. Я обернулся. Луна и в самом деле высветлила дорогу. Поодаль шел Рид.

— Я вас наблюдаю уже минуты три,— произнес он задумчиво.— Вы не очень спешите?

Я пошел медленнее.

— Нет.

— Тогда пойдемте вместе.

Между мной и Ридом все еще было шага три; он не сделал попытки сократить расстояние, я тоже. Луна зашла за облака, но Рид был хорошо виден мне. У Рида внешность рабочего: широкая и чуть-чуть покатая спина, короткие и сильные руки. И одевается просто: серый или темный костюм самого обычного покроя, белая сорочка с отложным воротничком, расстегнутая на одну-две пуговицы. Вот и сейчас сорочка будто была пропитана неярким светом лунной ночи. С реки тянул ветер, свежий, припахивающий прелым деревом. Рид зябко поводил плечами.

— А на юге сейчас черное небо,— произнес он, подняв голову.— И звезды... кажется, в кулак.— Он взглянул на свой кулак и рассмеялся.

— В Мексике, на родине генерала Панчо? — спросил я.

— Нет, почему Панчо? — улыбнулся он, потом поднял кулак.— Вива Панчо! Вива Вилья!.. — На какой-то шаг он опередил меня, незаметно взглянул в лицо.— А знаете, у него была добрая душа. О, это очень важно — иметь добрую душу! И характер. Характер — это, пожалуй, для такого человека, как он, даже важнее доброты. Я так думаю — важнее.

Он шел сейчас совсем рядом со мной. Это сочетание чуть-чуть выпуклых глаз и крупного подбородка делает его лицо очень выразительным, хотя и некрасивым. И его глаза, и благородный лоб, и губы очень хороши, хотя в

лице нарушены пропорции. Впрочем, этого не хочешь замечать — весь он складен.

Рид пошел тише и вдруг остановился:

— Подождите минутку. Дайте отдышаться.

Он поднес руку к груди.

— Сердце?

— Да, как говорят врачи, подступило к горлу.— Он откашлялся — осторожный сердечный кашель.— Ну вот, кажется, вернулось,— попробовал улыбнуться он.— Теперь пойдем, но только не быстро.

Мы пошли тише, а я подумал: «Ведь у него здоровое сердце, совсем здоровое. Что так?» Этот кашель, сухой и прерывистый, непрошено вторгся в беседу и мог разрушить ее, разрушить непоправимо, но Рид умолк лишь на минуту.

— Чего-то не хватало и генералу Панчо. Очень существенного! — произнес Рид. Энергичный характер этих слов недвусмысленно свидетельствовал: Рид хочет говорить о Панчо, все остальное сейчас для него не имеет ровно никакого значения.

Да, одно время Рид думал, что рядом с генералом должен встать кто-то второй — сподвижник, товарищ. Он не боится произнести этого слова — комиссар! Рид думал, что такой человек должен быть вызван самой жизнью, логикой бытия, но он ошибся. Человек этот так и не пришел. Ему иногда кажется, что огонь революции чем-то похож на всесильное пламя, которое бушует в недрах нашей планеты. Если оно не вырвется в одном месте, проложит себе дорогу в другом.

Он помолчал, задумавшись.

— Вот я еще что хочу сказать: даже когда я ничего не знал о Ленине, я думал, он должен прийти, этот человек. Он не может не прийти. Я понимаю это, я, видевший Панчо.

Он вновь необычно воодушевился. Панчо и Ленин. Для него это уже решенный спор, но как нелегко ему было решить! Вряд ли в его сознании один так просто, без борьбы, уступил место другому. В жизни ничего не происходит без борьбы. Наверняка было время, когда он решительно не знал, кому отдать предпочтение.

Мы вышли на Красную площадь.

— О, там зреют события немалые,— указал он взглядом на небо, восточный край которого был прямо перед

нами.— Ленин сказал: знамя спасения идет на Восток.— Рид продолжал смотреть вперед.

Ни единый проблеск утра еще не потревожил неба. Оно было непроницаемо темным, может быть, даже мертвым, и казалось невероятным, что именно здесь его сизо-черная льдина начнет подтаивать.

— Восток...— повторил он задумчиво.— Ленин сказал так... Ленин!

Мы простились.

— Так вы едете? — крикнул я ему вдогонку.

— Да. Завтра.

Он помолчал, потом повторил:

— Завтра.

Я еще долго видел его в ночи, видел, как он шел через Красную площадь. Посреди площади он остановился и оглядел ее так, точно видел впервые. Что означал этот взгляд? То ли человек был застигнут врасплох необычным видом площади — в этот поздний час площадь особенно хороша в своей спокойной и торжественной прелести,— то ли оглянулся и подумал: где он и как он пришел сюда? «Знамя спасения идет на Восток...» Сейчас Рид стоял на берегу нового моря и готов был шагнуть навстречу его тревожной стихии. «Знамя спасения...»

Рид уехал. Какое-то время о нем не было вестей, потом промелькнула в газетах одна весточка, вторая... Они были не щедры, эти новости, но сознание пыталось восполнить то, чего не было в них. Так бывает с машиной, идущей ночью по гребню горы. Вот ее огонек блеснул на самой маковке увала и скрылся, заслоненный ребристой стеной камня, потом прочертил тьму и вновь исчез, на этот раз надолго, потом приподнялся над горой — нет, не сам, а его неяркий отсвет,— и вдруг возник далеко в стороне, как корабль, брошенный на край моря шальной волной.

Шли дни, самые обычные. Кончился август, и начался сентябрь. В Москве все еще было тепло, но листва в парках потускнела, небо по вечерам было уже не таким белесым, как летом, гуще, синее, звезднее, да и ветры несли запах осени. Пришла телеграмма из Баку: там открылся съезд народов Востока. Собрался весь революционный Восток — полторы тысячи делегатов. Потом еще телеграмма: Рид приветствовал делегатов съезда. (Огонек и в самом деле взметнулся на маковке увала.)

Я видел, как Рид взошел на трибуну и, отвечая на приветствия, невысоко поднял ладонь. Зал продолжал греметь: «Америка!» Лицо Рида становилось все сосредоточеннее: складка на переносье была и глубже и жестче доброй вмятинки на подбородке... «Товарищи...» Потом... (Нет, огонек на хребте горы исчез надолго.)

Был уже вечер, когда позвонили из Кремля: «Севр... Необходима информация по Севрскому договору...» Машина спускается по Кузнецкому мосту и поворачивает на Неглинную. Скоро вечер, но уличные фонари не зажжены. Густо-лиловые, предгрозовые сумерки. Город будто лег в теплую воду — душно. Наверно, у Ленина только что закончилось очередное заседание. Выключив верхний свет, он пододвигает к себе настольную лампу под абажуром, и зеленый сумрак обволакивает бумаги, никелированный металл длинных ножниц, мрамор чернильного прибора. Он ждет этого часа, чтобы объять мыслью большие и малые дела мира. «Вот Севр... Кстати, почему союзники для переговоров избрали этот город? Кажется, в Севре была ставка кайзера? Значит, это демонстративно?»

А машина входит в Кремль. Здесь светлее, чем в городе. День прощается с Москвой на кремлевском холме. А может, это просто отсвечивает белостенный кремлевский городок? В чисто выбеленном доме всегда светлее. Однако вечер пришел и сюда. Он глядит уже из дворцовых окон, в которые, как вода в низину, влилась теплая тьма вечера. А в двух просторных окнах ленинского кабинета полумрак, но не бледно-зеленый полумрак настольной лампы, а желтоватый, зыбкий, едва приметный.

Комната ожидания непривычно тиха. Форточка открыта, но запах табака, отстоявшийся за день, кажется неистребимым.

— Да, да, пожалуйста, можете входить.

Сколько раз я входил в эту дверь, и каждый раз, прежде чем протяну руку к двери, вдруг явственно слышу, как стучит сердце.

— А-а-а... толмач.

В нем нет-нет да и прорвется непреоборимое желание пошутить, задиристо, незлобиво, любя, но так, чтобы от смеха вздрогнули стекла. Из его кабинета часто слышится смех. Более чем фундаментальные кремлевские стены не в силах удержать его: он слышен и в коридоре ря-

дом, а когда открыта дверь кабинета, то и здесь вот, в комнате ожидания. Каждый раз, когда смех доносится сюда, озабоченные лица ожидающих светлеют. «Ильич смеется, а это хороший знак...» Впрочем, люди, бывающие здесь, знают, что это признак добрый, но переоценивать его не надо: Ильич всегда смеется и всегда строг.

— Располагайтесь... да поближе...— Он любит, чтобы человек сидел рядом с ним.— Признайтесь: Рыбаков-старший небось в обиде на меня? Признайтесь: в обиде?..

— Да что вы, Владимир Ильич!

— Нет, я знаю, что это так. Я вижу его, вижу, как он сидит у себя, мудрит над логарифмами и ворчит: «Эх, Ленин, оторвал моего Дмитрия от настоящего дела, оторвал...» Да и вы, наверно, тоже так думаете. Ну, сознайтесь, думаете?

— Нет, Владимир Ильич...

Он помолчал.

— Конечно, это очень здорово, когда рабочий человек мечтает о паровозах, это же мечта о нашей силе! Но дипломатия, новая дипломатия...— Он встал и остановился посреди комнаты, издали, не приближаясь, взглянул в окно — там ветер размыл облака.— Вы только подумайте, Дмитрий Дмитриевич, в великом споре двух миров, споре невиданном по размаху, напряжению, отстоять нашу истину... умом, интеллектом, еще раз умом отстоять! И, коли тебе доверили отстоять эту истину, каким должен быть ты, человек? Каким ты должен быть, а?.. Ах, как это благородно!.. Итак, Севр?

Так вот откуда это зыбкое пламя! В Кремле выключено электричество (оказывается, через три года после революции это может произойти даже в Кремле), и на столе у Ленина горят стеариновые свечи. Их пламя залило стол ровным светом.

— Значит, Севр? Нет, меня интересует Турция. Что имеется еще о ее реакции на этот договор?.. Нет, не только турецкая пресса. Стамбул, что говорит Стамбул?.. Информация... необходима большая информация из самой страны. Вы понимаете меня?

Он берет очки, старые очки в тонкой металлической оправе, и сразу становится непохожим на себя. Впрочем, я, кажется, видел одну фотографию, где он в очках, но это было позже, много позже.

— А знаете? — Его глаза пробегают мелко исписан-

ный лист бумаги молниеносно. У него свои методы чтения. Часто он начинает читать бумагу с конца — так, он в этом уверен, ему быстрее откроется ее смысл.— А знаете, вся эта история с Севром только ускорит развитие событий на Востоке.— Он снимает очки, и облик, такой знакомый по многим фотографиям, возвращается к нему.— Ускорит развитие событий на Востоке.— Он откидывается в кресле и, не выпуская очков из рук, некоторое время смотрит наверх. Потом встает.— Вот только что получил врачебный бюллетень,— пододвигает он серый лист бумаги.— Заболел Джон Рид.

Минуту тихо, только слышно, как плавится стеарин.

— Тиф, Владимир Ильич?

— Да.

— Кризис минул?

— Нет. Сейчас...

Он заметил смятение на моем лице.

— Но тридцать три года что-то значат сами по себе.., А? — спросил он.

И в тишине кабинета, нарушаемой легким потрескиванием стеариновых свечей, мне вдруг послышался кашель, осторожный сердечный кашель Рида.

— У него... сердце, Владимир Ильич...

— Сердце?

Он встает, берет графин с водой, подходит к пальме. Он делал это и прежде, когда хотел справиться с волнением. Молча он следит, как впитывает воду высохшая земля. Он опрокидывает графин и, взяв из кадки сосновую щепочку, старательно взрыхляет у самого ствола землю, точно хочет помочь деревцу напиться.

— Еще на той неделе получил от него письмо,— произносит он, не отрывая задумчивых глаз от пальмы.— Рид писал, что жена только что прибыла из-за океана.— Он возвращается к столу и ставит графин.— Письмо, разумеется, было деловым, но вот эта деталь: из-за океана.— Волнение отразилось в его голосе, волнение, вызванное письмом Рида, а может быть, воспоминаниями, вспомнил что-то свое, что отождествлялось с письмом, полученным от Рида.— Рид всегда будет близок нам уже одним тем, что понял главное. Самое главное. А для него это было совсем не просто. Заметьте: не просто.

Какой-то новой гранью мне открылся ленинский характер и в этот вечер. Кто-то сказал, пытаясь объяснить

его привязаииость к Рнду: а не был ли ои у Леннна советником по амернкаиским делам? Советником? Нет. В этом не было необходимостн. А вот другом-собесединком, можег быть. Что влекло Леинна к этому человеку? Любовь Рнда к новой Россни, его способность поиять ее? Да, конечно. Его верность принцнпам революции? Да. Его ннтеллект? Быть может, н это. Но было и иечто нное. Человек деятельной волн, Ленин тянулся к большому сердцу, еслн вндел его в человеке, а значит, к человеческому теплу, участлнвостн, обаянию — всему тому, что ие дает остыгь человеческой кровн.

Мы простнлнсь. Теперь машнна шла ночной Москвой. Будто отпрянули красиые камни Исторнческого музея, густо-красиые, иеобычно темные в эту беззвездную ночь, точно задымленные. Где-то над головой в бездонной высн, намертво заслоннв собою звезды, сдвнгалнсь тучи. Казалось, что здесь, у этнх красных камней, н там, рядом с тучамн, было одно слово: «Крнзнс». Машина взбнралась по иеровному торцу Кузиецкого моста, а в сознанни жнло только одно слово: «Крнзнс... Кризнс... Крнзнс». Человек будто вышел навстречу смерти. Где-то шел этот бой, и уже все отступнло, даже сознание, оставалось сердце (оно уходнт последннм). Все слова, которые былн пронзнесены когда-то в жизни, собралнсь в эту иочь к изголовью человека, все слова: «А теперь я буду читать Джо Хнлла. Слушайте... «Если я солдатом буду, то пойду под красиый стяг...» Только слушайте... Как начннается эта русская песия?.. Ну, подскажнте же... Я все забыл... забыл все...» Вндио, н в самом деле все слова собрались в эту ночь к изголовью, и все-таки иет снл нх вспомнить... А машина взбнрается по Кузиецкому мосту все выше и выше. Я смотрю иа иебо: тучн раздалнсь н сомкнулнсь. Свет вспыхнул н погас, нн еднная его капелька не достнгла землн.

Тремя днямн позже я был вызваи в Кремль с очередной папкой ннформациоиных матерналов по Севрскому договору. Шло заседаине Совиаркома. Был одниадцатый час вечера, н комиата ожндання опустела. Последннй ее посетитель, видимо, был прннят только что: над папиросой, лежащей в пепельинце, внлся едва заметный дымок. Потом нз-за двери, где происходнло заседанне, послышался шум отодвнгаемых стульев, распахнулась дверь, и в ее пролете я увидел Леинна. Это была та са-

мая минута, когда, закончив заседание, Ленин еще задерживался на какой-то миг, чтобы отдать последние распоряжения секретарям, ответить на неожиданно возникший вопрос, ободрить шутливой репликой товарища, только что подвергшегося жесткому разносу. Обычно эта минута была самой веселой и шумной. Но сейчас тишина, необычная тишина вдруг вторглась в зал и осекла людей на полуслове. Ленин стоял у большого стола, молча глядя на четвертушку бумаги, лежащую перед ним. Очевидно, в последнюю минуту, когда он уже готовился покинуть зал, кто-то из друзей пододвинул эту бумагу к нему и что-то сказал. Сказал и побоялся: не ранит ли, не опалит ли сердца?

— Джон Рид...— внятно и, может быть, чуть-чуть громче, чем обычно, произнес Ленин.— Умер Рид...

В зале стало еще тише. Все, что открывала глазу распахнутая дверь, даже неясные очертания облаков за окном, точно окаменело на миг.

Только к полуночи Ленин принял меня. Он сидел у себя за столом, и его лицо казалось сейчас пепельным — он очень устал за этот день.

— Вон какую бурю родил Севр на Востоке! — произнес он, когда чтение бумаг было закончено.— Это только начало.— Он скользнул глазами по огромной карте Азии, висящей сбоку.— Пора подниматься континентам! — Встал и подошел к карте, подошел быстро, как имел обыкновение делать это во время полемической беседы, когда верно найденное слово решает исход спора.— Восток...— Он осекся. Лицо его стало сурово-печальным, и рука... Руку он не успел отнять — она лежала на синей чаше Каспийского моря.— Благородный человек,— произнес Ленин тихо; по какой-то ассоциации, недоступной внешнему глазу, он вспомнил опять Рида.— Есть законы, по которым народ приходит к революции. Рид понял эти законы.

Ночь. Опять я иду через Красную площадь. Да, именно здесь мы стояли с Ридом. А потом он дошел до середины площади, остановился и долго-долго смотрел вокруг. «Есть законы, по которым народы приходят к революции». И мне подумалось: народы и люди. Вот шел по свету человек, шагал через океаны и пришел именно сюда, пришел, чтобы встать у этой стены навечно...

ДЕНЬ

Все чаще Ленин принимает меня вечером.

— Я читал сегодня в «Юманите»,— указывает он взглядом на этажерку у окна — там лежат подшивки иностранных газет, которые он получает,— баварское правительство возглавил некто Кар. Что его связывает с рейхсвером?

Минуту он слушает спокойно, чуть-чуть откинувшись в кресле, полузакрыв глаза. Мне кажется не случайным, что в столь поздний час всем иным делам он предпочел это: слушая, Ленин отдыхает.

— Нет, погодите, тут следует придумать что-то более действенное.— Ленин встает и идет к этажерке с газетами. Он достает подшивку и разворачивает ее.— Не вижу картины, вы понимаете, не вижу. Хочу знать, что думают хотя бы Лондон, Вашингтон, Париж...

Он уже развернул «Юманите», отыскал нужную заметку, прочел ее один раз, второй.

— Но я вас, кажется, прервал? Итак, что же дальше?

Иногда он, продолжая слушать, пододвигает блокнот и стремительно заполняет его записями. У него своя система сокращений, неожиданных, но в высшей степени оправданных и действенных, приближающих его письмо к стенографии.

— А не находите ли вы, что мистер (Ленин называет имя английского корреспондента, недавно прибывшего в Москву) никогда не поймет и не примет революции? — спрашивает он.— Нет, вы мне скажите: да или нет? — Он слушает внимательно, низко склонившись над столом, поглядывая на меня мягко сощуренными глазами.— Что ни говорите, а он не может простить нам нефтяных зе-

мель, отнятых революцией. Ох, не усложняйте,— все именно в этих землях!

Уже поздно вечером он вдруг встает:

— Уважьте, Дмитрий Дмитриевич, расскажите, как вы везли мистера в автомобиле. Смешнее этого ничего не слышал! Ну, я вас прошу, еще раз расскажите! — И, подняв руку, кричит в открытую дверь: — Кто там есть? Идите, идите сюда скорее, послушайте, как это смешно! Итак, машина перевернулась, и вы увидели, что шофер сидит за рулем вверх ногами? И мистер в такой же позиции? Мне сказали, Дмитрий Дмитриевич, что вы просидели этак в автомобиле до утра — боялись потревожить знаменитого иностранца. Ах, эта ваша... деликатность!

Мне кажется, что он ищет смешные ситуации и несказанно рад, когда их находит. В смехе он черпает силы. Рассмеялся и отдохнул. Какая-то частица его жизнелюбивой энергии отсюда.

Но в этот раз и смех не может совладать с усталостью.

— Погодите,— произносит он тише,— а вот сейчас мы проверим, как вы знаете Америку. Проверим! Что вы слышали о Вандерлипе? Нет, не экономисте, а магнате, финансовом магнате.— Он испытующе смотрит на меня, но говорит уже не мне, а себе: — Вандерлип...

Идет дождь, и город молодеет. Он хорошеет на глазах, становится праздничнее. Упал неяркий вечер. Пробежала парочка, расплескивая лужи. Потом фыркнул и задрожал на своих нетвердых колесах автомобиль. Ломовая лошадь тащила тяжелый воз, и пар зыбился над ее взмокшими боками. И в ночи вдруг вспыхнули белокаменные колонны Большого театра...

Занавес уже поднялся, когда в ложу вошел человек в черном. Не надо было напрягать зрение, чтобы хорошо рассмотреть его. Он сидел у самого барьера ложи, и его маленькая рука лежала на красном плюше. Спектакль еще не увлек его, и человек кочующим взглядом обегал зал: рассматривал зрителей, может быть, немножко показывал себя. На нем был черный костюм в полоску, сорочка с твердым воротником, парчовый галстук с жемчужной булавкой, какую носили еще в прошлом веке,

Конечно же, это был иностранец, быть может недавно приехавший в Москву. Если он не дипломат, то для него посещение Большого театра в некотором роде отождествляется с вручением верительных грамот: здесь он представлялся если не стране, то Москве. Кем мог быть этот человек? Влиятельным клерком из английского доминиона? Преуспевающим американским бизнесменом? Американские бизнесмены, даже преуспевающие, всегда были чуть-чуть старомодны.

Человек смотрел теперь на сцену и улыбался. Казалось, он принимает музыку, как солнце — глазами, кожей рук и лица. Нет, если он и в самом деле только что переступил порог города, то он, наверно, американец: только американец может почувствовать себя так хорошо в чужом городе на второй день после приезда. Человек аплодировал спектаклю охотно, да и улыбка его была доброжелательна. Иногда он оборачивался в полутьму ложи и, все так же улыбаясь, произносил несколько слов, очевидно делился впечатлениями, и в своих репликах был так же добр, как и в аплодисментах.

Тремя днями позже я увидел иностранца на улице. Он шел по Кузнецкому. На нем были боты, какие носят золотопромышленники на Аляске, и плащ. Он останавливался и смотрел на лошадь, тяжело идущую в гору, на витрину. Собственно, ничто так не поразило человека, как витрина. Он распахнул плащ и, достав платок, поднес его ко лбу. Кажется, это была та витрина, в которой Роста выставляло свои плакаты. Человек прищурил глаза, и в этом взгляде строгая, без единой смешинки мысль, упрямая, быть может, беспокойная, может, тоскливая. Кстати, человек шел от площади, которая позже получила имя Воровского. Очевидно, он шел из Наркоминдела. Кем мог быть этот человек и какая тропа привела его в Москву?

С этим вопросом у меня не связывались ни радости, ни печали, но по неизвестной причине я пытался на него ответить: что-то сравнивал, что-то соизмерял. Я не знаю, как долго продолжалась бы эта работа, если бы на другой день я не обнаружил на большом листе «Таймса» человека в дождевике. Черным по белому там было написано: «Американский промышленник Вандерлип в Москве». Вот уже несколько недель, как это имя прочно утвердилось на страницах европейских газет. Но цель мис-

сии едва обозначалась: Вандерлип привез в Москву проект советско-американского договора. Какого именно? Очевидно, экономического. Концессии? Быть может. Где именно? Очевидно, на Дальнем Востоке. Пресса пыталась комментировать: если проект Вандерлипа будет принят, это сулит американцам немалые выгоды. Но было и иное мнение: никто не ездит в Москву без ведома госдепартамента. Миссия Вандерлипа инспирирована кандидатом в президенты Гардингом. В предстоящем единоборстве с демократами американский банкир с его инициативой должен сыграть свою роль. Так или иначе, а Вандерлип прибыл в Москву.

Потом я увидел Вандерлипа в приемной Наркоминдела. Только что закончился прием у Чичерина. Американец еще был под впечатлением беседы. Он вышел из кабинета и остановился. Глаза его горели. Щеки подрумянены ярко-пунцовым стариковским румянцем. Седой пушок шевелюры взбит. Он стоял посреди приемной и тщетно пытался застегнуть портфель, желтый, украшенный бляхами и ремнями, диковинно громоздкий. Вандерлипу было нелегко справиться с многочисленными замками портфеля, но он совладал. Смешно притопнув, он двинулся к выходу, но, вспомнив нечто важное, остановился. Он стоял посреди комнаты, глядя по сторонам, как человек, который очутился посреди пустого поля и не знает, куда ему устремиться. Потом остановил взгляд на девушке, сидящей за столом:

— Mister Chicherin has promised me to call, he has promised. . .[1]

Вандерлип вышел.

Дверь в коридоре оставалась открытой, и было еще долго слышно, как скрипит его большой портфель.

Вошел Чичерин. Матово поблескивает на спине черный шелк жилета — он без пиджака. Не останавливаясь, Чичерин закатал рукава. Зябко потер от запястья до локтя бледные, в голубых венах руки.

— Стенографистку! — Он любил работать вот так, в жилете, с закатанными рукавами.— Уехал уже? — Он прислушался, скосив глаза на открытое окно. Оттуда доносился затихающий шум автомобиля.

— Уехал, Георгий Васильевич!

---

[1] Мистер Чичерин обещал мне позвонить, он обещал...

— Вот и прекрасно! Позвоните ему через час и скажите: завтра в одиннадцать его примет Ленин.— Чичерин взглянул еще раз в окно. Шум удалявшегося автомобиля затих.— Дмитрий Дмитриевич, вы поедете с ним. Беседа должна переводиться! — Он повернулся и быстро пошел в кабинет.— Стенографистку!

Позднее московское утро. Вандерлип предупрежден, я должен быть у него в пятнадцать минут одиннадцатого. Город накрыт туманом, густым и белым. Такое впечатление, что ты идешь по мосту, а под тобой дымит паровоз. Все — прохожие, лошади, церквушки, дома — обратилось в силуэты. Машина идет еле-еле. Купол Василия Блаженного срезан туманом. Машина осторожно движется по мосту, идет вдоль барьера Софийской набережной. Сейчас пятнадцать минут одиннадцатого. Очевидно, гость уже позавтракал и, присев у огня, закурил папиросу. Быть может, он стоит у окна и смотрит на ту сторону реки. Громада того берега проступает и сквозь туман. Хочешь не хочешь, а ты должен смотреть на нее снизу вверх... Там Кремль, там Ленин.

В особняке сумрачно и сухо. Пахнет тлеющими березовыми дровами, некрепким табаком. Старый лакей с белыми баками ведет меня внутрь дома.

— Все уехали,— говорит он, поднимаясь по ступеням, ведущим в гостиную, и его колени неприятно хрустят.— Все уехали,— повторяет он.

Кажется, лакей с белыми баками забыт здесь старыми хозяевами, как, впрочем, и вот эти бронзовые бра и ломберный столик на изогнутых ножках, неизвестно почему выставленный в коридор, и кресло с лоснящейся кожей, и настольная лампа на массивной, налитой свинцом подставке — в исторических романах автор разделывался с героями при помощи такой подставки.

— Все уехали,— говорит лакей и входит в гостиную с окнами, которые обращены к Кремлю.— Вот только...— указывает он взглядом на открытую дверь, ведущую в соседнюю с гостиной комнату.

В дверях Вандерлип. Он в том же черном костюме, в котором я видел его в Большом театре, и парчовый галстук, скрепленный булавкой, тот же.

— О-о-о, уехали... и Уэллс уехал! — произносит он по-английски.— Я предложил ему посетить балет и рынок. Да, да, Сухаревский рынок... Я верно произношу?

Я предложил, а он поднялся... Э-э-э, говорит, в среду из Ревеля в Стокгольм уходит пароход... О-о-о...

Он говорит едва ли не скороговоркой. Чтобы уследить за темпом его речи, надо к ней привыкнуть. Его язык лаконичный, броский, часто афористичный. Кто сказал, что строй английской фразы неколебим и в ней должны присутствовать обязательные компоненты — подлежащее, сказуемое? Ведь не он, Вандерлип, служит языку, а язык призван служить Вандерлипу. Поэтому с языком надо обращаться, как с деньгами: чем свободнее себя ведешь с ними, тем полнее они тебе служат. Что же касается того, что его речь не всегда понятна собеседнику, то тем хуже для собеседника. В конце концов, должен приспосабливаться он; пусть знает, с кем имеет дело.

Мы сверяем часы.

— У нас еще есть время. Повезите меня окольным путем. Ну, если можно, через Красную площадь. Нет прекрасней этой площади,— говорит он, усаживаясь в машине.— То, что называется миссией Вандерлипа,— я один. Да, да, ни секретаря, ни переводчика... Совсем один! — повторяет он и смеется.— Путешествие цивилизованного американца в большевистскую Россию. Мои друзья в Америке говорили мне перед отъездом: «Это что-то вроде походов Стэнли по дебрям Африки».— Он теперь хохочет, обхватив маленькими растопыренными пальцами сердце, будто опасаясь, что оно выпадет.— А-а-а... Вот какой они видят Россию, а? — продолжает хохотать он и, запрокинув голову, останавливает взгляд на куполах Василия Блаженного.

Туман рассеялся, и обнажились купола, один из них с черным провалом — след артиллерийского снаряда.

— Это что такое? — спрашивает он.

— Снаряд,— говорю я.

Он мрачнеет.

— Революция? — переводит он на меня глаза; смех погас, а вместе с ним и яркие краски лица: оно теперь тусклое.

— Да, революция,— говорю я.

Он шарит торопливыми глазами по сторонам. Очевидно, хочет заговорить о чем-то таком, что способно увести от неприятной темы. Прямо во всю стену четыре слова: «Религия — опиум для народа».

— Видите? — спрашивает он, указывая глазами на надпись.

— Да.

— О-о-о... Прошлый раз мы гуляли здесь с Уэллсом. Я говорю: «А уж эта надпись здесь ни к чему, я бы ее смыл».— «А я бы ее оставил,— возразил Уэллс.— Это реликвия, а реликвии надо хранить, если даже они нам не очень нравятся. Надпись сделана рукою революции».— Вандерлип зябко поводит плечами — это слово непрошено вторглось в его речь.— Миссия Вандерлипа,— произносит он, глядя на свой портфель, когда машина въехала в Кремль.— В наше время даже дипкурьеры остерегаются ездить в одиночку. А мне нравится. Э-э-э...

Странное дело: эти междометия Вандерлипа — «О-о-о...» и «Э-э-э...», наверно, тоже от свободного обращения с языком. Каждое из них, как я уже успел заметить, не имеет точного смысла. Вандерлип говорит: «Э-э-э...» — и это означает «да»; он восклицает «Э-э-э...»— и это значит «нет», при этом разница в интонации неуловима даже для искушенного уха.

Я смотрю на Вандерлипа. Он умолк, весь ушел в себя. Что зреет сейчас в тайниках его сознания? Не иначе как разум свой, сердце он схоронил в сейф, самый надежный, в котором он хранит святая святых своего состояния. Только слабые и, в сущности, незначительные признаки способны обнаружить его переживания: блеск глаз, подергивание правого плеча, по-стариковски подобранные губы, легкая испарина на лбу... Но как все это перевести на язык элементарных мыслей и объяснить состояние человека? Кто сказал, что наблюдательность доводится родной сестрой художнику? А дипломату? Что, дипломат без глаз?..

Мы шли длинными кремлевскими коридорами, и Вандерлип молчал. Он уже переселился в своих думах в кабинет Ленина. Сейчас он всего лишь излагает свои взгляды, но еще минута, и он ринется в бой.

Мы входим в кабинет Ленина. Еще не произнесены слова, ни единого слова, но свет, обильный и мягкий, уже обнял нас. Из окон видна кремлевская площадь, купола соборов, необозримое небо.

— Ах, как долго я сюда шел...

Это говорит Вандерлип, говорит улыбаясь — у него и в самом деле такой вид, будто бы он достиг перевала.

— Располагайтесь,— произносит Ленин,— садитесь, пожалуйста.

Вандерлип клацает замками, и портфель распахивается.

— Господин премьер-министр, я рассчитываю на откровенный разговор...

Комната и в самом деле полна света. Все, что уместилось в комнате, высветлено солнцем, доступно глазу, даже названия книг на корешках, даже петитная газетная строка.

— Да, на совершенно откровенный разговор... Не надо недооценивать нашей морской мощи, но через два года мы будем еще сильнее, да, в двадцать третьем году Великобритания уступит нам первенство на морях...

Первых двух фраз было достаточно, чтобы гость воодушевился. Сейчас уже не было нужды в бумагах, которые он извлек из портфеля. Все, что он имел сказать Ленину, хорошо отложилось в его сознании. Через два года владычицей морей станет Америка. Советский премьер ошибается, если думает, что Америка боится Японии. Нет, Америка верит в победу на Тихом океане. Если хотите, это исторический оптимизм. Короче, Америке придется воевать с Японией. А воевать нельзя без керосина и бензина. Америке нужна Камчатка. Вандерлип хочет говорить начистоту: продайте Камчатку! Нет, эта сделка выгодна не только Америке. Вот посудите: вы заинтересованы в признании Америки. Там предстоят выборы. В марте в Белый дом придет новый президент — Гардинг. Да, Вандерлип гарантирует, что в Белом доме будет новый президент. Могущество демократов на закате. Они терпят поражение даже на юге, где они были извечно сильны. Камчатка даст Америке бензин, красной России — популярность у американского народа, а следовательно, и признание. Вандерлип — республиканец, а сегодня это значит многое. Да, демократы стремительно утрачивают позиции. Вы раздумываете, стоит ли вам продавать Камчатку? Тогда отдайте ее на концессию, но в этом случае признания Вандерлип не гарантирует.

Я замечаю, Вандерлип говорит с Лениным тщательнее. Он как бы вызывает Ленина: «Будем говорить по-английски, так мы лучше поймем друг друга...» Но Владимир Ильич верен своему правилу: официальные беседы он ведет через переводчика.

— Так как же, господин премьер-министр? Э-э-э...

Ленин смотрит на своего гостя. О чем думает Ленин? Наверное, о том, как может этот человек в такой ослепительный полдень у всех на виду обнаружить нечто такое, чего извечно люди стыдились.

— Я говорю в открытую. Мне нечего скрывать,— повторяет Вандерлип.

Ленин встает и предупредительным жестом дает понять собеседнику: он может сидеть. Просто Ленину хочется сделать несколько шагов по комнате.

Он любит во время беседы шагать из одного угла кабинета в другой, может быть, взглянуть из окна на площадь, проводить взглядом машину или прохожего.

— Я человек практический,— говорит Вандерлип.

Ленин улыбается. Очевидно, этому разговору недоставало душевного контакта, вот его собеседник и обратился к личному.

— Практический,— смеется Ленин.— Тогда посмотрите, что такое советская система, и введите ее у себя.

Вандерлип подскакивает и идет к Ленину.

— Может быть,— говорит Вандерлип по-русски.

— Так вы говорите по-русски?

Американец беспомощно машет рукой.

— Как же, не одну сибирскую область я объехал верхом на лошади.

Ленин смотрит на гостя внимательно: оказывается, интерес Вандерлипа к русскому Востоку имеет свою историю.

— Я получил ваше послание,— говорит Ленин.

Вандерлип вскинул брови.

— Да... И что же?

Ленин подошел к Вандерлипу, подошел близко, мне так кажется — угрожающе близко. Я подумал: сейчас, сию минуту, одним словом, ощутимо жестким, Ленин даст понять своему знатному гостю, какая земля зеленеет за окном, какое солнце стоит над нами и кто в конце концов является его собеседником.

— Но заключение договора предполагает полномочия с обеих сторон,— замечает Ленин, замечает строго. Это свойство ленинского характера: он не боится обострить разговор.

— Полномочия подоспеют в нужный момент,— говорит Вандерлип.

Ленин все еще стоит подле Вандерлипа.

— Отлично... отлично...

Невидимый проводок накаляется в глазах гостя — Вандерлипу явно не под силу такой напор,— в очередной раз он должен все обратить в шутку, во что бы то ни стало обратить в шутку.

— Э-э... вернусь в Америку и обязательно удостоверю, что у господина Ленина нет рогов.

— Как вы сказали? — переспрашивает Ленин и отходит к столу.

Вандерлип наклоняется и, подставив по указательному пальцу к виску, угрожающе движется вперед.

— Я же говорю: нет рогов у господина Ленина! Нет рогов!..

Ленин хохочет тем всесильным смехом, каким смеется только он.

— Значит, нет рогов?

— Нет, нет...

Потом смех стихает, стихает медленно. Они стоят сейчас один против другого, строгие, настороженно строгие. Я смотрю на них и не могу не подумать: вот и сошлись лицом к лицу два мира.

Вандерлип уходит.

Ленин возвращается за стол. Долго сидит, охватив ладонью склоненный лоб. Кисть руки заслонила глаза; впрочем, они сейчас, кажется, закрыты. Молчит, думает, потом вдруг отнимает руку, в глазах — любопытство, без улыбки.

— Нагой, совсем нагой. Как вам это нравится?

В самом деле, только что произошло необычное: на глазах у белого света, нисколько не смущаясь, обнажился человек, обнажился да еще прихвастнул тем, что все одеты, а он голый, совершенно голый.

Был день, ослепительный московский полдень.

ВЕРА

Г. Б. Краснощековой

Ветер с юго-востока, и небо над Москвой серо-белесое, пропахшее пылью. Все обесцветила и перекрасила пыль: и небо и землю. От этой пыли высоки и неистово красны вечерние зори. Заволжское солнце сожгло поля. Может, и ветер с тех полей и пыль?

Она позвонила мне уже за полдень.

— Господин Рыбаков? — Моя фамилия, в которой соединились страшные для американцев «р» и «ы», была преодолена сравнительно легко.— Не были бы вы так любезны меня принять? Я Бесси Битти.

— Простите, я не ослышался? Бесси Битти? «Красное сердце России»?

Она рассмеялась:

— Именно «Красное сердце».

Да, это была Бесси Битти, автор книги «Красное сердце России». Ну конечно, та самая Битти, что говорила с Лениным в памятный новогодний день в манеже.

Кто-то рассказывал мне о ней: кажется, аристократка, и отнюдь не оскудевшая. Вряд ли ее привели в Россию убеждения, скорее поиски необычного. Но здесь, в России, Битти вначале встревожилась, потом сникла, потом воспрянула и уехала, исполненная желания сделать нечто доброе. Ее книга «Красное сердце России» не во всем верна. Но книга дружественная. В семнадцатом Битти было тридцать, сейчас тридцать три.

— Простите, я могу быть у вас сегодня? Это, кажется, рядом со мной.

...В дверях стоит женщина. В ее улыбке и радушие и милая кокетливость.

— А в Нью-Йорке тоже жарко. Именно жарко, а не знойно. Влага проникла во все поры города. Бедные мужчины! Не успевают менять сорочки: трижды в день!

Она произносит эти несколько слов и смотрит на меня: сумела ли она дать представление о том, как жарко в Нью-Йорке? Я молчу, что-то не очень хочется продолжать этот разговор о жаре. Три сорочки в день! Они так богаты, что перестают замечать это.

— Я все знаю! — грозит она мне пальцем.— Мне сказали мои русские друзья, что во вторник вы отправляетесь на Волгу. Да, да, агитпароход «Сара... Сарапу...»

— «Сарапулец»,— спешу ей на помощь.

— Вот видите, я все знаю. А Калинин? Это верно? Нет, нет, я не спрашиваю. Я только хочу знать, не могла бы я рассчитывать на благоприятный ответ, если бы...

Поезд идет уже степями. У окна сидит Калинин и смотрит в степь. Он крестьянин, он все понимает. Хлеб убран, и степь обезлюдела, тревожно обезлюдела. Сиротливо стоят скирды соломы — две-три на каждый ток.

— Взглянешь на эти скирды и все поймешь,— говорит Калинин.

Битти неотрывно следит за Калининым. Это, наверно, профессионально для газетчика: все, что лежит в поле зрения, изучать строгим, испытующим взглядом.

— Правда, что его имя назвал на пост президента Ленин?

— Правда.

— И-е-е-с!

Трудно сказать, что означает это «И-е-е-с!», в какой мере оно доброжелательно. Мне кажется, все-таки доброжелательно. Почему ее прибило к нашему берегу? Во многом этому, наверно, способствовал характер. Ей нравится казаться необычной. Путешествие в Россию для людей ее круга больше чем необычно. В день переворота Битти находилась в Петрограде. Говорят даже, что была вместе с Ридом и Вильямсом в момент штурма Зимнего и вела себя храбро. Может, и в этом сказалась жажда необычного? Возможно. Однако виденное для нее не прошло бесследно. Что-то отслоилось в сознании. Сердце не заковано в панцирь, трудно надеть панцирь на глаза и мысли.

А поезд идет степями. Как-то странно, совсем не по-августовски пустынны поля. Поезд неожиданно останавливается на полустанке: то ли ждет встречного, то ли запасается водой.

Калинин выходит из вагона. На нем сапоги, полотняная рубашка с отложным воротником. Он снимает очки, неторопливо начинает протирать. Протерев, надевает, смотрит вокруг, щурится. Приметив Калинина, к нему приближается старик в кубанке. Брюки его заправлены в шерстяные носки, рубашка без пояса. Он не доходит до Калинина нескольких шагов, останавливается.

— Никак... Калинин, Михаил Иваныч?

— Я.

Старик делает еще шаг.

— Вот я гляжу...

Но Калинин уже двинулся к нему.

Поезд ждет встречного, ждет минут сорок, и все это время два человека стоят поодаль и смотрят в степь, а глаза у них странно пасмурные, будто набрались они хмари у самой степи.

Только теперь я вижу рядом с собой Битти. Она стоит с раскрытым блокнотом в руках и молча смотрит на людей, что тихо беседуют у края степи, смотрит, и карандаш беспомощно повис над блокнотом, как слово на раскрытых губах.

Она дожидается, пока Калинин вернется к вагону.

— Могла бы я спросить вас? — поднимает Битти карандаш.

— Да?

— О чем вы говорили с этим человеком?

Калинин останавливается, снимает очки, пристально смотрит на Битти.

— Он сказал мне: «Михаил Иваныч, я знаю, с чего начинается голод. Будет голод, какого никогда не было... и тысячи тысяч...» Я сказал: «Сегодня у нас нет столько сил, чтобы совладать с бедой, сегодня. Но мы идем к тому, чтобы Россия никогда не голодала, мы идем к этому». Он сказал: «Не верю. Мне семьдесят с гаком, и, сколько я себя помню, всегда был голод. Да иначе и быть не может! Нет столько солнца у бога, чтобы согреть всю землю, нет столько влаги, чтобы ее напоить, нет столько снега, чтобы укрыть всю ее. Укроет с одного края, сдвинет одеяло — и оголит другой край. Нет столько силы у

бога».— «У него нет, у нас будет».— «Дай вам бог». Вот так-то и поговорили.

Где-то уже за Тамбовом, в открытой степи, затянутой вечерней мглой, у развилки дорог расположился табор. Горел костер, и ветер гнал тяжелые клубы дыма у самой земли: очевидно, солома была влажной. Люди сидели у костра и смотрели на огонь. Там были и мужчины, и женщины, и много детей. Рядом шел поезд, но никто не поднял головы. Насущнее того, о чем шла речь у костра, не было ничего. На остальное не оставалось ни глаз, ни слов. О чем же могли говорить люди у скрещения степных дорог? Куда держать путь: на запад, на некогда хлебную Украину, или на юг? Еще одно непонятное имя стало близким: хлебные края начинаются в Тихорецкой. Да, Тихорецкая — тихая река, тихая реченька. Если повторять это имя бесконечно, то одно оно может вызвать у ребенка мираж о горячем хлебе и парном молоке. Тихорецкая — тихая река, тихая реченька... А какая она на самом деле, эта Тихорецкая?

Мы находимся в пути уже второй день, и Битти заметно посуровела. Что-то задумчивое осело на донышке ее глаз. Битти оделась в дорогу, как на прогулку. Вначале с нее слетела шляпка, ее сменила косынка — самая обычная косынка из кремового сатина. Битти повязывает ее низко, до самых бровей. Потом блузу заменила куртка, простая и непритязательная, а клетчатую юбку с бретелями — темная юбка от осеннего костюма. Единственное, чего она не могла заменить,— это туфелек, но банты на них... кажется, вспорхнули и исчезли бесследно.

По каким-то признакам мы чувствуем, как приближается к нам Поволжье, а вместе с ним и большое горе, которое вон как привольно разлилось на его землях и водах. В уже по-осеннему сухой листве, в блеске паутины, в движении пыли, которая вдруг горой встает над степью и закрывает полнеба, горой черной, бурой или зловеще багровой, во всем стоит беда. И какой панцирь может уберечь глаза и сердце человека от того, что стало сегодня в этой степи самим запахом земли и неба?

В вагоне нет света. Иногда дым застилает окна, и становится еще темнее.

— В ту ночь я была в Петрограде...— вдруг произносит Битти: все, что она хочет сказать, у нее возникает вдруг, вне связи с тем, что говорилось только что, по

крайней мере так кажется людям, сидящим с нею рядом.— Я вошла в Зимний вслед за солдатами. По парадным залам дворца вели человека в черной паре. Он показывал на обнаженную лысину и просил послать кого-нибудь за своей шапкой. Наверно, солдатам было смешно, что в эту минуту человек думает не о голове, а о шапке, но кричали вполне заинтересованно: «Шапку!.. Надо принести шапку! Человек может простудиться! Шапку!» А высоко, почти под стропилами крыши, там, где были комнаты для прислуги, стоял солдат и смотрел в окно. Я спросила его, о чем он думает. Я люблю задавать этот вопрос. Он протянул руку в ночь, за Неву. «Видите,— сказал он.— Это Петропавловская крепость». Я спросила его еще раз, о чем он думает. Он сказал: «О России. О новой России, которую мы построим, хотя на этой земле были Зимний дворец и Петропавловская крепость». Тогда я подумала: «Больше того, что они имеют, им ничего не надо, решительно ничего».

Нет, не все, что говорит она, возникает в ней неожиданно. Многое определено ее способностью видеть.

Вечером мы сидели с Битти на песчаном откосе и ждали парохода. У желтой волжской воды стоял Калинин и смотрел в степи Заволжья.

— Я вот о чем думаю,— говорит Битти, указывая взглядом туда, где стоит Калинин. С какого-то времени эти строгие тона стали заметнее в ее голосе.— Я думаю, нет обязанности сегодня тяжелее, чем быть большевиком.

В полночь пароход отчаливает. На заре он останавливается у дальнего края большого села. Село стоит на круче. Бьют в колокол. От его могучих ударов, кажется, гудит и колышется сама земля. Площадь черна от людей, точно сами коричнево-сизые степи втекли в нее.

— Собрать силы и засеять землю... Наше завтра... дети наши.

Недвижима и тиха площадь, лишь глаза горят, накаленные изнутри, да редко-редко выкатится слеза и побежит по щеке торопливой змеистой стежкой.

Только выехали из села — под бугром, у степного колодца, толпа. Махонький попик в блеклой, потертой рясе читает молитву. Он читает ее воодушевленно, глаза обращены к небу:

— Смилуйся, господи, мы рабы твои!

И, упав коленями в пыль, на сухую землю, толпа глухо вторит:

— Смилуйся, господи... не обессудь рабов твоих...

Калинин выходит из машины, останавливается, сняв картуз. Молча и печально-строго смотрит на молящихся. Не прерывая молитвы, попик поднимает молящихся и идет к селу. Он оставляет их на дороге, торопливо подходит к Калинину. Его глаза горят недобрым огнем.

— Вот... вот...— тычет он крестом в растрескавшуюся землю.— Разгневили господа... Ничем не отвратить кары... ничем... кары...

Калинин бледнеет. Он снимает очки. Я заметил: это он делает в минуты волнения. Рука его дрожит. Наверно, ему хочется сказать попу нечто беспощадное: «Не юродствуйте!» Но он смиряет себя.

— Уходите,— говорит он едва слышно,— мне стыдно за вас. Уходите.

Поп вздымает руку с крестом и бежит к толпе. Время от времени он останавливается и, ухватив обеими руками крест, машет им. Трудно понять этот жест. То ли он грозит небу, то ли призывает его на помощь.

Пароход идет всю ночь. Вода кажется черной и парной, точно земля, вспаханная по весне. И, точно тяжелые ломти земли, взрезанные лемехами, ложится вода за винтом.

— А ведь это мужество... истинное мужество,— произносит Битти, глядя на черную воду,— вот так подняться перед голодным селом на трибуну и заговорить о завтрашнем дне. Вы понимаете — завтрашнем! — Она умолкает и смотрит вперед.

Берега затянуло тьмой, но в сумеречном свете безлунного неба нет-нет да глянет откос, склон взгорья, открытое поле, спокойно спускающееся к воде.

Она говорит, а поля светлеют, светлеют. Они мне не кажутся сейчас такими пустынными, эти приволжские степи! Будет же день, когда засуха навсегда отступит от этих земель, навсегда отступит. Всматриваюсь во тьму: кажется, вижу белую рубашку Калинина. Он тоже смотрит туда, где легли степи Заволжья. Наверно, думает о том же...

Почти в полночь пароход ненадолго останавливается у песчаной косы. Ветер с Заволжья. Пахнет пылью и дымом: горит трава в степи. От берега стремится огонек.

Нет, не лодка, а именно огонек, одинокий и мерцающий, точно слабый блик на воде. Огонек ближе, ближе, и вот он уже под нами, на черной, задумчиво шумящей воде. На борт поднимаются три человека: старик в брезентовом плаще и ушанке, парень в буденовском шлеме и в ботинках на босу ногу и девушка, почти подросток, в солдатской гимнастерке.

— Мы как Помгол, Михаил Иванович...— говорит девушка воодушевленно, очевидно не замечая, что слова не такие уж веселые: Помгол — комитет помощи голодающим.

— Погоди, Фрося,— говорит старик и начинает что-то обстоятельно объяснять Калинину.

Только парень молчит, охватив загорелыми руками грудь, спрятав подбородок; молчит, зубы стучат — озяб.

Калинин протягивает руку:

— Там ваше село?

— Правее, Михаил Иванович,— поправляет старик.— Точно за мысом.

— Так.— говорит Калинин и долго смотрит во тьму.

Наверно, видит село, все село, над которым встала беда. Видит большие и малые семьи. В этот поздний час они собрались, как бывало, за столом. Небогатый ужин окончен, но никто не встает. Невеселая дума одолела всех. Видит мужиков. Никогда забота о доме, о семье, близких не казалась им такой несказанно большой, как сегодня. Вот они вышли сейчас под звездное небо и молча стоят во тьме посреди база, у гумна, на краю огорода. Кажется, отсюда рукой подать и до беды и до радости. Наверно, видит Калинин и ребят, которых сон свалил до того, как они успели поесть. Все село видит Калинин.

— Значит, там село?

— Там, Михаил Иваныч, за мысом.

Потом Калинин говорит:

— Ехать? Ну что ж, можно ехать, да только не навстречу смерти. У голода нет глаз. Пусть спросят дорогу к хлебу. Хлебных дорог все меньше. Ребятишек бы спасти — вот забота, а по весне засеять поля. Все силы собрать, а обсеменить землю. Эх, столовую бы на каждое село! Были бы сыты дети.

— Мы как Помгол, Михаил Иваныч...

— Остановись, Фрося!

Девушка умолкает. Смотрит немигающими глазами на Калинина, потом говорит:

— Мои уехали еще в том месяце. Все уехали, а я — нет. Я к самой беде припаяна.

А паренек молчит, только глаза светятся, обращенные на Калинина. В них и мальчишеская покорность и готовность... Только бы глазом повел этот человек, и парень готов на все...

— Падать духом нам никак невозможно,— говорит старик. Сейчас он должен произнести нечто такое, что вызрело в нем давно и прочно легло в сознании.— Вот расскажу я вам случай из жизни...— Он смотрит на воду, точно она, только она и может напомнить этот случай.— Тот раз, по весне, когда у нас было худо, дочка моя совсем собралась помирать. Приехал я со степу, а она уже лежит... ноги под себя подобрала, молчит, глаза синим дымом заволокло, а я-то знаю, что это за дым. Внучек вокруг бегает, тормошит: «Маменька... мам...»— а она молчит. Смотрит и молчит. Человек я смирный, а тут меня такая злость взяла: застучал я ногами, замахал руками, на внука ей тычу: «Сердце у тебя есть, бессовестная? На кого ты его кидаешь? Умереть и мне сейчас впору, а не должен! Встань, говорю тебе!» Что вы думаете? Собрала где-то остаточек сил и встала. Я ее своей злостью отходил, застращал и засовестил. Нет, я знаю: падать духом нам невозможно. Падем духом — погибнем.

Ночью причалили к селу. По пологой горе оно спускалось прямо к Волге. Долго шли широкими и пустынными улицами. Вышли на площадь. В большом доме под цинковой крышей свет. Постучали.

— Кто там?

— Вот приехали из Москвы. Калинин...

— Калинин? Я тотчас...

Голос осекся. В окнах колебнулся свет. Большая тень вошла в комнату и растеклась по стенам. Потом упал засов. В дверях с керосиновой лампой в руках стоял человек, непомерно большой и, как мне почудилось, с оплывшим лицом — прорези глаз почти сомкнулись.

— Да, председатель здешнего Помгола. Сельский житель... Нет, не агроном, педагог.

— Телефон есть?

— Да.

— Как связаться с Москвой? Через Царицын или Саратов?

— Царицын.

Мы сидим у керосиновой лампы, ждем Москву, и наш хозяин, точно извиняясь за себя, говорит:

— Как будто и не голодал, а превратился бог знает во что. Нет, рука у голода не костлявая...— Он едва удерживается, чтобы не протянуть свою опухшую руку.

Калинин хмуро глядит на хозяина:

— Но как могло случиться, что председатель комитета распух от голода? Сейчас все-таки не весна... Вы такой один на все село?

— Один, Михаил Иваныч.

— Почему же так?

Председатель пробует улыбнуться, но улыбка получается странно жалкой: оплывшее лицо потеряло подвижность.

— Мне при моей фигуре пайка мало, Михаил Иваныч, а на добавку я не имею права.

— Но вы ведь больны!

— Если все умирают, умру и я.

— Умрете раньше.

— Ну что ж, умру раньше. Я пришел в революцию волонтером.

— На тот свет тоже... волонтером?

Председатель садится на краешек лавки. Пододвигает кисет и непослушными пальцами пытается нацедить махры. Но пальцы дрожат, и махра просыпается на пол.

— Мне уже поздно менять характер, Михаил Иваныч,— говорит он, пытаясь запалить «козью ножку» над стеклом керосиновой лампы.

Все молчат. Остро пахнет махорочным дымом.

Звонит телефон. Это за стеной. Калинин идет туда. Из-за толстой стены голос едва пробивается. Москва. Председатель положил на край стола непогашенную цигарку — над ней недвижимо стоит дым: кажется, что люди, заполнившие комнату, перестали дышать.

— Семенная рожь, семенная. Фунт с собранного хлеба? Каждый уезд... каждый?.. Вагоны... вагоны?.. Саратов?.. Батраки?.. Сызрань?.. Да... да...

Эти слова, такие разрозненные и тревожные, рисовали картину бедствия. Где-то в этой дремучей ночи были приведены в движение большие силы: под мигающим

светом керосиновых фонарей тысячи людей держали совет, невидимая, но сильная рука гнала на восток вагон за вагоном, состав за составом, и все, что имело голос, и то, что было от природы безъязыким, вопило: «Голод... голод...»

А за стеной теперь говорил Калинин, рассказывал, и там, далеко-далеко, кто-то встревоженный и внимательный слушал его. Чтобы разговор был сокровенным, надо видеть глаза человека, с которым говоришь. Может, Калинин видел эти глаза, наперекор ночи видел, наперекор рекам, лесам и верстам, что легли в ночи.

— Да, верно, да...— отвечал Калинин едва слышно.

Щелкнул рычажок — Калинин положил трубку. Почти беззвучно открылась дверь, вошел.

Председатель поднялся со скамьи, встал что гора.

— Ленин, Михаил Иваныч?

— Ленин...

Казалось, вздрогнула гора.

— О хлебе?

— Да, о хлебе и... о вас.

— Что?

Тихо. Только слышно, как дышит председатель.

— Сказал: пусть честность всегда будет с нами. Всегда...

— Еще?

Калинин молчал.

— Сказал еще, что нужны волонтеры жизни, а не смерти.

Первый раз я видел, чтобы гора плакала.

А утром опять гудит колокол над Волгой, и людские реки медленно стекаются на площадь, и по дощатым, наскоро сбитым ступеням Калинин поднимается на трибуну:

— Россия будет самой богатой страной в мире, самой богатой, и никогда не будет у нас голода. Не будет никогда!

А приволжское небо в самом деле сместилось в Москву. Сухая осень, бело-белесое небо, желтые листья, пыль, все такая же солоновато-горькая, как на Поволжье.

...Ленин принимает Битти в восемь.

Идем молча. Она привезла эту молчаливость и эту строгость с Волги. Ветер, как всегда, обдувает красную

глыбу Исторического музея. Идем, преодолевая его напор.

Вот и Кремль. Жестко, точно отвердевшая зыбь, отсвечивает брусчатка, и поэтому площадь кажется еще пустыннее, чем обычно.

Через площадь идет человек. Быстр и сосредоточен. Остановился, потом зашагал вновь.

— Владимир Ильич, это вы?

— Здравствуйте! Да, да, вышел под вечернее небо. До Тайницкого садика далеко, не успел бы. А вот здесь хоть и уныло, ни кустика, а все-таки небо.— Он смотрит на Битти, сощурив глаза.— Питер? Манеж? Нет, не забыл. Сестра как-то напомнила. Она была со мной.— Он смотрит на Битти внимательно.— Значит, всё видели?

Битти заметно взволнована.

— Все... благодарю вас.

Мы входим в здание. Битти идет впереди, мы—сзади.

— Мне так кажется,— говорит Ленин, точно советуясь со своим раздумьем,— что и дипломат должен знать свой народ больше в беде, чем в радости...

Через час мы прощаемся с Лениным все на той же площади перед арсеналом. Он не теряет надежды еще сегодня вечером дойти до Тайницкого садика. Получасовая прогулка перед сном — нет лучшего средства от головной боли.

— Что передать Америке? — переспрашивает он Битти.— Так и передайте: «Мы не завидуем ей, даже в нашем нелегком положении. Она богата, мы бедны, она сильна, а мы еще очень слабы, она, быть может, даже сыта, мы...— Он умолк, сурово взглянул на небо.— Но у нас есть то, чего нет у нее,— вера. А это даст нам все: и силу, и хлеб... много хлеба»

Прощаемся. Ленин идет через площадь к реке, мы — к Троицким воротам. У самых ворот я оглядываюсь. Далеко в неясном свете ночного неба видна фигура Ленина. Мне кажется, что он все еще во власти своих дум об Америке и России. Это я вижу по его шагу, необычайно молодому и быстрому. И удивительное дело: в своей стремительности он будто увлек за собой и землю и небо — вон как помчались ему вслед и деревья, согнутые ветром, и гонимые ветром облака...

И все мысли о нем, только о нем, о его и нашей вере, прекраснее которой нет ничего на свете.

ВЫБОР

Те, кто часто видел Джона Рида, может быть, помнят: летом он носил пиджак внакидку и редко надевал кепи; у него были темные, крупно вьющиеся волосы с мыском, который заметно вдавался в пределы большого лба. Иногда у него в руках была газета. Улучив минуту, он отходил в сторону и, присев у окна или полусклонившись над столом, принимался отыскивать на ее порядком потершихся страницах нечто такое, что не успел еще прочесть.

У него и теперь была газета. Он шел, размахивая ею. В заводском садике на Лесной только что закончился митинг. Рид говорил с открытой площадки, которую обступили ярко-зеленые акации,— весна двадцатого года была дождливой. Говорил об Америке, ее литературе, об Уитмене и Джо Хилле, о новых прозаиках и поэтах из рабочих и очень скупо о своей книге, которая вышла недавно. У него был ораторский дар.

Перевод не мог отнять у речи всех красок, Рида слушали.

Мы минули Каляевскую и ступили на Дмитровку.

— Америка в очередной раз поставлена на ноги...— развернул газету Рид, не останавливаясь.

— Не знает, что делать с Биллом Хейвудом? — сказал я наобум.

— Caramba! — воскликнул он, оживившись. Он любил это испанское словечко, нетерпеливое и озорное. В его книге о Мексике оно встречается так же часто, как и в его речи.— Caramba! — повторил он.— Вы уже читали?

— Нет.

— Откуда же вы знаете?

— Так было в девятьсот четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом и, очевидно, так и в наши дни.

Он рассмеялся.

— Верно! — Он был рад развернуть газетный лист еще раз.— Америка! Эти «Ай дабл-ю дабл-ю»[1] еще наделают ей хлопот!

— Скажите,— поинтересовался я,— а вы были на их процессе в Чикаго?

— Конечно, был.

— И слышали показания Хейвуда?

— Да.

Мне предстояло услышать о Хейвуде нечто такое, чего я не знал. Рассказы американских друзей, с которыми я беседовал о Хейвуде прежде, рисовали мне его человеком необыкновенным. Он вышел из старинной американской семьи. Кажется, его отец был одним из тех пионеров, кто заставил цвести и плодоносить прерии: он пришел в Айову мальчишкой. Именно пришел, босиком, по прериям, пройдя едва ли не через половину континента. У матери Хейвуда была столь же необычная судьба. Она была наполовину ирландкой, наполовину шотландкой и родилась на родине буров, в Южной Африке, где-то у мыса Доброй Надежды. Узнав о неземных щедротах Аляски, ее семья оставила африканский континент и на парусном судне отправилась в Америку. Судно шло месяцы, потом его пассажиры пересели в поезд, позже — в крытый фургон. Фургон катил по сыпучим пескам, таким же неспокойным и зыбким, как волны океана. Хейвуд родился и вырос на медных рудниках, недалеко от Великого Соленого озера. Мальчишкой он работал на ферме, пас скот, доил коров, потом поступил на рудник и стал рудокопом, добывал и откатывал руду, а потом... Кажется, он встал во главе стачки. Вот, пожалуй, и все, что рассказали мне друзья о Хейвуде и его родных. «Да, да, все,— заметили они при этом.— А теперь прикиньте сами, сколько вложили взрывчатого вещества в свое чадо отец и мать вместе?» — «Это что, вопрос к задаче?» — спросил я. «Ну что ж, пусть будет вопрос к задаче,— ответили они.— Сколько же?» В общем, не мудрствуя лукаво, можно сказать, что вряд ли в начале на-

[1] «IWW» — «Индустриальные рабочие мира». Так называли американскую левую профсоюзную организацию.

шего века в Америке был другой человек, кто бы обладал таким влиянием на рабочий народ, как Биг Билл (Большой Билл — так звали его рабочие). Дело опасно осложнялось тем, что его позиции сближались со взглядом коммунистов. Процесс в Чикаго, на котором был Джон Рид, очевидно, вызван этим.

А между тем предгрозовые сумерки над Москвой сгустились. Потом небо вздрогнуло, звонко треснуло, и хлынул ливень. Мы добежали до ближайшего особняка; над его парадной дверью был навесик. Но под навесом было уже полно, и мы перебрались под крону старой липы. Кто-то крикнул с балкона, повисшего над нами: «Не стойте, ради бога, под деревом, убьет!» Мы засмеялись и перебежали улицу; прямо перед нами входная дверь в дом была полураскрыта. Вбежали — здесь было темно и тихо. Пахло кухонным дымком и кислым тестом. Сплошная завеса ливня застлала улицу, дальние дома едва прочерчивались. Рид стоял у самой двери и, улыбаясь, смотрел на улицу. Вода скатывалась с его волос. Когда молния вспыхивала, ее белое свечение касалось лица Рида — вода бежала по щекам.

Рид отошел от двери. Шум ливня здесь был тише.

— Итак, процесс в Чикаго,— напомнил я. Мне подумалось, что Рид сумеет рассказать мне сейчас о Чикаго, у нас было время, ливень не мог закончиться внезапно.

— Я как-то писал о процессе в Чикаго,— произнес Рид, глядя, как по улице — от тротуара до тротуара — мчится дождевой поток.— А то, что написано однажды, уже не повторить ни устно, ни письменно, да и, откровенно говоря, повторять не хочется. Я лучше расскажу вам о речи Хейвуда, расскажу коротко, хотя Хейвуд и говорил на процессе четыре дня... Вы никогда не видели его портретов? Он необычен даже внешне. Он высок и крепок, как корабельная мачта. Черная шляпа, точно черная туча, затеняет лицо; у Хейвуда нет одного глаза, он потерял его в детстве. Но от этого лицо стало еще выразительнее. Страсть и решимость и, как это ни странно, кротость отражает оно. О чем говорил Хейвуд? Он говорил не о себе, может быть, даже не о своих друзьях, он говорил об Америке, говорил возвышенно и нежно, как только любящий сын может говорить о своей матери. Он говорил, как в этой стране, которую сама природа сделала кладовой богатств, власть и сила возобладали над

справедливостью. Он был истинным сыном Америки, и никто лучше его не знал ее жизни. Может, поэтому все, о чем говорил он, возникало зримо, воспринималось глазом: ты был не слушателем, нет, ты был очевидцем. И ты видел такое, что до сих пор видел только он один, что было достоянием лишь его ума, его опыта и сердца. Я и сейчас помню, как Хейвуд говорил о медных рудниках в Бютте. Он говорил, вытянув перед собой руки, и я видел, как стелется над городом ядовитый дым, сизо-черный, тяжелый, плохо повинующийся даже ветру. Дым раздел деревья, выполол начисто траву и цветы, птицы летели от Бютте, собаки обходили поселок, кошка, самая терпеливая и живучая тварь, бежала прочь. Лишь человек не покидал поселка, хирел, терял силы, но не уходил. Рядом было кладбище, такое же новое, как поселок: за те немногие годы, пока существует Бютте, его население было поделено поровну между поселками живых и мертвых. Не только Бютте назвал он, он говорил о Фолк-ривер, говорил о Колорадо. Он так и сказал: «А напротив этого ада». Не скупясь на краски и не злоупотребляя ими, он рассказал, как живет в трех шагах от ада каста господ. Ад и рай? Да, пожалуй, ад и рай. Он хорошо видел разницу в положении богатых и бедных в Америке и говорил об этом прямо, суровым языком правды, как человек, понявший главное, самое главное, что надо знать рабочему. Чего требовал он? Элементарного: он считал, что блага следует распределять справедливо и дать рабочему человеку возможность жить. Кто-то сказал, что уже тогда он был коммунистом. Ну что ж, если опыт жизни такого человека, как Билл Хейвуд, привел его к коммунистам,— слава коммунистам!

Ливень стих, и мы вышли на улицу. Солнце еще не прорвалось сквозь тучи, но сильный послегрозовой свет уже залил город. Сверкали мокрые тротуары, мягко поблескивала чисто вымытая листва, и могуче, сквозь асфальт и камень, прорывалось дыхание напоенной дождем земли.

— Что думают эти сто человек, считающие себя сподвижниками Хейвуда? Да, их было, кроме Билла, ровно сто. Никто не мог бы так справедливо и полно представить Америку, как они. Все они люди необозримых наших просторов: те, кто рвет скалы, грузит пароходы, рубит лес,— одним словом, все те, кто делает работу силь-

ных. Верно, что у них лица солдат и воинов, но есть и лица ораторов и поэтов. Кто-то сказал: «Да разве это суд? Это собрание!» Верно, такое впечатление, что эти люди собрались сюда, чтобы держать совет, как привести Америку к счастью. И вопросы, которые возникали, подсказаны были этой высокой мыслью: «Думаете ли вы, что человек имеет право эксплуатировать две или три сотни людей и жить?», «Можно ли эксплуатировать человека и жить за его счет?», «Имеет ли человек право на стачку?», «Могут ли интересы собственности возобладать над интересами гуманности?» Нет, более представительного совета, чем этот, я не видел. Он был бы очень хорош, этот совет, если бы пришло время призвать к ответу судью, что судил Хейвуда и его друзей... Ах, какую речь закатил бы тогда Билл Хейвуд!..

Вода схлынула с мостовой, теперь она бежала неширокиим ручейком вдоль тротуара. Она несла обломанные грозой ветви деревьев и блики полуденного солнца: тучи схлынули, посветлело небо.

— А вам удалось поговорить с Хейвудом тогда? — спросил я Рида, когда мы дошли до центра.

— Да, незадолго до моего отъезда,— сказал Рид.— Он прочел «Десять дней» и заметил: «А знаешь, Джек, я бы назвал книгу иначе. Я назвал бы: «Протоколы русской революции». Это сильнее, и потом: революция! Понимаешь? — спросил он и засмеялся.— Скажи, Джек, неужели там промышленностью управляют рабочие?» — «Именно рабочие»,— ответил я.

— Вот вспомнил,— как-то внезапно произнес Рид, когда мы, расставаясь, подали друг другу руки.— Прошлый раз, вот так же на прощанье, Хейвуд вдруг сказал мне: «Ты художник, Джек. Ты сразу все поймешь. Сейчас я нарисую тебе портрет одного человека, а ты скажи, кто это». И он заговорил. Помню, что Хейвуд говорил о маленьком человеке с изъеденным лишаями черепом, как у ребенка, больного глистами. В этом портрете были однадве детали очень верные, и они объяснили мне всё. «Гомперс»,— сказал я Хейвуду. «Да, он». И мы простились. Он произнес только имя Гомперса, но я знал, как много это значит. Есть такая благородная ненависть в рабочем человеке, которую не растопить, не выветрить, человек проносит ее через всю жизнь, через все ненастья и невзгоды. Она зреет в нем вместе с его сознанием. Если говорить о

борьбе рабочих в Америке в начале нашего века — да только ли в начале нашего века? — наверно, надо говорить о двух силах, двух классических силах. Одна проповедовала классовую борьбу. Эта сила отождествлялась с именем Билла Хейвуда. Другая — классовый мир. Ее представлял Гомперс, председатель Американской Федерации Труда. Но сказать так — значит, сказать не все. В начале века смерч пронесся над Америкой. Никогда прежде Америка не была так близка к революции, как в эти годы. И тогда страх родил Гомперса, родил и приказал: ложью смирить этот смерч, ложью, ложью.

Вот и все, что рассказал мне Джон Рид.

Мы расстались, а я подумал: вот этого мне как раз и недоставало, чтобы до конца понять Билла Хейвуда.

Ненависть ко лжи и Гомперсу — это и есть Хейвуд.

Между тем прошло несколько месяцев. Газеты сообщили, что Хейвуд взят под залог на поруки. Потом, как писали газеты, адвокаты возбудили ходатайство перед новым президентом Гардингом о помиловании. Гардинг сказал, что будут помилованы все, кроме Хейвуда. Перед Хейвудом возникла перспектива пожизненной каторги. Сообщение, которое пришло вслед за этим, не явилось неожиданностью: Хейвуд скрылся; возможно, он бежал за пределы страны.

Признаться, эта новость глубоко взволновала меня; вновь с необыкновенной ясностью встал передо мной разговор с Ридом о Биг Билле. Я думал о человеке, который в своей борьбе и своей вере был прав, тысячу раз прав и все-таки был объявлен преступником. Человек, за которым на бой и смерть пойдут тысячи и тысячи, должен скрыться с людских глаз, может быть, сменить имя, стушеваться так, чтобы ничто не напоминало о том, что он жив. А может быть, и в самом деле он уже ушел из Америки, ушел, чтобы дождаться своего часа и вернуться? Тогда он в дороге, в дороге трудной. Солнце движется извечной своей тропой по небу, а он шагает. Взбирается к зениту и падает за океан луна, а он идет. Вздувается море, и волны бегут к берегу и убегают от него: прилив, отлив, прилив,— он идет, идет. Как можно дальше уйти от Америки, дальше, дальше. Может быть, он взобрался на скалистый канадский берег и, оглянувшись назад, на реки и долы, вздохнул: «О-о-ох... И у дороги есть конец!» Или бросился на палубу, нагретую полуден-

ным солнцем: «А до того берега, что до солнца,— вечность!» Или лег в теплую воду, отстоявшуюся на донышке лодки: «С попутным ветром до Мексики одна ночь!..» Много путей у человека, и над каждым стоит солнце — выбирай. Над каждым ли?

А весной двадцать первого года, необычайно знойной, стало известно: Билл Хейвуд прибыл в Москву. Так вот над какой дорогой стоит солнце!..

Очень хотелось повидать этого человека, заглянуть ему в лицо, может быть, немножко проверить себя: таким ты себе его представлял?

Пригласительный билет на беленом картоне: «Билл Хейвуд, прибывший на днях в Москву, расскажет...» Небольшая комната на тридцать—сорок стульев будто бы заранее ограничила состав присутствующих: здесь представлена рабочая пресса мира.

Три больших окна выходят на Москву-реку. Солнце садится где-то позади нас, но окна по ту сторону реки в огне закатного солнца. Комната полна света, устойчивого, нерезкого, почти без теней.

Я слышу шаги Билла Хейвуда, когда он идет по коридору: твердые, неудержимо нарастающие. Но он входит в комнату, и кажется, что по коридору прошел кто-то другой, кто был и могучее его, и грознее, и полон более устрашающей мощи, хотя Хейвуд и диковинно велик. В его лице сила своеобразно сочетается с мягкостью. Быть может, это выражение от улыбки.

— Дорогие друзья...— произносит он первые слова. Он видит перед собой рабочую прессу мира, всех тех, кто является его товарищами в борьбе.— Дорогие друзья, две недели тому назад я прибыл из Америки...

Вот и начал он свой рассказ. Говорит он негромко, быть может, много тише, чем говорит обычно, будто желая смирить свой голос, принаровить его к небольшим размерам комнаты.

— Мне кажется, что однажды я уже был здесь. Россия — это Ленин, а с Лениным я впервые встретился одиннадцать лет назад.

Да, он видел Ленина в девятьсот десятом, в Копенгагене. Тогда там собрались социалисты со всего мира. Нельзя сказать, чтобы это был съезд единомышленни-

ков, но там были Клара Цеткин и Роза Люксембург. Уже пущены в ход часы войны, и слишком явственно стучал их маятник. Было душно, как перед грозой.

Как отвратить войну?

Хейвуд выступал перед рабочими Копенгагена.

Иногда он выезжал на митинг вместе со своими друзьями. Его переводила Клара Цеткин и Александра Коллонтай.

Его слушал Ленин, слушал и запомнил, хорошо запомнил.

— А помните, товарищ Хейвуд? — сказал он ему уже теперь в Кремле.— Помните?

Хейвуд говорит все в том же доверительном тоне; так можно говорить за домашним столом, в кругу близких, под мягким светом старомодной лампы.

— Товарищ Ленин...

Хейвуд думал о встрече с Лениным в ту последнюю ночь на американской земле, когда пришел к друзьям латышам, живущим вблизи порта, и попросил их приютить его до утра. И в тот пасмурный рассветный час, когда ступил на борт судна, переправившего его через океан, и в тот миг, когда смотрел на статую Свободы («О фурия, хватит мне глядеть на твою спину — я еду в страну истинной свободы!»), и, наконец, в тот яркий полдень, когда пересек советскую границу и все, кто был рядом, запели «Интернационал». Да что рядом? Пели земля, небо, облака в зените, река в низине, сосны на горах, сами горы... Все пело, а человек говорил себе:

— Ленин, Ленин...

И вот облачное небо над Москвой, высокие кремлевские купола, чистое солнце на камне и торце, холодная свежесть, ветер.

Ленин накидывает пальто на плечи, надевает кепку.

Ленин идет с Хейвудом от Малого дворца до Боровицких ворот.

— В Советской России рабочие управляют промышленностью, товарищ Ленин?

— Да, товарищ Хейвуд. В этом — коммунизм...

Мы слушаем Хейвуда, а солнце уже село и погасли блики, вначале на реке, а потом и в окнах, по ту сторону реки.

Вопрос корреспондентов к Хейвуду:

— В каком случае вы могли бы продолжать свою деятельность в профсоюзах Америки?

Хейвуд встает, молча смотрит на реку.

— В каком? Мне надо было бы обратиться в Гомперса.

Рид был прав: ненависть к этому человеку была у Хейвуда в крови.

Пресс-конференция закончилась.

Я шел вдоль реки, думал.

Вот родился в Америке человек, который мог бы назвать себя сыном ее степей и рек, сыном ее гор, взрытых ветрами и вознесшихся в поднебесье, сыном ее озер, снегов и облаков. Он не искал легкой дороги в жизни и посвятил себя труду, который дает Америке силу. Шерсть, медь, масло, олово и цинк, золотоносную руду Америка принимала из его рук или из рук таких, как он.

Из всех богов, которые обитали на земле и на небе, он избрал одного: верность. Верность матери, отечеству, своему классу. Это был честный бог — верность.

Повинуясь ему, он оскорбился там, где должен был оскорбиться. Человек вознегодовал, где должен был вознегодовать рабочий человек, возвысил голос... «Нельзя, чтобы люди обворовывали друг друга, отнимая у слабых кров, хлеб, воду, самый воздух, который дает человеку жизнь!»

Это сказал он. Его совесть, совесть таких, как он,— их в Америке миллионы,— это сам народ Америки, сама Америка.

Тогда почему под большим небом Америки Хейвуду не оказалось места?

Нет, Хейвуд не мечтал о несбыточном. Он просто хотел справедливого распределения благ, он хотел, чтобы рабочий, творец и созидатель, был господином своей страны, а не рабом.

— В Советской России рабочие управляют промышленностью? — спросил Хейвуд Ленина.

— Да, товарищ Хейвуд. В этом — коммунизм,— ответил Ленин.

...Кажется, еще в начале осени того же двадцать первого по Москве разнеслась весть, что Хейвуд обратился к Ленину с необычным проектом: создать где-то в Сибири силами друзей Советской России, представляющих

разные народы и страны, большой промышленный комбинат, своеобразную индустриальную республику.

Хейвуд хотел (и в этом сказывалась его шахтерская душа), чтобы республика легла на землях Кузбасса. Говорили, что Ленину этот проект понравился. Хейвуд полагал, что комбинат, или, как он его назвал, Автономная индустриальная колония, может явиться школой технического опыта и для наших кадров, но он опасался, что наши друзья, увлеченные этой идеей, недооценивают трудности, которые могут возникнуть.

Признаться, я подумал, что этот проект был очень похож на нашего американского друга. Хейвуд, подобно многим профессиональным революционерам, вышедшим из среды рабочих, жаждал созидательной деятельности, тем более что она служила процветанию Страны Советов.

Тогда я еще не знал, что самая суть этого проекта мне откроется в беседе между Лениным и Хейвудом.

До начала заседания Совнаркома оставалось минут восемь. Вошел Владимир Ильич, как всегда со стопкой новых книг. У него был дар «рассеянного внимания»: неотрывно следя за ходом заседания, он мог делать еще одно дело, например просматривать новые книги. Ленин сел за стол и, тщательно разрезав первые листы книги (разрезной нож он принес с собой), углубился в чтение.

Потом он вдруг отстраняет книгу, становится веселым — глаза сощурились, будто он застеснялся своей веселости.

— Знаете, Дмитрий Дмитриевич,— произносит он, улыбаясь, и движением глаз, все еще смеющихся, дает понять мне, чтобы я подошел к столу поближе.— Мне нравится эта ваша покладистость и, может быть, мягкость. По-моему, это не наживное, а от природы, так сказать... Ах, терпение и такт могут сделать многое! Вы думаете, я не видел, как вы разговаривали тот раз с Робинсом? Я вижу, я все вижу. Или как вы обошлись с этим петухом... Вандерлипом. Нет, что ни говорите, а будут у нас дипломаты...

Именно в этот момент на фоне белой входной двери возникла могучая фигура Билла Хейвуда и рядом широкая, не менее мощная — Куйбышева. Ленин увидел их еще в дверях и, вложив разрезной нож в книгу, которую читал, вышел из-за стола. Хейвуд шагнул ему навстречу.

— I remember! I remember well...[1] — услышал я голос Хейвуда.

Потом Ленин обернулся ко мне и, протянув руку, будто готовясь сгрести меня, произнес:

— Дмитрий Дмитриевич, очень важно, чтобы эти несколько фраз были переведены точно.— Он взглянул на Хейвуда.— Очень важно, чтобы точно,— повторил он.

Я поклонился собеседникам Ленина.

— Мы приветствуем почин наших друзей, желающих помочь нам восстановить промышленность,— начал Ленин.— Приветствуем и благодарим! — взглянул он в лицо Хейвуду.— Но мы хотим, чтобы все, кто едет к нам, были предупреждены, как им будет трудно. Предупреждены! — В голосе Ленина появились нотки, так знакомые всем, кто слушал его, когда он говорил перед большой аудиторией.— Надо, чтобы к нам ехали те, кто готов на лишения, самые тяжелые, неизбежно связанные с восстановлением промышленности в стране отсталой и неслыханно разоренной. Вы понимаете меня? — вновь взглянул Ленин на Хейвуда.

— Понимаю, товарищ Ленин,— произнес Хейвуд.

— Надо, чтобы наши друзья,— продолжал Ленин с тем же воодушевлением и страстью,— были готовы работать с максимальным напряжением сил и наибольшей производительностью. Вы понимаете меня, товарищ Хейвуд?

— Да, конечно,— произнес Хейвуд.

— Надо, чтобы наши друзья не забывали о крайней усталости голодных и измученных русских рабочих и крестьян... крайней усталости...— Голос Ленина затих.— Не забывать и всячески помогать русским братьям, чтобы создать дружные отношения, чтобы победить недоверие и зависть. Ясно ли это нашим друзьям?

— Ясно, товарищ Ленин.

Это был необыкновенный разговор: революционная Россия говорила с рабочей Америкой.

Наверно, никогда прежде русский и американец не понимали так друг друга, как в тот раз Ленин и Хейвуд.

Это было в двадцать первом, но, в сущности, это был разговор грядущей Америки и России.

---

[1] Я помню! Я хорошо помню...

Я бы мог на этом закончить рассказ, если бы не одна встреча, происшедшая недавно. В клубе Автозавода принимали иностранных гостей. Был май, необычно теплый. Молодая листва, словно зеленый дымок, охватила деревья. По вечерам было еще свежо, но москвичи спешили переодеться во все летнее. Вот и на этом вечере женщины были в летних платьях, и это придавало ему свою прелесть. В этот вечер хорошо пели наши гости, а ничто так не объединяет людей, как песня. Иногда кто-нибудь из гостей поднимался, и тогда песня стихала. Помню, говорили батрак из Южно-Африканского Союза, проникший в Москву путями, известными только ему, грузчик из Австралии, юнец с густым румянцем, который точно прокалил его смуглые щеки, и старый мастер из американского штата Юта. Это были речи-реплики, речи-тосты. В них было и озорное словцо, и крепкая шутка, то есть все то, что красит речь рабочего человека, когда у него хорошо на душе. Случилось так, что за столом оказалось несколько человек, знающих английский. Они по очереди переводили речи гостей. На мою долю пришелся мастер из Юты. Он был высок и сутул — очевидно, человек этот был рожден, чтобы ходить под высоким небом, а не сидеть в темном забое у Соленого озера, упершись головой в низкий свод. Я слушал старого мастера и думал: откуда могли происходить его предки — из Абердина или Грино? Его быстрая, чуть-чуть глуховатая речь явно выдавала в нем шотландца. Пока я гадал, перебирая знакомые мне шотландские города, старый мастер прервал свою речь многозначительной паузой и заговорил... по-русски.

Несколько слов, которые он произнес при этом, меня взволновали. Смысл этих слов был несложен: конечно, интересно увидеть Россию в первый раз, но еще интереснее приехать сюда вторично и сравнить с тем, что ты видел прежде, много лет назад.

— Вы жили в России? — спросил я.

— Жил? — Он улыбнулся.— Работал! В Кузбассе работал!

— Автономная индустриальная колония? Билл Хейвуд?

Мне показалось, что из множества русских слов, которые знал старый мастер, я выбрал наиболее приятные для него.

— Биг Билл! Биг Билл! — заговорил он горячо.

Очевидно, мы нашли с ним тему для разговора, которого не могла прервать даже поздняя ночь.

Прием закончился, а мы не могли расстаться. Мы покинули заводской клуб и пошли ночной Москвой. Где-то у реки мы остановились и долго слушали, как вода ударяет о берег.

— Вы, вероятно, знаете...— произнес он по-английски; то, что он хотел мне сказать, ему легче было сказать по-английски.— Биг Билл — самородок золота, истинный самородок. Говорят, что, взявшись за создание колонии, он что-то недоучел. Я вам скажу больше: среди наших друзей были такие, кто склонен был считать, что это дело вообще не надо было начинать, если колония прожила шесть лет, всего шесть лет. А я думаю: надо было начинать, надо!

На минуту он задумался, глядя, как мягко поблескивает вода. Потом заговорил тише:

— Знаете, есть такой ночной час, предрассветный, когда темнота сгущается, хоть глаз выколи. И вдруг на небе — звезда, такая яркая, какой не было в течение ночи. Эта звезда — вестница солнца. Вот такой была для нас новая Россия. Она народилась, когда ночь была очень темна, ни луча надежды. Мы бедные люди, у нас не было ни золота, ни больших денег, но у нас были сильные руки, опыт жизни, умение. Эти богатства мы привезли тогда в Россию. Я так думаю, что это принесло России свою пользу. У Хейвуда были вера и ненависть... А Гомперса он действительно ненавидел, ненавидел на всю жизнь, потому что любил Америку.

Мы медленно пошли дальше. Было тихо. Пахло непросохшей землей.

— У меня на родине говорят,— задумчиво произнес мой собеседник: — «К тому, что скажет смерть, не всегда можно что-нибудь добавить». Гомперс похоронен рядом с Рокфеллером, Хейвуд — у кремлевской стены, рядом с Лениным. Что можно к этому добавить?

Мы расстались. Мне казалось, что старый американский рабочий выразил самую суть того, что определило жизнь Билла Хейвуда.

ДЕЛЕЦ

Из всех ленинских фотографий эта особенная. У Ленина задумчиво-строгие глаза, чуть печальные. Такое впечатление, будто он долго и задушевно беседовал с человеком, которого знает много лет, или слушал музыку... Кстати, фотография относится к ноябрю двадцатого года. Именно в один из этих дней он был у Горького и слушал бетховенскую «Аппассионату». «Изумительная, нечеловеческая музыка...» — это сказано в тот раз. Быть может, фотография нравилась и Владимиру Ильичу. Не поэтому ли он подарил ее Хаммеру?

«To comrade Armand Hammer from Vl. Oulianoff (Lenin). 10.XI.1921». «Товарищу Арманду Хаммеру от Вл. Ульянова (Ленина). 10.XI.1921».

Помнится, когда мы вышли из кабинета Владимира Ильича, Хаммер приблизился к окну.

— Вот что любопытно,— обратился он к Мартенсу, рассматривая фотографию,— здесь написано: «Товарищу Хаммеру». Согласитесь, это звучит почти так: «Товарищу капиталисту Хаммеру».— Американец улыбнулся.— Как понять господина премьер-министра? Это шутка?

Но Мартенс будто и не заметил улыбки Хаммера.

— Шутка? Нет, почему же? Может, и серьезно. Просто добрый знак приязни.

— Да, да. Знак приязни,— сказал Хаммер, воодушевившись, и посмотрел на Мартенса.

Хаммер понимал: каждое дело, тем более такое большое, предпочтительнее вести с человеком, тебе известным. В больших переговорах, которые начнутся завтра, Мартенс представлял советскую сторону. Знал он Мартенса?

Бывает так: ты никогда не видел человека, но твоя

способность накапливать в памяти все, что ты знал о нем и услышал позже, сделала свое и этот человек зажил в тебе своей жизнью — ты видишь его, ты говоришь с ним, он постоянно с тобой.

Так у меня было с Людвигом Карловичем Мартенсом. Я никогда не видел его, но каждый, кто приезжал в эти четыре года из Америки, что-то рассказывал мне о нем. Каждый! И сознание, быть может, помимо моей воли, нарисовало его образ. Каким? Да это, пожалуй, и не столь важно. Главное, когда я впервые увидел его (это был февраль двадцать первого года, над Москвой свирепствовали метели, и близость весны угадывалась только в солнечные дни), его образ не потребовал больших поправок в сознании.

Мартенс был нашим первым послом в Америке, послом необычным. Он не вручал президенту верительных грамот в торжественных покоях Белого дома. Не представлял президенту своих советников и секретарей в соответствии с нерушимой «лестницей» посольского протокола: советник... первый секретарь... второй секретарь... третий секретарь... атташе. Да, признаться, советников и секретарей у Мартенса не было — в едином лице он отождествлял посла, первого и второго советников и весь круг секретарей и атташе. Он не имел за этим часовой беседы с государственным секретарем. В ту пору, когда он был послом, казалось невероятным, что все это когда-либо совершится: и торжественный кортеж посольских машин, идущих к Белому дому, и встреча в президентском дворце, и учтиво-радушная улыбка президента, принимающего посла великой социалистической державы, и даже слова президента о дружбе и сотрудничестве. Все это показалось бы тогда более чем невероятным.

Первые сообщения американских газет: в Нью-Йорке начало действовать представительство Советской России, во главе представительства некий Людвиг Мартенс. Так и сообщалось: некий. И вряд ли в ту пору кто-нибудь знал, что Людвиг Карлович Мартенс — русский интеллигент, хотя и немец по происхождению, старый и верный сподвижник Ленина по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», участник Лондонского съезда, механик, математик, изобретатель (ручной пулемет, оригинальный по своим формам летательный аппарат — его изобретения), деятельный коммунист...

Известен случай, когда Мартенс пытался переправить из Германии в Россию груз взрывчатки (семьдесят пять пудов динамита!) и был арестован немецкой полицией. Арестован?.. Да, но очень ненадолго. Признайся он, что динамит предназначен для русских революционеров (Москва была перепоясана баррикадами — шел 1905 год), дело кончилось бы плохо. Мартенс сказал, что динамит предназначен для... Америки, и избежал неприятностей. Кстати, все предприятие по отправке динамита в Россию осуществляли трое: Вацлав Воровский, Максим Литвинов и Людвиг Мартенс. Думал ли кто-нибудь из них, что через пятнадцать лет именно они станут первыми послами Советской России за рубежом: Воровский — в Швеции, Литвинов — в Англии, Мартенс — в Америке...

Да, Мартенсу так и не удалось вручить президенту своих верительных грамот, и он их отослал по почте. Белый дом подтвердил получение, однако заявил, что послом России в Штатах продолжает считать гофмейстера Георгия Бахметьева. Иначе говоря, Белый дом декларировал, что он не распространит на советского посла права дипломатической неприкосновенности... Последствия этого заявления не замедлили сказаться. За восемнадцать месяцев, которые Мартенс представлял Советскую страну в Америке, он был подвергнут такой атаке, какую вряд ли знала история дипломатии. Эта атака была увенчана полицейским налетом на здание советского посольства, или, как оно тогда называлось, «Бюро Российского Советского правительства в США». Двадцать тысяч пролетариев собрались в Медисон-сквер-гардене, чтобы протестовать против травли советского посла. Госдепартамент предложил Мартенсу покинуть Америку.

Итак, до приезда Мартенса в Москву в феврале двадцать первого года я не встречал его, да и где мне было его встретить — Мартенс стал нашим послом в Америке, так и не успев побывать в Советской стране, а Россию он покинул лет двадцать назад. Мне говорили, что, прибыв в Москву, Мартенс в тот же день был приглашен к Ленину. Трудно сказать, о чем шел разговор в Кремле, но, без сомнения, большой вопрос о концессиях, который так волновал Ленина в ту пору, не был обойден.

Помню, что после встречи Ленина с Мартенсом прошло не больше недели. Был февральский вечер, ветреный и снежный. Часов в семь вечера к Ленину явились вла-

димирские крестьяне (их тяжелые зипуны и мешки с сухарями лежали у входа в кабинет). На исходе второго часа беседы Ленин пригласил к себе секретаря; чтобы беседа не ушла в песок, Ленин тут же отдал необходимые распоряжения, а секретаря просил взять эти распоряжения на контроль. Вскоре дверь распахнулась вновь, и на пороге появились владимирцы, заметно возбужденные и чуть-чуть торжественные, а вслед за ними Владимир Ильич. Он приподнял руку и защитил ею глаза, точно желая отвести от них свет люстры — видно, беседа в кабинете происходила при настольной лампе и свет в приемной ослепил Владимира Ильича.

— Мне это будет нелегко сделать, товарищ Чекунов,— сказал Ленин, пожимая руку крестьянину, который был постарше.— Нелегко, но я сделаю... Пути доброго вам.— Ленин сделал несколько шагов к двери, провожая крестьян, которые, надев свои зипуны и вскинув мешки на плечи, медленно направились к выходу.

Я ожидал, что Ленин выйдет вместе с ними, тем более что ему было по пути,— вечерами, до того как вернуться в кабинет и остаться в нем до полуночи, он обычно отдыхал дома — ужинал, час-полгора спал. Но, не дойдя до двери, ведущей в коридор, Ленин неожиданно остановился и, взглянув на меня, вновь приподнял ладонь, защищая глаза от резкого света люстры.

— А, Дмитрий Дмитриевич, вот кстати,— произнес он, все еще удерживая руку у самых глаз.— Мне звонил Мартенс. Он остановился в «Люксе» и заканчивает проект письма о деловых связях с Америкой, но вот проблема...— Он отнял руку от глаз.— Мартенс хотел приложить к письму статьи из американских газет, а перевести их он вряд ли успеет. В общем, помогите ему! У нас есть его телефон, да и номер комнаты, кажется, есть... Впрочем, никаких звонков! Это же в двух шагах от Кремля — через пять минут вы будете там.

Я быстро шел вверх по Тверской. Нет, не только потому, что мороз пощипывал щеки, а ветер настойчиво толкал в спину. Мне не терпелось повидать Мартенса. В ту пору гостиница «Люкс» на Тверской была ковчегом деда Ноя. Кто только не побывал здесь в эти годы! И могучий Хейвуд с черной повязкой, закрывавшей глаз, и Джон Рид в неизменной своей шубе-канадке, и многие другие.

Жили здесь и русские, в частности наши дипломаты,

ненадолго приезжающие в Москву. Очевидно, по этому признаку был поселен здесь и Мартенс.

Длинный коридор, слепой, без окон. Желтые сумерки — лампочки едва накалены. Ковровая дорожка, порядком потертая, не гасит шагов. Белая дверь с эмалированным номерком. Стучу.

— Да, да, пожалуйста!

В комнате зябкие сумерки, горит настольная лампа. Человек, не вставая из-за письменного стола, обернулся.

— Вы ко мне? Заходите, пожалуйста.

Я вижу: светлые брови едва прочерчиваются и глаза светлы. Он снял со стула пиджак, быстро надел, протянул руку к галстуку, висящему на спинке стула, потом раздумал.

— Простите...— Он слушает меня, чуть нахмурив лоб, прекрасный лоб, гладкий и бледный.— Ленин? — Его глаза ожили, он тронул кончиками пальцев аккуратно подстриженные усы, улыбнулся, быстро пошел к столу.— Прошу вас. Вот сидел, работал и забыл обо всем. Вы не замерзли? Чаю хотите? Да, да, вместе со мной, я тоже, кажется, промерз.

На столе уже дымится чай. Он не без удовольствия берет стакан с чаем в руки, как мне кажется зябнущие (в комнате холодновато), пьет.

— Вот я сейчас расскажу вам об одной своей встрече, и вы все поймете,— произносит он, прихлебывая чай.— Вы думаете, об американской встрече? Нет, русской.— Он подносит ко рту стакан. Горячее, настоенное на крепких листьях дыхание чая приятно ему.— Недавно я поехал в Перово и пошел по путям. Говорят, что из всех картин живой природы ничто не производит такого впечатления, как зрелище убитого слона. Так нечто подобное я увидел в Перове: кладбище паровозов. Все, что люди пытались вызвать к жизни силой своей страсти и мысли, было повержено. Именно кладбище, и тишина, как на кладбище. Это страшно, когда железо, которое было полно огня, утратило тепло, обратившись в камень. И вдруг голос: «Не кряхти, Феофаныч, силу потеряешь!» Я остановился — голос был рядом. Молчал я, где-то рядом со мной молчали люди. Наконец кто-то вздохнул нетерпеливо и громко: «Может, закурим?» Я оглянулся: из тьмы смотрели глаза. «Закурим»,— сказал я. «Мой огонь, ваш дым»,— произнес человек и улыбнулся, я понял это по

голосу. «Ну что ж,— ответил я.— Давайте огонь, а дым найдется». Человек чиркнул колесиком зажигалки: «А где же дым?» Сейчас человек был виден мне весь: борода красновато бурая, солдатская шапка, подбитая серой мерлушкой, шинель, опорки с обмотками — видно, пролетарий, вернувшийся с фронта. Я протянул ему папиросы. Он взял. «Берите еще!» — «Еще?» — «Да, одну вам,— заметил я,— другую Феофанычу».— «Феофанычу?» — ухмыльнулся он и, сняв шапку, старательно спрятал папиросу за отворот. (Вторую он держал в губах.) «А где же Феофаныч?»

«Мы тут вместе: и он и я. Я просто сам с собой разговаривал и Феофанычем себя величал»,— произнес мой приятель и засмеялся. Он чиркнул колесиком зажигалки еще раз и поднес мне огонь, защитив его ладонью от ветра. Только сейчас я заметил, что он держал в руках самодельную зажигалку редкой красоты. Я потянулся к зажигалке, он охотно передал мне ее. «Хороша штука!» — произнес я. «Хороша?» — переспросил он и взглянул мне в глаза — этот взгляд выдал его. «Небось сам делал?» — спросил я. «Сам»,— ответил он, и вновь улыбка потревожила его губы. Я теперь мог рассмотреть зажигалку внимательнее. Да, она была сделана искусно — гильза винтовочного патрона, обращенного в зажигалку. «Вот кончится гражданская война»,— сказал я. «Да, кончится»,— согласился он. «И будет мир»,— заметил я. «Мир? — переспросил он.— Это каким образом? — Он держал папиросу, не сдувая с нее пепла: у него вдруг пропал интерес к ней.— Месяц назад я, может быть, и поверил бы, а сейчас нет!» — «Месяц назад?» — спросил я, а сам подумал: «Что же произошло в этот месяц такого, что перевернуло все вверх тормашками, по крайней мере в сознании Феофаныча?» «Да не о концессиях ли вы говорите?» — спросил я. «О них,— хмуро ответил он.— Своих буржуев прогнали, а чужих зовем».

— Но вы, вы верите, что в той же Америке это наше обращение о концессиях найдет отклик? — спросил я Мартенса.— И первый концессионер...

— Да, я верю, что мы скоро увидим с вами этого господина,— заметил Мартенс, смеясь.— Хотя Феофаныч и не разделяет моего оптимизма...

— Да, Феофаныч... Феофаныч...— мог только сказать я.

Я не встречал Мартенса до осени двадцать первого года. У него было немало забот в эту пору. Вот уже несколько месяцев Мартенс руководил Главметаллом. Дипломат, только что оставивший высокий посольский пост, Мартенс получил назначение, которое, казалось, никакого отношения к его прошлым делам не имеет. Но это только так казалось. Ведь Мартенс был в Америке послом особенным. Все, что было насущным в ту пору для молодой Советской республики, было насущным и для него: добывал тракторы для России, а заодно механиков для этих тракторов, завязывал отношения с купцами и заводчиками, желающими иметь дело с молодым Советским государством (тридцать миллионов долларов, на которые были заключены контракты, сумма немалая!), бывал на верфях, швейных фабриках, элеваторах, скотобойнях, все хотел видеть и познать, до всего хотел дотянуться и рукой и глазом. Результаты этой деятельности не замедлили сказаться: в Россию шли «фордзоны», хирургический инструментарий, швейные машины и многое другое, в чем остро нуждалась наша страна, планируя сегодняшний и, еще больше, завтрашний день жизни своей. Мартенс был послом, теперь стал командиром промышленности, но кодекс его обязанностей и в Нью-Йорке и в Москве во многом был тем же. Американцам, знавшим Мартенса, и в голову не приходило, что с тех пор, как он перестал быть послом и стал председателем Главметалла, советско-американские отношения уже вышли из сферы его интересов. Нет, было такое впечатление, что именно Мартенс и никто иной продолжал быть советским послом в Америке, хотя временно его резиденция переместилась из Нью-Йорка в Москву.

Мне говорили, что Мартенса мудрено застать в Москве — сегодня он в Курске, завтра — за Уральским хребтом, а когда возвращался в Москву, то бóльшую часть времени проводил в Кашире — вот уже два года, как там строилась электроцентраль, наш первенец. Да, Кашира была первенцем и, быть может, поэтому любимым детищем Ленина.

Ленин, отлично понимавший, что «поток мелочей» может унести у него драгоценное время, необходимое для крупных дел, не распространял этого правила на Каширу. Ленин сам добывал для Каширы и литейный кокс, и голый провод, и реостаты.

Разговор, свидетелем которого я был, тоже касался Каширы.

Ленин шел от Троицких ворот. У него была деловая встреча в городе, и он, отпустив машину, решил вернуться к себе пешком. Утро было хоть и прохладное, но ясное.

Ленин остановился и посмотрел на лужок, полный солнца, каким оно бывает только в сентябре. Казалось, картина была простой: трава и солнце, а Ленин все смотрел и смотрел, точно увидел нечто необычное. Потом я подумал: в природе нет картины чудеснее этой — луг, залитый солнцем. Хочешь набраться сил и радости — приди и взгляни...

— По-моему, он идет к себе? — услышал я голос рядом.— Верно?

Я оглянулся — Мартенс.

Лицо опалено солнцем, незатухающим, степным: быть может, лишь вчера вернулся откуда-то с юга, ходил вместе с геологами по курским и белгородским землям, пытался достучаться до самой утробы земной. А может, в очередной раз съездил в Каширу, ходил по рвам и котлованам, где кладут фундамент, взбирался на леса.

— Я вам звонил вчера вечером.— Ленин останавливается, смотрит на Мартенса. Глаза радостно прищурены, и в лице нет той землистой бледности, какая появляется у него к вечеру,— он сегодня наверняка хорошо спал.— В Америке есть такой... Хаммер! — Ленин пристально смотрит на Мартенса, выжидает, молчит.— Кажется, выходец из России?

Мартенс задумался.

— Хаммер? Это какой же? Компания медикаментов и химических препаратов в Нью-Йорке?

Ленин просиял. Менее приятно было бы вдруг обнаружить, что Мартенс понятия не имеет о Хаммере.

— Совершенно точно, Людвиг Карлович! Только не Юлий Хаммер, а Арманд, сын его. Говорят, что он подарил Семашко хирургический инструментарий для наших больниц! Но я не об этом.— Ленин вновь задумался, неторопливо пошел дальше.— Важнее иное: Хаммер откликнулся на наше предложение о концессиях, правда очень своеобразно.— Ленин улыбнулся.— Миллион пудов хлеба в обмен на уральские самоцветы...

Мартенс тронул кончиками пальцев усы — жест радостного нетерпения.

— Первый концессионер, Владимир Ильич?

— Первый...

Час спустя я встретил Мартенса у Троицких ворот — он шел от Ленина.

Мартенс был не то что невесел, он был встревожен.

— Однако, Людвиг Карлович, разговор о болтах для Каширы имел свое продолжение? — спросил я, смеясь.

Мартенс только теперь увидел меня.

— Да нет, разговор касался не столько Каширы, сколько,— он взглянул на меня с той хмурой пристальностью, которая выдавала в нем и напряженную работу мысли и беспокойство,— сколько Хаммера! — добавил он и неожиданно улыбнулся — очевидно, вспомнил нечто забавное из своего разговора с Лениным.— Ума не приложу, как быть...

— Очевидно, Ленин хочет видеть Хаммера концессионером,— предположил я.— А сам Хаммер предпочитает быть комиссионером, например по продаже уральских колец и браслетов? Так ведь?

— Нет, не совсем так... — заметил, смеясь, Мартенс: воспоминание о беседе вернуло ему доброе настроение.— Оказывается, за океаном прослышали о романе Хаммера-сына с большевиками и отдали отца под суд. За что, вы думаете? Отец ведь тоже врач...

— Врач? Не за то ли, что он сделал операцию и больной погиб?

— Нет, больной жив.

— Но операция была?

— Да, разумеется, но она использована властями как повод.

— А как же Хаммер?

— Как Хаммер? — усмехнулся Мартенс.— Он сказал: «Все, что я хочу сделать в России, я сделаю». Говорят, что это у него вроде пословицы. Хорошая пословица, не правда ли?

— Простите, но так сказал Юлий Хаммер. Хаммер-отец? Но ведь дело ведет сын...

Мартенс улыбнулся.

— Видите ли, там, в Америке...— Он взглянул на сизое облачко, повисшее над горизонтом, будто бы Америка была где-то за этим облачком.— Там, в Америке, я немного знал эту семью...— Он помолчал.— Как в сказке: у старика было три сына. Но, в отличие от сказки,

самым разбитным оказался второй сын — Арманд. Впрочем, каким будет третий сын, трудно сказать — он еще совсем молод. Вместе с доверием отца Арманд унаследовал и его профессию: Арманд — врач. Старику сейчас за шестьдесят, сыну — за тридцать, хотя выглядит он много солиднее; легкие седины тоже от солидности, от сознания собственного достоинства. Старик избрал такую позицию: он доверил все дела Арманду, тот не переоценивает доверия отца. Говорят, что день начинается у Хаммеров с того, что сын идет в кабинет отца и остается там часа два. И звон ключей, как стук счетов, сопутствует этой беседе, в такой же мере сокровенной, в какой и лаконично-деловой.

— Но они по крайней мере богаты? — спросил я.

— Я полагаю, да, хотя их возможности определяются не столько собственным капиталом, сколько связями с другими на комиссионных началах. Богаты? Да, разумеется, хотя старик... Я как-то услышал его разговор с молодым служащим, которого Хаммер рассчитывал. Это звучало приблизительно так: «Молодой человек, вы нам больше не нужны». При этом тон был пасторский, а слова, как видите, железные. Впрочем, не думаю, чтобы старик был скупее или черствее другого такого же хозяина.

— А сын?

— Сына я знал меньше.

Мартенс дошел до моста и оглянулся. Небо было облачным и как будто безветренным. Но то ли оттого, что оно было здесь необыкновенно высоким, то ли от кремлевских колоколен, отвесно вставших перед нами, чудилось, что небо пришло в движение и стало тревожным.

— Не думаете ли вы,— спросил я,— что Ленин уже разобрался в ситуации с Хаммером и имеет свой план? Уже имеет?

За годы общения с Лениным я узнал эту его способность: мы еще изучаем проблему, пытаемся приспособиться к обстановке и определить свое место, а у Ленина уже есть точное представление о том, как события развернутся дальше и как необходимо вести себя нам.

— Да, разумеется, имеет,— быстро согласился Мартенс.— При этом он не скрыл этот план от меня: «Надо заинтересовать Хаммера большим и серьезным делом на Урале».— Мартенс поднес руку к виску.— Может быть, асбест...

— Асбест? — удивился я. Признаться, в ту минуту я имел о нем смутное представление.

— Да, именно асбест — горный лен с его каменными волокнами,— подтвердил Мартенс.— Такого асбеста, какой у нас на Урале, нет нигде в мире. Природная пряжа: и прочна, и эластична, и, главное, огнеупорна. Температура плавки — полторы тысячи градусов!

Я слушал его и думал: «А все-таки он инженер. Вон как он говорит об асбесте — и поэтично и точно».

— Нам этот договор выгоден?

— Если даже все прочие выгоды будут невелики,— заметил Мартенс,— нам важен сам факт договора с Хаммером. Владимир Ильич так и сказал: «Важно показать и напечатать, что американцы пошли на концессии. Политически важно».

— Но Хаммеры как? — взглянул я на Мартенса.

Мартенс улыбнулся.

— Это единственное, что мне пока не ясно, хотя пословица Хаммера-старика...

— «Все, что я хочу сделать в России...» — подсказал я.

— Именно!

Мы спустились в зеленый полумрак Александровского сада и боковой дорожкой, идущей вдоль кремлевской стены, пошли к Охотному ряду. Холодная сырость, которой дышала стена, была приятна в этот летний день.

— Кстати, в нашей беседе возникло имя еще одного буржуа, англичанина Лесли Уркарта,— заметил Мартенс задумчиво.— При мне Ленин получил телеграмму от Красина.

— Это какой же Уркарт? — спросил я.— Не тот ли, что был председателем Русско-Азиатского объединенного общества? Кыштым, Таналык, Риддер-Экибастуз. Тот Уркарт?

— Именно, Дмитрий Дмитриевич, тот самый! — заметил Мартенс, и его глаза, такие серо-стальные, мягко накалились.

— Как я понимаю, он хотел бы получить в концессию свои бывшие рудники?

Мартенс остановился.

— Да, речь идет об этом. Именно.

В тот раз Мартенс ничего не сказал мне больше, да вряд ли он знал что-то еще. Имена Хаммера и Уркарта

только что возникли, и никто не ведал, как повернется дело. Единственное, что было бесспорно: кто-то из этих двух будет первым концессионером. Кто-то из этих двух. Впрочем, Уркарт не противостоял Хаммеру: один претендовал на асбестовые рудники, другой — на медные; одни рудники были на севере Урала, другие — на юге. Вряд ли могло иметь решающее значение, что один из них хотел арендовать рудники, которыми владел недавно... Итак, Хаммер и Уркарт...

Истек август, а за ним и сентябрь. В Москве все еще было тепло, но изредка внезапно и оглушительно на город обрушивались холодные дожди. Запахло дымом и зимой. Зима выдалась нелегкой — на Украине и Волге неистовое солнце двадцать первого года попалило хлеба. Еще не справились с войной, на пороге встал голод.

Я часто думал: с тех дней, когда над страной взвилось Октябрьское знамя, не было у Ленина страсти более жгучей, чем страсть созидания. Мне всегда казалось: в этом его истинное призвание, суть его натуры, сущность его гения. Но едва свершилась революция, он должен был отстранить прочь дело, к которому лежала его душа, и, по существу, взять в руки оружие; едва поутих огонь войны и человек принялся за долгожданный труд восстановления, встал грозный призрак голода... А человек жаждал созидания, и образ коммунизма, близкий и ощутимый, был для него вполне конкретен — он видел гидростанции на больших сибирских реках, тракторы и электроплуги на полях, много тракторов, заводы, приведенные в движение разумной силой электричества и пара. Действенным средством восстановления были для него и концессии, хотя Ленин понимал, как велики здесь трудности. Кстати, только что я прослышал, что в Россию приехал Арманд Хаммер и третьего дня выехал вместе с Мартенсом на Урал. Они ожидались в Москве в конце октября — уральский асбест определенно заинтересовал Хаммера.

Мартенс позвонил мне в день возвращения с Урала. Он сказал, что завтра вечером Ленин примет Арманда Хаммера в Кремле, и просил меня не отлучаться из наркомата после шести вечера. Правда, Хаммер происходит из России и говорит по-русски, однако не исключено, что в ходе беседы возникнет необходимость в переводе текстов.

На другой день к вечеру разразилась гроза с громом и молнией, совсем июльская. Бывает же такое чудо в природе: ждали зимы, и вдруг гроза! Я смотрел, как за окном бушует ливень и в мерцающем свете грозы, то негасимо-синем, то мелово-белом, вздрагивает Китайгородская стена, готовая обратиться в руины. Я смотрел в окно и думал: сейчас раздастся звонок из Кремля, и мне не избежать встречи с грозой. Я не ошибся — телефон ожил в урочную минуту, и я устремился в дымные сумерки ливня. Когда я миновал Троицкие ворота, пальто из толстого шинельного сукна было мокро насквозь, вода проникла за ворот и неторопливо текла по спине.

Я вбежал в здание и сбросил с себя пальто. Оно уже не впитывало воду, дождь скатывался с него потоками. Держа пальто на весу, я поднялся наверх и осторожно приоткрыл дверь в комнату секретарей, где обычно дожидались приема посетители Ленина. У окна стоял Мартенс в темно-сером, грубой шерсти, френче, который не брали ни солнце, ни дождь, а в дальнем углу комнаты, у другого окна, стоял человек, которого в толпе я, пожалуй, и не приметил бы — так он был прост собой. Но по тому, как свободно и вместе с тем небрежно сидел на нем костюм, как демонстративно из его кармана торчала газета, а из верхнего кармашка красный карандаш, я опознал в нем американца. Движением глаз Мартенс указал мне на стул рядом с собой и, когда я сел, дал мне номер «Таймса» с отчеркнутой синим карандашом заметкой о поездке Арманда Хаммера на Урал. Заметка была микроскопической, и в ней уместился лишь сам факт: «Арманд Хаммер, совладелец такой-то американской фирмы, выехал из Москвы на Урал. Цель поездки: концессия».

Гроза поутихла, но молния еще тревожила небо. Когда она вспыхивала, белые стены арсенала точно пододвигались к окну и мокрые стволы наполеоновских пушек казались пламенеющими. Я обратил взгляд на Хаммера: он продолжал смотреть в окно. Какие ассоциации вызвали у Хаммера эти пушки, лежащие у стен арсенала, трудно было сказать, но Хаммер был хмур.

— Что привело его в Россию? — поднял я глаза на Мартенса.— Жажда деловой деятельности, поиски выгод или желание изведать новую тропу: какие они, эти красные, и можно ли с ними иметь дело?..

Мартенс коснулся кончиками пальцев усов:

— Я тоже думал, и здесь и там, на Урале, когда мы ходили по шахтам, залитым водой.— Мартенс медленно перевел взгляд на Хаммера — он все еще стоял у окна и смотрел, как молния взрывает тьму.— Разумеется, его поступками руководит расчет, хотя он человек и не без фантазии и, так думаю я, нам верит и, в отличие от многих своих коллег, считает, что мы его не подведем. Он пытался обосновать свою позицию, так сказать, теоретически: эту веру к нам внушили ему даже не наш опыт в делах и не наша платежеспособность, а, скорее, наша интеллигентность и порядочность. Он так и сказал: «Вы все — люди идеи, а это самая наивная и вместе с тем честная категория людей — их обманывают, они никогда...»

Я смотрел на Хаммера: в глазах его, которые сейчас были мне хорошо видны, я увидел не столько иронию, сколько любопытство.

Мартенс представил меня Хаммеру.

— Значит, вы старый житель Штатов? — спросил меня Хаммер по-русски.— Портланд, а потом Ванкувер? — Он, казалось, рассматривает меня.— А отец жив? Читает «Русский Голос»? Скажу вам по секрету: и у нас читает эту газету вся семья, особенно отец. Наши старики.— Глаза его наполнились живым светом.— Никуда им не уйти от России...

Нас пригласили к Ленину.

Я видел: Хаммер смущенно улыбнулся и, точно отважившись, радостно и робко открыл дверь.

Ленин не сразу оторвался от бумаги, которую читал, осторожно провел ладонью по лбу, задержал ее у виска — жест усталого внимания,— не без труда привстал, опершись о стол.

— Здравствуйте, здравствуйте, милости прошу.— Он вышел из-за стола, пошел навстречу гостю.— Как съездили? Как вам наш Урал?.. Был ли там я? Был и даже много дальше тех мест, где сейчас были вы. Да, за Уральским хребтом, да, под Минусинском... Сибирь, разумеется, Сибирь...— Он указал на кожаное кресло — у него сейчас не было желания вспоминать прошлое.— Прошу вас. Значит, Алапаевск?

Ленин бросил на собеседника испытующе-пристальный взгляд.

Хаммер поднял глаза и уловил взгляд Ленина, обращенный на него.

— Мистер Ленин,— сказал он почтительно,— я слишком хорошо понимаю, с кем имею честь говорить, чтобы злоупотреблять вашим вниманием.— Он извлек из бокового кармана записную книжку неожиданно большого формата, бог весть как вместившуюся в пиджачный карман, развернул на нужной странице и, прикрыв ее ладонями, тщательно разгладил.— Я уже имел возможность доказать советской стороне свою лояльность...

— Мы это ценим,— сказал Ленин, сказал с тем радушием и доброй веселостью, с какой говорил всегда, когда хотел душевного контакта с собеседником.

— Я счел необходимым напомнить все это, чтобы спросить...— Хаммер сделал паузу и взглянул в книжку — все его слова были там.— Моя фирма и я можем рассчитывать на ваше доверие?..

— Да, разумеется,— сказал Ленин и улыбнулся — его начинал забавлять собеседник.

— Прежде чем сделать следующий шаг и заключить контракт на концессию,— Хаммер поднес книжку к свету, чтобы расшифровать мелкую вязь своих записок,— я хочу, чтобы вы поняли, и об этом я сказал мистеру Мартенсу: я заключу договор, если это будет мне выгодно, я это подчеркиваю — выгодно.

— Я не обманываюсь на этот счет, господин Хаммер,— заметил Ленин, улыбаясь,— он, видимо, полагал, что легкая ирония должна сопутствовать этому разговору.— Быть может, мы попросим нашего друга Мартенса изложить содержание контракта?

— Да, да, пожалуйста.

Мартенс говорил тихо, и этим подчеркивалась значительность того, что составляло предмет разговора. Да, компания обязуется в первый год реализации договора дать восемьдесят тысяч пудов асбеста и к пятому году концессии увеличить это количество до ста шестидесяти тысяч пудов. Через каждые пять лет производственная программа предприятия должна рассматриваться заново, в зависимости от того, как изменились технические условия. Разумеется, на концессии действуют советские законы о труде, при этом по крайней мере половина рабочих должна быть набрана из граждан Российской республики. Концессионеры вносят в Госбанк пятьдесят ты-

сяч долларов — этой суммой как бы обеспечивается договор. Десятая часть добычи асбеста идет Советскому государству в уплату за концессию. Предприятие может быть выкуплено советской стороной, однако об этом концессионеры должны быть предупреждены за шесть месяцев. Стоимость валовой продукции концессии за предыдущий год — размер выкупа.

Мартенс закончил чтение. Ливень за окном стих. Погасла молния, и белая стена арсенала напротив провалилась во тьму. Мартенс отодвинул папку с текстом договора, осторожно откашлялся, точно хотел дать понять Ленину, что первое слово хотел бы сказать он, Мартенс. Ленин в знак согласия кивнул головой.

— Владимир Ильич, вы обратили внимание на размер годовых? — подал голос Мартенс.

— Десять процентов,— произнес Ленин, произнес сдержанно, с явным намерением не обнаруживать своего отношения к тому, о чем говорил.

— Я сказал господину Хаммеру,— заметил Мартенс,— это беспрецедентно низкий процент. Речь может идти о пятнадцати.

Хаммер свел брови.

— Я повезу асбест не из штата Джорджия в штат Каролина, а с другого конца земли,— заметил Хаммер, не поднимая глаз.— Таких расходов на транспорт не знала наша компания.

— Прибыли компании будут велики, если она даст и пятнадцать... Согласитесь, господин Хаммер.— Мартенс хотел использовать еще одну возможность, чтобы отвоевать заветных пять процентов. Инженер, человек дела, он понимал, что какая-то возможность для продолжения разговора еще остается.

— Но поймите, господин Мартенс, я не решаю этого вопроса единолично,— произнес Хаммер.— Я всего лишь представляю компанию... Это ее мнение...

Ленин поднял ладонь, точно этим жестом хотел дать понять собеседникам, что прекращает спор.

— Хорошо, мы согласны,— сказал Ленин, обращаясь к Мартенсу.— А есть ли у нас английский текст, Дмитрий Дмитриевич? — взглянул он на меня.— Быть может, было бы уместно главные статьи договора прочесть по-английски?..

Я взял из рук Мартенса текст договора и статью за статьей принялся переводить.

Хаммер пододвинул к себе записную книжку и, отыскав нужную страницу, положил на книжку указательный палец. По мере того как продолжалось чтение, указательный палец Хаммера медленно передвигался по странице — Хаммер сверял каждую цифру контракта с соответствующими записями в книжке, сверял старательно.

Уже на пороге кабинета, прощаясь с Лениным, Хаммер, помедлив, произнес смущенно:

— Я надеюсь, господин премьер-министр, эти пять процентов не явятся, как это говорят по-русски, камнем преткновения в наших отношениях? Я надеюсь, господин премьер?

— Отнюдь, господин Хаммер.— Ленин взглянул на Хаммера, весело сощурился.— И нам известны законы делового мира! — Наверно, у него было искушение обратиться к более сильному выражению, например «законы капитализма», но он устоял.— Пока идет торг, допустимы все слова, но, как только он закончился, из всех слов осталось одно: контракт...— С видимым удовольствием он пожал руку Хаммеру.— Вы еще увидите, господин Хаммер, как большевики умеют выполнять контракты.

— Я верю вам, господин премьер-министр,— произнес Хаммер; хорошее настроение теперь владело им.— Кстати, я хотел спросить вас...— Он остановился, в раздумье взглянул на Ленина.— Дело... наше дело и впредь будет пользоваться вашим вниманием?

— Да, разумеется, господин Хаммер.— Ленин улыбнулся.— Простите, у вас есть сомнения?

Хаммер сомкнул губы, задумался.

— Нет, не то чтобы сомнения...— Он взглянул в окно.— Там... дело не является, как бы это сказать, функцией государства, там бизнес делает бизнесмен.

Ленин развел руками, рассмеялся:

— Да, да, совершенно точно: бизнес делает бизнесмен.— Он продолжал смеяться.— Но здесь, в Советской стране, бизнес делает государство!

— Благодарю вас, господин премьер-министр, это очень существенно. Значит, то, что вы делаете для нашего дела, это не просто любезность?

— Никакой любезности, господин Хаммер, это моя обязанность!

— Благодарю вас, господин премьер-министр!

— Пожалуйста, господин Хаммер.

Мы проводили гостя и вернулись в кабинет Ленина. Эта встреча с капиталистом (подумать только: первый концессионер!) встревожила и взволновала Владимира Ильича.

— Мне кажется, что этот договор имеет немалое значение как начало торговли, но вот что важно...— произнес Ленин.— Необходимо обратить сугубое внимание на фактическое выполнение наших обязательств.— Он выделил голосом «фактическое» и «наших».— Принять меры тройной предосторожности и проверки. Вы понимаете меня: тройной! Не полагаться на приказы! — Он подошел к Мартенсу.— Людвиг Карлович, надо толкового рукастого человека назначить лично ответственным и проверять... Мы должны ухаживать за концессионерами сугубо! — Он подчеркнул «ухаживать».— А что касается этих пяти процентов Хаммера... Нет, нет, я вас понимаю, Людвиг Карлович! Я, быть может, на вашем месте повел бы себя еще жестче. Нам надо уметь торговаться! Но, быть может, в этом случае риск неуместен. Все-таки первая концессия, первая! И потом... важна добрая воля...

Ленин зажег верхний свет и подошел к карте. На северо-восток от Екатеринбурга он отыскал Алапаевск, измерил взглядом расстояние от него до Владивостока, потом до Архангельска, вздохнул. Потом оглядел Сибирь — его зоркие и быстрые глаза сейчас стремились по алтайским степям, через студеную хмарь байкальских вод. На какой-то миг он задержал взгляд на приенисейских просторах, чуть выше Минусинска, там, где должно быть Шушенское, и обратил его далеко на Урал, но теперь уже не на северо-восток от хребта, а на юго-восток...

— Уркарт дает нам пять процентов от вала!.. Пять!..— Он отвернулся от карты, лицо его было темным.— Слышите: пять, а мы требовали десять! Нет, здесь не просто желание выторговать у Советской власти копеечку, здесь ненависть к власти Советской...

Он был гневен.

Я покинул Кремль и пошел ночной Москвой. В сознании жил голос Ленина, его лицо, когда он отвернулся от карты и заговорил об Уркарте...

Хаммер и Уркарт... Разумеется, Ленин не обманывался относительно истинной сути одного и другого, относительно их природы. И Хаммер и Уркарт для него были людьми одной классовой сути. И все-таки его отношение к ним было не одинаковым... Или так только казалось мне?

А между тем потребовался всего месяц, чтобы необходимые формальности, связанные с заключением первого концессионного контракта, были преодолены,— уже в ноябре договор был подписан. В документе, который явился своеобразным приложением к договору, Хаммер обязался поставить нам миллион пудов пшеницы. Уже в ноябре Мартенс сообщил мне, что первый пароход с пшеницей отбывает из Нью-Йорка. Разумеется, миллион пудов хлеба для нас количество скромное. Однако главное было в ином: отправкой хлеба Хаммер как бы давал нам понять, что он хочет вести дела с нами под знаком доброй воли.

Ленину было симпатично это качество Хаммера, и он внимательно следил за тем, как выполняется договор с американским концессионером. Во все концы — своим заместителям по Совнаркому и СТО, во Внешторг, в Главметалл шли письма Ленина: «Прошу обратить внимание на концессию американца Хаммера. Необходимо наблюсти за тем, чтобы наши обязательства по этой концессии выполнялись с неукоснительной строгостью и аккуратностью и вообще за делом понаблюдали повнимательнее...». «Договор о поставке нам 1 000 000 пудов хлеба имеет значение исключительное». «Многое говорит за то, что нам очень важно бы опубликовать пошире об этой концессии и о договоре». «Рейнштейн даст Вам телефонограмму о даче бумаги (о содействии) уполномоченному Хаммера. Помочь ему надо. Взвесьте, как написать, и поставьте, если надо, мою подпись».

Записки Ленина, короткие (три-пять строк!), исполненные деятельной мысли, вселяли энергию, торопили, воодушевляли, тревожили.

В один из этих дней мне позвонил Мартенс.

— Дмитрий Дмитриевич? Нет ли у вас желания слетать со мной в Каширу? Именно слетать: мой «роллсройс» не уступает в скорости «ньюпору» и «вуазену». Хитрец Лежава давал мне за него аэросани, но я не со-

гласился — на колесах, как на крыльях... Сорок километров в час — туда и обратно за пять часов. И дипломату важно хлебнуть глоток настоящей жизни... Если не Урал, то Кашира... Как вы?

Я согласился.

Уже за заставой я понял, что хитрец Лежава не прогадал, оставшись со своими аэросанями,— вода в железной утробе «роллс-ройса» неистово клокотала и испарялась раньше, чем мы успевали проехать от одного колодца до другого. Где-то на полпути от Москвы до Каширы, пока шофер с ведрами в руках искал очередной колодец, мы с Мартенсом пошли вдоль леса. Накануне выпал снег и укрыл все окрест. В стороне, на пригорке, виднелась деревня — печально мерцали ее огни. Первый снег, который всегда человеку казался праздничным, сегодня не веселил душу — от этой зимы не ожидали ничего хорошего.

— Как пшеница Хаммера? Пришла? Выгрузили?

Мартенс шел рядом, опустив глаза.

— Да, пришла.

— Ленин знает?

— Знает. Сказал: часть этого хлеба — на Урал, часть — Питеру...— Мартенс помедлил.— И еще сказал: непременно известить Питер и Внешторг. Без тройной проверки ни черта не будет готово, и оскандалимся...

— Так и сказал: оскандалимся?

— Да, так сказал. А что?

— Ему очень хочется, чтобы эта концессия удалась.

— Очень.— Мартенс остановился.— Кстати, вы заметили? Одну концессию поддержал, другую...— Мартенс усмехнулся.— Выходит, к одному лежит душа, к другому — нет.

— А на самом деле?

Мартенс взглянул на дорогу, высматривая шофера, который пошел за водой в деревню,— дорога была пуста.

— На самом деле? — переспросил Мартенс.— Конечно, дело не в этих пяти процентах Уркарта, хотя сама по себе эта цифра может вызвать возмущение...

— Не в этом, а в чем?

Мартенс задумчиво хмыкнул и откашлялся, намереваясь, очевидно, ответить на вопрос обстоятельно.

— Он увидел за этими пятью процентами нечто большее. Он мог рассуждать так: если Уркарт осмеливается

говорить о столь ничтожной сумме, значит, он продолжает считать и Риддер-Экибастуз, и Кыштым, и Таналык своими. Он точно говорит нам из своего лондонского далека: «Революция? А ее не было! И власть осталась в прежних руках! И заводами и шахтами владеют прежние хозяева! Поэтому о какой плате может идти речь? Чисто символической? Пять процентов — более чем достаточно для символической платы...» Ленин вознегодовал: оскорбление было нанесено самому святому — революции.

— Красин, как я понял, настаивает на подписании с Уркартом договора о концессии? —спросил я.

— Мне кажется, что он не знает всех граней проблемы.

— Вы хотите сказать, не знает всего того, что знает Ленин?

— Именно!

У Мартенса, как я заметил прежде, была такая манера говорить с собеседником: медленно, но точно он подводил к самому важному, потом следовало многозначительное «именно!», и Людвиг Карлович выкладывал все, что намеревался сказать. Так было и теперь.

— Ленин узнал о предложениях Уркарта весной,— произнес он, когда мы прошли лесок и оказались посреди чистого поля,— быть может, в марте, возможно, даже в апреле... Он живо отозвался на это предложение, однако предупредил: концессионер, желающий получить медные рудники, должен гарантировать нам и необходимое долевое обеспечение, при этом в короткий срок, и, что не менее важно, должен помочь нам оснастить другие рудники России. Короче, Ленин возлагал на эту концессию известные надежды. Он даже считал, что средства, полученные за концессию, можно употребить на осуществление плана электрификации...— Мартенс остановился.— Верный своему принципу не полагаться только на документы, а говорить с людьми, знающими обстановку, Ленин пригласил к себе Елисея Домненко. Это имя вам говорит что-нибудь?

— Признаться, нет.

— Елисей Домненко — начальник рудников в Риддере...— заметил Мартенс задумчиво.— Домненко рассказал ему такое, чего, разумеется, никто из нас не знал, тем более Красин, находящийся в Берлине. Оказывается,

уходя с Риддера, англичане затопили рудники. Больше того, они изъяли из механизмов важнейшие детали и увезли их. На самих рудниках они оставили своих агентов, судя по всему, очень преданных. Кстати, до того, как о концессии узнали в Москве, эта весть стала известна на рудниках. Это навело на мысль, что несмотря на то что Уркарт в Лондоне, а Риддер на Урале, несмотря на то, что в России нет английского посла, а в Лондоне советского, Лондон связан с Риддером достаточно прочно... Впрочем, после отъезда Домненко на Урал эти предположения подтвердились удивительным образом... Оказывается, вскоре после того, как стало известно, что рудники могут перейти в концессию, работы на рудниках были приостановлены и рабочие распущены... Агенты Уркарта...

— Вы сказали: агенты Уркарта?

— Да, из числа тех инженеров, которые работали при нем... Кстати, Домненко сообщил, что многие и по сей день состоят с Уркартом в переписке и получают от него деньги и даже одежду.

— И это Ленин знает теперь?

— Я думаю, знает.

Мы пробыли в Кашире весь следующий день. То, что я увидел, было мне в диковинку: на берегу Оки встали корпуса теплоцентрали, для которой топливом должен быть подмосковный уголь. Помню, мы шли по зыбким лесам, одевшим здание подстанции, и инженеры, перебивая друг друга, часто в два голоса рассказывали нам, какой колосс будет эта новая Кашира. Помню, цифры, которыми они оперировали не без гордости, показались мне астрономическими: там было и двенадцать тысяч киловатт, и пятьдесят, и даже двести. Меня увлек энтузиазм инженеров, но Мартенс улыбнулся более чем скептически — он был многоопытен.

— Конечно, будет и пятьдесят тысяч и даже двести, но очень не скоро,— сказал Мартенс, когда мы остались одни.— А пока будет тысяча, при этом через год. Одна тысяча.— Он поднял указательный палец.— Но это не должно нас обескураживать... Двести тысяч будут...

Потом я часто вспоминал Мартенса, думал: нет, это был не скептицизм (откуда он у Мартенса?), это был голос трезвого и прозорливого ума.

Мы вернулись в Москву только к утру.

Когда машина шла по заснеженным улицам Москвы, разговор о концессиях возник вновь.

— Вы полагаете, что Ленин еще не сказал своего последнего слова об Уркарте?— спросил я.

— В иных обстоятельствах он бы уже сказал его,— заметил неторопливо Мартенс.— И слово это было бы отрицательным.— Он помедлил, собираясь с мыслями.— Но в нынешних условиях разговор, возможно, продлится...

Случилось так, что за всю зиму я почти не видел Мартенса. После хмурого и холодноватого марта апрель вломился в город потоками парного солнца. Прежде времени расцвели яблони — как бы майскими морозами не сшибло цвета. Апрельский зной — хорошо ли это для посевов? После прошлогодней засухи жаркое солнце не очень радовало.

В один из этих дней я встретил Мартенса в Кремле. Только что закончилось заседание Совнаркома, и он спешил к себе на Новую площадь.

— Дмитрий Дмитриевич,— окликнул он меня,— в Москве Хаммер, и не исключено, что на днях будет принят Лениным...— Он помедлил, полагая, что сказанного достаточно, чтобы все остальное я понял.

— Не о том ли идет речь, чтобы быть мне...— подал я голос, но он прервал меня весьма энергично:

— Именно, Дмитрий Дмитриевич!

В начале мая я был приглашен к Ленину. Ранний вечер, дождливый. В Совнаркоме окна открыты, и хорошо слышно, как внизу бегают по лужам мальчишки: кто-то смешливый и петушисто-заливистый хохотал и не мог остановиться; кто-то пробовал заплакать, но потом рассмеялся и побежал по лужам, под его босыми ногами вода точно потрескивала.

Когда мы вошли, Ленин стоял у окна, опершись о подоконник, и следил за тем, что происходит внизу. Он нас заметил не сразу, и, когда обернулся, глаза были теплыми — видно, он только что смеялся.

— Вы вновь наш гость,— произнес Ленин, пожимая руку Хаммеру.— Значит, вопреки всем невзгодам, наши дела движутся...

— Да, да, мистер Ленин, вопреки невзгодам,— произнес Хаммер.— Эта зима была для России нелегкой.

— Нам казалось, после того что у нас уже было, нам ничего не страшно. Но голод, голод...— Ленин умолк, и в комнату вновь вторглись детские голоса. Они были очень хороши, эти голоса, в них было и негасимое жизнелюбие, и незатухающая радость, и, главное, всевечность человеческой природы.— Спасибо вам за пшеницу, она пришла к нам вовремя. Так, Людвиг Карлович? — взглянул Ленин на Мартенса.

— Именно, Владимир Ильич.

— Ну что ж, теперь, когда мы немножко знаем друг друга, дело пойдет веселее,— заметил Ленин воодушевленно и добавил, обращаясь к гостю:— Чем могу быть полезен?

Хаммер извлек записную книжку, извлек не без усилий: книжка была, пожалуй, больше той, какую мы видели у него осенью. Все, что он хотел сообщить Ленину, было точно обозначено в книжке и в этот раз. Концессия уже начала действовать. В Россию приехали инженеры. Со дня на день ожидается пароход с оборудованием. Быть может, он возьмет в обратный рейс первую партию асбеста. Если местные власти внимательны к концессии, то портовая администрация в Петрограде и представитель Внешторга... В общем, не мог бы Ленин дать понять петроградским властям, насколько все это важно для Советского государства?..

Ленин выходит из-за стола.

— Вы сказали петроградским властям? — Его лицо озабоченно.— Хорошо, мы вызовем сейчас на провод Петроград.— Он направился к боковой двери, она ведет в аппаратную.— Все, что можно сделать...— говорит он Хаммеру уже из аппаратной; дверь за собой он не закрывает, как мне кажется, не случайно.

Слышно, как Ленин вращает ручку аппарата.

— Петроград? У телефона Ленин... Да, речь идет о концессии Хаммера! Господин Хаммер или его компаньон господин Мишель... Так я говорю? Господин Мишель? — спрашивает Ленин, обращаясь к Хаммеру; Ленин хочет убедиться, что Хаммер его слушает, недаром он оставил дверь открытой.

— Да, мой коллега Мишель.

— Запишите: Мишель. Господин Арманд Хаммер сейчас у меня, я сообщу ему: наши власти в Петрограде. Прошу проследить лично... Всемерное содействие...

Ленин возвращается к себе.

— Я повторю все это.— Он кивает в сторону аппаратной.— Я повторю в письме, которое вы сейчас получите.

Он берет блокнот и, задумавшись на миг, с видимой легкостью заполняет страницу бегущим почерком, потом перечитывает и вдруг (это случается не так часто) вносит в текст письма поправки — одну, вторую, третью. Теперь он переписывает письмо очень тщательно, сворачивает его, вкладывает в конверт, однако клапан оставляет открытым, точно приглашая Хаммера при случае прочесть письмо. Он идет вместе с Хаммером к выходу. Нет-нет, Ленин бросает на него быстрый взгляд, и в глазах Владимира Ильича блеснет лукавинка, острая, живучая.

— Согласитесь,— говорит Ленин, и в голосе его слышится и любопытство и лихая веселость,— если бы не было у вас уверенности, что с большевиками можно ладить, вы бы не решились, господин Хаммер?

Хаммер тщетно пытается втолкнуть в карман записную книжку.

— Не решился бы! — замечает он смеясь.— Не решился бы, господин премьер-министр!

Мы с Мартенсом провожаем Хаммера к автомобилю, который поджидает его несколько в стороне от подъезда. Мостовая уже просохла после дождя. А голоса детей переместились куда-то в глубь кремлевского городка: они стали, эти голоса, слабыми и гулкими, точно неожиданно проникли под островерхие шатры кремлевских башен.

Хаммер вдруг останавливается и, достав из кармана записную книжку, извлекает письмо.

— Мне показалось, что господин премьер написал здесь,— он указывает взглядом на письмо,— написал здесь «товарищ Хаммер».— Он пытается держать письмо на некотором расстоянии от глаз.— По-моему, я не ошибся: «Товарищ Хаммер». Так ведь?

Я беру письмо, и мне становится понятным, почему Ленин так тщательно писал его, почему он его правил больше обычного, а потом переписал: ведь письмо написано по-английски.

Ленин писал:

«I beg You to help the comrade Armand Hammer; it is extremely important for us that his first concession would be a full success.

Yours *Lenin*».

Впрочем, за английским текстом следовал русский. Ленин перевел письмо вольно, сохранив общий смысл.

«Очень прошу всячески помочь подателю, товарищу *Арманду Хаммеру*, американскому товарищу, взявшему *первую концессию*. Крайне, крайне важно, чтобы все его дело было полным *успехом*.

С ком. приветом *В. Ульянов (Ленин)*».

Не прошло и двух недель, как мы с Мартенсом были вызваны в Кремль едва ли не по сигналу тревоги.

Был одиннадцатый час вечера, однако в окнах ленинского кабинета зыбился желтый сумрак. Я надеялся, как это обычно бывало, застать Владимира Ильича над книгой или подшивкой газет и был немало удивлен, увидев Ленина устало вышагивающим по кабинету.

— Вот, извольте: письмо от Хаммера! — произнес он, указывая на стол.— Вы помните мой разговор с Питером, помните мое письмо туда? Так всё сделали наоборот! Вызвал Питер на провод. Будете иметь удовольствие послушать.

Он зашагал к аппаратной. Полы его пиджака пришли в движение. Он сжал и разжал руки — щеки стали грозно-белыми. Он задел край стола и сдвинул скатерть — зеленое сукно вздулось. Он не обернулся.

Было слышно, как порывисто и крепко Ленин повернул ручку аппарата — один раз, второй, третий.

— Сегодня мне показали письмо Арманда Хаммера, да, американца Хаммера, о коем я вам писал! — услышали мы его голос, необычно тихий.— Да, американец, сын миллионера, из первых взявший у нас концессию, архивыгодную для нас! — Ленин сделал паузу, он явно пытался сохранить самообладание и изложить суть дела спокойно.— Хаммер пишет, что, вопреки моему письму, да, да, письму, которое я вам направил в Питер, коллега Хаммера Мишель жалуется на невежливость и бюрократичность Бегге из Внешторга, который принял его в Питере...— Ленин умолк на миг, грозно умолк.— Я обжа-

лую поведение Бегге в Цека! Это черт знает что! Несмотря на мое специальное письмо, сделали всё наоборот! Прошу вас специально расследовать этот случай!

Он входит в комнату тем же крупным шагом и, не останавливаясь у письменного стола, идет в дальний конец кабинета, потом вдруг возвращается к столу, одергивает зеленое сукно, сурово смотрит на нас.

— Я хотел еще раз вернуться к Уркарту, спокойно вернуться.— Он говорит «спокойно», однако грозная белизна еще удерживается на его щеках.— Уркарт хочет овладеть всей нашей медью, всей. Иначе говоря, медную монополию мы отдадим в его руки. Что-то в этом от стратегии лорда Керзона... Впустить врага, да еще дать ему в руки оружие... Нет! Рабочие, товарищи рабочие нам не простят этого. Своих разбойников прогнали, а чужих зовем... Нет!

Ленин подошел к окну, прислушался — дождь стих.

В этот вечер мы расстались с Мартенсом рано — он спешил в Главметалл (ночью Людвиг Карлович уезжал в Курск), я остался в Кремле.

— Ленин сказал: «Своих разбойников прогнали, а чужих зовем»,— заметил Мартенс, когда я провожал его от Малого дворца к Троицким воротам.— Ленин сказал, а я вспомнил Перово, паровозы, занесенные снегом, Феофаныча... Нет, Ленина в Перове тот раз не было, но была там его недремлющая тревога, великое беспокойство его.— Мартенс остановился, глаза его были хмуры.— Короче, я понял Владимира Ильича так: «В мире есть только один паспорт, который мы просим иметь при себе каждого, кто едет к нам оттуда: добрая воля, добрая...»

Я покинул Кремль уже за полночь. Земля еще удерживала влагу недавнего дождя, однако небо расчистилось от туч — казалось, что завтра день будет ясным. Я взглянул на часы — было десять минут первого. Значит, поезд в Курск уже отошел. И я подумал о том, что Мартенс, наверное, не спит сейчас. Стоит у окна и вот так же смотрит на небо. Проплыл черный островок леса, просторное зеркало Оки, поле, укрытое туманом, еще островок леса. И он, как и я, вспомнил, наверно, Кремль, разговор у Троицких ворот перед расставанием: «Один паспорт: добрая воля, добрая...»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— По-моему, дождь... дождь! — Где-то надо мной, на четвертом этаже, а может быть, на пятом (там работают стенографистки — никто внимательнее их не следит за небом), распахнулось окно.— Дождик, дождик, припусти!

Я выглядываю из окна: небо заволокло, каплет дождь, как из плохо прикрученного крана.

В прошлую весну точно так же все глаза были обращены к небу: будет дождь или нет? Солнце начало палить хлеба с весны и всё, что можно сжечь, сожгло к концу мая... Хоть бы эта весна была иной! Идет дождь, с каждой минутой все сильнее. Я пытаюсь высунуться из окна. Неровная струйка прошибла борт крыши и протянулась рядом, как трос на ветру. Я хочу дотянуться до нее и не могу. Вода зашумела в желобах и хлопотливым ручейком поползла по пыльной земле.

— Дождик, дождик, припусти!

Шум дождя на какой-то миг заглушил все иные звуки. Сейчас дождь хлещет как из ведра, и я медленно сползаю с подоконника. Звонит телефон, очевидно, звонит давно, его гудящий звук возобладал даже над гулом дождя.

— Дмитрий Дмитриевич? А мы уже потеряли надежду дозвониться! Одну минуту...

Я жду, приникнув к телефонной трубке.

— Сейчас соединю. Дмитрий Дмитриевич,— слышу я все тот же женский голос,— Владимир Ильич говорит с Ростовом.

Наверно, в приемной Ленина тоже окна распахнуты — слышно, как бьют с крыш потоки воды.

Ленин говорит с Ростовом. Быть может, спросил: «У нас дождь, а как у вас там?» Разумеется, ему бы хотелось, чтобы в Ростове был дождь, вот такой же обильный и устойчивый. Впрочем, обильный дождь, кажется, не бывает устойчивым: вода скатывается в ручьи и реки, не успев напитать землю. Или нет? Вон как хлещет ливень, благодатный, весенний.

— Дмитрий Дмитриевич? У телефона Ленин! — Он умолкает, собираясь с мыслями.— Сейчас вам привезут журнал с большой статьей «Дипломатия и электричество». Просьба быть сегодня вечером у меня с кратким рефератом статьи... Нет, разумеется, не для меня!.. Сию минуту уточню час.— Он вновь умолкает, однако я слышу, как он кричит секретарям: «Что сказал Кржижановский? Что сказал? И Графтио? Да, да!» — Вы слушаете, Дмитрий Дмитриевич? Я жду в восемь. Если меня не будет в кабинете, приходите ко мне наверх. Ну, разумеется, не на чердак, а на веранду. Да, на ту, новую. Вы ведь были там однажды? Кстати, самокатчик уже повез вам журнал.

Он кладет трубку.

Я смотрю в открытое окно, за которым хлещет ливень, но не вижу ни темного, обложенного тучами неба, ни шумящей воды. Значит, в восемь. На веранду. Но почему на веранду? Кто-то сказал мне дня три назад: «У Ленина — головные боли и бессонница». И еще: «Немец Клемперер, профессор-терапевт, очень известный, смотрел Ленина». Что признал он?

Я подхожу к окну — самокатчик из Кремля будет вот-вот. Ливень, точно мутно-желтый туман, все застлал. Сквозь стену ливня мудрено пробиться даже самокатчику. Я представляю, как вылетает он из Троицких ворот и мчится по торцу и камню, залитому потоками.

— Товарищ Рыбаков... Пакет...

В пролете раскрытой двери стоит самокатчик. Вода еще удерживается в складках и вмятинах его кожанки.

Пакет вскрыт, статья лежит сейчас передо мной. Значит, дипломатия и электричество? Электрификация как первооснова экономического могущества панамериканизма? Мысли автора рациональны: создание гидроцентралей на больших американских реках — Миссисипи, Миссури, Теннесси, Орегон. На каждой реке — своеобразный каскад станций, созвездие. Да, гидроцентрали

как пионеры, которые первыми приходят на знойные пески, чтобы проложить дороги к городам и заводам... Гидроцентрали — пионеры нашего века... Нет, это сравнение кажется чисто американским лишь на первый взгляд,— кто знает, может быть, придет время, и не столь отдаленное, когда пионерами технического прогресса и далеких земель России тоже будут гидроцентрали? Не об этом ли намеревался сегодня говорить с Кржижановским Ленин?

Однажды я уже был свидетелем их разговора на эту тему. «Дмитрий Дмитриевич, у меня к вам дело! — окликнул меня Владимир Ильич из дальнего конца совнаркомовского коридора — он иногда выходил сюда в перерыве между заседаниями.— Сию минуту! — Он поднял руку, будто хотел сказать этим, что мне следует подождать его там, где я сейчас находился.— Поймите, Глеб Максимилианович,— произнес он, продолжая прерванную беседу,— нужен план, нет, не технический, а политический или государственный! — На какую-то минуту сумерки скрыли фигуру Ленина, я не видел Владимира Ильича, но голос его будто шел на меня, становясь все объемнее.— Примерно в десять лет построим двадцать, тридцать или там пятьдесят станций. На торфе, сланце и угле. В радиусе на четыреста верст — станция! Перебрать всю страну, город за городом, село за селом! — Голос его возник совсем рядом.— Надо увлечь рабочих и сознательных крестьян перспективой электрической России...» — Его рука замерла, будто он хотел дать понять Кржижановскому, что на минуту прекращает беседу, и, обратившись ко мне, спросил: «Дмитрий Дмитриевич, вы сейчас к себе?» — «Да, Владимир Ильич».— «Чичерина увидите?» — «Думаю, что увижу».— «Скажите ему: я еще не получил турецкого договора. Не получил!» Он пошел дальше, пошел все тем же размеренно-раздумчивым шагом, точно приглашая Кржижановского продолжить беседу. Голос его затихал, я только слышал едва различимые слова: «Карту России с центрами и округами...».

Идея электрической России владела его помыслами и прежде, но никогда она не увлекала его так, как в эти годы. Реферат статьи «Дипломатия и электричество», который он просил меня сделать к восьми, служил этой цели.

Ровно в восемь я был в Малом дворце, однако Владимира Ильича в кабинете не оказалось. Очевидно, он ушел на веранду. Я поспешил туда.

На пороге квартиры я встретил Марию Ильиничну. Рядом с нею стоял человек в черном пальто. В руках у него был профессорский саквояж. Нет, это не Клемперер — для немца человек с саквояжем слишком чисто говорил по-русски.

— Да, обросли соединительной тканью, но легко прощупываются,— сказал человек и, встретившись взглядом со мной, поспешил к выходу.

Я заметил: выходя, человек достал из кармана варежки и, надев их, сжал и разжал руку. Мне показалось, что рука у него была пружинисто-подвижной, крепкой.

— Значит, завтра в двенадцать, Владимир Николаевич,— раздался голос Марии Ильиничны.

— Да, да, в двенадцать,— отозвался он.

«У него определенно руки хирурга,— подумал я.— Хирурга? Тогда что означают эти слова: «Обросли соединительной тканью»?..»

Человек ушел, а у раскрытой двери продолжала стоять Мария Ильинична.

— Владимир Ильич уже вас ждет,— сказала она так, точно говорила не мне, а кому-то другому, кто стоял позади меня; она смотрела на меня, а видела человека с саквояжем.— Он наверху, и Глебушка там...— Она быстро поправилась: — Глеб Максимилианович...

Медленно я пошел наверх.

Я уже отсчитал несколько ступеней и неожиданно остановился. Я услышал песню — пели вполголоса, опасаясь потревожить покой дома:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Я узнал голоса поющих: мягкий баритон Кржижановского, несильный, но чуткий голос Ленина, может, баритон, как у Кржижановского, а может, и тенор. Пели негромко, но душевно — волнение вело их. Наверно, вспомнили что-то далекое, но дорогое. Быть может, тот зимний вечер на берегу Енисея, закованного в могучую ледяную броню, когда долго-долго шли вдоль реки и мечтали о будущем.

Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу...

У Ленина среди самых больших его симпатий и привязанностей — Кржижановский, Глебушка, как иногда он его зовет, а еще реже: Клер — кличка давних лет. Что-то бесконечно дорогое и симпатичное было сердцу Владимира Ильича в натуре этого человека. Быть может, цельность характера, а возможно, интеллигентность или (и это допустимо) артистичность, которая всегда была приятна и обещала столько радостей. Песни Глеба, такие гневно-торжественные и вместе с тем задушевные! Сколько гонимых в минуту беды и счастья пели их! Кто сказал, что техника и поэзия лежат на противоположных полюсах? Когда человек повергнет барьеры, которые еще удерживает природа, он сообщит своим техническим свершениям ту же свободу и фантазию, которую обрела его мысль в поэзии. Да, да, и расстояние между полюсами рухнет, и техника станет поэзией.

За лучший мир, за святую свободу...

На веранде сумеречно, и огни за Москвой-рекой, казалось, поднесены к самым окнам веранды.

— Нет, нет, Дмитрий Дмитриевич, не раздевайтесь, здесь достаточно прохладно,— слышу я голос Владимира Ильича.— К тому же мы скоро сойдем вниз.

Ленин и Кржижановский сидели у стола, и лампа, прикрытая эмалированной тарелкой абажура, была приспущена.

— А зачем нам изобретать деревянный велосипед? — произнес Владимир Ильич.— Все, что можно взять у того мира, надо взять, не делая из этого трагедии. Америка строит станции на своих великих реках, надо пойти к ней за наукой.

— У них — клан,— возразил Кржижановский.— Своя заповедь, своя и присяга.— Он пошевелил пальцами и, точно обжегшись, поспешно спрятал их в бородку.

— В любом клане могут быть отступники,— заметил Владимир Ильич.

Он встал, и его шаги загремели по дощатому полу веранды. Нет, ни в походке, ни в лице, ни в голосе не было ничего, что говорило бы о недуге.

— Вы что-то не договариваете, из деликатности не договариваете, так? — произнес Ленин.

Он испытующе взглянул на Кржижановского. Тот уловил этот взгляд и осторожно разгладил жестковатые брови.

— Когда речь идет об электричестве, Америка, как государство, оттесняется на второй план.

— Это как же? — нетерпеливо передвинулся Владимир Ильич.

Кржижановский заговорил:

— Да, внутри Америки едва ли не на правах суверенной страны есть второе государство — электрическое! У этого второго государства своя конституция, свой уклад быта, своя мзда за преступления и заслуги.

Это парадоксально, но государство это, вызванное к жизни прогрессом нашего века, исповедует законы средневековья. Нигде свет и тьма не переплелись так надежно, как здесь. Самые истые поборники веры Христовой не фермеры и лавочники, а офицеры и ученые. Нет дебрей темнее в наш век, чем дебри техники,— девственные чащи Африки переместились в чертежные мастерские. Китайская стена кажется игрушечной в сравнении с крепостной оградой, которой окружили свое электрическое государство его хозяева. В этих условиях свобода и независимость человека —явление призрачное. Конечно, и Эдисон и Штейнмец большие ученые, но даже их свобода относительна. Протянуть руку новому миру — значит отступиться от мира того, а отступников карают.

Мы ушли с веранды. Где-то уже внизу, когда лестница осталась позади, Ленин спросил, обернувшись:

— Вы сказали — Штейнмец?

— Да, Карл Штейнмец.

— Тоже ваш брат электрик? — спросил Ленин.

— Электрик,— коротко ответил Кржижановский.

— Небось звезда первой величины, а?

Мы стояли сейчас в прихожей квартиры. Прямо перед нами была вешалка.

— Первой, Владимир Ильич!

— Вот ведь звезда первой величины, а я не знаю. Честное слово, не знаю! — сознался Владимир Ильич с веселой лихостью: словно его радовало, что он не знает знаменитого Штейнмеца, все знают, а он нет,—

видно, это бывало не очень часто.— Не иначе, как десятка три патентов имеет, а?

Кржижановский снял шарф, аккуратно повесил.

— Две сотни, Владимир Ильич.

— Что же он, построил станцию в Америке?

— Машины для многих станций.

Ленин смутился.

— Значит, Карл Штейнмец?

— Да.

Владимир Ильич снял пальто, однако повесить его не решался, он явно был подавлен величием Штейнмеца.

— А Графтио знает Штейнмеца? — Ленин все еще держал пальто.

— Думаю, что знает. Не может не знать.

Ленин повесил пальто, и мы вошли в квартиру.

— Маняша, где ты? — крикнул Владимир Ильич весело.— Ты Карла Штейнмеца знаешь, а? — Потом повернулся к Кржижановскому, сказал серьезно: — А вот что думает о вашем Штейнмеце Мартенс? Мне даже интересно: что он думает? — Ленин сорвал с рычажка телефонную трубку.— Людвиг Карлович, это вы? А вот мы вас сейчас проэкзаменуем! Что вам говорит такое имя: Штейнмец, Карл Штейнмец? — Ленин затих на мгновение, потом перевел задумчивые глаза на Кржижановского.— Спрашивает: «Это Штейнмец — дуговая лампа?» Да, да, дуговая, дуговая! В начале века все американские города были освещены дуговыми лампами? И генераторы его? И конденсаторы? Ну что ж, благодарю... Нет, нет, все ясно! — Потом повернулся к Кржижановскому: — Всех вы подговорили с вашим Штейнмецем? Всех склонили на свою сторону! Вот и Мартенс ваш.

Кржижановский улыбнулся:

— Это за Штейнмеца вы меня так?

— За него,— ответил Ленин, смеясь, и, оглядев нас быстрым взглядом, крикнул сестре: — Маняша, ты слышишь меня?

Он взглянул на дверь, за которой была сестра, точно дожидаясь, когда та отзовется, и, не дождавшись, вышел из комнаты. Он вернулся вместе с сестрой — его рука лежала у нее на плече.

— Ну, подумаешь, соединительная ткань... не волнуйся,— произнес он тихо и сделал несколько шагов

вслед за сестрой, как мне почудилось — единственно для того, чтобы еще на один миг удержать свою руку на ее плече.

Ему стоило усилия вернуться к прерванному разговору:

— Ну, а теперь, Дмитрий Дмитриевич, покажите нам свой перевод...

Да, до того как он произнес эту фразу, прошло какое-то мгновение, короткое, но хорошо ощутимое, когда он еще был мыслью в той комнате, с сестрой,— разговор, который произошел там, немало его встревожил.

— Покажите, Дмитрий Дмитриевич,— повторил он, но все еще думал о том, что сказал сестре.

Он склонился над текстом, и я увидел, как его рука осторожно потянулась ко лбу и, коснувшись его, охватила — ломило в висках. Головные боли у него начинались вечером.

...Прошло не больше недели.

Полдень, яркий для ранней весенней поры, а в коридоре, который соседствовал с кабинетом Ленина, необычно пустынно, и комната секретарей почти пуста, и, что совсем уж в диковинку, дверь в кабинет Ленина распахнута — Владимира Ильича нет. Ну конечно же, мне приходилось видеть кабинет пустым и прежде, но в этот весенний полдень, полный не резкого, но сильного солнца, тишина в кабинете показалась и хрупкой и, признаюсь, тревожной.

— Владимир Ильич в городе?

— Нет, он дома.

— Дома?

— Да, весь день.

Только сейчас я замечаю: в дальнем конце зала заседаний Совнаркома сидит, углубившись в чтение бумаг, Кржижановский,— видимо, и он пришел к Ленину.

— Простите, но сегодня он здесь не будет? — повторяю я свой вопрос, чтобы меня услышал и Кржижановский.

— Да, не будет.

А Кржижановский уже оторвался от бумаг, и его глаза, полуприкрытые жесткими бровями, угрюмо поблескивают.

— Дмитрий Дмитриевич! — В чуть заметном кивке головы и приветствие и желание сказать что-то.— Все,

что вы хотели передать Владимиру Ильичу, вы можете сделать через Марию Ильиничну, она сейчас дома.

Он говорит негромко, будто опасается нарушить тишину, которая растеклась по дому,— так говорят, когда в доме больной.

— Вы ее видели, Глеб Максимилианович? — спрашиваю я и подхожу к Кржижановскому.

— Да, сейчас.— Он указывает глазами на бумагу, которая лежит перед ним, приглашая прочесть ее.

Записка Ленина, видно, написана только что — его быстрая и крепкая рука. Еще не проникнув в смысл первой строки, я вижу имя Штейнмеца, того самого электротехника-кудесника («Штейнмец — дуговая лампа!»), о котором речь шла накануне.

«Прилагаю полученное только сегодня. О Штейнмеце. Вы мне, помнится, говорили, что это — мировая величина».

Я смотрю на Кржижановского. Он точно спрашивает меня, дочитал ли я записку, и движением руки, нетерпеливым движением глаз предлагает прочесть ее до конца.

«Не указать ли мне в ответе ему что-либо практическое? Ибо он предлагает помощь. Не следует ли ввиду сего *конкретные* (он подчеркнул это слово) виды помощи ему указать?»

Я перевожу взгляд на Кржижановского — он неотрывно следит за моим чтением.

«...Не напечатать ли его письмо и мой ответ?

Верните мне, пожалуйста, прилагаемое и это мое письмо с Вашим советом. Я думаю еще посоветоваться с Мартенсом. Надо получше обдумать, как ответить. Ваш Ленин».

А Кржижановский встал и медленно пошел вдоль стола. Правую руку он держит низко над столом, время от времени опуская и осторожно касаясь скатерти, точно желая ощутить приятную шероховатость ее ткани.

— Дмитрий Дмитриевич, если собираетесь туда, лучше позже. Сейчас он спит.

— Часа в четыре?..— спрашиваю я.

— Да, пожалуй,— отвечает он.

В четыре я иду.

Дверь открывает Мария Ильинична. Лица ее я не вижу — окно позади,— видны лишь ее волосы, серостальные, точно дым на свету.

— Могу ли я вам передать для Владимира Ильича?

— Да, разумеется, Дмитрий Дмитриевич. Впрочем, может быть, передадите ему сами? Тогда прошу вас минутку подождать — у Володи Борхардт.

Я сижу в столовой, слышу, как где-то под окном идет машина и далеко-далеко, быть может у Спасских ворот, а возможно, в стороне, на Соборной площади, шагают красноармейцы и их кованые сапоги гремят по камню.

Пахнет спиртом и крепкой горчицей — горчичник умеряет головную боль. Дверь в спальню полуоткрыта, и я вижу, как человек в глухом черном пиджаке снимает с носа пенсне и становится похож на филина. Он кладет пенсне на стол и тотчас пытается взгромоздить на нос окуляры в толстой роговой оправе. Он это делает торопливо, будто хочет предупредить поразительное сходство с филином.

«Значит, это Борхардт? Клемперер — терапевт, Розанов — хирург,— говорю я себе и повторяю вновь: — Клемперер — терапевт, Розанов — хирург... Не может же и Борхардт быть хирургом».

Мария Ильинична выходит, осторожно прикрыв за собой дверь.

Мы сидим с нею.

— Он захотел написать ответное письмо Штейнмецу сам.— Она оборачивается и смотрит на дверь, точно участливо корит брата за упрямство, а может, и радуется его упрямству.— Тот раз, когда возник разговор о Штейнмеце, я слышала... Кстати, хотите взглянуть на письмо Штейнмеца?

— Оно там? — указываю я взглядом на комнату, где лежит Владимир Ильич.— Мне не хочется беспокоить его.

— Нет, письмо у меня.

— Тогда... если можно.

Она идет за письмом, а в моей памяти возникает портрет Карла Штейнмеца (луна, обросшая волосами), и я думаю: «Все-таки любопытно, в какой мере письмо похоже на Штейнмеца. Та же хмурая пытливость в глазах, та же упрямая бороздка у переносья и доброта... Глаза у него теплые, как у человека, который много видел и все-таки сохранил жадное восприятие всего нового. В какой мере его портрет похож на него самого?»

Комната полна света, и я вижу письмо от первой строки до последней. Первая фраза звучит воодушевляюще — вот она, добрая мягкость глаз: «Мой дорогой господин Ленин!» Нет, письмо воспринимается с одного вздоха — три фразы, и смысл его испит: «...представляет мне удобный случай выразить Вам свое восхищение удивительной работой по социальному и промышленному возрождению, которое Россия совершает в столь тяжелых условиях. Я желаю Вам полнейшего успеха и вполне уверен, что Вы его добьетесь. В самом деле, Вы должны добиться успеха, так как не должен быть допущен провал громадного дела, начатого в России...»

Мария Ильинична стоит поодаль, я слышу ее дыхание. Мне кажется, что сейчас у нее то же выражение, что и у брата, когда он читал это письмо,— порыв, мягкая дума.

«...Если в технических вопросах и особенно в вопросах электростроительства я могу помочь России тем или иным способом, советом, предложением или указанием, я всегда буду очень рад сделать все, что в моих силах. Братски ваш Карл Штейнмец».

Я пододвигаю письмо Штейнмеца к тому краю стола, где сейчас сидит Мария Ильинична.

— Ответ готов?

— Он писал его все утро.

На стол лег отблеск — дверь позади меня открылась.

— Маняша, Маняша, герр профессор уходит...— слышу я голос Владимира Ильича.

В дверях и в самом деле появляется Борхардт. Он уже снял очки в толстой роговой оправе и вернул на переносье пенсне. Он домовит и неприлично цветущ — его округлые плечи, его шея, наконец, его щеки дышат здоровьем. Он обстоятелен и великолепно снаряжен. Впрочем, это ощущение и от всего вида Борхардта: добротный костюм, который еще сто лет будет новым (сукно точно масло, тяжелое и сверкающее), саквояж из мягкой желтой кожи, толстая цепочка, которая свесилась из жилетного кармана и которую достаточно чуть-чуть подтянуть, чтобы на ладонь легла увесистая тарелочка часов. И все это — и костюм, и саквояж, и даже прохладный металл часов,— казалось, напитано запахами, и в них и покой профессорской натуры, и радость здорового

профессорского желудка, и сознание собственного достоинства.

Профессор уходит.

— Борхардт хирург? — спрашиваю я Марию Ильиничну.

— Да, а что?

— Такой цветущий вид может быть только у хирурга, и потом...

— Да?

— Он говорит о сердце...

Она меня поняла:

— Да, о сердце.

Полчаса спустя мы простились.

— Если письмо Штейнмецу будет готово сегодня, я вам немедленно перешлю,— говорит она мне, прощаясь.— Владимир Ильич хотел бы видеть его уже переведенным.

Мы условились: как бы поздно это ни произошло, я буду ждать звонка Марии Ильиничны.

И вновь я возвращаюсь к себе в Наркоминдел. Значит, Борхардт хирург?.. И потом, этот разговор о сердце. Тот раз речь шла о соединительной ткани... Операция?

Я жду пакета из Кремля.

Над Москвой грозовое небо. Где-то над горизонтом еще осталась полоска сини, но тучи неотвратимо наваливаются и на нее. Такое впечатление, что там с неба сыплются камни и полоска чистого неба иссечена их косым падением.

Я вижу: Ленин полулежит на кровати, укрытый клетчатым пледом. Тем самым клетчатым пледом, который подарила ему мать в их последнюю встречу. Сколько раз, укрываясь пледом, он, наверно, ловил себя на мысли, что мягкая шерсть сберегла тепло материнских рук. Он поставил ближе к кровати настольную лампу и положил книгу на колени — так писать удобнее. Быть может, он перенесся мыслью за океан и сделал усилие представить себе Штейнмеца.

«...Дорогой мистер Штейнмец!

Душевно благодарю Вас за Ваше дружественное письмо от 16.II 1922 г. Я должен признаться, к стыду моему, что первый раз услышал Ваше имя всего только немного месяцев тому назад от тов. Кржижановского..

Он рассказал мне о выдающемся положении, которое Вы заняли среди электротехников всего мира».

Ленин отстранил бумагу и задумался. Ему пришел на память первый разговор с Мартенсом. Его фраза: «Штейнмец — дуговые лампы?..» И вопросы к Кржижановскому тут же: «Дуговые лампы?.. Да, да... Этот самый Штейнмец!..»

«Товарищ Мартенс познакомил меня теперь больше с Вами своими рассказами о Вас. Я увидел из этих рассказов, что Вас привели к сочувствию Советской России, с одной стороны, Ваши социально-политические воззрения. С другой стороны, Вы, как представитель электротехники, и притом в одной из передовых по развитию техники стран, убедились в необходимости и неизбежности замены капитализма новым общественным строем, который установит планомерное регулирование хозяйства и обеспечит благосостояние всей народной массы на основе электрификации целых стран».

Ленин отнял руку ото лба и пододвинул книгу с бумагой. Казалось, что сухой пламень в висках утих и глазам вернулась ясность зрения — вещи были мягко объемны, блеск не раздражал глаз, синева неба не слепила, а радовала. Да, впервые в этот день, взглянув в окно, он увидел, как неистово взвихрены и напоены светом облака. Какое счастье, когда вот так мысль вырвется на простор, свободная, прекрасная в своей гармонии, в пропорциях своих, вся устремленная в будущее! Ведь так же было всегда, только так: мысль, вечно живая и радостно-деятельная, давала физические силы человеку. А облака были свободны, как мысль, и, как мысль, стремительны...

«Во всех странах мира растет — медленнее, чем того следует желать, но неудержимо и неуклонно растет — число представителей науки, техники, искусства, которые убеждаются в необходимости замены капитализма иным общественно-экономическим строем и которых «страшные трудности» («terrible difficulties») борьбы Советской России против всего капиталистического мира не отталкивают, не отпугивают, а, напротив, приводят к сознанию неизбежности борьбы и необходимости принять в ней посильное участие, помогая новому — осилить старое».

Казалось, он устал, вложил карандаш в книгу и мяг-

ко захлопнул ее. Натянул плед повыше, выпрямил ноги. Где-то в дальнем конце квартиры, быть может на кухне, а может, еще дальше, шумит вода, где-то блики солнца, сухие ветви и листья... Сколько прошло с тех пор, как он начал письмо: час, три? Он открыл книгу.

«В особенности хочется мне поблагодарить Вас за Ваше предложение помочь России советом, указаниями и т. д. Так как отсутствие официальных и законно признанных отношений между Советской Россией и Соединенными Штатами крайне затрудняет и для нас и для Вас практическое осуществление Вашего предложения, то я позволю себе опубликовать и Ваше письмо и мой ответ, в надежде, что тогда многие лица, живущие в Америке или в странах, связанных торговыми договорами и с Соединенными Штатами и с Россией, помогут Вам (информацией, переводами с русского на английский и т. п.) осуществить Ваше намерение помочь Советской республике.

С наилучшим приветом

братски Ваш Ленин».

Он закончил письмо и позвал сестру.

— Маняша, Маняша, прочти, пожалуйста, и скажи мне: верно я понял Глеба Кржижановского? Именно таким и должен быть наш ответ на предложение Штейнмеца о помощи? Не перемудрили мы здесь, а?

Он передает письмо сестре, а сам думает: «Ну как воспользуюсь я его опытом, когда между нами океан и... не только океан? Был бы рядом, может быть, и призвали бы в советчики и его опыт: «Вот, мол, наши торфы и угли. А вот реки наши: Волхов, Днепр, Волга... А за тридевять земель от них Енисей и Лена, за тридевять земель. Вот задача: как взнуздать их и принудить работать на Россию? Сколько Штейнмецу лет? Шестьдесят или все семьдесят? Был бы моложе, можно было бы повоевать с Америкой за Штейнмеца. Была бы в конце того века Россия социалистической, кто знает, куда бы направил он стопы?»

— Маняша, я просил тебя узнать: виделся Розанов с Борхардтом? Виделся и увидится еще? Где? В Солдатенковской больнице? И мне надо быть там? Ну что ж, я готов. Значит, операция?

Двумя днями позже я выехал в Швецию — заказ на

турбины для Волховской станции следовало оформить до того, как там наступят пасхальные каникулы. Я пробыл в Швеции недели полторы и на обратном пути остановился в Петрограде, предупредив об этом Кржижановского,— мы условились на этот счет заранее. Как обычно, Глеб Максимилианович все точно рассчитал: он едет на Волхов через Питер, однако приурочивает свою поездку к моему возвращению из Стокгольма. Шведские турбины предназначались для Волхова, и Кржижановский хотел явиться на станцию, располагая последними данными. Я прибыл в Питер ночью — Кржижановского там еще не было: поезд из Москвы приходит утром.

Я вызвал портье и попросил его добыть мне мартовскую подшивку «Правды»,— мне казалось, что лучше газеты мне никто не расскажет о том, что произошло в стране в эти десять дней. Однако подшивку я получил только утром, а вместе с нею и вчерашний номер газеты. Я положил подшивку ближе к окну, раскрыл ее. День был ослепительно ярким. Солнце уже взошло, и тяжелые камни Исаакия казались невесомыми. Я принялся листать подшивку, листать быстро — о каких-то событиях я знал из стокгольмских газет, о других слышал от друзей. «Известный американский ученый о Советской России». Да, это письмо Карла Штейнмеца и ответ Владимира Ильича — значит, Ленин осуществил свое намерение напечатать письмо. Я переложил еще несколько листов газеты. Все тот же правый верхний угол второй полосы. Небольшое, набранное черным корпусом сообщение и снимок, даже не снимок, а рисунок, очевидно сделанный по снимку. Пуля? И сообщение, очень лаконичное... Владимиру Ильичу была сделана операция. Вскрыто предплечье. Извлечена одна пуля, да, та самая, эсеровская,— результат августовского покушения на заводе Михельсона. Операцию делали профессор Борхардт и профессор Розанов. Состояние больного удовлетворительное... Я поймал себя на мысли, что вот уже полчаса смотрю в окно, за которым солнце и тесаные камни Исаакия, вдруг ставшие опять такими тяжелыми,— кажется, я вижу, как напряглась готовая прорваться кожа земли... Значит, операция и две пули в предплечье?.. И я вспомнил веранду над квартирой Владимира Ильича, и разговор с Марией Ильиничной, и эту встречу с Кржижановским в зале заседаний Совнаркома,

когда он шел вдоль стола и опускал ладонь, касаясь ею шероховатой поверхности скатерти...

Кржижановский приехал часу в одиннадцатом. Видно, долго шел, быть может, против ветра — щеки были подпалены.

— Как с нашим стокгольмским заказом? — спросил он меня с ходу.— Нет, вы скажите, да или нет? — Он достал платок и высушил им глаза — на ветру глаза застлало слезами, он плохо видел.— Ну, дайте я на вас взгляну... Как же, будут у нас машины? — Он взметнул глаза, сейчас тревожно-острые, и увидел подшивку, лежащую на столе,— она была высветлена полднем, и этот рисунок в правом верхнем углу газетной полосы угадывался издали.— Вы уже все знаете? — спросил Кржижановский; глаза его были прикованы к газете.

— Знаю,— сказал я.— Как обошлось?

Кржижановский дотянулся до газетной подшивки, перевернул страницу — ему так было спокойнее.

— Да кто знает, как обошлось! — произнес он.— На третий день после операции уже принимал иностранцев и добывал гвозди для Каширы.— Кржижановский умолк, взглянул в окно.— Вчера, когда провожал меня в Питер, сказал: «Голова горит... горит...» — Кржижановский подошел к окну, произнес, не оборачиваясь, опасался обернуться: — И еще сказал: «Нет обиды большей, чем та, когда не хватает жизни».— «Не хватает? Это можно было сказать в Цюрихе, Владимир Ильич, когда Октябрь был за горами».— «Значит, жизни хватило, Глебушка?» — спросил меня Ленин, и голос его радостно дрогнул — легче скрыть горе, много тяжелее — счастье. «Жизни хватило!» — сказал я, сказал то, что он знал и без меня, но мне показалось тогда: из всех слов, которые он хотел услышать, самыми дорогими были эти: «Жизни хватило!»

Кржижановский обернулся, теперь уже не стыдясь, его глаза были полны слез.

ДОРОГА

Ни я, ни кто другой не может
Пройти эту дорогу за вас.
Вы должны пройти ее сами.

Уолт Уитмен

Пока это еще слух: на сессии ЦИК должен выступить Ленин, впервые после выздоровления. Звоню в Кремль: да, должен. Попасть в Андреевский зал не просто — велико желание у всех видеть и слышать Ленина.

Эти пять месяцев (его не было в Москве с весны) были тревожны. Казалось, приволья подмосковных лесов, их смолистой хвои, мягкой ласковости трав недостаточно, чтобы вернуть силы: нет прежней быстроты речи, постоянная усталость, все еще головные боли.

И вот Ленин в Кремле, и его первое публичное выступление.

До открытия заседания еще час, и каменная дорожка, ведущая из Малого Дворца в Большой, пуста.

— Дмитрий Дмитриевич, однако, я вижу, вы, как всегда, торопитесь.

Я оглядываюсь: по дорожке, вдоль ее кромки (оступишься и коснешься травы) идет Ленин, и рядом с ним молодой человек в пенсне.

— Можно вас задержать на минуту, на одну? — Владимир Ильич смеется, очень забавно выдвинув указа-

тельный палец, а лицо бледно-желтое, не его.— Вы знакомы? Гарольд Вэр.

Я смотрю на спутника Ленина: наверно, такой блеск глазам может сообщить только молодость. Сколько ему лет? Двадцать семь или все-таки тридцать?

— Ну, Пермь, русский город на Каме, ничего вам не говорит?

Я пытаюсь проникнуть в суть вопроса Ленина, мне даже кажется, что я о чем-то смутно догадываюсь, но по инерции отрицательно повожу головой.

— И название села Тойкино вам ничего не говорит? Совхоз «Тойкино» под Пермью?

— Нет, Владимир Ильич, ничего не говорит.

— Эх вы, дипломаты! И всему виной эта Китайская, то бишь Китайгородская, стена! Я говорил Чичерину: «Вам там из-за нее ничего не видно!» — Как некогда, когда ему было очень смешно, он беззвучно машет рукой, точно хочет сказать: «Да пощадите же!» — А вам иногда полезно выбираться за ее пределы, да, да, полезно видеть, что там происходит, на земле российской, которую вы имеете честь представлять. Честное слово, полезно!.. Так вот, Дмитрий Дмитриевич, я вам все объясню и, кстати, дам возможность выбраться за пределы ограды Китайгородской.

Сейчас мы идем мимо кремлевских храмов, и в такт шагу, раздумчивому, неторопливому, говорит Ленин, говорит по-английски, и спутник Владимира Ильича молча и благодарно кивает головой. Еще летом, когда Ленин был в Горках, из-за океана прибыл тракторный отряд. Двадцатицентовая монета легка и по весу, но, когда ее несут тысячи и тысячи рук, она, эта монета, становится силой. Двадцатицентовой монеты достаточно, чтобы купить трактор, и не один, да еще вдобавок снарядить отряд за океан. Что могут сделать двадцать тракторов в океане крестьянских полей республики? Капля, одна капля, даже если тракторам удастся вспахать сотни десятин. И все-таки ничто не способно дать представление о том, какой будет Россия завтра, как трактор... Хотите видеть, как будут выглядеть российские поля через десять лет, поезжайте в Пермь. Нет, точнее в Верещагино, что под Пермью, в совхоз «Тойкино», и спросите американского агронома Гарольда Вэра. Да, да, вот этого юношу с молодым блеском глаз, что идет сейчас рядом с

нами. Кстати, первая тысяча десятин уже вспахана, и только третьего дня Президиум ЦИК присвоил этому отряду звание образцового и этим как бы вновь дал понять: пусть совхоз под Пермью будет школой, а его холмистые поля классами и аудиториями, из которых выйдут наши первые механики и трактористы... Слышите: первые... Да, да, в своем роде пионеры технического обновления России.

Ленин прибавляет шагу и, оглянувшись, встречается со мной взглядом.

— Завтра товарищ Гарольд Вэр возвращается в Тойкино. Он повезет постановление ЦИК. Если говорить строго...— Ленин пошел медленнее.— Если говорить строго, то это должен сделать не он, а кто-то из нас. Да, именно кто-то из нас. Передать документ американцам и сказать доброе слово, желательно на их родном языке... Очень важно: на родном языке. Ах, вы не представляете, как утрачивается слово, если между тобой и твоим другом стоит переводчик...

— Владимир Ильич, вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, Дмитрий Дмитриевич, что дипломатам тоже полезно иногда выбираться за Китайскую, то бишь Китайгородскую, стену.

Ленин прощается с нами. Мы продолжаем теперь путь одни. Я повторяю: «Вэр, Гарольд Вэр».

— Простите, товарищ Вэр,— перевожу я глаза на американца.— Но кем вам доводится Элла Блур, Элла Рив Блур?

Казалось, что солнце, выглянувшее из-за широкой спины Ивана Великого, вдребезги разнесло очки Гарольда Вэра — такой радостью наполнились его глаза.

— Элла?.. Мама моя. Мама.

Мы условились, что выедем в Тойкино завтра.

В этот вечер я вернулся домой часам к одиннадцати. По старой питерской привычке отец ждал меня до полуночи — глаза его еще были молоды, и на вечер ему едва хватало одной книги. То, что отец называл беллетристикой, не занимало его так, как прежде. Все больше его увлекала историческая книга — точнее, мемуарная. Быть может, этому виной возраст (с годами человек признает лишь жестокую силу фактов и мысли), а мо-

жет быть, обилие мемуарных книг, и книг интересных, которые появились в последние годы. Великие наши перемены давали к этому немалый материал. У отца была своя норма чтения — книга в вечер, но и в этом случае отец едва поспевал прочитывать все книги, выходящие в свет. Новая книжка «Былого» была постоянно у него на столе, а вместе с нею все, что относится к дуэли Пушкина, процессу первомартовцев и убийству Столыпина.

У меня был свой ключ, и я проник в квартиру почти бесшумно. В комнате отца было тихо, но с кухни доносился озорной, с присвистом голос чайника,— отец ждал меня.

И по давнишней питерской привычке я сижу против отца и рассказываю ему, что явил мне день минувший.

— Погоди, погоди...— останавливает меня отец.— Ты говоришь, он сын Эллы Блур? — Отец привстал, томик Щеголева был решительно отстранен.— Да ты знаешь, кто такая Элла Блур? — Отец даже разволновался.— Так я же слушал ее в девятьсот третьем и говорил тебе об этом однажды. Да, да, в Ванкувере, когда началась эта стачка портовиков и три недели рабочие стояли перед портом, взяв друг друга за руки, чтобы ни одна собака не проникла к воде. А там на воде стояли корабли, такие же, как рабочие, немые и злые. И в порту было так тихо, будто окаменел он; и люди, и машины, и вода, что день и ночь билась о берег, точно лишились голоса. А хозяева лучше нас знали, какой у рабочего народа запас прочности: больница уже была полна стариков — старики сдают первыми... Вопрос стоял так: «Хватит сил на неделю — отобьют свои три доллара, не хватит — поминай как звали». Неделя?.. На полный желудок неделя — миг короткий, на пустой — вечность...— Отец умолк, подошел к печке, поплотнее закрыл дверцу, нетерпеливо вздохнул.— И в этот самый момент приехала Элла. Да, ее все так зовут, все — и старые и малые: «Элла». Море штормило, и дождь лил как из ведра, но люди точно вросли в землю — через площадь проходила узкоколейка, и железнодорожную платформу рабочие превратили в трибуну. Короче, в этот день Элла сказала, что она привезла стачечникам деньги, которые по крохам собрала рабочая Америка, и заклинала Ванкувер не сдаваться. Мы отбили тогда свои три доллара!

Я потом часто вспоминал Эллу... Что-то в ней есть от

Америки — нет, не той Америки, что палит на кострах негров и копит золото, а нашей, рабочей... Ты подумай хорошо над тем, что я тебе сказал: что-то в ней есть от нашей Америки. Как Америка, строптива и храбра.

На другой день в шесть вечера я был на Ярославском вокзале. Уже шла посадка на поезд, уходящий в Пермь. Я прошел в вагон. Пахло керосином и пылью — проводник-чистюля только что прошелся по вагону с мокрым веничком и тряпкой, смоченной керосином. До отхода поезда оставалось минут семь, а моего спутника не было. Я уже начал тревожиться. Прозвучал один звонок, потом второй. Перрон заметно опустел. Сейчас ударит третий звонок, и поезд тронется. В эту минуту в дальнем конце перрона я увидел характерную фигуру моего приятеля: он шел, чуть-чуть раскачиваясь, шел не спеша и, увидев меня, поднял руку.

— О, салют, товарищ! — Он хлопнул ладонью о ладонь и тихо вздохнул. Я потом заметил: для него это было и знаком удивления, и знаком радости.

— Поспешите,— крикнул я ему,— сейчас будет третий звонок!

Но американец был невозмутим.

— Так он еще только будет! — заметил он, не обнаруживая ни малейшего желания ускорить шаг.— Не беспокойтесь, мы выедем в Пермь вместе — я все рассчитал.

Вагон был разделен на купе условно. Нам хорошо были видны соседи и справа и слева. Кстати, справа поместился старик в ватнике и длинных, почти до колен, шерстяных носках — старик собрался далеко на север. Когда я вошел в вагон, старик уже был там. «Стежка, что нитка, длинна и тонка, ой, тонка...» — услышал я голос старика, он пел.

А поезд минул подмосковные леса и пошел на восток. Небо было по-осеннему хмурым, и неровные линии холмов и увалов, покрытых лесом, обозначались на горизонте.

— А знаете, эти ваши среднерусские леса чем-то похожи на леса Канады. В долине Пис-Ривер, по берегам Оленьего озера тоже много хвои...— Вэр продолжал смотреть в окно.— Ничего нет интереснее, как бродить по белу свету... Мне дорого в человеке умение быстро и неколебимо отважиться на самую долгую и трудную

поездку.— Он оглянулся на меня.— Когда-то наша семья этим отличалась.

— Даже женщины? — спросил я; в этот вопрос я вкладывал свой смысл.

Он внимательно посмотрел на меня — нет, не недоуменно, а именно внимательно.

— Даже женщины...

Мне показалось, что другого такого случая в этот вечер уже не будет, чтобы заговорить о том, что интересует меня.

— Мне сказали, что Элла Блур...

Он встал.

— Мама?..

Я рассказал ему о своей беседе с отцом.

— Значит, как Америка? — Я не думал, что его так взволнуют эти несколько слов.— А знаете, в этом есть резон: как наша Америка.— Он будто ждал от меня ответа.— У меня своя теория того, как мужает человек и набирается сил его разум.

— Главное, как точно человек угадал свое призвание? — спросил я.

За круглыми окулярами Вэра вспыхнул иронический огонек и погас.

— Главное, кого человек встретил в первые двадцать лет своей жизни.

— Вы полагаете, что Элле Рив повезло?

— Я так думаю.

— Это были интересные люди?

— Да, но я бы назвал их иначе, как иначе звала их Элла.

— Вам остается сказать: как их звала она?

Теперь он не таил своей улыбки.

— Это люди, в которых было что-то от храброй птицы.

— Храброй птицы? — сказал я и, обернувшись, увидел, что поезд подходит к станции — кажется, то был Александров.

За окном, подсвеченным неяркими станционными огнями, выступили точно оборванные полоски рельсов, мокрый асфальт перрона, черные фермы моста, переброшенного через полотно, странно пустой вокзал с разверстыми окнами и толпа, стремительно текущая по

перрону. Поезд все еще шел быстро, и толпа казалась текущей — только гремели чайники, стучали фанерные чемоданы да крик, неразличимый, мутноголосый, шел по перрону. Поезд замедлил ход, и поток на перроне остановился. Видны острые пики красноармейских шлемов, черные сковороды «кубанок», фуражки с матерчатыми козырьками и красной звездой. А над толпой, выше ее на голову, не шла, а плыла молодая женщина, в шинели, с непокрытой головой, широко расставив локти, а в руках — ребенок.

Поезд тронулся, толпа на перроне поредела — видно, поезд забрал многих, не было там и молодой женщины с ребенком. Впрочем, я тут же услышал в вагоне, где-то рядом, женский смех. Это та женщина, подумал я, именно так должна смеяться она. Мне показалось, что независимо от меня Вэр тоже следил за этой женщиной, слышал сейчас ее смех и, быть может, тоже подумал: «Это она». Подумал, но не подал виду...

— Храбрая птица из индейской сказки,— произнес Вэр и тихо улыбнулся какой-то своей мысли.

Как мне подумалось, ему приятно было сейчас произнести эти слова: «храбрая птица».

— А сказка — с клюв синицы,— сказал Вэр. Он берег в памяти последнее слово и сейчас был готов продолжать рассказ.— Ледяная броня укрыла землю, мороз сковал реки и деревья, остановилось все живое, и птицы падали с неба, как камни. И тогда зашел спор в птичьем царстве: как спасти его от гибели? Птицы сказали орлу: «Ты самый сильный среди нас — веди...» Орел отказался: силы были, не было храбрости. Тогда сказали райской птице: «Ты самая красивая — веди нас». Райская птица отказалась: красота была, ума не было. «Не иначе как тебе лететь, синичка»,— сказали птицы. Потопталась синица на месте, взглянула на залив, скованный льдом. Не было у нее ни силы особенной, ни красоты, ни храбрости, но выбор пал на нее, и она полетела... Было видно, как она летит в морозной мгле все дальше и дальше; где-то она взмыла, где-то обошла скалы, где-то припала к земле, а потом взмыла опять и камнем упала на отвердевшую от мороза землю. Упала, но путь стае указала верный. Стая выждала, когда стихнет ветер, перелетела на ту сторону залива и укрылась за скалами. Элла говорила, что всю жизнь искала в людях что-то

такое, что напоминала бы в отдаленной степени храбрую птицу из индейской сказки, хотя была она, эта птица, неказистой и неприметной и ее странность была более очевидна, чем характер и ум...

Вэр наклонился к окну, намереваясь продолжить рассказ, когда в коридоре кто-то вздохнул и послышались шаги, а потом сонное бормотание ребенка. Прямо перед нами стояла женщина в шинели, та самая, высокая, которую мы приметили на перроне.

— Вот сжалился проводник...— заметила она торопливо, стараясь сгладить неловкость; она произнесла «проводник» с каким-то особенным «о», грудным и певучим, как говорят только в Вологде.— Сказал, что где-то здесь есть свободное место.

Но старик уже встал ей навстречу.

— Поди сюда, дочка. Это место тебя от самой Москвы ждет не дождется.

Сейчас женщина была хорошо видна мне: у нее были темно-русые волосы и губы неяркие, полные. Она осторожно переложила ребенка на скамью, наклонилась к нему.

Я заметил: Вэр внимательно следил за женщиной. Мне даже почудилось, что он продолжит рассказ, дождавшись, пока она уложит ребенка.

— Не тревожьтесь, он спит уже два часа — не проснется,— сказала старику женщина. Мне показалось, что Вэру стоило усилий, чтобы не взглянуть на нее.

— Что она сказала? — спросил он, все так же не глядя на нее.

Я перевел ее последнюю фразу.

— Нет, она не просто крестьянка,— заметил Вэр и украдкой взглянул на женщину.— Я могу подумать, что она нас понимает. Так?

Я улыбнулся: — Может быть.

Когда он возобновил рассказ, мне почудилось, что он говорил не только для меня. Он хотел, чтобы она нас понимала.

— Помните у Уитмена,— заговорил Вэр,—

Когда я вижу душу мою отраженной в природе,
Когда я вижу сквозь мглу кого-то в совершенстве невыразимом,
Вижу склоненную голову и руки, скрещенные на груди,—
я женщину вижу.

— Я так думаю: чтобы понять человека, надо знать его мать. Все, кого ты встретишь в жизни, как бы длинна и богата ни была эта жизнь, лишь прибавят что-то к тому, что дала тебе мать. Элла говорила о матери: все в ней было прекрасно, и душа и тело. Да, дочь так может иногда сказать: и душа и тело. Если судить по портретам, она была не красива, но что может рассказать бумага об облике человека? У нее было то, что делает человека прекрасным, как бы неправильны ни были линии его лица,— добрый свет души. Она была и смешлива, и строга, и по-хорошему старомодна, и ребячлива. В ее натуре была детскость: в говоре, чуть сбивчивом, в смехе; всем, кто ее знал, нравилось, как она смеется. Ее жизнью была любовь в том большом и нерасторжимом значении, когда ею становится все, что лежит вокруг тебя: семья, дети, дом, сам воздух дома, солнце, что лежит на его подоконниках, ветер, что колышет его шторы. И эта любовь была не только радостью, просветляющей и возвышающей душу, но еще и великой опорой для человека, опорой веры, наконец, совести. Элла говорила, что ее мать родилась и умерла свободным человеком, и прежде всего свободным от предрассудков. Ее дом был единственным на холмах Бриджетона, где за столом могли встретиться негр и белый, бедный и богатый. Слышите? На холмах Бриджетона,— там жили не самые бедные люди города.

— Пять сестер отца оккупировали холмы. Особняки сестер, сложенные из кирпича и обвитые плющом, стояли рядом — на этой земле солидарны и крепки взаимной порукой не только разум и свет, солидарна и тьма. Сестры диктовали свою волю городу, но их власть кончалась на пороге дома Хэтти. Деду хотелось, чтобы его особняк, сложенный из кирпича и обвитый плющом, ничем не отличался от особняков сестер, а порядок в нем — от порядка, установленного в домах Вэров. Однако тут он был не волен. У Хэтти Рив родились дети — дочь, потом сын, потом еще сын, еще, еще... Семь сыновей и пять дочерей. Ей была в радость большая семья, она растила детей, учила их вести дом: стряпать, шить, кулинарить, даже печь хлеб. Ее дом всегда был полон молодежи, при этом всех национальностей и положений. На холмах говорили: «Если есть в городе индеец и еврей, то они встретятся за столом Хэтти Рив». Кстати, в таком случае

старшие дети сажались рядом с гостями. Она учила детей ненавидеть зло воочию.

— Дети росли людьми свободными. Каким душевным и физическим здоровьем надо обладать, чтобы дать жизнь стольким людям! И не просто дать жизнь, но наделить их страстью, характером, энергией, способностью вести за собой людей, верой в человека. В то время как старшие дети стали взрослыми, младшие еще были в колыбели. Поэтому дом был похож на школу, в которой представлены все классы. Здесь учили азбуку, четыре действия арифметики, законы Ньютона и логарифмы. Кстати, в дополнение ко всем прочим ее талантам у женщины был математический дар. Вообще же она была человеком щедрым и точным. Может быть, потому и щедрым, что точным.

— Однако где-то она не рассчитала сил. Она умерла тридцати восьми лет. Был сумеречный декабрьский полдень. Моросил дождь. Хмуро смотрели особняки Бриджетона. Внутренние ставни были полузакрыты, жалюзи полуспущены. Гроб несли на руках. Позади гроба шли те, кто жил под холмами, и среди них негры, много негров... Когда умерла мать, Элле не было еще семнадцати. Да, рубеж семнадцатилетия казался непреодолимым. Позади было детство, впереди — самостоятельность, жизнь. Какой эта жизнь казалась большой и пустынной, если вступать в нее без матери! Говорят, что человек, не усвоивший урока жизни, который преподала ему мать, во многом прожил свои годы напрасно. А что же все-таки за человек была ее мать, если заглянуть в ее душу? Чему учила Эллу жизнь матери? Быть может, любви к жизни, упрямой и неутолимой, быть может, ненависти ко всему, что обедняет жизнь и лишает ее красок, которые даны ей природой. Но главное: любви к человеку, храброй и бескорыстной, способности отстоять его большое счастье...

Он сказал «большое счастье» так, точно говорил все это не мне, а кому-то третьему. В сумерках, которые окружали нас, жили только глаза молодой женщины. В них были и мысль, и страсть, будто услышала она сейчас нечто такое, что и для нее явилось откровением. Наверно, это заметил и Вэр.

— Это было в Кэмдоне,— продолжал Вэр.— Каждый раз, когда отец надолго уезжал по стране, он оставлял

Эллу у сестры Ани. Говорят, что никогда человек не бывает таким наивно-любопытным, как в десять лет. Рядом была обширная усадьба, и в центре ее стоял дом. В доме жил старик. Он был один и в доме и на усадьбе. Люди, проходя усадьбу, останавливались и долго смотрели на дом, точно дожидаясь, когда в его окнах появится старик. В усадьбу было нетрудно проникнуть. Надо было протиснуть руку меж двух планок решетчатой калитки и откинуть крючок. Иногда это делали соседи. У весны и лета свои заповеди. Появились фиалки, созрели черешни, они здесь желтые, крупные, зацвели розы, на огородах вырыли молодую картошку, из новой муки хозяйки испекли кексы... И фиалки, и картошку, и черешни, и розы, и, разумеется, кексы из новой муки соседи несли старику. Но не только в этих случаях старику несли дары земли. Дети соседей приглянулись друг другу — отпраздновали помолвку. Осень — пора свадеб, весь город на свадьбах. Женщина принесла в дом младенца. Молодые выстроили себе дом, как здесь строят, из свежеоструганных бревен, еще пахнущих смолой и клеем. Город празднует Любовь, Жизнь, и невидимо, во главе стола, сидит старец из деревянного дома. Нет, не обычный человек жил в этом доме. Однажды Элла откинула крючок калитки, вошла во двор. К бревенчатым стенам дома был приколочен щит: «Здесь живет старый, седой поэт». Элла спросила тетку: «Старый, седой... Кто?» — «Уитмен». Не очень много говорит это имя, когда тебе десять лет. Но у старого поэта была одна особенность: вечером на его крыльце собирались дети.

— Домик поэта был сложен из бревен, а крыльцо — из благородного камня, чем-то напоминающего мрамор. Все было напитано зноем: и стволы деревьев, и пыль на дорогах, и бревенчатые стены дома, только мрамор оставался прохладным. И сюда приходил поэт. На нем была его знаменитая шляпа с широкими полями, с невысоким верхом. Шляпа была ярко-белой, такой же белой, как борода Уитмена, как чисто выстиранная сорочка с распахнутым воротом, из-за которого была видна волосатая грудь, теперь седая. Он уже плохо слышал и, когда говорил, подносил к уху согнутую ладонь, неизменно правую,— левая рука была почти неподвижна. Неловко согнув в локте, он прижимал руку к телу, при этом его светлые глаза, только что безмятежно-ясные, заполня-

лись хмарью. Говорят, что много-много лет назад, еще в годы войны между Севером и Югом, Уитмен, ухаживая за смертельно раненным, занес в руку трупный яд, и это отозвалось через десятилетия. Иногда поэт посылал кого-то из детей к себе в дом принести книгу или кувшин с водой. Дом был светел и чист. Если не считать койки да стола со скамьями, все, что было в доме,— это солнце и много воздуха. Наверно, таким и должно быть жилище поэта? Уитмен пил из кувшина прохладную воду, ставил кувшин рядом, начинал читать:

Слышу, поет Америка, родные песни я слышу...

— Элла часто не понимала смысла строк, но настроение стихов ей было понятно — настроение тревоги и мятежного вызова, радостного покоя и бунта. Иногда приходил друг поэта Горас Троубел. Он устраивался на ступеньках крыльца вместе с детьми. Поэт сидел на самой высокой ступеньке, Троубел и дети пониже. В сравнении с поэтом Троубел был так молод, что поэту он казался едва ли не сверстником его юных друзей.

— Но слова, которые он говорил Троубелу, были иными, чем те, с которыми он обращался к детям.

— «Мы стряхнули с себя Англию,— сказал однажды поэту Горас.— Мы сбросили рабовладельцев. Что теперь нам придется сбросить?» — «Деньги! — сказал поэт.— Власть денег».

— Горас оставался на крыльце даже после того, как поэт поднимался в дом. В такую минуту Троубел доставал записную книжку в клеенчатом переплете и карандаш. Он склонялся над книжкой, как часовщик над своими колесиками и шурупами. Он мог так просидеть часы и часы и исписать с полстранички — так плотно он писал. Но что именно? Быть может, все, о чем говорил старый поэт: и про деньги, и про сосну, и про дом, сложенный из бревен, и про топор. Элла любила смотреть, как пишет Троубел. Нет, он не хотел быть тенью поэта, а назвать себя другом было бы слишком самонадеянно. Быть может, он был учеником, который пришел к поэту за мыслью и задался целью сберечь эту мысль? А разве это не благородно — встать с поэтом рядом и сберечь для потомков все, что вызвал к жизни его ум?

— Было и так, что вечер приходил прежде, чем поэт

успевал войти в дом. С каменных ступеней было хорошо видна река, с паромом и лодками на ней, а за рекой поле и над ним небо, большое, полное звезд. Уитмен любил смотреть на вечернее небо. Уже потом, вспоминая вечера на крыльце маленького дома поэта, Элла думала: нет, его не подавляли масштабы и расстояния, которые открывались взору при взгляде на небо! В такую минуту он тихо сходил с крыльца и, пройдя несколько шагов, останавливался посреди луга, запрокинув седую голову, устремив глаза в небо, один на один с небом и неведомой звездой. Элла смотрела на старца. В нем были и мягкая ласковость, и мудрая печаль, и суровая отвага, и непокорность, и все-таки он был похож для Эллы на ту далекую звезду, к которой были обращены сейчас его слабые глаза. Да, так бывает в жизни: как истинная красота, которая постигается тем полнее, чем дольше на нее смотришь, так и этот человек. Он пробудил лишь твое зрение, а разуму еще предстояло его познать... Я так думаю: на склоне лет своих Уитмен призвал Гораса Троубела, чтобы продлить свою жизнь...

Вэр взглянул в окно: поезд шел по мосту. Волга еще не стала. Пошли заволжские леса, такие же черные и недвижимые, как Волга...

Молодая женщина сняла шинель и укрыла ею ребенка. На женщине была синяя блуза и юбка с бретелями, какие носили старшеклассницы в провинциальных гимназиях. В шинели она выглядела по-иному — старше, суровее. А сейчас вдруг открылись ее глаза — серые, с четким рисунком зрачка,— чуть припухшие веки, нежная округлость подбородка, шея... Казалось, что она сняла шинель, чтобы открыть шею, бледную, мягко изогнутую. Она укрыла ребенка и на минуту задержала руки у него на груди. Я подумал, что она ждет продолжения рассказа.

Был уже одиннадцатый час вечера, и поезд продолжал идти. В вагоне полупогасили электричество. Ребенок всплакнул, сонно залепетал и уснул, но молодая женщина продолжала сидеть неподвижно. Ее глаза были настороженно-тревожны. Ни сон, ни усталость не могли ни застлать их, ни смежить. Женщина говорила со стариком.

— Значит, спервоначалу их потеснили к скале? — спросил старик.

— Да, сначала к скале, а потом дали укрыться в пещере,— отозвалась женщина, но глаза ее продолжали смотреть на меня, будто бы говорила она не старику, а мне.— Ветер был с моря, ветер с морозным дымком. Говорят, что это страшно.

— Надо уходить, а ноги не идут? — спросил старик, помолчав. Он хотел, чтобы она рассказала все сама.

— Какой идти! — сказала она тихо.— Вначале отпали пальцы, а потом пришлось отнимать ступни.— Она вздохнула.— Может, у живого отняли, может, у мертвого — никто не знает.

— Помер? — спросил старик, помолчав.

— Третий год одна,— ответила она.

— Ты не сдавайся, держи свою позицию, у тебя тыл железный — сын. А дале — дорога открытая...

Она улыбнулась печально:

— Дорога... дорога...

Видно, поезд прошел станцию — в вагоне посветлело, и на какой-то миг я увидел ее глаза, вновь в них точно затвердела боль. Знаете, бывает так в жизни: человек встретился на твоей заре, потом в пору печальной зрелости и, наконец, на закате. Только глаза сберегли прежний цвет да, может быть, чуть-чуть голос, а остальное отлетело от человека напрочь, даже характер. Был одним, а стал другим. А как Горас? Прошли годы и годы. Умер старый добрый поэт, и Троубел уехал из Кэмдона. Он поселился в Филадельфии и написал книгу, которую кропал карандашиком в записной книжке,— «Уитмен в Кэмдоне». Там, в Кэмдоне, человек был, в сущности, юношей, с длинной шеей и острыми локтями, на которых рвалась рубаха. А теперь? На его старой блузе, которую он надевал, когда становился за станок, чтобы печатать газету, рукава на локтях были тоже порваны, но в глазах уже скопилась мудрая печаль — печаль возраста.

Троубел редактировал маленькую газету в Филадельфии. Его соредактором был некто Салтер. Когда в городе был Салтер, газета была одной, когда он уезжал — совершенно иной. Чтобы узнать, кто из редакторов сегодня в городе, достаточно было развернуть газету — ее статьи на этот вопрос отвечали безошибочно. Салтер был за сильную буржуазную Америку, его кумиром был Теодор Рузвельт. Троубел ратовал за социалистическую Америку, его идеалом был Уолт Уитмен и Джин Дебс.

Но самое интересное, что редакторы до поры до времени как бы не замечали, что исповедуют разные взгляды. До поры до времени. Вернувшись однажды в Филадельфию, Салтер обнаружил, что его соредактор напечатал нечто такое, что потрясло устои Америки. Произошел взрыв. Троубел кликнул клич: «Все, кому дорого имя Уитмена...» Возникла новая газета. В едином лице Горас Троубел представлял редакцию, издательство, типографию. Он писал газету, набирал ее, печатал и распространял. Редакция газеты помещалась за круглым столом ресторана на Маркет-стрит, типография... Впервые после многолетней разлуки Элла увидела Гораса Троубела в типографии. «Вам редактора Троубела? Пройдите вот сюда, к краю тротуара... Теперь поднимите глаза. Видите крышу и рядом чердачное окно? Вот там появилась седая голова и исчезла, потом появилась вновь... Это редактор Троубел печатает свою газету!» Элла поднялась на чердак. Троубел отпечатал очередную сотню экземпляров и теперь отдыхал, присев на ящик с бумагой.

Они вспомнили Кэмдон, сруб с каменным крыльцом, распахнутые окна, кувшин с прохладной водой, горожанок, несущих поэту цветы и молодую картошку, и поэта, стоящего под звездным небом.

«Я понимаю тебя,— сказал Троубел.— Он мог быть для тебя неведомой звездой. Да, он жил отшельником, хотя ни одно событие в городе не происходило без того, чтобы он в нем не участвовал. И вот что интересно: чем более земным, а следовательно, человечным было это событие, тем больше он был к нему причастен: свадьба, рождение младенца. Наверно, всему виной его стихи. У них один герой — Жизнь. Да, жизнь от рожденья до смерти и, конечно, борьба с ложью. Жизнь, и, конечно, Любовь, и борьба за правду...» Троубел молчал, точно раздумывая над тем, что сказал только что. Мне иногда казалось, что в любви он черпал силы для жизни, она давала свет его глазам, тепло его крови. Мне еще казалось, что всю жизнь он любил одну женщину. Я даже пытался представить ее себе. Нет, она не была героиней греческого эпоса, нет, скорее она была дочкой фермера из Техаса или Северной Дакоты, а поэтому и женщиной-воительницей, и матерью, женой одновременно. У нее были косы цвета хорошо выпеченного хлеба и круглые

плечи — не плечи, а добрые луны... Она была для него самым большим чудом на свете — бóльшим, чем сама Земля, которая была для него богом, больше, чем Вселенная, которая так и осталась для него загадкой. При всем своем шальном характере он любил эту женщину всю жизнь и по-своему был ей верен. Он старел, а она не старела. Кожа его высохла и собралась. Рука утратила упругость и повисла. Глаза стали меркнуть. Он был стар, а она молода, так молода, точно он ее и не выдумывал.

А потом они пошли с Троубелом в его «редакцию». Элла вспоминала, что вначале ей показалась необычной деловитость и даже ненапускная гордость, с какой Троубел подошел к овальному столику в ресторане, разложил на нем свои блокноты и карандаши и приготовился к приему посетителей... Кстати, посетителей было много. Здесь были и писатели, и художники, и актеры, и, это было тогда удивительно, рабочие, при этом немало рабочих. Какие взгляды исповедовали эти люди? Как поняла Элла, там были радикалы, анархисты, но не только они. Были там социалисты, и среди них Джин Дебс. Да, великий Дебс, кто вызвал к жизни Билла Хейвуда, воодушевил на борьбу Джона Рида, а заодно указал путь Элле Рив Блур, сидел за столом Гораса Троубела.

Я слушал Вэра и смотрел на женщину. Она протянула руку и достала косынку. Даже вагонные сумерки не погасили красок — косынка была неистово зеленой, взглянешь — набьешь оскомину. Женщина положила косынку на колени, разгладила, потом легким движением перекинула ее через плечо, удерживая на груди ее конец. Казалось, что глаза женщины восприняли яркую зелень, их точно заволокло дымком.

— Значит, у брата свой дом? — спросил старик.

— Да, усадьба крестьянская,— заметила женщина, помолчав.

— Джин Дебс был высок, худ, с длинными руками и сухой грудью,— продолжал Вэр.— При такой диковинной худобе человек этот должен был давно высохнуть и душевно — где же удержаться теплу, когда от человека остались кожа и кости. Однако стоило заговорить Джину, и он преображался. Невидимый огонь обнимал его, этот огонь напитывал кожу, сообщал силу и страсть голосу. Поток его слов нередко был нестройным, но

страсть, вдохновенная и мужественная, действовала на слушателей неотразимо. Ему было в ту пору около сорока. Он был уверен, счастлив и полон жизни. Нет, он еще не создал вместе с Биг Биллом «Ай дабл-ю, дабл-ю», не возглавлял стачку железнодорожников, не баллотировался пять раз в президенты и не осуждался за свою речь в Кантоне на десять лет тюрьмы, но был человеком, к которому тянулись все, кому была дорога свобода. Стоило ему появиться за круглым столом Троубела, в ресторане на Маркет-стрит, со всех концов зала к столу сдвигались кресла.

«По-разному прозревают люди, Элла,— говорил Дебс, водружая на стол худые кулаки.— Мой отец приехал в Америку из Эльзаса и обладал главным, что человеку надо в жизни,— характером. Мне нетрудно это доказать. У него была фабрика где-то в эльзасском городе Кольмаре, и он мог бы жить безбедно. Но он влюбился в мою мать, а она была простой работницей на этой фабрике. Вопрос был поставлен так: или фабрика, или любимая женщина. Разумеется, отец избрал любовь и бедность. Кстати, это была американская бедность, страшнее которой нет ничего в жизни, и отец прошел через все ее испытания. Впрочем, это было не единственное доказательство характера. Как я сказал, отец происходил из Эльзаса и не мог примириться с тем, что Эльзас у Германии. Не мог примириться всю жизнь и приказал написать на могиле: «Родился в Кольмаре, Эльзас, Франция».

Наверно, Джин Дебс и его старик были людьми разными, но в химическом составе их крови было одно вещество общим, то самое, что делает человека бесстрашным. Был один эпизод в жизни Дебса, который часто вспоминала Элла,— он, этот эпизод, объяснял ей все. Когда Америка вступила в войну на стороне союзников, нужно было немалое мужество, чтобы сказать: «Это не моя война!» В одну ночь домик Дебса в Терре-Хот стал островом. А это довольно тревожно, когда в небольшом американском городе один дом становится островом. Кажется, что прохожие, дойдя до дома, переходят на ту сторону, потом перестают ходить молочницы, потом почтальон отказывается войти в дом, потом отступаются дети... Только электричество еще течет по проводам и проникает в дом, но это уже похоже на чудо.

«Надо глядеть прямо на них, в этом вся штука...» И он выходит на крыльцо. Оказывается, город не может смотреть человеку в глаза. Человек смотрит прямо, с открытым мужеством, а глаза города снуют и мечутся, точно хотят сбежать из самих орбит. Кто-то сказал, что комитет, названный патриотическим, грозит рабочему-немцу. Джин не щедр теперь на письма, но в этот раз написал: «Чем ходить в дом этого бедняги, приходите-ка лучше ко мне. У меня есть дробовик, который ждет вас, не дождется...» А Джин не торопится подняться с крыльца. Он даже рад возможности испытать волю города.

Вэр допил свой чай, допил не без удовольствия (чай был холодный и хорошо пился) и начал укладываться. Я пошел по вагону в надежде проникнуть в тамбур и постоять там у окна. Я любил в полуночной тишине постоять у вагонного окна, глядя, как далеко за полем и лесом неведомый город пытается обогнать поезд, взлетая на холмы, обходя реки и, отстав, еще долго грозит, невысоко подняв желтые кулаки огней. В тамбуре было необычно тихо. Поезд шел обширным полем — ни единый огонек не обнаруживался вокруг. Зато по полю были разбросаны озера. В этот полуночный час они слабо светились, отливая сине-сизым, желтым и стеклянно-голубоватым пламенем. Я смотрел на поле и думал о том, как необыкновенно встретились в этой ночи посреди равнинной России Элла Блур с Горасом Троубелом и как здорово, что американцы, пришедшие в этот суровый год на помощь России, делали это и от имени Уитмена и Джина Дебса. Я был так увлечен своими раздумьями, что не заметил, как к окну подошла молодая женщина.

— Я давно вас заметила,— улыбнулась она смущенно.— Все хотела спросить и не решалась, ждала своей минуты. Можно?

— Да, конечно,— сказал я.

— Вы не в Верещагино?

— В Верещагино. А что?

— В американский тракторный отряд?

— Да. И вы туда?

Она опустила глаза, ее ноздри вздрогнули.

— У меня другой дороги нет.

— Трактор — дело доброе.

— Если смогу...— молвила она и улыбнулась.

— А почему бы и не смочь? — спросил я, но она не успела ответить — заплакал ребенок, и она ушла, ушла так быстро, точно была рада тому, что может воспользоваться этим и закончить разговор...

Утром, когда мы проснулись (солнце встало давно, и по ветреному небу мчались облака), я не обнаружил в вагоне молодой женщины с ребенком.

— У нее билет вышел на той станции,— сказал старик хмуро.— Просила проводника, да разве его упросишь — он фигура казенная. «Вышел билет!» — и весь сказ. У нее брат там, а у него — дом...

Вэр был расстроен не меньше моего.

— Она ехала к нам в Верещагино?

— Да, в Верещагино?

— А на ней была шинель мужа? — не мог успокоиться он.

— Мужа.

Еще долго Вэр был хмур. Мне нелегко было вернуться к прерванному разговору. Только к вечеру, когда сумерки вошли в вагон и старик, повинуясь неизбывной тоске, подал голос («От черного ветра добра не жди, седая волна не милует...»), Вэр принес чайник с кипятком и, высыпав на ладонь щепотку чая, точно примерил, как долог будет вечер.

— Мне остается рассказать вам один эпизод, остальное вы сами поймете,— сказал Вэр медленно, высыпая в кипяток сухой чай.— Как-то весной, уже после русской революции, мама приехала ко мне на ферму в Уэстчестер Каунти. Я не оговорился: на мою ферму. Небольшое наследство, которое оставил мне отец, я употребил на приобретение фермы — для агронома, даже если он коммунист, это иногда имеет смысл. «Если мама с ее постоянными поездками на Дальний Юг и на Дальний Запад вдруг улучила минутку и приехала ко мне, значит, произошло нечто чрезвычайное»,— подумал я. Как обычно, она оглядела усадьбу, порадовалась вместе со мной моим опытам в огороде и саду, отобедала и... «Вот теперь и должно выясниться главное: почему поездке в Ванкувер мама предпочла посещение моей фермы»,— подумал я. «Послушай-ка, Хэлл,— она меня так звала: Хэлл! — я хочу с тобой перекинуться словечком... Можно?» Я знал эту ее интонацию, полуироническую, полусерьезную,— она так разговаривала со своими докерами

и синдикалистами из профсоюза дамских портных. «Быть может, ты собралась в поездку по городам Дальнего Запада и хочешь, чтобы я присмотрел за семьей, Элла?» — спросил я. (Когда она уезжала по заданию партии на неделю-другую, за старшего в семье оставался я.) «А хлопоты по дому тебе пошли впрок, Хэлл»,— сказала она и смеющимися глазами взглянула на летнюю кухню под фанерным навесом, что я соорудил накануне. Вот так, подшучивая друг над другом, мы достигли моего сада. (В ту весну моему яблоневому садику не было и трех лет, и он был неловко-древастым и неодетым — посмотреть не на что.) «Нет, я по-иному...— сказала она и тронула молодую яблоньку.— Вот что, Хэлл, речь идет о просьбе Ленина».— «Ленина?» — переспросил я; стоит ли говорить, что я не ожидал сейчас услышать это имя. «Да, о личной просьбе Ленина,— произнесла Элла.— Я подчеркиваю: личной». Я приготовился услышать нечто необычное. «Оттого, что Ленин обратился с личной просьбой, она не стала для меня меньше. Это просьба ко мне, Элла?» — «Нет, она к партии, и вот ее смысл...— Она задумалась.— Ленин пишет большой труд, посвященный превращению фермеров в батраков, переселению батраков, законам этого переселения...» — «И он просит помочь ему книгами?» — спросил я — этот вопрос напрашивался. «Да, книгами и, быть может, раздумьями людей, знающих американское земледелие. Мне так кажется, таких, как ты, прости меня за эту вольность. Мне, матери, так кажется: таких, как ты». В этот день я не разрешил Элле уехать. Долго я стоял под звездным небом, раздумывая над тем, что сказала мне Элла. «Просит Ленин... Только подумать: просит Ленин... Наверно, это не так часто бывает, чтобы тебя попросил лично Ленин». Утром я увел мать к той молодой яблоньке, у которой мы стояли с нею накануне...

Мне показалось, что Вэр приподнял руки, чтобы хлопнуть ладонью о ладонь, но раздумал — речь, в конце концов, шла о нем самом, и выражать удивление или тем более радость было нескромно. Кстати, я заметил: он охотно говорил о своей ферме — вернее, обо всем том, что сделал он на этой ферме своими руками. Я увидел в этом нечто характерное для него. Все-таки он был горожанином-интеллигентом, к тому же не обладающим

могучим здоровьем (когда-то в детстве он болел туберкулезом), и это, так думал я, было немалой причиной его тайных огорчений. Он тянулся к труду, требующему силы, и охотно делал такую работу. Хорошо вскопанная грядка, тщательно оструганная доска, гора дров, наколотая в одно утро, могли доставить ему не меньшее удовлетворение, чем удачно написанная статья или хорошо принятая лекция. Он говорил: «Держать жизнь своими руками». Это значит: все делать самому.

— Итак, мы продолжили разговор с Эллой у яблоньки,— продолжал Вэр.— «Послушай, Элла, я не спал всю ночь...» — «Я знаю, что ты не спал. Я стояла у окна и все видела, но я не хотела тебе мешать».— «Надо знать Америку так, как знает Ленин, чтобы так верно выбрать тему»,— сказал я. «Знаю»,— сказала Элла. «То, что происходит сегодня на американских дорогах,— это даже не переселение народов, это больше,— заметил я.— Крестьяне бегут от своего дома, как от чумы. Целые деревни встали на колеса. Но об этом не пишут ни ученые, ни писатели. По крайней мере, книг таких я не знаю. Но есть иной путь, Элла, добыть материал!» — «Какой?» — «Надо пересечь страну вместе с беженцами». Элла, казалось, была и удивлена и обескуражена. «Пересечь страну? Но кто это может сделать?» — «Я сделаю это». Элла задумалась, ее руки потянулись к стволу молодой яблони. «Но каким образом? Ведь на это необходимы средства».— «Если у меня в кармане будут пять долларов да, пожалуй, еще зубная щетка, я решусь».— «Ты будешь работать?» — «Да, я буду делать все то, что делают эти люди, когда идут с востока на запад». Быть может, иная мать стала бы отговаривать сына: не простое дело задумал я. Но Элла была Эллой. «Как знаешь, Хэлл!» — сказала она и нещедрыми этими словами благословила меня. Через две недели я покинул ферму, а еще через неделю я шагал с батраками на запад. Мое путешествие продолжалось шесть месяцев. Шесть месяцев я был батраком. Пахал, бороновал, сеял хлеб, рыл траншеи для силоса и строил плотину. Я был и пахарем, и плотником, и кузнецом, и деревенским писарем, и бондарем, и однажды даже врачом... Да, да, врачом при весьма необычных обстоятельствах! Где-то в горах Северной Дакоты на исходе моего путешествия, уже в конце декабря, меня застал в дороге снегопад. Неожи-

данно откуда-то справа послышался крик, вначале едва различимый, потом все более настойчивый. Я старался идти навстречу голосу и вышел на дорогу. Она привела меня в хижину — крик доносился оттуда. Не буду мучить вас неизвестностью. Молодая крестьянка, совсем молодая, собралась принести в дом младенца, и муж побежал за врачом. Однако роды начались до того, как муж вернулся, и ребенка пришлось принимать мне. (Мне нетрудно было сделать это, так как при таких же обстоятельствах я однажды принимал ребенка.) Бедняжка, она думала, что я тот самый врач, за которым побежал муж. «Какое счастье, доктор,— сказала она мне,— что вы прибыли вовремя!»

— Где-то на могучей Миссури я увидел гидроцентраль. Случилось это поздним вечером в непогоду. Но ненастье точно расступилось. Бетонный квадрат станции был омыт светом прожекторов и казался белым. Я вспомнил рассказ школьного учителя об открытии электричества, увлекательный рассказ об Эдисоне и Штейнмеце...

— Я начал свое путешествие весной и закончил его зимой. Я пересек американский Юг и Средний Запад, достиг Северо-Запада и вернулся через пшеничные поля Миннесоты и Висконсина. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осмыслить и обобщить все, что я видел. Это был труд и очевидца, и участника событий, и, я хочу верить, немножко исследователя. Только после этой поездки я мог сказать себе, что знаю американское земледелие так, как его должен знать агроном,— все свои колледжи я кончал в этой поездке. Полезен ли был мой труд Ленину? Я с ним не говорил об этом, да он может и не знать, что человек, написавший этот обзор, и я — одно лицо. Однако вам я могу сказать, как, впрочем, могу сказать и себе: мне приятно, что и одну и другую работу я не переуступил другому... «Не каждому выпадает счастье помочь Ленину,— сказала Элла.— Но если это тебе удалось — радуйся».

Мы приехали в Верещагино в первом часу ночи.

На станции нас ждала машина, одна из двух приданных отряду. Машина была полугрузовой, крытой. Вэр предложил мне место рядом с шофером, однако я отказался и полез вместе с ним наверх — оттуда аппетитно

пахло свежей соломой. Шофер, здоровенный парень, бог весть как умудрившийся загореть на нежарком здешнем солнце, долго хлопал своими тяжелыми лапами по плечам Вэра и, отбив их, стал уговаривать его немедленно ехать в Тойкино, обещал еще до света быть на месте, тем более что мороз к утру может смениться оттепелью и дорогу развезет. Вэр сказал шоферу, что уроженцам Северной Дакоты и прежде нельзя было отказать в здравом смысле, и мы выехали. Человек, положивший солому в кузов, видимо, обладал гробастыми руками (быть может, это был наш шофер), — ее было достаточно, чтобы завалить кузов. Едва добравшись до соломы, Вэр уснул, а я еще долго не мог сомкнуть глаз.

Справа от меня был врезан в стену мутный квадрат стекла. Глазок легко отогревался в стекле: снег, снег... Я вспомнил рассказ Вэра. «Все-таки мой спутник поведал сейчас редкую историю... Кстати, не было бы этих рек, не было бы и озера». И еще: «Только закончив эту последнюю быль, быль его собственной жизни, Вэр не вспомнил о храброй птице... А может быть, ее надо было бы вспомнить именно в этой связи? Кстати, этим рассказом завершается и рассказ о судьбе Эллы, а может быть, бесконечно продолжается, бесконечно...».

Глазок, отогретый мною в окне, стала медленно затягивать наледь. Я размыл лед и вновь увидел снежное поле, холмистое, с негустым леском в ложбинах. Ветер крутил поземку, застилал дорогу. Машина тревожно гудела, врезаясь в снег...

И неожиданно мне на память пришла молодая женщина с ребенком, что сошла за Вяткой. Припомнились ее глаза, серые, с четким рисунком зрачка, а потом зеленый дымок в белках, когда косынка легла на плечо. Откуда она взялась такая и что у нее было в жизни до того, как она стала солдаткой? Наверно, дочь сельского врача, расстрелянного Колчаком за симпатии к красным, или ссыльного учителя-народовольца. Быть может, поклялась идти дорогой мужа. И в тракторный отряд устремилась не потому, что чувствовала к этому призвание, а потому, что нерасторжимо связывала это с большим будущим России. Что-то было в ней неуступчиво-прямое и бесстрашное...

Мы приехали в Тойкино с рассветом и пошли в мастерские — отряд уже позавтракал и был у машин.

— С приездом, товарищ Веров! — Большой человек, круглоплечий и гололобый, застучал костылями навстречу моему спутнику.

Вэр представил нас.

— Лукин, Алексей, секретарь партячейки,— произнес человек и осторожно оперся на костыли — они у него были широкие, крепко и надежно сколоченные, очевидно, мастерил сам.— А вы, товарищ, прямым порядком от Ленина?

— Прямым.

— Хорошо.

Мы пошли с ним от машины к машине.

— Вы думаете, что я вроде комиссара при товарище Верове?.. Ничего подобного! Какой резон быть при нем комиссаром, когда он сам коммунист из коммунистов! — Лукин взметнул кулак и точно окаменел с поднятой рукой; лицо его стало серо-зеленым.— Вот так судорога! Ногу сдавит! — Он дернул ногой раз, другой.— Ну, отпусти, не дури! — Глаза его замутились, будто песком сыпануло в них.— Ну, отпусти! — Он неловко подтянул вытянутую ногу, потом выбросил — она ударилась об пол, словно неживая.— Ну, отпусти... Го! — вздохнул он облегченно.— Вот я и говорю: он коммунист из коммунистов!

Лукин с силой оперся на костыли, пододвинулся к трактору.

— Картечью подсекло, с тех пор и хватает! — взглянул он на больную ногу.— Не приходилось переплывать Кубань в верховьях? Вода холоднее льда, судорога мертвой хваткой возьмет — пальцем не пошевельнешь! Вот так и у меня, только не на воде, а на суше...— Он попробовал улыбнуться и, неожиданно оробев, стал строг.

Мы вышли из мастерской вместе с Вэром. Видно, четырех часов Вэру было достаточно, чтобы к нему вернулись и энергия и настроение,— он тут же увел меня в поле. Снегу было много, и это радовало Вэра.

— Признаться, я мечтал о Доне и Кубани — степь! Есть где испытать силу трактора! А тут вдруг — Пермь, овраги, перекаты... А сейчас смирился. Вижу: и здесь польза не малая. К тому же главное не в этих, как их, десятинах! — Ему плохо давалось это слово — «десятинах», но он не избегал его. Я заметил, он любил вставить

русское слово — в этом тоже — сказывалось его желание «держать жизнь своими руками».— Школа — вот главное! А школа везде хороша — и на Дону и в Перми! Так или нет?

Я смотрел на Вэра: нет, бессонная ночь не прошла для него бесследно, он был бледен, но гнал прочь от себя усталость. Солнце пошло на убыль, но день оставался мягким, и не хотелось уходить с поля. Где-то у большого оврага нас вдруг окликнул Алеша Лукин. Он стоял на взгорье, подняв костыль.

— Поворачивай, товарищ Веров, обед стынет! — кричал он, и его влажная лысина была ярче солнца.— Поворачивай, да шибче — животы подвело!

Видно, он был бедового склада, этот Алеша Лукин. Его и манила и звала дорога, что бежала мимо него под гору. Если бы не костыли, рванулся бы он сейчас по снежной дороге под уклон, перескочил ручей, что прорезался к полдню на дне оврага, ненароком окунул бы в него руку и с лихой и тревожной радостью тронул холодной ладонью шею, а потом бы шагал и шагал рядом, позабыв и про обед и про все на свете. А сейчас он стоял на взгорье, подняв тяжелые свои кувалды, и его костыль стонал и жаловался.

— Поворачивай, обед стынет!

И было ясно всем, и прежде всего Алеше Лукину, что дело, конечно, не в том, что обед стынет, а в том, что не терпелось поговорить о самом главном, что было страстью и живым волнением человека.

А потом он шел рядом, налегая на костыль больше обычного (дорога в поле утомила его), и, останавливаясь, взвивая огромные ручищи, спрашивал меня:

— Значит, прямым порядком от товарища Ленина?

— Прямым, товарищ Лукин.

— Хорошо.

Сделал несколько шагов, остановился вновь.

— А этот Джон, а по-русскому Иван, что вас в Тойкино прикатил,— настоящий! Нет, он не только шофер, он и тракторист классный. «Все едут в Америку, а я останусь! Только невесту мне подбери, Алек!» — «За невестой дело не станет, говорю, Ваня». Настоящий...

Вечером Вэр собрал отряд, а Лукин — школу.

Шесть ламп «летучая мышь» горели у нас над головами, и стол был накрыт кумачом.

Речь держал Алеша Лукин:

— Вот товарищ Рыбаков: он приехал прямым порядком от Ленина, и конверт, что лежит перед ним, это от нашего вождя товарища Ленина-Ульянова...

Теперь говорю я:

— Товарищи...

Только сейчас я заметил: точно две струи, щедрые, неукротимо гудящие, сплелись воедино. Та, что пришла из-за океана, и здешняя, русская... Синие комбинезоны американцев и стеганки русских, красные шарфы, свитеры нехитрой, но надежной домашней вязки, вязаные шапочки с короткими козырьками, куртки на байке гостей, гимнастерки, овчинные полушубки, косоворотки, шлемы наших.

— Товарищи гости и хозяева, американцы и русские...

Кажется, я слышал, как трещат фитили в лампах, лица сурово сосредоточенны, желтое пламя усилило загар, и лица кажутся червонно-медными.

Я говорю, что Ленин, недавно вернувшийся в Москву после болезни, просил, чтобы ему рассказали о работе американского отряда. Я понимаю, как просты и, в сущности, обычны эти слова, даже если они произнесены на двух языках; но есть обстоятельство, которое сообщает им силу: меня прислал сюда Ленин.

— Он благодарит наших друзей из Америки за помощь, которую они оказывают Советской России. Он просил правительство, чтобы эта благодарность была декретирована специальным актом. Вот смысл этого акта: пусть в большом море крестьянской России труд и опыт Тойкина будут огоньком, поднятым на гору...

Трещит пламя в лампах. Оно вспыхивает, неярко освещает лица, которых точно коснулось тусклое свечение меди.

...Мы условились, что я выеду на рассвете.

Поздно вечером в избу, где приютили меня на ночь, постучал Алеша Лукин.

— Значит, отсюда прямым порядком в Москву? — спросил меня Алексей, пристраивая рядом с собой костыли.

— В Москву,— ответил я.

— Хорошо.

Он достал кисет и уже высмотрел клочок газеты на притолоке, чтобы оторвать на цигарку, но, взглянув на меня, раздумал.

— А я по делу,— сказал он.

— Вижу.

— А коли видишь, слушай, товарищ Рыбаков,— и протянул руку к костылям, попрочнее устраивая их в углу.— Я насчет товарища Верова и его ребят! — замахал он своими кулачищами.— Я не знаю, как товарищ Ленин, а я бы их удержал в России маленько! Нет, не совсем — боже упаси! — а так, на год-другой... Строим, мол, державу пролетарскую... Э-эх!..— Он осекся, остановив высоко поднятый кулак: судорога зажала ногу.— Ну отпусти, не балуй!..— произнес он едва слышно белыми губами.— Еще малость... отпусти...— Он сделал усилие, чтобы разжать кулак, поднятый над головой, потом его сжал.— Отпусти... Го!..— Он точно выдохнул боль.— Вот я и говорю: строим, мол, державу пролетарскую...— Он вытер ладонью влажный лоб.

Через полчаса мы простились. Он ушел, и я еще долго слышал, как стучат его костыли по отвердевшей за вечер земле.

Я уезжал из Тойкина в десятом часу утра. Машина ждала меня на пригорке у выезда из поселка. Вэр зашел за мной. Солнце стояло низко, и снежная стежка, заполненная синей тенью, повела нас на пригорок. А когда тропа выметнулась на взгорье, глянули поле и дорога, идущая на станцию, открытая, прямая. Я уже занес ногу, чтобы подняться в машину, когда услышал, как мой спутник тихо ударил ладонью о ладонь и едва внятно вздохнул. Я оглянулся: по дороге шла женщина в шинели — да, та самая, с ребенком. Она дошла до развилки и, остановившись на миг, свернула вправо, к поселку. Она шла сейчас споро, как человек, неожиданно увидевший конец дороги, по которой он шел дни, а может быть, и годы.

Мы простились.

— А у этой женщины есть что-то от храброй птицы,— сказал Вэр, протягивая мне руку.

Когда машина выехала на дорогу, я увидел Вэра вновь: он перешел на дорогу, по которой шла к поселку женщина. Мне показалось, что они теперь шли рядом.

У этой истории есть свой эпилог.

Помните, Вэр говорил о своеобразной встрече с Карлом Штейнмецем — вернее, с его созданием на берегу могучей Миссури?

Мои последние воспоминания о Гарольде Вэре связаны с именем Штейнмеца и, конечно, Ленина.

Весной двадцать второго года Ленин получил письмо от Штейнмеца. Ученый писал, что и до него дошли вести о советском плане электрификации, и предлагал свою помощь.

Владимир Ильич ответил Штейнмецу письмом.

Ленин хотел, чтобы его ответ был передан адресату из рук в руки. Однако этот случай представился лишь в декабре двадцать второго года. В Америку возвращался Гарольд Вэр. Ему было вручено письмо Ленина Штейнмецу, а заодно и фотография, которую Владимир Ильич посылал американскому ученому, сопроводив надписью.

Эта надпись на фотографии, по существу, явилась новым посланием Ленина Карлу Штейнмецу. Написанная по-английски, она выражала высокое уважение к американскому ученому и уверенность, что его примеру последуют другие.

«Глубокоуважаемому Чарлзу Протеусу Штейнмецу, являющемуся одним из немногих исключений в объединенном фронте представителей науки и культуры, противопоставляющих себя пролетариату.

Я надеюсь, что последующего углубления и расширения бреши, пробитой в этом фронте, не придется долго ждать. Пусть пример русских рабочих и крестьян, держащих свою судьбу в своих руках, послужит поддержкой американскому пролетариату и фермерам. Несмотря на ужасное последствие военной разрухи, мы продолжаем идти вперед, хотя и не обладаем и одной десятой тех огромных ресурсов для экономического строительства новой жизни, которые уже много лет находятся в распоряжении американского народа.

Владимир Ульянов (Ленин)».

Москва, 7.XII. 1922.

Я увидел Вэра через несколько лет, когда не было уже Владимира Ильича, да и Штейнмеца уже не было.

Стояло лето, мягкое и прохладноватое, типично московское, и мы уехали с Вэром на Воробьевы горы.

Мы устроились в тени старого дерева на его крутых корнях, выступивших из земли, и мой американский друг рассказал историю своей миссии к Штейнмецу.

— Чтобы передать письмо, я поехал к Штейнмецу в Скенектади,— сказал Вэр.— Попасть к нему оказалось не просто. Секретари ученого встали передо мной стеной. «Сегодня господин Штейнмец никого не принимает. Он вызвал к себе всех вице-президентов компании и уединился с ними». Разумеется, мое заявление, что у меня есть письмо к мистеру Штейнмецу, даже важное письмо, не произвело никакого впечатления. Ответ был более чем резонный: «Если есть письмо, его можно оставить секретарям — мистер Штейнмец получает свою почту в урочный час». Стена, возникшая передо мной, была непреодолимой, ее можно было разрушить, лишь пустив в ход артиллерию. И я решился. «Я только что приехал из Москвы с личным письмом для Вас от Ленина,— написал я Штейнмецу на листке из блокнота.— Я буду ждать, пока Вы освободитесь». Моя записка оказала поистине магическое действие: мистер Штейнмец стоял передо мной. «Заходите, заходите...» — произнес он, приглашая меня в кабинет, находящийся рядом. «Никого не впускать ко мне!» — крикнул он секретарям уже из кабинета. Наша беседа продолжалась несколько часов. Штейнмец забросал меня вопросами о Ленине, о советской системе образования, о науке, о программе электрификации, об организации промышленности и земледелия. Время от времени дверь кабинета, где происходила беседа, приоткрывалась и кто-то из вице-президентов возникал на пороге. «Не мешайте мне разговаривать!» — кричал на него Штейнмец, и дверь мгновенно закрывалась.

— Штейнмец сердечно простился со мной. «Молодой человек,— воодушевленно говорил ученый,— вы представляете, что делает Россия?.. В короткое время она создала программу электрификации всей страны! Ничего похожего не могло бы произойти в другой стране. То, что они сделали, поразительно. Я бы все отдал, чтобы само-

му поехать туда и работать вместе с ними!» Штейнмец сказал, что он согласен поехать в Россию и работать в качестве консультанта по осуществлению ее великого плана. К сожалению, ученый не успел претворить свое намерение в жизнь — через год он умер.

Я не помню, как развивался мой разговор с Вэром дальше, но, как и следовало ожидать, он коснулся Тойкина.

— Помните, я вам как-то говорил: главное в нашем эксперименте были не десятины, а люди,— сказал Вэр.— Да, не десятины, которые мы вспашем и засеем, хотя это само по себе очень важно, а люди, которым мы поможем познать трактор. Мы стремились сделать наше Тойкино школой, из которой выйдут трактористы и механики. Если когда-нибудь, приехав в Россию, я встречу того же Алешу Лукина начальником колонны или, чем черт не шутит, директором тракторной станции, я буду считать, что ездил в Россию недаром...

— А что с Алешей? — спросил я; короткая реплика Вэра давала мне эту возможность.

— Алеша стал механиком и уехал в Пермь за наукой. Да, в буквальном смысле за наукой: кажется, он уже кончил институт. «Если нога выдюжит, голова не подведет,— сказал мне тогда Алеша.— От Перми до Москвы — две ночи, а там, говорят, Промышленная академия...»

— Промышленная академия... Промышленная академия...— повторял я, слушая Вэра, но думал уже не об Алеше Лукине.

— А как эта женщина в шинели, эта молодая женщина, которую мы встретили в поезде, а потом на шоссе у самого Тойкина?..

Вэр побледнел. Да, я явственно увидел, как сухая белизна пошла у него по лицу.

— Настя? — спросил он едва слышно.— Настя Дробышева? Она осталась у нас в Тойкине и очень успела, став трактористкой. А потом весной, ранней весной, где-то у самого поселка в овраге у нее загорелся трактор. В овраге, как в трубе, огонь вздуло. Она пыталась накрыть его телогрейкой и опалила руки.— Он умолк, печально посмотрел на меня.— Помните, какие у нее были руки?

— А что с нею было потом? — спросил я, когда мы стали спускаться к реке, молча спускаться — разговор о Насте Дробышевой был для Вэра нелегок.

— Что стало? — переспросил Вэр.— Я был у нее в больнице в Перми. Она выздоравливала, но руки были в рубцах...

— А где она сейчас? — спросил я; в судьбе этой молодой женщины мне виделось что-то значительное.

— Кажется, в Москве, но найти ее не просто,— заметил он.

— Все-таки в ней было что-то от храброй птицы,— сказал я.

— Храброй... храброй...— согласился Вэр.

Вот и весь эпилог — он должен быть коротким.

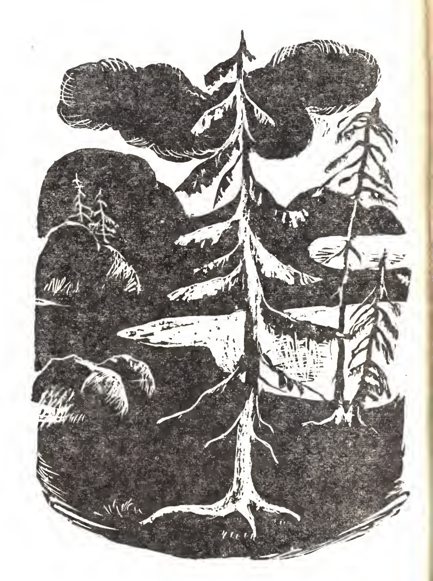
ГЕННАДИЙ ФИШ

После июля в семнадцатом

НЕВЫДУМАННЫЕ ПОВЕСТИ С ИСТОРИЧЕСКИМИ И ЛИРИЧЕСКИМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ

Так как я не красноречив
и даже не великий писатель,
то, не рассчитывая на свой
стиль, я стараюсь собрать
для своей книги факты.

СТЕНДАЛЬ



«ФИНСКИЙ ПОВАР»

— Вот здесь у стены стояла деревянная кровать. Доктор Мюллер спал на ней,— рассказывает высокий, сероглазый, жилистый Сванте Бергман.— Года три назад я продал ее соседу. Вот туда! — и он тычет рукой в поблескивающее изморозью окно.

Дом стоит на высоком холме, и в продышанный на стекле круг я вижу скованный льдом пролив между островами и разбросанные по лесистым склонам островов соседние хутора — обшитые тесом яркие домики, словно спелая брусника на нетронуто белом снегу.

День ясный, солнечный, безветренный. Полупрозрачные дымки подымаются из труб прямо вверх. Заиндевевшие сосны и березки не шелохнутся, словно боятся потревожить тонкое вологодское кружево, в которое их облачил мороз.

Из окна горницы, натопленной жарко, как топят только на севере, видна желтая стена соседнего дома, срубленного почти впритык.

— Его тогда не было,— говорит хозяин, поймав мой взгляд.— Это «дом старика».

Я уже раньше замечал, что во многих крестьянских усадьбах здесь за одной оградой поставлены два жилых дома. Один получше, побольше, второй поскромнее. Не в обычае тут двум поколениям взрослых жить вместе.

Владелец хутора старится, ему уже не под силу хозяйствовать, и, передавая бразды правления старшему сыну, он отдает ему и большой дом, а сам со старухой переселяется доживать век в меньшем, в «доме старика»...

Окрестные шхеры славятся своим известняком. Немало народа сыздавна подрабатывает тут на ломке камня и у печей, обжигающих известь.

И поэтому, когда отцу нашего собеседника — Сванте Бергмана — сказали, что у него заночует немецкий геолог профессор Мюллер, который приезжал разведывать запасы известняка, а теперь торопится домой в Германию, он ничего не заподозрил.

— Но парни, которые провожали Мюллера на остров Лиллмяле, хотя и были под хмельком, уверяли отца, что тут дело не в известняке, а в политике. Ну, политика так политика. Разве бывает финн не политик? — продолжал Сванте Бергман свой рассказ.— И только через десять лет, когда я уже собирался жениться, в семнадцатом году, отец, как-то раскрыв газету, воскликнул:

— Так вот, оказывается, кто такой профессор Мюллер! Вот кто ночевал у нас!

В газете была фотография Ленина.

Я внимательно разглядываю блеклые цветы на обоях, хотя и понимаю, что за прошедшие полвека они уже не раз переклеивались.

— Он был в черном пальто с каракулевым воротником и в черной каракулевой шапке,— вспоминает Бергман.— А печь тут стояла совсем другая. Кирпичная, побеленная. Это уже после я переложил. Вот, кажется, и все. Я ведь был тогда совсем еще мальчуганом...

Хозяин словно извинялся за то, что не может полностью воссоздать картину, каждый штрих которой нам хотелось запечатлеть в памяти.

На легковушке около двух часов мы добирались сюда из Турку — то по мосткам, перекинутым с острова на остров, то по снежной колее, а через незамерзающий пролив на остров Кирьяла переправились на мотопароме,— Ленин же ехал на тряской телеге.

Хотя декабрь тогда был уже на исходе, зима стояла бесснежная, и санный путь еще не установился. Залив затянуло льдом, гладким, темным, ненаезженным. Лошадь на нем оскальзывалась всеми четырьмя копытами...

И только за полночь Ленин со своим спутником студентом Людвигом Линдстремом добрался до пролива перед островом Кирьяла. Возчика с лошадьми отправили обратно и колоколом у пристани вызвали с той стороны паромщика. Кое-как перекарабкались через скользкий ото льда кряж и добрели наконец до постоялого двора, принадлежавшего огромному, нескладному и сильному, как медведь, крестьянину Фредериксону.

Заспанная, но приветливая фрекен Фредериксон, улыбаясь нежданным гостям, поставила на стол хлеб, масло, сыр и кувшин молока.

На постоялом дворе зимой отапливалась всего одна комната для приезжих, и в ней стояла одна-единственная кровать. Линдстрем уступил Ленину место у стенки, а сам прилег с краю.

Проснулись они только перед обедом...

Декабрьский день короче воробьиного носа, не успеет рассвет оглядеться, как спускаются сумерки, и кажется, нет конца им. Как ни торопился Ленин, хозяин постоялого двора уговорил их заночевать. Владимир Ильич очень устал, но все же главным доводом, решившим дело, было утверждение старого Фредериксона: у него ноют суставы, а это верный знак того, что скоро пойдет снег. А по снегу лучше ехать, чем по скользкому льду, и быстрее можно добраться до хутора Бергмана на острове Ноуво и потом дальше на санях до Лиллмяле, мимо которого пролегает фарватер на Стокгольм...

Повезет их на санях один из сыновей Фредериксона. У старика было их двое — старшему Вилле он оставлял в наследство лодки, невода, землю, младшему Карлу — постоялый двор. Карл собирался в Гельсингфорс на поварские курсы, чтобы приезжие летом,— а места здесь дачные,— столовались у него...

Суставы старика Фредериксона, хотя и предчувствовали перемену погоды, на сей раз не распознали, в какую именно сторону она изменится.

Снег так и не пошел, а поднялся сильный ветер, исколовший снег мелкими льдинками.

И когда Ленин наконец очутился в доме, где сейчас находились мы, встретивший его крестьянин Вильберг, заранее подряженный в проводники — это было ему не впервой,— заявил, что ветер и стремительное течение в проливе сделали свое дело — разбили лед. Теперь пока он не станет, пока льдины гуляют, ни на лодке, ни пешком и думать нельзя добраться до Лиллмяле.

— Будьте спокойны,— заверил он уходя,— при первой же возможности приду за вами!

Владимир Ильич почувствовал себя на этом островке пленником, отрезанным от мира. И это тогда, когда дело не ждет, когда дорог каждый час. Да и сыщики из

охранки не дремлют и, может, уже учуяли след, который позавчера потеряли.

Но ничего не поделаешь! Надо набраться терпения, которого ему так не хватает и которого так много у окружающих его суровых, спокойных «пасынков природы».

Пришлось заночевать.

К утру ветер утихомирился, но пришел Вильберг и сказал:

— Идти невозможно... Я пробовал. Льдины еще шевелятся под ногой. Подождем вечера.

Короткий декабрьский день невыносимо тянулся. Ленин то и дело подходил к окну.

Небо обложено тяжелыми снеговыми облаками. Вот за тем скалистым островком виден краешек узкого пролива, застланного скомканной ледовой простыней. Хотя он и мало чем отличается от бесчисленных извивающихся между шхерами проливов,— но он знаменит.

На его берегу некогда сожгли ведьму.

Мало ли где сжигали ведьм! Почему же этот костер, погаснув, не растворился во тьме времен, не исчез из памяти людской?

Потому что он был последним. Это была последняя ведьма, сожженная в Суоми.

Выходя на крыльцо, чтобы взглянуть, наступил ли наконец желанный мороз, раздосадованный задержкой Владимир Ильич вряд ли думал об этой несчастной женщине. Уж скорее он вспомнил бы о той, о которой позавчера ему рассказывал депутат парламента Сантери Нуортева.

Весной, когда открылся новый парламент, среди его депутатов — впервые в мире! — были женщины; все загадывали, что поведает собранию первая женщина, взошедшая на парламентскую трибуну.

Здание парламента еще не успели выстроить, и сессия открылась в зале Добровольного пожарного общества.

Первое заседание обещало быть коротким, если бы лукавый, как говорится, не попутал лидера старофинской партии сделать первый боевой выстрел.

— Финский народ религиозен,— благоговейно, с опущенным долу взором, заговорил он и предложил каждое заседание начинать молитвой.

В защиту этого предложения консерваторы-старофинны выдвинули на передний край свою «тяжелую ар-

тиллерию» или «легкую кавалерию», как по-разному писали столичные газеты.

На трибуну поднялась сухопарая девица Кэкикоски,— именно на ее долю выпало счастье впервые в мире произнести в парламенте «женское слово»,— и поддержала консерваторов.

Впрочем, она считала целесообразным открывать заседания не молитвой, а чтением библии, сопровождая тексты подходящими пояснениями.

— Стоило ли так ломать копья из-за равноправия!— недоумевал кто-то на хорах для публики, слушая ханжескую речь старой девы.

— Стоило! — отвечали соседи, глядя, как девять депутатов социал-демократок проголосовали против этого предложения.

Оно было отвергнуто подавляющим большинством голосов.

С каким удовольствием такие ханжи, как Кэкикоски, подкладывали бы сучья в костер, на котором сжигали бы этих восставших против молитв в парламенте, одержимых дьяволом ведьм социал-демократок! С не меньшим, думается, чем их прапрабабки на берегу пролива, за тем дальним островом!

Впрочем, в долгие часы ожидания вряд ли думал Ленин и о парламентском дебюте «барышни» Кэкикоски. Мысли его были поглощены другим: как организовать через Швецию связи и транспорт литературы из Женевы в Россию? К какому сроку удастся выпустить новые, уже зарубежные номера «Пролетария»... И еще одно беспокоило его: когда Надежда Константиновна закончит дела в Питере и скоро ли приедет к нему в Стокгольм? Они условились, что он там будет ее ждать.

Но ход мыслей Владимира Ильича нарушили два местных крестьянина.

Они пришли зачем-то к хозяину, увидели незнакомца и надолго застряли возле него. И хоть он мало что понимал из их речей, пространно рассказывали о чем-то. То один, то другой дружелюбно похлопывали его по плечу и пересмеивались, силясь что-то объяснить. Затем один вышел.

Не в полицию ли? — насторожился Владимир Ильич.

Но через несколько минут тот возвратился с бутылкой и тремя гранеными стаканами.

Неожиданно посетители огорчились, когда незнакомец наотрез отказался от спиртного. Потом они сообразили: трезвенник! Достали в сенях молока, налили стакан гостю, а свои, наполнив водкой, опрокинули залпом, не закусывая, — по-фински. После этого стали еще словоохотливее, и дружелюбие их, казалось, не имело границ...

Только на следующий день, когда уже стемнело, пришел Вильберг и с ним Карл — младший сын Фредериксона. Они уже успели «подкрепиться» перед походом. И хотя идти предстояло по скользкому льду, Ленин обрадовался, когда Вильберг сказал: «Попробуем! Не так уж далеко. Не больше четырех километров».

— Наконец-то!

Вооружившись длинными баграми, прихватив «летучую мышь», они двинулись в путь.

Ленину багра не дали, и он нес только свой небольшой саквояж из желтой кожи.

Легко спустились по заснеженному склону, обогнули мысок пролива и по крепкому припаю пошли напрямик к Лиллмяле.

В кромешной мгле декабрьского вечера тусклое желтое пламя «летучей мыши» казалось ярким, но... больше освещало несущую ее руку, чем дорогу.

Мокрый, припорошивший лед снежок налипал на каблуки, на подметки, и от этого идти было трудно.

Проводники, разговорчивые в начале пути, вскоре замолчали и лишь изредка перебрасывались словцом.

Поверх наледи проступила вода, и налипший на ботинки снег тоже стал леденеть. С зловещим хрустом треснул лед. Шаг, второй, и льдина зашаталась, стала уходить из-под ног... Но вовремя удалось перешагнуть, почти перепрыгнуть на другую...

Теперь продвигались, ощупывая перед собой путь баграми... Через несколько минут неустойчивая льдина снова накренилась, и уже не только подвыпившим рыбакам море стало по колено — вода пронизывала холодом ноги.

И тут, на льду Финского залива, как рассказывал он после Надежде Константиновне, Ленин подумал: «Эх, как глупо приходится погибать!»

Однако Вильберг и Карл не растерялись, такое с ними случалось не однажды. Протянутый ими вовремя багор

помог Мюллеру восстановить равновесие, и насквозь промокший и оледенелый профессор вскоре добрался до места — до сверкающего огнями в темной метельной ночи парохода «Борей», вершившего свой очередной рейс.

Держась за поручни, оскальзываясь, он поднялся по сходням на борт уже как доктор Фрей.

А вернувшиеся домой проводники, раскупорив бутылку «с молоком от бешеной коровки», посмеивались над профессором Мюллером: они показались ему нетрезвыми! Что бы он сказал сейчас, когда они действительно напьются вволю! Как же иначе отогнать простуду! Ведь и так тело человека состоит на три четверти из воды, а трезвенникам и этого мало!

Через неделю в Турку на борт того же парохода «Борей» взошла Надежда Константиновна. Провожал ее Сантери Нуортева, предоставив во «временное пользование» паспорт своей жены.

* * *

Весь следующий после встречи со Сванте Бергманом день наша машина мчится по накатанному шоссе вдоль берега Ботнического залива от Турку на север.

Мохнатый, мокрый снег застит ветровое стекло.

«Дворники» мельтешат, трудятся неукротимо, но расчищают только узкий сектор, и для беседы больше простора, чем для глаз.

Мой спутник Аско Сало, секретарь Общества дружбы «Финляндия — СССР», еще совсем молодой человек, остролицый, бледный, подтянутый. На нем изящное демисезонное пальтишко и фетровая шляпа. Словно не за Полярный круг едем.

— Если бы лед у Лиллмяле тогда оказался более хрупким, совсем по-другому сложилась бы, наверное, жизнь и моя, и твоя, и миллионов людей! Но, к счастью, проводники были опытные и лед выдюжил,— говорит Аско.

И мы перебираем вчерашние впечатления: дорога к хутору Сванте Бергмана, сам хутор и хозяин его. Я читаю вслух поэму, первые строфы которой были написаны еще при жизни Ленина.

И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним...

— Обедать будем в Раума! — взглянул на циферблат Аско.

Раума. Сколько можно порассказать про этот городок, который намного старше Хельсинки. Но пока Аско расспрашивает о нем сидящего за рулем местного товарища, мое воображение рисует картину знакомства Людвига Линдстрема с Лениным.

Социал-демократ, видный коммерсант, агент нескольких пароходных линий Вальтер Борг днем по телефону сообщил студенту Линдстрему, что с вечерним поездом из Хельсинки приедет русский товарищ, которого он должен встретить на вокзале и по известному уже плану проводить дальше.

— В одной руке у него будет желтый кожаный саквояж, в другой — газета «Хувудстадсбладет».

Поезд прибывал в десять вечера, а в одиннадцать отваливал пароход «Борей», капитан которого также ждал (это устроил тот же Борг) русского пассажира.

Кроме Линдстрема на вокзал пришли еще двое юношей, сыновья Вальтера Борга... Но человека с желтым чемоданом и номером «Хувудстадсбладет» среди прибывших с вечерним поездом не оказалось.

Раздосадованный попусту истраченным вечером, Линдстрем вернулся домой и завалился спать.

— Раззявы! Попросту прозевали его! — обрушились на юношей, вернувшихся ни с чем, Борг и Нуортева.— Немедленно возвращайтесь к вокзалу. Наверняка бродит там, отыскивая вас.

В тревоге Борг позвонил в Хельсинки.

— Выехал. Как и было условлено! — категорически подтвердил оттуда взволнованный Владимир Мартынович Смирнов.

Борг на дрожках помчался к пристани просить капитана задержать отплытие...

Ледокол уже начал прорезать во льду узкий канал для прохода «Борея».

Нуортева и жене Борга, вынужденным томиться в безделии, минуты ожидания казались бесконечными. Неужто попал к жандармам?!

— Капитан согласился ждать до двенадцати и ни минуты больше,— объявил вернувшийся домой Борг.

Возвратились и сыновья его, опять-таки никого не встретив.

Их немедленно послали снова искать «его» уже не на вокзале, а на привокзальных улицах.

Без четверти двенадцать принесли записку от капитана. Ждать будет, как обещал, только до двенадцати. Но утром «Борей», как всегда, остановится у острова Драгсфиорд пополнить запасы топлива, и если пассажир опоздает, то по льду может там нагнать пароход...

Отправились искать пропавшего русского и сам Борг и Нуортева, знавшие его в лицо.

К двум часам они условились снова встретиться на квартире Борга.

...Среди ночи Линдстрема разбудил снежок, запущенный с улицы в окно. Он вскочил с теплой постели и впустил Сантери Нуортева и Вальтера Борга, а вместе с ними человека с желтым кожаным саквояжем.

— Надо немедля выходить.

— Не лучше ли подождать до утра? — посоветовал не отошедший еще ото сна Линдстрем.

Но русский решительно отказывался ждать.

— За мной следят. Меня будут искать... Я уже побывал в Сибири и вторично ехать туда не хочу. Если не можете проводить так, чтобы нагнать пароход, я уйду пешком на север и где-нибудь у Раума по льду перейду в Швецию.

— Но Ботнический залив у Раума еще не замерз...

— Тогда пойду дальше, до Торнео.

Под таким напором Линдстрем сдался, пошел к знакомому хозяину извозчичьего двора, и еще затемно вместе с ночным гостем на тряской телеге они выехали из Турку в шхеры.

Лишь в дороге словоохотливый весельчак студент своими рассказами и расспросами так расшевелил русского, что тот, превозмогая одолевшую его усталость, объяснил своему проводнику, почему они не встретились вечером на вокзале. За час до Турку Ленин заметил, что за ним следят два субъекта весьма определенного типа. Он решил проверить свои подозрения и на станции Карья вышел в станционный буфет.

— Стакан чаю и два бутерброда.

Одно гороховое пальто уселось сразу же за соседний столик, второе встало у двери. Сомнений никаких. Вслед за ним они оба вернулись в вагон. И тогда на платформе

Литтойнен — последняя остановка перед Турку,— как только поезд тронулся, Владимир Ильич уже на ходу соскочил с площадки вагона.

Повезло.

Ни вывиха, ни ушиба — угодил в глубокий сугроб...

Шесть километров он осилил часа за три и уже за полночь постучался в квартиру Борга. Нашел ее без особого труда. Помог путеводитель с планом города. Да к тому же здесь он останавливался и в прошлом году весной, тоже по дороге в Стокгольм. Только вот озяб изрядно и ноги закоченели.

Жена Борга, энергичная Ида Ояла, заставила Ленина выпить рюмку коньяка и, невзирая на смущение гостя, принялась массировать ему руки и ноги до тех пор, пока не разлилось в них живительное тепло. К тому времени вскипело молоко и вернулись после розысков Сантери Нуортева и хозяин квартиры.

Было от чего устать Ильичу, но он не пожелал воспользоваться гостеприимством Борга и рвался немедля продолжать путь...

— В Сибири морозы куда крепче,— сказал он,— но не так зябко...

— Ну, конечно,— отозвался Борг.— Воздух там не такой влажный, не приморский...

Три человека, три социал-демократа из Турку, устроили Ленину в декабре 1907 года побег за границу.

Коммерсант Вальтер Борг.

Редактор газеты «Социалист» и депутат парламента от Турку — Сантери Нуортева.

И тогдашний студент, а затем магистр и гимназический учитель — Людвиг Линдстрем...

Как по-разному потом обернулись их судьбы.

Вальтер Борг... С детства помнится мне огромный пустынный плац Марсова поля. После уроков веселой гурьбой мы, мальчишки, гоняли там футбольный мяч. Места хватало с избытком для двадцати команд...

Предназначалось Марсово поле для парадов императорской гвардии. Но в марте семнадцатого года с красными, отороченными черным знаменами впервые прошли через него бесконечные колонны людей. Шли порайонно. Впереди каждой колонны несли на плечах открытые обитые кумачом гробы...

Был первый весенний месяц семнадцатого года. Хоро-

нили павших в последние дни февраля. И Марсово поле стало площадью Жертв Революции.

Прошел год. Летом восемнадцатого года с воинскими почестями, с гулким прощальным винтовочным салютом опустили в эту землю тело Вальтера Борга.

В дни рабочей революции в Финляндии Совет народных уполномоченных назначил его заведовать Финским Банком в Турку. Два сына Борга — красногвардейцы — погибли, сражаясь с немецким десантом, пришедшим на подмогу белым. Третьего расстреляли лахтари, разгромив дом Вальтера и разграбив имущество.

После поражения революции Боргу с одним из разрозненных отрядов финской Красной Гвардии удалось уйти в Советскую Россию. Здесь он и умер от скоротечной чахотки.

«Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах благодарных потомков»,— высечено на гранитном надгробии на площади Жертв Революции.

Сантери Нуортева. Редактор газеты социал-демократов и депутат парламента от города Турку. В архивах столыпинской канцелярии я нашел справку об одном из выступлений этого популярного оратора левого крыла в парламенте, когда он порицал финское правительство за то, что, выдавая русским властям русских революционеров («бомбистов и разбойников» — как их обзывала реакционная финская газетенка «Кайку»),— «...сенат своими действиями оскорбляет ту часть русского народа, которая борется за свободу. Представитель социалистов Нуортева сказал, что эти лучшие сыны России призваны создавать будущность русского государства и предоставить Финляндии свободу»...

За такие, можно сказать, провидческие речи и подобные им статьи в газете Нуортева был обвинен в «оскорблении Его Императорского Величества». Ссылке в Сибирь он предпочел бегство в Америку. Там Нуортева продолжал активную деятельность в революционных организациях пролетариата, а во время гражданской войны в Суоми Совет народных уполномоченных назначил его представителем Финляндии перед лицом правительства Соединенных Штатов и зарубежного рабочего движения. Финская революция была растоптана тяжелым сапогом немецкой военщины, Нуортева покинул Соединенные Штаты. В Москве Чичерин привлек его к работе в Нар-

коминделе, где он два года ведал отделом стран Антанты и Скандинавии, а после создания Карельской Советской Республики вслед за Шотманом был избран председателем Карельского ЦИКа и на этом посту трудился вплоть до смерти...

В первый свой приезд в Петрозаводск, когда я жил в доме на берегу Онежского озера, на набережной имени Нуортева, я познакомился с его старшей дочерью красавицей Керттой и двумя ладными сыновьями Пенти и Матти.

Оба оказались достойными своего отца. В годы Великой Отечественной войны они ушли в партизаны. Пенти погиб вблизи деревни Ялгуба в схватке с оккупантами. Захваченного в этой же схватке Матти военно-полевой суд приговорил к смерти. Но в последнюю минуту судья сказал: если Матти даст честное слово финна впредь никогда не сражаться против своих единоплеменников, он будет прощен.

— Даю честное слово финна до последнего своего дыхания, до последней капли крови бороться с врагами Советской Карелии! — отвечал Матти.

Его расстреляли в лесу на берегу Онежского озера.

О судьбе же Людвига Линдстрема мне в Суоми рассказывала высокая седая женщина Сюльви Килики Кильпи — старшая сестра известной поэтессы Эльви Синерво.

Вместе с социал-демократами Эйно Кильпи — ее мужем, с Мауно Пеккала, Ю. Кето и К. Куло она в парламенте с начала 1943 года вошла в так называемую «мирную оппозицию», то есть группу депутатов, требовавших заключить мир с Советским Союзом.

Если в сорок первом году шестеро депутатов, выступивших против войны с Советским Союзом (так называемая «шестерка»), были брошены в тюрьму, то в сорок третьем году к «мирной оппозиции» уже прислушивались, тем более что эти взгляды во многом разделяли и такие политические деятели, как Паасикиви и Кекконен. Поэтому вполне естественно, что после перемирия один из них — Мауно Пеккала возглавил правительство, а «шестерка» и деятели «мирной оппозиции» вошли в Демократический Союз финского народа, и Сюльви Килики Кильпи была избрана председателем Общества дружбы

«Финляндия — Советский Союз» — самой массовой в стране общественной организации.

Целый день вместе с Сюльви Кильпи мы ездили по Хельсинки и его окрестностям, и она показывала мне дома, где в разное время жил Владимир Ильич.

А таких мест немало.

В то время она по крохам собирала для своей книги сведения о пребывании Ленина в Финляндии. Это была нелегкая работа — ведь Владимир Ильич побывал в Финляндии двадцать шесть раз и провел там в общей сложности около трех лет.

— Мне предстояли трудности, о которых я и не думала, приступая к этой работе,— говорила Сюльви Килики Кильпи.— Ведь в царское время многие у нас прятали людей из России, спасавшихся от преследования полиции, не разбираясь, кто из них меньшевик, кто эсер, кто большевик, а кто и просто сболтнувший лишнее кадет. И каждый понимал, что его подопечный скрывается не под своим именем. Когда же народ узнал, что и Ленин пользовался финским гостеприимством, каждому лестно было вообразить, что тот русский, которого он скрывал, был именно Ленин. И даже когда убеждаешь сейчас кого-нибудь, что в то время или в том месте Ленин никогда и не бывал,— он недоверчиво покачивает головой... Иногда даже жалко разочаровывать. Мне показывали вблизи от дома Сванте Бергмана вековой дуб, на котором будто бы Ленин финским ножом вырезал дату своего пребывания,— но, мол, вырезанное за полвека успело зарасти корой. Это так противоречило всему, что мне известно о характере Ильича, что я попросила проследить за судьбой дуба. А когда недавно его спилили и ствол доставили на фанерную фабрику, то под корой, на уровне роста человека, нашли эту резьбу. Дата была — 1904. Значит, через это место еще до того, как там побывал Ленин, проходил другой русский революционер. Впрочем, и после этот путь не был закрыт.

Так вот, о судьбе Людвига Линдстрема. Он тоже стал депутатом парламента, но уже в начале первой мировой войны отошел от партии, оставил место учителя гимназии и занялся коммерцией. Во время войны спекуляция процветала и вместе с ней, как на дрожжах, подымалось состояние Линдстрема. Впрочем, по спорам, которые Ленину довелось вести с ним в те два дня, что они про-

вели неразлучно, и о которых простосердечно через сорок лет в шведском журнале рассказал сам Линдстрем, Владимир Ильич мог предугадать эволюцию своего словоохотливого спутника.

* * *

«Закон ленча» в скандинавских странах действует неукоснительно. И мы отдали ему дань, как это и намечал Аско Сало, в Раума, в кооперативном ресторане, до которого, прорезая снегопад, наша «Победа» добиралась от Турку часа три с половиной.

Долгий же путь пришлось бы пройти пешком Владимиру Ильичу, если б не удалось попасть на рейсовый пароход.

Вряд ли стоит перечислять все пожары, начисто истреблявшие городок, в который мы прибыли,— в этом Раума ничем не отличается от других городов и местечек Суоми. Его тоже в шестнадцатом веке посетила чума, унесшая половину жителей... Это было во времена шведского владычества. А позднее, в годы Крымской войны, английский флот не оставил своим вниманием Раума и дважды бомбардировал его.

Однако сей торговый городок вошел в историю не только своими несчастьями, но и стойкостью граждан.

Когда в шестнадцатом веке был основан Гельсингфорс, король приказал всем жителям Раума немедля переехать туда.

Они же, как могли, уклонялись от переселения и продолжали заниматься своим делом у себя дома.

«Столь непочтительное отношение к приказаниям свыше и удивительное непонимание выгод, предстоявших от этого переселения государству, о которых мечтал сам король, глубоко веривший, что короли не могут ошибаться,— окончательно возмутили его королевское самолюбие»,— пишет историк.

И тогда воспоследовал новый указ — на этот раз более энергичный. Всем жителям предписывалось немедленно «убраться в новый город».

И жители убрались.

Раума пустовал несколько лет, пока наконец после смерти Густава Васа новое «Вавилонское пленение» не было отменено «ввиду неоправдавшихся надежд». А вернее оттого, что изменились обстоятельства: Гельсингфорс

был основан для соперничества с Ревелем, который тогда принадлежал Дании. Когда же и сам Ревель был захвачен Швецией, нужда в Гельсингфорсе отпала.

Жители Раума вернулись к своим пенатам.

И хотя финны иначе чем Хельсинки не называли новый город, но шведское название его более чем на век пережило шведское владычество над Суоми. Во всех странах мира и в России до Октябрьской революции он продолжал именоваться по-шведски — Гельсингфорс.

...Снегопад утих, и солнце выглянуло из облаков, словно для того, чтобы мы могли полюбоваться этим процветающим ныне городом, насчитывающим тысяч двадцать жителей. Но улицы сейчас были пустынны, так как обитатели его предавались ленчу.

Наскоро оглядев городок, и мы последовали примеру его аборигенов и пошли в кооперативный ресторан.

— О, да здесь есть «Рыбий петух» — «Калла кукка»! — воскликнул Аско, разглядывая меню, в котором я не понимал ни слова.

— Настоящая финская кухня!..

И в самом деле, в меню значились и «Бедные рыцари», и «Лососина сапожника», «Наша кастрюля», и «Фальшивая черепаха», «Селедка стекольщика», и блюдо с таким зазывающим названием, как «Хорошенького понемножку».

Я уже знал, что «Лососина сапожника» на поверку оказывалась обыкновенной копченой воблой, «Селедка стекольщика» — вымоченной маринованной сельдью, а «Хорошенького понемножку» — не чем иным, как мясным ассорти. На этот раз я решил отведать «Рыбьего петуха» — «Калла кукка».

— Это домашнее блюдо, крестьянский деликатес,— сказал Аско,— в ресторанах его почти не готовят.

«Рыбий петух» обернулся пирогом из ржаной муки. Между двумя его корками, вперемежку с кусками свиного сала, запечены целиком рыбешки.

Молодой краснощекий повар в белоснежном колпаке словно сошел с рекламного плаката и появился в дверях кухни.

Ему хотелось узнать, какое впечатление на меня произвело это крестьянское блюдо.

— Иностранцам оно обычно не нравится,— сказал он и представился: — Фредериксон.

«Не сын ли это владельца постоялого двора в шхерах, у которого заночевал Ленин?» — подумал я и тут же сообразил: не может такого быть... Если сын Фредериксона еще жив, он должен быть глубоким стариком... А этот паренек молод даже для того, чтобы быть его внуком...

Ответ мой повару был скорее вежлив, чем правдив. А когда он приподнял для приветствия белоснежный колпак, обнажив волосы, отливающие медью, как начищенные в кухне кастрюли, и удалился, я спросил:

— Как ты думаешь, Аско, почему Ленин, проезжая из Стокгольма в Швейцарию, прописался в Берлине как «финский повар»? Что он не назвался немцем — понятно: наверное, трудно было скрыть, что он иностранец. Что финном назвался, тоже объяснимо: во-первых, недавние впечатления, во-вторых, если кто-нибудь стал бы допытываться, откуда прибыл,— все сошлось бы. К тому же немцы тогда сочувствовали борьбе финнов с самодержавием и никогда бы финна не выдали... Но почему не финским рыбаком? Не моряком, не помещиком, наконец?

— А почему рыбак или моряк вдруг оказался в Берлине? — отозвался Аско.— Для помещика занятый им номер был, очевидно, слишком скромен. А человек с такой профессией, как повар, приискивая работу в Берлине, мог остановиться и в захудалой гостинице. К тому же Ильичу, наверно, нравилась финская кухня, и в тот день, когда в Берлине его с утра водили в третьеразрядные кафе, он с удовольствием вспоминал, что в Финляндии еда если и не была изысканной, то всегда самой свежей. И рыба, и молоко... Но...— Аско взглянул на часы и, так и не решив окончательно, почему Ильич назвался финским поваром, сказал: — Если не хотим заночевать в дороге, то «по коням»!

* * *

Через день мы с Аско заночевали в Вааса. Утром побывали в окружном суде — кирпичном трехэтажном доме на крутом обрыве. Из высоких окон его отлично виден оледенелый залив моря. В архитектурном отношении здание это не примечательно. Но нам, и особенно Аско, интересно было побывать там, где последний раз в Финляндии выступал его отец, знаменитый левый адвокат Ассер Сало.

В одну из мартовских ночей тридцатого года лапуаские молодчики — эта финская разновидность фашистов — ворвались в типографию здешней левой рабочей газеты и тяжелыми кувалдами разбили печатные машины.

Власти, поощрявшие бесчинства лапуасцев[1], оказались, конечно, «не в состоянии обнаружить преступников».

Тогда виновные объявились сами.

В поисках популярности они послали министру внутренних дел телеграмму, в которой демонстративно требовали привлечь их к судебной ответственности.

Волей-неволей пришлось начать «судебное расследование».

Чтобы сорвать эту комедию и показать истинных виновников преступления, из Хельсинки прибыл на суд знаменитый юрист Ассер Сало.

К этому дню со всех концов страны в город съехались лапуасцы. Они разъезжали автоколонной в сто восемьдесят семь автомобилей с полицейской машиной впереди. Оглушая город ревом клаксонов, лапуасцы буйствовали, запугивали обывателей и под конец устроили перед зданием суда шумную демонстрацию. Затем они ворвались в зал, избили адвоката рабочей стороны — Ассера Сало — и на глазах у губернатора и полицмейстера схватили его, бросили в автомобиль и увезли в «неизвестном направлении».

Впрочем, направление известно было всем, кроме полицейских. В те дни фашисты врывались в дома и хватали на улицах многих неугодных им политических деятелей и перебрасывали через границу в Советский Союз. Среди людей, насильно выдворенных лапуасцами из Суоми, был и Ассер Сало.

Так они поступили даже с первым президентом Финляндии либералом Стольбергом. Но ему в последнюю минуту, уже у самой границы, удалось вырваться из рук похитителей... Стольберг вернулся в Хельсинки на поезде. Увидев его на перроне, одна из лапуаских дам повернулась к нему спиной и, наклонившись, подняла юбки, показав тем самым, как писала либеральная газета, «лапуаские перспективы».

[1] Название это происходит от села Лапуа, где жил их «фюрер» Косала и устраивались массовые сборища его последователей.

Я познакомился с Ассером Сало в Петрозаводске, когда он занимал пост верховного прокурора Карельской республики. Это было в тридцать шестом году.

И вот сейчас с его сыном мы осматривали сложенное из кирпича не старинное, а старомодное здание окружного суда в Вааса, а затем отправились в среднее ремесленное училище.

В этой школе ребята получают специальность слесаря, токаря, жестянщика, кузнеца, водопроводчика, электросварщика, наборщика, печатника, переплетчика. Есть здесь специальные классы портняжного и поварского искусства.

Заказов на шитье платьев школа получает больше, чем может выполнить. Доход же от работ, исполненных учениками, покрывает большую часть школьного бюджета.

В просторной, до блеска начищенной кухне, сияющей медными кастрюлями, у электрической плиты толпился выводок девушек в голубых халатиках. Под наблюдением преподавателя кулинарии, полной женщины уже в летах, они учились стряпать.

И среди этой девичьей ватаги так неожиданно было увидеть высокого белобрысого мальчика с лицом, усеянным мелкими веснушками. Но он-то сам нисколько не был смущен своим «одиночеством».

— Почему ты выбрал профессию повара?

— Хочу стать корабельным коком и повидать весь свет,— не раздумывая, отчеканил он. Видно, такой вопрос ему задавали не впервой.

— А разве не лучше стать просто моряком?

— Нет! Если мне наскучит шататься по свету, у меня все-таки будет сухопутная профессия. Повара нужны всюду...

Что ж, в голове белобрысого парнишки романтика отлично уживается с расчетливостью. Я, правда, знавал и других финнов, которых в дальние моря погнали не поиски романтики, а совсем иной расчет — хоть на время укрыться от всевидящих глаз царской охранки. Один из активнейших заводил «Обуховской обороны», двадцатилетний слесарь Сантери Шотман, спасаясь от преследования полиции в Питере, нанялся юнгой на финский парусник, уходивший с грузом пиленого леса в Англию.

Но вряд ли, прописываясь в Берлине «финским пова-

ром», Ленин думал о мальчиках, обуреваемых страстью к дальним странствиям, готовящихся к ним куда более трезво, чем чеховский «Монтигомо Ястребиный коготь». Еще меньше мог он думать, конечно, о своем друге финне, который пять лет спустя несколько дней самовольно кухарил в его парижской квартире на улице Мари-Роз, 4.

* * *

Весной 1912 года в Париж, на улицу Мари-Роз, 4, к Ленину пришел знакомый ему еще по второму съезду партии представитель рабочих Питера Сантери-Эдмунд, или, как его именовали по-русски, Александр Шотман (партийная кличка Горский, Берг). Но теперь он прибыл в Париж не из Питера, а прямехонько из Гельсингфорса, взяв месячный отпуск с места работы. А работал Шотман слесарем и токарем в мастерской, занимавшейся ремонтом военных кораблей.

В те годы Гельсингфорс был базой Балтийского флота.

Хозяин мастерской, носившей гордое название «Сокол», инженер-капитан Балтийского флота в отставке, приобрел старую баржу, которую оборудовал под плавучую мастерскую.

Вместе с Шотманом на этой барже-мастерской работали слесари братья Юкко и Эйно Рахья, а их общий старый друг Адольф Тайми был разметчиком в механической мастерской Свеаборгской крепости.

...На боевых кораблях шло брожение. Готовилось восстание.

Шотмана вместе с Адольфом Тайми избрали в тройку, призванную руководить восстанием. План, как вспоминал Шотман, был захватывающе грандиозен. По сигналу с линкора «Слава» восставшие корабли должны выйти из Гельсингфорса, соединиться с флотом, стоявшим в Ревеле. После занятия Ревеля эскадра должна была вернуться в Гельсингфорс и с помощью финских рабочих завладеть городом, а потом направиться в Кронштадт, где уже все подготовлено. Занять крепость не составит большого труда.

В дошедшей до них резолюции Пражской конференции, написанной рукой Ленина, подчеркивалось единство задач рабочих Финляндии и России в их борьбе с царизмом и русской контрреволюционной буржуазией, выска-

зывалась уверенность в том, что лишь совместными усилиями рабочих России и Финляндии можно добиться свободы русского и финского народов.

Для Шотмана и его товарищей — братьев Рахья, Адольфа Тайми, Никандра Кокко, активистов хельсинского подполья, резолюции партии не были просто декларациями, а руководством к действию. И они радовались тому, что их работа на кораблях и в рабочих кружках перекликалась с решениями партии, шла в том же плане.

Все, казалось, было продумано и подготовлено к восстанию моряков, которое должны были поддержать рабочие финской столицы. Но незадолго до намеченного срока Адольф Тайми был арестован. Шотману повезло. Жандармы ошиблись и вместо него схватили похожего на него председателя союза металлистов Саксмана.

Ни броненосцу «Слава», ни крейсеру «Рюрик» не суждено было стать ни «Потемкиным», ни «Очаковым».

Оставшиеся на свободе товарищи решили: Шотман должен немедля отправиться в Париж, к Ленину, рассказать о случившемся и посоветоваться, как быть дальше.

Взяв срочно отпуск и сказав, что едет в Берлин, Шотман скрылся из Гельсингфорса.

...Улица Мари-Роз, 4.

Надо пройти длинющую Орлеанскую авеню, чтобы оказаться в рабочем районе. А там шагай по улице Коронте мимо пивного завода, сверни направо и снова направо за угол. И перед тобой рю Мари-Роз. И всего-то на этой «рю» вдоль узенького тротуара с одной стороны выстроились пять домов. Дома высокие — семь этажей, да еще мансарды — с узкими, как в средневековье, в три окна фасадами. Ленин живет во втором доме от угла. И на том этаже, где он квартирует, одно окно, из которого виден скверик напротив, принадлежит ему.

Теперь в этой маленькой квартирке (две комнаты которой — одна окном во двор, другая на улицу — разделены небольшой темной каморкой) не сохранилось мебели, принадлежавшей чете Ульяновых. И вообще-то комнаты сейчас пусты, только на стенах, у которых раньше теснились некрашеные полки с книгами, висят фотографии Ленина и его друзей. Тут же в деревянной рамке первый номер «Рабочей газеты» — Ленин выпускал ее в Париже... И печаталась она неподалеку от квартиры, на Орлеанской авеню, в кооперативной типографии

«Идеал». Рядом с газетой объявление о том, где и когда Ленин читает реферат «Русская революция и ее вероятное будущее».

Французские коммунисты превратили эту квартиру в мемориальный музей.

Девушка — смотрительница музея живет тут же в темной крохотной каморке между маленькой комнатой Ульяновых и комнатой побольше, где жила Елизавета Васильевна, мать Надежды Константиновны.

Но в тот майский день, когда, единым махом преодолев три этажа винтовой лестницы (на площадке третья дверь налево), сюда постучался молодой мастер токарного дела и революции, голубоглазый, с заостренными усиками, Сантери Шотман, все здесь было по-иному, по-домашнему.

На узеньких железных кроватях постланы белоснежные покрывала, на некрашеных столах аккуратными стопками лежали книги, и в окно кабинета глядели вершины цветущих каштанов, а не слепая кирпичная стена выросшего много позже на месте скверика мужского монастыря.

После первых же слов приветствия Шотман рассказал (надо было торопиться, так как Крупская уже укладывала чемодан, Ленин в тот же вечер уезжал дней на десять в Берлин) о том, как работали большевики в Хельсинки, как проходила подготовка к восстанию во флоте, как арестованы были двое из «тройки».

Но о том, что в ночь перед выходом в море на кораблях было арестовано шестьдесят четыре матроса, Александр Васильевич еще не знал.

Об этом провале ему сообщил Ленин. Прекрасно осведомленный о том, что происходит в России, он стремился у каждого вновь прибывшего оттуда выведать возможно больше подробностей о жизни, о настроениях на родине.

Ленин внимательно слушал рассказ Шотмана о большевистской организации в Свеаборгской крепости, на кораблях Балтийского флота и у портовых рабочих. Шотман внутренне страшился того, что Владимир Ильич осудит их за фантастичность задуманного предприятия.

Но осуждения он не услышал, а о похвале и не мечтал. Особенно теперь, когда стало понятно, что восстание подавлено, еще не начавшись.

Задав по ходу рассказа два-три вопроса, Владимир Ильич как бы про себя несколько раз повторил: «Без участия широких рабочих масс дело не выгорит, какой бы хороший план мы не выработали...»

Свою поездку в Париж к Ленину Шотман запомнил на всю жизнь, но о том, что и на Ленина эта встреча произвела большое впечатление, я узнал, перечитывая его переписку с Горьким.

«А в Балтийском флоте кипит! — писал Владимир Ильич на Капри.— У меня был в Париже (между нами) специальный делегат, посланный собранием матросов и социал-демократов. Организации нет, просто плакать хочется! Ежели у Вас есть офицерские связи, надо все усилия употребить, чтобы что-либо наладить. Настроение у матросов боевое, но могут опять все зря погибнуть».

А через год на совещании в Поронино Шотман по предложению Ленина был кооптирован в Центральный Комитет...

...Дожидаясь в Париже возвращения Ленина, Шотман поселился в номерах дешевой гостиницы поблизости от «Ильичей» и не терял понапрасну времени. Он часами пропадал в музеях, заходил в «Синема».

Его, как рабочего-металлиста, особенно интересовала Эйфелева башня, конструкцию которой и способы крепления железных балок он тщательно изучал и вопреки мнению многих, хулящих ее как бесцеремонное вторжение голого техницизма в архитектуру, находил в ней особую красоту.

Но за всем тем неизменно он каждый день начинает с того, что приходит на улицу Мари-Роз к Надежде Константиновне. У нее, кстати, есть путеводитель по Германии.

Пока она сидит за столиком, на котором теснятся бутылочки со всякого рода химическими растворами, кисточки, клей и другие «орудия производства», необходимые для секретной переписки, сочиняет легальные письма и между строчками вписывает невидимыми «чернилами» то, что нужно, Шотман «скатывает» из путеводителя целые абзацы — описания немецких городов и тех мест, которые он якобы посетил в Германии. Письма свои друзьям он пересылает через берлинский адрес, данный Надеждой Константиновной. На конвертах должен стоять немецкий штемпель. Ведь все, кроме матери и его

жены Кати, убеждены, что отпуск он проводит в Германии.

— Вот видите,— говорил он мне много лет спустя,— не всегда можно полагаться на документ, даже если на нем есть печати и штемпеля. Некоторые «документы» для того и составляются, чтобы кое-кого ввести в заблуждение.

— А вы хорошо знаете этого Тайми? — как-то спросила Шотмана Крупская.— Давно он в партии?

— Я сам его принимал... Десять лет назад. Большевик. В пятом был членом Петербургского Совета рабочих депутатов. Сидел в «Крестах». Бежал из Вологодской ссылки!

— Адольф Тайми... Почему я не знаю его хотя бы по имени? — удивилась Надежда Константиновна.

И это было действительно странно, так как почти всех активистов-большевиков — такая уж у нее была память и работа — она знала, если не в лицо, то по фамилиям или кличкам.

— Так Тайми — это же Вастен. Адольф Вастен.

— Адольф Вастен,— медленно повторила Крупская и отложила в сторону шифрованное письмо.— А... припоминаю. Это я сама направила Вастена после вологодской ссылки в Гельсингфорс... Да... Да... Припоминаю... Это было в столовой Технологического института. Что за странная кличка... Тайми...

— Нет, это теперь его самая что ни на есть законная фамилия, по-русски означает «рассада». Рассада большевизма,— засмеялся Шотман. И объяснил, что в связи со вспышкой национализма в те годы в Суоми многие финны, у кого фамилии звучали по-шведски, меняли их на чисто финские. Этим-то и решил воспользоваться Адольф Вастен, чтобы провести охотившуюся за ним царскую охранку. Работал тогда он на заводе в Швеции, в Хельсинборге, и попросил брата в Гельсингфорсе дать объявление в газете о том, что Адольф Вастен меняет фамилию на Тайми. В газетах тогда печатались целые страницы подобных объявлений — мода! И он правильно рассчитал, что полицейская цензура не слишком внимательно их читает.

По дороге к «Ильичам» Александр Васильевич всегда заходит с кошелкой на пестрый и шумный парижский рынок.

— Идейные женщины, курсистки, революционерки редко умели вести домашнее хозяйство,— рассказывал Александр Васильевич.— Надежда Константиновна в этом мало чем отличалась от них... В Шушенском и за границей обычно хозяйствовала ее мать.

И в самом деле, ведя необозримую переписку с организациями, шифруя и расшифровывая огромную нелегальную корреспонденцию, будучи, по существу, и личным секретарем Ильича, и секретарем заграничного бюро ЦК, и секретарем редакции газеты, как могла она заниматься еще и домашним хозяйством?

Вот почему даже намерение «на днях спечь блины» было для нее событием, о котором она писала из Парижа в Саратов Анне Ильиничне. А та вместе с матерью посылала из Саратова в Париж продовольственные посылочки — балык, икру и рецепты, как следует вымачивать селедку.

«Ну уж и балуете вы нас в этом году посылками! — откликалась Надежда Константиновна.— Володя даже по этому случаю выучился сам в шкап ходить и есть вне абонемента, то есть не в положенные часы. Придет откуда-нибудь и закусывает...»

А теперь, когда Елизавета Васильевна занедужила (ей уже шел восьмой десяток), Шотман видел, что у «Ильичей» и в «положенное время» питание, по нынешнему говоря, плохо налажено.

И он взял это дело в свои руки.

По утрам на рынке закупал свежие артишоки, цветную капусту, салат, парную конину и прочую дешевую снедь, а затем в уютной кухоньке, которая служила также и гостиной, сидя на некрашеном табурете, чистил картошку, помогал готовить обед, сразу оценив преимущество газовой плиты. А после обеда перемывал посуду, чего больше всего не любила делать Надежда Константиновна, и уже затем уходил бродить по городу...

— Конечно, Владимир Ильич многое предвидел,— с лукавинкой отвечал мне Шотман на тот же вопрос, который много лет спустя, путешествуя по Суоми, я задал Аско Сало,— но он не был волшебником. И, прописываясь в Берлине «финским поваром», конечно, никак не предчувствовал, что в Париже какой-то финн будет у него несколько дней кухарить... Тем более что те, кто к нему приезжал с родины, скорее всего сами были «поварами

революции»... А впрочем,— продолжал он, помолчав минутку-другую,— «Ильичам» все же пришлось иметь дело с настоящим финским поваром, точнее сказать, поварихой... Она после Октября в Смольном в их семье быт налаживала, чистоту и порядок наводила... Была такая одна хорошая женщина... До замужества рыбачка из-под Хельсинки, а потом в начале восьмидесятых переехала к мужу, слесарю Обуховского завода, в Петербург, за Невскую заставу. В тысяча девятьсот втором и третьем годах, когда я работал на заводе Нобеля и был организатором — по-нынешнему секретарем райкома — на Выборгской стороне, прокламации и прочую нелегальную литературу доставляли в комнатку, где я квартировал. Там Елена-Бригита, ей уже было за сорок, выполняла обязанности, как теперь бы сказали, экспедитора. Она связывала принесенные газеты и листки в пакеты разной величины, соответственно и справедливо распределяла получку по пакетам, и я был уверен, что ни один завод, ни одна фабрика не обделены. Когда же случался избыток листовок,— да, и это бывало (типография Петербургского комитета работала отлично, и прокламации у нас водились в изобилии) — или их нужно было распространить не на заводе, лучше, чем она, этого никто не делал. В юбке своей она прорезала карман и, вчетверо сложив прокламацию, под каким-нибудь предлогом заходила в чужую квартиру, а затем, уходя, незаметно роняла листок.

— Я вижу, вы ее хорошо знали!..

— Еще бы! Ведь это моя мать. Елена-Бригита, а по-русски — Елена Андреевна...

* * *

О том, как он стряпал в Париже, как живут «Ильичи», Шотман рассказывал матери,— она-то знала, у кого он там побывал. Слушая его, Елена Андреевна ахала и охала. А через каких-нибудь пять лет, когда «Ильичи» уже жили в Смольном и Надежда Константиновна, уходя на работу, очень расстраивалась, что Владимир Ильич не ухожен, и поесть ему вовремя не удается, и комнаты по-настоящему не прибраны, Александр Васильевич попросил свою мать заняться хозяйством «Ильичей», и она с охотой пошла на это.

Перечитывая воспоминания Крупской, я отчеркнул то

место, на которое до личного знакомства с Александром Васильевичем в первом чтении не обратил внимания.

«Наконец,— писала она,— у нас водворилась мать Шотмана, финка, очень любившая сына, гордившаяся тем, что он был делегатом II съезда, помогал Ильичу скрываться в июльские дни. Она завела чистоту, тот порядок, который так любил в домашней жизни Ильич, стала просвещать уборщиц и подавальщиц столовой. Теперь можно было, уезжая, быть спокойной, что Ильич будет сыт, хорошо обслужен.»

А когда Елена-Бригита сетовала, что из-за нехватки продуктов не может по-настоящему показать, на что она способна как кулинар, не может по-своему приготовить блинчики, потому что белой муки-крупчатки нигде не достать, Надежда Константиновна утешала ее, что и в Париже, который славится своей кухней, они с Ильичем отнюдь не разносолами и деликатесами питались. И рассказала ей смешную историю о том, как, уезжая из Парижа в Краков, Ульяновы передавали свою квартиру приезжему из Польши регенту. Тот дотошно выспрашивал у Ильича о хозяйственных делах.

— А гуси почем? А телятина почем?

— И не только Ильич, который к хозяйству имел мало отношения,— вспоминала Крупская,— но и я ничего не могла сказать о гусях и телятине. В Париже мы ни того, ни другого не ели. Я могла бы ему сообщить о цене конины и салата. Но такой пищей регент не интересовался.

Месяца четыре, с середины ноября и до марта, до переезда Совета Народных Комиссаров в Москву, у «Ильичей» кухарила и прибирала Елена Андреевна Шотман...

— Так через десять лет после того, как он в берлинском отеле прописался «финским поваром», Владимир Ильич самолично познакомился с «финской поварихой»,— посмеивался Шотман.

В Москву к сыну Елена Андреевна перебралась только поздней осенью восемнадцатого года... И в первые же дни пошла навестить «Ильичей», прихватив с собой десятилетнего внука Сашу...

Сейчас у этого внука — Александра Александровича Шотмана — инженера-электрика — у самого есть внук и внучка... Нынче ему столько же лет, сколько было отцу

тогда, когда мы беседовали с ним о финской революции, о товарищах-финнах, о Ленине.

Сын и внешне очень похож на отца. И ростом в него вышел, и такой же седоватый, уже лысеющий. Если бы на его лицо — усы и коротко подстриженную бородку, совсем не отличил бы, словно время повернуло вспять. И в голубых глазах за поблескивающими стеклами очков без оправы такая же таится лукавинка.

Мы сидели у меня за столом в комнате, в окна которой светят огни университета.

Маленькими глотками отпивали из чашки чай, и Александр Александрович вспоминал, как вместе с бабушкой Еленой Андреевной они прошли в Кремль, как в подъезде у коммутатора латышский стрелок позвонил Ленину, мол, к нему пришли, как Владимир Ильич вышел навстречу и проводил гостей до своей квартиры. Выпив вместе с ними чай (сладкий) с черными сухариками, он погладил мальчика по голове и сказал Надежде Константиновне:

— Жаль, что у нас нет ребят! — и пошел работать к себе в кабинет, оставив бабушку с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной.

А когда женщины закончили беседу и бабушка засобиралась домой, Владимир Ильич снова оторвался от дел, чтобы проводить гостей.

У Александра Александровича утомленное лицо — устал он изрядно после рабочего дня... В передней, уже прощаясь, он вдруг вспоминает о первом знакомстве с Владимиром Ильичем, и, словно губкой с классной доски, стирается усталость с лица.

Семнадцатый год. Майский день. Отец с матерью отправляются на митинг и берут с собой сынишку. От Николаевской улицы, ныне улицы Марата, где они после приезда из ссылки занимают комнату в барской квартире, до Васильевского острова едут на трамвае.

На набережной Невы у входа в Морской кадетский корпус толпится народ. Огромный зал, вмещающий тысячи человек, переполнен. Еще бы! Ожидается выступление Ленина.

Мальчик давно уже знает,— ведь он всего несколько дней назад прибыл в Питер с родителями из Нарымской ссылки,— что Ленин — самый главный. Главнее пристава, главнее губернатора, главнее генерала. Усаженный на

подоконник,— чтобы не потерялся в толпе и лучше видел,— сгорая от любопытства, Саша ждет, когда же он, этот главный, наконец появится. Поэтому мальчик совсем не обращает внимания на коренастого, лысого человека в потертом пиджаке, которого отец подводит к матери и говорит:

— Катя, познакомься с Владимиром Ильичем.

— А скоро придет Ленин? — спрашивает Саша у отца.

— Да вот он! Владимир Ильич, это мой сынишка. Десять лет, а успел побывать в ссылке...

Но Саша не верит отцу. Как так Ленин, думает он, и без сабли?! Самый главный должен быть рослым, с орденами, а главное, с большой саблей на боку! Не иначе отец подшутил над ним.

И только когда его новый знакомый подымается на деревянный помост и председатель в наступившей настороженной тишине объявляет, кому предоставлено слово, мальчик убеждается, что отец вовсе и не шутил. Но разочарован он до глубины души. И по пути домой все еще допрашивает отца:

— Как же так? Главный — и без сабли, без орденов?!

Саше тогда было десять лет. Подчас и иные взрослые считали, что не так обыкновенно должен выглядеть настоящий вождь!

И, беседуя обо всем этом с Александром Александровичем, я вспоминал, как по дороге в Раума, в машине, преодолевавшей метель, читал своему другу Аско куски из поэмы о Ленине,— и повторял строки:

Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

ПОСЛЕ ИЮЛЯ, В СЕМНАДЦАТОМ

ЗА «ЖИВЫМ ПАКЕТОМ»

Перед новым, облицованным красным гранитом Хельсинкским вокзалом — творением молодого архитектора-романтика Эллиеля Сааринена приезжие останавливаются, любуясь его гармоничной каменной громадой, высоко вознесенной, увенчанной куполом — «дозорной» башней с часами. С любопытством разглядывают они у арки главного входа высеченных из камня гигантов-викингов со светильниками-фонарями в руках. Затем их взгляд привлекут картинная галерея «Атенеум», на фронтоне которой начертано «При единодушии и малые силы крепнут», и грубые глыбы серого известняка — Национальный театр,— с двух сторон обступившие Железнодорожную площадь. Мимо же пятиэтажного, ничем не привлекающего внимания «Гранд-отеля Фения», на противоположном конце площади, проходят, не замечая его. Но именно в этой гостинице, на последнем этаже, под крышей, в августе семнадцатого года жил известный драматический артист Каарло Куусела, с рассказа о котором и начинается наше повествование.

В тот прохладный, казалось, тоже ничем не примечательный вечер, когда, собираясь в недолгую поездку, Куусела запихивал в портфель коробку с гримом, пузырек с клеем и баночку с вазелином, к нему в номер, распахнув без стука дверь, ворвалась донельзя взволнованная молодая женщина.

— В чем дело, досточтимая госпожа Каллио?— с нарочитой церемонностью обратился к ней артист.— Возможно, тебя не устраивает твоя роль в «Помолвке», но это мы отлично обсудим завтра.

— Какая тут к черту роль!— воскликнула женщина.— Помоги нам. Ради всего святого!

— Ну и денек выдался!— взмолился Куусела.

И в самом деле, денек, что и говорить, был хлопотливый. Утром, когда он вышел из гостиницы и хотел пройти в Университетскую библиотеку, Куусела увидел, что путь туда прегражден. Поперек узкой Правительственной улицы, сверкая на солнце металлическими ножнами сабель, выстроился в две шеренги эскадрон гусар. Белые султаны, словно ежики, которыми чистят ламповые стекла, вызывающе торчали на их шапках, желтые шнуры перекрещивались на мундирах. Все в одну масть, вороные кони нервно прядали ушами и переминались с ноги на ногу. Офицер по-русски уговаривал людей, сгрудившихся перед конным строем, мирно разойтись. Потом, круто повернув вороного, он поскакал к другому эскадрону, перекрывавшему подход к дому сейма со стороны бульвара Эспланады... В том эскадроне все кони были гнедые, черногривые с черными же хвостами.

Временное правительство распустило сейм, и прибывшие в Хельсинки ночью по его приказу гусары перекрыли все подступы и подходы к финскому парламенту, чтобы ни один депутат не проник на чрезвычайное, созванное председателем, заседание.

Так и не дойдя до библиотеки, расстроенный и возмущенный увиденным беззаконием, Куусела вернулся в гостиницу, и тут портье, подозрительно глядя на него, передал, что звонил полицмейстер и незамедлительно требовал господина актера к себе.

И вот именно в результате той беседы в кабинете полицмейстера Куусела после очередной репетиции и укладывал вещички, когда его застигла госпожа Каллио.

— Тебя устраивает, если Кустаа попадет в Сибирь или «Кресты»? Ты хочешь этого?

— Ни в коем случае, Марта! Но почему ты сулишь ему такие неуютные места?!

— Видишь ли, Кустаа велели ехать в Петроград за каким-то «живым пакетом»...

— За чем? За чем? За каким «пакетом»?

— Не знаю, за каким. Наверно, это очень важный человек. Русские фамилии так трудно выговаривать. Одним словом, этот русский в опасности... Его приказано

арестовать и расстрелять. И я очень боюсь, что Кустаа засыплется на этом, его запрут в «Кресты», сошлют в Сибирь, а у нас маленькие дети!— выпалила она единым духом. И сразу же снова затараторила.— К тому же у него такие глаза, что он ничего не сможет скрыть,— его сразу поймают.

— Постой! Постой!

Но, не слушая, глядя на седую прядь в густой шевелюре артиста, она продолжала уже спокойнее:

— Ты седой, старик (как бывают неправы двадцатилетние, считающие стариками тех, кому нет еще и сорока), у тебя такое мягкое выражение лица, в честности твоей никто не усомнится. И ты отлично сыграешь свою роль (она явно льстила). К тому же у тебя нет семьи! (Вот это была правда.) Поезжай ты! Ты привык путешествовать и знаешь каждый уголок Финляндии...

Тут молодая госпожа Каллио тоже была права.

Пожалуй, не было города в Суоми, на сцене которого бы он не выступал. Но последние годы талантливый артист Куусела прочно обосновался в городском театре в Вааса, и только летом, когда труппа разъезжалась на каникулы, он, служа любимому искусству, руководил каким-нибудь рабочим драматическим кружком, благо по всей Финляндии вряд ли найдешь человека, который хоть однажды не играл в любительском спектакле...

Вот и этим бурным летом семнадцатого года он вел драматический кружок в столичном «Доме рабочих», который и оплачивал его номер в «Фении».

— Погоди! Погоди! А разве уж так обязательно попасться?— попытался Каарло утешить нежданную гостью.

В чем состоит «дело», Куусела хорошо знал. Полицмейстер одновременно с ним вызвал к себе и драмкружковца Кустаа Каллио, активиста Союза молодежи. В кабинете кроме них троих был еще человек в пенсне, с жиденькой, словно взошедшей в неурожайный год, бородкой. Он молча сидел в кресле у окна.

— По приказу Временного правительства в Хельсинки разгромлена редакция большевистской «Волны». Пять пудов шрифта, типографская машина, бумага конфискованы.— Полицмейстер подошел к ним вплотную.

— Мы об этом читали в «Туомиес»,— отозвался Каллио.

— Про шрифты это только к слову пришлось...— продолжал полицмейстер.— Схвачены работники Хельсинкского комитета, наши товарищи Антонов-Овсеенко, Старк, Рошаль. Во время лекции в Русском театре арестованы левые эсеры Устинов и Прошьян. Много русских солдат и матросов попало в кутузку. Но даже не это самое главное. В Питере дела посерьезнее. Вожаки революции, которых Керенский приказал арестовать, вынуждены скрыться. Одного из них необходимо срочно перебросить в Финляндию... Мы долго думали, кто бы мог это сделать... И выбор пал на вас двоих... Согласны?

— Имейте в виду, это предприятие опасное,— добавил человек у окна.— В случае провала — несдобровать. Перед тем, как ответить,— поразмыслите хорошенько.

— Согласны!— снова за обоих решительно ответил Каллио.

— А сколько это займет времени? Восемнадцатого вечером репетиция, не хотелось бы срывать ее. Комнаты в Рабочем доме расписаны по часам,— обеспокоился Куусела.

— Восемнадцатого, не позже шести вечера, вы должны быть в Хельсинки... Когда репетиция?

— В семь!..

— Успеете, если до этого не угодите в «Кресты»,— пошутил полицмейстер.— Выезжать надо сегодня же к ночи... Ты, Куусела, как старший, в ответе за все, Каллио твой помощник. Что и как — расскажет товарищ.

Пожелав им удачи, полицмейстер обернулся к незнакомцу с бородкой.— Сыщики пустили по следу свою премированную ищейку, медалиста «Трефа». А у нас против этого «Трефа» вон какие козыри,— ободряюще кивнул он на Куусела и Каллио.

Человек в пенсне объяснил, где найти его завтра утром.

...Теперь у себя в номере Куусела сообразил, что Каллио выложил жене не все, что знал. И она уверена, что едет он один. Тут уж актер не смог удержаться и не разыграть импровизированную мелодраматическую сценку. Да, он, мол, понимает ее тревогу. И раз она так молит его, раз уж на то пошло, он отправится вместе с Каллио...

— Я поеду с ним,— он положил руку на плечо молодой женщине.— Убежден, что вернемся с удачей! И вооб-

ще, не мучайся зря, я знаю: дело, за которое берешься с душой, всегда хорошо кончается. Вот увидишь, как в День труда мы отлично сыграем «Помолвку».

— Ты поедешь с ним, правда?

— Ладно уж! Только дай собраться. Поезд отходит через полтора часа.

— Так недалеко же. Перейти площадь и все! Только, ради бога, не проговорись Кустаа, что я была здесь,— упрашивала Марта.— Один бог знает, что он со мной сотворит тогда.

...Не прошло и двух часов, как, взяв билеты до Петрограда и обратно, Куусела и Каллио мирно катили в жестком купе второго класса скорого поезда.

Белые ночи уже миновали, и за вагонными окнами мглилась настоящая августовская ночь с мелькающими среди частолесья серебряными клинками озер, со звездопадом... Вагон был почти пуст. Соседнее же купе занимали два русских офицера.

— Они следят за нами,— заподозрил Кустаа.

— Может быть. Кстати, зачем ты разболтал жене, зачем и куда едешь.

— Между мной и Мартой секретов нет...— горделиво произнес Кустаа и вдруг спохватился.— А ты откуда знаешь?..

— Догадываюсь... Только я не ты и чужих тайн не выдаю.

— Ну, конечно, холостяк,— попытался отшутиться смущенный Кустаа.

— Вот что,— продолжал Куусела, помня о своем обещании Марте.— Я хоть и не так, чтобы очень, но говорю по-русски. Ты же, кроме «а» и «о», ни одной русской буквы не знаешь, так что условимся: если будет грозить провал, потихоньку смывайся. Вроде и не знаешь меня. Свою шкуру я как-нибудь спасу... Сыграю простачка или, наоборот, оскорбленного графа. А пока... дела предстоят такие, что надо выспаться. Давай по очереди! И все-таки попробуй, хоть в ближайшие три года не будь трепачом!— наставительно закончил он.

Ему неведомо было тогда, что младшему его другу не отмерено судьбой не только трех, но и года жизни, что в апреле восемнадцатого он вместе с другими красногвардейцами будет расстрелян белыми во дворе Выборгской крепости...

Оставив приятеля, укладывающегося поудобнее на полке, Куусела после Выборга вышел, чтобы договориться с проводницей; поезд пойдет обратно завтра ночью,— пусть оставит им купе на двоих...

Добродушная женщина, не видя в этом нарушения здешних правил, охотно согласилась...

Довольный своей предусмотрительностью, Каарло вернулся в купе, где Каллио, накрыв голову пиджаком, под мерное перестукивание колес видел уже вторые сны. Подходила очередь Каарло, но паренек так сладко посапывал, что актеру не захотелось будить его. Пусть досматривает свои сны...

«Интересно,— думал Каарло,— когда Кустаа играл Яго, это был опытный интриган, а в жизни такой добряк, с открытой душой... Никаких секретов от жены»,— не то пожалел, не то позавидовал своему спутнику Куусела...

Мелькнули станции Сайне, Кямере. У Перкярви от лучей вставшего уже солнца порыжел сосновый бор, обступивший железнодорожное полотно.

Когда поезд резко затормозил, подходя к Усикирка, пиджак соскользнул с головы Кустаа. Полусонный, он вскочил с полки и схватился за висевший на поясе финский нож — пуукко...

— Пока еще не требуется, умывайся,— засмеялся Каарло.

На финляндских дорогах поезда ходили тогда не быстро, какие-нибудь двадцать шесть километров от Усикирка до Терийок тянулись томительно.

Каллио успел не раз пробурчать себе под нос песенку, которой кончалась «Помолвка»:

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры
И спросили, есть ли пиво?
Они заняли квартиры,
Они заняли квартиры
И спросили, есть ли пиво?

Стоянка в Териоках пятнадцать минут. Вынырнув из вагона и оглядевшись, не следует ли кто за ними, друзья направились, как и условлено было, в ресторан «Иматра», перед только что отпертыми дверьми которого на козлах запыленной пролетки дремал, поджидая седоков, извозчик.

За одним из столиков русскую газету читал человек в пенсне, с реденькой бородкой, тот, что вчера в Хельсинки назначил им здесь свидание. Он сделал знак вошедшим.

Пока официант хлопотал, расставляя приборы и принимая заказ, Каарло лениво спросил:

— Что нового пишут?

— Да газета-то старая.

Это был номер суворинского «Вечернего Времени». На первой странице крупным шрифтом заголовок «Где Ленин?» завершался жирным вопросительным знаком.

— Кстати, эту вот газетку передай «Пакету»,— и человек в пенсне вытащил из кармана «Живое Слово».

Там, среди прочих сообщений, Куусела прочел: «Пятьдесят офицеров ударного батальона поклялись или «найти Ленина или умереть». И рядом заметку о том, что вряд ли кто получит обещанные десятки тысяч рублей, наведя на следы этого подкупленного немецкой разведкой преступника, так как, согласно циркулирующим в Питере слухам, он бежал в Германию на подводной немецкой лодке.

— Если так, пятидесяти офицерам ничего не остается, как умереть,— улыбаясь, сказал Куусела...

— А вот и про наш дом, про Суоми!— его собеседник ткнул пальцем в маленькую статейку. В ней утверждалось, что Ленин, настаивая на праве Финляндии стать независимой, выполняет обещание, данное правительству Вильгельма; таким путем расплатится за разрешение проехать через Германию в запломбированном вагоне. Немцы, мол, только того и ждут, чтобы провести через Финляндию войска и ударить по революционному Питеру...

Официант принес глазунью, и, отложив в сторону газеты, товарищи дружно принялись уплетать ее. В чем-в чем, а в отсутствии аппетита их нельзя было упрекнуть.

За яичницей последовал неизменный кофе.

Попивая его, человек в пенсне начертил на листке блокнота путь, по которому им сейчас нужно одолеть четырнадцать километров. Направление на Кивиннеппи... Хутор Ялкала... Но до самого хутора не доезжать.

— Вот тут развилка, три дороги. Рассчитайтесь с извозчиком и, когда отъедет, сыпьте прямо — по средней!

Передав конверт-примету, по которой «живой пакет» узнает их, и вручив триста марок на предвиденные и непредвиденные расходы, человек в пенсне закончил наставления:

— Сегодня вечером вы должны вместе с ним выехать на скором в Лахти. Билеты берете до Тампере, а его оставляете у фотографа Коски, в доме лахтинской конторы газеты «Туомиес», вот адрес.

— У нас уже есть обратные билеты... И даже купе припасено,— похвалился Каарло...— Договорился с проводницей... Такая миловидная женщина!

— Ты ее раньше знал?

— Нет... Но надеюсь на продолжение знакомства!— самодовольно ухмыльнулся Куусела.— Познакомились нынче в пассажирском.

— Ни в коем разе не суйтесь теперь в это купе, в тот же поезд. А вдруг она сообщила куда надо, вдруг рядом купе займет кто-нибудь из охранки? И вообще, зарубите себе на носу: если не хотите очутиться в Сибири или «Крестах», никогда не возвращайтесь той же дорогой, по которой шли к месту. Можете угодить в засаду.

— А ты был в Сибири?— поинтересовался Кустаа.

— Да кроме «Крестов» довелось побывать на царских хлебах не в одной каталажке. Полгода как вернулся. Вот уж не чаял, что снова пригодится опыт подпольщика... Ну, да вам пора... А то уж больно я разговорился.

Если бы он знал о беседе, которая в этот ранний час шла в доме на Дворцовой площади, в кабинете командующего Петроградским военным округом казачьего генерала Половцева, то был бы еще лаконичней.

Семь лет назад генерал Половцев (тогда он был еще только полковником), сидя на хорах для публики в Таврическом дворце в зале заседаний Государственной думы, от души аплодировал златоусту великодержавных погромщиков Пуришкевичу, вещавшему с думской трибуны:

— Пора это зазнавшееся Великое княжество Финляндское сделать таким же украшением русской короны, как Царство Казанское, Царство Астраханское, Царство Польское и Новгородская пятина. И мне кажется, что дело до этого дойдет...

Когда Половцев стал командующим Петроградским военным округом, ему предстояло сначала расправиться

дома с мутящими воду большевиками, изловить главного зачинщика — Ленина. Первое дело сделано. Половцев сам командовал усмирением рабочих Петрограда. Демонстрация была расстреляна, бунтующие полки разоружены, большевистские гнезда разорены. Теперь осталось только схватить этого «запломбированного».

Вот почему генерал столь благосклонно принял гвардейского офицера.

— Следы ведут в Териоки,— объяснял тот.— Завтра я отправляюсь туда и надеюсь,— да поможет мне бог,— настигнуть его. Как вы желаете получить этого господина — в цельном виде или разобранном?..

— Арестованные часто делают попытки к бегству,— усмехнулся Половцев.

НЕ ТОТ ПАРВИАЙНЕН

Пролетка у входа в ресторан была той самой, которую заранее нанял человек в пенсне.

Пока друзья ехали по шоссе, ведущему к Выборгу, «шведка», как называл свою лошадь возница, показала, на какую прыть способна невзрачная, низкорослая финская лошадка!

Так, не останавливаясь, они миновали центр Териок, который летом из-за наплыва дачников превращался в людный городок. За ним потянулись дачи подешевле, где в садах среди пестрых клумб настурций, астр и пионов сверкали на солнце огромные стеклянные посеребренные шары, белели гипсовые, раскрашенные, в рост трехлетнего ребенка, гномы — обычное украшение дач служилого люда со средним достатком. Те, кто побогаче, строили или снимали дома на берегу моря вдоль песчаного, растянувшегося километра на два пляжа.

Когда свернули с шоссе, лошадь сменила бойкий аллюр на шаг. И в самом деле, проселок, вдоль которого теснились уже не такие нарядные домики,— чем дальше, тем проще,— оставлял, как говорится, желать лучшего. Отчаянно пыля, он вел сначала в гору, потом под гору, корни сосен, выпиравшие из земли, как набухшие на руке жилы, пересекали дорогу, и то и дело пролетка переваливалась через них, вздрагивала и подбрасывала седоков...

После каждого такого толчка Куусела нащупывал во внутреннем кармане пиджака конверт — не выскочил ли.

Они были счастливы, когда распрощались с хмурым, молчаливым возницей, который, как выяснилось, до сих пор не мог опомниться после вчерашней попойки.

Расплатившись по таксе, вывешенной на обращенной к седокам стороне облучка, они присели на шершавый, горячий от солнца валун, подождали, пока пролетка не скрылась с глаз.

Малость передохнув от тряски, друзья пошли по средней из трех начинавшихся на развилке дорог. Она должна была привести их к месту. Но это оказалось не так просто. То и дело ответвлялись в разные стороны дорожки, тропы и стежки. На первом таком раздорожье, где один путь вел слегка влево, другой правее, они, не долго думая, пошли по тому, который казался протореннее, но метров через пятьсот он привел их в тупик и пришлось топать обратно.

А солнце припекало все сильнее и сильнее.

Выбравшись на стезю, с которой сошли, они, тем не менее, еще раза два соблазнялись другими, тоже проезжими, тропами.

Одна такая тропинка привела их к каким-то строениям, хотя, по всем расчетам, тут должен был начаться лес. К тому же прибитая гвоздями к высокой старой березе стрела указывала: православный женский монастырь...

— Самый верный путь для холостяка! — буркнул Каллио.

Опять пришлось поворачивать... Вскоре они набрели на сосновый бор. Солнце парило вовсю. Пряно пахло смолой.

— Парвиайнен, — повторил Куусела фамилию, названную человеком в пенсне. — У него должна быть чудесная вилла на берегу Питкаярви... Это известный питерский фабрикант, даром что финн...

И в самом деле, Парвиайнен владел чугунолитейным заводом на правом берегу Невы, на Выборгской стороне. Выбившийся «в люди» из мастеров, он с большей ловкостью, чем иные фабриканты-белоручки, умел облапошить рабочего. На свой завод в первую очередь он принимал единоплеменников, надеясь обратить себе на пользу и национальное чувство. Но просчитался — классовое

брало верх, и рабочие с «Парвиайнена» славились своей революционностью даже на Выборгской стороне.

«Он с «Парвиайнена» — у питерских рабочих было равнозначно «он — большевик». К примеру, уже десятого июня на «Парвиайнене» рабочие приняли резолюцию, требовавшую передать всю власть Советам.

...К трем часам пополудни друзья наконец добрались до перешейка. С одной стороны озеро Питке-Ярви, с другой — Каух-Ярви. Каух-Ярви — светлое, Питке-Ярви — темно-синее. Одно кругловатое, другое узкое. В Каух-Ярви каждая песчинка, каждый камушек на дне светится. Открытое озеро — по берегам луга, на лугах разбросаны дачи. А Питке-Ярви окружил густой сосняк, и тень деревьев ложится на воду. Между озерами деревушка Ялкала. Всего семь хозяйств. Дом на отлете от деревни. То, что им и надо.

Об этом свидетельствовала и табличка на воротах — «Парвиайнен».

Но каково же было разочарование! Никакой двухэтажной виллы с серебряными шарами и пестрыми клумбами за штакетной оградой. Не только что гипсовых гномов, самого штакетника не было — косой плетень, а за ним бревенчатая невзрачная избушка с небольшой дощатой пристроечкой... Парвиайнен, только не тот, не владелец завода на Выборгской стороне.

Хозяин усадьбы в Ялкала — Пекка Парвиайнен приходился братом заводчику и долгое время работал у него в горячем цеху литейщиком. Во время какой-то перепалки он высказал брату без прикрас все, что думал сам и то, что думают и говорят о нем рабочие-финны, затем взял расчет и уехал в Выборг.

Оттуда через несколько лет, после того как из-за болезни почек и легких ему запретили работать литейщиком, он со всей семьей — женой и десятью детьми переселился в Ялкала, приобрел на малые свои сбережения этот захудалый хуторок и занялся на вольном воздухе сельским хозяйством.

Да, это была ни барская вилла, ни даже средней руки загородная дача, а почти что торпарское хозяйство...

Дверь в дом открыта. За ней как будто мелькнула юбка. Куусела отер пот со лба, вытер о половичок у порога ноги и, производя при этом возможно больше шума, вошел в сени.

Навстречу из комнаты появилась женщина, пожилая, если верить Кустаа, средних лет, по словам Каарло, с добрым лицом и натруженными крестьянскими руками. Она обвела вошедших взглядом, в котором сквозило неприкрытое подозрение.

— Дома господин Константин Петрович? — осведомился Куусела.

— Его нет.

— А можно поговорить с нейти Лююли?

— Ее тоже нет.

Ответы огорошили друзей. По инструкции, если их откажутся принять, они обязаны ни секунды не медля вернуться и сообщить об этом человеку в пенсне.

Но Куусела на сей раз решил: инструкция по боку, буду действовать на свой страх и риск.

— Хозяюшка,— сказал он,— я честный, мирный финн, мой друг живет у вас, и мне необходимо увидеть его. У меня,— и он вытащил конверт,— к нему письмо, но я могу вручить его только Константину Петровичу...

Хозяйка еще раз внимательно оглядела пришельцев.

— Присядьте,— показала она на стулья и, покачав головой, вошла в пристройку. Не прошло и минуты, как оттуда появился, по мнению Кустаа пожилой, по утверждению Каарло мужчина средних лет и среднего роста.

Куусела встал.

Этот человек совсем не был похож на того, кого он ожидал встретить... Простой русский рабочий в кепке... Он не смахивал ни на героя, ни на скрывающегося от правосудия преступника. Но ведь Каарло и сам толком не знал, кого он должен выручить. Человек в кепке пристально разглядывал пришедших. Наступило молчание, когда, как умилялись в гостиных, «тихий ангел пролетел», а в рабочей среде шутили «городовой родился».

Почувствовав неловкость положения, Куусела подошел к незнакомцу, взял в обе руки его правую руку и пожал:

— Не знаю, кто вы, и не называйте себя. Для нашего дела лучше, если я не буду знать ваше имя. Тем не менее я вам друг и сделаю все, чтобы увезти в надежное место. А теперь разрешите представиться: Каарло Куусела, артист городского театра в Вааса, социал-демократ, прибыл по поручению партии за «живым пакетом»...

Ледок недоверия был сломан...

До поезда на север хватало времени, и Константин Петрович предложил друзьям отдохнуть... Кустаа устроился на стоге сена. А Куусела, который всю ночь не сомкнул глаз и мечтал часика четыре всхрапнуть, проводили в пристройку, которую хозяйка называла «курятником», и Константин Петрович уложил его на свою постель.

Но до сна ли было: усевшись на край кровати, «хозяин» стал расспрашивать, какой спектакль готовит Каарло, что думают хельсинкские рабочие, какие настроения у финляндских социал-демократов...

И все оборачивалось так интересно, что сон умчался на рысях.

— Как наши рабочие относятся к Керенскому? А вот как!

И Куусела принялся рассказывать, как Керенский приезжал в Хельсинки на заседание эдускунта — так финны называют свой парламент, который русские почему-то по польскому образцу окрестили сеймом. В сопровождении свиты Керенский вошел в зал заседаний и поздоровался с тальманом, то есть председателем, социал-демократом Кулерво Маннером. Затем цветистыми фразами, прославляющими свободу России и Финляндии, ее право самой решать в будущем свою судьбу, ответил на приветственные слова председателя и широким жестом — вот так — показал на украшавшую зал скульптуру: «Женщина — Суоми», у которой в правой руке меч, в левой — щит с выбитой на нем надписью «Лекс» — закон, а позади горделивый лев — народ, готовый вместе с ней защищать этот закон.

Обращаясь к социал-демократам, составлявшим большинство парламента, свое министерское слово он заключил так:

— Товарищи! Я сам социалист! От имени русских социалистов и русской демократии приветствую вашего вождя и закрепляю братский союз!

С этими словами он крепко обнял и поцеловал сенатора социал-демократа, словно закрепляя этим жестом союз двух демократий, российской и финляндской, а так как в финском сейме скамьи правительства прямо примыкают к местам крайне левых депутатов, то Керенский, подойдя к сидевшей там в первом ряду депутатке —

портнихе Хулде Салми, склонился перед ней в поклоне и под рукоплескания приложился к ручке.

Что тут было! Одни смеялись, другие били в ладоши, а бедная Хулда смутилась и страшно покраснела.

В этот день Куусела был свободен от репетиций и, находясь среди публики на хорах, все отлично видел и слышал. Сейчас перед новым знакомым он разыграл эту сцену в лицах. И стремительную походку Керенского, и изумленную растерянность финна-сенатора,— ведь в Суоми даже с женщиной не принято целоваться при посторонних, обмен же поцелуями у мужчин и вовсе казался двусмысленным.

Куусела изображал, как товарищи подтрунивали над смущенной Хулдой, посылавшей их к черту вместе с Керенским.

И наградой за рассказ был искренний, от души, заразительный смех.

— Вот революционный петух! Вот революционный петух! — заливаясь, повторял Константин Петрович.

— Не Иудин ли это поцелуй? — заметил приятель Куусела, сидевший тогда рядом на хорах.

— Поживем, увидим!..

Недолго пришлось и ждать.

Понимая, что ему уже не до сна, видя сбежавшуюся на смех Константина Петровича и глазеющую в открытые двери ребятню, Куусела предложил прогуляться.

— С удовольствием, если не устали.

В рощице они уселись на пеньки, у ног их расстилались заросли брусники, из глянцевитых листьев выглядывали краснобокие, поблескивающие на солнце ягоды.

— Ждать пришлось недолго! — повторил Куусела.— Немного дней протекло после этих объятий!

18 июля, доверяя обещаниям Керенского, сейм огромным большинством голосов принял «Закон о власти». Это было вовсе не провозглашение самостоятельности! Нет! Закон утверждал лишь право финнов самим решать свои внутренние дела. Но в ответ на это правительство Керенского, так громогласно славившего свободу, нарушив все законы и обещания, пошло по стопам самодержца и объявило сейм распущенным...

Это было через десять дней после приказа об аресте Ленина, и Константин Петрович уже слыхал обо всем. Но о том, что произошло, когда депутаты, невзирая на

запрет, все же решили собраться, о разгоне сейма, чему Каарло лишь вчера был свидетелем, он не знал. Новостью было и то, что второй артиллерийский полк, получив приказ выслать наряд к зданию сейма, чтобы помешать сбору депутатов, отказался его выполнить.

Согласный с решением Гельсингфорсского Совета депутатов рабочих, армии и флота о том, что «Роспуск Финляндского сейма не соответствует принципам демократии», полковой комитет призвал солдат не покидать казарм.

И тогда, поскольку на расквартированные в Хельсинки русские войска нельзя было положиться, срочно прислали верных Временному правительству гусар, которые и окружили здание сейма.

Сие для Константина Петровича тоже было новостью.

Куусела рассказывал очень подробно, вплоть до того, какой масти лошади у гусаров, теснивших публику и депутатов, а затем и вовсе перегородивших узкую улицу между Вокзальной и Сенатской площадями (восклицательные знаки султанов на шапках кавалеристов словно вопияли о творимом ими беззаконии).

По ходу рассказа Каарло видел, как подвижное лицо слушателя выражало попеременно обуревавшие его чувства. От восхищения поведением солдат второго артполка (Молодцы!), до возмущения гусарами (Позор! Позор!).

— Впрочем, наивно было бы ожидать чего-нибудь другого от социал-фразера! — эта реплика Константина Петровича уже относилась к премьер-министру.

— Знаете, товарищ,— это было обращено прямо к Куусела,— я не открою вам секрета, если скажу, что в России есть только одна партия, уже пятнадцать лет ратующая за свободу отделения Финляндии, убежденная и убеждающая других, что не насилием надо привлекать народы к союзу с великороссами, а только действительно добровольным, действительно свободным соглашением, невозможным, повторяю, невозможным без свободы отделения. И опять-таки, я не открою секрета, если назову эту партию. Социал-демократы — большевики! Членом которой, как вы понимаете, я имею честь состоять.

Несколько месяцев спустя, в марте восемнадцатого года, в разгар гражданской войны в Финляндии Каарло Куусела, уже знавший то, чего он не знал в тот августов-

ский день, а именно, что человек, которого он выручал, был Ленин, в своем номере в гостинице «Фения» писал: «Мы пошли прогуляться в лес. Разговоров хватало. Каждый открыл свое сердце другому. Он рассказал о своем жизненном пути, как был в ссылке в Сибири, сидел в тюрьме и так далее. Тринадцать лет он пропутешествовал из страны в страну, все время по пятам преследуемый шпиками охранки. Какой удивительный человек! И в чем только его тогда не обвиняли газеты. Называли немецким шпионом и прочее — человека, жизнь которого уже сама по себе представляла совершенно противоположное. Мир во всем мире, братство народов, независимость малых наций и победа социализма — вот его программа, за которую он готов пожертвовать, если понадобится, своей жизнью. Я со своей стороны рассказал ему о положении в Финляндии и обычаях финского народа».[1]

Вернувшись с Константином Петровичем из сосновой рощи, Куусела песенкой «Вот приехали курьеры» поднял со стога Кустаа, где тот втихомолку по захваченной с собой тетрадочке подзубривал роль ученика портняжки. В «курятнике» у Константина Петровича их ждала нехитрая стряпня гостеприимной хозяйки, которая на прощание поставила на стол горячую картошку с соленой салакой, черничный кисель.

День уже клонился к вечеру, и пора было в путь-дорогу...

— Но я не могу уйти, пока не приедет Лидия Петровна. Я должен ей, и только ей, передать письма и рукописи!

— Можно оставить старику Парвиайнену для нее,— возразил Куусела.— Нам велено отбыть сегодня же.

— Насчет моих писем вы правы, на Петра Генриховича можно положиться... Но Лидия Петровна должна привезти материалы, без которых я не могу уехать... Надо подождать ее.

Уже давно должен был вернуться посланный за Лююли на станцию младший брат Эдвард, но их все не было.

— Не будем терять времени! — И Куусела развернул пакет с красками для грима...— Кем же он у нас будет?

---

[1] Позже Куусела, видимо, пытался напечатать эти записи в газете, так как на первой странице его рукописи, хранящейся в «Архиве рабочего движения» в Хельсинки, другим почерком приписано, очевидно, редактором: «По современному цензурному запрету не можем опубликовать».

— Старым холостяком, портным Апели,— отозвался Кустаа, его мысли были заняты предстоящим спектаклем.

— Значит, твоим хозяином,— засмеялся Каарло,— а может, пастором Моосесом Иерусалеми. Правда, это уже не из Киви, а из Майю Лассила... Оба эти грима я не раз пробовал на себе...

И, вымыв руки и кисточки, он медленными мазками стал накладывать грим на безусое, безбородое лицо Константина Петровича.

— Уговор: до конца работы в зеркало не смотреть.

Константин Петрович покорился.

Первым вариантом гример остался недоволен и, с помощью вазелина легко стерев с лица краски, стал накладывать их заново, а Кустаа, помогая ему, то и дело прислушивался, не гремит ли таратайка Лююли.

Теперь Куусела был удовлетворен. Одобрил окладистую бороду и старик Парвиайнен, который только что вернулся с поля.

Для увенчания дела не хватало шляпы. Пекка Парвиайнен вышел из «курятника» и через минуту вернулся со своей старой широкополой, порыжевшей шляпой.

— Прекрасно! — Константин Петрович взглянул в зеркало.— Свободный художник! С Монмартра! Если сам себя не узнаю, какой черт теперь меня признает!

И когда совсем уже исчерпалось терпение (кукушка на часах прокуковала десять, а последний поезд уходил в час ночи), приехала наконец Лююли.

Запыхавшись, она вбежала в комнату, увидела какихто неизвестных ей людей и растерянно спросила у матери:

— А где же Константин Петрович?

— Надо узнавать старых друзей, Лидия Петровна,— отозвался один из незнакомцев и, приветствуя ее, приподнял шляпу, открывая рыжеватый парик.

— Это вы? — изумилась Лююли.

— Да, это он! — загордился Куусела.— Неплохая работенка, не правда ли?

— Лошадь расковалась в дороге, потому я так припозднилась,— Лююли передала Константину Петровичу большой конверт с письмами, новым шифром и «условными открытками».— А это то, что вы просили,— и она вынула из сумочки план Гельсингфорса, разговорники-

полиглоты шведский, финский и первый номер журнала Марии Спиридоновой «Наш Путь». Он же отдал ей записку для Агафьи Атамановой, которую Лююли вложила в пухлый роман Алексиса Киви «Семеро братьев»...

Увидев книгу, Кустаа объявил:

— А мы как раз репетируем его «Помолвку».

Константин Петрович хотел было сразу же прочесть полученную почту, но времени не оставалось ни на чтение, ни на разговоры.

Наскоро простившись, что, впрочем, не помешало душевности расставания, они заторопились к поезду. С раскованной лошадью нечего было и думать о бричке. Двигаться пришлось на своих на двоих.

— Если пересечь озеро на лодке, выиграем полчаса,— посоветовал Эдвард. Он уже успел распрячь лошадь.

— Пошли!

На дворе было темно. Молча, огибая огороды, гуськом пробирались они за Эдвардом к Каух-Ярви. Но не одолели и полпути, как их догнал младший братишка Лююли.

— Вот забыли! — и, тяжело дыша, он протянул замыкавшему цепочку Кустаа баночку с вазелином и пузырек с клеем для грима.

Кустаа сунул их в карман брюк, а Эдвард, обернувшись, строго приказал мальчику немедля возвращаться домой.

Молча столкнули лодку на воду, на весла сели Эдвард и Кустаа.

Когда гребцы вырывали из воды весла, в каплях, скатывающихся с их лопастей, отражалось сияние лунного серпа...

Изредка прорезали небо следы августовских падучих звезд. И слышно было только мерное поскрипывание уключин, глубокое дыхание гребцов, да еще издали с какой-то приозерной дачи доносился хриплый голос граммофона. Певец старательно выводил арию из «Гугенотов» «У Карла есть враги».

Все было донельзя будничио.

— Тут прямая дорога,— показал Эдвард, причалив лодку к другому берегу озера.

Поблагодарив за гостеприимство и еще раз пожелав всему семейству Парвиайненов всяческого благополучия,

Константин Петрович вместе со своими спутниками двинулся дальше.

Проселок (вверх-вниз и снова вверх-вниз по холмам) был прорублен через сосновый бор... Но теперь он встречал путников не густым ароматом пряной смолы, как днем, а сыроватыми грибными запахами.

Шли быстро... Увидев, что Константину Петровичу нелегко поспевать за ними, Кустаа молча протянул руку к его пальто и свертку.

— Что вы, что вы, он вдвое моложе вас,— отвел возражения Куусела.

После этого русский, хоть и не раз осторожно, чтобы не стереть грим, «промокал» платком пот со лба, уже не отставал.

Задержись в дороге минут на пять, им пришлось бы заночевать под открытым небом.

Но как они ни спешили, когда подошли к станции, уже прозвенел второй звонок.

В КУРЬЕРСКОМ ДО ЛАХТИ

Экономя общественные деньги и понося стопроцентную военную надбавку, Куусела потребовал в кассе два билета до Таммерфорса. Каллио, доплатив кондуктору разницу, должен был ехать в другом вагоне по обратному билету, отдельно, чтобы доложить, если что приключится с Куусела и Константином Петровичем.

Станционный колокол ударил третий раз, когда Куусела с билетами в руке выбежал на платформу. Константин Петрович (благо поезд ночной, и никто из пассажиров не вышел) стоял у спального вагона. Куусела махнул ему рукой,— входи, мол, и сам уже на ходу вскочил на площадку...

В вагоне было сонное царство. Проводник открыл свободное купе. В соседнем кто-то заливисто храпел...

При такой звукопроводимости Куусела не решался говорить и жестом дал понять своему спутнику, чтобы тот занял верхнюю полку, а затем пошел осматривать вагон на случай, если придется экстренно смываться.

Двери в обоих концах коридора не заперты — отлично.

Есть два свободных купе,— значит, к ним не будут сажать новых пассажиров — прекрасно.

Проводник, симпатичный парень, хоть и болтлив,— прикуривая у Куусела, уже успел сообщить, что железнодорожники готовят забастовку и что он социал-демократ. Ну что ж, это тоже неплохо.

Вернувшись в купе, он увидел, что Константин Петрович при неверном свете ночника просматривает привезенный Лююли журнал «Наш Путь».

— Спать! — шепотом посоветовал он, и его новый друг, вздохнув, захлопнул журнал и положил на сетку. Прохладные накрахмаленные простыни и мягкая постель приглашали ко сну. Но они лежали, не раздеваясь, молча думая каждый о своем.

Однако через час русский уснул, а Куусела, хоть у него и слипались веки, так и прободрствовал всю ночь. Перед Кямере в купе рядом храп прервался, сосед выходил на этой станции.

Чтобы освежиться, Куусела в Выборге пошел прогуляться по платформе.

Вставало солнце.

Половина шестого. Каарло умылся, накинул пиджак, причесал волосы, взглянул в зеркало и, убедившись, что все в порядке, разбудил Константина Петровича. Тот быстро вскочил.

И... о ужас!

То ли от вагонной духоты, то ли потому, что краски были военного времени, грим разлился на подбородок и шею, оставляя глубокие подтеки... Теперь это был уже не старый холостяк — портной Апели и не пастор Моосес Иерусалеми, а... впрочем, Куусела не находил слов для сравнения. Было бы нетрудно, накрепко закрыв дверь, разложить краски и на ходу поезда снова наложить грим... Но... с бородой ничего нельзя было сделать — пузырьки с вазелином и клеем остались в кармане у Кусгаа, а Куусела даже не знал, в каком тот вагоне и вообще успел ли вскочить в поезд.

Константин Петрович тревожно взглянул на дверь.

— Если сейчас в купе войдет самый что ни на есть захудалый шпик,— сказал он,— то обязательно арестует нас. А если кто другой — то отправит в сумасшедший дом!

— Один выход,— сказал Куусела,— снять остатки грима и выщипать остальные волосы из бороды.

— Но тогда меня узнают? — усомнился Константин Петрович.

— В Петрограде, возможно, но не здесь. Мы ведь далеко в Финляндии. Кроме того, если рядом со мной увидели бы самого Ленина — этому не поверили бы. Невероятно! Вы один из моих старых актеров. Это иное дело...

— Вы убеждены, что я сойду за артиста?..

— Абсолютно!

Если трудно смывать грим без вазелина и теплой воды, то выщипывать плотно приклеенную бороду по волоску — по-настоящему мучительно. К тому же надо было торопиться. Близко Лахти.

Когда Куусела тщательно очистил лицо спутника, тот, улучив минутку, когда в коридоре никого не было, пошел в уборную, чтобы хоть холодной водой смыть следы грима и соскоблить остатки клея со щек и подбородка.

Через много лет человек в пенсне в своих мемуарах писал, что Ленин рассказывал ему, как он поспешил от этого грима избавиться, «хотя с большим трудом». Мемуарист не объяснил, в чем заключался этот «большой труд».

Поезд подходил к Лахти. Из вагона мимо проводника вместе с Куусела вышел безбородый человек, который входил с ним в Териоках бородатым. Это проводник хорошо помнил, но, когда Куусела подмигнул ему, он ответил тем же... Ведь оба они социал-демократы.

Весело болтая по-фински, под ручку (так захотел Константин Петрович), они шли по перрону.

Впрочем, по-фински говорил только Куусела, а его спутник ограничивался смехом, который, как потом уверял Каарло, тоже звучал вполне по-фински.

— Кстати, а где Кустаа? — спохватился Куусела.— Подержи-ка, Костя,— сказал он по-фински, бросив свое пальто Константину Петровичу,— а я пойду взгляну.

С другого конца платформы навстречу ему шел Каллио, заглядывая в окна вагона. В Териоках он вскочил в предпоследний вагон уже на полном ходу.

Когда они втроем выходили из вокзала, актер приметил человека в пенсне,— тот покупал в газетном киоске «Хельсингин саномат». Куусела прошел мимо, и виду не подав.

Контора местного отделения столичной газеты «Рабочий», в которой их ждали, недалеко от вокзала. В

сущности, это однокомнатная квартира с кухней, где жил Аксель Коски — фотограф, попутно он собирал подписку на газету да изредка писал туда о лахтинских новостях.

Коски — человек с резкими, крупными чертами лица, с коротко, не по тогдашней моде подстриженными усиками — и его уже полнеющая жена Амалия поджидали гостей. К их приезду она приготовила вкусный завтрак из овощей, не потому, что хозяева вегетарианцы, а потому, что на рынке ничего другого сейчас не достать.

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры
И спросили: есть ли пиво?—

напевал, садясь за стол, Каллио.

Но пива не было.

— Давненько так вкусно я не едал,— похвалил Константин Петрович, и его похвалу не надо было переводить — оба Коски владели русским.

Амалия несколько лет работала в Питере на заводе «Айваз» и там в свое время ее принимал в партию Сантери, а по-русски говоря, Александр Шотман, который весьма ей симпатизировал и у которого, как он потом смеясь рассказывал, ее увел из-под носа Аксель Коски.

Теперь по прошествии двенадцати лет Шотман нашел ее в Лахти и устроил у них явку Ильичу, потому что человек в пенсне и был он — Сантери.

В то время как друзья в Лахти мирно уплетали завтрак, на станции Териоки только что сошедший с поезда офицер, кавалер четырех Георгиев, громко негодовал на финские порядки: бутылку пива в железнодорожных буфетах без двух бутербродов не подавали, а о крепких напитках и речи быть не могло.

— Ишь ты! Провинция Российской империи, а делают все, чтобы отгородиться. Даже форму напялил с голубыми кантами, не как у нас. Да и козырьки на фуражках не по-нашему прямые,— ворчал он, провожая взглядом проходившего по залу поездного кондуктора.— Ну, погодите, миленькие! Дайте срок, только раскассируем большевиков, тогда и вам не поздоровится!

Это был тот самый офицер, которого напутствовал вчера командующий Петроградским военным округом генерал Половцев.

...После завтрака Куусела позвонил в Хельсинки в полицейское управление и сообщил полицмейстеру Ровио:

— Говорю от Коски. Путешествие прошло удачно. Что делать дальше?..

— Оставьте «пакет» у Коски, а сами езжайте домой,— последовал короткий ответ.

Ровио не сказал, что уже знал обо всем от Шотмана.

— Кому вы звонили? — спросил Константин Петрович.

— В Хельсинки, полицмейстеру...— Куусела показалось, что его новый друг побледнел.— Успокойтесь, Константин Петрович, это ваш друг...

— Я и не беспокоюсь, мне уже приходилось встречаться с финским полицейским, без всякого предупреждения. Лет десять назад — зимой! А тут заранее известно...

Странно, как все повторяется. Десять лет назад зимой, он, также таясь от властей предержащих, нелегально уезжал из России. И тогда ему тоже помогали финны и шведы. Но в ту пору он был одним из многих, устремившихся от преследования за границу. А сейчас охотятся главным образом за ним лично. Теперь на нем сосредоточена вся ненависть буржуазии, злоба реакционного офицерства, клевета продажных борзописцев. Если бы его поймали в ту пору — самое большее года три тюрьмы или ссылки. Сейчас же, когда бушевали высоко взмывающие волны революции, когда его присутствие в гуще боя необходимо, провал грозил гибелью.

Он помнил, как в декабре седьмого года провожавший его студент Линдстрем завез по пути на остров Парайнен к заведующему кооперативной лавкой Карлу Янсону и, когда они втроем обсуждали дальнейший путь, к ним заявился заведующий местной телефонной станцией, гонимый любопытством: почему это так часто звонят из Турку и беспокоятся, прибыл ли в Парайнен Линдстрем.

Полицейский-констебль заведовал коммутатором по совместительству. У Линдстрема мелькнула озорная мысль: а не сделать ли его сообщником? И он попросил полицейского достать лошадь, чтобы продолжить путешествие в Лиллмяле.

Констебль охотно согласился.

Хуже всего то, что он грешил словоохотливостью.

Приведя путников к себе, полицейский (он был на этот раз в штатском) предложил им чай и грог. Ленин предпочел чай. После второго стакана грога хозяин поинтересовался, знает ли русский, у кого он в гостях?

— Я — полицейский!

На мгновение Владимир Ильич оторопел. Неужели же его предали? Неужели путешествие на запад придется сменить этапом на восток?.. Но хозяин, взвесив на руке свой полицейский значок, горделиво сказал:

— До тех пор пока я могу предъявить это, вам не грозит никакая опасность!.. Я кое о чем догадываюсь.

...Попросив еще раз извинения за происшествие с гномом, Куусела и Каллио, уверенные, что никто не заметил, как они пришли, простились с радушными хозяевами.

Если бы Куусела знал, что это не так, он не уснул бы беспечно, положив голову на плечо приятеля, в залитом солнцем бесплацкартном переполненном вагоне.

Да, они ошиблись. Алма-Мария Вирта, жившая во втором этаже этого дома, увидела в окно, что к Коски пришли трое людей (Лахти тогда был настолько малолюдным городом, что завсегдатаев отделения рабочей газеты Алма-Мария, сама активная социал-демократка, почти всех знала в лицо), а ушли двое.

— Заглянем к соседям, Ялмари,— сказала она мужу.

А так как они были не только соседями, но и друзьями и единомышленниками, то часто случалось, что вечерком, уложив ребятишек спать, Вирты спускались вниз к Коски.

Так произошло и теперь.

У Коски был гость. Человек средних лет, ниже среднего роста, как определил Ялмари, сам очень высокий. Видно было, что незнакомец чувствовал себя как дома.

Аксель сразу пригласил Ялмари в комнату, где мужчины затеяли долгий разговор; Амалия же, готовившая ужин, оставила Алму-Марию у себя на кухне. Узнав, что гость останется ночевать, Алма-Мария спросила:

— А кто он?..

Приложив палец к губам, хозяйка прошептала:

— Секрет!.. Политический... Из Сибири...— и затем уже громче: — может, Антонов-Овсеенко, может, Дыбенко. А вдруг и сам Ленин. Только что-то не похож... Но... ты понимаешь...

Да, Алма-Мария хорошо понимала, что это секрет, и даже предложила:

— Может, у тебя не найдется свежей простыни или подушки, возьми у меня. Вчера только закончила большую стирку.

Когда они возвращались домой, Ялмари сказал жене:

— Если он так же хорошо разбирается в русских делах, как в финских, то это большой человек!

В 1924 году Ялмари Вирта был избран депутатом финского сейма — одним из восемнадцати коммунистов-депутатов. Заслужив доверие рабочих, он дважды переизбирался, а в тридцатом году, в год разгула реакции, поджогов, погромов и бесчинств, творимых фашистами-лапуасцами, выступил в сейме с обличительной речью.

— Он знал,— вспоминает теперь его восьмидесятисемилетняя, но все еще бодрая вдова Алма-Мария (сейчас, когда пишутся эти строки, она живет у своей внучки в Эстонии, в Раквере),— что такое выступление неминуемо приведет его за решетку, но пошел на это. Вероятно, в тот трудный час он вспоминал свою встречу с Лениным!

Тюрьмы тогда Ялмари Вирта миновал — ему помогли перебраться в Советский Союз, куда вскоре приехала и вся семья.

Меня с Ялмари познакомил в 1934 году Эмиль Кальске, бывший рабочий с «Айваза» — тот самый, у которого Ленин провел сутки в Удельной, перед тем как на своем паровозе Хуго Ялава перебросил его в Териоки.

Это было в Кондопоге, где Кальске управлял делами целлюлозно-бумажного комбината, а Ялмари Вирта, отличный оратор и организатор, был председателем городского Совета.

— Ты его легко узнаешь на улице,— предупреждал меня Кальске,— он единственный, кто здесь носит шляпу.

Я внимательно записывал у Вирты все, что касалось планов развития Кондопоги, и, к сожалению, не расспросил, о чем так оживленно и долго беседовали они у Коски с Лениным в тот вечер в августе семнадцатого года. Не сделал этого потому, что уговаривал написать обо всем его самого.

Чтобы больше не возвращаться в Лахти, скажу, что не прошло и года, как Аксель Коски после поражения

финской рабочей революции был брошен в концлагерь, приговорен к смертной казни, замененной долголетним тюремным заключением.

В те тяжкие дни он, зная уже о том, кто в августе семнадцатого был его гостем, не мог об этом даже и обмолвиться.

Амалия, эта веселая, добродушная женщина, перемогалась как умела. Тойни Мяккеля, вдова Тойво Антикайнена, рассказывала мне, что после того, как установились дипломатические отношения между Финляндией и Страной Советов, Амалия послала Ленину письмо о своем положении и получила ответ. И когда Акселя освободили из тюрьмы, но не давали нигде работы, это письмо помогло ему: он был принят на должность помзавхоза в советское посольство, и семья переехала в Хельсинки.

...Но грядущие годы еще таились во мгле, и когда Каллио разбудил своего друга в Хельсинки, стрелки часов показывали шесть вечера...

У выхода из вокзала, у гранитных гигантов с фонарями в руках, их встретили Ровио и человек в пенсне, которым друзья и рассказали обо всем, что с ними произошло за прошедшие сутки. Правда, Куусела несколько смягчил «историю» с гримом, все детали которого Шотман и Ровио узнали после от самого пострадавшего.

Шотман купил билет на пригородный поезд в Мальми, а Каарло и Кустаа поспешили в Рабочий дом.

Репетиция «Помолвки», назначенная на семь вечера, состоялась...

Но для того чтобы понять, почему так заинтересован был хельсинкский полицмейстер поездкой Куусела в Териоки и почему человек в пенсне, имя которого теперь известно, уезжал на пригородном поезде в Мальми, придется вернуть этот рассказ на четыре недели назад — из августа в июль, в знаменитый ныне шалаш на берегу искусственного озера, получившего наименование «Разлив».

НОЧЬ В РАЗЛИВЕ

Высоко над крышами городских зданий, на просторной Сенатской площади, вздымает к небу голубые, усеянные серебряными звездами купола воздвигнутый на крутой скале кафедральный лютеранский собор.

Чтобы достичь его подножия, надо подняться по сорока пяти широчайшим гранитным ступеням. С весны семнадцатого года ступени эти во время бурных демонстраций и многолюдных митингов, захлестывающих столицу Суоми, стали гранитными трибунами. Ораторов, выступавших отсюда, толпа видела издалека, и речи их разносились слышнее.

Так было и в тот жаркий июльский день, когда на площади собралось двенадцать тысяч моряков Балтийского флота.

В толпе на ступенях стоял и Александр Шотман. Центральный Комитет партии срочно разослал во все концы страны виднейших большевиков, чтобы они разъяснили смысл произошедших в Питере событий — «июльских дней».

На долю Шотмана выпал Гельсингфорс.

Вглядываясь в толпу сгрудившихся на площади моряков, он читал на ленточках бескозырок названия боевых кораблей. Тут были матросы с линкоров «Севастополь» и «Республика», «Гангут» и «Петропавловск», «Слава», с крейсеров «Россия», «Диана» и «Громобой», с яхты «Полярная звезда», военного транспорта «Виола». Экипажи этих судов (база которых была здесь, на северном побережье Финского залива) шли за большевиками.

Но среди ленточек пестрели и другие названия крейсеров: «Адмирал Макаров», «Олег», «Богатырь» и нескольких подводных лодок и миноносцев, прибывших второго июля из Ревеля по приказу Временного правительства, чтобы противодействовать большевикам.

— Дыбенко! Даешь свободу Дыбенко! — выкрикивал один из ораторов, размахивая бескозыркой.— Где миноносец «Громящий»? — вопрошал он.

На «Громящем» пятого июля балтийцы послали в Питер делегацию во главе с председателем Центробалта матросом Дыбенко, чтобы вручить соглашательскому ВЦИКу их требование:

— Вся власть Советам!

В Питере делегация была немедленно арестована, избита юнкерами и заключена в «Кресты».

— Нас предали! — истошно вопил матрос с «Полярной звезды».— Призывали к восстанию, а на деле сварганили крестный ход какой-то с красными хоругвями!

Площадь встречала его речь шумом, волнами, пробегавшими по толпе.

— Послушайте ревельцев,— выкликал следующий, на бескозырке которого сверкало «Адмирал Макаров».— Большевики предают революцию! Они раздувают братоубийственную войну, и все это по указке вильгельмовского генерального штаба!

Шотман снял пенсне, положил в карман и сделал шаг вперед. Перед ним теперь бушевало безликое бушлатное море.

— Четвертого июля,— громко сказал он,— Центробалт перехватил две шифрованные телеграммы командующему Балтийским флотом Вердеревскому от помощника морского министра Дудорова. В первой телеграмме приказ: немедленно послать в Петроград миноносцы «Орфей» и «Забияка» для борьбы с революцией.

Толпа затихала, вслушиваясь в его простые, понятные каждому слова, касавшиеся их всех.

— Так кто же первый поднял оружие против братьев, на радость германским генералам? — спросил он и продолжал в наступившей тишине: — Вторая шифровка требует не допускать прихода из Гельсингфорса в Кронштадт революционных кораблей. А если пойдут — топить их подводными лодками. Подводным же лодкам велено заблаговременно занять позиции. Телеграммы опубликованы в вашей газете «Волна». Это вас, товарищи с «Гангута», с «Республики», «Громобоя», «Дианы», по прихоти господина Дудорова должны были потопить на радость российской буржуазии. Неужели же наши друзья с «Адмирала Макарова» или «Олега» одобряют такие распоряжения, которые и Николай не осмеливался давать? И это в ответ на наш призыв к мирной демонстрации! Вот какой крестный ход с красными хоругвями они собирались топить. В Питере стреляли по рабочим. А вчера Керенский предъявил ультиматум. Он уже известен вам. Немедленно разогнать Центробалт — этот свободно избранный орган матросов и схватить руководителей! Командам линкоров «Слава», «Республика», «Петропавловск» приказали в двадцать четыре часа выдать «зачинщиков» и отправить для следствия в Петроград Неужели же команды «Петропавловска», «Славы», «Республики» обесславят себя, втопчут в грязь свою революционную честь!

— Нет!
— Нет!
— Просчитаются идолы!
— К ногтю Дудорова! Под суд гниду! — раздавались выкрики из глубин бушлатного моря.
— Я уполномочен,— продолжал Шотман,— рассказать вам, что на самом деле происходило в эти дни в Питере...
И если в начале его речи из задних рядов слышалось «Долой! Немецкий шпион!», то когда он, изрядно охрипнув, закончил ее, громогласное «Да здравствуют большевики! Ура!» и снова «Ур-ра! Ур-ра!» — загремело над площадью так, что в зданиях университета и сената звенели стекла и чайки, мирно бродившие по Рыбному рынку и плавающие у набережной, вспугнутой шумной стаей взметнулись в воздух.
...Через день Шотман вернулся в Питер.
Первым, кого он встретил в Таврическом дворце, в Совете рабочих депутатов, был Орджоникидзе.
— Слушай, дружище,— Серго отвел Шотмана в сторону, за колонну,— тебе есть поручение от Центрального Комитета. Переправить Старика в безопасное место. В Финляндию.
Выбор был не случайный. Давний друг Ленина, делегат двух поворотных в истории партии съездов: Второго и готовящегося Шестого — Александр Васильевич Шотман летом семнадцатого года был членом Петербургского комитета и уполномоченным ЦК по связи с финляндскими социал-демократами.
На другой вечер по Приморской железной дороге он выехал на станцию Разлив.

* * *

Летом военного шестнадцатого года наша семья снимала дачу между Тарховкой и Разливом. Здесь в дни регаты я дежурил с другими мальчишками у флагштока Тарховского яхт-клуба и по сигналу поднимал на мачту бечевку с разноцветными флажками, когда к финишу, полня ветром крутобокие паруса, подходили яхты-победительницы.

Топкие, вязкие берега озера были изучены нами досконально, когда босиком пестрой оравой мы вышагивали версты по прибрежному казенному сосновому лесу и

болотистым полянам, продирались через чапыжник, играя в войну, в «казаки-разбойники», а затем собирали гонобобель, чернику, морошку, удили рыбу, варили на костре уху, бросая в котелок вдобавок к рыбной мелочи янтарные кубики бульона «магги», и при этом норовили сесть у костра с подветренной стороны, чтобы дым отгонял назойливое комарье.

Мы видели, как на полянах после трудового дня и до вечерней зари взжикали косами рабочие из Сестрорецка. На других лугах уже взметены были богатырские шлемы стогов и у низеньких, в полроста, шалашей кое-где курились дымки костров.

Когда, собирая материал для романа о финской рабочей революции, я снова побывал в местах своего детства и познакомился с человеком, которому Центральный Комитет партии в семнадцатом году доверил переезд Ильича в Финляндию и его нелегальную жизнь там, тропки к шалашу у топкого берега Разлива были уже пройдены тысячами людей и стали торной дорогой, стог преобразился в серый гранит памятника, воздвигнутого сестрорецкими рабочими к десятилетию Октября.

Мы познакомились с Шотманом в поезде, по дороге в Петрозаводск на празднование столетия первого издания «Калевалы». Он был прекрасный рассказчик, с неугасимым чувством юмора. Слушая его рассказы о финской революции и в Петрозаводске, и у него дома в Москве, я не упускал случая узнать что-нибудь о времени, когда он выполнял то ответственнейшее поручение ЦК.

— Но обо всем этом я уже написал вот здесь! — отшучивался он, делая дарственную надпись на книжке «Как из искры возгорелось пламя».

Воспоминания Шотмана, вышедшие в свет незадолго до нашего знакомства, я, конечно, уже читал.

— Да, но о десятках встреч, о трех месяцах — всего страниц шесть-семь.

— Как в резолюции? — засмеялся он.— Не стесняйтесь, режьте напрямик... Я знаю, писака из меня никакой! Лучше расспрашивайте. Что помню, расскажу. С одним условием — дайте потом взглянуть. А то ведь память иногда подводит воспоминателей...

Вот, к примеру, Ровио приписал мне прозорливость, какой я, к сожалению, не обладаю. Будто в августе семнадцатого года я уверял и его, и Ленина, что, мол, не пройдет и четырех месяцев, как Ильич станет премьер-министром. А я вовсе не был так прозорлив. Это перед поездкой в Разлив я зашел в комитет, и там Лашевич, между прочим, сказал мне: «Вот увидите, Ленин в сентябре будет премьер-министром!..»

У стога сена, сообщая Ильичу петербургские новости, я передал и слова Лашевича. И Ленин с легкой усмешкой ответил:

— Ну что ж, в этом нет ничего удивительного...

От такого ответа я, признаюсь, даже опешил. Так что не мог я убеждать его в этом потом в Хельсинки. Что сделал, то сделал, а чужой славы мне не надо! — решительно сказал Шотман.— Тем более что Лашевич не ограничился одним только предвидением, а сделал все, что было в его силах, чтобы превратить это в свершившийся факт. В ночь на двадцать пятое октября он командовал кексгольмцами и матросами, занявшими телеграф, почтамт и государственный банк.

Здесь Ровио,— снова повторил Шотман,— подвела память.

Обращаясь к старым записным книжкам, воскрешая в памяти и то, что не успел тогда занести в них, я не собираюсь пересказывать то, что не раз было опубликовано в мемуарах, а припомню свои неоднократные беседы с Александром Васильевичем, дополняя их подробностями, которые стали известны мне из встреч и с другими участниками описываемых событий.

* * *

— О чем же вы говорили с Лениным в тот первый вечер у шалаша, пока не улеглись спать в стоге? У вас сказано только, что беседа была долгой.

— О том, как готовится Шестой съезд партии.

Но об этом Шотман мог рассказать не больше, чем уже побывавшие тут Серго и Коба. Зато о положении в Финляндии, о своей миссии он сообщал во всех подробностях и как свидетельство ее успеха вынул из кармана летнего пиджака смятую листовку и, расправив, показал.

Это было воззвание ЦК «К населению Петрограда! К рабочим! Солдатам! Ко всем честным гражданам!»,

изданное Гельсингфорсским комитетом партии в день матросского митинга на Сенатской площади. Несколько сот экземпляров его Шотман привез из Финляндии.

Воззвание энергично протестовало против травли Ленина и требовало немедля провести расследование и отдать под суд погромщиков и наемных клеветников.

— То, что сейчас трудно издать в Питере, можно еще печатать в Гельсингфорсе и в Кронштадте,— заметил Владимир Ильич.

Выслушав рассказ о матросском митинге на Сенатской площади, Ленин спросил:

— Вы не запамятовали, с чем приезжали ко мне в Париж пять лет назад? (Как будто Шотман мог об этом забыть!) Готовили восстание флота в Свеаборге, Гельсингфорсе! Тогда это было несвоевременно. Массы не подготовлены. Даже если бы не затесался провокатор, оно обречено было на поражение. А теперь с успехом доделаем то, о чем вы тогда мечтали! И с каждым днем все больше народа, вот увидите, будет с нами. Матросы-балтийцы! Наши солдаты в Финляндии! Работать среди них надо неустанно. Каким замечательным, боевым резервом революции, Питеру станут они в решающий час восстания!..

И Шотман удивился.

Ведь совсем недавно, в начале июля, не оправившемуся еще от недомогания Ленину, срочно приехавшему в Питер с дачи Бонч-Бруевича в Финляндии, немало труда и нервов стоило убедить даже многих близких товарищей в том, что вооруженную демонстрацию рабочих и солдат надо провести мирно, организованно, что еще не время восстанию! И вот теперь, когда не прошло и двух недель, когда идущие за большевиками полки питерского гарнизона разоружены, а партия полулегальна и сам он должен скрываться,— Владимир Ильич говорит о восстании и с уверенностью предсказывает, что через три-четыре месяца оно победит!

Шотман участвовал и в бурном совещании в ночь с четвертого на пятое июля, когда Ленин призывал объявить демонстрацию законченной и мирно разойтись по заводам, казармам и кораблям, разъяснял, что решение отказаться от вооруженной борьбы было правильным, что восстание было бы потоплено в крови русскими кавеньяками, только того и ждавшими. Столица оказалась

бы одинокой, провинция и фронт ее не поддержали бы. И он вспомнил, что уже после того, как заседание было закрыто, к Ленину подошел Эйно Рахья:

— Я лично с вами, Владимир Ильич, не согласен, я считаю, что нужно выступить и драться, что сил у нас хватит!

— Успеете еще подраться, товарищ Рахья, не торопитесь! — похлопал Ленин несогласного по плечу.

— Я тогда думал,— сказал Шотман,— что правы вы, а теперь выходит, что Рахья.

Шотману хотелось, чтобы его собеседник высказался полностью. А Ленин будто только и ждал вопроса.

— Это было когда?.. В начале июля! За это время все переменилось. История совершила крутой поворот... Лозунги, бывшие вчера правильными, сегодня потеряли смысл! История перевернула страницу своей книги. И тот, кто не видит этого, кто по-прежнему твердит вызубренные по предыдущей странице зады,— становится тормозом. До сих пор мы рассчитывали на мирное развитие нашей революции. Оно было возможно, пока соблюдались хоть какие-то правила демократии. Но после июльских событий власть фактически перешла в руки военной диктатуры, которая еще пока прикрывается революционными словами. Меньшевики и эсеры, узаконив разоружение рабочих и революционных полков, сами лишили себя всякой реальной власти. Они стали пустыми говорунами. Надежды на мирное развитие исчезли. Либо окончательная победа военной диктатуры, либо победа вооруженного восстания рабочих. А она возможна. И вот почему.

Ленин развивал мысли, которые стали вскоре основой поворотных решений Шестого съезда.

— Мне повезло,— рассказывал Шотман,— я, вероятно, был одним из первых, перед кем Ленин во всей убедительной последовательности раскрывал тогда свои мысли о дальнейших путях революции...

А затем Шотман повел речь о том, что ему поручено переправить Ильича в Финляндию, в укромное, безопасное убежище...

Однако Ленин решительно отказывался уезжать подальше от Питера, пока не проведут Шестой съезд. Неудобства жизни в Разливе заботили его меньше, чем те,

что возникнут, если он не сможет каждодневно следить за работой.

— И после съезда мне нужно быть там,— настаивал Ленин,— где можно доставать все питерские газеты, ежедневно получать и отправлять почту... И еще одно непременное условие: если уж нельзя поселиться у Карла Вийка, то иметь с ним постоянную налаженную связь, видеться.

С Карлом Вийком, финским шведом, человеком со взъерошенной шевелюрой и маленьким клочком бородки, словно приклеенной к нижней губе, Ленин познакомился семь лет назад на Восьмом международном социалистическом конгрессе. Это было в Копенгагене, в большом зале Дворца концертов. Девятьсот делегатов из тридцати трех стран. Просторные хоры ломились от публики.

Владимир Ильич чуть не отбил себе ладони, рукоплеща страстной речи этого худенького молодого социалиста, который протестовал против похода на свободы Суоми, завоеванные ею в 1905 году, против разгрома финской конституции, учиненного столыпинской Россией.

— Царизм — это подавление всех трудящихся, всех думающих и чувствующих людей,— так закончил Вийк свое выступление.— Царизм — это тюрьма, подземный карцер, Сибирь. Каждая победа царизма — это поражение цивилизации. Царизм — это смерть. И поэтому мы, борцы за жизнь, должны сопротивляться царизму до конца!

Конгресс бурно рукоплескал ему. Овация эта была как бы ответом «идеологу» правящей шайки великодержавных шовинистов — Пуришкевичу, который после принятия Государственной думой Столыпинского закона выкрикнул: «Finita Finlandiae!» — «Конец Финляндии!»

Затем конгресс единогласно принял резолюцию, клеймящую произвол царского правительства, резолюцию, в которой обязывал социалистические партии всех стран отстаивать свободу Финляндии.

Аплодировали речи Вийка и резолюции и сидящие рядом с Лениным Плеханов и эсер Виктор Чернов,— который затем стал министром Временного правительства, распустившего, как распускало и царское, неугодный ему финский сейм.

В Копенгагене между Вийком и Лениным в кулуарах не раз возникали откровенные дружеские беседы.

Через семь лет старое знакомство возобновилось и окрепло в революционном Петрограде, куда Вийк, уже депутат парламента, приезжал дважды. В конце апреля его вместе с другим депутатом, отлично говорившим по-русски, Эвертом Хуттуненом, делегировала социал-демократическая фракция сейма, чтобы ознакомить русских социалистов с финскими делами и узнать отношение к Суоми. Делегация вела переговоры с меньшевиками, с Плехановым, с эсерами, с Лениным и убедилась, что их даже очень урезанные требования поддержат только большевики.

Больше того, Ленин говорил уже о свободе отделения, буде того пожелает финский народ, в то время как они вели речь о широкой внутренней автономии.

В отчете делегации, написанном Эвертом Хуттуненом, я прочитал, что, когда они пришли к Плеханову, тот «искрил сердечностью», обещал Финляндии право на самоопределение и независимость.

Но через два дня, когда делегаты вновь посетили «этого почтенного старика», он был подавлен и встретил их по-другому. Он, мол, совещался с министрами-социалистами и теперь советовал финнам отказаться от своих требований. А когда Хуттунен заметил, что Польше уже обещана независимость, Плеханов стал объяснять, что «обещание Польше носило теоретический характер, поскольку Польша целиком была оккупирована неприятелем».

Вот тогда-то делегаты познали разницу между теорией Плеханова и практикой. После их отъезда, словно вдогонку, «Правда» опубликовала статью Ленина «Россия и Финляндия». Сразу же переведенная петроградским корреспондентом «Туомиес» Торниайненом, она появилась лишь в одной этой газете, и многие финны так и не узнали тогда, что в России только большевики настаивали на предоставлении Финляндии независимости.

В середине июня очередной съезд финских социал-демократов направил делегацию на первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, в которую входил и Вийк.

В повестке дня съезда стоял и национальный вопрос. Были предложены две резолюции. Одна откладывала кардинальное решение вопроса до неопределенного послевоенного времени, другая, отредактированная Лениным, утверждала, что «Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, признающий право всех народов на самоопределение, требует немедленного осуществления этого права, вплоть до отделения по отношению к Финляндии».

Предложение это было, конечно, отвергнуто большинством, состоявшим из меньшевиков и эсеров, которые, как было сказано в отчете делегации, «высказывают взгляды, мало чем отличающиеся от взглядов кадетов».

И на съезде в Таврическом дворце Вийк встретился и успел поговорить с Лениным.

Однако в тот вечер в Разливе у стога сена, настаивая на встречах с Вийком, Владимир Ильич собирался посвятить его в дела, не имеющие прямого отношения к Суоми...

— К Вийку нельзя. Он сейчас в Финляндии слишком уж известный человек,— запротестовал Шотман.— К тому же он живет в пятнадцати километрах от столицы, на зимней даче, в Мальми, и все питерские газеты и почту пришлось бы ежедневно доставлять из Хельсинки с опозданием.

Тогда, желая быть поближе к полкам с книгами, Владимир Ильич вспомнил о высоколобом Владимире Мартыновиче Смирнове, полурусском, полушведе, лекторе и библиотекаре Гельсингфорсского университета. У него в доме № 19 по Елисаветинской улице он в свое время не раз ночевал, у него же встречался с Максимом Горьким и познакомился с Юрьё Сирола.

Но в этой квартире тоже нельзя было остановиться. После разгрома газеты «Волна», деятельнейшим сотрудником которой он был, Смирнов, спасаясь от ареста, на некоторое время скрылся из столицы. На письменном столе так и осталась раскрытой верстка, присланная из Питера горьковским издательством «Парус». Это был «Сборник финляндской литературы», который он составлял и для которого приготовил подробнейшую библиографию.

— Тем, что Смирнов отстранился ото всех дел, пожалуй, довольна только его молодая жена Карин. В лесной

глуши наконец-то он сможет посвятить ей все свое время,— сказал Шотман.

— Он женился? — заинтересовался Владимир Ильич, знавший до сих пор Смирнова как закоренелого холостяка.

— Да. И подарил шведской литературе талантливую писательницу с русской фамилией — Карин Смирнову.

Здесь Шотман говорил с чужих слов. Вышедшие за год до этого один за другим два романа Карин Смирновой «Весенний порыв» и «Под ответственностью», которые пользовались большой популярностью, он не читал.

— Карин — старшая дочь Августа Стриндберга.

— Значит, большевики породнились с самим Августом Стриндбергом! Неплохое родство! — засмеялся Ленин, и разговор о квартире Смирнова заглох.

Выбор места на этот раз — не то, что в 1905 году,— был ограничен. Если до свержения царя каждый русский революционер и даже просто человек, находившийся в оппозиции к самодержавию (финны не особенно разбирались в партийной принадлежности), мог рассчитывать на поддержку крестьянина и коммерсанта, профессора и рабочего, то после революции, особенно после избирательных побед социалистов, внутри финского общества произошло размежевание. Боясь «своих» социал-демократов, многие финские буржуа с надеждой взирали на возможность союза с русской буржуазией, надеясь на ее всяческую, вплоть до военной, поддержку в борьбе с пролетариатом.

Теперь большевики могли рассчитывать только на финских рабочих.

— С какими финнами-рабочими вы знакомы?..

— С делегатом Второго съезда партии Бергом, он же Горский. Про него писала и Надежда Константиновна 8-й конно-артиллерийской батарее Действующей армии,— хитро взглянув на собеседника, ответил Ленин.

Речь шла о «Страничке из истории партии» — о статье Крупской, отредактированной Лениным и опубликованной 13 мая в «Солдатской правде», где, между прочим, говорилось:

«Из 50 членов этого съезда было лишь трое рабочих, все они были тогда большевиками: один из них, Шотман, петербургский рабочий, и теперь принимает самое актив-

ное участие в деятельности партии и является видным ее членом»...

Александр Васильевич тогда этой статьи не знал, из сибирской ссылки он вернулся позже (задержался, создавая в Томске революционную власть), но по перечисленным Лениным его псевдонимам понял, о ком идет речь.

— Да, но этот финн сейчас живет в Питере, на Николаевской, и, вероятно, ему самому придется уйти в подполье...

— Есть у меня еще более давний знакомый, друг по сибирской ссылке, шушенец Оскар Александрович Энгберг, тот самый, что вместе с нами подписал в селе Ермаковском «Протест российских социал-демократов» против «Кредо» Кусковой и Прокоповича.— И Ленин вспомнил, как однажды, вернувшись с сеттер-гордоном Женькой поздно вечером домой после охоты — три утки у пояса,— он удивился, увидев, что окна его комнаты ярко освещены...

— Что такое там? — спросил он у стоявшего на крыльце хозяина Зырянова.

— А это Оскар Александрович буянит, нетрезвый! Все ваши книги и бумаги разбросал!

Рассерженный до предела Владимир Ильич взбежал по ступенькам на крыльцо, но из избы навстречу ему поспешил...— нет, не Энгберг (хозяин пошутил),— а Надя, приехавшая еще днем.

— Между прочим,— улыбнулся Ленин,— Оскар был шафером на нашей свадьбе.

Вспомнилось ему, как долгими часами занималась с Оскаром Надя, переводя непонятные немецкие слова из «Коммунистического манифеста» и читая страницы из «Капитала». Вспомнилось и то, как, уезжая в Красноярск, он уговаривал этого молодого путиловца приходить к ним ночевать, чтобы Наде с матерью не тревожно было оставаться одним.

Вспыльчивый, самолюбивый, задиристый и верный в дружбе парень так прижился в их семье, что, если день-другой он не появлялся, Ульяновы ощущали, что им чего-то не хватает.

— Во-первых, Оскар Энгберг не финн, а швед,— отозвался Шотман,— во-вторых, я его тоже знаю, в пятом году он создал русскую секцию в Хельсинкской со-

циал-демократической организации... В-третьих, он никогда не говорил мне, что был вместе с вами в Сибири, а в-четвертых, в-пятых, сейчас он человек многосемейный, обосновался где-то под столицей, километрах в двадцати, и уже по одному этому его кандидатура отпадает...

Перебрав еще несколько имен, они улеглись в «спальне» (так называлось углубление в стоге), зарывшись в сено и так и не решив, у кого же поселиться в Финляндии.

Хотя Ленин и настаивал, чтобы они оба укрылись его зимним пальто, в котором он встретил Шотмана, тот не менее решительно отказывался и изрядно продрог в летнем костюме, ругая себя, что не оделся теплее...

Утром, когда еще не совсем рассеялся болотный туман, Шотмана вдруг осенило. Ну, конечно же, лучше всего у Ровио, старого его питерского друга...

В пятом году он сам принимал этого восемнадцатилетнего токаря по металлу в партию. После двух ссылок и, соответственно, двух побегов Ровио обосновался у себя на родине в Хельсинки. Несколько лет подряд его избирали сначала секретарем столичной организации Социал-демократического союза молодежи, а потом и секретарем ЦК этого союза. Теперь, после революции, Хельсинкский сейм рабочих организаций назначил его заместителем полицмейстера столицы. Правда, полицию срочно переименовали в милицию.

Опираясь на организованный им профсоюз милиционеров, Ровио действовал так решительно и напористо, что начальник полиции Ворс-Шредер, после неудавшейся попытки уволить вновь принятых в милицию рабочих, устранился ото всех дел и без боя уступил поле брани своему заместителю — «красному полицмейстеру», как его называли рабочие.

В том, что Ровио согласится принять такого постояльца, Шотман не сомневался. И с юмором, не оставлявшим его в самых рискованных передрягах, представил, как ужаснутся питерские товарищи, когда он объявит, что оставил Ленина в Хельсинки под опекой полицмейстера, и как будут смеяться, когда объяснит им, кто это.

Отряхнув костюм от сенной трухи, Шотман попрощался и отправился на станцию.

Уже в поезде из Разлива в Питер он решил взять в

помощники самого подходящего для такого дела человека, давнего своего приятеля Эйно Рахья, благо тот, презрев опасность — приказ об аресте, вернулся на днях из Финляндии, куда скрылся после июльских событий.

Керенский приказал тогда разогнать отряд финнов-красногвардейцев на Выборгской стороне и арестовать его начальника «головореза» Эйно Рахья за операцию «Кресты».

Незадолго перед июльскими днями стало известно, что в «Крестах», где сидели арестованные в феврале генералы, жандармы и прочая, по словам Рахья, «старорежимная контра», уцелевшие там еще с прежних времен надзиратели собираются их освободить. Выборгский райком поручил отряду Рахья занять «Кресты» и воспрепятствовать сему.

Эйно со своим отрядом проник в тюрьму и первым делом взял под стражу надзирателей. В главном корпусе все заключенные свободно разгуливали по коридорам и даже проводили какие-то собрания. Рахья приказал им разойтись, но они и слушать его не пожелали.

— Тогда я скомандовал по-фински «целься»,— рассказывал Эйно,— и когда красногвардейцы взяли ружья наизготовку, контрики поняли, что со мной шутки плохи, и разбежались по камерам, а я вслед им, уже как полагается, по-русски, добавил, что каждого, кто высунет нос, уложу на месте. Потом обошел камеры вместе с Эвертом Парвиайненом и убедился: все подготовлено, чтобы эту бражку выпустить. У многих арестантов были даже ключи.

— Если хоть один сбежит, мы расправимся с вами,— пообещал я надзирателям.

После этого отряд покинул тюрьму. Рахья расставил вокруг забора охрану и дал строгий наказ глядеть в оба.

Ночью несколько заключенных попытались перелезть через забор. Красногвардейцы подняли стрельбу и предотвратили побег. Через день отряд был расформирован. Но Рахья арестовать не удалось. Он бежал в Куопио...

Шотман знал о напористости Рахья, его храбрости и преданности (он сам принимал его в партию еще в 1903 году). Лучшего помощника нельзя было и желать. И Александр Васильевич мог сейчас легко отыскать Эйно. По приезде из Финляндии тот устроился на аэропланном заводе Ланского. По старому знакомству директор

рекомендовал его хозяину как незаменимого специалиста.

Но пока Шотман разыскивает Рахья и вместе с ним разведывает, можно ли пешим порядком перейти границу или нужно перевезти Ленина, сговаривается с машинистом Ялавой и едет в Гельсингфорс к Вийку и Ровио,— у меня есть время, отступив в прошлое и заглянув вперед, сказать несколько слов о том финне-рабочем, имя которого в разговоре с Шотманом первым назвал Ленин,— об Оскаре Энгберге.

СЛОВО ОБ ОСКАРЕ ЭНГБЕРГЕ

Зимой 1945 года, когда на западных фронтах еще гремела битва, Финляндия уже была выведена из войны. Прикомандированный к Союзной Контрольной комиссии в Хельсинки, я познакомился там с только что освобожденной из женской тюрьмы в Хямялинна (по условиям перемирия) Херттой Куусинен — дочерью Отто Вильгельмовича.

Эта разностороннне одаренная женщина была одним из лидеров вышедшей из подполья Коммунистической партии Финляндии и политическим редактором газеты «Вапаа сана», в которой и я принял посильное участие под псевдонимом «Друг народа». В те дни мы с Херттой встречались довольно часто.

— Знаете,— как-то сказала она,— старик Оскар Энгберг, который разделял сибирскую ссылку с Лениным, живет неподалеку от Хельсинки, в Корсо. Он охотно вспоминает те времена. Может, вам интересно повидаться с ним?

А через несколько дней писательница Кайса-Мария Рюдберг, депутат сейма из так называемой «шестерки», лишенной депутатской неприкосновенности и брошенной в тюрьму за выступление против войны с Советским Союзом, представила меня на концерте ансамбля Моисеева в Национальном театре седовласому, высокому, как сказала она, «величественному», Оскару Энгбергу.

— Я уже про вас слышал,— сказал я ему тогда.— Например, о том, как однажды, охотясь вместе с Ильичем, вы подстрелили глаз Женьке и все думали, что собака ослепнет, а сеттер взял да и выжил. О том, как вы на речке расчистили каток вместе с Лениным и не в пример

ему, раскатавшемуся как заправский конькобежец, падали без конца. Как страдали от боли в животе, так что даже пришлось отправиться в Минусинск и лечь в больницу. И о том, наконец, что Ульяновы к вам так привыкли, что, если почему-либо в какой-то день вы не являлись, им сильно не хватало вас...

— Все правда! Я и после не стал конькобежцем. Но откуда вы это знаете? — удивился Энгберг.— Крупская вам рассказывала? Ведь в книге «Воспоминаний» ничего такого нет.

— Вычитал из писем Ленина и Крупской к родным...

— А там не сказано, как они заботились о моей не только духовной пище и что благодаря Ленину я в Шушенском жил довольно сносно? Он с самого начала помог мне устроиться в избе Сосипатыча, наискосок от него, а потом разъяснил, что я как рабочий-путиловец имею право на «ссыльное жалованье». Он же составил заявление, я подписал, и мне назначили пособие — 8 рублей в месяц. Этого хватало. Пять рублей за комнату и питание, а три на все прочее. Правда, сахар надо было прикупать. Ведь если у мужичка и был сахар, то лишь «голова» — десятифунтовая глыба конусом. Целую такую «голову» ставили на стол, и каждый от нее отгрызал кусочек. Подрабатывать я стал тоже благодаря Владимиру Ильичу.

Оказывается, еще до приезда Крупской Ленин написал письмо родителям Оскара, чтобы они выслали ему с оказией ювелирные инструменты. А «оказией»-то и была Надежда Константиновна.

— Получив их, я смог чинить здешним обывателям и крестьянам серебряные кольца, серьги. Ведь я работал у ювелира до Путиловского. И Ленин считал, что я совершенно прав, отказываясь ремонтировать самовары, чтобы не лишать заработка бродячих лудильщиков. Зато скептически отнесся к тому, что я бесплатно посеребрил всю запущенную утварь сельской церкви. Не мог же я рассказать, что поставил попу условие: отказаться от притязаний на ту самую квартиру, на которую метил Владимир Ильич! Есть обо всем этом в письмах?

Намек на то, что шушенский священник претендовал на ту же комнату, что и Ленин, есть, но о других подробностях жизни в ссылке, рассказанных Энгбергом, действительно, не сказано. Правда, около семидесяти писем к матери из Шушенского (а писал их Владимир Ильич

каждое воскресенье) еще не разысканы. Я убежден, что в некоторых из них кое-что есть и об Оскаре, потому что в тех, что сохранились, о нем говорится без всяких объяснений,— значит, писали ранее [1].

Но даже если бы эти письма нашлись, то и в них, по условиям конспирации, не все могло быть сказано. Нельзя было, к примеру, написать, что в первый же день в Шушенском, встретив ссыльного Ульянова, Оскар признал в нем того самого человека, который выступал на сходке на Семянниковском заводе, за Невской таможней.

— Да, да, за Невской заставой,— подтвердил Ульянов.

Тогда в связи с волнениями на этом заводе он написал обращенную к рабочим одну из первых своих листовок.

Не к чему было писать и о том, что, узнав, как Энгберга по пути в Шушенское на целые сутки заперли в карцер и оставили без пищи, Ульянов буквально заставил его настрочить жалобу, которую и продиктовал ему.

— Если вам лично это и не принесет пользы, то, возможно, помешает такому обращению с другими товарищами. Политические заключенные обязаны защищать свои права,— объяснял он молодому путиловцу.

...После встречи в театре я виделся с Энгбергом в феврале дважды.

При второй встрече он вынул из внутреннего кармана пиджака три обернутые в целлофан фотографии:

— Хочу показать советским друзьям.

С карточки на меня глянул молодой бородатый Ильич. Снимок с маркой московского фотографа Мебуса. На обороте рукой Ленина четко выведено:

[1] К сожалению, я тогда не мог сказать Энгбергу (не знал еще) о записке, посланной Лениным в хмурый октябрьский день в предпоследнем году века из Шушенского в Ермаковское старому народнику, врачу Семену Михеевичу Арканову.

«Уважаемый г-н доктор! Если Ваши служебные обязанности позволяют, то не будете ли Вы так добры зайти вечером к моему больному товарищу, Оскару Александровичу Энгбергу (который живет в доме Ивана Сосипатова Ермолаева). Он уже третий день лежит, страдая от сильной боли в животе, рвоты, поноса, так что мы думаем, не отравление ли это?

Примите уверение в искреннем уважении.

Владимир Ульянов...»

Уверен, что и автор записки, и врач, и сам больной даже и подумать не могли, что через шестьдесят пять лет чудом уцелевшая записка войдет в собрание сочинений Ленина.

«Товарищу Оскару Ал-чу в память о совместной жизни в 1897—1900 годах».

Две другие фотографии — уже пожилой Энгберг рядом с совсем старой Надеждой Константиновной. На одной из них он сидит рядом с Крупской, на другой — держит ее под руку. И оба улыбаются.

— Когда нас снимали, я подшутил над чем-то. Крупская засмеялась и попросила: — Давайте будем серьезными, а то снимок не получится.— Но, как видите, вышло недурно...

Я взглянул на дату — 1937 год.

Впервые о том, что Крупская помнит его, Оскар узнал в 1934 году, когда книгу ее воспоминаний выпустило стокгольмское издательство. Старый токарь был уже на пенсии. С тех пор он мечтал поехать в Москву, и когда «Интурист» организовал дешевые экскурсии финских рабочих в Ленинград, он в 1937 году примкнул к одной из групп и очень гордился тем, что был отличным переводчиком.

И в самом деле, я легко объяснялся с ним, хотя иногда он и подыскивал нужное слово.

В молодости Оскар русским владел куда лучше, чем финским. Отец его работал на Путиловском, и Оскар в детстве был перевезен из Выборга в Питер. В Петербургской шведской начальной школе наряду с родной речью его учили немецкому и русскому языкам. Русский язык Оскар постигал и в играх со сверстниками, и среди питерских друзей, рабочих-путиловцев.

Когда после ссылки Энгбергу запретили жить в Петербурге, он устроился в Выборге на ремонтно-механический завод и решил передать другим то, чему научился в Шушенском у Крупской и у Ленина. Он надеялся, что владеет финским, но сразу же сообразил, что его понимают плохо. Пришлось прибегнуть к помощи шведских друзей. То и дело он обращался к ним с одним и тем же вопросом: куйн саноо? (как сказать?), за что его самого прозвали Куйнсаноо. И это прозвище прилипло к нему надолго.

В 1937 году, приехав в Ленинград, Оскар рассказал представителям «Интуриста», что жил в Шушенском с Лениным и Крупской и жаждет повидаться со своей учительницей. Не могла бы она приехать в Питер?

— Вряд ли! — усмехнулся работник «Интуриста», но оказался внимательным настолько, что устроил ему бесплатную поездку в Москву в «слишком комфортабельном вагоне».

После ряда формальностей Энгберга привезли в Кремль — мимо «Царь-колокола» и «Царь-пушки» — в квартиру Ленина, к Крупской...

— Там была и Мария Ильинична. Крупская,— вспоминал Энгберг,— чувствовала себя неважно... Не ладилось у нее и со зрением. Сначала она, кажется, даже не поняла, кто это.

Да и трудно было в шестидесятилетнем седом человеке узнать двадцатитрехлетнего бойкого парня после такой долгой разлуки. Но не прошло и минуты, как Надежда Константиновна воскликнула:

— Да ведь это старый Оскар здесь! — встала, подошла к Энгбергу и обняла его.

— И мы поцеловались, по-русскому обычаю, в щечку. Она была печальной и казалась одинокой и такой слабой, что я решил: посижу четверть часа и уйду. Но мы так увлеклись беседой, воспоминаниями, что встреча наша незаметно как затянулась на три часа. Сестра Ленина приготовила ужин, мы поели, попили и снова разговаривали. Вспомнили о свадьбе.

После приезда Крупской в Шушенское Ленин получил разрешение сыграть свадьбу и попросил меня быть шафером, хотя я и лютеранин, а он был записан в паспорте православным. Я держал венец над головой невесты. Над головой жениха венец держал сын хозяина дома. Никакой торжественности при этом обряде мы не ощущали.

Принудительная официальная церемония, но без нее Крупской не позволяли жить в Шушенском. Мне же все было любопытно. Одеты и жених, и невеста, и шаферы были по-будничному. Очень толстый священник надел обручальные кольца. Что-то у него было с глазом, то ли он крив, но все время казалось, что он подмигивает нам. А вообще-то батюшка был человек милый. Дьякон же сущий пропойца, но до обряда воздержался... Три раза новобрачные обошли вокруг маленького столика (так Энгберг называл аналой), а потом священник поднес к их губам крест.

После венчания и священник и дьякон, по обычаю, пришли к молодым. У хозяйки одолжили большой самовар. А Оскар ради такого события припас полштофа водки.

Дьякон был на нее падок. И время от времени повторял: дом, конечно, очень приятный, но слишком уж велики промежутки от тоста до тоста. Перерывы были действительно длинноваты, и дьякон строго следил, чтобы в его стакане дно не чересчур часто поблескивало.

Нас за стол уселось семеро, и как я ни старался поддержать веселье, чокался с батюшкой и развлекал всех, Ленин и Крупская чувствовали себя в этой компании неважнецки. Дьякон все требовал водки и скоро опьянел. Я уже не раз намекал: не пора ли расходиться, но, пока в бутылке оставалась хоть капля, он с завистью поглядывал на нее — и ни с места. Тогда пришлось, правда, с согласия попа, применить «нежный прием» — чуть ли не силком выволакивать дьякона. Даже сам поп помогал, человек очень воспитанный. С ними ушел и хозяйский сын. Наконец остались только мы, свои. Потом Елизавета Васильевна, мать Крупской, говаривала: «Если бы Оскар не веселил нас, свадьба больше была бы похожа на похороны».

В Кремле я еще шутливо, чтобы не обидеть, напомнил Надежде Константиновне о брошке, которую в память об ее терпеливых занятиях со мной смастерил на прощанье из задней крышки серебряных часов. Она писала в своих воспоминаниях неточно, что на брошке, сделанной в виде книги, я, мол, выгравировал надпись: «Карл Маркс». Конечно, это не существенно, но на самом деле было: «Капитал. Том 1. Маркс»...

Надежда Константиновна засмеялась и снова удивилась, как это я изготовил такую тонкую вещицу столь грубым инструментом, какой был у меня под руками, и обещала в следующем издании исправить. Но, бедняжка, умерла, кажется, раньше, чем оно вышло.

О чем еще говорили тогда?.. Энгберг задумался...

Крупская вспомнила, Владимир Ильич как-то рассказывал ей, что встречал Оскара в Хельсинки.

— Да, это было,— подтвердил Энгберг.— В 1906 году, когда Ленина скрывал у себя в квартире купец, виноторговец, а позже владелец антикварного магазина Вальтер Шеберг. Он жил тогда на углу Пиетарин и Кап-

танинкату. Я снимал комнату через два дома от него и уже успел обзавестись семьей... Когда кончилась ссылка и мне не разрешили жить в Питере, я сначала поселился в Выборге, а затем получил работенку в Хельсинки. Женился... И посыпались ребята один за другим. Однажды Ленин зашел ко мне. Жена очень боялась полиции. Я стал ее успокаивать. И Ленин понял, что теперь я революционер плохой. Четверо детишек мал мала меньше, к тому же очень туго с деньгами. После этого с ним я не встречался...

И уже уходя, прощаясь с Крупской и Марией Ильиничной, Оскар вдруг вспомнил, что еще в Шушенском ему была обещана фотография.

— Но моя фотография есть в этой книге! — сказала Надежда Константиновна.

— Совсем не одно и то же,— возразил я.— Вы обещали мне лично.

— Хорошо, вы ее получите!

— Время идет, и требования растут,— пошутил я,— не могли бы мы вместе сфотографироваться?

Она согласилась, и назавтра мы пошли в Музей Ленина и там сделали эти два снимка... На прощанье Надежда Константиновна подарила мне свою книгу «Воспоминания о Ленине» и сделала дарственную надпись: «Дорогому товарищу по ссылке, Оскару Александровичу Энгбергу от Надежды Крупской. 1937 год».

— Вот видите,— продолжал старик, словно оправдываясь,— многие говорят, что учеба у Ленина для меня пропала впустую. Но я с этим не согласен. Даже Надежда Константиновна, которая хорошо знала революционеров, пишет «Дорогому товарищу!» — она не отстранилась от меня, не назвала отступником... Так что я считаю это своего рода доказательством признания и уважения.

И в самом деле, Оскара Энгберга можно уважать хотя бы за одно то, что в 1905 году в дни всеобщей забастовки он в Хельсинки организовал «Русскую секцию в Финляндской с.-д. партии».

Туда входили финские рабочие, которые говорили якобы только по-русски, и русские, обладающие финскими паспортами, что давало им возможность законно пользоваться еще не до конца отнятыми благами финской свободы. Если финская полиция обнаруживала русских

в финской рабочей организации, она была обязана немедля выслать их из Суоми.

Чтобы русские товарищи могли принимать участие в работе секции, собрали немало финских паспортов, и под финскими фамилиями включали их в организацию.

«Русская секция» стала легальным прикрытием обширной нелегальной деятельности. Позднее в ее работе участвовал и Шотман, как его там называли, «министр иностранных дел». Он доставал паспорта и переправил за границу не один десяток подпольщиков из России. В этой же секции действовали и такие известные в рабочем движении люди, как братья Иван и Эйно Рахья, Густав Ровио, Никандр Кокко, Юхо и Эдвард Вастены, Адольф Тайми. Тот самый, что был сначала секретарем, потом председателем секции, в 1918 году возглавил Финскую Красную гвардию, а после 1940 года стал Председателем Верховного Совета Карело-Финской ССР.

Но организатором секции, первым председателем ее, избранным на первом же собрании, был Оскар Энгберг. Как представитель «Русской секции», он вошел в Хельсинкский комитет партии...

...О работе «Русской секции» рассказывал мне в Петрозаводске и в Беломорске в годы Отечественной войны Адольф Тайми, который после отъезда Энгберга из Хельсинки был избран ее председателем.

•

...Летом 1958 года по дороге на митинг в одном из лесных поселков, где должна была выступать Хертта Куусинен,— пожалуй, лучший оратор Суоми,— мы проезжали с ней мимо домика Оскара Энгберга в Корсо.

— А не заглянуть ли к нему? — предложил я Хертте.

— Увы. Старик умер в позапрошлом году.

...В 1967 году, в дни, когда Финляндия торжественно праздновала пятидесятилетие своей независимости, я пришел в «Архив рабочего движения» в Хельсинки, надеясь найти там следы деятельности «Русской секции».

Мне повезло. К следующему моему визиту работники архива раскопали переплетенную конторскую книгу, в которой неумелой рукой корявым почерком записаны были протоколы общих собраний секции с момента ее основания и, к сожалению, только до 1910 года, когда цар-

ское правительство возобновило поход на финские свободы.

Памятуя, что по условиям конспирации секретарь вносил в протокол лишь то, что не могло вызвать подозрений в незаконной деятельности или обходился двумя-тремя словами, допускающими разное толкование, а нелегальная работа и вовсе не фиксировалась, я с большим интересом засел за эту конторскую книгу.

Ее открывал протокол первого организационного заседания, который был «веден при собрании русских рабочих города Гельсингфорса в доме № 31 по Георгиевской улице в 10 часов утра 1905 года семнадцатого декабря по новому стилю. Собрание открыл О. Энгберг, он же и председателем был избран, протокол вести выбран Константин Петров...»

После того как было решено, откуда брать средства для работы секции, Энгберг заявил, как записано в протоколе, «что русское рабочее общество, примыкая к Гельсингфорсскому рабочему обществу, тем самым примкнуло к социал-демократической партии. Программа финской социал-демократической партии — почти одно и то же с программой рус. социал-дем. партии. Не имея под рукой финской программы, прочитал русскую программу. По прочтении программы возникла оживленная передача мыслей».

Следующее собрание состоялось в том же деревянном одноэтажном доме через неделю, 24 декабря, в день восстания в Москве на Пресне.

Уже через месяц стали собираться еженедельно не в деревянном доме на Георгиевской улице, а у Энгберга, собирая вскладчину деньги на уборку, освещение и кофе.

Впервые имя Тайми зафиксировано через три года, в подписанном им как секретарем протоколе внеочередного собрания 17 ноября 1908 года. Энгберг в то время работал на севере. В повестке дня стояло три пункта: 1. Доклад о выписке газет. 2. Доклад о 25-летнем юбилее РСДРП. 3. Лекция о воздухоплавании.

Скупая протокольная запись: «Товарищ Хильянен сделал маленький доклад о выписке газет и сообщил, что в скором будущем будем получать».

Я мог расшифровать эту запись только потому, что через много лет после того, как она была сделана, слушал рассказ об этом самого Тайми.

— На собрании обсуждался вопрос о выписке газет из-за границы. Я предложил выписать «Пролетарий», большевистскую ленинскую газету,— говорил он.— Председатель секции меньшевик Хильянен и некоторые члены правления возражали. После долгих прений в конце постановили выписать поровну и большевистские и меньшевистские газеты. Хильянен заявил, что, если постановление войдет в силу, он откажется от председательства. Это мало кого испугало. На следующее собрание он не явился. А через месяц меня избрали вместо него.

С тех пор русской секцией руководили большевики.

По второму пункту повестки речь шла о группе «Освобождение труда»: «В долгой речи тов. Евгений изложил историю зарождения русской социал-демократии и об ее 25-летней деятельности в подполье, а также описал деятельность ее инициаторов — Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич, Дейча и Игнатьева. После изложения биографии умершего тов. Игнатьева пропели «Похоронный марш». В заключение решили единогласно послать письмо в редакцию ленинской газеты «Пролетарий», в котором говорилось: «Мы, кочующие русские с.-д., закинутые ураганом революции в гостеприимные пределы Финляндии, собравшись в числе 30 человек в 25-летнюю годовщину рождения российской социал-демократии, шлем товарищеский привет редакции центрального органа и желаем, чтобы партия процветала, росла и крепла до того желаемого момента, когда она поведет русский пролетариат в решительную борьбу за ниспровержение капиталистического строя. Да здравствует РСДРП!»

По третьему пункту Тайми записал, что «за неимением времени лекцию о воздухоплавании отложили».

По правде говоря, она была включена в повестку только для того, чтобы в протоколе отразить необходимую по уставу «культурно-просветительную деятельность».

В заключение, как значится в протоколе,— «пропели «Интернационал» и «Финский рабочий марш»...

...Недавно, прослушав магнитофонную запись беседы с Энгбергом, сделанную в день его семидесятилетия комментатором финского радио Тойво Ментти, я пожалел, что он оборвал свой репортаж как раз в тот момент, когда Оскар Энгберг собрался рассказать о своей революционной деятельности в Суоми.

Да, старый Оскар был прав, когда, выступая по финскому радио, сказал о себе:

— Семена, зароненные Лениным, не пропали даром!

И в самом деле, если верхушка финской социал-демократии постигала теорию социализма, учась у социал-демократов Германии, то на низовое рабочее движение через созданную Энгбергом секцию влияла русская революция, теория и практика большевиков.

Но вернемся к августу семнадцатого года.

КВАРТИРАНТ «ПОЛИЦМЕЙСТЕРА»

Карл Вийк яростно накручивал ручку телефона, пока названный им номер в Хельсинки не откликнулся.

— Когда можно повидать тебя вечером?

— В одиннадцать часов. У входа в крытый рынок на Хаканиеми.— Ровио был немногословен.

Хаканиеми (или по-шведски Хагнесс) — как была тогда, так и по сей день осталась самой большой рыночной площадью в рабочем районе Хельсинки.

С рассвета здесь с крестьянских возов, с телег, с лотков перекупщиков идет оживленная торговля ягодами, рыбой, зеленью, мясом, маслом и прочей снедью, метлами, плетеными корзинами, домоткаными ковриками, березовыми вениками для бани, деревянной посудой. Но как только пробьет двенадцать пополудни, разъезжаются возы и площадь пустеет. Подметальщики тщательно сметают с мостовой мусор, поливают ее. И даже трудно представить, что еще полчаса назад эта пустынная теперь площадь пестрела многолюдьем. И лишь с того края, что ближе к морю, долго еще торгует спрятанный в большом кирпичном здании крытый рынок.

Впрочем, базар этот в те голодные дни, о которых идет сейчас речь, мог похвалиться лишь обилием лука, капусты, свеклы да брусники. И хотя урожай уже убран, на рынке часами змеились длинные очереди за картошкой. Рыбы, которой торгуют жены рыбаков, хватало лишь на полчаса. Даже рабочая кооперация «Эланто» подмешивала в тесто льняное семя. Хлеб же продавался только по карточкам трех категорий — от одного до двух килограммов в неделю.

Напротив рынка в сером каменном доме на пятом этаже в однокомнатной квартире уже несколько лет оби-

тал Густав Ровио. В последние наезды в Хельсинки, чтобы не обременять партийную кассу счетами гостиниц, Шотман зачастую останавливался тут, у своего друга, благо жена Ровио с ребятишками проводила лето у родителей в деревне.

В тот поздний августовский вечер Ровио стоял на тротуаре у входа в крытый рынок.

Звенели последние трамваи у остановки на противоположном конце площади. Зеленоглазые он пропускал без внимания — этот маршрут не проходил мимо вокзала. Зато буквально впивался глазами в каждого выходящего из трамвая с желтыми или красными огнями. Среди редких пассажиров и прохожих не было того, кого они так ждали,— Ровио на улице, а Шотман у него в квартире.

Но вот по булыжнику прогромыхала и остановилась пролетка. Двое мужчин расплатились и, подождав, когда извозчик завернет за угол, разговаривая по-французски, пошли к нему.

Конечно, на вокзале или в трамвае его могли опознать. Молодчина Вийк! Наверняка нанял извозчика еще в Мальми. И Ровио быстро зашагал навстречу.

— Товарищ Ровио? — негромко спросил русский. Они крепко пожали друг другу руки, перешли улицу, оглядевшись, не следит ли кто, и стали взбираться на пятый этаж.

Не дожидаясь, когда поспеет чай, заваренный гостеприимным хозяином, Вийк распрощался. За день у него в Мальми они успели обговорить все, что ему предстоит сделать.

Еще по дороге из Швейцарии в Россию, в Стокгольме, Ленин условился с Фредериком Стрёмом, что всю корреспонденцию, предназначенную для социалистических партий и групп, выступающих против войны, он будет пересылать через гельсингфорсского корреспондента шведских левых социал-демократических газет Карла Вийка.

С Вацлавом Воровским также было договорено, что материалы, предназначенные для издаваемых в Стокгольме на немецком и французском языках и редактируемых им «Русских бюллетеней «Правды», этого большевистского «окна в Европу»,— для вящей неприкосновенности будут пересылаться через того же Карла Вийка, депутата финляндского парламента.

Той же ночью в комнате у Ровио, за его столом, Ленин закончил письмо Воровскому, заграничному бюро ЦК, начатое еще утром в Ялкала, в день прихода туда Куусела, и вскоре это послание и шифр для связи Вийк отвез в Швецию.

«Мы делаем величайшую, непростительную ошибку, оттягивая или откладывая созыв конференции для основания III Интернационала. Именно теперь,— писал Владимир Ильич в Стокгольм,— *пока* есть *еще* в России легальная (почти легальная) интернационалистская партия более чем с 200 000 *(240 000)*... членов (чего нет нигде в мире во время войны), именно теперь мы обязаны созвать конференцию левых, и мы будем преступниками, если *опоздаем* это сделать (партию большевиков в России со дня на день больше загоняют в подполье)».

Он перечислял имена людей и организации во Франции, Англии, Америке, Швеции, Голландии, Швейцарии, Италии, Германии, которые следует пригласить на эту конференцию, на которые можно опереться, называл место созыва ее — Стокгольм. Советовал, где достать средства на дальнейшее издание «Бюллетеней» и созыв конференции. «После июльских преследований ясно, что наш ЦК помочь не может... Пишите, удалось ли что собрать через шведских левых...» И снова обращаясь к мысли о необходимости немедля созвать международную конференцию, он настаивал: «Повторяю еще раз: я глубоко убежден, что, не сделав этого *сейчас*, мы страшно затрудним себе эту работу в дальнейшем и страшно облегчим «амнистию» изменникам социализма»...

Таково было его прозорливое нетерпение, устремленное в будущее.

История скорректировала по-своему: первый Учредительный конгресс Третьего Коммунистического Интернационала состоялся не в 1917 году, а в 1919, и не в Стокгольме, а в Москве. Но не случайно в первом ряду его основателей были финские и шведские коммунисты.

Лет сорок спустя я наблюдал, как на стене высокого серого дома на Хагнесской площади прикрепляли доску, возвещавшую для всеобщего сведения то, что тогда всеми силами пытался скрыть хозяин квартиры номер 22. А именно — что в этом доме жил Владимир Ильич Ленин.

— Густав Семенович,— как-то спросил я Ровио,— кто прав: вы, написав, что впервые тогда встретились с Лениным, или Надежда Константиновна, когда при встрече с Коллонтай в Белоострове сказала ей: «Замучили Ильича, по дороге, на каждой станции речи, приветствия по всей Финляндии. И финны приветствовали, с нами ехал Ровио, он ловко переводил. Дайте Ильичу хоть стакан чаю, видите, до чего устал»...

— Ну, разве это можно было считать знакомством! Он об этом ни разу и не вспомнил. Да и встретил я их с хельсинкской делегацией лишь на станции Риихимяки, и проехал только до Выборга... Не знаю уж, как Крупская запомнила мою фамилию?!

...В те летние хельсинкские дни, в семнадцатом году, курс русских денег падал намного быстрее, чем курс финской марки, и поэтому финские банки не меняли в одни руки марок больше, чем на десять рублей. А Ровио тратил на одни только питерские газеты почти столько же. У Ленина деньги имелись, но менять каждый день рубли на марки самому Ровио было неудобно. Газеты вели кампанию против меняльщиков и легко могли пригвоздить и его как спекулянта валютой. Особенно правые. Очень уж их допекал «красный полицмейстер».

— Я обратился тогда в Союз молодежи, к Нюквисту, Вилко Антикайнену и Толвио.— Помогите, ребята! — попросил я за чашкой кофе и объяснил, что нужно для одного очень секретного дела обменять рубли. Для какого — пока сказать не могу. Позднее, мол... И тут же пообещал: ваши имена войдут в золотую книгу истории. Они уж постарались вовсю!

Так была решена финансовая проблема.

...Когда у Ровио выдавалось свободное время, он вместе с Лениным прогуливался по городу.

А так как выдавалось оно на полчаса, на час, не более, то и бродили они лишь по ближним улицам, и каждый раз Владимира Ильича влекло к Дому рабочих, которым он неизменно восхищался. Ему нравилась и своеобразная архитектура этого, по тогдашним временам монументального, здания, и любо было слышать, что тут самый большой зал в стране для народных собраний и концертов, есть большая библиотека, читальный и гимнастический залы, амбулатория, юридическая

консультация и столовая и даже помещение для массажа!..

В облицованном красным гранитом и увенчанном стеклянной башней пятиэтажном доме помещалось (там оно и по сей день) центральное правление социал-демократической рабочей партии. В сорока комнатах тогда располагались и правления сорока профсоюзов. Но еще больше Ленина радовало то, как строился Дом. Возводили его для себя своими руками рабочие Хельсинки безвозмездно, и не только каменщики, штукатуры, маляры, плотники, слесари, но и люди других профессий. Каждый по нескольку часов в неделю, после урочной работы... Материалы для стройки оплачивались на средства, вырученные от продажи «акций» трудящимся. Каждая по сто марок. Она давала право, когда Дом будет построен, на бесплатное посещение нескольких концертов, спектаклей, танцев,— как бы авансировала их.

Однажды они остановились у входа в Дом, в тот раз с ними был и Вийк, перед плакатом о предстоящем собрании-концерте. Кроме выступления депутатов сейма плакат обещал «Помолвку» Киви в постановке Каарло Куусела, выступление хора Дома рабочих и чтение стихов (шло перечисление драмкружковцев и поэтов).

Ровио указал на фамилию одного из них — Кесси Ахмала...

— Куусела и Каллио вы уже знаете,— сказал он,— а вот поэт Кесси Ахмала вам незнаком, хотя и возит для вас в Питер и доставляет оттуда всю почту.

И вдруг Ленин, пренебрегая им же самим установленными правилами, распахнул дверь и решительно шагнул в парадное. Изумленные Вийк и Ровио метнулись следом.

— Где тут металлисты?

— Первая дверь налево.

— Тойвола Лангстрем,— молодой коренастый парень, выйдя из-за стола, протянул руку незнакомцу, вошедшему с двумя хорошо известными ему людьми.

— Секретарь Союза металлистов. Мой старый друг, тоже токарь,— пояснил Ровио, и, как впоследствии, в 1967 году в Хельсинки, рассказывал мне Лангстрем, Ровио не скрыл от него, кто был тот неизвестный.

Ленин сразу же принялся расспрашивать о делах

Союза. Увидев на полках стоявшие рядами папки, поинтересовался, что в них.

— Списки организаций. На каждого члена профсоюза карточка,— и, сняв с полки папку, Лангсгрем раскрыл ее.— Имя и фамилия. Дата рождения, специальность. Время вступления в Союз. Отметки об уплате членских взносов.

— И больше ничего? — удивился Ленин.

— Нам этого вполне хватает,— самодовольно отозвался Лангстрем.

— Стоило бы указать и образование, чему обучался. Пригодится. В случае революции можно легче расставить людей на такие места, где они принесут наибольшую пользу...

— А ведь замечание дельное,— кивнул Ровио растерявшемуся Лангстрему.

— Почему среди металлистов так много женщин?..

Из двадцати семи тысяч членов Союза — женщин около трех тысяч. По тем временам это было много.

— Война,— пояснил Лангстрем.— Расширилась наша промышленность. И на заводы пришли женщины. К удивлению многих, они оказались очень расторопными и сноровистыми.

— Ясно!

— Мы слишком долго торчим в таком многолюдном месте. Беда, если заметят! — заторопился Ровио.

— В малолюдном еще опаснее,— Ленину очень уж не хотелось уходить.

— Пора, пора! — настаивал Ровио. А так как он собирался передать Союзу связку книг, Лангстрем решил пойти с ними.

— Иди отдельно. Метров двадцать позади. Ты нас не знаешь!

Так и сделали. Дом рабочих от их квартиры — минут десять ходьбы.

В кухне у Ровио Лангстрем взвалил на плечо пакет с книгами и распрощался.

— Как провел вечер с таким интересным собеседником? — на следующее утро спросил он у Ровио.

— Первым делом попили чай, а потом разговаривали до полуночи. Когда же я сказал — пора спать, он ответил: вы ложитесь, а я буду писать. Так я и сделал, а он сел за стол, разложил бумаги и принялся за работу.

Я познакомился с Ровио в 1931 году, он тогда был секретарем Карельского обкома партии — уже немолодой грузный человек с добрыми голубыми глазами и большой лысиной. Потом мы много раз встречались, и он рассказывал мне о гражданской войне в Карелии, о героическом лыжном походе на Кимас-Озеро курсантов Интернациональной военной школы, комиссаром которой был в 1921—1922 годах. И неизменно, исподволь я заводил речь о тех днях, когда он укрывал Ленина.

— Скажите, Густав Семенович,— допытывался я,— почему все-таки пришлось перемещать Ленина с квартиры на квартиру?.. Ваша жена с детьми охотно пожила бы еще в деревне у родителей. Под крылом у «полицмейстера», что может быть надежнее!..

— В том-то и дело, что у «полицмейстера»,— с горькой усмешкой отозвался Ровио.— У «полицмейстера» в те дни были крупные неприятности... Нервотрепка. До сих пор еще кое-кто, не разобравшись, косится на меня, а тогда, случалось, у дома поджидали, чтобы покрепче обложить... Так что, насчет безопасности... не того.

И я узнал, что «продовольственный кризис», как поученому называется обрекающая на полуголодную жизнь острая нехватка продовольствия и в связи с ней взвинченные, спекулятивные цены, привел к тому, что в столице вспыхнула забастовка.

Толпы рабочих собирались на площадях, на улицах...

Бастовавшие требовали не только продовольствия и снижения цен, но и срочного введения закона о восьмичасовом рабочем дне, закона о «власти», за принятие которого был распущен парламент.

Множество народа окружило здание биржи, где заседали гласные муниципалитета. Милиция попыталась освободить их из осады. При этом произошло беспрецедентное для тогдашней Финляндии событие — пустили в ход дубинки.

Возмущение народа было неописуемо.

Специальная комиссия, созданная рабочими организациями, расследовав инцидент, установила, что милиции дали приказ не применять силы.

Но в милиции оставалось еще много бывших полицейских. Они-то и учинили массовое избиение. К ним присоединились вооруженные парни из лахтарских организаций.

Хельсинкский совет рабочих организаций потребовал изгнания всех бывших полицейских из милиции и вынес порицание ее начальнику за то, что он не предотвратил это чрезвычайное происшествие.

В те трудные для него дни Ровио был прав, переселив Ленина на квартиру паровозного машиниста Блумквиста.

СЛОВО ПРО КЕССИ АХМАЛА

Молодой портняжка Иосеппи сквозь слезы затянул песенку. Старые мастера-портные Эннокки и Аппели, подтягивая ему, взялись за руки и пошли в вальсе, на полусогнутых ногах, коленями внутрь. А Иосеппи (наш знакомец Кустаа Каллио), глотая слезы, так полагалось по пьесе, пел, отбивая такт ногой:

Вот приехали курьеры,
Они заняли квартиры,
Они заняли квартиры
И спросили, есть ли пиво.
Вот приехали курьеры,
Они...

Занавес плавно шел вниз. «Помолвка» закончилась под вздохи и аплодисменты благодарных зрителей.

Каллио помчался по коридору в артистическую разгримировываться. После выступления депутата Эдварда Гюллинга и скрипача Диктониуса ему предстояло читать стихи Кесси Ахмала.

Сидя перед зеркалом, он снимал обильным вазелином грим и бормотал под нос знакомые строки. Одно из стихотворений Ахмала, которое должно сегодня прозвучать с эстрады — сонет «Козыри»,— призывало к единству. Последние его строки Кустаа повторил дважды:

Когда мы врозь — у вас в руках игра,
Единство наше — гроб вам, шулера!

В тот час, когда в Доме рабочих со сцены читали его стихи, автор их в тряском почтовом вагоне «Гельсингфорс — Петроград» раскладывал письма по стопкам. Каждой станции — стопка.

Но самое драгоценное, то, за что он отвечал своей жизнью, хранилось во внутреннем, застегнутом булавкой кармане пиджака. Экстракт выстраданной Россией революционной мысли, миллионновольтная энергия, сконденсированная в письмах Ленина, его статьях, прогнозах,

Попади хоть одно из них в руки противника — взрыв короткого замыкания...

В свои двадцать восемь лет почтальон Ахмала (должность эта — прекрасное легальное прикрытие нелегальной деятельности) был не только известным гражданским поэтом, популярным пылким оратором Союза молодежи, вожаком почтовиков, но и лириком.

И вот сейчас, глядя на бегущие мимо провисающие телеграфные провода, на снопы оранжевых искр, извергаемых паровозом, вслушиваясь в неустанное постукивание колес на стыках,— он загрустил в вагонном одиночестве.

В раздумье он склонился над столом, и на бумагу медленно легли строки стихотворения, обращенного к любимой.

Она сейчас дома тоже одна... Нет, не одна, с дочуркой... Колыбель. А в ней Хилька...

В тот день, когда Хилька родилась, Кесси Ахмала написал письмо, запечатал сургучными печатями, крупными буквами вывел на конверте: «Моей маленькой дочери, когда она научится понимать жизнь», и спрятал.

Но сейчас Хилька еще в колыбели, письмо дочери в будущее мать спрятала в заветную шкатулку. А сам Кесси, начертав навеянные любовью и одиночеством строки, положил под голову пиджак с шифрованными и химическими письмами, прилег на жесткую полку и задремал.

В одном из этих писем был нарисован точный план, как пройти — а это не близко — от вокзала по улицам Гельсингфорса: по Западному шоссе, мимо нового, похожего на кирку, здания Национального музея, свернуть с шоссе налево на Каммио гатан, дойти до улицы Тоеле, а там нетрудно отыскать и дом железнодорожников № 46. Второй этаж... Квартира Блумквиста...

...Питер. Поезд, тормозя, подходил к перрону Финляндского вокзала. Затерявшись в потоке пассажиров и встречающих, молоденькая голубоглазая блондинка подошла к черному почтовому вагону, но вместо того, чтобы, как положено, просунуть в щелку ящика письмо, она приподняла его крышку и трижды со стуком опустила.

На условный знак из вагона вышел Кесси Ахмала в широкополой шляпе набекрень, поздоровался с молодой женщиной, взял ее под руку, и влюбленная пара прошла в большой пассажирский зал.

Миновав билетные кассы, они остановились около той, где финские марки обменивали на русские рубли, и там обменялись — нет, не марками и рублями, а большими плоскими конторскими конвертами и, нежно попрощавшись, разошлись.

Кесси Ахмала вернулся в почтовый вагон.

А Лидия Германовна, жена паровозного машиниста Хуго Ялава, поспешила домой. К ней, как обычно по утрам, за почтой из Гельсингфорса и с письмами тому, кого на своем паровозе перебросил за границу ее муж, должна была зайти Надежда Константиновна...

Позднее об этих днях Крупская вспоминала: письма были короткие, деловые, с разными поручениями; и после каждого такого письма до жути хотелось повидаться, перекинуться хоть парой слов...

Но какова же была ее радость, когда на этот раз она проявила над керосиновой семилинейной лампой адресованное ей письмо и между безразличными строками появились невидимые раньше, написанные лимонной кислотой, другие, в которых Владимир Ильич звал ее поскорее в Гельсингфорс, сообщал свой адрес и даже набросал план, как пройти к нему, ни у кого не спрашивая дороги.

Не беда, что край листка с начертанным планом при нагревании истлел, отгорел. Все равно она и так разыщет квартиру Ильича.

«Почтовое ведомство Ровио» действовало безотказно. Но какая жалость: верная законам конспирации, Надежда Константиновна сжигала все записки, которые присылал ей Ленин!

Когда на высокой башне Дома рабочих в Хельсинки зажегся красный огонь — сигнал восстания, товарищи избрали Кесси Ахмала в почтовую коллегию Совета народных уполномоченных революционного рабочего правительства.

В день падения Выборгской крепости, последнего оплота красных, Ахмала был схвачен лахтарями. На следующее же утро, двадцать девятого апреля, по приказу командира батальона Алекса-Эриха Хенрикса (в 1945 году он уже командовал финской армией) во дворе Выборгского замка вместе с другими красногвардейцами

был расстрелян и член рабочего правительства Кесси Ахмала.

Умер он так же, как и жил, и его последний возглас: «Да здравствует революция!» — опередил команду «Пли!»

28 апреля; за сутки до падения Выборга (это была последняя битва гражданской войны в Финляндии) Ахмала написал письмо, которое пришло в Хельсинки много позже...

Через много лет я встретился в Хельсинки с Хилькой Ахмала, незаурядным публицистом и обозревателем «Кансан Уутисет» — центральной газеты финских коммунистов. Она показала мне последнее письмо отца.

«Пишу, когда орудия гремят уже несколько дней. По всему видно, что участь этого города будет скоро решена. Нет никакой надежды, чтобы крепость не пала. А что будет после того, неизвестно. Мне очень жаль рукописей, которые находятся при мне. Попытаюсь как-нибудь сохранить. Дам о себе знать, если судьба помилует меня хоть немножко. Держусь бодро».

Но судьба его не помиловала.

— Мы узнали о смерти отца через год,— рассказывала мне Хилька.— Получили посмертную весточку.

Однажды в почтовом ящике на дверях квартиры мать нашла (кто-то бросил туда) бумажник отца, который трагически поведал о событиях того апрельского утра. Бумажник был проколот штыком. Проколото все, что в нем находилось. То самое не отправленное письмо из Выборга, фотографии жены, дочки и членский билет социал-демократической партии.

— Я думаю, это сделал присутствовавший при казни солдат. Целый год прятал он этот бумажник, пока не решился опустить нам в ящик... А может, и сам терзаемый совестью палач,— задумалась Хилька.

— Что же стало с рукописями?

— О них мы не узнали ничего. Мама пыталась выведать, но все хлопоты впустую. Те же, что хранились дома, отдали в Социал-демократический союз молодежи. Там собирались выпустить его книгу. Но вскоре Союз был запрещен, все его бумаги уничтожены или конфискованы. Вместе с ними затерялись и работы отца.

Адресованное дочери письмо Хилька получила, когда ей исполнилось пятнадцать лет — и, по мнению матери,

она уже «научилась понимать жизнь». Это было в 1932 году...

«Мы дети больших переломов и всеобщей стачки, нам пришлось видеть слишком много такого, когда ценности предыдущего поколения уничтожались, от чего и в душах наших тоже остались следы надрывов. Видишь ли, моя дорогая, построение нового приходит лишь после поисков и ошибок,— волнуясь, переводила мне это письмо мой друг Сайми Куйвала, переводчица многих произведений Ленина.— Разрушая старое, с каждым часом мы приближались к новой правде, к новой ясности, сначала брезжившим нам в далекой дымке. Может быть, твоя молодость совпадет со временем, когда новые ценности окончательно прояснятся и устоятся... Но помни, нет ничего такого, что никогда бы не изменилось. Во всяком случае попытайся воспитать в себе цельность характера. Это желают тебе родители в день твоего рождения. Учись соразмерять свои дела с помыслами и пытайся жить так, чтобы твои дела не противоречили избранным тобой идеалам. Если тебе удастся это, то, может быть, и мы через тебя почувствуем, что мечта нашей жизни в какой-то мере сбылась, и мы увидим себя в тебе новыми, более совершенными и помолодевшими,— писал Кесси Ахмала, который так и не дожил до двадцати девяти лет! — Моя милая дочурка, научись ценить душевное благородство превыше всего. Служи по мере своих сил тем целям, которые пойдут на пользу всем живым и на счастье грядущим поколениям. Это будет облагораживать твою душу, и тогда-то, по крайней мере, ты можешь надеяться на продолжение жизни после смерти, так как, по Брандесу, «прожить наилучшим образом свое будущее — тоже своего рода бессмертие».

Так, не совсем связно, писал молодой поэт, счастливый рождением дочери.

И сам он по своему завету прожил отведенное ему судьбой краткое будущее так, что приобрел «своего рода бессмертие».

«СЕСТРА ХУТТУНЕНА — ЭТО Я»

Странствуя по Карелии, в деревне Ялгуба я встретил женщину, председателя колхоза, сокрушающуюся о том, что «не ту заботу имеем о детях, какую надо. Наверное,

можно больше сделать, да разве придумаешь! А вот Ленин ребенка всегда в мыслях держал,— говорила она.— Слыхал небось про ребят Ровио?..»

И она рассказала:

— А было дело так. На конгрессе Интернационала подошел товарищ Ленин к товарищу Ровио. Товарища Ровио он раньше знал, Ровио в Гельсингфорсе помогал Владимиру Ильичу от Керенского скрываться... Так вот, подходит он на конгрессе к товарищу Ровио, про то, про другое ведут они беседу. Владимир Ильич вдруг и спрашивает товарища Ровио по личному делу.

— Да так,— отвечает Ровио печально,— совсем недавно жена моя скончалась.

В те годы, знаете, сыпняк налево и направо людей косил. Без разбору.

— Ах так,— говорит Ленин и тоже озаботился.— А старший сынок ваш?

— Мальчик ничего,— отвечает товарищ Ровио,— только скучает очень...

Сами знаете, без матери от радости не поскачешь...

Взял товарищ Ленин и чего-то в свой блокнот чиркать стал и между прочим спросил у товарища Ровио адресок. Ровио все это ни к чему. Он думает: Ленин Владимир Ильич готовится к заключительному слову. Прения шли. Поговорили они еще о разных делах и разошлись. А тем временем конгресс кончился и уехал к себе Ровио в Питер. Работа не ждет. Проходит неделя, другая, третья идет... И вдруг сообщают товарищу Ровио, мол, получена на его имя посылка. Он удивился. Откуда это может быть? Никто не должен. Никто не обещал, ни у кого ничего не просил. Хотя оно, конечно, и голодно было... И вот приносят ему посылочку. Небольшая. Холстинкой обтянута. В левом краю снизу надпись: «От Председателя Совнаркома РСФСР Ленина В. И.». Товарищ Ровио даже смутился. Что бы это могло быть? В первую минуту даже не решился распечатать посылку. Потом самосильно взялся, по шву холстинку разорвал — фанерный ящичек; фанерный ящичек разломал, оттуда и выпало... Да. И вышло оно, что товарищ Ленин Владимир Ильич для сына Ровио строительный материал и заводной автомобиль, игрушки то есть, прислал. Не забыл. Вспомнил. В порядке прений в записную книжечку записал и после заключительного слова догадался. А ты

припомни, какое время было, какие дела шли — война, голод, мор, четырнадцать держав, а он каждого ребенка в уме держал... Это ли не в пример нам, занятым людям...

Записав рассказ и не зная, чистый ли это вымысел или у легенды есть фактическая подоплека, я решил спросить само действующее в ней лицо.

— Ну и народец! Скажешь по секрету одному, а слышат все! — усмехнулся Густав Семенович.— Правда!

Не случись мне тогда встретиться с той женщиной в Карелии, разве не ломал бы я себе голову над тем, что может означать в «заметках и планах выступлений на III конгрессе» Ленина, опубликованных впервые в Собрании сочинений тридцать лет спустя,— после строк «Правые сплошь неправы, левые свою ошибку... превратили в теорию...» — такая запись:

«NB. *Ровио* (Питер). Достать игрушек.
(7 лет)».

— Мало ли о чем я не написал,— возразил Ровио на мой упрек в том, что он не написал об этом, да и о многом другом, о чем рассказывал мне.— Нет часа свободного. А потом и другие причины... Вот вы спрашиваете, почему я не назвал Артура Блумквиста? Обозначил его одной буквой. Да потому, что в дни рабочей революции Блумквист вошел в революционный совет как представитель рабочих, говорящих по-шведски, и стал членом коллегии, управлявшей железной дорогой. «В награду» после нашего поражения белые приговорили его к смертной казни. Потом заменили пожизненным заключением. Так вот, чтобы ненароком не повредить другу, я в своих воспоминаниях и не назвал его имени. И вам не советую.

Через десять лет после разговора с Ровио я встретился с Артуром Блумквистом в день Красной Армии, 23 февраля сорок пятого года, в самом большом зале Хельсинки — Мессухале.

Красноармейский ансамбль песни и пляски Александрова давал свой первый зарубежный концерт.

Благообразный, осанистый старик с седой бородой Артур Блумквист и его жена Эмилия сидели в первом ряду почетных гостей.

Пожизненное заключение обернулось для него после нескольких амнистий пятилетним заключением...

За это время квартира в доме железнодорожников,

конечно, была утрачена. Эмилия уехала в Вааса, где работала подавальщицей в кооперативной столовой.

После тюрьмы Артур уже не смог вернуться на свою должность паровозного машиниста. Он стал трамвайным вагоновожатым в Хельсинки. А перед войной вышел на пенсию.

— Пенсия-то у вагоновожатых куда меньше, чем у паровозных машинистов! — сетовала Эмилия по дороге домой, когда вместе с товарищем мы провожали стариков после концерта.

Жили они в доме, принадлежащем коммунальному транспорту...

Прощаясь, я подарил Эмилии маленькую баночку черной икры. Блумквисты оба вдруг дружно засмеялись...

— Теперь-то я не попаду впросак,— сказала Эмилия, вытирая слезы.

И тут я узнал, что когда к их жильцу Константину Иванову вдруг приехала жена Надежда Константиновна, она попросила хозяйку открыть привезенную из Питера баночку.

Эмилия подумала, что это особая черная вакса, взяла сапожную щетку и, держа в одной руке щетку, в другой баночку, вошла к Ивановым, чтобы узнать, как такой ваксой полагается чистить обувь.

И только по испугу на лице Крупской она поняла: дело не ладно...

Но откуда Эмилия могла знать, что в баночке не вакса, а черная икра? Она ее первый раз в жизни видела!

— С продуктами было тогда очень-очень трудно!

Впервые за все пребывание у них Ленина Эмилии удалось в тот вечер по случаю приезда его жены к черным сухарям и соленой рыбе достать немного сливочного масла.

— А икра была очень вкусная!

К сожалению, в назначенный для второй встречи с Блумквистом срок я прийти не мог. За день до свидания получил срочное предписание прибыть в редакцию своей фронтовой газеты. Карельский фронт перебрасывали на Дальний Восток — предстояла война с императорской Японией.

Когда через десять лет я снова побывал в Финляндии, Блумквиста уже не было в живых. Эмилия же переселилась в загородный дом для престарелых.

Вместе с Сюльви Килике Кильпи мы поехали в рабочий район, на Тееленкату, но смогли только осмотреть мрачный внутренний двор четырехэтажного дома, куда выходили окна квартиры, где жил у Блумквистов Ленин. Нынешние жильцы отсутствовали, и дверь была заперта.

— В этом доме Ленин завершил работу «Государство и революция»,— сказала Кильпи,— а как только книга вышла, прислал ее Блумквисту из Петрограда с дарственной надписью. И хотя старикам, впрочем, тогда они не были стариками, пришлось пережить такие тяжкие годы, когда они не могли никому даже шепнуть, что скрывали у себя «опасного» человека, Артур сохранил книгу до конца дней.

Комнату, в которой Ленин писал эту книгу и свои исторические письма в Центральный Комитет — «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание»,— вернее, обстановку ее я все же увидел в Тампере, в Музее Ленина, куда ее, как и свой экземпляр «Государства и революции», подарили Блумквисты.

Простой дешевый письменный столик: вместо тумбочек на коротких ножках — с обеих сторон по два ящика с металлическими ручками. Слева и справа от стола на высоких деревянных подставках стеклянные вазочки для цветов. В них всегда живые цветы. А когда Ленин поднимал голову от стола, перед его глазами было выходящее во двор окно с незатейливыми тюлевыми занавесками. Справа от письменного стола круглый столик с кружевной скатеркой и над ним на стене коврик с аппликацией, изображающей берег ясного синего озера с зеленой раскидистой березой на первом плане.

А повыше коврика по обе стороны в темных прямоугольных рамках овалы увеличенных фотографий, с которых смотрят строгие серьезные лица рабочего-железнодорожника и его жены. Не старые, семидесятилетние, какими увидел их я, а совсем молодые, двадцатилетние.

И все же в портрете новобрачной можно было угадать ту пожилую женщину, которая через сорок лет с легкой обидой вспоминала о втором приезде Крупской в Хельсинки. Эмилия расстаралась тогда как только могла — приготовила ужин. Но ни Крупская, ни Ленин даже не присели к столу. Они о чем-то долго и горячо разговаривали, потом оба ушли и, вернувшись поздно вечером, так и не прикоснулись к еде.

— И куда только они ходили! — восклицала Эмилия.

Сопоставив свои давние записи, я мог бы рассказать чете Блумквистов, куда уходили Константин Иванов с повязанной платочком Агафьей Атамановой...

Тем ранним сентябрьским вечером они заявились в дом на площади Хаканиеми к не ожидавшему такого визита Ровио.

Заметив, что хозяин встревожился, Владимир Ильич стал оправдываться:

— А мы вполне конспиративно, под ручку. Никто не заподозрит преступника в человеке, который ведет под руку даму и нашептывает ей разные слова.— И сразу же посерьезнев: — Конспирация так конспирация! Мне нужен финский паспорт, краска для бровей, парик и пристанище в Выборге. Не позже чем послезавтра я должен быть там!

Хотя Ровио и знал, что не было дня, когда бы Ленин не томился своей отдаленностью от событий, от Питера, но столь категоричное решение об отъезде застало его врасплох. К тому же он обещал председателю парламента Кулерво Маннеру и лидеру социал-демократической фракции Отто Куусинену свидание с Лениным...

— Ладно, паспорт завтра у вас будет. Косметика тоже! А вот с париком как быть? Необходима примерка... Ну, что ж, соединим приятное с полезным! — и он принялся названивать по телефону.

Переговорив с кем надо, Ровио объявил:

— Утром приведу к вам на Тееле Куусинена, а парикмахера нельзя ни сюда, ни к Блумквисту вести — встретимся после обеда на квартире тальмана. Он очень хотел повидаться с вами перед заседанием.

...Кулерво Маннер был чрезвычайно радушен.

— Здравствуйте! — Это единственное слово, которое он знал по-русски.— Переведи, пожалуйста,— обернулся он к Ровио,— что я горд оказанным мне доверием.

— Если не хочешь оконфузиться, обойдись без бархатных фраз. Перед тобой не Керенский,— отрезал Ровио.

Зато он охотно перевел слова Маннера о том, что в двенадцатом году, будучи редактором «Туомиес», тот сблизился с Шотманом.

— Это, кажется, был тогда член вашего ЦК и правления нашей партии одновременно.

Случалось, что в узком дружеском кругу Шотман и Маннер частенько выезжали за город, и во время этих прогулок Шотман рассказывал ему о русских большевиках, об их борьбе и, разумеется, о Ленине.

— Так что я заглазно знаком с вами уже пять лет!..

Парикмахер из Дома рабочих явно запаздывал...

Ленин подошел к книжным полкам и стал разглядывать пестрые корешки.

— Нет ли у вас «Гражданской войны во Франции»?

Этой работы Маркса среди книг Маннера не оказалось.

— Жаль... Она мне нужна для работы...

Маннера поразило, что, преследуемый, вынужденный менять квартиры и ежечасно подвергаться опасности, Ленин продолжает серьезно работать...

— Постараюсь достать вам эту книгу...

Разговор перешел на финские дела.

Если об утренней встрече с Куусиненом Ровио ничего рассказать не мог, речь шла на немецком,— то здесь, переводя, он ни на минуту не терял нить беседы.

— Не признали роспуск сейма? Шаг правильный. Ну, а дальше? Не сделав следующего шага, вы даете карты в руки Керенскому, как бы негласно соглашаетесь на переговоры, на компромисс. А ведь за вами весь прекрасно, как нигде, организованный пролетариат, большинство народа не только в Гельсингфорсе, но и во всей стране, в парламенте... Если бы мы, большевики, оказались в такой ситуации,— а я уверен, это не за горами,— то в первый же день приняли бы и провели такие законы, что никакие превратности, никакой разгон, никакие поражения не могли бы их стереть. И в этом была бы наша историческая победа. Мир — солдатам. Земля — безвозмездно крестьянам. Контроль рабочих над производством. Равенство и право на свободное самоопределение угнетавшимся нациям!..

Вот примерно о чем говорил Ленин с внимательно слушавшим его Маннером...

А парикмахера все не было и не было. Ровио взглянул на часы и, прервав перевод, позвонил в Дом рабочих... Оказывается, парикмахер пьян в стельку.

— Черт побери! — взяв со стола номер «Хельсингин Саномат», Ровио быстро просмотрел столбцы объявле-

ний и нашел телефон театрального парикмахера, делавшего парики.

— Да, я принимаю заказы,— ответил тот,— могу сделать любой на любую голову, только заказчик должен самолично явиться. Снять мерку. Сегодня мой день расписан по часам, завтра утром...

И хотя в своих воспоминаниях Ровио довольно подробно описал сцену у парикмахера, он не сказал, что в тот же день Маннер созвал экстренное заседание сейма.

Назначенный Временным правительством новый финляндский генерал-губернатор Некрасов наложил печать на двери сейма... Она должна была заменить солдат, ибо в гарнизоне уже не было ни одной воинской части, на которую губернатор мог опереться.

Маннер при стечении толпы, пришедшей поддержать своих депутатов, взломал печати и в полупустом зале — депутаты буржуазных партий были послушны генерал-губернатору — открыл заседание парламента. Один за другим сейм утвердил важнейшие законы о восьмичасовом рабочем дне, о демократических коммунальных выборах, об ответственности членов правительства перед народным правительством, о равноправии евреев, о страховании рабочих!

Как, наверное, радовался Владимир Ильич, читая через день уже в Выборге известия об этом событии. Так же, наверное, как огорчался, негодуя на непоследовательность финских социал-демократов, которые летом признали незаконным роспуск сейма и назначение новых выборов, а сейчас все же решили принять в них участие.

...Чем больше я присматривался в Петрозаводске к работе Ровио, удивляясь его энергии, тем непонятнее становился отзыв о нем Ленина, данный им в письме к Смилге, председателю областного исполнительного комитета Советов армии, флота и рабочих в Финляндии, которому Ровио несколько раз устраивал свидания с Владимиром Ильичем у себя на квартире и у Блумквиста.

В послании, написанном уже из Выборга вслед за письмом ЦК партии «Большевики должны взять власть!», Ленин развертывал конкретно, по пунктам программу того, что нужно делать, чтобы войска и флот Финляндии

стали боевым резервом намеченного им восстания в Питере.

«Вам надо... не терять времени на «резолюции», а *все внимание* отдать *военной* подготовке финских войск + флота для предстоящего свержения Керенского... мы *ни в коем случае* не можем позволить увода войск из Финляндии, это ясно. Лучше идти *на все,* на восстание, на взятие власти — для передачи ее Съезду Советов»...

Ленин требовал наладить нелегальный транспорт литературы из Швеции: «Без этого все разговоры об «Интернационале» *фраза...»* И если нельзя этого сделать с помощью солдат на границе, то следует организовать правильные поездки «хотя бы *одного* надежного человека в одну местность, где я начал налаживать транспорт при помощи *того лица, у коего я жил один день* до выезда в Гельсингфорс (Ровио его знает)».

Речь шла о Вийке.

На случай, если Смилга сможет выехать в Выборг, чтобы встретиться с ним, а это надо делать быстрее, «ибо я могу уехать немедленно», Ленин писал: «заставьте Ровио спросить по телефону Хуттунена, можно ли видеть «сестре жены» Ровио (сестра жены = Вы) «сестру» Хуттунена (сестра = я)»...

И вот в этой-то боевой директиве отдельным пунктом из десяти значится: «Имейте в виду, что Ровио прекрасный человек, но *лентяй.* За ним надо смотреть и *напоминать* два раза в день. Иначе не сделает».

Хотя всей своей деятельностью Ровио словно стремился опровергнуть эти строки, друзья все равно, подшучивая, напоминали о них.

Однажды и я, набравшись смелости, сказал, что хочу задать щекотливый вопрос. По моему смущению он сразу догадался, о чем пойдет речь.

— Я уже удивлялся вашей выдержке: почему так долго не спрашиваете? — ответил он.— Кстати, я сам из рук в руки передал это письмо адресату.

— Видите ли, Владимир Ильич был человек требовательный, особенно в делах, которые считал важными,— объяснил Ровио.— Одним из таких дел была доставка ему питерских газет. «Ни в коем случае не пропустите их»,— предупредил он меня в первый же вечер. Ежеднев-

но я совершал прогулку на вокзал за газетами. Получив целую кипу газет всех партий (у меня до сих пор сохранился чемоданчик, в котором я их таскал), Ленин сразу же принимался за чтение с карандашом в руке. Затем садился писать и работал допоздна. На следующий день Владимир Ильич передавал написанное для пересылки в Петроград...

На вокзале Ровио вручал Кэсси Ахмала корреспонденцию Ленина. Так было все время, пока Владимир Ильич жил в Хельсинки.

Но вот однажды поезд из Питера намного опоздал, и газет на вокзале не оказалось.

— Освободился я в тот день поздно (в комиссии обсуждалось побоище у биржи!) и решил, что нечего зря беспокоить Ленина: мол, объясню все завтра и заодно доставлю корреспонденцию, которую привезет Ахмала. Я не знал, что из-за болезни дежурство Кэсси перенесли на следующий день. Вот и вышло, что я принес Владимиру Ильичу газеты и почту сразу за два дня. Как он рассердился! «Вы должны были прийти и сообщить, что газет нет и почему нет! Это просто леность вас заела! Можете мне поверить, вы станете подлинным революционером только тогда, когда избавитесь от лени»,— говорил он, расхаживая по комнате и не желая слушать объяснений.

— Вот и все,— развел руками Ровио. И, помолчав немного, добавил: — Я потом говорил Смилге,— если бы Владимир Ильич знал, что тот не выполнил его требования, ему досталось бы куда больше, чем мне! Ведь Ленин требовал и даже двумя жирными чертами подчеркнул, чтобы, прочитав письмо, Смилга немедля сжег его. Тогда никто бы, кроме нас двоих, не знал, каким грехом попрекнул меня Ильич. А он взял и вырезал из послания Ленина только имя адресата и на этом успокоился.

Впрочем, от недисциплинированности Смилги, хотя мне это и приносит мелкие огорчения, история, конечно, выиграла...

Сам Ровио, человек на редкость правдивый и скромный, такого себе не позволил бы. Хотя одну записку, написанную косым размашистым почерком, он не сжег. Сохранил. Правда, Владимир Ильич писал ее уже на бланке Предсовнаркома РСФСР, и на ней не только не

стоял гриф «Секретно», а наоборот, она как раз предназначалась для предъявления людям, Ровио незнакомым.

Это было написанное еще с «и» с точкой и ятями удостоверение.

> «Прошу все советские учреждения и военные власти оказывать всяческое содействие подателю, товарищу Густаву Ровио, лично мне известному и заслуживающему **полного** доверия».
>
> Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин)».*

Написал же его Владимир Ильич после беседы с Ровио о финских делах и полушутливого, полусерьезного рассказа о том, что многие русские, зная, что Ровио был в Хельсинки хоть и «красным», но все-таки «полицмейстером», относятся к нему с недоверием, а некоторые финны, политэмигранты, по-прежнему считают, что во время «блокады биржи» милиция пустила в ход дубинки не без его попустительства.

Удостоверение это Ленин написал двадцать девятого августа, накануне того несчастного дня, когда на него было совершено покушение.

— Значит, вам Ровио сам рассказал о письме к Смилге? — удивился Шотман.— В двадцать пятом году, когда оно попало в печать, он расстраивался. Не утешало даже то, что Ленин назвал его прекрасным человеком. Но Ровио — добряк и на Смилгу не очень рассердился, а только сетовал, что сам, выполняя указания Ленина, сжег не одну его записку. Но можно понять и раздражение Ленина: ведь это произошло в напряженнейшие дни Корниловского мятежа.

Все финские друзья, встречавшие Ленина в дни его третьей, последней эмиграции, поражались тому, что у него не было и тени беспокойства за себя, ни малейшего признака подавленности, нервозности, подозрительности, которые, по их мнению, должны сказываться в человеке, окруженном облавой.

Ленин же не только не был похож на травимого, наоборот, от него, казалось, все время шли заряды энергии, уверенности. А если и бывал он озабочен, то лишь тем, правильно ли отреагируют товарищи в Питере на

быстро меняющуюся обстановку, на крутые, неожиданные повороты истории.

— Да у него и времени не оставалось подумать о себе, ведь он все время поглощен был работой,— ответил на мой вопрос Ровио.

Об этом же говорили и Лююли Латукка, в чьей комнате он жил в Выборге (с ней я встречался в Ленинграде в 1931 году), и ее младшая сестренка Хильда Хаарала, в гостях у которой в Хельсинки мне довелось побывать в 1967 году.

И все же трудно постичь, как человек, вынужденный постоянно менять квартиры, жить в шалаше в Разливе, ютиться в дощатой пристройке в Ялкала, переезжать из Лахти в Мальми, оттуда — в Хельсинки, где он тоже сменил три квартиры, пока перебрался в Выборг, как смог он за какие-нибудь три месяца сделать столько! Три объемистых тома составляют его работы, написанные в те месяцы. Это теория, стратегия революции, тактика восстания, оперативное руководство им, программа действий после победы. И все они (не говоря уже о не закрепленных на бумаге встречах, беседах и сожженных из-за конспирации письмах) — словно единым дыханием созданные,— подготовка тех десяти дней, которые в Октябре потрясли мир.

В НОЧЬ ПОД НОВЫЙ ГОД

Вечером шестого ноября в Гельсингфорсе председатель областного комитета получил из Питера от Свердлова долгожданную условную телеграмму: «Высылай устав». Это означало: «восстание начинается, ждем подкреплений!»

В три часа ночи под торжественные звуки «Марсельезы» от перрона Гельсингфорсского вокзала «отвалил» первый эшелон вооруженных матросов. А на Железнодорожную площадь всю ночь подходили все новые и новые колонны балтфлотцев с линкоров «Севастополь», «Гангут», «Полтава», с крейсеров «Россия», «Диана». Высеченные из красного гранита великаны-викинги освещали своими фонарями главный вход, по которому бушлатный поток вливался в гулкое здание вокзала.

В пять утра отошел второй эшелон, а в восемь — тре-

тий! Кроме флотских его переполняли и солдаты Свеаборгской крепости.

А сам Ровио вместе с Куусела ранним утром на набережной сквозь пелену смешанного с дождем снега смотрел, как один за другим снимаются с рейда боевые корабли. Ветер срывал с их скошенных труб дым и относил далеко в сторону. Это покидали военную гавань эскадренные миноносцы «Самсон», «Забияка», «Меткий» и «Деятельный», держа курс на Питер...

Через несколько дней, когда Куусела гастролировал в провинциальном городке Усикюля, его позвали к телефону. Голос Ровио, хотя тот и не назвал себя, был ему хорошо знаком.

— Твой друг стал премьер-министром России! — прозвучало в трубке.

Куусела успел лишь ответить стихом «Калевалы»: «Я давно подозревал, что он и есть тот «Великий, который придет с севера»,— как разговор прервался.

Ровио позвонил ему сразу после того, как лидеров левых социал-демократов ознакомили с подробностями штурма Зимнего, сообщили, что власть в России перешла к Советам и Ленин возглавил правительство.

Вскоре в Финляндии не только те, кто ратовал за революцию, но и все остальные убедились, что слово Ленина не расходится с делом.

* * *

...В просторной высокой комнате с голыми, выбеленными когда-то, но побуревшими от времени стенами было холодно и неуютно.

Лампочка без абажура, свисавшая с потолка, бросала неверный, рассеянный свет на два простых деревянных стола, несколько придвинутых к ним стульев с гнутыми спинками, на потертый плюшевый диван и лица трех штатских мужчин, примостившихся на нем рядом с дремлющим солдатом. То один из ожидавших, то другой с нетерпением взглядывал на большие круглые часы на стене. Стрелки медленно, но неуклонно двигались вверх.

Время близилось к полуночи.

Хотя трое приезжих — делегаты Финляндского правительства — были в зимних пальто, а один даже в

шубе на лисьем меху, холод пробирал их до костей. Пальцы на ногах стыли. Не спасали и высокие галоши, приходилось то и дело вскакивать с дивана и быстро ходить по комнате, чтобы хоть самую малость согреться.

За деревянной перегородкой, которой разделена была комната, заседало правительство революционной России.

Может, зря мы приехали, мелькнуло сомнение у коренастого широкоплечего человека в шубе. Если бы не густые мохнатые брови да щетка усов, что топорщились над гладким подбородком, его упрямое лицо казалось бы наскоро вырубленным из одного куска дерева.

Не так представлялось ему все оттуда, из Хельсинки. И никогда не думалось, что Новый год придется встречать не за праздничным столом с друзьями, а в нетопленной комнате Института благородных девиц, в Смольном, этом нынешнем прибежище революционного правительства России, которое он не признавал и не хотел признавать. Но... обстоятельства.

— Интересно, каким годом будет датирован ответ, семнадцатым или восемнадцатым? — вскинув глаза на часы, спросил шагавший по комнате высокий, с офицерской выправкой, сухопарый человек в пенсне, статс-секретарь Иохан-Алексис Энккель, ведавший иностранными делами в финляндском сенате.

— Думаю, что семнадцатым! — ответил Карл-Густав Идман, самый молодой из делегатов, начальник канцелярии статс-секретаря.— Русский календарь отстает от нашего на тринадцать дней.

— Удобно ли войти в пальто и галошах, когда нас пригласят в кабинет?

— Конечно, их надо будет снять.— В этом-то Свинхувуд не сомневался.

Нет, ни за что по своей воле не попросил бы он Советы признать независимость Финляндии. Ведь через неделю-другую, ну через месяц, не дольше, это незаконное правительство падет. А что решит Учредительное собрание, где большинство,— это ему уже известно — против такого признания?!

Не желая иметь дело с большевиками, чей пример так заразителен для финских социалистов, давним врагом которых он был, Свинхувуд, возглавив сенат, обратился почти ко всем странам, даже таким отдаленным

от Суоми, как Иран, Венесуэла, Уругвай, с нотой, в которой призывал считать Суоми независимой.

Не послал он такой ноты, несмотря на требование самой большой фракции сейма — социал-демократической, только правительству Советской России, в состав которой Финляндия еще входила.

Объясняя столь необычный свой шаг, Свинхувуд не скрывал пренебрежения к Советам:

«В последнее время в России не было правительства, которое было бы признано как в своей стране, так и за границей,— значилось в этих нотах...— Русскими комиссарами в Финляндии солдаты назначили какого-то матроса и рабочего, но, поскольку основные законы Финляндии не предусматривают назначенных таким образом представителей интересов России, Финляндское правительство не могло вступить ни в какие сношения с ними...»

Закон, на который ссылался этот бывший судья, верноподданнически предусматривал, что «представитель интересов России» назначался лишь с высочайшего императорского соизволения...

Но и ближние страны, и дальние, и страны Антанты, и воюющая с ними Германия с союзниками отказались признать суверенность нового государства, пока это не сочтет нужным сделать Россия.

Когда финская делегация, во главе с Паасикиви, прочитала шведскому королю декларацию о независимости Суоми, он, ничего не ответив «по существу», подчеркнул, что «важным обстоятельством в этом вопросе является возможность соглашения между вашей страной и Россией...»

Такие же и даже более решительные отказы Свинхувуд получил и от других правительств.

Даже сам кайзер Вильгельм, а уж на него он полагался, как на каменную стену, когда финны обратились к Германии, предложил канцлеру Кюльману «рекомендовать им запросить об этом у Ленина»...

И пришлось, скрепя сердце, «вступить в сношения с каким-то солдатом» — с председателем областного Совета солдатских, матросских и рабочих депутатов Финляндии.

После визита-«разведки» статс-секретаря Энккеля и его помощника Идмана к Ленину Свинхувуд надел шубу,

сшитую в пятнадцатом году, когда он отправлялся в ссылку, в Колывань, глухой заштатный городок Сибири, и поехал вместе с ними в Петроград, в Смольный.

Шуба эта приносила ему, считал Свинхувуд, счастье,— ведь уехал он в ней как ссыльный, в ней же до срока вернулся, после Февраля семнадцатого.

Конечно, он не верит в счастливые приметы, но говорят, что они приносят удачу даже тем, кто в них не верит. И то, что эта шуба сейчас у него на плечах, казалось добрым предзнаменованием. Во всяком случае ему теплее, чем его спутникам. Но... И опять Свинхувуда обуревали сомнения: возможно, что и сейчас они получат отказ. Одно дело писать статьи о праве Финляндии на самоопределение в противоправительственных газетах, иное — поставить свою подпись под законом, сидя в кресле премьер-министра. Отказ этот будет страшен. Мало ли что болтают эти сообщники большевиков Куусинен, Сирола, Маннер или Вийк! Разве не было случаев, когда, взяв в свои руки власть, политики поступали совсем иначе, чем обещали? Да сколько угодно примеров!

Не случайно ведь по Хельсинки уже носятся вполне достоверные слухи, что большевики и не помышляют признавать Суоми суверенной!..

Высокий грузный человек с короткой седеющей бородкой вышел из кабинета.

— Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома,— шепнул Свинхувуду Идман.

Дверь в кабинет осталась приотворенной, и финны увидели, как, сидя на венских гнутых стульях в облаках табачного дыма, не знакомые им еще по портретам народные комиссары и Ленин о чем-то оживленно разговаривают, спорят.

— «Наверное, наш вопрос»,— подумал Энккель и спросил возвращавшегося в кабинет с какими-то бумагами Бонч-Бруевича:

— Скоро?

— Да! Да! — кивнул тот и, войдя в кабинет, протянул Ленину лист бумаги.

Дверь затворилась.

В комнате, где ожидали финны, сейчас сидели еще

две молоденькие секретарши, несколько матросов и красногвардейцев, пришедших сюда по своим, непонятным финнам, важным делам.

Женщина в косынке пронесла вязанку дров. Даже издали было видно, что они сырые. Значит, кабинет Ленина все-таки отапливается! — проводил ее взглядом будущий доктор юридических наук, будущий министр иностранных дел Карл Идман.

В отличие от своего шефа, он рассчитывал, что все пройдет гладко. Ведь третьего дня, 28 декабря, они с Энккелем уже побывали здесь и встречались с Лениным.

Идману все было любопытно: и длинные широкие коридоры, и спешащие куда-то матросы и красногвардейцы. Среди народа, толпившегося в коридорах, были женщины, даже дети и, что еще больше удивляло Энккеля,— интеллигенты с «чеховскими бородками» и в пенсне.

Длинные столы в коридоре завалены книгами, брошюрами, газетами, которые тут же раскупались.

Идман на ходу купил парочку брошюр.

Пройдя ряд бывших классных комнат, они оказались в приемной Ленина. Пока Ленину сообщали о делегации, вошли две женщины в белых поварских колпаках и попросили секретаршу напечатать отчет об использованных ими продуктах.

— Смотри, машинистки печатают отчет этих поварих так, будто государственный документ,— шепнул Идман Энккелю.

Тот пожал плечами.

Из кабинета вышел Ленин и передал второй машинистке какую-то бумажку, при этом он несколько раз мельком окинул взглядом финнов, а они с любопытством разглядывали человека, от решения которого зависели судьбы их родины. Ленин вернулся в кабинет; машинистка, перестукав записку, вместе с другими бумагами передала ее молодому худощавому, подтянутому человеку. Горбунов (это был он) потребовал, чтобы она заново перепечатала бумагу, машинистка горячо заспорила с ним, грозила пожаловаться в какую-то комиссию.

— Бумага должна быть отпечатана по форме!

— Для этого случая никакой формы не предусмотрено,— настаивала машинистка.

Чем кончился этот поразивший его спор, Идман не знает, так как их пригласили в кабинет.

Сбросив с плеч пальто, миновав кудрявого часового у двери, они вошли в ничем не отличавшуюся от других комнату. Навстречу им из-за стола поспешил Ленин.

— Извините, что пришлось долго ждать! Садитесь, пожалуйста!

Энкель, государственный секретарь, подробно рассказал, как в результате последних выборов в сейм правительство возглавил Свинхувуд, как сейм решил провозгласить независимость Финляндии. А дальше его рассказ уже больше походил на извинения — почему сенат не сразу обратился к Совнаркому.

Все предшествующие правительства после Февраля утверждали, что, мол, только Учредительное собрание правомочно решать, будет Суоми самостоятельна или нет. Но теперь неизвестно, соберется ли вообще Учредительное собрание, поэтому-де сенат и решил послать их с миссией к Советскому правительству.

— Учредительное собрание будет созвано в ближайшее время,— ответил Ленин, внимательно слушавший Энкеля,— но, конечно, сенат должен сам решить, как ему действовать и к кому обращаться. Если же он обратится к Совнаркому, тот несомненно признает независимость.

— Какая должна быть процедура?

— Дело простое. Ваше правительство обратится к нашему с письмом, на которое мы тут же ответим,— сказал Ленин.— Правда, по существующему у нас порядку (тут Энкель и Идман насторожились), решение Совнаркома должно быть утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Но я уверен, я ручаюсь, что и здесь препятствий не будет.

После обстоятельного разговора, полностью вместившего часы ожидания, финны на другой день вернулись в Хельсинки и доложили о своей беседе с Лениным.

В тот же день сенат утвердил письмо, адресованное «Правительству России», о том, что «освобождение русского народа принесло свободу также финскому наро-

ду» и о том, что «Финляндия ждет... признания Россией своей независимости».

Написанное Свинхувудом послание это, столь непохожее по своему тону на ноты, которые он еще недавно разослал по всему свету, кончалось так: «Финский народ глубоко надеется, что отношения дружбы и взаимного уважения между этими народами сохранятся навсегда»...

К вечернему поезду прицепили салон-вагон, и делегация, возглавляемая Свинхувудом, выехала в Петроград.

Бонч-Бруевич утром, когда Идман вручил ему письмо, посоветовал обращение к безымянному «правительству России», как не без умысла обозначил Свинхувуд, заменить точным адресом «Совету Народных Комиссаров», и после того, как это было сделано, делегацию попросили прибыть в Смольный, к вечернему заседанию Совета Народных Комиссаров.

И вот теперь в приемной они ждали конца этого заседания.

А там, в соседней комнате, после прочтения письма Ленин рассказал, что еще за день до миссии Энккеля и Идмана у него были председатель и вице-председатель финлядской социал-демократической партии, его давние знакомые Кулерво Маннер и Эдвард Гюллинг. С ними приехал и видный член правления партии Карл Вийк[1]. Они передали Владимиру Ильичу письмо их Центрального комитета, где говорилось, что «среди финского народа теперь нет разных мнений насчет того, что госу-

[1] В январе сорок пятого года я познакомился со стариком Вийком, недавно выпущенным из тюрьмы, куда его в годы Отечественной войны упрятало финское правительство за антивоенную деятельность.

Избранный только что председателем Демократического союза Финляндии, одним из основателей которого он был, Вийк не имел свободной минуты. К тому же переводчики тогда были все нарасхват,— так что из наших случайных разговоров я мог уразуметь лишь, что все, относящееся к встречам и беседам с Лениным, у него давно записано, но ему самому за давностью лет очень трудно разобраться в записях потому, что почерк его — словно курица наследила — разбирают только два старых наборщика.

Через несколько лет, уже после смерти Вийка, снова побывав в Суоми, я узнал, что вдова передала его рукописи в «Архив рабочего движения».

Хорошо бы покопаться в этих бумагах какому-нибудь нашему историку, знающему шведский язык.

дарственная независимость Финляндии должна быть осуществлена немедленно. Правда, мотивировка у разных партий разная. Финляндский рабочий класс желает этого с точки зрения народовластия, буржуазия же с националистической точки зрения»...

— Да, признание вашей независимости дело огромного, мирового значения! Мы не раз говорили об этом в августе в Хельсинки,— и Владимир Ильич повернулся к Карлу Вийку...

— Для нас это лучший способ,— подхватил Кулерво Маннер (беседа шла на немецком, а так как он говорил по-фински, его переводчиком был Густав Ровио),— вырвать у наших националистов их главное оружие — страх перед русскими шовинистами!

Впрочем, разве надо было убеждать Ленина в том, в чем он сам вот уже скоро двадцать лет страстно убеждал других.

— Разумеется, Финляндия будет самостоятельной, мы, большевики, не только не противимся этому, а, как вам известно, делаем все, чтобы помочь вам! — сказал тогда Владимир Ильич финским социал-демократам.

Конечно, с большей радостью он приветствовал бы независимую Финляндию, во главе которой стали бы не реакционные националисты, вроде Свинхувуда, а революционная социал-демократия. Это хорошо понимали и Кулерво Маннер, и Эдвард Гюллинг, и Карл Вийк.

Но как бы то ни было — большевики останутся верны себе, своим убеждениям и обещаниям!

Сейчас, вспоминая эту встречу, Ленин повторил:

— Наглядный пример, урок для больших и малых народов, угнетаемых кайзером, Британской империей, банкирами Франции. Для Индии, Ирландии! Для всего, веками порабощенного Востока!..

Если бы Свинхувуд, ожидавший в приемной решения Совнаркома, в ту минуту знал о визите Маннера и Гюллинга, он меньше сомневался бы в исходе сегодняшнего обсуждения.

Бонч-Бруевич положил на стол перед Владимиром Ильичем перепечатанный на плотной шелковистой бумаге ответ Совнаркома:

«Совет Народных Комиссаров в полном согласии с принципами права наций на самоопределение постановляет...»

Ленин внимательно перечитал документ, обмакнул перо в чернильницу, размашисто подписался: *В. Ульянов* (Ленин) — и передал ручку подошедшему к столу наркому.

— Мы встали один за другим,— вспоминал позднее об этой минуте бывший тогда наркомом юстиции Штейнберг,— и с чувством особого удовлетворения подписали признание независимости Финляндии. Мы знали, конечно, что нынешний герой Финляндии Свинхувуд, которого царь в свое время угнал в ссылку, был нашим общественным противником. Но поскольку мы освободили Финляндию от гнета России, в мире стало одной исторической несправедливостью меньше.

Стрелки на круглых часах сближались.

До полуночи не хватало пяти минут, когда снова отворилась дверь кабинета Ленина и вновь вышел оттуда Бонч-Бруевич с уже подписанной бумагой в руках... Улыбаясь, он подошел к делегатам Финляндского правительства.

Свинхувуд, Идман и Энккель поднялись с дивана...

Пробудился и прикорнувший в уголке его солдат.

Идман прочитал документ и перевел: «В ответ на обращение Финляндского правительства, ...признать независимость Финляндии».

Впервые за свою многовековую историю Суоми — сначала вотчина шведской короны, затем военная добыча двуглавого императорского орла, обрела свои суверенные права, становилась независимым государством. То, о чем только мечталось ее поэтам и пелось в песнях тысячеозерного края, то, за что ратовали ее лучшие сыны, становилось явью, закрепленной на четвертушке листа несколькими строками машинописного текста с четкой подписью — Ленин!

Изумленные в первую минуту тем, что признание получено так быстро и без всяких условий, делегаты растерялись оттого, что при свершении этого великого акта не было ни торжественных речей, ни грома оркестров. Все произошло так просто, буднично.

«Свинхувуд держал в руках долгожданный, определяющий судьбы нашей страны документ,— вспоминал потом Идман.— Все были несколько смущены. Но и над этим чувством возобладало другое, чувство огромной благодарности к тому, к первому, поставившему свою

подпись на этом признании, и правительству, которое он возглавлял».

Даже по прошествии нескольких дней в интервью, данном газете «Хувудстадсбладет», Свинхувуд признавался, что такое «быстрое решение» Советским правительством вопроса было для него «сюрпризом».

Бонч-Бруевич посматривал на финнов и уже собирался прощаться.

В то горячее время о дипломатическом «протоколе» не думали.

Нет, разумеется, надо ответить русским каким-нибудь жестом вежливости, выражением признательности.

— Мы желали бы повидать Председателя Совета Народных Комиссаров господина Ленина, чтобы выразить ему благодарность за этот благородный акт! — сказал от имени делегации Энккель.

— Это трудно осуществить... Он сейчас ведет заседание правительства...

— Повторите нашу просьбу,— сказал Свинхувуд Энккелю.

— Может, все-таки Ленин найдет несколько минут, чтобы выйти к нам? — спросил Энккель.

Бонч-Бруевич в раздумье постоял минутку и снова скрылся в кабинете, а Свинхувуд стал расстегивать пуговицы на шубе...

Заседание Совнаркома шло своим порядком.

Предстояло принять решение по докладу Главковерха Крыленко о положении на фронте и состоянии армии.

Решался и вопрос о национализации морского и речного флота.

Исписанный быстрым почерком Ленина листок с проектом декрета лежал перед ним на столе, когда Бонч-Бруевич наклонился к нему.

— Владимир Ильич,— извинившись, перебил он докладчика от Центроволги,— финские делегаты хотят лично поблагодарить Совнарком. Они просят вас выйти к ним.

— А можно обойтись без этого? — поморщился Ленин. Уж очень ему не хотелось встречаться со Свинхувудом.

— Никак нельзя! — настаивал Бонч.— Международная вежливость требует!

— Я сейчас вернусь. Продолжайте без меня,— сказал Ленин, выходя из-за стола.

Нет, так и не пришлось Свинхувуду и его спутникам снимать пальто и галоши...

Перед ними стоял Ленин, за спиной которого маячила грузная фигура Бонч-Бруевича.

— Ну что, довольны ли вы?— спросил Ленин после первых рукопожатий.

— Очень! Очень довольны! — в эту минуту от волнения ли, от неожиданности ли находчивый, грубоватый Свинхувуд растерялся. И только еще раз повторил:

— Очень! Очень довольны! Спасибо!

— Как дающий, так и принимающий понимали величие дара,— вспоминал об этой минуте много лет спустя единомышленник Свинхувуда, министр Энккель и тут же добавил: — Благодарность была скудной, не возросла она и в ближайшие годы.

Разговор в приемной шел на принятом тогда у дипломатов французском языке, но окружившие Ленина и делегатов солдаты, красногвардейцы и неведомо еще откуда появившиеся люди поняли, о чем идет речь. Сразу же вслед за Лениным они стали пожимать руки финнам, поздравлять их.

— Это мероприятие товарища Ленина я от всей души одобряю! — и матрос богатырского телосложения так сжал руку Идману, что тот едва не вскрикнул.

В радостной суматохе Ленин незаметно исчез из приемной. Впрочем, никто не заметил и того, как стрелки круглых часов сошлись на цифре двенадцать — родился Новый, восемнадцатый год.

САГА О ДВУХ ПОБЕГАХ

УБИЙСТВО НА ЛЬДУ

Строка в газете — как выстрел над ухом.

«Убийство товарища Куусинена».

Я взглянул на заголовок: «Красная газета», 1920 год. Февраль.

Газета сообщала: финская полиция опубликовала заявление о том, что агенту охранки Койвукоски было «приказано выследить политического преступника Куусинена и арестовать его».

Вблизи от Вааса на льду Ботнического залива Койвукоски увидел одинокого лыжника, уходившего в сторону Швеции, догнал его и, узнав в нем Куусинена, приказал вернуться. Тот не подчинился, и охранник выстрелом из браунинга убил его...

Все правдоподобно. В ту пору Отто Куусинен действительно был в Финляндии, в глубоком подполье. И тому, кто выдаст его, обещали награду в десятки тысяч марок.

Путь к шведскому берегу по льду залива у Вааса не превышает и сотни километров. И если в последнюю войну со Швецией Барклай де Толли провел там пешим ходом русские полки,—разве трудно умелому лыжнику повторить этот рейд?

Правдоподобно и вместе с тем невозможно!

Я огляделся — не пригрезилось ли все это мне, ведь не прошло и месяца, как сей много лет назад убитый человек выступал в Москве на конгрессе Коминтерна!

Но нет, все на месте — лампы с зелеными абажурами отбрасывают ровный свет на столы, за которыми в уютной библиотеке над книгами склоняются книгочии.

Эту поразившую меня телеграмму я нашел, перелистывая хрупкие пожелтевшие страницы комплекта «Красной Газеты», когда собирал материалы для своего романа «Клятва», посвященного финской революции.

Нет дыма без огня. Что же все-таки тогда случилось?

Ну что ж, спрошу у самого Отто Вильгельмовича, как ему удалось уйти от выстрела. И, конечно, при первой же встрече у него дома я задал этот вопрос. Но Куусинен недовольно отмахнулся.

— Ерунда! Такого никогда не было. Хвастливые выдумки провокатора. В Швецию я добрался летом и совсем другим способом,— пробурчал он.— Сейчас еще не время рассказывать об этом.

Лет через десять, побывав в Финляндии после войны, я уже знал, что телеграмма, напечатанная в свое время в «Красной Газете», точно воспроизводила то, что писалось в 1920 году в финской и шведской прессе.

И когда в феврале разнеслась тревожная весть о том, что Отто Куусинен убит сыщиком во льдах Ботнического залива, известие это глубоко потрясло трудовую Суоми.

Тысячи рабочих Хельсинки вышли на демонстрацию. Масса писем и телеграмм, осуждающих и выражающих возмущение, посыпалась из-за границы в адрес правительства.

Даже центральная газета правых социал-демократов сочла для себя выгодным поместить некролог, в котором говорилось о заслугах Куусинена, талантливого лидера рабочего класса, восхвалялись его «богатые природные дарования, сочетавшиеся с такой деятельной энергией», признавалось, что «он обладал такими теоретическими знаниями о социализме, что его с полным основанием считали наиболее видным теоретиком».

Мертвый, он казался им уже не опасным.

Назревал неслыханный скандал. Но то, что фашисты склонны были считать своей победой, на деле обернулось их поражением.

Как же все происходило на самом деле?

— Отто Вильгельмович,— снова спросил я, вернувшись из Финляндии в Москву,— полагаю, что сейчас уже настало время, когда рассказ о том, как вы тогда выбрались из Хельсинки, никому не повредит? Не правда ли?..

— Пожалуй,— согласился он,— но лучше пусть вам расскажет обо всем этом женщина, которая организовала побег. Зовут ее Айно, так же, как героиню «Калевалы», а фамилия Песонен.

ПРОЩАЙ, ХЕЛЬСИНКИ!

— Если бы вы только знали, как у меня упало сердце, когда я прочла в газете, что Куусинен убит! — с молодой энергией, как будто нет за ее плечами восьмидесяти лет, говорит Айно Песонен.— Ведь он был объявлен вне закона, и любой мог безнаказанно его прикончить. А я видела Отто перед этим дня за три или четыре. Мы вместе работали. Он писал, а я шифровала. И все-таки я поверила. Да! Да! — погрозила она кому-то пальцем.— Как же было не поверить в это другим?..

Куусинен был душой тройки, которая руководила революционным подпольем в стране. В мои обязанности входило также подыскивать для него безопасное жилье и время от времени менять, чтобы не пронюхали полицейские. За год я сменила ему девять квартир. Нелегкое дело! Но я, кажется, справлялась. Правда, иногда стоило запоздать на день,— и все было бы потеряно. Но каждый раз спасало его бесстрашие и хладнокровие. Один раз, когда полицейские уже окружили дом, где он жил у кондуктора трамвая, Отто ушел, переодевшись в костюм хозяина. Спокойно, не торопясь, прошел мимо полицейского, дежурившего в воротах, и даже спросил у него, который час. Полицейский взял под козырек и ответил, не заподозрив в трамвайном кондукторе лидера финских коммунистов. И вдруг Отто, не предупредив, ушел из Хельсинки на север?! Это меня, признаюсь, озадачило и даже немного обидело,— рассказывала Айно.— Мне было очень жалко его. И я тревожилась, как дальше пойдет дело, но через два дня пришел Вилле Оянен — он был тогда молодой, красивый, сильный,— передал пачку писем для шифровки и сказал: «Привет тебе от убитого!»

Я так обрадовалась, что чуть в пляс не пошла.

Через несколько дней левые газеты опубликовали письмо Куусинена «Это ошибка, будто я уже арестован и убит», в котором он, рассказывая о положении в стране, с беспощадным сарказмом расправлялся с теми, кто

вдохновлял на подобные «подвиги» полицию, кто потопил в крови рабочую революцию и теперь стремится развязать войну против Советской России, принять участие в интервенции, чтобы в награду получить «зеленое золото» — лесные богатства Карелии.

«Я нисколько не хотел дразнить вас. Вы и ваше воинство давно в таком состоянии, когда люди уже не думают о том, что творят.— Так заканчивал Куусинен свое письмо.— Я ваш враг, столь же определенный, как и рабочий класс Суоми. Если вы меня схватите, то, как я догадываюсь, вы меня убьете. Если вы попадете ко мне в руки, я предам вас суду организованных рабочих. Очень возможно, что вы доберетесь до меня раньше, чем я до вас. Но это не так уж важно...»

— Как это так — неважно! — возмутилась Айно. Ведь партия поручила ей сделать все, чтобы такого не произошло, чтобы полиция не добралась до него никогда.

Письмо произвело сенсацию. В парламенте был сделан запрос. Обстановка накалялась.

Это случилось зимой. А уже в мае в Хельсинки в Рабочем доме собрался Учредительный съезд Социалистической рабочей партии, проект программы которой составил Куусинен.

Новая партия должна была быть легальной и массовой, хотя, по существу, ею руководили из подполья коммунисты.

Едва возникнув, она объединила тридцать тысяч рабочих.

Однако на второй день работы съезда, как только принято было решение примкнуть к Коммунистическому Интернационалу, полицмейстер отдал приказ закрыть съезд и арестовать делегатов.

Так все участники его прямо с заседания угодили в тюрьму. Но, к удивлению полиции, Куусинена среди них не обнаружили. И хотя делегаты оказались за решеткой, не прошло и месяца, как в Хельсинки собрался новый съезд, положивший начало легальной Социалистической рабочей партии Финляндии.

В те дни полицейские сбились с ног, выискивая Куусинена среди делегатов и в рабочих районах столицы. Кольцо облавы сужалось и сужалось, и казалось — вот-вот стиснет его. Но Куусинена и след простыл.

Правда, ему не хотелось покидать Хельсинки до съез-

да, но слишком уж плотно смыкалась облава и к тому же предстояли другие, не менее важные дела.

Как в те годы, когда большевики были загнаны в подполье и свои съезды и конференции могли проводить лишь за границей, так и финские коммунисты тогда собирали свои съезды за рубежом, в той же Швеции и — долг платежом красен — в Советской России.

И вот сейчас предстояла конференция Финской компартии. К тому же Куусинен мечтал поскорее встретиться с друзьями: Поллингом в Стокгольме и Сирола в Москве. А затем... Впрочем, все по порядку.

Айно Песонен и Вейкки — подпольная кличка Вилле Оянена — поручили организовать «отъезд» Отто. Легче всего было провалиться на финско-советской границе, «запертой на замок», как утверждали шюцкоровцы.

— А если махнуть на моторке в Стокгольм? — раздумывал Вилле.— Тебя не закачает, Айно? Море все-таки...

Путь, конечно, опасный. Но он казался им и надежнее.

— Буду откровенна, я видела, что и за мной уже установлена слежка, и мне тоже хотелось скорее покинуть Хельсинки. Если бы поймали — десять лет каторги самое меньшее!

В январе восемнадцатого года, когда рабочие взяли власть, Айно, член Исполкома Совета рабочих организаций столицы, старшая приказчица большого мануфактурного магазина Пиркконена, стала кассиром Финского банка. Немало денег выдала она оттуда на нужды Красной гвардии. Пачку за пачкой. А в дни белого террора, воцарившегося в стране после поражения революции, Песонен заочно приговорили к каторжным работам.

* * *

Нашли удобный баркас. Сторговали его. Вилле, экономя, купил подержанный мотор. И в то время как он разбирал и снова собирал его, читал и перечитывал правила обращения с ним, Айно написала письмо в Швецию, между строк которого лимонной кислотой сообщала место и дату встречи... Сегельскяри. Самый южный островок в шхерах Финляндии, на котором с давних пор стоял лоцманский знак, в районе Ханко.

Туда — от Хельсинки немногим больше ста километров — они и собирались дойти на своей моторке. А с этого островка их должны переправить в Стокгольм уже шведские друзья.

Сообщив название белой быстроходной яхты, которая снимет их с Сегельскяри — «Энгельбрект», Стокгольм подтвердил условия переезда.

И в первое июньское воскресенье на пристани Хиеталлахти в Хельсинки Вилле с рассвета уже подправлял мотор. А по пристани вместе с женой инженера, хозяйкой конспиративной квартиры, прохаживалась Айно, держа в руках тяжелую сумку с запасом еды на трое суток. То и дело она поглядывала на мыс, из-за которого должна появиться лодочка.

С мотором что-то не ладилось.

— Я и раньше знал, что это штука капризная, неожиданностей не оберешься! — ворчал Вилле.

И вот наконец из-за мыса выглянула долгожданная лодочка. Ослепительно белая. Только что выкрашенная. На веслах — брат хозяйки той последней квартиры, куда Айно пристроила Куусинена. На корме...

Не знай заранее, что в лодке должен быть Куусинен, Айно ни за что не признала бы его в этом ярко-рыжем человеке. Если они с Вилле в своей будничной одежде ничем не выделялись, то Отто, по их мнению, был слишком уж переконспирирован. Поверх обычного костюма он напялил другой, поношенный. Булавки скрепляли дыры на старом, продранном свитере. И сразу бросалось в глаза, что сапоги не по ноге — велики...

— В них уместился бы еще один человек! — сказала Айно.

Нет, никто никогда в этом рыжем оборванце не признал бы популярнейшего лидера рабочего класса Финляндии, обычно такого подтянутого,— магистра философии, депутата парламента, одного из организаторов компартии, деятеля Коммунистического Интернационала, в создании которого он принимал непосредственное участие.

В своем «новом» одеянии он совсем не походил на разосланную охранкой фотографию. Это было прекрасно.

А что касается «особых примет» — то у девяноста из ста финнов глаза голубые или серые.

Вдруг мотор затарахтел — заработал. Вилле выпря-

мился и торжествующе оглядел товарищей. Но не успели Айно и Отто положить свои сумки в баркас, как мотор зачихал, закашлял и заглох.

— Издевательство! Сатана-перкеле![1] — и Вилле снова нагнулся к мотору.

А тот еще почихал и опять смолк.

— Хронический насморк! — возмущался Вилле.

Солнце уже поднялось. Морская гладь голубела. На набережной появились прохожие.

Надо немедля что-то предпринять... Отправляться в дальний путь на тяжелом баркасе с неисправным мотором рискованно! Сидеть на берегу или вернуться в квартиры, за которыми уже установлено наблюдение, не менее опасно...

— Бросим ко всем чертям этот баркас с мотором и поедем на лодочке,— вдруг оживился Вилле.— Трое в ней легко разместятся: один — на веслах, другой — у руля, третий — на корме. Собственный мотор всегда надежнее. Были бы сила и упорство.— И он пощупал свои бицепсы.

Что и говорить, Вилле Оянен не только красивый парень, не только настоящий революционер, но еще и первоклассный спортсмен. Он одно время даже преподавал гимнастику. Куусинен тоже не из слабых, но, конечно, уступал ему. К тому же месяцев восемь он просидел взаперти, и рыжие волосы оттеняли бледность его лица.

— Ну, а я, хоть на лодке дальше прибрежного острова Сеурасаари не добиралась, была согласна с Вилле,— вспоминает Айно.

Обычно такой неразговорчивый, он болтал без умолку.

— На маленькой лодочке даже безопаснее — никто не подумает, что идем в Стокгольм. Слишком уж рискованным покажется. Большую, да еще моторную скорее заподозрят.

— Люблю людей, которые не только знают, что надо делать, но и умеют думать! Ну что ж! Собственный мотор так собственный мотор! — одобрил Куусинен.

Сказано — сделано.

Белая лодка отвалила от пристани. На весла сел Куусинен. Айно на носу. На корме Вилле взял в руки рулевое весло...

[1] Перкеле — грубое финское ругательство.

Грести решили по очереди, сменяясь через два часа...

— Молодые мы были. Лодочка наша сначала легко пошла! Вышли из Сандвикского заливчика, оставили справа Западную гавань. Слева сосновый бор на острове Лаутассаари. А вот и Сеурасаари.

Море закрыто островами, вода гладкая, как на озере. И солнышко ослепительно дробится на воде. День воскресный, кое-кто на лодках уже выехал. Ловят рыбу.

И Сеурасаари уже позади. Но долго-долго из-за любого поворота виднелся синий, в серебристых звездах купол кафедрального собора.

Куусинен присгально вглядывался в него.

Давно ли Сенагская площадь перед собором бушевала митингами! А слева от собора университет, где он учился, где защищал магистерскую диссертацию об эстетике Гегеля. Город, четырежды избиравший его депутатом парламента, город, где каждый камень помнит его!

Прощай, Хельсинки!

ПЕРВЫЕ СУТКИ

Миновав Сеурасаари, Айно вынула из сумки сложенные гармоникой морские карты с нанесенными на них фарватерами.

Островки, заливы, островки — сколько их, без числа! Извилистые проливы, фиорды и снова островки, большие и маленькие, как точечная сыпь. Заплутаться тут куда как легко.

Айно передала карты Оянену, и он углубился в них.

— Что вы понимаете в этом? — подтрунивал над друзьями Куусинен.— И без них заблудитесь!

Но когда Вилле и Айно рассказали ему, что вот за тем островком надо повернуть ближе к берегу и тогда откроется широкий пролив, а там, миновав мыс, где стоит лоцманский белый знак, следует рулить налево и выйдешь в открытое море, и Отто вскоре увидел, что так оно и есть,— он удивился.

— Да, вы неплохо разбираетесь в вехах. Мореходное дело здорово потеряло оттого, что вы ушли в революцию!

Когда Куусинен перебирался на корму рулить, а Вилле сменял его на веслах, они воочию ощущали, как неустойчива «Беляночка», которой вверена их жизнь. Лодочка с такой легкостью танцевала, кренясь из сто-

роны в сторону, чуть ли не зачерпывая воду бортом, что Айно с трудом удерживала равновесие. Приходилось не переходить, а чуть ли не переползать с банки на банку... Все трое, словно гири разновеса, тянули по-разному. Легче всех был Куусинен, тяжелее Оянен.

Перемещаясь, они должны помнить об этом.

На карте проложено было три параллельных фарватера.

Прибрежный, для судов с малой осадкой, намного удлинял путь, к тому же с берега их легче обнаружить. Наиболее краткий путь — по отдаленному от берега фарватеру, но он же грозил и разгулом морским, и тем, что ночью большой пароход мог потопить лодку, даже не заметив ее.

Избранный беглецами средний фарватер среди разбросанных в беспорядке шхер, то голых и гладких, как спина тюленя, то топырящихся сосняком, словно еж,— был самый скрытый и защищенный. Но тут приходилось следить за каждым лоцманским знаком, за каждым поворотом.

То, что на веслах тяжелее, чем за рулем, Айно поняла, когда настал ее черед грести.

Сначала весла, казалось, сами весело окунались в воду и выскакивали из нее, оставляя маленькие верченые воронки.

— Не части! Береги дыхание! — командовал Вилле.

Постепенно весла становились тяжелее и тяжелее, и видно было, как скатываются по лопасти капли медленно, словно пот со лба. Но хотя к концу смены Айно гребла с меньшей силой, лодка по-прежнему шла вперед, не теряя скорости.

Она с благодарностью взглянула на Оянена.

Ох уж этот Вилле, он не только рулил, но все время помогал ей, подгребал коротким рулевым веслом то с одного борта, то с другого.

Потом Айно увидела, что Вилле «подгребал» и тогда, когда за весла взялся Отто.

— Крепко пришлось в первый день поработать,— вспоминает она.— И все же только к семи вечера «Беляночка» оставила позади полуостров Порккала и вышла на просторы Барозунда...

К вечеру! Какие в начале июня вечера на Балтике! Высокое-высокое расписное прозрачное небо. Но вдруг

где-то в западном углу оно стало сизым, потемнело. Огромная черная туча быстро шла навстречу, захватывая все большее пространство. Ветер рывками бросал в лицо колкие брызги, раскачивал лодочку. Внезапно стало совсем темно, сверкнула молния. Прокатился гром.

Дальше идти было рискованно. По счастью, совсем рядом одинокий скалистый островок. Но причалить к нему не так-то просто. Гонимые ветром волны, пенясь, разбивались о скалы и снова с остервенением кидались на них.

— Вот и отлично! Буря устроила нам перерыв на обед! — Отто с удовлетворением выпрямился, когда им с трудом удалось вытащить на камни «Беляночку».

Слепительные лезвия молний кромсали черную холстину неба, и она рвалась с оглушительным треском.

— Во всем можно найти для себя полезное,— рассуждал Куусинен,— в такую непогодь нас здесь никто и не вздумает искать.

— Только бы не затянулось,— поглядывал на часы Вилле.

Лодку перевернули килем к небу и обрели надежную крышу над головой,— защиту от обрушившегося на мир ливня. И вдруг Айно заметила притаившуюся под той же крышей гадюку. Видно, не успела уползти с нагретого за день валуна. Айно осторожно постучала уключиной по камню. Потревоженная гадюка выползла из-под лодки и скрылась в расщелине.

— Откуда на острова нанесло змей? — спросила она.— Ведь не приплывают же они с материка...

— В биологии я не очень силен,— отозвался Куусинен,— спрашивай лучше про музыку или хоть про политику...

— Про политику? — Айно задумалась.— Слушай, я давно хотела узнать, да все времени не было, спасибо, буря подвернулась,— о чем ты беседовал с Лениным, когда в первый раз вы встретились в Хельсинки, в семнадцатом?

Куусинен усмехнулся.

— Об антимилитаризме, если хочешь знать. О пацифизме! О том, что мы с вами многое еще не понимали...

Когда в конце прошлого века царь распустил отдельные финские полки и объявил, что отныне финны будут призываться в русские воинские части, финский народ

встретил этот указ пассивным сопротивлением. Почти никто не явился в назначенный срок на призывные пункты, хотя отказ от воинской службы карался ссылкой в Сибирь, тюрьмой.

Из новобранцев нельзя было укомплектовать и роты.

Это повторялось и в следующие призывы в армию из года в год, пока царское правительство поняло тщету своих репрессий и отступило перед единством народа.

Воинская повинность была заменена для финнов особым налогом.

Пассивное сопротивление победило. Это была до тех пор небывалая, невиданная форма протеста, вполне оправданный и в тех условиях действенный способ борьбы с режимом царской бюрократии.

Так полагал и Ленин.

— Но когда многие социалисты, особенно в скандинавских странах, обобщая финский опыт, стали считать отказ от военной службы наилучшей формой борьбы с милитаризмом, то тут уж нет, извините! — горячился Владимир Ильич.— Это наивный, сентиментальный антимилитаризм.

Об этом он спорил с некоторыми левыми социалистами еще в Копенгагене в десятом году на международном социалистическом конгрессе. Народ должен быть вооружен! И владеть оружием! Единственный путь борьбы с войной — это превратить империалистическую бойню в войну гражданскую.

— Как можно допустить, чтобы революционный класс накануне социальной революции был против вооружения народа?! Это не левизна, не революционность, а филистерство захолустных мещан. Забрались эти скандинавские мещане в свои маленькие государства чуть ли не к северному полюсу и гордятся тем, что до них три года скачи — не доскачешь. Это не борьба с милитаризмом, а неосознанное трусливое желание уйти в сторонку от великих противоречий, раздирающих капиталистический мир!..

В свое время, после Свеаборгского восстания девятьсот шестого года, когда финская Красная гвардия была распущена правительством, Куусинен в журнале, который он издавал и редактировал, писал, обращаясь к съезду партии: «Со своей стороны, я бы предложил ответить сенату, распустившему Красную гвардию, едино-

гласным решением: «с этого момента каждый из нас красногвардеец».

Зная об этом, Ленин в сентябре семнадцатого года на квартире у Блумквиста убеждал Куусинена:

— У вас, финских социал-демократов, тесные, органические связи со скандинавскими партиями, вы понимаете важность вооружения народа, и ваш интернациональный долг помочь шведским товарищам занять правильную позицию в этом вопросе!

— И мы жестоко поплатились за то, что недооценивали военной, хотя бы и нелегальной подготовки. В этом лахтари оказались прозорливее. Поэтому-то мы сейчас и сидим здесь под лодкой,— подытожил Вилле рассказ Куусинена.— Прости, Отто, что прерываю тебя, но пора перевернуть «Беляночку».

Буря так же внезапно, как обрушилась на шхеры, убралась дальше на восток, к Хельсинки, и снова над берегами, лесами и морем воцарилась таинственная белая прозрачная ночь. Сильный опытный гребец, Оянен уверенно вывел лодку в открытое море. Июньские ночи короче воробьиного носа: не успеет в одном краю неба погаснуть вечерняя зорька, как в другом зажигается утренняя.

«В июне при маскировке можно пользоваться лишь часто случающимися в это время туманами»,— по памяти,— а она у него была отличная,— процитировал вслух Куусинен военно-морское наставление.

— Да, небольшой туман не помешал бы.

Но туман не спускался на землю. И снова каждый отработал на веслах свою смену. И снова Вилле, сидя за рулем, подгребал товарищам. Так по фиордам Финского залива они доплыли до острова Юссаро.

Снова наступило утро. Целые сутки прошли без сна.

— Не мудрено, что мы с Отто задремали. Вилле греб больше, чем ему положено. Жалко было будить нас. Но мы сами очнулись от тарахтения мотора. Навстречу шел пограничный катер...

Ну, конец! У меня упало сердце. Я увидела, как Отто нащупывает в кармане пистолет. Голыми руками они нас не возьмут.

Но в ту же минуту затарахтел где-то другой мотор. Вдоль горизонта, чуть ли не сваливаясь за него, шла моторка с десятком пассажиров.

Пограничники дали сигнал катеру остановиться. Он продолжал свой путь на восток.

Не вняли на уходившем суденышке и второму сигналу.

Тогда, оставив «Беляночку» в покое — какая может быть контрабанда на этой скорлупке! — пограничники круто повернули за катером.

— Эти от нас не скроются. Пять литров спирта или самогона не велика добыча! — решил капрал.

Когда пограничники свернули на восток, Вилле стал грести с удвоенной силой, чтобы уйти подальше на запад.

Главным в пограничной службе сейчас была поимка контрабандистов, которые, нарушая «сухой закон», провозили спиртное и загребали бешеные деньги.

Но и на катере, где столько людей, тоже вряд ли контрабандисты.

Догнать его было нетрудно, тем более что вскоре он и сам приглушил мотор. А потом, всхлипывая всеми клапанами, стал пятиться навстречу пограничникам.

На катере было семь человек, внешность которых не внушала доверия. Небритые, в потрепанной одежде, явные бродяги.

Только один из них, рулевой, со шрамом на щеке, выглядел поприличнее.

Оказалось, что это старшой. Он первым, как только катера сблизились, обратился к капралу:

— Господин фендрик, помогите, пожалуйста. Испортился мотор. Возьмите на буксир!

— А куда путь держите?

— В Котку. Там забастовка. Везу штрейкбрехеров. Мало, но все же лучше, чем ничего,— словно оправдываясь, что ему не удалось завербовать больше, тараторил рулевой.

Капрал не ошибся — бродяги никак не походили на контрабандистов.

— Этих доставлю, поеду за следующей партией,— продолжал рулевой.— В такое время бастовать! Мы их проучим, бездельников! Только выручите, пожалуйста. Возьмите на буксир! А мы пока отрегулируем мотор.

— Больше сорока километров не прокачу,— согласился капрал. Его катер подруливал вдоль берега пятьдесят километров в одну сторону, пятьдесят в другую.— А водки нет? — строго спросил он.

В ответ эти хмурые люди заулыбались, а рулевой рассмеялся.

— Было бы на водку, разве сунулись бы мы в Котку? Вот когда возвращаться будем — другое дело! Тогда и спрашивайте!

Капрал проверил документы рулевого и приказал взять катер на буксир.

А когда часа через полтора, сэкономив горючее, бродяги исправили мотор (это было сделать нетрудно, потому что тот и не выходил из строя) и пограничники, отдав концы, повернули обратно, капрал предпочел не вспоминать о «Беляночке». А она была уже в четырех часах хода от них.

НА СЕГЕЛЬСКЯРИ

Когда пограничники буксировали катер со штрейкбрехерами на восток, «Беляночка» проходила у берегов острова Юссаро, от которого к Сегельскяри, где их должны ждать шведские друзья, нужно свернуть прямо на юг. Отсюда Сегельскяри виден невооруженным глазом.

Но чем дальше отходила «Беляночка» от Юссаро, тем сильнее била волна. Тем тяжелее было грести. Да и лодчонка вовсе не приспособлена к такой крутой волне. К тому же то ли ее плохо подготовили к весне, то ли неосторожно вытаскивали на камни, дно расщелилось, и в носу и корме показалась течь.

Айно орудовала черпаком, Куусинен на носу — банкой из-под консервов, но вода у днища не только не убывала, а, наоборот, доходила уже до щиколотки.

Вилле приустал, сказывались бессонные сутки и безостановочная гребля. В тихую погоду Айно с Отто Вильгельмовичем гребли неплохо, но чем сильнее свирепел ветер, тем труднее им становилось продвигать ладью. Все же Куусинен энергично взялся за весла. Но «Беляночку» все быстрее и быстрее уносило в открытое море. Тогда Вилле повернул корму против ветра и погнал лодку обратно, прямо на Юссаро. Вскоре она килем зашуршала по камешкам.

Берег... Айно не могла без содрогания глядеть на руки Вилле. На пальцах и ладонях мозоли, водяные волдыри. Некоторые лопнули, вода уже сошла, и потертые места кровоточили.

Как только он терпит!

— Да у тебя просто волшебный мешок, все предусмотрела,— удивился Куусинен, когда, порывшись в сумке, Айно вытащила оттуда бинты.

Слой за слоем накладывала она повязку на руки Вилле. Теперь казалось, что на них плотные белые рукавицы... И тут из-за туч выглянуло солнце, словно для того, чтобы придать бодрости мореплавателям поневоле.

Подкрепившись всухомятку хрустящими хлебцами с маслом и колбасой, усталые до предела, они прилегли на часок-другой, да так, не шелохнувшись, и проспали восемь часов.

Спали бы они и дольше, если бы дневной солнцепек не сменила пронизывающая прохлада.

Хоть ветер и усилился, решили все же продолжать путь, чтобы пристать к Сегельскяри в назначенный день. Иначе можно разминуться с «Энгельбректом». Ведь встреча назначена на понедельник.

Ветер переменился, стал попутным, волны чуть не захлестывали «Беляночку», и все время приходилось, словно на санках, скатываться с горы, взбираться на нее и снова соскальзывать вниз.

Белые повязки — рукавицы Вилле (он правил рулевым веслом) то взлетали, как чайки, над головой Айно, то белели внизу.

Волны облизывали борта, подгоняя лодку, и, казалось, готовы были каждую минуту поглотить ее. Уключины скрипели. Отто, сжав в напряжении зубы, заносил весла назад.

Над лодкой нависла темная волна. Айно зажмурилась.

Но, может, в том, что «Беляночка» была легкой, как щепка, и крылось их спасение.

Насквозь промокшие, продрогшие, измотанные, добрались они наконец до Сегельскяри — самого южного островка, самой южной точки Суоми.

— Вот ты и получил ответ, как я переношу качку,— горделиво, хоть ее и мутило, сказала Айно, когда они с Ояненом вытаскивали лодку на берег пустынного острова.

Здесь их должны были ждать.

Но никого не было.

Часы у Отто показывали без четверти двенадцать.

Значит, не опоздали. Значит, еще понедельник. До вторника оставалось четверть часа.

Сегельскяри оказался вовсе не таким пустынным, как утверждала карта.

Правда, людей не было. Но... в незапертом дощатом сарае валялись ломы, топоры, мастерки, пилы, мешки с цементом, доски, обрывки шведских и финских газет за субботу.

— Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что недавно здесь были люди и скоро вернутся,— угрюмо проронил Вилле.

— Докажем шведам, что не мы, а они опоздали,— Куусинен напряженно вглядывался вдаль.— Не допускаю и мысли, что нас не дождались.

Ждать! Ничего другого и не оставалось. Тем более что над головой какая ни есть, а крыша, и мешки с цементом защищают от ветра, гуляющего по складу.

От усталости не хотелось есть, они слегка закусили и улеглись.

Двое спали, один бодрствовал.

— Если бы ты, Вилле, стал пастором, как хотели твои родные, то вымолил бы у бога, чтобы сегодня еще до ночевки нас подобрал «Энгельбрект»,— сказала Айно. Она первой заступила на вахту, когда сон еще не склеивал веки.

— Если бы бог внимал мольбам каждой собаки, то с неба падал бы не дождь, а жареные кости,— откликнулся, покосившись на Куусинена, Вилле.

Хотя положение у них было далеко не веселое, смеялись они от души, потому что хорошо знали, о чем идет речь. Когда один из депутатов — пастор с парламентской кафедры призвал бога обрушить громы и молнии, чтобы уничтожить социалистов, выступивший вслед за ним депутат Куусинен мимоходом метнул взгляд в сторону предыдущего оратора и, соблюдая правила парламентской вежливости, сказал:

— Если бы господь бог внимал мольбам каждой собаки, то с неба падал бы не живительный дождь, а жареные кости,— и все депутаты, без различия партий, встретили его слова смехом.

Утро настало ясное, без единого пятнышка на небе, но ветер еще не совсем улегся. Солнце вынырнуло из моря, омытое, розовое. Мужчины прочесывали островок,

впрочем, все было как на ладони. Плоские, вылизанные волнами, сглаженные ветрами темные скалы и поблизости от сарая — начало каменной кладки.

Что могли здесь строить?

— Наверное, маяк,— сказал Вилле.

Куусинен разглядывал оставленные в сарае старые газеты.

— Воды да ветра и у нищего много,— вспомнила Айно пословицу и добавила: — Ветра действительно много, а воды нет.

Самое время вскипятить чай, решила она. Но на острове не было ни колодца, ни ручейка. А вода из луж, оставленных прошедшим ливнем, никуда не годилась. Пришлось опорожнить в котелок одну из фляг.

Но только она принялась разжигать извлеченный из «волшебной сумки» примус, как послышался звук мотора.

— Скорее разбинтуй!— протянул руки Вилле.— Если на моторке чужие, это вызовет ненужные расспросы.

А на баркасе как раз были чужие. Человек восемь. И баркас не «Энгельбрект».

Надо срочно сочинять легенду... То, что на такой лодчонке они осмелились забраться сюда, уже подозрительно, и, вернувшись домой, незнакомцы обязательно сообщат властям. А почему бы и нет? Да не полицейские ли это?..

По счастью, на моторке, принадлежавшей местному лоцману, оказались рабочие-строители, возводившие на Сегельскяри (прав был Вилле) новый маяк. Один за другим выскакивали они на берег. Последний тащил бочонок с водой. Прогуляв не только воскресенье, но и понедельник, они немедля принялись за работу. Объясняться пришлось с лоцманом, не старым еще рыжебородым шведом.

— Мы с компанией приехали сюда в воскресенье, на пикник. Утром в понедельник остальные уехали на моторке и обещали к вечеру вернуться за нами, но почему-то их еще нет...

Заранее условились, что там, где надо говорить по-шведски, беседу ведет Айно.

Лоцман пытливо взглянул на нее.

Он согласился взять «Беляночку» на буксир и доставить друзей до лоцманского островка, в шхеры, оттуда

уже до Ханко, куда они держат путь, нетрудно будет добраться им одним.

Через несколько минут моторка отчалила от Сегельскяри, позади на пеньковом тросе волочилась «Беляночка».

Природная финка, Айно в совершенстве владела шведским языком. Этому причиной была непоседливость ее отца, мастера-клепальщика паровозных котлов на железной дороге.

В каких только депо он не работал — и в Выборге, и в Рихимяки, и в Турку... И каждый раз, взяв расчет по своему желанию, переезжал всей семьей, с малыми детьми. Вскоре после переезда в Вааса он выиграл по лотерее малую толику денег, да кое-что было прикоплено уже, и жена уговорила его обосноваться здесь, построить домик. Отец сначала увлекся этой затеей, а когда дом был готов, снова заскучал.

— Переедем-ка в Тампере,— сказал он жене.

— А дом?

— Продадим.

Нет, она не согласна на это.

— Езжай один, а я не хочу больше мыкаться с детьми по чужим углам, да и тебе будет куда возвращаться.

Отец уехал, а семья осталась в Вааса. Там и пошла в школу Айно, там и окончила ее, там и начала работать. А Вааса — город, где преобладают шведы. И школа тоже была шведская. Так что по чистоте произношения Айно нельзя было отличить от истинной шведки.

Оянен и Куусинен тоже владели шведским, но произношение у них не такое чистое, как у Айно.

Куусинен с отличием окончил среднюю школу в Ювяскюля, городе издревле финском.

Буквы «б», «г», «д» народ в Финляндии до сих пор называет «господскими буквами». Соответствующих звонких звуков в финском языке нет. Даже в начале слов, которые заимствованы из других языков, они превращаются в глухие. Так «генерал» становится «кенгали», «граф» — «крейви», «банк» звучит «панкки», «Борго» — «Порвоо» и так далее. «Господские буквы». А господами лет пятьсот в Суоми были шведы. В школе шведский язык обязателен. И Оянен и Куусинен владели им.

Куусинен окончил лицей первым. А фамилии первых учеников значатся на скрижалях школы. А когда в мае

1958 года я побывал в Ювяскюля, тамошние приятели с радостью рассказывали, что паренек, той весной окончивший лицей так же отлично, как и Куусинен,— тоже коммунист.

Когда при встрече с Отто Вильгельмовичем я рассказал ему об этом, он сначала улыбнулся, а потом, поморщившись, ответил:

— Это была несправедливость! Письменную работу по-шведски я списал у Эдварда, у Гюллинга,— он сидел впереди. Мне поставили за нее высший балл, а ему меньший. Потому что я был финн, а он швед. Добрый человек, он никогда мне в вину свой балл не ставил.

...Еще в Хельсинки, когда у них впервые зашел разговор о распределении обязанностей, Вилле прямо сказал:

— Мы с тобой, Отто, отлично знаем и шведский и немецкий, но говорим с саволакским произношением. Когда пишем, нас хорошо понимают, а стоит заговорить...— И Вилле развел руками.

— И все же один человек отлично понимал меня, несмотря на саволакский диалект... Ленин,— и Куусинен сразу осекся. Это могло показаться хвастовством, а ничто так не чуждо ему, как это.

Нелегко было отвязаться от Айно, когда она чего-то сильно хотела. А разузнать подробнее о Ленине, и притом из первых уст, нет, этого она не упустит.

— А как вы впервые встретились?

И Куусинен рассказал ей об этих днях.

Да, он познакомился с Лениным десять лет назад, в Копенгагене на конгрессе Социалистического Интернационала. Ленин был в делегации русских социал-демократов, а Куусинен — финских.

— Если бы я тогда уже понимал, что Ленин — это Ленин, то, конечно, больше обратил бы внимания на этого коренастого, подвижного, молодого еще, но уже лысеющего человека с перевязанной от зубной боли щекой. Мы, финские социал-демократы, тогда слабо различали меньшевиков, большевиков, эсеров... И я, каюсь, больше прислушивался к Плеханову, статьи и книги которого читал по-немецки. А Ленина еще не переводили. К тому же и работали мы в разных комиссиях. Если бы раньше поняли его правоту, не пришлось бы нам с вами сейчас совершать эту увеселительную прогулку.

Подлинное же знакомство, ставшее потом дружбой, произошло в сентябре семнадцатого года, когда Ленин скрывался в Хельсинки.

К нему на улицу Тееле в однокомнатную квартиру Блумквиста Ровио и привел Куусинена. Он тогда уже знал, что Ленин — это Ленин.

О многом было переговорено.

Когда Ленин узнал, что Куусинен был автором «Закона о власти», принятого сеймом, он сказал ему:

— Вы правильно сделали, что не признали законность роспуска сейма. Но этого недостаточно. Надо действовать, и действовать решительнее. Наша партия стоит за независимость Финляндии,— и об этом легко будет договориться с финнами, когда власть в России перейдет в руки рабочего класса!..

А в том, что это случится, Ленин не сомневался.

Огромное впечатление на Куусинена произвела эта убежденность человека, скрывающегося под чужим именем в чужом городе, уверенность в том, что близок час, когда от имени русского народа он осуществит этот великий исторический акт...

И ведь в самом деле, не прошло и трех месяцев, как Ленин подписал декрет, признающий независимость Суоми!

Прощаясь, Владимир Ильич сказал, что собирается завтра в Петроград.

— А нельзя ли хоть немного отложить отъезд? Опасно ведь очень,— заволновался Куусинен.

— Нет, больше ждать нельзя, с огромной быстротой назревает решающая схватка.

На другой день Ленин был уже в Выборге, поближе к революционному Питеру.

— По его совету,— рассказывал Куусинен,— я содействовал в парламенте обострению борьбы против Временного правительства... Нет, в тот день никак и подумать нельзя было, что так скоро он возглавит новое правительство России!

...В мае восемнадцатого года тяжело переживавшие поражение финской революции Куусинен и председатель революционного правительства Маннер пришли к Ленину в Кремль... Он встретил их с распростертыми объятиями.

— Не следует терять бодрости, не падайте духом, в

следующий раз готовьтесь лучше...— подбодрял Владимир Ильич.

А вскоре, в конце голодного, взрывающегося мятежами, заговорами и восстаниями августа восемнадцатого года, в Москве собрался Учредительный съезд Компартии Суоми. Организаторам его Ленин помогал всячески. За один только месяц перед съездом у него побывало и поделилось своими мыслями о делах Суоми немало финских революционных социал-демократов — Отто Куусинен, Юрьё Сирола, Густав Ровио, Юкко и Эйно Рахья и многие, многие другие.

За этот месяц секретари отметили в своих календарях, что Ленин долго толковал с Оскаром Пукке, бывшим представителем Финляндского революционного правительства в России. А несколько дней спустя он выслушал пространный рассказ о положении в Суоми Юхо Латтука, который за год до этого скрывал его у себя в Выборге.

На следующий день, сразу же после заседания, где Совнарком утвердил написанное Лениным в связи с начавшейся интервенцией обращение «К трудящимся массам Франции, Англии, Америки, Италии и Японии», к нему пришел Эйно Рахья.

Он говорил о бурных дискуссиях среди финских политэмигрантов, о том, с какой охотой финские красногвардейцы, оказавшиеся на советской земле,— а таких было несколько тысяч,— вступают добровольцами в Красную Армию, Рахья же и предложил создать интернациональную военную школу для подготовки командиров грядущих революционных армий. Боевую практику курсанты, мол, пройдут в битвах гражданской войны в России...

Двадцать пятого августа, в день, когда открылось совещание «Заграничной организации финских социал-демократов», организаторы его Отто Куусинен и Юрьё Сирола советовались с Владимиром Ильичем о том, как лучше создать Коммунистическую партию Финляндии, и он пообещал непременно выступить на ее Учредительном съезде...

Через день после этого побывал у него Владимир Мартынович Смирнов, его старый хельсинкский друг, уезжавший теперь на работу в Бюро печати в Стокгольм. И с ним речь шла о насущных финских проблемах.

Вечером двадцать девятого августа Ровио пришел к Владимиру Ильичу, чтобы рассказать о том, как шли прения на совещании, о том, что сегодня оно уже объявило себя Учредительным съездом компартии. Он ушел от Ленина с обещанием Владимира Ильича обязательно выступить завтра. Как оно обрадовало делегатов!

Айно тоже была делегатом съезда. Она приехала в Москву из Предуралья, из Буя, с тяжелым мешком черного хлеба для тех, кто прибывал из более голодных мест.

Жили делегаты в комнатах семинаристов, заседали в бывшей семинарской церкви, приземистой духовной семинарии, ставшей Третьим домом Советов.

Я отлично представляю себе этот дом и семинарские дортуары, потому что осенью двадцатого года там жили делегаты Третьего съезда комсомола, среди которых был и я,— делегаты, имевшие счастье услышать программный доклад Владимира Ильича.

Финские же коммунисты, с таким нетерпением ожидавшие выступления Ленина, тогда его не услышали. По залу пронеслось потрясшее всех известие: в Ленина стреляли, и его жизнь в опасности...

Гнев и любовь продиктовали клятву-послание съезда раненому вождю революции, клятву быть до конца верным его великому делу.

— Тогда-то мы воочию постигли разницу между большевиками и эсерами! — восклицает Айно.

Российских коммунистов на этом съезде представляли глава молодого Советского государства Яков Свердлов и старый знакомец Куусинена, питерский финн, один из виднейших большевиков — Александр Шотман.

— Если бы Ленин пришел на Учредительный съезд, вероятно, не было бы в наших программных документах столь явных симптомов «детской болезни «левизны», от которой мы, впрочем, в своей работе отделались, пожалуй, раньше, чем другие,— говорил мне потом Юрьё Сирола. И Айно и Вилле были с ним вполне согласны.

Но вернемся на лоцманский бот, из которого вместе с лоцманом вышли на берег острова Хистобиуса трое пассажиров...

— Нет! Нет! — он не хочет брать ни пенни за буксировку. Разве только то, что стоит горючее...

Лоцман отвел Айно в сторону и тихо, чтобы не услышал матрос, сказал:

— Фрекен, куда вам нужно? Я и мой брат в вашем распоряжении.

Но — увы! — услугами его нельзя было воспользоваться не только из осторожности, а, главное, потому, что неизвестно, куда им сейчас плыть.

— Верно, уж очень ты ему понравилась,— узнав, о чем шептались Айно с лоцманом, насторожился Вилле.

— Тут дела не эмоциональные, а национальные,— усмехнулся Отто.— Он принял ее за шведку. А здесь только и разговора об Аландских, или, как это звучит по-шведски, Оландских островах, о национальной солидарности шведов.

Но что это?!

Вдали на юге у горизонта показалась большая моторка.

Шла она быстро, и борта ее были окрашены в белое. Совсем как «Энгельбрект», который должен подобрать их на Сегельскяри.

«Беляночку» с моторки увидеть нельзя было потому что и мала она и терялась на фоне шхер.

— Сигнал бы дать! — вырвалось у Айно.

Но ни сирены, ни ракеты в ее «волшебной сумке» не было.

Пускай уж эта яхта скроется скорее с глаз, не бередит душу!

НЕУДАЧА АДВОКАТА ХЕЛЛЬБЕРГА

Нет, друзья не ошиблись, когда, завидев у горизонта моторку, подумали: не она ли? Да, это был «Энгельбрект». Но недолго он бередил их души и, взяв курс на запад, вскоре скрылся из виду. Не застав никого на лоцманском острове, он повернул обратно. Команда «Энгельбректа» была обескуражена неудачей.

Возвращались не солоно хлебавши, без тех, кого взялись привезти в целости и сохранности. Сделали все, что могли, но шторм отогнал их далеко на юг. Возможно, товарищи погибли или, в лучшем случае, шторм заставил их где-нибудь отсиживаться!

Если бы только знать, где! С какой охотой они пошли бы за ними, не глядя на километры! Но в том-то и дело, что неизвестно, куда идти.

На «Энгельбректе» было двое людей. С высоким синеглазым матросом со странным прозвищем «Птица» мы могли бы познакомиться, если бы знали команду «Эскильстуны», прорвавшейся год тому назад через блокаду в Питер. Он был там добровольцем-юнгой.

После двух рейсов на «Эскильстуне» этот молодой гетеборжец несколько раз уже матросом ходил с лесом в Америку. Кроме досок и крепежа, на этом судне он нелегально перевозил коммунистическую литературу, листовки, брошюры, газеты для финнов и шведов, которых в Соединенных Штатах и Канаде было тогда больше миллиона.

Не желая ссориться с американскими властями и разделяя их политические воззрения, капитан списал Птицу с корабля, и тот долго не мог найти себе работу. Только время от времени летом он выходил в море на моторке адвоката Хелльберга. Сейчас, когда тот сказал, что они должны вызволить финского революционера, Птица, как говорится, крыльев под собой не чуял.

Сам Хелльберг пошел в это плавание потому, что хотел познакомиться с Куусиненом, о котором так много слышал и читал.

Хелльберг был одним из немногих тогда интеллигентов, разделявших взгляды той левой части социал-демократической партии, которая шла за Лениным.

Известен был Хелльберг и тем, что во время знаменитой всеобщей стачки в Швеции в 1909 году, когда кассе профсоюза, юрисконсультом которого он состоял, угрожала конфискация, он бежал с ней в Данию и вернулся лишь тогда, когда угроза эта миновала.

Сразу же после Октября Хелльберг воспользовался первой возможностью попасть в революционный Петроград и побывать у Ленина. А случай такой представился. Некто Гумелиус, швед, проживавший в Питере, убил там другого шведа и его прислугу, тоже шведку, за что был посажен в «Кресты», где находился на обследовании врачей-психиатров. Для участия в следствии Советское правительство разрешило приехать двум шведским юристам. Одним из них был старик консерватор, известный адвокат Аксель Карлсон, другой — молодой, левый социалист Хелльберг.

Советское правительство утвердило заключение врачей о том, что преступление совершено в невменяемом со-

стоянии, и шведские адвокаты увезли Гумелиуса на родину.

В Петрограде шведские юристы беседовали с Лениным и присматривались к нашему, тогда еще совсем юному правлению. Хелльберг все больше утверждался в своих левых воззрениях, а старик консерватор специально пришел в Стокгольме к нашему представителю Воровскому, чтобы изъявить свой восторг.

На гонорар, полученный от богатых родственников Гумелиуса, Хелльберг купил быстроходную моторку-яхту, которую с радостью предоставил финским товарищам, чтобы вызволить Куусинена и его друзей с острова Сегельскяри.

Надеясь на быстроходность «Энгельбректа», они рассчитали время в обрез, чтобы дойти до острова к назначенному сроку. Но ветер с севера, шквалами налетавший на «Беляночку» за мысом Порккала, у горла Финского залива разразился настоящим штормом.

Море гудело и пенилось. Высокие гребни нависали над палубой, захлестывали яхту, гнали ее прямым ходом на юг, к скалам Эстонии и чуть не прибили к берегу острова Даго.

Против такого шквалистого ветра и большой волны оказались бессильны даже два мотора «Энгельбректа».

И лишь после бессонной ночи, когда волнение поутихло, взяли курс на север и, конечно, опоздали!

— Если кто-нибудь там есть — подождет! — сказал Птица, и Хелльберг с ним согласился.

Однако, когда «Энгельбрект» приблизился к острову, они увидали на берегу не трех человек, а восемь. Моторка подошла к Сегельскяри, когда строители уже собрались шабашить.

Дважды обошел «Энгельбрект» вокруг острова. Но, как Хелльберг и Птица ни вглядывались, замедляя ход, они не заметили, чтобы кто-нибудь из «островитян» снял пиджак.

Покрутившись тут, обследовав заодно два ближних острова и никого не найдя там, сетуя на ветер и на самих себя за то, что не оставили и часа про запас, они повернули обратно и на рассвете объявились дома с печальной, едва ли не траурной вестью.

В Стокгольме были обескуражены.

Точность Куусинена и Айно здесь хорошо знали.

Рассказ Хелльберга о шторме, отогнавшем его к берегам Эстонии, посеял тревогу — не похоронила ли Балтика в своих водах финских друзей?! И более опытные рыбаки, случалось, погибали при меньшем волнении.

В лихорадке листали друзья последние газеты из Турку, из Хельсинки и Ханко — нет ли сообщений об аресте Куусинена.

Но ни одной строки об этом в финских газетах не было.

ВОКРУГ ХАНКО

Конечно, от лоцманского острова можно было бы добраться до Ханко в тот же день к вечеру. Но ни в порту, ни в курортном городке надежных знакомых нет. Куда безопаснее заночевать где-нибудь неподалеку от Ханко.

Это была их третья ночь в пути.

Место незнакомое, костра не разжигали — не ровен час, заявится лесник или владелец рощи.

А ночь, как назло, выдалась холодная. И хотя они надели на себя все, что можно было, холод пробирал до костей. То и дело приходилось вскакивать и бегать, чтоб хоть немного согреться.

Вдалеке светились огоньки Ханко, но вскоре и они погасли, растворились в молоке белой ночи, и от этого, казалось, стало еще холоднее. Айно никогда не думала, что белой ночью можно так мерзнуть.

К тому же и желудки пусты. Еду запасли из расчета, что друзья из Швеции подберут их в понедельник, а уже пошла среда.

Утром часа за два беглецы довели «Беляночку» до Ханко, подтащили ее к пляжу, где стояли рыбацкие и прогулочные лодки.

Отто остался дежурить — в таком наряде немыслимо было появиться в городе. Айно и Вилле отправились на почту и в магазины.

Несмотря на ранний час и будний день, на улицах людно. Среди прохожих подозрительно много шюцкоровцев в полной форме.

С чего бы это?

— В осиное гнездо угодили! — шепнул Вилле и взял под руку Айно.

Мужчина с женщиной прогуливаются, ни от кого не таясь,— это не так уж подозрительно.

На почте Айно сочинила письмо в Стокгольм какой-то Марте о том, что она с мужем отдыхает в Ханко, хотя знакомых нег и вообще курортников еще мало. Но все-таки полагает, что скука скоро развеется,— вода станет теплее, и можно будет купаться сколько захочешь.

Выйдя же с почты, в укромном уголке городского сада между темно-синих строчек невидимой прозрачной лимонной кислотой (пузырек ее покоился на дне «волшебной сумки») написала, что на Сегельскяри в назначенное время их никто не встретил и теперь, начиная с завтрашнего вечера, они будут ждать в шхерах — западнее, на островке, название которого Айно начертала цифровым шифром.

Потом они зашли в рыбацкий кооператив, купили две блесны и леску. Без особых трудностей удалось купить в соседней лавчонке копченую рыбу, прошлогоднюю бруснику, большой кусок сыра и масла.

Местных хлебных карточек у них не было, а хельсинкские не принимались. Пришлось из-под полы за маленький каравай заплатить втридорога. Да еще прикупить картошки...

Пока Айно наполняла фляги, Вилле, чтобы не отставать от жизни, купил пачку газет всех направлений.

Дела заняли несколько часов.

Условившись ничего не говорить Огто про скопление шюцкоровцев в Ханко, они вернулись к «Беляночке» и увидели его оживленно беседующим с рабочими, которые смолили лодки.

Руки Отто тоже были в смоле. Он не терял времени зря и как мог конопатил и заделывал щели «Беляночки».

— Откуда вы? — спросил его рыбак, возившийся у своего суденышка.

Куусинен назвал местечко километрах в двадцати от Ханко. Рыбак засмеялся.

— Ну и простачок ты, рыжий! Думал, поверю. На такой лодчонке оттуда не доберешься! Не заливай!

— Невежливо приставать к незнакомому. У него свои соображения. Что хочет человек, то говорит,— остановил его другой рыбак.

Так завязался оживленный разговор, из которого Куусинен узнал, что здесь ждут пароход с оружием для местных шюцкоровцев. Он тоже решил ничего не говорить своим, не тревожить зря.

День выдался солнечный, теплый. Но когда они оттолкнули «Беляночку» с каменистого пляжа, тучи опять заполнили небо и снова подул пронизывающий северный ветер.

Куусинен предлагал заночевать там же, где вчера, зайти в лесок и переждать непогоду. Его знобило.

— Нет,— Вилле считал, что надо поскорее убраться отсюда,— слишком уж много подозрительных молодцов.

К тому же за эти дни раны на руках зажили, и он снова мог сесть за весла.

Тут-то и выяснилось все, что они хотели скрыть друг от друга.

Можно бы и посмеяться, но им было не до смеха.

— Как хочешь,— подумав, согласился Куусинен,— только мне что-то не по себе.

Айно приложила ладонь к его лбу.

Жар! Да еще какой!

Немедля уложили больного на дно лодки, подстелив хвою и плащи. Сверху укутали своей одеждой. И наддали ходу.

За день отдыха набрались достаточно сил, чтобы переплыть на лодке через большой залив, и хотя ветер попрежнему неистовствовал, но шел он теперь искоса и, относя лодку в сторону, все же подгонял ее...

Вечером высадились километрах в десяти от порта, где лес вплотную подступал к берегу. Спрятали лодку за деревьями, чтобы белизной своей не привлекала постороннего глаза. Неподалеку нашли в лесу безветренную полянку.

Температура у Куусинена повышалась. Озноб бил его.

Вилле быстро наломал молодой духмяной березы. Смастерил из веток постель. Снова укутали его всем, что было.

Айно разожгла примус, вскипятила воду из фляги, ручья поблизости не было.

«Есть ли ручей на том островке, куда мы едем,— подумала она,— по карте этого не узнаешь».— Затем вытащила баночку меда и чай.

— Там у меня чистый спирт в рюкзаке,— прошептал Куусинен. Его било так, что зуб на зуб не попадал.

— Как тебе удалось достать? — удивился Вилле.

В те годы страну «поразил», как говорили любители выпивки, строжайший «сухой закон».

Вилле откупорил бутылку. Приложился и сразу же плюнул.

— Обманули тебя спекулянты! Чистый денатурат. Отрава. Примуса разжигать, а не пить.

Тогда Айно деловито раскрыла свою сумку.

— Меня-то не подведут... Друзья-кооператоры ни пенни не взяли,— и она извлекла из глубин бутыль, о которой раньше и не обмолвилась.

Вилле пригубил, поперхнулся, закашлялся и одобрил:

— Воистину «волшебная сумка»!

Айно поднесла Отто большую кружку горячего чая, разбавленного медом и спиртом.

— Пей до дна!

Он залпом выпил эту обжигающую смесь и снова зарылся с головой в одежду и хвою.

Поможет или нет? В прошлом году он перенес воспаление легких. Айно боялась рецидива — шутка ли, целую ночь так зябнуть! А потом восемь месяцев затворничества. И теперь сразу без передыха трое с половиной суток словно накачивали в него свежий, даже слишком свежий, холодный воздух. А днем на припеке. С каждым часом страх за друга, за которого она к тому же была в ответе, все нарастал.

Снова она растолкала Куусинена и заставила еще раз выпить кружку крутого чая с медом.

Опять дежурили по очереди. Но когда под утро груда одежды и хвоя зашевелилась и Куусинен высунул рыжую голову, они оба встрепенулись, словно и не дремали.

— Это самое... болезнь, кажется, проходит,— прошептал Отто.— Я мокрый, как мышь. Насквозь пропотел! — и снова спрятал голову.

Вилле и Айно, с облегчением вздохнув, переглянулись и засмеялись.

— Боязнь за Куусинена еще больше сблизила нас,— улыбается она, вспоминая то далекое утро,— от радости мы просто поглупели.

— Я думаю, что Отто Вильгельмович намного раньше нас понял, что мы с Вилле совершаем предсвадебное путешествие. Все не как у людей. Не свадебное. Мы тогда даже не помышляли, что не пройдет и года, как станем мужем и женой. Не до того было,— и Айно с молодым лукавством взглянула на меня.

...Наутро Куусинен казался уже совсем бодрым. Тер-

мометр показывал 36 градусов, и друзья с новыми силами продолжали путь на запад, к острову, который они прозвали «обетованным».

Только бы не спутать его с другим в этом лабиринте, в этом архипелаге больших шхер и малых островков.

Теперь уже Куусинен не подтрунивал над склонившейся у карты Айно. Впрочем, он был занят другим — испытывал купленные в Ханко леску и блесны.

Испытания прошли отлично: за два часа — четыре рыбины, треска. Правда, не очень крупная.

«ОБЕТОВАННЫЙ ОСТРОВ»

Причалив к острову и вытащив на берег «Беляночку», друзья сразу же разложили костер, поджарили на углях рыбу. А печень — рыбий жир — сварили в эмалированной кружке.

Айно с детства ненавидела его. Но мужчины выпили с удовольствием.

— Пей, Айно, до дна, до дна пей! — поднес ей эмалированную кружку Куусинен.

Она отвернула голову.

— Свеженький! Вкусно! — и Вилле отпил сразу полкружки. Такой у него был «вкусный голос», что Айно вдруг захотелось попробовать. Но, боясь насмешек, она отошла от угасшего костра.

На карте остров был голый, она явно отставала от жизни. На самом же деле — молодой смешанный лес: сосна, береза, да еще кустарник — волчья ягода, крушина, дикая смородина, черемуха. А главное, словно из-под самых корней высокой ольхи изливался прозрачный, холодный ключ. Откуда взялась на этом каменистом островке ключевая вода? В корнях ольхи свила себе гнездо какая-то птаха, и счастливый отец семьи, не обращая внимания на людей, то и дело подлетал с приношениями.

Наломав ветвей, соорудили под ольхой шалаш, где троим было не так уж тесно.

Сегодня письмо дойдет до Стокгольма. Завтра его вручат адресату. И тогда сразу кинутся за ними. На дорогу клади сутки. Значит, придется прожить здесь самое большее трое суток! Так прикидывая, Вилле расчислял часы ночных дежурств.

Одуряя пряным ароматом, цвела черемуха.

— Самое время сажать картофель,— сказал он, церемонно поднося Айно ветку черемухи, на которой за цветами не видно было листьев.

Айно знала эту примету, и еще другую: когда распускается черемуха — холодно. А распустилась — придут теплые деньки.

Высокое вечернее небо было расписано прозрачными, изнутри светящимися красками, словно расплылась, размыла свои строго очерченные контуры, перемешала, сместила цвета радуга и заполнила небесный свод. Такое необыкновенное небо бывает на Балтике весенними вечерами!..

Куусинен листал газеты.

В каждой писали об Аландских островах.

Он помнил, как через две недели после начала рабочей революции в Суоми к самому большому острову архипелага, распихивая плавучие льды, подошли шведские пароход, крейсер и миноносец и высадили на берег пятнадцать военных моряков, которые, угрожая оружием, завладели всеми линиями связи. В его памяти была еще свежа та тревожная ночь в Хельсинкском «Смольном», когда они с Маннером вскрыли срочную, из Москвы, секретную правительственную телеграмму: «Прошу вас осведомиться немедленно у Центробалта насчет прихода шведских крейсеров к Оланду и высадки войск шведами. Не откажите как можно скорее сообщить мне по телеграфу, какие сведения об этом имеет рабочее правительство Финляндии и каково его отношение ко всему этому вопросу и к вмешательству шведской военной силы.

Председатель Совнаркома *Ленин*».

И немедленно же Воровский в Стокгольме и Совет народных уполномоченных в Хельсинки, считая, что вопрос о принадлежности Аландских островов должен решиться свободным волеизъявлением народа, плебисцитом, направили резкий протест шведскому правительству, и Швеция убрала свои «войска» и флот.

Но уже в середине марта немцы высадили на этих малолюдных островах десант для борьбы с финской революцией.

На Аландском архипелаге, населенном шведами и принадлежавшем ранее Российской империи, впервые в конце семнадцатого года, вторично — в середине прош-

лого, девятнадцатого, провели всенародное голосование: в границы какой страны — Финляндии или Швеции — должны быть включены острова. И дважды огромнейшим большинством решали присоединиться к Швеции. Но тогдашнее, уже белое, финское правительство не согласилось. И по его требованию решение этого, казалось, ясного вопроса передали в Совет Лиги Наций...

Так вместо моста, соединяющего обе страны, Аландский архипелаг, прикрывающий вход в Ботнический залив, был превращен в яблоко раздора...

Впрочем, Куусинен сейчас искал в газетах совсем другое — сообщение о съезде Социалистической рабочей партии в Хельсинки.

— Наверное, еще не успели дать отчет! — предположил Вилле.

— Это хороший симптом! Если бы съезд разогнали и арестовали участников, все газеты обязательно сообщили бы. Как-никак, а сенсация!..

И долго еще Айно, дежурившая у шалаша, слышала, как, укладываясь спать, Отто и Вилле рассуждали о том, кто какую речь произнесет на съезде, кого изберут в ЦК, каким большинством примут программу.

Если бы они могли предвидеть, что не пройдет и года, и в беседе с иностранными товарищами Ленин как пример отличного сочетания подпольной и легальной работы приведет создание финскими коммунистами легальной лево-социалистической партии!

Не знали они и того, что на первых же выборах новая партия проведет в парламент двадцать семь депутатов. А если бы знали, то, вероятно, спали бы спокойнее...

Впрочем, сон их в ту ночь был, по свидетельству Айно, таким, что, когда одна зорька за Аландскими островами отпылала и сразу же занялась другая и наступила очередь дежурить Вилле, она с трудом добудилась его. Но перед тем как залезть в шалаш, она долго любовалась ночным небом, на котором не видимое еще солнце расписывало абстрактные фрески.

«ТОРПЕДА»

Новый день на «обетованном острове» начался песней примуса: закипало душистое, пахнущее сразу и домашним уютом и дальними странами кофе.

— Не знаешь, кто изобрел примус? — заинтересовалась Айно.

— Какой-то швед,— отозвался Куусинен,— но фамилию его я запамятовал.

— Неблагодарные, мы не помним тех, кто облегчает жизнь. Ну кто, например, изобрел простой настенный выключатель? Иголку? Колесо? Лыжи? Восковую свечу? Блесну?

— Зато я знаю, кто позавчера купил ее,— отшучивался Куусинен.

— А я знаю,— включился в тон ему Вилле,— что сейчас мы снова пустим ее в дело.

— И я знаю, что если будет клев, то вы для разнообразия получите на обед уху, пальчики оближете,— благодушно пообещала Айно.

Рыба клевала хуже, чем вчера, но на уху хватило, да еще какую наваристую...

Разморенные обедом, они сидели на солнечном припеке около «Беляночки».

Лодку поставили на самом берегу, так, чтобы ее могли сразу увидеть. Белый опознавательный знак! И хоть рано еще ждать, они все-таки вглядывались в морскую даль...

Маленькие прозрачные волны набегали на гальку, ласково ложились у ног и нехотя откатывались назад.

— Типичные робинзоны,— усмехнулся Вилле,— отыскиваем на горизонте спасительную точку.

— Ну, давай так: ты Робинзон, Айно — Пятница. А я кто же тогда? Попугаем быть не согласен. Будем лучше считать себя в краткосрочном отпуску,— предложил Куусинен,— и начинаем отдыхать и развлекаться... Кто из финнов не играл на сцене? По-моему, таких нет.

— Тогда волны пусть будут зрителями! — сказала Айно и обратилась к морю:

О жизнь, глубокое море бушует!
Но путь впереди не проложен,
И мой след позади пропадает.
А мне хоть бы что, черт побери!
Свой путь у меня, своя цель.
Свое выполняю призвание!..

— Как пуля пробивает дерево,— перебил Вилле и продолжил:

Как молния камень крошит,
Так и я пробью твой панцирь, чудовище.

— Черти,— взмолился Куусинен,— что вы из разных мест шпарите! Уродуете стихи. Остановитесь! Лучше я сам прочту, по порядку...

Стихотворение это называлось «Торпеда». Запущенная пролетариатом, она аллегорически означала беззаветных революционеров, которые идут на смерть, лишь бы сокрушить морское чудовище — пиратский корабль капитализма — и освободить томящихся в трюмах рабов.

Написанная вольным стихом, с романтическими преувеличениями, «Торпеда» клеймила нерешительных, призывала к борьбе и вдохновляла на бой.

Чтением этого стихотворения тогда открывались концерты и собрания рабочих, оно звучало, как в свое время у нас «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике».

В девятьсот пятом году, в дни всеобщей забастовки, молодой автор «Торпеды», командир одного из отрядов Красной Гвардии в Хельсинки, выстроил своих парней в шеренгу, а сам, невысокий, в гражданской одежде, с огромным револьвером, болтавшимся на боку, вышел перед строем и прочитал стихи. Красногвардейцы восторженно встретили произведение своего командира.

И вот на «обетованном острове» в тот день «Торпеда», написанная недавно в подполье, снова прозвучала в исполнении автора. Им был не кто иной, как Отто Куусинен.

— Теперь после «литературного вечера» — шахматный турнир! — предложил Вилле.

Но в «волшебном мешке» Айно не нашлось ни шахмат, ни шахматной доски. Пришлось мужчинам взяться за свои пуукко — финские ножи и вырезать из березы пешки и коней, ферзей, королей, да так, чтобы можно было легко отличить офицера от ладьи.

Ни в тот день, ни на другой никто не появился.

Не дождались и на третий, когда уже обязательно должны были прибыть за ними из Стокгольма.

Этот день на острове отличался от предыдущих только тем, что, кроме рыбной ловли, шахматных партий, Айно пришлось съездить на «Беляночке» на соседний остров — прикупить у единственной обитавшей там крестьянской семьи немножко картофеля. Картошка и хлеб из

Ханко были съедены. К тому же Айно хотела разведать, продаст ли хозяин хутора лодку покрупнее и поустойчивее, чтобы, если уж никто не прибудет за ними, попробовать самим переплыть Аландское море.

Картофель у хуторянина нашелся, но лодку свою он ни за какие деньги не уступал. И чем больше Айно настаивала, тем угрюмее и подозрительнее он становился, так что пришлось с ним поскорее распрощаться.

...В перерывах между ужением рыбы и шахматами Куусинен снова взялся за газеты.

— Слушайте! — вдруг воскликнул он так, что Айно, вздрогнув, выпустила из рук скользкого недочищенного окуня.— Из тюрьмы в Таммисаари бежали товарищи!

— Сообщение полиции. Приметы. Неужели же никто из вас не хочет разбогатеть,— награда за поимку! Немалые деньги...

И они стали оживленно обсуждать, кто из друзей может быть среди бежавших. Но никто из них даже не помыслил, что тот катер, к которому устремились пограничники, презрев «Беляночку», имел хоть какое-то отношение к узникам из Таммисаари.

— Нет, не хотел бы я оказаться там, откуда они бежали,— сказал Вилле.

— И они, как видишь, не захотели! Молодчаги! — Айно была крайне возбуждена новостью.

Однако как мечтали бы они оказаться сейчас на месте беглецов из Таммисаари, если бы знали, где находятся те в эту минуту!..

Неподалеку от форта «Серая лошадь» в Маркизовой луже, километрах в пяти от берега, краснофлотцы взяли на буксир катер со штрейкбрехерами. Он стоял без движения — кончилось горючее,— и легкий ветерок с востока медленно отгонял его к финским водам. А этого-то больше всего боялись пассажиры катера. Два весла не могли пересилить даже легкий ветер.

— Кто вы? — нагнулся к ним старший краснофлотец.— Эстонцы? Англичане? Финны?

— Суомалайнен! — ответил рулевой, человек со шрамом на лице, и, видя, что моряк не понимает его, повторил: — Финлянд! Из Таммисаари.

— Нет, мы не финлянд, мы советские, русские,— сказал краснофлотец.— А финлянд там.— И он указал рукой в ту сторону, куда ветер отгонял катер.

Тогда рулевой ткнул себя указательным пальцем в грудь:

— Коммунист! — И, обведя рукой своих попутчиков, повторил: — Коммунистец!

— Это другое дело! Это по-нашенски! Братва!—обернулся краснофлотец к своей команде.— Мировая революция в гости прибыла! А впрочем,— махнул он рукой в сторону плоского песчаного берега,— там разберутся, что к чему.— И приказал взять катер на буксир.

Но и на берегу тоже не могли разобрать, что к чему, потому что рулевой настаивал, чтобы из Питера вызвали представителя финских коммунистов, который их опознает, и ничего другого сообщать не хотел.

Рулевой назвался Ханнесом Ярвимяки. Много лет спустя он перечислил мне всех, кто был с ним на катере. Фамилий их я, увы, не запомнил, кроме одной — Урхо Антикайнен. Младший брат Тойво Антикайнена, того самого, кто через два года стал командиром лыжников, совершивших героический рейд по тылам врага.

Два дня пришлось провести «штрейкбрехерам» на краснофлотской гауптвахте, а на третий их доставили уже по сухопутью в Питер.

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Волна подняла лодку на гребень. Высоко занесенные весла захватывали только воздух и завихряли его воронками, не достигая воды. И странно, что Айно видела эти воронки. Обе руки Отто забинтованы. Совсем как у снежной бабы.

Вилле еще раз со всей силой взмахнул веслами — напрасно.

Скрежет железа заглушил вой ветра. Уключина сломалась. Упала в воду и пошла, вращаясь, ко дну. «Беляночка» опрокинулась вверх килем, и Айно, глотая солоноватую воду, захлебываясь, устремилась вслед за сломанной уключиной, стараясь схватить ее. Но та ускользала, погружаясь все глубже и глубже. Конец!

Айно открыла глаза. Над ней шумела листвой ольха. Сквозь ветви просвечивало голубое весеннее небо.

Какое счастье, что это только сон!

Айно вдохнула всей грудью весенний морской воздух, сдобренный ароматом черемухи. Медленно поднявшись

с хвойной постели — торопиться некуда,— пошла к берегу: не потеплела ли вода, вдруг можно окунуться? А главное, еще раз взглянуть, не появились ли на горизонте гости из Стокгольма. Пора бы!

Но нет, ничего! Только, ластясь к берегу, прозрачная легкая волна накатывала на черную, розовую, серую, голубоватую, коричневую гальку и, отпрядывая назад, оставляла облизанные голыши блестящими, искрящимися на солнце, словно полированными.

Пора готовить завтрак.

Обратно к шалашу Айно пошла напрямик через неведомо как выросшие между булыжниками камыши. Из-под ног ее, истерически крича, вспорхнула чайка. Но не улетела прочь, а вереща, взмахивая белыми, окаймленными черной полоской крыльями, закружилась над головой. На возмущенные ее вопли из камышей и с моря слетались другие чайки, две, три, пять... Теперь было уже не до счета. Одна из них запустила лапу в волосы Айно. Другие вились неотступно, крыльями, клювами, когтями касаясь, задевая, царапая.

Закрыв лицо руками, Айно, спотыкаясь, побежала прочь от берега. Чайки с гоготом, визгом, скрежетом преследовали ее.

Там, в камнях, уже вывелись или должны были со дня на день вылупиться чайчата, и родители дружно встали на их защиту.

Взбудораженная нападением птиц, Айно не обращала внимания на подтрунивание товарищей: ее обуревали мысли о дочке, об Инкери.

Муж умер несколько лет назад, и девочка жила теперь у бабушки, в том доме, где прошло и детство Айно. С начала восемнадцатого года она не видела ее (ведь сны не в счет и никакой конспирацией не предусмотрены). Инкери шел уже пятый год.

Признает ли она мать?

Покидая Суоми, Айно не знала, где и когда встретятся они. И встретятся ли? Впрочем, она была убеждена: не пройдет и пяти лет, как они снова будут вместе. Именно такие сроки отводились тогда для победы мировой революции.

Не один молодой человек улыбнется сегодня наивности, легковерию своих отцов, непреодолимое желание которых подгоняло ход истории. Но пусть этот юноша пе-

релистает пожелтевшие страницы тогдашних газет и поймет, что это были за годы! Грохот рушащегося старого мира оглушал и радовал. Российская революция побеждала на всех фронтах. Англичане улепетывали из Архангельска и Мурманска, французский флот восстал у берегов Черного моря. Три самых могущественных в мире императорских трона смыты с лица на ходу перекраивавшейся карты: Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя — три кита, на которых держалась реакция, больше не существовали. Российская Советская Республика, Венгерская Советская Республика, Советы рабочих и солдатских депутатов в Германии, Австрии, Норвегии. Взлет рабочего протеста в странах Антанты. «Руки прочь от Советской России!» Волнения в Индии. Послевоенный кризис!

Казалось, еще нажим, еще шаг вперед — и старый мир войны, наживы, несправедливости рухнет раз и навсегда!

Сегодня мы знаем, что история пошла более сложным, извилистым путем, что, пользуясь разобщением трудящихся, субъективной их неподготовленностью, старый мир выжил, получил передышку и, меняя личины, окреп.

Но разве благая весть о рождении нового мира не прозвучала всесветно, не стала музыкой современности! Разве кровью своей не добился он передышки, не встал несокрушимой твердыней человечества! И старые строки гимна мы пели по-новому, не «это будет», а «это есть наш последний и решительный бой».

Что ж, не вина отцов, что он не стал последним. Но их заслуга, их подвиг в том, что решительным и даже, скажем прямо, решающим он стал!

Да, в тот день Айно убеждена была, что не пробегут и пять лет, как она обнимет дочку.

Четвертые сутки «отдыха» на необитаемом острове превратились для «робинзонов» в томительный труд ожидания.

Наступивший штиль, солнышко, пряные запахи черемухи и идиллические цветочки, невесть откуда взявшиеся на каменистой почве, уже не радовали ни души, ни глаза, а, наоборот, раздражали своим безмятежным спокойствием, когда в душе и в мире царила все нарастающая тревога.

Значит, письмо из Ханко не дошло! Или посланные на

выручку ищут их где-нибудь на другом островке! В здешнем лабиринте сам черт ногу сломит!

А может, и того хуже — нарвались на полицейских и кружат поблизости, чтобы отвести глаза.

Как бы то ни было, они решили продлить свою робинзонаду еще на день, а потом снова попытаться на одном из ближайших островов купить шлюпку (благо деньги есть) и самим переправиться через море — чем мы не викинги! Правда, затея рискованная, но не менее опасно сидеть здесь и ждать, пока сцапают.

СТОКГОЛЬМ. ТОРСГАТАН, 10

— Когда потеряны деньги — ничего не потеряно, когда потеряно время — очень многое потеряно, когда потеряна надежда — потеряно все! Не надо никогда терять надежды, Хурмеваара! — сказал рыжеватый молодой человек в студенческой белой с голубым околышем фуражке, подбодряя товарища.

Хурмеваара тогда представлял финских коммунистов в Швеции, а утешавший его студент Иорпес со дня на день должен был получить диплом врача. Разговор шел в комнате, отведенной шведскими коммунистами для финского бюро в доме № 10 на одной из центральных улиц столицы — Торсгатан...

Не отвечая, Хурмеваара подошел к окну, из которого виден был старый тенистый сад — липовые аллеи стягивались к памятнику Карлу Линнею.

И в эту минуту принесли письмо.

Хурмеваара надорвал конверт.

— Свечу! Свечу! Поскорее! — крикнул он Иорпесу.

— Свечи нет, попробуй обойтись этим,— протянул тот коробок спичек.

Чтобы прочесть письмо, просветив лимонную кислоту над огоньком, пришлось истратить полкоробка.

И с каждой строкой его Хурмеваара веселел.

— Нашлись! — наконец с облегчением произнес он.

— Я ж говорил, не теряй надежды,— усмехнулся Иорпес.— Но посвяти меня в дело. Кто нашелся?

— Двое мужчин и женщина! — Хурмеваара не забывал о конспирации.

— А имя ее? Можешь быть спокоен — женщину уж я не выдам! — усмехнулся студент.

— Айно!..

— Не Песонен ли?

— А ты ее знаешь? — удивился Хурмеваара.

— Еще бы! Мы с ней на моторке выбрались из Выборга за день до того, как туда ворвались белые. Четыре моторные лодки, перегруженные людьми так, что края борта вровень с водой. Хорошо, море было тихое, иначе до Питера не добрались бы.

Каждую весну, сдав испытания на то, что у нас называется «аттестатом зрелости», а у скандинавов «студенческими экзаменами» (дающими право поступать в вузы без экзаменов), тысячи девушек и юношей с торжеством надевают долгожданную, заранее купленную студенческую фуражку: с белым верхом и красным околышем в Дании, синим в Норвегии, черным в Швеции, голубым в Финляндии. И хотя лишь немногие из них осенью пойдут в университеты и институты, все они, даже те, кто обычно обходился без головного убора, будут целое лето носить эту фуражку — символ их перехода во взрослое состояние. С осени же эти фуражки носят только те, кто действительно стал студентом. Остальные нередко хранят ее всю жизнь, как воспоминание о славных днях молодости.

Окружающие, однако, долгое время еще называют их студентами, хотя они и не переступали порога вуза.

Вилле Оянен, которого Айно в разговоре со мной не раз называла студентом, тоже был таким «студентом». Сын рабочего с лесопилки в Куопио из-за нехватки средств в вуз не поступил. Состоятельные родственники его, благодаря поддержке которых он смог окончить гимназию, согласились помогать Вилле учиться в университете при одном условии: на богословском факультете. Они мечтали увидеть члена своей семьи пастором.

Сам же Оянен, ставший к тому времени уже социалистом, решительно отказался от духовной карьеры, и родственники поставили на нем крест. Он вернулся в Куопио, стал сотрудником тамошней славившейся радикализмом социал-демократической газеты и вскоре стал известным в стране журналистом, эрудитом по вопросам политической экономии.

Иорпес же был студентом в русском, не скандинавском, смысле и к началу рабочей революции в Финляндии заканчивал третий курс медицинского факультета в Хельсинки.

Уроженец Аландских островов, один из немногих студентов, примкнувших в дни революции в Суоми к восставшим, он организовал медицинскую помощь раненым красногвардейцам и, когда гражданская война закончилась, оказался в Советской России, приютившей политических эмигрантов в городе Буй Вятской губернии. Там же были собраны и тысячи финнов, перешедших через границу, среди них и Айно.

Иорпес с радостью закончил бы курс в русском университете, но, кроме шведского языка, он владел финским, немецким и латинским, но ни на одном из них — ни в Петербургском, ни в Московском университетах — не преподавали, и пришлось ему добираться до Швеции и поступить там в Стокгольмский университет.

Когда автор этих строк впервые увидел Иорпеса в Стокгольме, тот был уже маститым ученым, академиком. Но в те дни, о которых идет здесь речь, сдав с отличием выпускные экзамены, он ждал диплома врача и мечтал о практике в Каролинской больнице.

— На лодке, говоришь, из Выборга в Питер? Значит, у нее страсть к морским авантюрам! Ведь и сейчас она на лодке... Придется выручать,— сказал Хурмеваара.— Тут каждый час важен, а Хелльберг на своем «Энгельбректе» укатил отдыхать. Не хотелось бы, чтобы Койвукоски на этот раз взял реванш!

— Я, кажется, могу ускорить встречу с Айно,— Иорпес вскочил со стула.

— Куда ты? — уже вслед ему крикнул Хурмеваара.

— Пока буду рассказывать, можем опоздать!

Дело в том, что сегодня у Иорпеса ночевали три молодых парня — родичи с Аландов, рыбаки. Продав еще вчера улов, они собрались уходить на своей шхуне домой. И Иорпесу пришло в голову подрядить их на это дело. Только бы не опоздать, волновался он, торопясь на набережную Сэдермальма, перескакивая с трамвая на трамвай.

Только бы не успели поднять паруса!

Готовясь к побегу, Куусинен рассчитывал встретиться в Швеции со своим старым другом доктором философии Эдуардом Гюллингом. Но так случилось, что как раз в это время тот уезжал из Стокгольма.

В ответ на письмо Ленину, где Гюллинг излагал свои соображения о том, что из ряда районов Архангельской и Онежской губерний, населенных карелами, своевременно было бы создать Карельскую автономную единицу, его пригласили в Москву.

И в дни, когда Вилле Оянен в Хельсинки доставал лодку и мотор, Эдвард Гюллинг уже пересек Норвегию (нитка железной дороги дотягивалась тогда только до Трондхейма, а оттуда тысяча километров на «перекладных» — случайных пароходах, рыбацких лодках, оленях, на своих двоих), и рыбацкий парусник, то проваливаясь между валами, то взлетая на гребень, вез его из Варде в Мурманск, только-только под напором Красной Армии и рабочих «комитетов действия» в Англии оставленный британским экспедиционным корпусом.

Эта новая победа революции, открывавшая северное окошко в Россию, несказанно радовала и Гюллинга, и двух норвежцев, и индонезийца, которых также принял на свою утлую посудину видавший виды норвежский рыбак.

Попутчики Гюллинга пробирались в Москву (другого пути не было) на конгресс Коминтерна.

Но, пожалуй, лучше рассказать обо всем в том порядке, в каком я узнал об этих событиях.

— Весной двадцатого года как-то позвонил Ленин и попросил зайти,— рассказывал мне один из учредителей Коминтерна, бывший народный уполномоченный по иностранным делам революционного правительства Финляндии Юрьё Сирола.

Их связывало с Лениным старое знакомство, завязавшееся еще в Хельсинки в ноябре 1905 года.

Сирола всегда поражало, как дотошно знаком Ленин с тем, что происходит в социалистических партиях, вникал, казалось, в самые мелочи их жизни.

Юрьё смеясь вспоминал о том, как датские социалисты накануне открытия Международного социалистического конгресса в Копенгагене устроили ужин для иност-

ранных делегатов в пригородной гостинице в Клапенборге.

Он очутился за столом рядом с Лениным. Наливая себе аквавита (датская водка), Сирола спросил у соседа:

— Вам налить?

— Это же не моя партия запретила спиртное,— хитро улыбнулся Владимир Ильич.

— Я уж не помню, выпил он свою рюмку или нет,— говорил Сирола,— но меня удивило, откуда он знает, что последний съезд социал-демократов Суоми, после того как некоторые из наших переборщили с водочкой, да это еще раздули правые газеты, решительно потребовал от партийцев всех рангов полного воздержания от спиртного. Только значительно позже я сообразил, что Ленин тактично намекнул мне: ты, мол, должен помнить решения своей партии и выполнять их.

— Что вы думаете о Гюллинге? — спросил Владимир Ильич, когда Сирола явился на его зов.

— В нашей партии, по-моему, есть два подлинно государственных деятеля — Отто Куусинен и Эдуард Гюллинг,— ответил Сирола.— Финн и финский швед,— засмеялся он.

— Поподробнее?

Ленин тоже знал Гюллинга. С этим высоким, статным, голубоглазым скандинавом встречались они дважды. Первый раз в декабре семнадцатого года, когда вместе с Маннером и Вийком Гюллинг приезжал в Питер с просьбой признать независимость Финляндии.

Второй раз уже в феврале восемнадцатого, во время гражданской войны в Суоми. По поручению революционного правительства Совета народных уполномоченных Гюллинг с делегацией и переводчиком Ровио прибыл в Москву с проектом договора.

В подготовительную комиссию, работавшую в Гельсингфорсе, с советской стороны входили Шотман и преподаватель русского языка в Гельсингфорсском университете Владимир Смирнов, он-то одиннадцать лет назад и познакомил Ленина с Сирола.

В Москве рассматривала этот проект другая «согласительная» комиссия. Прения затянулись на несколько дней, и конца им не видно было. Тогда Гюллинг обратился прямо к Ленину и за несколько вечеров в Совнар-

коме проект обсудили и с помощью Ленина отредактировали постатейно. Это происходило в дни, когда переговоры в Брест-Литовске были прерваны и немцы начали наступление на Петроград.

В ночь на первое марта все было готово к подписи.

Но тут возникло непредвиденное затруднение. В двадцатом параграфе договора значилось, что он скрепляется подписями и личными печатями лиц, уполномоченных его подписать. А из финских делегатов личная печать была только у Гюллинга. Второй уполномоченный, Оскар Токои, тут же на месте вырезал из пробки себе печатку... И глубокой ночью Ленин подписал первый в истории договор Страны Советов с другим государством. Первый договор дружбы и братства между Рабочей республикой Финляндией и РСФСР. Финны попросили у него на память перо, которым он подписывался. Обыкновенное перо, со школьной пятикопеечной ручкой.

— Взамен мы пришлем золотое! — смеясь, пообещал Гюллинг.

О том, какие изменения претерпел проект договора под воздействием Ленина, боровшегося как против великорусского, так и против финского национализма, какие его поправки были внесены в окончательный текст, не раз в беседах со мной вспоминали и Гюллинг, и Ровио, и Шотман, рукою которого эти поправки вносились. Но сейчас память приводит то неизменное восхищение, с которым и он и Сирола говорили о восемнадцатом параграфе договора в ленинской редакции, параграфе, который отчетливо отделял его от всех договоров между буржуазными государствами. Все возможные разногласия при толковании договора, отдельных его пунктов и случаи нарушения их «передают на разъяснение третейского суда, председатель коего назначается правлением шведской левой социал демократической партии».

Эта партия, вскоре переименовавшая себя в коммунистическую, была партией революционно-пролетарского характера.

— Да, Ленин был подлинным интернационалистом от глубины сердца до кончиков пальцев. Реальный политик, он умело маневрировал во имя победы высших принципов, но никогда нигде не изменял им,— восторженно говорил Сирола.

...Когда Ленин вызвал к себе Сирола, он задал вопрос о Гюллинге неспроста.

— Это деятель государственного масштаба,— повторил Сирола. И видя, что собеседник ждет подробностей, продолжал: — Мой отец пастор, его — инженер. Познакомился я с ним в студенческие годы в Хельсинки, в университете. Мы втроем с Куусиненом в 1904 году создали там Социалистическое объединение студентов. В партии он с пятого года. Командовал отрядом Красной Гвардии. Веселый, остроумный, добряк. Организовал и редактировал теоретический журнал. В девятом году получил ученое звание доктора. Много писал по аграрному вопросу, да так, что его понимали и малообразованные. Он же внес в парламент проект всеобщего аграрного закона, по которому безземельные крестьяне получили бы землю без выкупа. Этот проект стал костяком нашей аграрной программы и лозунгом всех безземельных и малоземельных крестьян! В дни революции мы его осуществили — приняли такой закон. Лахтари потом не осмелились отменить его. Буржуазия пыталась сманить Гюллинга на свою сторону — в десятом году пригласили доцентом в университет. На его лекции сбегались студенты с других факультетов... Он хорошо поет, танцует. Бессребреник... Что бы вам еще хотелось знать?

— Не прожектер?

— Что вы! Председатель финансовой комиссии парламента, бравший на цвет, на вкус, на ощупь каждое пенни бюджета. Работник главного управления статистики. Заведующий статистическим бюро Хельсинки. И при всем том не сухарь. Вряд ли кто лучше него мог руководить Финляндским банком, делами которого он ведал после революции. А в последние ее недели был начальником штаба Красной Гвардии Выборга, последнего нашего оплота. Оставался как капитан на мостике — до конца. А потом несколько дней прятался в вентиляционной трубе. Обросший, почерневший, каждую минуту рискуя быть расстрелянным, добрался до Хельсинки, там прожил некоторое время у друзей, а оттуда уже проехал в Швецию. Работает в загранбюро нашей партии.

Внимательно слушая Сирола, Ленин не скрывал своего удовлетворения.

— Прекрасно! Прекрасно! Ну, а что вы скажете о

Карелии? Может она быть автономной, национальной единицей?..

Сирола признался, что сомневается в этом. Вообще, насколько он знает, там мало промышленности, а национального пролетариата почти нет... И работников партийных, наверное, не хватает!

— А вот Гюллинг не сомневается. Верит. Готов приняться за дело. Прислал большое письмо. Убежден, что автономия возбудит у рабочих и крестьян Карелии прилив энергии!.. И экономические выкладки его вполне доказательны! Я пригласил его сюда.

— Если так думает Гюллинг, то прав, конечно, он, а не я. Он отличный экономист. Я же в этих вопросах мало сведущ,— отозвался Сирола.

— У нас тоже есть люди, которые сомневаются. Но по другой причине. И так, мол, не счесть национальных округов, а тут на голову сваливается еще новый. Неохота канителиться еще с одним. Но...— Ленин остановился, словно стремясь охватить предмет беседы со всех сторон.— Гюллинг будто прочитал все это,— и он показал на стол.— Вот у меня целая пачка телеграмм, резолюций Олонецких, Видлицких, Ведлозерских, Тунгудских, Ухтинских и прочих волостных, сельских, уездных собраний — о необходимости автономной, национальной единицы. И число таких решений день ото дня нарастает. Мы изменим нашим принципам и обещаниям, если не пойдем им навстречу! Тут и протест против стремления финской буржуазии присоединить эти волости как «соплеменных братьев» к Финляндии. Они, конечно, не о родстве пекутся — глаза разгорелись на карельские леса! А заодно мечтают отрезать нас от незамерзающего Мурмана...— и, помолчав, повернул вопрос другой стороной.— В июне начнутся в Юрьеве мирные переговоры с Финляндией. Они наверняка опять выдвинут «карельский вопрос», предъявят притязание на эти районы. А мы, удовлетворив желания Олонецких и Архангельских карел, сделаем притязания их непрошеных финских «покровителей» беспредметными. Беспредметными,— повторил он.— Прекрасно! Все как в фокусе сходится в одной точке!..

Вот что рассказывал мне в своей московской спартанской комнате, где, кроме непокрытого стола, трех стульев и множества книг, ничего не было, Юрьё Сиро-

ла, председатель контрольной комиссии Коминтерна, о той беседе с Лениным в конце мая.

Через несколько дней вместе с добравшимся уже в Москву, прихрамывавшим (ушиб ногу о камень в скалистых горах северной Норвегии) Эдвардом Гюллингом он снова пришел к Ленину.

Тогда же было условлено, что Гюллинг разработает и через несколько дней представит подробный план организации Карельской трудовой коммуны.

— Что же касается нехватки работников,— обратился Ленин к Сирола,— так неужели же вы и другие финские товарищи не поедете в Карелию, чтобы помочь Гюллингу?

— Извините, Владимир Ильич, что не выполнили обещания,— уходя, сказал Гюллинг,— не прислали золотого пера. Но в том не наша вина. Ручка же ваша хранится у Ровио...

Восьмого июня, в день, когда в Хельсинки завершал работу съезд новой Социалистической рабочей партии, в Москве был опубликован декрет об образовании Карельской трудовой коммуны, впоследствии преобразованной в автономную республику. Эдвард Гюллинг был избран первым председателем ее правительства, Юрьё Сирола стал ее первым народным комиссаром просвещения.

ШХУНА С АЛАНДОВ

Утро нового дня, такого же тихого, как и предыдущие, после завтрака на «обетованном острове» началось шахматами.

Играли всерьез, ожесточенно.

Айно любопытно было наблюдать, как мужчины, словно дети, обижались, когда один из них выигрывал, но, как взрослые, старались скрыть обиду. А так как на партию уходило часа два, то и время пролетало незаметно. Силы у партнеров были равные. Каждый набрал по десять очков.

Играли последнюю, контровую, решающую...

— Однажды Вильгельм Либкнехт случайно выиграл у Маркса партию в шахматы,— Оянен расставлял фигуры на доске.— И когда Маркс предложил продлить игру, старик Либкнехт отказался.

— Я хочу,— сказал он,— иметь право сказать, что последнюю нашу партию с Марксом выиграл я...

— Но так как среди нас нет ни Либкнехта, ни Маркса,— Отто передвинул фигуру,— игра продолжается.

— Нет, игра прерывается! — воскликнула Айно.

Она увидела парус подходившей к острову шхуны.

Друг ли это, случайный корабль или враг?..

Со шхуны людей у шалаша за кустами смородины не разглядеть. Зато они сквозь ветви могли наблюдать за тем, что делается на борту.

Парус увял, опустился... В сотне метров от берега шхуна остановилась.

Двое парней подвели к борту тузик, волочившийся на канате за кормой, и прыгнули в него.

Тузик пошел к берегу.

Айно помогла Вилле надеть пиджак, и он медленно, словно прогуливаясь, пошел к тому месту на берегу, куда нацелился тузик. Когда парень, сидевший на корме, увидел Вилле, он что-то сказал гребцу, и тот немедленно стал сушить весла, а рулевой приподнялся с банки, снял пиджак, встряхнул его, словно отряхивая пыль, и снова надел.

Оянен махнул ему рукой. Но тот ничего не ответил, гребец продолжал сушить весла, и лодку течением относило в сторону.

— Ах, черт побери! — выругался вслух Вилле.— От радости чуть не забыл!

И он тоже снял пиджак, встряхнул его и снова надел в рукава.

Теперь не оставалось сомнений — это друзья! Условный знак понят.

Гребец опустил весла в воду, и через минуту оба парня были на берегу.

— Вас должно быть трое. Где женщина? — настороженно спросил рулевой. Вдруг лицо его расплылось в довольной улыбке. Айно и Куусинен вышли из прикрытия.

— Как хорошо,— облегченно вздохнула Айно,— не

надо уговаривать хуторян продать лодку, не надо на веслах пересекать Аландское море.

Ребята со шхуны в эти минуты казались ей богатырями, вынырнувшими из древних рун. И разговаривать с ними было одно удовольствие.

Вскоре все было слажено. Верткий тузик больше трех человек не вмещал, и парни возвратились на шхуну одни. Отвели ее за другой недалекий островок, где к ним должны присоединиться ставшие пассажирами «робинзоны»...

Взбираясь на борт шхуны, Айно в последний раз взглянула на лодку.

— Прощай, «Беляночка», ты вытерпела из-за нас такие муки, к которым тебя не готовили!

— Это вы хорошо придумали поставить лодку на виду, как веху. Мы издалека заметили ее,— похвалил их старший рыбак, которому тоже не было и двадцати лет. На щеках и подбородке у него вился пушок, который он не сбривал; рыбак не вынимал изо рта трубку и охотно отзывался на обращение «шкипер».— Я и моя команда в вашем распоряжении,— любезно сказал он.

Двое других парней вместе с Вилле перебрались в «Беляночку», взяли тузик на буксир и поплыли к «обетованному острову».

Младший был еще совсем мальчик, и кличка «юнга», которой окрестила его Айно, сразу прилипла к нему. Средний, которого отныне они звали «команда», сел на весла.

Айно перед отплытием нашла местечко на островке, где «Беляночка» может спокойно дожидаться хозяев.

Вилле с парнишками вытянули ее на берег, дотащили до шалаша под ольхой и, обрушив его, похоронили лодку под грудой веток среди кустов черемухи.

Снова подняты паруса, запущен мотор, и шхуна, лавируя между отмелями и подводными камнями посреди скалистых островков,— как только они находили безопасный путь! — повернула на запад к Аландскому архипелагу...

За кормой кружились чайки, взмах крыла подымал их, а затем на недвижно раскрытых крыльях они парили, покачиваясь на не видимой глазу воздушной волне, и вершили плавный вираж за виражом, требовательно попискивая...

«Может, это кружит мать тех птенцов, которых я чуть не раздавила! За «Беляночкой» чайки так не увивались, сразу поняли, что нечем поживиться. Сметливые птицы!» — думала Айно.

Еще раз мелькнул за кормой мысок острова, но его уже закрыл другой.

Прощай, добрый островок с шалашом под ольхой, с разноцветной галькой у берега, с гнездом неопознанной пичуги!

— Я, конечно, не теоретик и не поэт,— обернулась Айно к Куусинену.— но на твоем месте написала бы поэму о примусе, об уключине, которая не сломалась, о холодном чистом ключе, который поил нас прозрачной водой на этом гостеприимном острове.

На шхуне у борта, в металлическом чане с морской водой, обычно плескалась рыба, которую сохраняли живой до рынка. Сейчас в чане, извиваясь, плавал большой черный угорь.

— Подговори ребят продать его нам на ужин,— попросил Куусинен.

— Я змей от роду не едала и есть не буду! — категорически отрезала Айно.

— Нам больше достанется! — пожал плечами Вилле.

К зажаренному угрю Айно так и не притронулась. Хотя друзья уверяли ее, что вкуснее рыбы в жизни не пробовали.

— Все равно змея!..

Море было спокойно. Изредка налетавший ветерок морщил гладь мелкой рябью. Один только раз их качнуло на волне, от большого парохода «Борей», шедшего из Турку в Стокгольм.

Одинокая чайка, то плавно покачивавшаяся на недвижно раскрытых крыльях за кормой, то уносимая вверх встречным потоком воздуха, устремилась за пароходом, покинув шхуну.

На всех парусах шхуна вошла в Аландский архипелаг. Она проплыла между островами, как по руслу широкой извилистой реки, берега которой то сужались, превращая ее в узкий пролив, то ширились, образуя большое озеро.

Но то было не озеро, а море, и сосновые рощи, от-

ступая, вдруг открывали глазу, что растут они не в сплошной тайге, а на скалистом острове, уставившем свой гранитный лоб на мимо скользящую шхуну.

Только равномерный звук мотора разрезал обступившую тишину.

Изредка мелькал среди зеленеющей нивы домик цвета спелой брусники да бревенчатая банька окунала ступеньки в море.

Куусинен и Оянен расстелили «шахматную доску» на бочке у кормы и продолжали прерванную партию.

— Как вы находите дорогу среди этих пяти тысяч шестисот островов? — поразившее ее воображение число Айно запомнила со школьной скамьи.

«Шкипер», не вынимая изо рта погасшей трубки, развернул перед ней карту. Она показалась ей очень похожей на карту средней Финляндии, где озер не меньше, чем островов на Аланде. Та же пестрота, изрезанность, то же лабиринтное мельтешение. И в расцветке разницы нет — голубой и коричневый. Только здесь, как в зеркале: то, что там было озерами, стало островами. Суша с морем поменялись местами.

— Среди островов не так-то уж трудно найти дорогу, они с места не трогаются, стоят, как путеводные вехи, а вот мы ходим в океаны, где нет земных ориентиров, и возвращаемся с зерном из Австралии, не заблудившись. В будущем году я поступлю матросом на такое судно. Капитан Густав Эриксон в Мариехамне обещал взять меня.

— Да ну! — протянула Айно, проникаясь уважением к парню, который на паруснике собирался в Австралию. И она видела, что он не хвастает.

Прерванную на острове партию не удалось закончить в тот день на шхуне, потому что «шкипер» снова предложил пассажирам и даже Айно уйти с палубы — суденышко подходило к хутору. И никто не должен знать, что на борту посторонние.

А чтобы и подозрений не возникло, снаружи наперекрест досками забили дверь каюты.

— Когда стемнеет, лампы не зажигать. Скоро вернемся! — и, забрав пакеты со стокгольмскими покупками, ребята отправились предупредить родных, чтобы не беспокоились — не пропали, мол, не потонули, скоро вернемся с гостинцами!

— Ты бывал на Аландах, что ты знаешь о них? — спрашивает меня Айно Песонен.

Что я знаю об Аландских островах?! Читал чудесную повесть Юхани Ахо, известную у нас под заглавием «Совесть», написал рецензию на книгу уроженки Аландов шведки Айли Нурдгрен «Гори, огонь!». На полке у меня «Северная повесть» Константина Паустовского, действие которой происходит на одном из островов Аландского архипелага. В багратионовском отряде, который весной 1809 года пошел в рискованный рейд по льду Ботнического залива через Аландские острова на Стокгольм, было два поэта-офицера — Денис Давыдов и Константин Батюшков.

В одной из схваток со шведскими отрядами на Аландах Батюшков потерял томик Торквато Тассо, с которым не расставался и в тяготах походной жизни. В письмах своих он сетовал, что, несмотря на поиски в снегу под неприятельским огнем, книгу он так и не разыскал...

Но, разумеется, не о романах и стихах спрашивала меня Айно!

И еще я знал, что Аланды были последним на земле пристанищем флотилии парусных кораблей. Она доставляла тогда пшеницу из Австралии в Финляндию. В 1949 году было совершено последнее заокеанское плаванье под парусами.

— Айно,— ответил я,— когда-то я был влюблен в женщину, детство и юность которой прошли на Аландах. Звали ее Ханна, и она рассказывала мне о своей родине, мечтала увидеть ее. Послушать — лучше нет места на земле, чем эти острова. И особенно мне запомнился ее рассказ о том, как цветут на Аландах яблони. Необыкновенно, у самых берегов, так что цветы можно срывать прямо с лодки. И...

— Да, да,— подхватила Айно,— это правда!

Из окошка каюты ей были видны не только ивы, тянущиеся к воде, но и яблони. И они как раз цвели! Казалось, белые хлопья снега густо облегают ветви, прикрыв и черноту их и зелень распускающихся листьев.

Нежные, едва уловимые запахи цветения ветер доносил в каюту шхуны.

Прошло немногим больше часа, парни вернулись на тузике, подняли якорь, завозились на палубе, развернули шхуну, поставили паруса... И лишь когда суденышко, послушное ветру и рулю, плавно пошло по проливу, «шкипер» оторвал доски, освобождая добровольных затворников.

— Вы свободны! — весело сказал он. Но едва Айно вышла на палубу, как тревожным шепотом он приказал: — Назад! Не высовываться!

В пролив входило таможенное судно. На его мачте медленно поднялся флаг, означавший «таможенный осмотр».

Шхуна замедлила ход, и на ее мачту пополз ответный флаг, означавший «готовы к таможенному осмотру».

Но когда таможенники разобрали, чья это шхуна, командир махнул рукой, и таможенное судно, не останавливаясь, прошло мимо!

— Вам повезло,— сказал «шкипер», когда таможенники скрылись за мыском, и разрешил пассажирам подняться на палубу.— Наша шхуна никогда не была замечена в контрабанде или еще в чем неблаговидном. К тому же они не хотят сейчас ссориться с природными аландцами! — заключил он.

Аландское море шхуна пересекла безоблачной ночью. Все звезды высыпали на небесную твердь.

Глядя на небо, Вилле задумался:

— Каждый сто́ящий человек должен всегда иметь над своей головой Полярную звезду... Пусть все вращается, меняет места. Она одна неизменна. Полярная звезда.

— Да ты, я вижу, тоже не чужд лирики,— заметил Куусинен.

На рассвете товарищи увидели Тьярва, а затем Толбакен — маяки, открывающие путь в глубоко врезавшийся в сушу фиорд. В дальнем замыкающем углу этого фиорда на островах и мысах расположился Стокгольм, омываемый с запада водами озера Меларен.

Разве есть на свете места красивее, чем озеро Сайма с островами, которых тут больше, чем дней в году, думала раньше Айно, но Стокгольмский фиорд с леси-

стыми и скалистыми островками и встающим над ним ранним солнцем, от которого розовела вода, был очень похож на Сайму.

— Разве есть на свете что-нибудь красивее, чем Аланды,— в унисон ее мыслям вдруг произнес «шкипер».— Не находите ли вы, господин, что Стокгольмский фиорд не уступает Аландам? Посмотрите, такие же баньки у скал!

Куусинен кивнул. Мысли его были заняты другим: предстоящей встречей с друзьями, и прежде всего с Эдвардом Гюллингом, товарищем по гимназии, по университету, по партии, по революционному рабочему правительству — другом, у которого, он знал, найдет совет и поддержку в том, что сейчас его так волновало.

Фиорд уже жил полной жизнью, буксиры тянули за собой баржи, оставляя пенный след, розоватую гладь бороздили быстрые моторки, но люди на шхуне чувствовали себя уверенно, и никто не прятался в каюте.

Навстречу шел миноносец. На его флаге у кормы желтый крест пересекал синее поле. И это сочетание красок вызывало совсем другое чувство, чем флаг с белым полем, пересеченным голубым крестом.

Так они добрались до Тьоко — дальней пристани пригородного пароходства. Еще раньше решили в Тьоко разделиться на две группы.

Хотя из-за Аландских островов отношения между шведским и финским правительствами были неприязненные, не исключено все же, что, узнав Куусинена, его могут выдать финским властям.

К тому же, мягко говоря, нереспектабельный костюм его сам по себе казался подозрительным.

Итак, «шкипер» и «команда» оставались на шхуне вместе с Отто и Вилле, Айно же с «юнгой» на местном пригородном пароходике отплыли в столицу.

Увы, в «волшебной сумке» пудры не оказалось, а солнце, ветер и соленая морская вода сделали свое дело — кожа на носу облупилась. Надо было закрывать березовым листком, огорчилась Айно, ловя на своем обветренном лице сочувственные взгляды пассажиров.

— Мы с Аландов, мимоходом,— сказал «юнга», покупая билет.

И скоро это стало известно всем на пароходе.

— А, молодые граждане нашей страны! Счастливого пути! — напутствовал их капитан на прощанье, когда пароходик подходил к пристани против Королевского дворца, и пожал им руки.

Рукопожатием почтили их и матрос у трапа, и вышедшие из машинного отделения машинисты, и многие пассажиры.

— Счастливого пути, земляки!..

Впервые за много времени Айно шла по улице, не опасаясь, что каждую минуту ее могут схватить и заточить в каземат.

БЕГЛЕЦ ИЗ ТАММИСААРИ

В Петрограде, в доме номер два по Гороховой, пассажиров катера, доставленных из форта «Серая лошадь», разъединили. На третий день, как раз в то самое время, когда рыбацкая шхуна аландцев подходила к «обетованному острову», рулевого вызвали к следователю. Кроме него, в кабинете он увидел человека коренастого, сутулящегося, в гимнастерке защитного цвета с красными «разговорами»[1], в полотняном шлеме с шишаком, который назывался тогда буденовкой.

Едва следователь взял лист бумаги и обмакнул ручку в чернила, как военный энергичным шагом подошел к рулевому и, пристально глядя на него, бросил:

— Он не врет! Это Ханнес Ярвимяки! — И, уже обращаясь к Ханнесу: — Я тебя предупреждал, надо отходить! Почему не выполнили приказ? Это безобразие! За это и поплатились...— И снова, повернувшись к следователю, объяснил: — Он командовал Красной Гвардией на среднем участке. Около тридцати тысяч штыков! У Лахти. Был приказ отступить, чтобы выровнять фронт, а они замитинговали. Не пожелали отходить. Вот и угодили в ловушку!

Перед Ярвимяки был Эйно Рахья, один из командующих Красной Гвардией во время Финляндской революции...

То, о чем Рахья говорил следователю, случилось года два назад, во время гражданской войны в Суоми, когда квалифицированный медник, старый (с десятилетним стажем) социал-демократ Ярвимяки был избран в своем

[1] Так назывались в то время красные полосы на красноармейских шинелях и гимнастерках.

родном городке Ловиса командиром красногвардейского отряда. А еще через некоторое время он, не проходивший военной службы, с грехом пополам изучивший трехлинейную винтовку, стал командующим средним участком фронта.

После разгрома финской рабочей революции Ярвимяки удалось на некоторое время скрыться. Белые расстреляли его брата и семидесятилетнего отца. Потом схватили и самого Ханнеса. Его приговорили к двенадцати годам тюрьмы. Правда, через несколько месяцев Ханнес ускользнул из Выборгского замка.

— Профессия помогла! — улыбнулся он.

— Но тебя легко узнать,— Рахья взглянул на шрам, пересекший щеку Ярвимяки.— Откуда он?

— Встретил в поезде одного друга детства. Стали вспоминать прошлое. И я, между прочим, спросил: «Где ты работаешь?» — А он оказался охранником.

Ярвимяки тут же был арестован.

— Неужели по старой дружбе не пустишь в уборную? — нашелся Ярвимяки.

К счастью, финны народ экономный, и уборные в вагонах такие, что двоим не поместиться.

Другу детства пришлось ожидать в тамбуре.

Это было в ноябре прошлого года.

За окном навстречу бежала серая, бесснежная еще земля, на телеграфных столбах провисали провода. Несколько секунд размышления. Другого выбора нет. Он повернул ручку — закрыл уборную. Быстро опустил окно — и прыгнул.

— Шрам — память о прыжке! И другая отметка на ноге.— Ярвимяки засучил штанину.— Не думал, что создаю себе особые приметы.

Через некоторое время его снова схватили на одной из подпольных явок. Уйти не удалось.

К старым двенадцати годам привесили еще пять и поместили в надежную, славившуюся жестоким режимом и зверями-стражниками тюрьму в Экенесе—Таммисаари.

Одному оттуда бежать невозможно. Нужно было подобрать группу бесстрашных. Ярвимяки стал работать в мастерских по специальности. А сверх всяких заданий сделал в подарок начальнику тюрьмы медный кофейник. И этот дар несколько смягчил ему режим. Работа

в сверхурочное время — другой медный чайник надзирателю — дала возможность потихоньку смастерить самодельный компас. Бежать-то он собирался по морю, на суше с отметиной на щеке далеко не уйдешь! Ножницы, кусачки для резки меди и жести пригодились бы для колючей проволоки, трижды опоясавшей тюремный двор. Только взять их из мастерской можно лишь в последний вечер.

Одному из заключенных, который получал свидания с женой, поручили достать карту местности.

Ее начертил на уроках географии живший тут же в городке старший сын узника, а проверил учитель. Правда, карта была слепая, без названий, и, оборвав края так, чтобы она походила на бумажную рвань, в одной из передач ею обернули хлеб.

Половину своего и без того скудного пайка Ханнес тратил, подкармливая на прогулках собак. Такой же добровольный пост устроили себе и другие заключенные, которые готовились бежать вместе с ним.

По этой решимости добровольно голодать Ханнес и отобрал верных людей. Вместо двадцати девяти, заявивших о своем желании, на поверку оказалось шесть.

Хорошее отношение собак было важнее хорошего отношения начальника тюрьмы и даже надзирателя.

Владельцу старого, бывавшего в переделках катера обещали выплатить стоимость нового при условии, что он объявит о пропаже не раньше, чем через три дня.

Спускались босиком по водосточной трубе, проклиная белые ночи. Связанные шнурками ботинки висели на шее. Не дай бог, сорвется штиблет или кто-нибудь кашлянет... Но тех, кто кашлял, заранее решено было не брать. Пайки скормили собакам не зря. Псы признали беглецов, но ластиться к ним не стали — не так воспитаны!..

Ножницами, вынесенными из мастерской, Ярвимяки перерезал три ряда колючей проволоки, за ним прошли остальные.

Скорее к морю! Но парень, которому доверили карту, второпях потерял ее... Где? Когда? Не было времени ни выяснить, ни отыскивать ее.

По компасу добрались до берега.

Часа за два до утреннего подъема в тюрьме они нашли катер с бидоном питьевой воды, двумя бидонами

горючего и на ощупь, наугад вышли между шхерами из заливчика.

В открытом море слово «ориентироваться» приобрело свой исконный смысл. Правь на восток — и все... Но к вечеру их задержали финские пограничники.

Обо всем этом Эйно Рахья подробно узнал в тот же вечер.

— Я сейчас комиссар Интернациональной военной школы,— сказал он, показывая на ромбы в петлицах гимнастерки.— И думаю, тебе лучше всего податься туда курсантом. Встретишь там немало друзей. А когда станешь красным командиром, тогда поймешь, что, если командование приказывает отступать, надо подчиняться, даже если на твоем участке дела хороши. Иначе можешь попасть в ловушку, как с тобой и случилось,— наставительно поучал Эйно Рахья.

Он не умел сглаживать острые углы.

И в Выборгском замке и в тюрьме Таммисаари заключенные знали о письме-клятве, которое написали финские коммунисты в 1918 году, потрясенные известием о выстреле в Ленина. Листки папиросной бумаги с этим письмом и обращением к финнам-красногвардейцам, вступившим в Красную Армию, в подполье украдкой передавали из рук в руки... И Ханнес Ярвимяки чуть ли не наизусть запомнил это обращение.

«Вы поступили правильно, предложив свою помощь и кровь своего сердца Советской республике. Стойте неколебимо бок о бок с русскими товарищами, безжалостно громите врагов рабочего класса, сокрушайте их. Боритесь за победу пролетариата в России. Эта победа будет решающей для международной революции и коммунизма!»

Под каждым словом этого обращения, написанного, как и письмо-клятва учредительного съезда Ленину, Отто Куусиненом, Ханнес охотно подписывался всем своим разумением и сердцем. И вполне естественно, что на другой же день после встречи с Эйно он пришел на Васильевский остров, в старое здание бывшего Первого кадетского корпуса на берегу Невы, где помещалась Интернациональная военная школа, и стал красным курсантом.

Вместе с ним пришли еще три беглеца из Таммисаари.

ВСТРЕЧА В СТОКГОЛЬМЕ

В то утро, когда Ханнес Ярвимяки на Васильевском острове в Питере записывался в курсанты Интернациональной военной школы, Айно Песонен в Стокгольме подымалась по лестнице дома номер десять по Торсгатан.

Когда она вошла в кабинет, навстречу ей бросился Хурмеваара, и, к удивлению присутствующих — у финнов это не принято,— они крепко обнялись, расцеловались. Кроме Иорпеса, который был в курсе дела, остальные не знали, что ее появление здесь означало и то, что Куусинен прибыл, что он на свободе.

Айно не стала отвечать на вопросы, которыми ее засыпал Хурмеваара.

— Скорее отправляйтесь в Тьоко за нашими.

Хурмеваара принялся названивать по телефону. Но только к вечеру удалось раздобыть моторку адвоката Хелльберга.

А пока Айно узнала, что Гюллинга, на встречу с которым так рассчитывал Куусинен, в Стокгольме нет — его вызвал в Москву Ленин.

Айно поместили в квартире Гюллинга, у его жены Фании.

Когда Эдвард даст знать о себе, они вместе отправятся в Петроград.

Вилле Оянена временно устроили на квартире Усенусов, у которых в Хельсинки в августе семнадцатого года двое суток жил Владимир Ильич.

Вечером Хурмеваара повел Айно и «юнгу» к гранитной набережной, туда, где плавали белокрылые лебеди, посадил на подошедший белый моторный катер Хелльберга и, пожелав удачи, сказал, что будет ждать их на пристани у Скансена.

Моторка, рассекая розовую от заката воду фиорда, шла с непривычной для Айно скоростью.

— У нее два мотора, с правого борта и с левого,— гордясь быстроходностью судна, пояснил высокий белобрысый паренек, которого и Хурмеваара и капитан Эриксон звали, как мы уже знаем, Птица.

Эриксон год назад сквозь блокаду провел в Петроградский порт пароход «Экнильстуну» с медикаментами. Сегодня у него выдался свободный денек, и он с удоволь-

ствием согласился пойти во внеочередной рейс. Хотелось познакомиться с Куусиненом, тем самым, весть об убийстве которого вызвала негодование рабочих Швеции.

— Неделю назад мы ходили в Сегельскярн, чтобы подобрать троих финнов, но их почему-то не оказалось,— сказал Птица.

— Мы были там,— нарушила конспирацию Айно.— Это вы опоздали!

— А как вы туда добрались?

— На двухвесельной лодочке. В назначенный срок.

— Не может быть! — усомнился Птица.— Такой шторм был! Нас с двумя моторами и то отнесло к Эстонии. Потому мы и запоздали... Потом два раза обошли вокруг Сегельскярн. Там были люди, что-то строили... Но никто, завидев нас, не снял пиджака!.. И мы ушли.

— Мы видели вас, но...— И Айно развела руками.

Катер летел в пене, дрожа, словно понесший конь.

— Хочет взять реванш за прошлый рейс,— рассмеялась Айно, но тут же оборвала себя. Рано смеяться. Еще не конец.

Когда «Энгельбрект» остановился, прильнув к борту рыбацкой шхуны, там еще спали.

Поднять товарищей, расплатиться с рыбаками, подарив им сверх платы свой скарб — карту, примус, компас, два пистолета, кофейник и кружки, было делом нескольких минут.

С собой захватили лишь самодельные шахматы. Партия в этот день была наконец доиграна.

— Кто победил?

— Ничья!.. Доиграем в Стокгольме,— недовольно пробурчал Оянен.

Он во что бы то ни стало хотел выиграть матч на звание чемпиона «Беляночки» и «обетованного острова».

«Шкипер» разглядывал катер, прибывший из Стокгольма за его пассажирами. И, восхищаясь быстроходностью «Энгельбректа», его оснасткой, новизной, проникался все большим уважением к своим пассажирам.

Перебираясь со шхуны на моторку, Айно услышала, как он сказал «юнге»:

— Да, не думал я, что у нас такой ценный улов!

Птица включил моторы. В прозрачной полумгле белой ночи растворились очертания аландской шхуны.

Острова с пригородными дачами медленно потекли назад. «Энгельбрект» возвращался в Стокгольм.

Айно и Вилле на палубе вполголоса переговаривались с Птицей, который называл проходящие мимо островки и места, где в окнах домов светились огоньки, а Куусинен, забравшись в каюту, с жадностью набросился на газеты, привезенные Айно.

Она ему уже сказала, что в ближайшее время в Стокгольме откроются курсы для подпольщиков из Финляндии, где он и Оянен должны будут вести занятия. Отто придется еще редактировать газету «Пролетарий», печатающуюся в Стокгольме, но предназначенную для Финляндии.

Поэтому на несколько месяцев ему нужно задержаться в Швеции.

Газеты радовали. Съезд Социалистической рабочей партии в Хельсинки состоялся, принял программу и избрал правление.

— Так, так, так! — бормотал Куусинен, листая газеты.

Вести из Советской России тоже благоприятные. Подробно описывались последние дни англо-американской интервенции в Архангельске и на Мурмане.

— Так, так, так,— повторял он.

«Теперь и мне надо через Норвегию пробираться на Мурман. Хорошо, что Гюллинг открыл этот путь».

На Западном фронте Красная Армия, к удивлению французской печати, разбив белополяков, продолжала стремительное наступление.

Хурмеваара синим карандашом подчеркнул телеграмму из Ревеля. В Эстонии, в Юрьеве (он же Дерпт и он же Тарту), начинаются мирные переговоры между Советской Россией и Финляндией.

Этого настойчиво требовала Финская компартия, это было одним из важнейших требований в программе новой Социалистической рабочей партии, этому изо всех сил противилась реакция, делавшая ставку на падение Советской власти.

Освобождение Киева, наступление Красной Армии на Западном фронте сделали свое дело.

В списке советских делегатов на мирной конференции в Юрьеве Куусинен отметил своего друга Сантери Шотмана. Дружба эта завязалась еще десять лет назад, когда Шотман, член Хельсинкского комитета партии, был

частым гостем редакции газеты «Туомиес», которую редактировал Куусинен.

Советская мирная делегация уезжала из Москвы вечером. Днем в Кремле ее напутствовали Ленин и Чичерин. Когда беседа окончилась и делегаты уже распрощались с Лениным, Шотман задержался в его кабинете.

— Ах, да! — взглянув на него, вспомнил Владимир Ильич и тут же своим широким размашистым почерком написал записку коменданту Второго Дома Советов:

> «Квартира 2-го Дома Советов № 439, занимаемая тов. А. В. Шотманом, во время его отъезда находится в распоряжении Центрального комитета Финской коммунистической партии и без особого разрешения Совнаркома не может быть никем занята.
>
> Предлагаю оказывать приезжающим товарищам финнам всяческое содействие и снабжать их довольствием на общих основаниях. А лучше на лучших основаниях, как гостей.
>
> Председатель СНК *Ленин*».

Написав, Владимир Ильич оторвал глаза от стола, увидел настороженный взгляд Шотмана, улыбнулся и приписал:

> «Копия тов. Шотману».

Квартира Шотмана стала первым пристанищем Куусинена, когда он через некоторое время добрался до Москвы.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

С тех июньских дней двадцатого года сейчас прошло столько лет... Многое неузнаваемо изменилось.

Ныне, когда финские коммунисты играют такую большую роль в жизни страны, финской молодежи странным, наверно, кажется, что в былое время эта партия была загнана в подполье и принадлежность к ней каралась как государственная измена.

Ныне, когда во внешней политике Финляндии восторжествовала линия Паасикиви — Кекконена — добрососедская политика взаимовыгодной дружбы,— ныне, когда Советская Армия по договору о дружбе и взаимопомощи надежно защищает нейтралитет своей северной соседки, многие молодые люди только понаслышке, по рассказам старших, знают об иных, немирных временах. Поэтому кое-что покажется устаревшим и в той программе, которую в двадцатом году перед своим побегом Куусинен составил для Социалистической рабочей партии — этом прообразе нынешнего Демократического союза финского народа. Но отдельные ее положения сохранили действенность и по сей день.

Последний раз я встретился с Отто Вильгельмовичем на съезде писателей в Кремлевском дворце. Во время нашего разговора подошли карельские писатели, и сразу же завязалась беседа о том, что надо перевести заново «Калевалу», потому что ритмы ее в оригинале богаче и разнообразнее, чем в существующем переводе, и русский читатель получает неточное представление о великом памятнике народной поэзии. А дальше пошла речь о том, кого из русских поэтов привлечь к переводам.

Таким он мне и запомнился — оживленный, озабоченный тем, чтобы поскорее советский народ познал финский карельский эпос во всей его нерукотворной красоте.

Вилле Оянен учился и потом учил других в Коммунистическом университете народов запада в Ленинграде, вместе с Куусиненом работал в Коминтерне, был одно время председателем Госплана Карелии, а последние годы жизни вел научную работу в Международном аграрном институте в Москве, где я с ним и познакомился.

Ханнес Ярвимяки вместе с группой курсантов Интернациональной военной школы валил лес около станции Мга под Питером, заготовлял дрова, чтобы отогреть замерзавшее здание школы, когда прибыл нарочный и передал приказ немедля вернуться в город... Так начался для него прославленный рейд финнов-лыжников на Кимас-озеро. В этом походе Ханнес был разведчиком, и на его плечи легло немало тягот.

А когда с гражданской войной было покончено, Александр Шотман — тогдашний председатель Карель-

ского ЦИК, и Эдвард Гюллинг, председатель Совнаркома Карелии, уговорили Ярвимяки работать вместе с ними.

Собирая материалы для книги о лыжном рейде на Кимас-озеро, в Кондопоге я познакомился с Ярвимяки. Этот полный неукротимой энергии человек возглавлял тогда бумажно-целлюлозный комбинат и строительство новых его цехов. Вместе с ним ходил я по стройке, а вечерами на деревянной терраске директорского домика над гладью Кондопожской губы, отмахиваясь от надоедливых комаров, он рассказывал о гражданской войне в Суоми, о своих побегах, о лыжном походе.

Я провел на Кондопоге тогда гораздо больше времени, чем предполагал, потому что Ханнес мог только урывками отвлекаться от неотложных хозяйственных и строительных дел. В те дни он готовился к поездке в Хельсинки, на процесс Антикайнена, где выступал свидетелем защиты.

Однако рассказ о Кондопоге, о суде над Антикайненом — совсем другая история. Но об одном человеке, с которым встретились пассажиры «Беляночки», я все же хочу сказать, хотя и его история выходит за рамки этой хроники.

Речь пойдет о Птице, брови которого напоминали спелый колос ржи над голубыми глазами.

Через год на «Энгельбректе» он дважды совершил переход из Стокгольма в Питер, доставил туда делегатов скандинавских стран на III конгресс Коминтерна, тот самый, для которого по поручению Ленина Куусинен разработал и составил доклад об организационном строении компартий.

Ознакомившись с его работой, Ленин спешно написал:

> «Товарищ Куусинен!
>
> С большим удовлетворением я прочел Вашу статью (3 главы) и тезисы.
>
> Прилагаю мои замечания по поводу тезисов...
>
> По моему мнению, Вы непременно должны *взять на себя* доклад на *этом* конгрессе...»
>
> Но, очевидно, вспомнив о «саволакском произношении» Куусинена, Ленин тут же со-

> ветует ему: «немедленно найти *немецкого* товарища (настоящего немца), который *должен исправить* немецкий текст (статьи и тезисов). Может быть, этот товарищ прочел бы также по Вашему поручению Вашу статью *как доклад* на III конгрессе» — и сразу, чтоб не обидеть автора, Владимир Ильич в скобках добавляет: «(для немецких делегатов будет гораздо удобнее слушать *немца*)»...

На другой день Ленин так же спешно отправил еще одну записку в Коминтерн.

> «Безусловно настаиваю, чтобы реферат дали ему и *только* ему... непременно на этом конгрессе...
>
> Необходимо.
>
> Он знает и **думает** (что очень редко среди революционеров)...
>
> Польза будет гигантская...»

Все было сделано, как советовал Ленин.

Делегаты Конгресса проголосовали и за тезисы Куусинена, и за избрание его секретарем Исполкома Коминтерна.

В этом, как тогда называли, штабе мирового коммунистического движения он работал, отдавал делу всего себя, бессменно, больше четверти века вместе с такими своими друзьями и соратниками, как Антонио Грамши и Тольятти, Димитров и Коларов, Бела Кун и Юрьё Сирола, Сен-Катаяма и Морис Торез, Тельман и Вильгельм Пик.

Да, я чуть не забыл написать, что путешествие на «Беляночке» и в самом деле оказалось «предсвадебным».

Айно и Вилле, разными путями вернувшись в Петроград, вскоре поженились там.

Брак их, сцементированный общим делом, до самой гибели Вилле был счастливым.

Не сказал я также и о том, что Вилле и Отто, сыграв десятки шахматных партий в разных городах и странах, где они побывали вместе, так и не установили, кто из них чемпион «Обетованного острова». Счет очков неизменно был равный.

— Оказывается, я понравилась Вилле еще при первом нашем знакомстве, когда была кассиром Финского банка. Ему не раз приходилось иметь со мной дело, ведь в революционном правительстве он ведал финансовой частью железных дорог. А когда мы плыли на «Беляночке», он решил: или я буду его женой, или никто! А я-то и не догадывалась тогда ни о чем,— смущаясь, вспоминает Айно.— О, в выражении чувств Вилле был старомодным финном...— говорит она.

Нет, не погас в ее сердце пламень, вспыхнувший в дни побега.

А с дочерью ей довелось встретиться не через пять, а через тридцать пять лет, когда Айно, уже не скрываясь, съездила в гости в Финляндию, окруженная уважением и признательностью товарищей, так же, как и она, боровшихся за то, чтобы восторжествовали в Суоми демократические основы жизни. Дочке, ткачихе на текстильной фабрике в Вааса, было тогда уже за сорок... А самой Айно сейчас, когда я заканчиваю эту хронику,— неужели ей восемьдесят четыре?!

Правда, устает она сейчас быстрее, чем раньше. Но ни разу еще не ходила к врачам.

Впрочем, медики теперь сами приходят к ней в московскую квартиру на Беговой улице, чтобы выведать, как до таких, что называется, преклонных лет можно сохранить жизненную силу и здоровье.

— Для этого,— отвечает Айно Песонен,— надо каждый день, как это делаю я, дважды спускаться с седьмого этажа!..

И это, пожалуй, единственное не совсем достоверное в правдивых рассказах женщины, носящей имя, прославленное рунами «Калевалы».

ДВЕ ЗАПИСКИ

I

Комиссар Петроградского участка Финляндской железной дороги Эйно Рахья весь день просидел у телефона, разыскивая Александра Шотмана.

— Это ты, Екатерина Великая? — дозвонился он наконец до квартиры своего друга.

— Да, это я! — отвечал приятный грудной голос.

— Передай трубку Сантери.

— Не могу. Уже вторые сутки пропадает где-то.

Екатериной Великой шутливо прозвали жену Шотмана, Екатерину Федоровну Куркову, работавшие одно время вместе с ней на заводе «Айваз» Михаил Иванович Калинин и Эмиль Кальске за красоту, за стать и невозмутимое спокойствие в самых беспокойных обстоятельствах. Это прозвище особенно прикипело к ней после того, как скульптор в Одессе сказал ей: «Вы похожи на Екатерину Великую» — и упросил быть натурой для статуи, олицетворяющей Россию, которую он лепил, готовясь к какой-то торжественной выставке.

Она согласилась, тем более что это могло стать отличным прикрытием ее нелегальной работы.

В Одессе же в 1905 году и познакомился с ней Шотман, когда Катя была «хозяйкой» подпольной типографии. К тому времени красивая двадцатилетняя девушка, работница с развесной чайной фабрики, несмотря на свою молодость, уже успела отсидеть в тюрьме полтора года.

Они поженились. Судьба революционеров-подпольщиков то разбрасывала их по разным городам, в камеры разных тюрем, то на короткое время снова соединяла.

Дольше всего они были вместе в ссылке в Нарымском крае, откуда вернулись с сыном в Петроград после Февральской революции.

— Александра нет дома,— повторила Екатерина Федоровна,— час назад он звонил из своего Наркомпочтеля... Может, там его сыщешь.

Рахья позвонил в Наркомпочтель, но ему ответили, что замнаркома Шотман уехал на заседание бюро Петербургского комитета, членом которого он был.

После Шотман, как выяснил Эйно, отправился на телефонный завод Эриксона... Но с телефонным заводом по телефону связаться было невозможно: все ушли на митинг, где выступал Шотман.

Завод этот и двор были хорошо памятны Шотману,— ведь не прошло и тринадцати лет, как, освобожденный из «Предварилки» на Шпалерной, он устроился сюда на работу.

Перед митингом Шотман прошел в цех к своему фрезерному станку, у которого корпел когда-то по десять часов в день. Кое-что здесь, конечно, изменилось с тех пор. Постоял около него, потрогал. Цех был пуст. Рабочие собирались на заводском дворе. Нашлись и старые приятели. Вспомнили забастовку в апреле пятого года, когда Шотман, избранный в руководящую пятерку, предъявил администрации общее требование: восьмичасовой рабочий день!..

На этот ультиматум предприниматели-хозяева из Стокгольма ответили локаутом.

— Помнишь драку с городовыми на Сампсониевском проспекте?

— Здорово ты тогда шибанул дворника!..

— А как мы тебя всем скопом выручали из участка, помнишь?

Конечно, он помнил. Такое не забудешь. Разве мог он стерпеть, увидев, как дворник начал бить товарища, который, забравшись на фонарь, обращался с призывами к рабочим!

И вот теперь он должен убедить заполнивших заводской двор рабочих ограничиться пока контролем над производством, не требовать немедленной национализации, так как время для этого еще не приспело. Телефонные же аппараты нужны молодой Советской республике до зарезу.

* * *

Ранней весной 1964 года гостем Швеции был Юрий Гагарин, или, как его там называли, «Колумб космоса»; ему показывали новый завод Эриксона как одну из достопримечательностей королевства. В заводском музее он разглядывал модели фирмы от первого допотопного телефона, выпущенного в 1878 году, до последней «кобры» — удобнейшего аппарата, прозванного так по сходству с головой змеи, приподнятой для броска вперед. В просторных светлых цехах нас удивило обилие людей совсем не скандинавского облика — смуглых, черноволосых, невысоких, укладывавших в коммутаторы и радиоприемники сложное переплетение тонких разноцветных проводов. То были не только итальянцы, спасающиеся здесь от безработицы, но и бразильцы, эквадорцы, индейцы и индийцы, перуанцы, турки, негры. Ведь история акционерного общества «Эриксон» — это одновременно история десятков дочерних фирм в Южной Африке и Уругвае, Венесуэле и Португалии, Турции и Бразилии, Индии. И в Стокгольме, на головном заводе в метрополии, обучаются рабочие-специалисты «узловых» квалификаций из развивающихся стран, чтобы у себя на родине на предприятиях, связанных с фирмой, занять ведущие места...

— И у нас в Питере в свое время был телефонный завод «Эриксон»,— сказал я Гагарину.

— Да ну? — удивился он.

На завтраке, который устроила дирекция в честь первого космонавта мира, я напомнил главному инженеру, что в Кремле в кабинете Ленина на столе и по сей день сохраняется аппарат с маркой «Эриксон».

— По этому телефону говорил Ленин. С его помощью он руководил революцией и страной.

— Но мы-то от этого не получили никакой корысти!— отозвался главный инженер.

— А моральное удовлетворение разве не в счет? — улыбаясь, спросил советский дипломат.

— Ну, тогда вы правы,— любезно согласился инженер.

Соглашался он, конечно, из вежливости. И в самом деле, какую корысть компания «Эриксон» могла извлечь из того, что принадлежавший ей в Питере завод, после национализации расширенный и реконструированный до неузнаваемости, преобразился в «Красную зарю».

* * *

...Но вернемся назад, в тот январский день восемнадцатого года, когда Эйно Рахья разыскивал Шотмана.

После митинга на «Эриксоне» неуловимый Шотман оказался на заседании Совнаркома. И только около полуночи Эйно наконец поймал его у выхода из Смольного. Шотман торопился домой: надо хоть ночь в неделю поспать по-человечески, к тому же он человек семейный...

— С этими почтальонами и телефонистами ты совсем отбился от настоящих дел,— недовольно бурчал Эйно.— А между тем...

— Недооцениваешь роль связи в революции,— отшучивался Шотман.

— Как же недооцениваю,— возразил Эйно,— вот по телеграфу сегодня получил от Юкко вторую депешу из Куопио. Экстренный запрос! Требует оружия, понимаешь!

— Почему он в Куопио,— удивился Шотман.— Ведь наши избрали его вице-губернатором Нюландской губернии?..

— Заехал повидаться с родителями перед схваткой. К тому же там он частное лицо, и никто не обратит такого внимания на его переписку, как в Хельсинки. Но, конечно, не в этом суть, а в оружии.

Это Шотман и сам хорошо понимал.

Назначенный в дни Октябрьского переворота заместителем наркома связи, он по-прежнему внимательно следил за тем, что происходит в Суоми. А там положение с каждым днем все больше обострялось.

Правительство поощряло и помогало организовывать шюцкоровские отряды — белую гвардию. Из Германии к белым почти открыто шло вооружение. Сто сорок тысяч винтовок, двести пятьдесят пулеметов, шестнадцать гаубиц, восемь полевых орудий.

Обрекая на голод население южной промышленной части страны, сенат сосредоточивал на малолюдном кулацком севере запасы продовольствия. В городе Вааса, в окрестных селениях и в общине Лапуа скопилось много нездешних людей, и в адреса северных станций приходили странные грузы...

Стало ясно — белые готовят удар.

А у Красной Гвардии оружия почти не было, если не считать разнокалиберных охотничьих ружей да немного-

численных трехлинеек, подаренных или проданных самодемобилизовавшимися солдатами русских гарнизонов.

— Что же делать? — еще раз спросил Рахья.— Десятка три маузеров и браунингов я уже послал да дюжину винтовок. Но это же капля в море...

— Иди к Ленину,— посоветовал Шотман.— Без него из нужды не выберешься.

— Я тоже так думал,— ответил Эйно.— Но хоть он и назначил меня комиссаром Финляндской железной дороги, в финских делах он верит тебе больше, чем другим.

— Ну что же, пойдем вместе!

— Заезжай за мной! — предложил Рахья.— У меня, у комиссара железной дороги, только один транспорт — верховая лошадь. Вдвоем на ней неудобно... А у тебя, кажись, есть автомобиль.

И в самом деле, в распоряжении Шотмана находилась машина из гаража Смольного. А на бумажке (Удостоверение № 1), подтверждавшей, что он имеет право пользоваться ею, стояла подпись (такое уж было время!) — Ленин.

В Смольный они прибыли утром еще затемно, но люди сплошным потоком уже входили и выходили оттуда. Особенно много было моряков Балтийского флота.

С улицы, с мороза, показалось, что даже в длинных, нетопленных сводчатых коридорах Смольного тепло.

Из комнаты Ленина выходила какая-то рабочая делегация. Шли озабоченные, но, видно, довольные встречей.

Часовой-красноармеец, сидя на стуле у двери в кабинет, внимательно изучал затвор своей винтовки.

— Ты что делаешь! На посту стоять надо! И глядеть в оба, а не ворон ловить! — ругнул его Рахья.

— Товарищ, мы пройдем к Ленину,— обратился Шотман к молоденькой секретарше.

Его здесь знали.

Ленин сидел за столом спиной к покрытому тонкой изморозью окну и что-то записывал в блокнот. Увидев вошедших, он встал со стула и радушно пошел навстречу...

«Черт подери, а ведь всего полгода назад,— подумал Рахья,— за ним охотились, и мы с Шотманом переправляли его через финскую границу. Пожалуй, в те дни он казался солиднее, чем сейчас».

— Разговор у нас серьезный,— начал с порога Рахья.

— Да садитесь вы! — Ленин пододвинул им стулья, а сам примостился на краешке стола...

— У Красной Гвардии в Финляндии нет оружия! — взял сразу быка за рога Эйно.— А оружие им нужно, как хлеб!..

— Было бы отлично, если б они наконец решились выступить,— сказал Ленин и весь обратился в слух и внимание.— Ну-с... Дальше,— торопил он.

Рахья неловко развел руками.

— Куда же дальше. Все, Владимир Ильич,— вступил в разговор Шотман.— Не хватает оружия. Белые получают его от немцев. Закупают. У них есть деньги. А нашим взять неоткуда ни денег, ни оружия. А надо. Я присоединяюсь к нему,— и он показал на Эйно, который так и застыл с разведенными руками.

Владимир Ильич пристально оглядел Рахья. Взглянул на Шотмана. Пересел с краешка стола на стул, обмакнул перо и начал писать на листке блокнота размашистым, угловатым почерком...

Недавно он отправил письмо финским левым — Маннеру, Куусинену, Сирола, Вийку, призывая их к действию. Наконец-то и там начинают по-настоящему шевелиться. И так упустили драгоценное время...

— Сколько вам нужно винтовок? — деловито спросил он, продолжая писать.

— Ну, тысяч семь-восемь...— нерешительно произнес Рахья. Казалось, что запросил слишком много.— Не меньше,— стараясь говорить увереннее, добавил он.

— А может, десять тысяч? — весело переспросил Ильич, метнув взгляд на Рахья, которому стало жарко.

— Ну, конечно, десять! А пожалуй, и двенадцать,— торопливо подхватил Эйно. От радости он даже привстал с места.

— Не забудьте приписать про орудия. Про пушки, попросту говоря,— добавил Шотман и увидел, что Ленин двумя черточками подчеркивает какое-то слово в записке.

— Ну, а пушек? Сколько? — Ленин говорил тихо, словно раздумывая.

— Пишите, пожалуйста, пять штук,— уже чуть ли не командным тоном диктовал Рахья и, обойдя стол, через плечо смотрел, как из-под пера выходит: «Ваш Ленин»...

— Владимир Ильич,— усомнился Шотман,— а вдруг они там, в цейхгаузах, будут скаредничать?

Ленин быстро подчеркнул еще одно слово.

— Не будут!

Записка была адресована в Петропавловскую крепость, которая в те дни служила боевым арсеналом.

Рахья быстро, чуть ли не из рук выхватил листок и, не прикладывая пресс-папье, стал размахивать им в воздухе.

— Спасибо! Спасибо, товарищ Ленин!

А Ленин был серьезен, и лишь в прищуре глаз таилась улыбка.

— Передайте мой привет Лидии Петровне! Как она? По-прежнему молодцом?..

— А что Лююли сделается? Молодая! Я ее вперед пошлю, гонцом, готовьтесь, мол, принимать бесценный подарочек! Поезд с оружием!..

— Если что надо, заходите... Сообщайте, как пойдут дела!..

* * *

Шотман был не только человек действия, он обладал еще и даром превосходного рассказчика. С ним можно скоротать долгую ночь, не заметив, как она пролетела. Тем незаметнее казалась дорога от Смольного, протоптанная по Невскому льду до бастионов Петропавловской крепости.

Она была не более скользкой, чем если бы они шли по улицам. Ведь дворники упразднены. Лед с панелей не скалывали, и по обеим сторонам мостовых высились огромные сугробы. За ними подчас не видать людей на противоположном тротуаре.

Мороз пощипывал нос и уши, снег скрипел под ногами, но приятелям было тепло, они словно летели.

Еще бы, теперь у финской Красной Гвардии есть оружие! Только б не опоздать...

Двое суток возили на Финляндский вокзал из крепости на санях-розвальнях патроны, винтовки, снаряды.

Бывшие царские комнаты вокзала почти на неделю стали складом оружия...

И когда Шотман на Седьмом съезде партии услышал слова Ленина: «Мы помогли нашим финским товарищам, я не скажу, сколько — они это сами знают»,— он вспомнил этот путь на розвальнях от Петропавловской крепости мимо дворца Кшесинской, по Дворянской, ставшей

Первой улицей деревенской бедноты, через Сампсониевский мост и дальше к Финляндскому вокзалу...

Как только отгружены были с розвальней первые винтовки, Эйно послал в Куопио телеграмму: «Товар есть. Приезжай».

И через несколько дней братья Юкко и Эйно Рахья отправились с эшелоном оружия в Выборг...

Красногвардейцы уже ожидали эшелон на Выборгском вокзале, когда, неведомо как узнав, что из Питера идет оружие, финские белогвардейцы на станции Кямере — километрах в двадцати перед Выборгом — напали на эшелон.

С боем пробился через белый заслон отряд красногвардейцев братьев Рахья. В дело пришлось пустить даже трехдюймовку, спустив ее на землю с платформы.

Юкко был ранен. Но оружие выборгские красногвардейцы получили.

А через два дня в ночь на двадцать восьмое января на башне Рабочего дома в Хельсинки вспыхнул красный огонь — сигнал восстания...

Власть перешла в руки рабочих. Создано было правительство — Совет народных уполномоченных.

И послом Советской России при этом Совете стал Александр Шотман.

С первой своей дипломатической миссией он справлялся отлично, ведь все члены финского революционного правительства были его друзьями или добрыми знакомыми.

И только в связи с переездом Советского правительства в Москву временно остававшаяся в Петрограде секретарь ЦК Елена Стасова писала новому секретарю Клавдии Новгородцевой, что теперь, когда каждый руководящий работник на счету, она решила отозвать из Финляндии Шотмана.

Так и сделали.

...Как-то я показал Александру Васильевичу набросок одной из глав романа «Клятва», где шла речь о том, как они вместе с Эйно ходили к Ленину в Смольный за оружием.

— Рахья вам все правильно рассказал,— ответил Шотман,— но не знаю, точно ли он назвал вам число орудий и винтовок, полученных из Петропавловска. Ведь это все по памяти. Дневников никто из нас не вел...

А записка Ленина вряд ли сохранилась. Тогда ведь не принято было хранить такие документы. К тому же еще не изжили старую привычку подпольщиков: по прочтении уничтожить! Боже мой! Сколько сожженно ценнейших писем Ленина, Крупской. И на моей совести есть такой грех... Надо иметь в виду и то, что эшелон Рахья был первой, но не единственной посылкой.

Прошло много лет, и я не могу уже сказать Александру Васильевичу, что, к счастью, он ошибался: не потерялась записка, о которой в тот день шла речь.

В дни Великой Отечественной войны, раскрыв только что выпущенный тридцать четвертый том «Ленинского сборника», я прочитал ее. Узнал, какие именно слова подчеркнул в ней Владимир Ильич и меру памяти Эйно Рахья.

Вот она:

> 7.I—1918 г...
>
> Податель — тов. Рахья, старый партийный работник, лично мне известный, заслуживает абсолютного доверия. *Крайне* важно помочь ему (для финского пролетариата) выдачей оружия: ружей около 10 000 с патронами, около 10 трехдюймовых пушек со снарядами.
>
> *Очень* прошу выполнить, не убавляя цифр.
>
> Ваш *Ленин.*

II

Китай-город, торгово-купеческое Сити старой Москвы, окружен белокаменной стеной.

Здесь конторы крупнейших фирм, правления акционерных обществ, банки, биржа, где вершились крупные коммерческие дела. Теперь здесь разместится Высший Совет народного хозяйства — решил член президиума ВСНХ, его непременный секретарь Александр Шотман, вернувшись из дипломатической командировки в Финляндию.

И сразу же после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву вместо трех комнат в Смольном под ВСНХ была занята «Сибирская гостиница». Она тогда казалась просторной — аппарат не успел еще разрастись.

Если до переезда ни одно заседание ВСНХ не проходило без участия Владимира Ильича, то теперь лишь в исключительных случаях он председательствовал на этих собраниях, созывая их уже не в «Сибирской гостинице», а у себя в Кремле...

Такое памятное Шотману заседание и состоялось в кабинете Ленина летом восемнадцатого года.

Речь шла о национализации всей промышленности, за исключением кустарной.

До этого национализированы были только банки, железные дороги и отдельные предприятия по требованию того или иного профсоюза или проходившего еще стадию организации главка. Подавляющее же большинство фабрик и заводов числилось за прежними владельцами и находилось под контролем рабочих предприятия.

Организационные формы нового, социалистического хозяйства отыскивались ощупью... Существовал Наркомат торговли и промышленности, Наркомфин, Наркомтруд, обязанности которых не всегда были четко разграничены, и поэтому зачастую возникала неразбериха.

Капиталисты то и дело в порядке саботажа, а иногда из-за нехватки сырья или горючего закрывали фабрики и заводы, обрекая рабочих на безработицу, и органы рабочего контроля на местах все энергичнее требовали национализации промышленности.

На то памятное Шотману заседание Владимир Ильич приехал прямо с конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы, проходившей в накаленной обстановке. Там он делал доклад о текущем моменте.

— В течение суток,— сказал Ленин,— необходимо составить список всех заводов и фабрик России. Национализацию откладывать дальше нельзя.

— Я думаю,— возразил Шотман,— вы ставите срок нереальный. Мы еще не знаем не только поименно всех предприятий, нам вообще неведомо общее их количество. Даже не все главки знают свои предприятия.

На мгновение Ленин задумался.

— Возьмите старые справочные книги,— нашел он выход.— Годятся и такие, как «Весь Петроград», «Вся Москва», «Весь Киев», ежели такой имеется!..

— Это будет очень неточный перечень. Сколько за это время воды утекло! Одни предприятия закрылись. Другие переименовались, возникли новые...

— Предложите другой выход,— настаивал Владимир Ильич.— И потом неважно, если и вкрадется маленькая ошибка. Важно уже послезавтра объявить, что все это национализировано!

Вернувшись в «Сибирскую гостиницу», Шотман сразу же мобилизовал всех специалистов ВСНХ. Были собраны справочники. Кто-то посоветовал отправиться на главный телеграф и взять телеграфные адреса предприятий, зарегистрированные там.

Послали людей и в Румянцевскую библиотеку, получавшую обязательные экземпляры всей печатной продукции Российской империи, чтобы из телефонных справочников, выходивших во всех городах, списать названия предприятий, и списки эти затем сверить с другими справочниками.

Всю ночь светились окна «Сибирской гостиницы».

На другой день в десять утра раздался телефонный звонок.

— Ну как, готовы списки? — услышал Александр Васильевич голос Ленина.— Нет? Поторопитесь!..

Впрочем, и без этого Шотман и его сотрудники торопились.

Через два часа снова позвонил Ленин.

— Готово? Нет еще? Я еду на конференцию фабзавкомов!

И еще через два часа — новый звонок.

— Товарищ Шотман,— сказал Ленин.— Я только что на конференции профсоюзов в заключительном слове объявил рабочим, что Советская власть приступает к национализации всех отраслей промышленности, а у вас еще ничего не готово!

Но к тому времени уже из главков и центров стали поступать списки предприятий. Поэтому Шотман с уверенностью обещал, что через два-три часа все будет готово.

Однако только поздно вечером Шотман смог сообщить Горбунову и Фотиевой, что обещание выполнено.

— Приезжайте.

— Совнарком еще днем утвердил декрет о национализации. Он отослан уже в редакцию «Известий»,— сказал, встречая Шотмана, Горбунов.

Объявлена была также национализация всех частных

железных дорог и коммунальных предприятий. Водоснабжение, газовые заводы, трамваи, конки передаются местным Советам!

Ленин взял из рук Шотмана пухлую папку со списком более трех тысяч предприятий и быстро перелистал бумаги.

— Ну, а теперь гоните в редакцию «Известий», срочно сдавайте список в набор. Чтобы утром было опубликовано. Вас отвезет Гиль...

— Полосы давно подписаны и сдаются в стереотипную! — отрезал ночной редактор.— Придется отложить публикацию вашего материала!

— Да поймите же!

Но редактор был непреклонен.

Шотман стал звонить в Кремль.

— Все равно ничего нельзя сделать... Зря это вы!— уговаривал его редактор.

Но все же Александру Васильевичу удалось дозвониться.

— Безобразие! — возмутился Ленин.— А ну-ка передайте трубку...

Что Владимир Ильич говорил ночному редактору, Шотман не слышал, разговор был обстоятельный. Но, судя по тому, как постепенно вытягивалась у редактора физиономия, он понимал, что Ленин крепко нажимает.

Наутро декрет и список появились.

Около расклеенных на стенах газет толпились люди. Было осуществлено самое главное — внезапность удара.

Через месяц в стране насчитывалось более трех тысяч национализированных предприятий.

— Внуки, надеюсь, простят мне, что я не был ни красноармейцем, ни боевым комиссаром в годы гражданской войны, а шел по хозяйственной тропе,— улыбаясь, сказал мне Александр Васильевич и сразу посерьезнел,— когда поймут, из какой разрухи приходилось вытаскивать страну, какими мы были тогда нищими!..

И все же он был неотделим от Красной Армии: немногие продолжавшие действовать заводы главным образом выполняли заказы фронта.

После разгрома Колчака в ноябре 1919 года Шотмана командировали на Урал и в Сибирь председателем Урало-Сибирской комиссии Совета труда и обороны, а затем

до конца следующего года он возглавлял Сибирский Совет народного хозяйства.

Вернувшись в Москву на пост секретаря ВСНХ в начале следующего года, Шотман затем был назначен в Ростов председателем Краевого экономического совещания — восстанавливал разрушенное в годы деникинщины хозяйство Юго-Востока.

А потом, лишь отгремели выстрелы интервентов в Карелии и край лесов и озер был очищен от белофинских банд, Александр Васильевич стал председателем Карельского ЭКОСО.

Вместе с председателем Совнаркома Карелии, ее энтузиастом Эдвардом Гюллингом, они пробирались по «нехоженым тропам», пугая «непуганых птиц», тряслись на машине по немыслимым дорогам Карелии, о которых народ сложил пословицу: карельские версты длинные, но узкие...

К тому времени Шотман с Гюллингом успели уже разыскать и познакомиться со всеми неосуществленными прожектами поднятия края и его промышленности еще с петровских времен...

Стоя на крутом берегу меж полустанком Кивач Мурманской железной дороги и старой деревней Кондопога, Гюллинг сказал Шотману:

— Здесь русские артиллеристы хотели построить гидроэлектростанцию.

— Почему этим делом занялись артиллеристы, на кой черт им понадобилась здесь гидростанция?

Это было легко объяснить. Норвежец Биркеланд в начале нашего века изобрел способ добывать азотную кислоту из атмосферы с помощью электрических разрядов. Война требовала взрывчатых веществ, а для их выработки нужна азотная кислота. С начала же мировой войны из Германии ее уже нельзя было получать, а Чили со своей селитрой слишком далеко.

— Вот главное Артиллерийское управление Военного ведомства и решило получать здесь дешевую электроэнергию, а химический завод расположить вот там, внизу,— Гюллинг показал в сторону древней деревенской церкви на мысу.— Как жаль, что нам сейчас своими силами такую стройку не поднять,— добавил он.— По проекту, разработанному артиллеристами, выше водопада Кивач возводится высокая плотина и затем строится

здесь — видишь, какое падение! — гидроэлектростанция мощностью в 22 700 киловатт.

Они объездили и обошли эти места, то и дело сверяя их с картой. И мысль их совершила прыжок в будущее.

— Да, да,— сказал Шотман.— С артиллерией сейчас можно и погодить. А эту энергию использовать по-другому... Поставим древесно-бумажный завод... Бумага нам вó как нужна, а будет еще нужнее.

III

Летом 1935 года в Петрозаводск на празднование пятнадцатилетия Карельской республики съезжались гости. И среди них — первый председатель Карельского ЦИКа Александр Васильевич Шотман. Тогда-то я с ним и встретился в вагоне «Полярная стрела».

Стоя у окна, мимо которого мелькали голубые озера в зеленой оторочке лесов, мы разговорились; я писал тогда книгу о Карелии и не упустил случая расспросить Шотмана о том, чему не мог никак найти разгадки.

В то время часто цитировались слова Ленина: «Карелы народ трудолюбивый. Я верю в их будущее». Но в сочинениях Ленина я нигде не мог их сыскать. Шотман, конечно, должен знать, в каком письме, в какой статье Владимир Ильич написал их.

Но в ответ на мой вопрос Александр Васильевич сначала только рассмеялся звонко, раскатисто, как смеются очень добрые люди, а затем, сняв пенсне и протирая стекла замшей, сказал:

— Вы нигде и не могли их найти, потому что Ленин никогда не писал их. Они и возникли только потому, что у него не было времени писать.

В октябре 1922 года председатель ЭКОСО Карельской трудовой коммуны Шотман был в Москве у Ленина и рассказывал о планах экономического развития Карелии.

До революции там почти не было промышленности, если не считать нескольких лесопильных заводиков да Онежского орудийного завода, заложенного еще Петром Первым. Так что в голодном полунищем лесном краю надо было создавать индустрию почти что на пустом месте.

По ходу доклада Ленин что-то записывал, но, когда Шотман спросил, не пошлет ли он письмо в ответ на при-

ветствие съезда Советов и партийной конференции Карельской коммуны, Владимир Ильич сказал:

— Передайте им мою товарищескую признательность за их привет. И самые лучшие пожелания... Писать совсем нет времени.

— Но самые лучшие пожелания — это слишком общо и официально, Владимир Ильич,— развел руками Шотман.

И тогда Ленин повторил то, что раньше говорил и Гюллингу:

— Скажите им, я знаю, что карелы народ трудолюбивый, что я верю в их будущее.

На следующем съезде Советов, преобразовавшем Карельскую трудовую коммуну в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, Александр Васильевич Шотман передал эти слова, и их закавычили. На этом съезде он доложил, что уже начато строительство Кондопожской бумажной фабрики с запроектированной производительностью в 15 000 тонн древесной массы. Целлюлозу же для бумаги Кондопога должна была получать с Сясьстроя.

Пятнадцать тысяч тонн! Это многим казалось мечтой!

На этом же съезде Шотман был избран председателем КарЦИКа...

— Ну, а мое место занял Саксман. Я ему сказал тогда, что мы, очевидно, взаимозаменяемы,— Александр Васильевич вспомнил, как в 1912 году в Хельсинки, пытаясь арестовать его — одного из руководителей готовившегося восстания на Балтийском флоте,— жандармы схватили ни в чем подобном не замешанного председателя Союза рабочих металлистов Финляндии Саксмана, приняв его за Шотмана.

И в самом деле, они были похожи друг на друга...

Теперь им вдвоем предстояло воплотить в жизнь одобренное Лениным предложение.

В чем же оно состояло?

По Техническому проекту, выполненному по заказу Карельского ЭКОСО Петроградским Севзапстроем, намечалось построить станцию мощностью всего в 3800 лошадиных сил и бумажную фабрику на 900 тысяч пудов древесной массы. Тогда счет еще шел на пуды.

Эта постройка требовала двух с половиной миллионов рублей золотом. Золотом! Люди рассчитывались между

собой и получали заработную плату в миллионах и миллиардах рублей так дешево стоящими дензнаками. Проекты же и расчеты велись на золотые рубли. Конечно, нечего было и думать, чтобы достать это золото на месте.

Строительство могло задержаться.

Снова пришлось ехать в Москву выколачивать кредиты.

Хлопоты Шотмана завершились тем, что в 1923 году Карелия получила на капитальные затраты по строительству гидроэлектростанции в Кондопоге первую ссуду от Наркомфина в восемьсот тысяч золотых рублей!

В дни, когда «Полярная стрела» несла нас на север, в Петрозаводск, Кондопога работала уже на полный ход, выдавая не 15 тысяч тонн в год, как вначале мыслилось, а все двадцать пять.

Но она еще считалась незавершенной,— фабрика росла вместе со всей страной...

— Обязательно побывайте в Кондопоге. Сегодня это не допотопная деревушка, какой я ее еще застал, а рабочий городок. Ярвимяки — директор бумажной фабрики и начальник строительства,— посоветовал мне Шотман.— ...Он там такой Дворец культуры над озером собирается строить, которому позавидуют и большие города. Обязательно съездите к нему,— повторил Александр Васильевич.

— Вряд ли уцелело,— ответил Шотман на мой вопрос, сохранилось ли что-нибудь, писанное рукой Ленина во время их беседы в октябре 1922 года.— Разве что протоколы заседания Совнаркома да правительственные постановления.

О том, что Шотман запамятовал и такая записка все же существует, я узнал через десять лет после нашего знакомства.

В вышедшем после Отечественной войны «Ленинском сборнике» напечатан краткий, но полный значения текст:

17.X—1922 г.

Поддерживаю ходатайство тов. Шотмана о постройке писчебумажной фабрики в Карелии и о разработке слюды. Если нет препятствий особого рода, прошу ускорить дело.

Пред. СНК *В. Ульянов (Ленин).*

IV

Желто-серый дым клубился над зданием целлюлозного завода и, постепенно снижаясь, стелился над примолкшей гладью Кондопожской губы. Своим резким дыханием он отравлял вокруг воздух, но голубые глаза Ханнеса Ярвимяки сияли, когда он бросал взгляд на эти словно вулканами извергаемые клубы дыма.

— Подумать только, сколько наши машины простаивали из-за того, что Сясь вовремя не подавала целлюлозы. Дымоуловители мы поставим, во что бы то ни стало. Но сейчас главное — мы обеспечены своей целлюлозой!..

Фабрику, дающую десять тысяч тонн целлюлозы, пустили недели за две до праздника пятнадцатилетия Карельской республики!.. Ярвимяки показывал мне уже заложенный фундамент второй очереди, которая должна через год удвоить выпуск целлюлозы.

— Только вот зря еще выпускаем в залив отходы от бумажных машин, древесную массу. Загрязняем воду, губим Кондопожскую губу. На дне уже сотни и сотни, если не тысячи тонн! А ведь их можно пустить на дело! Да и воду не отравлять! Это я говорю и как производственник, и как рыбак... Никак не добьюсь уловителей!..

Гуляя, мы пробирались между котлованами и гранитными валунами, и он рассказывал о гражданской войне.

Я слушал его и на террасе директорского домика над самым Онежским озером. Но рассказы эти то и дело прерывались. Он убегал на стройку, в зал для третьей машины. Там что-то не ладилось. Тогда я заходил в контору комбината, и передо мной раскрывал бумаги и планы управляющий делами, друг Шотмана, Эмиль Кальске, тот самый, у кого после ухода из Разлива ночевал Ленин и к кому его снова привел Рахья в октябре, когда они прибыли из Выборга.

Вместе с Кальске мы ловили Ярвимяки на установке второй бумажной машины или на недавно пущенной «паровой установке», которая дает не только «технический пар», но и остродефицитную электроэнергию.

Дома, за беседой, на столе появился неуклюжий медный кофейник, и, разливая по чашкам кофе, Ольга, жена Ярвимяки, сказала:

— Самодельный! Начальнику тюрьмы красивый сделал, а тут с трудом упросила старое ремесло вспомнить...

— Торопился! Минуты свободной нет,— оправдывался Ярвимяки.— Погоди, во время отпуска смастерю лучше, чем в Таммисаари...

— Знаю, опять тогда на месяц закатишься на какой-нибудь остров на озере!

Но тут позвонил Кальске:

— Железная дорога недодала угля!

Надо было снова бежать в контору, препираться с поставщиками горючего. И тогда уже Ольга Репо, льноволосая финка, питерская работница, участница гражданской войны в Финляндии — она была медицинской сестрой в отряде Эйно Рахья, рассказывала историю знакомства с Ханнесом.

— А как поживает Екатерина Великая? — спросила она и пояснила: — Катя тоже на фронте сестрой воевала. Правда, на другом. Против Колчака. Мы с ней уже в Карелии сдружились.

...Вечером в сосновой роще на высоком откосе над Онегой, рядом с открытой площадкой под деревянным дощатым навесом для танцев и вечеров самодеятельности, смахивая со щеки комаров, Ярвимяки вдохновенно рассказывал, какой на этом месте будет выстроен Дворец культуры. Он так ясно видел в мечтах своих и огромный зал дворца, и комнаты для кружков, и широкую каменную, спускающуюся к озеру лестницу.

— Ступенек будет столько, сколько у знаменитой Одесской... Но она вам напомнит и Петергофскую, потому что по обе стороны каскадом забьют фонтаны!

...Через несколько лет я снова пришел в эту сосновую рощу. Все сделано так, как мечтал Ярвимяки. Только лестницу не успели построить.

У рабочих был просторный Дворец культуры (не только по названию дворец), высоко возносившийся над озером. Но теперь со ступеней его я вглядывался в дальнее зарево над горящим Петрозаводском, куда вступили вражеские войска.

Машины комбината, давшие стране сотни тысяч тонн бумаги, были разобраны и эвакуированы, важнейшие детали укрыты в тайниках на дне озера. Саперы взрывали бетонные коробки фабричных зданий.

Наши войска отходили, и здесь, в Кондопоге, на несколько дней остановился штаб Седьмой армии и редакция армейской газеты «Во славу Родины», где я работал.

...Прошло еще несколько лет.

Победа осенила нас своим крылом.

И снова я в сосновой роще на ступенях Дворца культуры над Онежским озером. Бумажный комбинат вставал из руин, из пепла. Работала лишь одна машина, и монтировалась другая, как и в те давние времена. Мы, бригада Союза писателей, шефствовавшего тогда над бумажной промышленностью, приехали помочь кондопожцам завоевать прежнюю славу.

Связанная с Украиной узами дружбы, Карелия поставляла ей бумагу. Десятки вагонов, груженных рулонами, уходили со станции Кивач на юг — в Киев, Харьков, Одессу, Житомир. На здешней бумаге печатались все газеты Украины, и тираж их зависел от работы кондопожцев.

Есть ученые, которые измеряют культурность народа тем, сколько приходится бумаги на душу населения. Сейчас одна только Кондопога выдает на каждого советского человека больше килограмма бумаги. А общая мощность комбината превышает 320 тысяч тонн в год.

Треть всей газетной бумаги Советского Союза!

В двадцать один раз больше, чем числилось в поддержанном Лениным проекте Шотмана!

И эта северная стройка на берегу окруженного лесами Онежского озера — точный сколок жизни Страны Советов. В росте ее — отражение развития всей страны: ее трудности и ее радости, ошибки и победы, ее неиссякаемое вдохновение.

Думая об этом, представляешь, как радовались бы люди, повернувшие страну на новый путь, если бы увидели мощь современной советской индустрии. И вспоминается телеграмма, которую отправил в Петрозаводск Александр Васильевич Шотман, когда, окрыленный беседой с Лениным, 17 октября 1922 года вышел из Кремля.

— При личной беседе Владимир Ильич поручил мне выразить трудящимся Карельской коммуны его товарищескую признательность за посланный съездом Советов и партконференцией привет. Владимир Ильич принимает горячее участие в работе Карельской коммуны и выражает наилучшие пожелания.

Разглядывая подлинник телеграммы, читаю в верхнем углу ее, наискосок, надпись: «Опубликовать в обеих газетах. *Э. Гюллинг*».

В ДОМЕ НА ВУОРИМИЕХЕНКАТУ

В одно из июньских воскресений докер Хельсинкского порта, ветеран гражданской войны в Испании, где он сражался в Интернациональной бригаде, словоохотливый Лаури Виллениус пригласил меня и моего давнего приятеля финского поэта Армаса Эйкия попариться у него в бане. Жил он в домике на окраине столицы.

Такое приглашение в Суоми — высший знак гостеприимства и доброго отношения. Запасшись березовыми вениками, мы с охотой воспользовались приглашением.

Вволю попарившись, разгоряченные беседой и паром, поднялись мы гуськом из полуподвала, где помещалась баня, в большую угловую комнату. Там нас уже ждал стол, уставленный всяческой снедью, с дымящимся на спиртовке кофейником.

Хозяйка разливала по чашкам кофе.

И вдруг невесть откуда послышалось отчетливое бульканье воды, шарканье шаек, словно мы не сидели уже в столовой, а по-прежнему парились в баньке. Звуки эти шли из радиоприемника, только что включенного хозяином.

На фоне не то всплесков воды, не то звонких шлепков ладонью по голому телу уверенный мужской голос на чистейшем русском языке возгласил:

— Я очень люблю париться в бане...

— Что это такое? — изумился я.

— Радиорепортаж из Сандуновских бань. Из Москвы,— развеселился хозяин.— Третий раз повторяется по просьбе слушателей...

Комментатор расспрашивал московского инженера о его работе и заработке, о том, как часто тот парится, а

затем подошел к другому человеку. Тот, сидя на полке, охлестывал себя березовым веником.

Парная баня — неотъемлемая часть финского образа жизни, чтобы не сказать,— даже финского образа мыслей... И поэтому, вероятно, как это ни покажется странным, ни репортаж со стройки Братской ГЭС, ни передача богослужения из Елоховского собора не могли бы расположить к нам финского радиослушателя больше, чем эта радиопередача из Сандуновских бань...

В домашней баньке у Виллениуса я узнал, что финское правительство свои заседания вечером по средам начинает с бани. Там, перемежая веселыми побасенками разговор о серьезном, поддавая пару, министры без протокола и стенограммы обсуждают важные государственные вопросы, чтобы, позднее подзакусив, уже запротоколировать решения. И почему-то такие заседания называются «вечерней правительственной школой». Именно так и сообщают на другой день репортеры, мол: «в среду на вечерней правительственной школе решено было...»

— Возьми на заметку,— говорит мне Армас Эйкия, переходя на серьезный тон,— что наше радио передавало интервью с Эмилией Блумквист и вдовой Усениуса, у которого Ленин жил тогда в Хельсинки два дня... Теперь она уже умерла...

— Между прочим,— вспоминаю я,— и Эмилия, и сам Артур Блумквист рассказывали, что они с Владимиром Ильичем несколько раз ходили париться в баню для железнодорожников в Пасила.

— Эта баня еще действует! Хочешь, пойдем туда хоть завтра! — предлагает хозяин.

— Ладно!

— По нашему радио,— продолжал Эйкия,— не так давно передавали беседу и с теми, у кого нелегально жил Ленин, перед тем как отправиться в Стокгольм на четвертый съезд партии. Это были интересные передачи, их тоже пришлось, по требованию слушателей, повторять...

Я встрепенулся.

— А кто эти люди?

— Инженер Севере Алание и Вяйне Хаккила. Хаккила тогда был студентом, а потом стал птицей высокого полета: и бургомистр Тампере, и министр юстиции, и десять лет председатель парламента! Всего не перечесть!

— А эти интервью записаны на пленку? Можно их заполучить?

Ленты с магнитофонной записью репортажей я получил уже дома, в Москве.

Финское радио подарило их нашему Радиокомитету, и они прозвучали также в передачах на финском языке из Москвы.

И вот переводы их сейчас лежат передо мной. Хотя каждое интервью записано отдельно, в разное время, но так как речь в них идет об одном и том же, естественно, кое-что повторяется. И я позволил себе небольшую вольность, объединил оба диалога, исключил повторы.

* * *

Это было весной 1906 года. Накануне Четвертого съезда Российской социал-демократической рабочей партии.

Два студента, Севере Аланне и Вяйне Хаккила—один готовился стать инженером, другой юристом,— снимали вдвоем комнату в двухэтажном доме на Вуоримиехенкату — на Горной улице. Хотя дом этот стоял почти что в центре столицы, но никаких, что называется, удобств в нем не было. Даже электричество не проведено. По вечерам занимались при свете керосиновой лампы.

— Расскажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство,— обращается радиорепортер к инженеру Северe Аланне.

АЛАННЕ. Я познакомился с Лениным весной тысяча девятьсот шестого года. За год до этого я вступил в социал-демократическую партию и был членом нашей студенческой организации. Как-то после собрания ко мне подошел товарищ, говоривший по-русски, Юхо Перелайнен, и спросил, нельзя ли у нас в комнате поселить недели на две одного из руководителей русских социал-демократов? Мы предупредили хозяев, что у нас будет жить наш друг, и через несколько дней Перелайнен привез к нам человека лет сорока, широкоплечего, и назвал его магистром Вебером.

ХАККИЛА. Все русские товарищи имели подпольные клички, и нам даже мысль не приходила интересоваться их подлинными именами.

АЛАННЕ. Какие черты его характера я подметил за эти две недели, что мы жили в одной комнате? Ну, прежде всего, меня поразила основательность, с какой он готовился к Стокгольмскому съезду Российской социал-демократической партии. С утра до вечера сидел за столом, читал, писал. Нам, молодым социал-демократам, понадобилось немного времени, чтобы убедиться, что он знает о социализме куда больше, чем мы оба, вместе взятые. Когда он впервые вошел в нашу комнату, я сразу понял, что это человек прямой, непосредственный. Держался он естественно, и нам, студентам, ни разу даже не дал понять, что он такая важная персона.

ХАККИЛА. Наш жилец был скромный человек. Спал на топчане, питался всухомятку, ел бутерброды, которые ему приносили в комнату. Всегда был в хорошем настроении и усердно трудился. Почти никуда не выходил.

АЛАННЕ. Мы беседовали с ним по-немецки и сразу же обнаружили, что это очень образованный, умный человек.

ХАККИЛА. Вебер много путешествовал по Европе, был очень начитан, и я чувствовал в нем талантливого политического деятеля. Мы с Аланне были молодыми увлекающимися парнями, многое нас интересовало, и мы с удовольствием беседовали с таким разносторонне эрудированным человеком. Меня поражало и то, как хорошо он знал обстановку в Суоми, которую очень уважал... Днем в комнате у нас царила абсолютная тишина. Аланне занимался во дворе, я в университетской библиотеке, готовился к экзамену на звание магистра философии. И Вебер мог спокойно работать один весь день.

РЕПОРТЕР. Вы интересовались, над чем он работал?

АЛАННЕ. Да, он рассказывал, что готовится к съезду. Российская социал-демократическая партия находилась в подполье, она не могла проводить съезда у себя в стране. Им приходилось собираться за границей... Тогда как раз съезд должен был состояться в Стокгольме...

РЕПОРТЕР. Не помните ли вы, кто приходил к Ленину, когда он жил в вашей комнате?

ХАККИЛА. Естественно, мы ограничили свое гостеприимство, постарались, чтобы к нам никто не приходил, чтобы не подвергать излишней опасности Вебера. К нему часто захаживал капитан Юхан Кок, тот самый, что командовал Красной Гвардией в Хельсинки в дни всеоб-

щей забастовки. Бывал у него и заведующий русским отделом университетской библиотеки Владимир Мартынович Смирнов. Заходила к нам «в гости», и не однажды, деятельная умная женщина, настоящий образец энергичного практического работника, фрау Сельма. Но это ее подпольная кличка. Подлинная фамилия — Елена Стасова. Об этом я узнал позднее от ее брата. В ту пору она была техническим секретарем партии.

Да, хотя Хаккила и не знал, по каким делам заходила к ним фрау Сельма, впечатление о ней создалось у него правильное.

Елена Стасова поглощена была в то время организационной подготовкой съезда.

Не так-то легко нелегально переправить из России через Финляндию в Стокгольм больше ста делегатов.

В Петербурге принимала делегатов и давала им явки в Хельсинки к Стасовой Надежда Константиновна. Она же следила за тем, чтобы делегаты приняли вид, обычный для европейского рабочего. Картузы, цепочки для часов, вышитые рубашки — косоворотки, чесучевые манишки «фантази» под галстук, всякие шнурочки с шариками сразу бы выдали их.

Стасова встречала делегатов в Хельсинки и отправляла в порт Ханко, где их ждали финские друзья: редактор газеты «Социалисти» Сантери Нуортева и лидер отгремевшей в ноябре всеобщей забастовки Ээро Хаапалайнен.

Много лет спустя, уже совсем седой, он рассказывал мне, что в осенние дни октября 1905 года, когда к всеобщей забастовке российского пролетариата примкнул и финский рабочий класс, в Хельсинкский порт пришел броненосец императорского флота «Слава». Не пришвартовываясь к пирсу, он отдал якоря на рейде.

Царский генерал-губернатор князь Оболенский бежал из своего дворца в Хельсинки на рейд, считая, что на «Славе» среди русских матросов он будет в полной недосягаемости для финских «бунтовщиков».

— Однако на другой день в стачечный комитет ко мне тайком пробрались два матроса с броненосца.— Мы уполномочены экипажем «Славы» передать вам,— сказали матросы,— что в тот момент, когда вам понадобит-

ся генерал-губернатор Оболенский, мы его арестуем и отдадим в ваши руки.

Так генерал-губернатор, бежавший за помощью «к своим», оказался их негласным арестантом. Русские моряки, руководимые большевиками, были истинными друзьями не царских чиновников, а финских трудящихся...

Состоявшийся вскоре после забастовки съезд финской социал-демократической партии поручил Хаапалайнену постоянно держать связь с социал-демократией России.

В Ханко из Турку прибыл Вальтер Борг, коммерсант, подрядившийся для переправы русских в Стокгольм пароход «Борей»...

Но вернемся к радиорепортажам.

АЛАННЕ. Заходили к Веберу и другие товарищи из России. Однажды хозяйка наша решила как-то убрать комнату днем. Ей показалось, что там никого нет. Она без стука открыла дверь и чуть не умерла от страху. На нее были направлены три револьверных дула. У Ленина сидели его товарищи-боевики. Они считали, что и у нас в Финляндии необходима революционная бдительность.

ХАККИЛА. Помню, с каким интересом Ленин следил, как один посетивший его русский революционер рассматривал мою японскую винтовку. Я купил ее в спортивном магазине. Тогда у нас это было легко. Человек этот, кажется, пробовал смастерить из винтовки пулемет. Но ему удалось только испортить хорошее оружие!

И старый Вяйне Хаккила вздохнул.

— От нас Ленин через Турку уехал в Стокгольм,— продолжал он.

Но о том, что Владимир Ильич ехал не прямо, что по пути в Турку ему пришлось заехать еще и в Ханко,— Хаккила, конечно, не знал.

Там с делегатами съезда приключилось неладное. Об этом происшествии я слышал давно. О том же, что Ленин заезжал в Ханко, мне стало известно несколько лет назад.

В Петрозаводске, в небольшом деревянном домике на краю приозерного парка, хозяин его Ээро Хаапалайнен, бывший председатель Совета профсоюзов Финляндии, первый главнокомандующий Красной Гвардией во время гражданской войны, рассказал мне, что в 1906 году ему

поручили сопровождать русских делегатов из Ханко в Стокгольм.

— Пароход назывался «Борей»,— говорил Ээро.— Пассажиров-делегатов человек девяносто. Считалось, что это «экскурсия» русских учителей в Финляндию и Швецию. Как назло, туман заволок все кругом, и «Борей», едва отвалив от пристани, еще не выйдя из Ханковского залива, сел на мель... Тревога!..

Хаапалайнен боялся, что на борт вот-вот явятся, как обычно в таких случаях, представители властей, и тогда выяснится, что это за «экскурсия»... Пассажиры прямо с корабля угодят за решетку...

Делегаты, разумеется, волновались не меньше.

Они предполагали даже, что пароход нарочно посадили на камни, чтобы русское военное сторожевое судно могло арестовать большевиков за пределами финской территории.

В самой Суоми рабочее движение еще шло тогда на подъем, русская полиция не показывалась, и Красная Гвардия была такой силой, которой враги побаивались...

Капитан «Борея» говорил только по-шведски.

И хотя Хаапалайнен этот язык понимал с третьего на четвертое, а по-русски знал всего несколько слов,— да еще каких! — ему пришлось взять на себя роль переводчика.

Выяснив намерения капитана, он кое-как растолковал обеспокоенным русским обстановку, объяснил, что никакого подвоха, никаких «подводных камней», кроме настоящей мели, нет.

Капитан и сам был крайне заинтересован в том, чтобы власти поменьше совались сюда и не уличили, что он ошибся в лоции.

Постепенно пассажиров переправили в шлюпках на берег. И только потом обратились за помощью к портовому начальству.

Когда от «Борея» отчалила последняя шлюпка с людьми, заработали судовые лебедки, перегружая на подоспевший катер тяжелые грузы, облегчая пароход, чтобы он сам мог сняться с каменистой отмели.

— Был ли на «Борее» Ленин?

Хаапалайнен точно не помнил. Но то, что Ленин неотлучно присутствовал на съезде, даже во время перерывов, когда другие делегаты гуляли по Стокгольму,— он помнит очень хорошо.

На одном из заседаний от имени финской социал-демократии Ээро Хаапалайнен приветствовал съезд.

Он выступил также в поддержку ленинской тактики по отношению к Государственной думе и рассказал, как, применяя схожую тактику, финский рабочий класс добился неурезанного, демократического закона о выборах с так называемой «четыреххвосткой» — всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Его выступление одобрил и Ленин и другие делегаты, насколько он понимает теперь,— Воровский, Фрунзе, Крупская, Дзержинский.

Сверяясь потом с протоколами Четвертого съезда, я отметил, что по принятой тогда транскрипции протокольных записей мой тогдашний собеседник был назван Эриком Гаапалайненом...

И хотя заседания съезда происходили в Народном доме — центре шведских социал-демократов, а все делегаты были расквартированы по рабочим семьям, шведская полиция, царское посольство и охранка узнали о нем гораздо позже, уже после того, как съезд закончил работу и делегаты успели разъехаться.

Был среди них и уральский рабочий, который значился в протоколах как Н. Стодолин. Это мой добрый знакомый, бывший директор Гослитиздата Николай Никандрович Накоряков. Именно из его рассказа я и получил ответ на вопрос, который тридцать с лишним лет назад задавал Хаапалайнену...

По веревочным лестницам пассажиры спускались с «Борея» в шлюпки, плясавшие на большой волне. Среди делегатов нашлось, по счастью, несколько бывших моряков, в том числе и Накоряков. Они предложили свою помощь финским матросам.

Накорякову выпало на долю вынести с парохода и спустить по веревочной лестнице на спине делегата съезда меньшевика Ларина, у которого были парализованы руки.

Когда через несколько часов вымотанные качкой пассажиры добрались до берега, они увидели там Владимира Ильича. Он был в глубоко надвинутой на лоб финской кепке и черном матросском бушлате...

— Товарищи на берегу волновались, пожалуй, даже больше нас, потерпевших. Хотя и мы достаточно тревожились: что же будет дальше? — вспоминал Николай

Никандрович.— В этой обстановке Владимир Ильич сохранял полное спокойствие, он деловито расспрашивал о происшествии, подшучивал над большевиками, которым пришлось предоставить свою спину меньшевикам, и настойчиво требовал от представителя пароходной компании скорейшей отправки.

— Надо торопиться, чтобы газеты не успели разболтать! — говорил он финским друзьям.

Ночью, вторично погрузившись на «Борей», делегаты отбыли в Стокгольм...

Студент Севере Аланне, ставший вскоре инженером, никогда в последующей жизни с Лениным не встречался. Больше того, лишь после революции он обнаружил, что доктор Вебер — это и есть Ленин.

Хаккила же узнал настоящую фамилию человека, жившего у них в комнате под именем Вебера, уже через год, когда в ноябре руководство финской партии поручило ему подыскать помещение и создать безопасную обстановку для конференции русских социал-демократов.

Хотя сам Хаккила запамятовал, для какой именно конференции он добывал помещение, мы-то знаем, что речь идет о Четвертой конференции Российской социал-демократической партии.

В его рассказе сквозит нескрываемое самодовольство.

ХАККИЛА. Конференция прошла хорошо, все собрания сохранялись в тайне. Первое заседание состоялось на верхнем этаже завода на улице Ластенкодиенкату. Как мне помнится, дом номер 5. Там имелась большая комната. Я заказал принести туда большой бидон молока и сотни две бутербродов. Все были сыты и очень довольны! Участники конференции, помню, очень веселились, когда наблюдали в окно за ничего не подозревающим жандармом, который разгуливал у дома по противоположному тротуару.

На другой день заседали в Политехническом институте на Андреевской улице (теперь улица Ленрота). Это была большая комната в деревянном флигеле во дворе, принадлежавшем Армии спасения. Я помню и горячие речи ораторов! А когда в кулуарах пронесся слух, что выступает Ленин, все ринулись в зал и слушали его в полной тишине...

Третье заседание было проведено там же, где и первое. И так все дни попеременно, то в помещении заводоуправления, то в комнате Армии спасения. На конференции были и поляки, и бундовцы, и представители Кавказа. Говорили, будто среди них бывший тифлисский губернатор. Во время собраний я видел Ленина только мельком — он то сам выступал, то вел собрания. А я по горло был занят — доставал помещения для конференции, размещал по квартирам делегатов...

Потом, по просьбе Ленина, после того как он уехал, я отправил его библиотеку в Швейцарию, через пароходную компанию «Экк». Очевидно, несмотря на дальнее расстояние, все дошло до места, раз никто потом не осведомлялся.

Уточним свидетельство очевидца.

Действительно, Северный Кавказ послал делегатом на эту конференцию большевика, бывшего губернатора, но не Тифлисской губернии, а Кутаисской. Рассказ о необыкновенной судьбе этого губернатора-революционера, агронома Владимира Александровича Старосельского, спасавшего грузинских крестьян-виноградарей от страшного бича филлоксеры, помогавшего штабу Гурийского восстания, увел бы нас далеко от Суоми...

Интервью с Хаккила помогает, однако, сделать и другое уточнение. До сих пор, по сообщению тогдашнего работника Хельсинкского университета Смирнова, считалось, что конференция заседала в зале Общества трезвости «Който». Но, по-моему, правильнее в данном случае полагаться на свидетельство того, кто сам доставал помещения и называл их точные адреса.

И еще раз Хаккила разговаривал с Лениным.

Это было в 1910 году в Копенгагене на Конгрессе Социалистического Интернационала. Сирола и Карл Вийк представляли финскую социал-демократию, Хаккила — Союз социалистической молодежи. Он разговаривал с делегатом Германии Карлом Либкнехтом, когда к ним подошел Карл Вийк.

Но предоставляю слово самому Хаккила.

— Вийк загадочно сказал, что какой-то человек спрашивает меня. Вид у этого человека был странным, и я не сразу узнал в нем Ленина. У него болели зубы, и щека была перевязана платком. Ленин спросил, возможно ли сейчас организовать конференцию в Финляндии? Я от-

ветил, что в нашей стране ныне, пожалуй, небезопасно проводить такие конференции — реакция усилилась,— рассказывал Вяйне Хаккила перед микрофоном и опять не без самодовольства добавил: — В Копенгагене мы уже говорили по-русски. Ленин сказал, что я теперь настолько хорошо владею русским, что нет необходимости говорить по-немецки.

РАДИОРЕПОРТЕР. А позднее вы не встречались с Лениным?

ХАККИЛА. Многие удивлялись, почему я не поехал к Ленину, когда он стал в России крупнейшим государственным деятелем. По-моему, я сделал правильно, что не пошел к нему без дела. Я знал, что он перегружен работой. Надо было все хозяйство поднимать заново. Хорошо, если б в каждой стране были такие скромные, бескорыстные и мудрые государственные мужи!

Но напрасно сам Хаккила в этом интервью так «скромничал». Вовсе не потому, что он не хотел отрывать от дел человека, перегруженного государственными заботами, не поехал он к Ленину, а потому что знал: Владимир Ильич наверняка откажется от встречи с человеком, вставшим на путь прямой измены рабочему классу.

К тому же Ленин, видимо, сразу раскусил, с кем имеет дело.

— Это не настоящий социал-демократ! — ответил он еще в 1906 году на вопрос Сирола, что он думает о студенте-юристе, у которого его поместили.

— А это было все равно, что сейчас сказать о человеке: он не настоящий коммунист. К сожалению,— вспоминал потом Юрьё Сирола,— мы тогда недостаточно внимательно отнеслись к характеристике, которую дал ему Владимир Ильич.

Да, по-разному сложилась жизнь у двух студентов, приютивших Ленина у себя в комнате весной 1906 года.

Севере Аланне вскоре получил диплом инженера-химика. Свою службу в фирме он совмещал с изготовлением бомб для революционеров-боевиков. Так мне рассказывали финские друзья.

В одном из обзоров финляндской жизни, составлявшихся для «служебного пользования» с «высочайшего благовоззрения» Николая Второго, я нашел и другое сообщение о деятельности молодого инженера.

Финскими и русскими революционерами совместно, сообщалось в обзоре, была устроена тайная типография в Гельсингфорсе, на Доковой улице, дом № 1... «Наборщиками в типографии были русские революционеры, но хозяином-распорядителем — финляндец, инженер Севере Аланне. Когда типография была обнаружена полицией и дело перешло в суд, Аланне был оставлен на свободе, несмотря на требование прокурора. Он воспользовался этим, чтобы бежать за границу, причем, по газетным сообщениям, ему было дано на дорогу 5000 марок».

Слова «тайная типография» и «Аланне был оставлен на свободе» в этом сообщении выделялись курсивом.

На другой странице того же обзора говорилось, что во время подготовки к знаменитому Свеаборгскому восстанию весной 1906 года (то есть примерно в то время, когда у него жил Владимир Ильич) Северe Аланне получил от капитана Кока деньги, четыре тысячи марок, на которые купил оружие для финской Красной Гвардии.

Это и в самом деле было так.

Вместе со своим другом Ээро Хаапалайненом Северe Аланне принимал деятельное участие во вспыхнувшем вскоре после Стокгольмского съезда Свеаборгском восстании русских моряков и гарнизона крепости. А после поражения они вдвоем полгода скрывались в провинции, в местечке Суоминиокки, в доме отца невесты Аланне. И лишь осенью, когда, казалось, все утихло, они снова появились в Хельсинки. Но тут вскоре полиция обнаружила тайную химическую лабораторию, изготовлявшую бомбы, и Северe Аланне ничего не оставалось, как бежать за океан в Америку.

Аланне был среди тех, кто вместе с Нуортева в восемнадцатом году, во время рабочей революции в Суоми, обивал пороги в продовольственном управлении Соединенных Штатов Америки, у государственного секретаря и самого президента Вильсона, добиваясь разрешения отправить в голодающую Финляндию транспорт с продовольствием, закупленным на средства американских финнов.

Но получили они вместо хлеба — камень.

Ответ на все их красноречивые обращения содержал всего лишь одну фразу: «Как вы, возможно, знаете, положение в Финляндии тщательно изучалось и изучается госдепартаментом».

Из Соединенных Штатов Севере Аланне приезжал на родину лишь через сорок лет, уже после второй мировой войны.

— Меня потом удивляло,— рассказывал он репортеру,— что на некоторых фотографиях и у нас и в Америке Ленина изображали как брюнета. В действительности он был блондин, с редкими рыжими усами.

Другую карьеру избрал адвокат, кандидат права и кандидат философии Вяйне Хаккила. Он стал деятельным приверженцем своего тезки — правого из правых социал-демократа Вяйне Таннера.

В дни гражданской войны в Суоми, во время боев за Хельсинки, Таннер написал обращение к Красной Гвардии, предлагая ей капитулировать. Немецкие самолеты разбрасывали над сражающимися красногвардейскими частями это обращение, на котором рядом с подписью Таннера стояла и подпись Хаккила.

После этого он быстро пошел в гору. В восемнадцатом был главным директором тюрем Финляндии, а через несколько лет получил портфель министра юстиции.

И если Ээро Хаапалайнен и в семнадцатом, и в следующие годы не раз встречался с Владимиром Ильичем, то Хаккила нечего было делать у Ленина!

МАШИНИСТЫ ПАРОВОЗА 293

— Ваши документы?

«Сантери Шотман, финляндский гражданин, имеет право перехода через финляндскую границу туда и обратно»,— прочитал пограничник на картонном пропуске, протянутом ему. Печать Генерального Штаба. Все как положено.

Пристально вгляделся в лицо. Длинные, но не пушистые усы. Пенсне. Сверил с прикрепленной на пропуске фотографией. Точно. Повертел в руках картонку, пощупал ее, чуть ли не понюхал. Вещей с собой нет. Кажется, все в порядке.

И в самом деле, документ был подлинный, не липа, раздобытый с помощью знакомых в Генштабе на Дворцовой площади.

— Можете идти,— пробурчал пограничник.

— А ваши бумаги? — обратился он к спутнику Шотмана.

— Фамилия? — Рахья.

— Имя? — Эйно.

— Год рождения...

— Паспорт? — Финляндский гражданин. Такая же картонка пропуска. Вроде бы ничего подозрительного.

— Проходите.

Побродив с полчаса по финской земле, друзья перешли обратно в Россию по другой тропе, по мостку через пограничную извилистую крутобережную Сестру. Под ногами осыпался песок. Но едва они переступили кромку берега, как их снова остановили двое военных. Опять тщательно допрашивали: зачем? По какому случаю? Со всех сторон оглядывали, заставляли одного снять кар-

туз, другого шляпу, сличали фотографии на пропусках с фотографией, которую пограничник вытащил из кармана гимнастерки. Чуть не на прикус проверил и с неохотой, словно не веря, вернул документы.

Миновав тощий сосняк, друзья спустились в овраг, прошли по песчаному дну его подальше.

Вечер был прохладный, но откуда-то несло торфяной гарью.

Пройдя так километра с полтора по росистой траве, взобрались по склону, чтобы снова перейти границу, в другом месте...

И тут их остановили пограничники и так же придирчиво сверяли пропуска, фотографии, паспорта, всматривались в глаза, ставили в профиль.

Опять прошли они по Финляндии с полчаса, подальше от пограничников, и притомившись (не мудрено! Ведь и до границы топали от самого Сестрорецка) присели на свежие пеньки отдохнуть.

— Разведали границу... Ненадежно! Могут схватить... Так же, как и вчера. Придется еще раз попробовать завтра,— сказал Сантери.

— Я ведь служащий. Не буду отпрашиваться каждый день, если не объяснишь, в конце концов, для кого стараемся. Кого надо переправить? — проворчал Эйно.

— Тебе скажу. Владимир Ильич... Только...

— Ну, это другое дело!..— Рахья проникся серьезностью поручения.— Обещаю, мы перевезем его так, что ни один черт не дознается!..

Помолчали в раздумье.

— Знаешь, в двенадцатом году мы перебросили одного через границу на паровозе... Рейсовый поезд. Почему сейчас не повторить такой штуки... Только вот машинист тот, Копаиен, теперь в Финляндии.

— Надо прикинуть, что и как... А насчет машиниста не беспокойся... У меня друг детства есть... Верный человек... Вместе ходили и в финскую школу для взрослых на Большой Конюшенной... Хуго Ялава. Знаешь?

— Еще бы! Молчаливый человек! — согласился Эйно.

...На другой день вечером жена машиниста Лидия Германовна разливала по чашкам пахучий кофе, который становился все более редким напитком (война!), когда

к иим иа Выборгскую стороиу, в Ломаиский переулок, заявился Сантери.

От кофе он не отказался. Покалякали о том о сем, а когда Лидия Германовна вышла, Шотмаи спросил:

— Возьмешься сплавить через реку одного тут старичка?

— Не впервой!

— Только имей в виду, иа этот раз работа самая ответствеиная в иашей жизни! И преопасная!

— Не впервой!

И в самом деле, не впервой. Шотман зиал, к кому обращался.

Это Ялава во время забастовки студеитов Технологического института переоделся булочииком и на глазах оцепивших здание полицейских проиес туда корзины, где под хлебом и булками для столовой упрятали оружие и прокламации... Это ои иа своем паровозе увез деньги, добытые прогремевшей иа весь мир экспроприацией Казначейства иа Фоиарном переулке. А затем таким же манером и деньги, взятые Пехкоиеном при экспроприации кассы завода «Новый Лессиер».

Три пуда русского шрифта иа издаиие подпольиой большевистской газеты, предназиаченной для русских войск в Фииляндии, перевезеио было им из Питера за границу, тоже на паровозе 293. Не раз доставлял он из Финляидии оружие и литературу, тючки которой сбрасывал в условленном месте, близ Шувалова, где их ожидал путевой обходчик.

Но от самого Ялавы об этих делах никто и слыхом не слыхивал. И объясиялось это ие только характером сорокалетиего машиниста, ведь дознайся кто — не избежать расстрела или виселицы...

Тем же путем, каким Ялава собирался переправить за граииду «одного старичка», за десять лет до этого, после разгрома Государствеиной думы первого созыва, он перевез популярного депутата трудовика Аладьина, а позднее большевика Скворцова-Степанова.

— У твоего паровоза, конечио, большие заслуги перед революцией, ио имей в виду, сейчас предстоит самое рискованиое и самое ответственное из всех твоих дел,— повторил Шотмаи.

— Ничего! Все пройдет хорошо! — улыбнулся немиогословный фиии.

Гражданская война окончилась.

Герои боев сменили, как говорится, меч на орало, защитные гимнастерки на мирные пиджаки.

И в 1930 году в Петрозаводск к Гюллингу, в Совнарком, каждый раз заходя в старинное, державинских времен здание с колоннадой, полукружьем обнимавшее площадь, я видел в приемной перед его кабинетом немолодого уже сидящего за письменным столом подтянутого человека. Однажды нас познакомили. Протянув руку, невысокий седой человек назвал свою фамилию:

— Ялава.

— Ялава? Вы не родственник того самого Хуго Ялавы? — обрадовался я.

— Да я и есть «тот самый».

И впрямь это был «тот самый» знаменитый Хуго Ялава, машинист Финляндской железной дороги, который на паровозе номер 293 в ночь с девятого на десятое августа семнадцатого года, рискуя жизнью, перевез Ленина через границу в Финляндию.

Вернулся Владимир Ильич обратно в революционный Питер в октябре также на паровозе Ялавы.

— Да, это у меня Владимир Ильич «кочегарил». Хотя на паровозе моем этой должности не полагалось,— Ялава прятал улыбку в усах.— Ну что ж, не первый раз нарушили мы штатное расписание.

— Да, у Ленина не было ни мощной фигуры Родзянко, ни изысканных манер, как у Линхагена, бургомистра Стокгольма, с которым мне тоже довелось встретиться, ничего такого, что сразу бросалось бы в глаза,— рассказывал мне Ялава.— Пока мы с ним разговаривали, сидя на козлах на паровозе, я незаметно приглядывался. Среднего роста. Видать, крепкий. Овальное, с виду здоровое лицо. Большая лысина. Улыбчивый. Живые глаза... Казалось бы, ничего особенного. А впечатление незабываемое...

И в самом деле, Хуго Эрикович был таким скрытным человеком, что только 21 января 1924 года, на траурном митинге, товарищи по депо узнали, что это он в семнадцатом дважды перевозил Ленина через границу. До тех пор, то ли из скромности, то ли по старой подпольной привычке, считал, что без особой необходимости о таком болтать нечего.

— Кто у вас был помощником в те дни?

И раз уж речь зашла о помощнике, я позволю себе перескочить с тридцать первого года, когда я познакомился с Хуго Эриковичем, в сорок девятый, уже после Отечественной войны, когда за обеденным столом у его приемной дочери Элины, жены карельского писателя Антти Тимонена, мы виделись с ним в последний раз.

Я тогда рассказал ему, что встретил человека, который не только выдавал себя за помощника машиниста на паровозе Ялавы и будто бы вместе с ним перевозил Ленина, но даже выступал где-то на вечере воспоминаний с этими байками...

— Этого не может быть. Моим помощником был Нярвенен,— невозмутимо ответил Ялава.— Неплохой парень, хотя изрядно закладывал... В двадцать третьем году вернулся в Суоми. И больше не приезжал...

— Хуго Эрикович в Финляндию поехать даже туристом тогда не мог. Его заочно там приговорили к двадцати годам тюрьмы,— вставила Лидия Германовна.

— А тот, ваш,— самозванец! — продолжал Ялава.— Есть же такие прохвосты!

— А где теперь ваш паровоз? — спросил я Хуго Эриковича.

— По условиям Юрьевского мирного договора его вместе с другими финскими паровозами передали Суоми. Что там с ним сделали, не знаю. Но перед этим «старик» попал в аварию, побывал на паровозном кладбище, а затем еще отлично потрудился на пользу революции. Впрочем, об этом подробнее может рассказать Вольдемар Виролайнен. Он тоже некоторое время был моим помощником на этом паровозе.

Когда в годы Отечественной войны, в эвакуации на Урале, он, на добрый десяток лет перешагнув пенсионный возраст, работал в Управлении Свердловской железной дороги инспектором по жалобам, ему как-то попалась в руки брошюрка:

— Автор, не то Федькин, не то Филькин, не то Федюшкин, фамилию запамятовал, тоже вспоминал, как он был моим помощником в семнадцатом году и как мы с ним перевозили Ленина. Нехорошо. Я сразу же написал в издательство опровержение... Ответа до сих пор не получил. Как видно, жалоба инспектора по жалобам осталась без последствий!

Написавший в свое время «историю русских самозванцев» Владимир Галактионович Короленко мог бы добавить в нее новые главы. И про «сыновей лейтенанта Шмидта», и новейшую — о «помощниках машиниста Ялавы».

Повторяю, друзья по депо узнали, кто на паровозе 293 увозил Ленина в Финляндию, только после смерти Владимира Ильича. Еще позже Ялава рассказал, что у него, в квартире двадцать девять в доме номер 4б на Ломанском переулке, 14 октября семнадцатого года Ленин со своими сподвижниками обсуждал практические вопросы восстания.

Может, эта чрезмерная скрытность и дала повод некоему чрезмерно подозрительному человеку через двадцать лет задать Хуго Эриковичу вопрос:

— А чем вы можете доказать, что именно вы, Ялава, и есть тот машинист, который перевозил Ленина?

— Не догадался тогда взять у Владимира Ильича расписку,— последовал флегматичный ответ.

Однако о том, что такой документ все-таки существует, о неопровержимом свидетельстве Хуго Эрикович тогда не знал, и до самой своей смерти в 1950 году так и не узнал, потому что записка Ленина Уншлихту была опубликована лишь в 1965 году, в пятьдесят втором томе собрания сочинений.

> «Лично зная тов. Ялаву с 1917 года, я подтверждаю его несомненную честность и прошу распорядиться о немедленной выдаче ему отобранных у него денег. Прошу прислать мне копию распоряжения Вашего с указанием имени ответственного за исполнение лица.
>
> Второе: прошу затребовать все документы об обыске у т. Ялавы и прислать их мне. Прилагаемое прошу вернуть.
>
> С ком. приветом *Ленин*».

«Прилагаемым» же было письмо Крупской с самой лестной характеристикой Хуго Эриковича.

Дело заключалось в том, что по ложному доносу Ялава тогда был арестован, и при обыске у него нашли финские марки и бумаги финляндского статс-секретариата, которые он сохранял с тех пор, как во время финской ре-

волюции работал помощником статс-секретаря (так называлось посольство Финляндии в Петрограде). После поражения революции канцелярию статс-секретариата, естественно, закрыли, а с белым же финским правительством до мира, заключенного в 1920 году, все отношения были порваны.

Сразу же после выяснения Ялаву освободили. Однако не вернули денег и бумаг. И тогда-то он написал о своих злоключениях Надежде Константиновне.

Когда, желая узнать подробности этого происшествия, я недавно спросил Лидию Германовну,— она удивилась, так как ничего и не ведала об этом. Весь двадцать первый год она прожила у своих родственников в Суоми.

Уже хотя бы по одному этому можно судить, насколько прав был Эйно Рахья, назвав Ялаву «молчаливым» человеком!

Получив записку Ленина, Уншлихт в тот же день, 21 мая, отдал распоряжение немедля возвратить взятые у Ялавы при обыске деньги и вещи и выслать нарочным его дело в Москву.

10 июня, как сообщают работники ИМЭЛ, Уншлихт сообщил Владимиру Ильичу, что его распоряжение выполнено.

На конверте, полученном от Уншлихта, Ленин надписал: «1) т. Н. П. Горбунов! Прочтите, пожалуйста, и скажите мне итог. Возвращены ли деньги? 2) Какое наказание отбыл Ялава и *когда окончил?* 11/VI. *Ленин*».

...От Ялавы я узнал, что паровоз № 293 был построен в 1900 году в Соединенных Штатах Америки по заказу Финляндской железной дороги. Выкрашен в темно-зеленый цвет. И труба у него не как у русских паровозов, а похожа на воткнутую в бутыль воронку, раструбом вверх.

— Вообще-то,— рассказывал он мне в одну из следующих встреч,— нам, железнодорожникам Финляндской дороги, повезло. Мы были очень близки к Владимиру Ильичу. Эйно Рахья сам в молодости работал у меня на паровозе помощником. Мы с ним знакомы с пятого года — вместе избирались в стачечный комитет. Из-за этой стачки его и уволили из депо. Брат его Яков—тоже,

как и я, машинист, а старший Юкко — поездной кондуктор. Про железнодорожного почтовика — поэта Кесси Ахмала вы знаете?.. А про машиниста Блумквиста?..

В то время ни про Кесси Ахмала, ни про Блумквиста я еще ничего не знал.

— Ахмала передавал моей жене почту от Ленина, а в праздники я сам ходил на вокзал забирать ее,— рассказывал Ялава.— За письмами Ленина чаще всего приходила Надежда Константиновна, а иногда и Мария Ильинична.

Это от Ялавы Крупская получила привезенное Кесси «химическое» письмо, в котором Ленин звал ее в гости в Хельсинки и даже нарисовал план, как пройти к нему, никого не спрашивая. Это был путь от вокзала к квартире паровозного машиниста Блумквиста, в доме железнодорожников № 17 на Тэёлёнкату. До сорок пятого года мало кому известно было, что в Хельсинки из квартиры Густава Ровио Владимиру Ильичу пришлось перебраться к Артуру Блумквисту. Оно и понятно. Боялись ему повредить: ведь за участие в гражданской войне Артура Блумквиста приговорили к смертной казни, а потом заменили приговор долголетним заключением.

В часы неторопливой беседы в Петрозаводске немногословный Ялава назвал мне имена железнодорожников Финляндской казенной железной дороги, так или иначе связанных с Лениным, и рассказал про них немало интереснейших историй.

Он упомянул и о четырех поездах, которые в дни Финляндской революции были посланы в Советскую Россию за хлебом для голодающих рабочих Суоми.

Сами голодные, русские рабочие затягивали потуже пояса и делились с братьями по классу хлебом насущным, последней коркой.

Может быть, слово «вдохновило» покажется сейчас кое-кому выспренним, но я не могу подобрать другого, которое точнее выразило бы чувства, порожденные во мне этими рассказами о самозабвенном сочувствии, о той «любови к дальним», сопряженной с «любовью к ближним», выраженной грубо, материально в пудах ржи и пшеницы. Вдохновляемый этим чувством, я написал повесть, названную затем «Третий поезд».

От Ялавы получил я и адреса нескольких участников этих рейсов.

В Хельсинки успел вернуться лишь первый поезд, второй дошел, кажется, только до Выборга.

Третий остался в Петрограде. Революция в Финляндии к тому времени была подавлена.

Четвертый же поезд и до Петрограда не добрался. Он пришел в Сибирь в самый разгар контрреволюционного восстания и попал в руки колчаковцев...

Белогвардейцам так и не удалось заставить служить себе финских железнодорожников.

Забрав у них вагоны и паровоз, Колчак вынужден был отпустить их, как иностранных подданных. Трудными путями пробирались они на родину.

— Весной двадцатого,— рассказывал мне Ялава,— Виролайнен разыскал на паровозном кладбище мой паровоз, тот самый 293-й, на котором дрова в топку подбрасывал Ильич.

Вместе с товарищами сверхурочно Вольдемар Виролайнен отремонтировал «старика» и сам стал машинистом на этом паровозе. До этого он работал помощником. Это был их подарок стране к Первому мая.

— Парнишке не было и девятнадцати. Самый молодой машинист в стране!.. Целый год работал он на этом локомотиве. Обязательно познакомьтесь с ним. Только берегитесь его рукопожатия. Силен как медведь.

Вольдемара Матвеевича Виролайнена в Ленинграде тогда не было. Окончив академию железнодорожного транспорта, он работал на только что построенном Турксибе.

Ялава снабдил меня адресами, но мне довольно было и одного, чтобы затем, как по цепочке, от одного к другому познакомиться с десятком товарищей, имевших самое прямое отношение к поездам, которые финская революция посылала в Советскую Россию за хлебом.

Один из них работал на Мурманской железной дороге, другой служил в армии, в лыжно-егерской бригаде в Петрозаводске, бригаде, командирами которой по большей части были участники похода Антикайнена, третьего же, который был еще и участником восстания в приполярной Финляндии, описанного мною в романе «Мы вернемся, Суоми», я разыскал в студенческом общежитии Коммунистического университета народов Запада, в Ленинграде.

Каждый из них был в паровозной или поездной бригаде или в отряде охраны одного из четырех поездов.

Их рассказами заполнилось несколько моих тетрадей. И каждая встреча прибавляла все новые и новые факты, случаи, размышления, по-разному раскрывавшие характеры моих собеседников.

От них я узнал, что паровозы к этим поездам были самые новые, выпущенные в Таммерфорсе в семнадцатом году, и работали уже на «перегретом паре», что черный цвет, которым крашены финские товарные вагоны, привлекал в России всеобщее внимание, и что кто-то в дороге все закручивал краны автоматических воздушных тормозов, так что комиссару второго поезда пришлось снять ручки с них и носить в кармане разводной ключ.

Узнал я также, что железные дороги не всегда сближают страны,— ими можно и отъединиться. Отгородиться. Финн железнодорожник рассказывал, что Финляндия собиралась строить более узкую колею, чем в России. Но по требованию Генерального штаба, из стратегических соображений, предписано было, несмотря на удорожание, строить дороги с русской колеей.

Тогда финские деятели решили перехитрить начальство. Колею оставили такой же, как в России, а рельсы положили куда более легкие, и габариты пристанционных построек, перекидные мостики и прочее установили такие, чтобы русские тяжелые вагоны пройти не могли.

Совсем неожиданной для меня оказалась борьба, которая возникла вокруг постройки моста через Неву, соединяющего железные дороги России с финскими. Без него все грузы, идущие из Суоми в Россию и обратно, требовалось дважды перегружать, чтобы переправить с одного берега Невы на другой... Ассигнования на сооружение моста вызывали жаркие прения в Государственной думе. Англия и Швеция желали, чтобы мост через Неву был перекинут. Швеция даже собиралась на паромах и железной дороге от пристани до Стокгольма и Гетеборга перекроить путь на ширину русской колеи. Путь от Петербурга до Лондона стал бы на двенадцать часов короче обычного, через Германию. Поезда без перевалки могли идти прямо из Владивостока или Ташкента до Стокгольма. И понятно, что немцы изо всех сил старались, чтобы мост этот не был сооружен. Невыгодно, да и близкую войну предвидели... Не обошлось без

взяток и международных интриг, чтобы провалить проект... Прения шли не только в Государственной думе, но и в финляндском сейме, в шведском риксдаге. Об этом я узнал из архивов.

Но как хорошо, что мост все же построен!

Однако я никак не предполагал, что эти маршрутные поезда связаны с Лениным, до тех пор пока не встретился с Эйно Рахья.

Когда речь зашла о поездах, посланных из Хельсинки за хлебом,— это было на квартире у Эйно Рахья в Ленинграде, в доме на Каменноостровском проспекте,— он сказал:

— Мой брат Яков был комиссаром первого поезда. Он многое мог бы вам порассказать об этой поездке. Но...— И Эйно развел руками.

Я уже знал, что Яков Рахья умер в 1926 году в Карелии, в Петрозаводске, где после Юрьё Сирола был Народным комиссаром просвещения.

— В этой поездке он вел дневник. Кое-что читал мне потом. Много было смешного. Хоть другим Яков и казался мрачноватым, молчаливым, но на самом деле у него такое было чувство юмора! Да, чуть не забыл! — и, подойдя к письменному столу, Эйно стал рыться в ящиках... Потом из кипы бумаг извлек одну и положил на стол.

— Вот! — Нижнюю часть бумажки он прикрыл ладонью. И я прочитал:

Народный комиссариат
путей сообщения
29 января 1918 г.
№ 370

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Сие выдано Главному Уполномоченному Железных дорог Финляндской Республики по отделу Тяги тов. Я. Рахья в том, что на него возложено Финляндской революционной рабочей и крестьянской властью приобретение в пределах Российских республик продовольствия для нужд голодающих рабочих и крестьян Финляндии, а потому предлагается всем главным, районным и местным комитетам, железнодорожным организациям и отдельным

лицам, до коих это будет касаться, оказывать полное и реальное содействие тов. Рахья к возможно успешному осуществлению возложенной на него задачи.

Народный Комиссар путей сообщения
Невский.

Секретарь Народного Комиссара путей сообщения (подпись).

Когда я прочитал удостоверение, Эйио сказал:

— Самое главное все-таки в приписке.— Он снял руку с бумажки, и я прочитал приписку с такой знакомой размашистой подписью:

«С своей стороны прошу оказать всяческое и всемерное содействие товарищу Якову Рахья и его отряду.

В. Ульянов (Ленин)».

Удостоверение напечатано на машинке, приписка же сделана рукой Владимира Ильича...

Значит, и эти поезда, хотя об этом Ялава мне и не говорил (возможно, и не знал), связаны с Лениным...

— Яков мне рассказывал, какой был всенародный праздник, когда первый поезд вернулся в Финляндию,— продолжал Эйно Рахья.

Только спустя тридцать лет после нашей беседы с ним я смог прочитать тогдашние отчеты хельсинкских газет об этой встрече, и мне стала ясной дата возвращения из Омска первого поезда — тридцатое марта.

Встречать его на станцию Рихимяки выехали все члены революционного правительства.

На каждой станции от Рихимяки до Хельсинки толпы народа приветствовали поезд, украшенный красными флагами.

Лил крупный, необычный для марта дождь.

Но, несмотря на дождь, сотни и сотни людей пришли на вокзал.

Когда поезд подходил к перрону, духовой оркестр заиграл «Марсельезу»... И тут же состоялся митинг, где Народный уполномоченный по продовольственным делам сказал:

— Три года тому назад небольшая группа избран-

ных встречала на этом же перроне русского царя; и ровно год тому назад встречали представителей Временного правительства Стаховича и Керенского. Теперь же мы собрались здесь встречать хлебный поезд революционного пролетариата, доставивший издалека, преодолев многие препятствия, хлеб этот — источник жизненной силы. Это стало возможным лишь благодаря интернациональной солидарности пролетариев разных стран!

Первые «хлебные поезда» оценивались рабочей Финляндией как историческое событие. И не только потому, что после прибытия этих двух поездов и девяти вагонов — подарка рабочих Питера — хлебный паек (в пересчете на муку) увеличился со ста до ста шестидесяти граммов в день.

«Во-первых,— писала газета «Туомиес» — орган революционного правительства,— этим доказано, что кажущиеся невозможными мероприятия могут осуществиться, если имеется действительное желание и решимость. Во-вторых, продемонстрировано великое значение международной солидарности рабочих... И, наконец, оно показало, что то, что было бы непосильным для буржуазного правительства, оказалось посильным для пролетариата и его правительства».

Впрочем, если бы мне тогда и удалось прочитать номер газеты, я все равно не понял бы настоящего смысла первой фразы о том, «что кажущиеся невозможными мероприятия могут осуществиться, если имеется действительное желание и решимость...».

А она означала вот что: когда в Управлении железных дорог в Хельсинки узнали о предложении послать в Сибирь поезда за хлебом с тем, чтобы каждый из них от начала до конца вела одна бригада — с одним и тем же паровозом, там сочли эту идею неосуществимой. И не только чиновники, но и многие машинисты, кондуктора.

Ведь до сих пор паровоз вел поезд лишь семьдесят — самое большее сто километров, затем возвращался обратно в депо, а машинист отдыхал.

Такой пробег у железнодорожников называется «плечом».

А тут предлагалось несколько тысяч километров паровозу идти, не сменяясь, паровозной и поездной бригадам оторваться от дома и семейств не на одну смену, не на сутки, не на неделю и не на две, а невесть на сколько.

— Плечо — три тысячи километров, так никогда не бывало!

Да и путь лежал в неизведанную Сибирь, о которой знали только то, что там непроглазная тайга, невыносимые холода, вечная мерзлота,— каторжные, ссыльные места.

К тому же редко кто из финских железнодорожников понимал по-русски и никто толком не знал российские порядки.

Немало пришлось проявить энергии революционно настроенным железнодорожникам, чтобы преодолеть сопротивление чиновников, кое-кого пришлось и уволить из Управления казенных дорог.

Особенно ратовали за быстрейшую посылку поездов народные уполномоченные Адольф Тайми, Константин Лундквист и уже знакомые нам машинисты Артур Блумквист и Яков Рахья, ставший комиссаром первого поезда.

Семья Якова осталась в Куопио, и до конца дней своих ему так и не удалось потом свидеться с детьми.

О том, как встречена была идея маршрутных поездов в Управлении железных дорог, какое сопротивление надо было преодолеть, какую борьбу выдержать, чтобы получить самые лучшие новенькие паровозы (поменьше бы ремонта в пути) и вагоны, сформировать добровольческие бригады из людей, рискнувших отправиться в неведомую Сибирь, я узнал лишь в сороковом году от Адольфа Тайми.

Во время рабочей революции Адольфа Петровича избрали членом революционного правительства — сначала Народным уполномоченным по внутренним делам, а затем командующим Красной гвардией...

Тайми поставил своеобразный «рекорд», был, так сказать, чемпионом Финляндии по «отсидке», проведя в тюремном заключении тринадцать с половиной лет.

Попал же он в тюрьму в 1927 году за то, что был в подполье секретарем Центрального комитета запрещенной тогда Коммунистической партии.

Вместе с Тойво Антикайненом, после победы наших войск над белой Финляндией, его освободили из финской тюрьмы.

Когда Хуго Ялава и Эйно Рахья рассказывали мне об эшелонах с хлебом, я не подозревал, что и самую

идею организации маршрутных поездов подал финским железнодорожникам Владимир Ильич...

В студеном феврале семнадцатого года Тайми, тогда главнокомандующий, приезжал к Ленину в Смольный хлопотать об оружии для финляндской Красной Гвардии, он рассказал и о том, как голодают трудящиеся Финляндии.

— Знаю,— коротко ответил Ленин.

Это было в те дни, когда Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, несмотря на то что в Петрограде выдавали только по полфунта хлеба на человека, принял решение немедленно отпустить из своих запасов десять вагонов зерна для финляндских рабочих!

В радиограмме «Всем, всем, всем» Ленин сообщал: «Сегодня... петроградские рабочие дают 10 вагонов продовольствия на помощь финляндцам».

О том, что этот дар был актом самоотверженного пролетарского интернационализма, свидетельствует другая телеграмма Ленина, отправленная в те же дни в Харьков Орджоникидзе и Антонову-Овсеенко: «Ради бога, принимайте *самые* энергичные и *революционные* меры для посылки *хлеба, хлеба и хлеба!!!* Иначе Питер может околеть».

— Раздумывая о чем-то, Владимир Ильич прошелся по кабинету,— вспоминал Тайми,— затем повернулся к нам и сказал:

— Видите ли, хлеб в глубине России есть!.. В Сибири его не мало! Но везти нечем. На транспорте у нас, как вам известно, царит разруха. Да, надо говорить правду,— разруха! С паровозами беда! С дисциплиной тоже! Вы, финны, имеете все: и свои паровозы и свои вагоны. А что бы вам самим послать поезда в Сибирь? У вас есть бумага, папиросы, кажется, хорошие, текстиль, сельскохозяйственные машины — пошлите их в обмен крестьянам-сибирякам и везите оттуда хлеб!..

Так возникли первые в мировой практике поезда, когда паровоз без смены делал концы по три с половиной тысячи километров в одну сторону.

Об этом же Тайми рассказывал и Вольдемару Виролайнену, когда они встретились в 1919 году в Мелекессе, этом небольшом городке в Поволжье в Симбирской губернии, при следующих обстоятельствах.

После того как революция в Финляндии была разбита, Тайми со многими другими членами рабочего правительства, вместе с тысячами красногвардейцев удалось перейти границу. Они нашли убежище в Стране Советов. Многие из них вступили в ряды Красной Армии, остальные тоже не щадили сил в борьбе за Советскую власть.

К осени восемнадцатого года топлива в Петрограде было меньше чем в обрез. Подвозить хлеб к Питеру было не на чем. Петроградцы получали на день по карточкам восьмушку фунта на душу — пятьдесят граммов!

И вот тогда-то в паровозном депо Петроград-Финляндский, памятуя о весеннем опыте и о совете Ленина, решили организовать первые маршрутные поезда в стране для подвоза хлеба в Петроград и Москву, сначала с Поволжья, а затем из Сибири и Украины.

Создано было семь маршрутных поездов, и в одном из них добровольцем за реверсом паровоза встал сначала младший машинист, затем просто машинист, а вскоре и старший машинист — сильный, старательный паренек, влюбленный в машину, называвший ее своей «невестой», питерский финн Вольдемар Матвеевич Виролайнен.

Тайми же был главным комиссаром всех этих семи поездов. И штаб-квартира его сначала находилась в Мелекессе, к элеваторам которого стекался хлеб черноземных районов Заволжья.

Тут-то молодой машинист Виролайнен на путях около элеватора впервые увидел старого большевика Адольфа Тайми...

— Полтора года я возил пшеницу в Петроград, а затем по распоряжению Наркомпрода и в Москву,— рассказывал мне Вольдемар Матвеевич историю своей жизни.— Так как из депо я уже был отчислен, а у Наркомпрода такой штатной единицы, как паровозный машинист или кочегар, не имелось, то мы — паровозная бригада целиком — все это время не получали ни копейки зарплаты. Неоткуда было. Но в те годы мы мало думали о зарплате, получали красноармейский паек, и этого было вполне достаточно, чтобы работать не за страх, а за совесть.

Чудесная это профессия — машинист,— продолжал он.— Помню, как-то летом в двадцатом году веду я поезд по затяжному подъему в горах Урала. Стрелка

манометра на красной черточке, регулятор открыт до отказа, реверс на предельном зубе — чтобы паровоз не сбуксовал. Справа высокие горы Урала. Сосны слева, глубоко внизу течет спокойная речка. Утро. Солнце встает. Небо розовое. Всем своим существом ощущаешь, как паровоз, напрягая силы, ведет состав — так, что «труба, как говорят паровозники, с небом разговаривает». Далеко в горных лесах эхом отдается звонкий голос паровозной трубы. А у меня, молодого машиниста, «душа поет»... За спиной тысячи пудов хлеба, который с нетерпением ждут москвичи и петроградцы. И сознание, что от твоей ловкости, от твоей опытности зависит, чтобы паровоз не сбуксовал, чтобы не было в пути никакой задержки. И чувство ответственности! И гордость... А тут горы звенят, и солнце встает... Настоящая поэзия!

С тех пор прошло много лет. Виролайнен окончил Академию железнодорожного транспорта, осваивал только что построенный Турксиб. А в дни Отечественной войны на Кировской железной дороге в феврале 1943 года, продолжая дело своих друзей, дело всей своей жизни, снова в изголодавшийся Питер-Ленинград Виролайнен привел первый после прорыва блокады поезд с продовольствием!

Все это звенья одной цепи, одной и той же борьбы, в которой отцы передают эстафету сыновьям.

* * *

С той поры минуло два десятилетия... Зимой сорок первого военного года в полутьме короткого декабрьского дня, вблизи от Полярного круга, на станции Кемь, переходя железнодорожные пути, я вдруг остановился, пораженный. В настежь распахнутую дверь теплушки по широкому настилу неохотно, испуганно озираясь, входили необычные пассажиры.

Их было двадцать шесть, низкорослых коричневых с белыми подпалинами северных оленей.

Далеко, из глубины карельских лесов, из легендарного района Калевалы оленеводы пригнали их в подарок детям блокированного Ленинграда.

Эшелон, к которому прицепляли и две теплушки с оленями, провожала гурьба кемских школьников.

Несколько дней в подступающих к городу лесах и болотах, разгребая снег, ребята собирали сухой, серовато-

зеленый мох — ягель, корм оленям в их долгом пути в Ленинград.

В теплушках оленей везли до Тихвина, откуда они уже своим ходом двигались по ледовой дороге, через Ладожское озеро.

Все тут было удивительно — и эти олени, пришедшие из-за линии фронта, и эта только что, в невиданно короткие сроки рожденная дорога, по которой должен проследовать поезд с рогатыми «пассажирами» из лесной карельской глухомани...

«Кировская железная дорога выведена из строя, Карельский фронт отрезан от России. Считанные дни до падения Мурманска»,— сообщали сводки немецкого командования.

И впрямь, Кировская железная дорога была перерезана. Последний поезд из Ленинграда через станцию Мурманские ворота прошел 28 августа 1941 года. Но немцы не знали тогда еще, что уже 1 сентября в Беломорск с востока прибыл первый поезд — вступила в строй новая железнодорожная линия Обозерская — Сорока, накрепко соединившая Карельский фронт и незамерзающий порт Мурманск со всей страной.

— Немцы на весь свет растрезвонили, что железная дорога от Мурманска перерезана, но мы спокойно в тридцатиградусные морозы проехали по ней из Мурманска в Москву,— докладывал в Палате Общин министр иностранных дел Иден о своей поездке в Советский Союз в декабре сорок первого года.

В пути поезд, где он ехал вместе с советским послом Иваном Михайловичем Майским, остановился посредине новой, еще ни на какие карты не нанесенной железной дороги, на станции Малошуйка.

Приняв рапорт начальника станции, Иден спросил:

— Когда выстроена эта дорога?!

— Месяца три назад здесь был густой лес,— гордо ответил начальник станции.— Но Москва все равно недовольна темпами нашей стройки,— неожиданно добавил он.

Об этом разговоре на Малошуйке посмеивались, рассказывал мне Вольдемар Матвеевич, после дружеского рукопожатия которого я как всегда долго растирал руку.

...Осенью сорок первого года заместитель начальника Кировской железной дороги депутат Верховного Совета

Союза Виролайнен получил срочное задание в самые жесткие сроки ввести в строй недостроенную линию Обозерская — Сорока.

Что значила тогда для страны эта новая ветка, кому-кому, а Виролайнену не надо было объяснять.

Не хватало рельсов, а время не ждет!

И как вышедшие из окружения солдаты снова бросаются в бой, так на новое, только что насыпанное полотно ровным строем ложились рельсы, снятые смельчаками под огнем с тех участков Кировской дороги, что остались у врага.

Сколько мелочей, каждая из которых могла свести на нет огромный труд тысяч людей, пришлось предусмотреть! Сколько важных, не терпевших отлагательства решений принять на свой страх и риск. Сколько ведомственных препон преодолеть! Но самое главное — дорога вошла в строй, работала и достраивалась одновременно.

Две теплушки с оленями могли потонуть в потоке грузов, хлынувших из Мурманска,— пятьсот вагонов в сутки...

В декабре сорок первого года Вольдемар Матвеевич добрался до Ленинграда, где у него оставались дочки и сын... Страдания родного города, увиденные воочию, потрясли его.

Как помочь?

И он стал настойчиво добиваться и добился назначения на Волховстрой — эту «форточку» в осажденный Ленинград.

Отсюда со станции Волховстрой в те дни, как по тоненьким капиллярным сосудам при перерезанных артериях, по ледовой «Дороге жизни» капельками просачивались в осажденный город живительные грузы, те самые «сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам».

19 800 фугасных бомб обрушила на станцию Волховстрой немецкая авиация. Сто двадцать семь километров железнодорожных путей было разбито, скрючено, службы загнаны в подземелье.

А сколько железнодорожников погибло под бомбами!

И все же больше чем на два часа не прекращалась работа узла — движение поездов!

Два года жизни — весь сгусток эмоций, мыслей, энергии Виролайнена — были устремлены к одному. Миллион

сто тысяч ленинградцев в 588 специально подготовленных эшелонах были эвакуированы со станции Волховстрой в тыл.

Героизм железнодорожников можно было сравнить лишь с их организованностью.

* * *

Январь сорок третьего года. Весть о том, что Шлиссельбург освобожден, пронеслась по стране.

В сплошном кольце блокады приоткрылась «калитка» на «Большую землю»...

Надо превратить ее в широкие ворота!

Теперь станция Волховстрой все больше и больше напоминала плотину в дни паводка, около которой останавливался, накапливался, как вода в водохранилище, бесконечный поток поездов. Несколько тысяч вагонов продовольствия, боеприпасов, топлива для осажденного города, для войск Ленинградского фронта, для Балтийского флота. И только узкой струйкой переливаясь через гребень плотины в автоколоннах, бомбимых немцами, продолжали свой путь драгоценные грузы через Ладожское озеро к городу Ленина.

И этот напор нарастающего потока вагонов, всю его тяжесть, словно его широкая спина была плотиной, ощущал начальник Волховского узла Вольдемар Матвеевич Виролайнен.

Левый берег Невы, до которого от Волховстроя тянули железнодорожную нить, не был соединен с правым берегом, по которому дорога доходила до осажденного города. И две перевалки всех грузов, идущих в город Ленина, замедляли течение и без того узкой струйки, вьющейся между зияющими на снегу воронками.

Необходимо немедля протянуть от Волхова до Шлиссельбурга железную дорогу, подключить родной измученный Ленинград хоть одной ниткой ко всей сети железных дорог Союза! Перебросить с левого берега Невы на правый мост, чтобы через месяц-другой ладожский ледоход не вверг снова город в блокаду.

Что из того, что дорога почти на всем своем протяжении простреливалась неприятельской артиллерией?!

Что из того, что новый разъезд Липки в пяти километрах от немецких окопов?! Кировцев этим не запугаешь.

Напротив, как только началась стройка соединительной ветки,— паровозные бригады депо Волховстроя соревновались за право вести первый поезд в осажденный Ленинград.

Но какая бы бригада ни победила, Виролайнен твердо решил — на этом паровозе будет работать и он...

Недаром же столько месяцев он мечтал об этом! Да не только мечтал, а делал все, что было в его силах и даже сверх сил, чтобы приблизить этот день, эту минуту...

Работая под огнем круглые сутки, «левый берег» соревновался с «правым» — строили мост через Неву у разрушенного Шлиссельбурга.

...В то морозное утро, когда после митинга со станции Волховстрой, украшенный плакатами, отправился в свой исторический рейс в окруженный еще с других сторон Ленинград первый поезд с продовольствием, молодой машинист, победитель в соревновании, Иван Пироженко затормозил паровоз на разъезде Междуречье, увидев поджидавшего его Виролайнена.

Прежде чем взобраться на паровоз, Вольдемар Матвеевич убедился, что к тендеру паровоза прицеплена цистерна с водой. Не рассчитывая на то, что станционные водокачки смогут бесперебойно снабжать паровоз водой, он распорядился прицепить запасную цистерну.

В морозный воздух взметнулись клубы пара, загремели скрепления сорока вагонов,— паровоз стронул с места состав и, подрагивая, стал набирать скорость.

И тут началась «музыка».

Срезанная снарядом, чуть ли не на самое полотно дороги свалилась вершина сосны.

С треском разорвался с другой стороны поезда снаряд, и пошли перещелкивать осколки, срывая кору со стволов.

По обе стороны пути стоял искореженный, со снесенными вершинами, с обрубленными ветвями, поредевший, прозрачный сосняк. Словно лес восклицательных знаков...

Просвистел третий снаряд, четвертый гулко шлепнул хлопушкой.

Поезд вырвался из сосняка. Голая холмистая снеговина походила на щеки, изрытые черной оспой воронок.

Почти до самых Липок вражеская артиллерия не отпускала поезд, бегущий к Неве...

По счастливой случайности ни один снаряд не попал ни в поезд, ни в рельсы.

Через несколько дней немцы «пристрелялись», и тогда этот тридцатикилометровый перегон был прозван «коридором смерти». Но первый поезд без особых «приключений» дошел до Липок, до разъезда «Левый берег»... Однако здесь пришлось остановиться. На перегоне грузился какой-то непредвиденный состав...

Столбик ртути спустился ниже 20°...

Так прошел час. Другой.

И насколько паровозная бригада была спокойна под обстрелом, настолько люди нервничали сейчас.

Ждали обстрела.

Столбик ртути приблизился к двадцати пяти.

Наконец путь свободен.

Виролайнен встал за регулятор.

Вот и новый, только что наведенный мост через Неву... Мост, по которому, открывая дорогу другим, этот поезд должен пройти первым.

Каждую весну тяжелые льды Ладоги неотвратимо врываются в устье Невы и, грохоча, наползая друг на друга, устремляются к Финскому заливу. Нередко, чтобы предотвратить наводнение, в мирное время приходилось взрывать ледяные заторы.

Сейчас же до весны оставались считанные недели. Ладожские льды с огромной силой будут стремиться сдвинуть с мест устои, их напор может опрокинуть мост, и тогда ледовая стихия словно придет на помощь захватчикам — Ленинград снова на несколько недель окажется в блокаде.

На совещании в управлении военно-восстановительных работ, которому приказано было в кратчайшие сроки навести мост, специалисты никак не могли прийти к соглашению.

Сторонники свайной конструкции доказывали, что ряжевые опоры не выдержат натиска, сместятся и мост рухнет.

Сторонники же ряжевых устоев так же убедительно доказывали, что сваи не устоят под напором льдов — свалятся.

— И к тому же,— говорили они,— если ряжи, то мост наведем быстрее. Ведь у нас есть ряжи, заготовленные про запас!

Споры были не менее яростные, чем те, которые разгорелись вокруг сооружения моста в Петербурге, через ту же Неву, в Государственной думе. Но шли они сверхсекретно. Никто — ни финский штаб, ни немецкие генералы заранее не должны знать, что так или иначе, но мост будет сооружен, и в самые краткие сроки.

Голоса разделились поровну...

Начальник управления устроил перерыв на три часа — пусть поразмыслят, как найти выход... И как раз во время перерыва в его насквозь прокуренный кабинет заявился Виролайнен, прибывший сюда по своим делам.

— Я уже больше двадцати лет строю мосты, приходилось решать много сложных вопросов, но сейчас, признаюсь тебе, Вольдемар Матвеевич, не знаю, кто прав: те, кто за сваи, или те, кто за ряжи...

— А что, если...— нерешительно сказал Виролайнен и тут же, не закончив, махнул рукой: не его, мол, дело давать советы мостовикам.

— Нет, уж раз начал, говори...

— А что, если совместить обе конструкции. Ряжи и сваи...— сказал Виролайнен осторожно, сам смущаясь своей смелости.— Что, если внутри ряжей забить несколько свай, а остальное пространство, как всегда, заполнить камнем? Заполненные камнем ряжи не дадут свалиться сваям. Сваи же не позволят ряжам сдвинуться с места при любом ледоходе.

Никогда не забыть Виролайнену, с каким недоумением посмотрел на него начальник строительства и как громко потом расхохотался, словно ему рассказали забавный анекдот, когда до него дошла суть предложения.

«Какую же я сморозил нелепость,— подумал Виролайнен.— Надо же, вмешаться в дело, где я мало смыслю...»

И хотя каждый из строителей вернулся на заседание с твердым намерением отстаивать свой вариант, против предложения Виролайнена никто не возражал, и вопрос о комбинированных устоях был решен за несколько минут...

— Как же мы сами до этого не додумались? — недоуменно пожал плечами старый инженер.

— Великая сила привычки? — ответил ему другой инженер.— Ведь никто из нас никогда до сих пор не стро-

ил мост с комбинированными опорами. Или свайные, или ряжевые, судя по обстоятельствам. А тут обстоятельства с нами не захотели считаться. У Вольдемара же Матвеевича этой злосчастной привычки нет.

Настилы моста подрагивали под тяжестью поезда. На свежих досках поблескивали крупные капли оледеневшей на морозе смолы. За спиной протяжно поскрипывали вагоны, словно сознавали всю ответственность сегодняшнего своего рейса.

Семьсот тысяч килограммов сливочного масла должен доставить городу-герою первый поезд.

Из паровозной будки открывались торосистые льды Невы, бескрайние ледовые просторы Ладожского озера. Позади топкие болота низкого берега, а впереди, на островке, с каждым оборотом колеса все ближе на фоне белесого неба вычерчивались руины разбитой артиллерийским огнем старинной, построенной еще шведами, крепости.

Станция Шлиссельбург оглушила медью оркестра, приветственными возгласами.

Десятиминутная остановка — и поезд, не набирая воды, ведь позади — своя, хоть залейся! — полная цистерна, двинулся дальше...

Станцию Мельничный ручей Виролайнен приветствовал прерывистыми гудками.

Еще какой-нибудь час-другой — и поезд затормозит у платформы вокзала, перед которым с бронзового броневика держит речь к питерцам Ленин. Но...

Иногда даже специально принятые меры предосторожности оборачиваются бедой. Километрах в двух перед станцией Ржевка оба инжектора отказали. Воды в тендере нет. Куда же она девалась?

Остановить поезд на перегоне? Нет, этого не позволяет Виролайнену профессиональная гордость старого машиниста

Ржевка.

Водомерное стекло показывает, что воды в котле меньше разрешенного минимума.

Бригада в тревоге.

— Иван Павлович, останови паровоздушный насос, выключи прогревы, надо прекратить всякий расход пара из котла,— приказывает Виролайнен.— Проверь, есть ли вода в цистерне.

Помощник быстро возвращается:

— Цистерна полна.

И Виролайнен вдруг понимает, в чем дело. Пока поезд на сильном морозе стоял на разъезде Левобережный, вода из цистерны почти не расходовалась, и рукав между тендером и цистерной прихватило морозом... Надо разогреть рукав!

Товарищи нервничают, суетятся, не все получается как нужно, приходится то и дело подсказывать и держаться так, чтобы никто не заметил, что у него на душе кошки скребут...

А тут еще помощник испуганно докладывает:

— Воды в нижней гайке не видно! Сожжем топку... Разрешите потушить!

— Ни в коем случае... Я вел поезд, я и в ответе! — решительно говорит Виролайнен.

Нет большего позора для машиниста, чем расплавить предохранительные пробки!

И перед мысленным взором Виролайнена возникают самые каверзные положения, казалось бы безвыходные, из которых он находил выход, когда водил маршрутные поезда с хлебом из Сибири в страшные морозы, в южную жару Украины. Нет, он не ошибается и сейчас...

«Что, если мой расчет не оправдался? — мучительно думает он.— А в Ленинграде ждут... Каждый час дорог...»

И тут он видит, как от паровоза бежит кочегар и кричит во всю силу своих молодых легких:

— Вода пошла, Вольдемар Матвеевич, вода пошла!

И как только до сознания Виролайнена доходит значение этих слов, туго натянутая струна рвется. Он без сознания валится как сноп.

Стоящий рядом товарищ едва успевает на лету подхватить грузное тело.

* * *

— В Ле-нин-град, в Ленин-град, в Ленин-град,— равномерно постукивают колеса вагона. Виролайнен открывает глаза.

— Где я?

— В классном вагоне, в хвосте,— отвечают ему.

А поезд идет к Ленинграду. Виролайнену неловко перед товарищами и перед самим собой за то, что в послед-

нюю минуту, готовый к самому худшему, так сплоховал, услышав радостную весть: вода пошла!

Ведь, казалось, и не в таких переделках довелось ему побывать!

И хотя в беспамятстве и был-то он всего четверть часа, но и этих пятнадцати минут он не мог простить себе...

Когда поезд подходил к следующей станции Кушелевке, Виролайнен был уже как ни в чем не бывало на паровозе...

* * *

...В Ленинграде поезд принимали на первую платформу, ту самую, на которой в апреле семнадцатого года встречали вернувшегося в Питер Ленина.

Вместе с рабочими депо в тот вечер пришел сюда и ученик по ремонту автотормозов Вольдемар Виролайнен. Он был среди тех, кто нес Ленина на своих плечах к броневику.

И теперь он знал, что на площади перед вокзалом на бронзовом броневике бронзовый Ленин — вместе с тысячами пришедших сюда ленинградцев ждет первый после прорыва блокады поезд с Большой земли!

И он был счастлив, что стоит у регулятора на паровозе этого поезда.

На платформе выстроился почетный воинский караул. Толпились люди, выкликавшие приветствия. Но гул толпы и музыку оркестра перекрывал протяжный гудок паровоза, густой, ликующий, он длился и длился, словно всю свою неизбывную любовь к родному городу вкладывал в него Виролайнен.

Он не знал, что голос этого паровоза, в ту же секунду записанный на магнитофонную пленку, станет «документом» великой борьбы и в годовщину освобождения города Ленина от блокады, передаваемый ленинградским радио, будет звучать на весь мир.

* * *

И снова минуло два десятилетия.

Новый год я встречал в Ленинграде в большой, дружной семье Вольдемара Матвеевича. В тот час мы вспоминали своих друзей. Поседевший Виролайнен раскладывает передо мной старые фотографии.

Вот бригада первого хлебного поезда, пришедшего в Хельсинки, во главе с Яковом Рахья.

Вот Эйно Рахья, вот Хуго Ялава.

А вот около паровоза с широкой воронкой трубы четверо машинистов, которые отремонтировали его: Рикконен, Сикандр, Ханнонен и молодой Вольдемар.

— Машинист Саволайнен сфотографировал нас перед тем, как я впервые выехал на паровозе 293,— говорит Вольдемар Матвеевич и вспоминает, как в 1947 году он, тогда уже директор Кировской железной дороги, был в Хельсинки в нашей правительственной делегации на праздновании сорокалетия финского парламента.

Тогда-то он и разыскивал паровоз № 293.

«Старик» был еще жив — он таскал под Таммерфорсом пригородные поезда.

В 1957 году правительство Финляндии подарило этот паровоз советскому народу.

Сейчас он стоит в городе Ленина у специальной платформы на Финляндском вокзале.

А вот и другая фотография: старики-сказители Калевалы из тех мест, откуда пришли в блокированный Ленинград олени.

МАШКОВ ПЕРЕУЛОК — «ПУЛЬХЕГДА»

— У мамы хранятся письма Максима Горького к отцу,— сказала мне Наталья Фредериксен, когда несколько лет назад мы познакомились с ней в Аскере, городке, выросшем на крутых склонах Ослофиорда.

Наталья Фредериксен (такова ее фамилия по мужу, высокому, голубоглазому учителю гимназии в Аскере, коммунисту, известному деятелю движения Сопротивления) — в девичестве Добровейн, дочь замечательного пианиста, композитора, знаменитого дирижера.

Концерты, которыми он прославил себя, в Москве помнят сейчас лишь старики, но имя его известно всем русским читателям, без различия возраста, по воспоминаниям Максима Горького о вечере в Москве двадцатого октября 1920 года.

Несмотря на желание прочитать эти письма Максима Горького, в тот мой приезд в Норвегию так и не удалось мне свидеться с вдовой музыканта,— она гостила тогда в Москве. В этот же раз в Осло мне повезло. Я жил на улице Гаральда Прекрасноволосого, 10с, на седьмом этаже в гостях у вдовы Добровейна Марии Альфредовны, в комнате, откуда видны курчавая зелень окрестных гор и облака, плывущие над фиордом. Стройная, подтянутая, удивительно моложавая, лихо, с ловкостью заправского шофера управляющая своей старой, видавшей виды малолитражкой, она с такой же свободой и легкостью владеет даром непринужденной душевной беседы.

А беседы наши с гостеприимной хозяйкой в ее уютной белой гостиной с высокой, до потолка книжной стенкой, уставленной монографиями по музыке, по русскому

искусству, книгами русских классиков (уголок Москвы в Осло), не раз переходили за полночь. На одной из полок двенадцать переплетенных томов — собрание сочинений Горького, переведенных на норвежский Натальей Фредериксен. Рядом ее книга о Горьком и многие другие, переведенные ею книги советских писателей. Своими переводами Горького и первой на норвежском языке монографией о нем Наталья словно ответила на любовь Горького к ее отцу, на ласку жестковатой широкой руки, гладившей ее непокорные, вьющиеся волосы. Ведь не раз в раннем детстве своем она уютно пристраивалась на коленях Алексея Максимовича, слушая их долгие беседы.

Свободные от книг гладко-белые стены гостиной плотно увешаны картинами и фотографиями. Выпрямившись во весь свой могучий рост, улыбается Федор Шаляпин. Сосредоточенно смотрит вдаль Рахманинов. Фотографии все с трогательными дарственными надписями. Ведь с Шаляпиным в заглавной роли Добровейн осуществил постановку «Бориса Годунова» в прославленном театре Ла Скала в Милане. В Ла Скала же он увлек итальянскую публику «Сказанием о граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. Яркие квадраты окантованных акварелей — эскизы к «Евгению Онегину» работы Добужинского. Я знал раньше прелестную строгую графику Добужинского, его иллюстрации к роману Пушкина, но декорации к «Онегину» увидел здесь впервые. С этими и другими операми русских композиторов Добровейн, будучи много лет главным дирижером оперного театра в Дрездене, знакомил немецкую публику. «Борис Годунов» прозвучал здесь под его управлением.

Живя за границей, Добровейн стал яростным — этот эпитет соответствует темпераменту артиста — пропагандистом русской музыки, как бы помня слова Горького, написанные после наполненных этой музыкой вечеров в Сорренто.

«Это настоящая глубоко взятая вами русская музыка, но Вы умеете влагать в нее несколько дикий лиризм, изящество и грацию, которые, выгодно подчеркивая ее силу, придают ей общечеловеческое, универсальное значение».

Уже приговоренный к смерти — рак легких — и зная о своем недуге, Добровейн лихорадочно работал в Париже, чтобы успеть закончить запись на пластинки «Бориса

Годунова» в исполнении симфонического оркестра Французского радио, которым он дирижировал.

Я бережно перебираю эти пластинки знаменитой марки «Голос его хозяина» с изображением фокстерьера и разглядываю книгу Горького с дарственной надписью автора, его письма, в одном из которых можно прочитать такое признание: «Я профан в музыке, но человек кое-что испытавший. Я много чувствовал, и для меня искусство область самых глубоких и мудрых наслаждений. Я немало слышал музыки, но редко испытывал с такой поглощающей меня силой ощущение красоты и радости, как испытываю это, слушая Вас».

И то, что все эти немые свидетельства полнозвучной жизни, картины и снимки развешаны здесь на стенах,— понятно мне. Но только вот к чему бы здесь среди них спортсмены-лыжники? На фотографии он и она. Снежная целина — нет и следа лыжни. Его, высокого, молодого, стройного, я сразу узнаю — Фритьоф Нансен. А невысокая женщина рядом с ним на лыжах в длинной юбке, из-под которой видны еще более длинные лыжные штаны? Старая фотография, когда еще считалось неприличным женщине появляться на люди в брюках. Это Ева Сарс — первая жена Фритьофа. И снежные горы за их спиной вовсе не горы, а декорации — хорошо расписанный задник. И под лыжами тоже не снег, а имитирующие его плотно уложенные комья обыкновенной ваты. Чемпион Норвегии по лыжам, человек, пересекший на них из конца в конец Гренландию, что до него считалось невозможным,— и вдруг такая бутафория!

Снято в помещении, потому что в начале девяностых годов не умели еще фотографировать на открытом воздухе, на «натуре». Фотоателье Форбека. Вспоминаю — настоятель столичного Собора пастор Рагнар Форбек, лауреат Ленинской премии мира, рассказывал мне, что отец его был профессиональным фотографом и деревянный домик на окраине Осло, в котором мы беседовали, достался ему по наследству.

Ну, а кем сделана дарственная надпись на фотографии? Лив. Старшая дочь Нансена и Евы, та, которую он так часто брал с собой в поездки, та, которая написала интереснейшую книгу об отце.

— Скоро после знакомства с Нансеном,— рассказывала мне Мария Альфредовна,— Добровейн подружился

с Лив. Она была очень музыкальна и одно время даже думала стать певицей. Когда наша семья переехала в Осло, Лив стала самым близким нашим другом...

Но перенесемся в Москву двадцатого года, в тот осенний день, когда утреннюю изморозь смело с крыш скупое солнце, а к вечеру пошел холодный моросящий дождь.

— Мы с 1916 года жили в Москве в Николо-Воробинском переулке, неподалеку от квартиры Екатерины Павловны Пешковой в Машковом переулке у Чистых прудов,— вспоминала Мария Альфредовна,— и когда Горький наезжал в Москву, он всегда бывал у нас, но еще чаще мой муж заходил по вечерам на Машков запросто посидеть с ним и поиграть ему.

Так было и в тот вечер двадцатого октября, когда Екатерина Павловна позвонила Добровейну, мол, Алексей Максимович в Москве и хотел бы вечерком побеседовать и послушать его.

В своем кабинете в Кремле Владимир Ильич с утра работал над статьей «К истории вопроса о диктатуре». Редакция журнала «Коммунистический Интернационал» торопила его, чтобы успеть заверстать статью в очередной номер.

На небольших листах бумаги, написанных размашистым косым почерком, Ленин энергично разбивал доводы тех лидеров рабочего движения Европы, которые и в двадцатом году повторяли по существу то, что говорили после революции 1905 года в России меньшевики и кадеты, и доказывал, что «без насилия по отношению к насильникам, имеющим в руках орудия и органы власти, нельзя избавить народ от насильников».

Статья получилась большая — одиннадцать журнальных страниц. Закончив ее ко второй половине дня, Ленин принял затем товарищей, приехавших из Сибири, и долго беседовал с ними о партизанском движении, о тамошних неурядицах и о том, что предстоит сделать, чтобы их разрядить. После ухода сибиряков он написал ответное письмо в Тульский губком партии, в котором подчеркнул, что «пока не побили Врангеля до конца, пока не взяли Крыма всего, до тех пор военные задачи на первом плане. Это абсолютно бесспорно».

И только после многотрудного дня, до краев наполненного работой, вспомнив, что условился о встрече с

Горьким, который приехал из Питера, Владимир Ильич решил завершить вечер беседой с другом.

...Автомобиль пересек пустынную Лубянскую площадь с громоздким фигурным, давно не действующим фонтаном посредине и углубился в каменное многоэтажное ущелье темной, с потушенными фонарями Мясницкой. У почтамта свернули направо. Черные стволы облетевших лип Чистых прудов мелькнули за окном. Шины зашелестели по опавшей несметаемой листве. Поворот. И еще один. И вот узкая расщелина Машкова переулка.

Шофер остановил машину у подъезда уже знакомого ему дома...

А тем временем Алексей Максимович рассказывал Добровейну о петроградских ученых, восхищаясь тем, как в небывало трудных условиях они продолжают самоотверженное служение науке.

— Датский Красный Крест прислал продукты в подарок русским ученым,— говорил он.— Это произвело на них превосходное впечатление. Но, к несчастью, киты вымирают один за другим!

На днях в Петроградский порт пришел пароход из Норвегии. Норвежский Красный Крест отправил большую партию продовольствия в Питер. И Нансен — один из организаторов этой «посылки» — воспользовался случаем и попросил возглавлявшего рейс Крога передать письмо Горькому.

— Это трогательное письмо... Приглашение,— говорил Горький.— Да, Нансен — человечище, каких мало... Весной мы впервые пожали друг другу руки.

И дальше пошел рассказ о встрече в Петрограде, когда Нансен весной приехал в Россию хлопотать о возвращении на родину бывших военнопленных мировой войны. Рассказ этот не был еще окончен, когда в дверь позвонил Ленин...

...В тот вечер Горький решил «угостить» Владимира Ильича музыкой и попросил Добровейна сыграть им что-нибудь. Когда к просьбе хозяина присоединился и Владимир Ильич, Добровейн не заставил себя упрашивать.

— Что бы вы хотели услышать, Владимир Ильич?

— Что вздумается вам, то и играйте!

Начал Добровейн со своих импровизаций на русские народные темы, затем без пауз перешел к Григу. Исполняя затем Шопена, он поднял глаза от клавиатуры и в

темно-красном зеркале поднятой крышки рояля увидел отраженным серьезное, сосредоточенное лицо Ильича, ушедшего всем своим существом в музыку, и рядом поглаживающего седоватые усы Горького, умевшего, как и его гость, слушать так, что талант исполнителя раскрывался во всей своей полноте. Екатерина Павловна сидела в кресле, прикрыв глаза ладонью.

Добровейн сыграл «Сечу» из «Сказания о граде Китеже» и затем, оторвавшись от клавиатуры, повернулся к Ленину и снова спросил:

— Что вы больше всего любите, Владимир Ильич? Я сыграл бы это для вас с особенным удовольствием!

— Сыграйте «Аппассионату»,— попросил Ленин и уселся поудобнее.

И, заключая полуторачасовой импровизированный концерт, Добровейн сыграл «Аппассионату».

Может быть, в эти минуты Владимир Ильич вспоминал вечера в Кракове, когда ему и Надежде Константиновне играла Бетховена, именно эти сонаты, Инесса Арманд — его любимый друг, за гробом которой он только неделю назад промозглой осенней ночью шел по пустынным улицам Москвы...

— Вернулся муж домой поздно, необыкновенно взволнованный,— рассказывала Мария Альфредовна...— «Я пришел бы еще позже, если бы меня не подвезли. Знаешь, кто меня подвез к дому? — торжествующе спросил он.— Владимир Ильич! Ленин!»

Вспоминая об этом вечере, Горький писал: «после заключительного аккорда сонаты Ленин долго сидел задумавшись, а потом сказал:

— Ничего не знаю лучше «Аппассионаты», готов ее слушать каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка! Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди...

— Мне же сам Добровейн,— вспоминала Мария Альфредовна, передавая слова Владимира Ильича,— добавил, что под конец Ленин сказал: «Такую музыку не надо бы слушать в революционное время, она мягчит душу».

Нет, не случайно эта соната, названная итальянским словом, означающим — горячо, страстно,— соната, в которой живет дух времени, дух французской революции с той силой и чистотой, какими,— по словам Ромена Роллана о Бетховене,— наделяет ее великая и одинокая

душа, воспринимающая впечатления бытия в их подлинном масштабе, не искаженном мелочами жизни,— вызвала именно такие мысли у Владимира Ильича.

Если правда, что «когда в голове нет идеи, глаза не видят», то, вероятно, это же можно отнести не только к зрению, но и к слуху. Музыка будит в каждом как раз те мысли, те идеи, которыми поглощена его душа, человек в ней слышит то, чем он полон сам.

Совсем иначе воспринял «Аппассионату» апостол прусского милитаризма Бисмарк, когда в Версале в год франко-прусской войны ему сыграл эту сонату германский посол.

— Если бы я ее почаще слышал,— сказал он,— я был бы храбрецом из храбрецов.

Так для «Железного канцлера» «Аппассионата» оказалась лишь допингом для возбуждения его личной брутальной храбрости. У Ленина же она пробуждает восхищение перед возможностями человеческого гения и горечь от мысли, что путь к счастью человечества отягощен насилием...

Мария Альфредовна была растрогана, услышав от меня, что рояль, на котором Добровейн в Машковом переулке играл Ленину, недавно отправлен в музей Горького в Нижнем и там каждый год двадцатого октября лучший выпускник Горьковской консерватории будет исполнять на нем «Патетическую» и «Аппассионату».

— Я знаю еще об одной встрече вашего мужа с Лениным на полгода раньше, чем в квартире Пешковой,— сказал я.

Это было в апреле двадцатого года, когда Ленину исполнилось пятьдесят лет. Сказав Марии Ильиничне, что на Девятом съезде его уже потчевали демьяновой ухой славословий, он потребовал прекратить «это безобразие» и, решительно отказываясь принять участие в каком-либо торжественном заседании по этому поводу и горячась, уверял ее: «Юбилейные речи надо просто запретить. Декретом запретить у нас в стране!..»

И все же деятелям Московского комитета удалось уговорить его приехать хотя бы на второе, не торжественное, а концертное отделение посвященного ему вечера.

Длинный узковатый зал заседаний МК был черен от людей.

Председатель открыл собрание,— но Ленина ни в ря-

дах, ни на трибунах не было. С речами выступили Луначарский, Ольминский. Посвященные Ленину стихи читали пролетарские поэты Владимир Кириллов и Александровский. Присутствовавшим особенно запомнился образный, нарисованный Максимом Горьким, полный характерных мелочей, почерпнутых из самой жизни, из глубин неистощимой памяти писателя портрет того, кому в тот день исполнилось пятьдесят лет.

Горький, а за ним и поэты уже сошли с трибуны, а Ленина все не было. Объявили перерыв. А Ленин все не приезжал.

Устроители не раз безрезультатно звонили ему.

Хотя сегодня с самого утра и прибыли к Владимиру Ильичу представители Туркестанского фронта с подарком ко дню рождения — 20 вагонов хлеба, этот день был для него обычным, будничным, трудовым.

Распорядившись половину вагонов передать рабочим торфяных разработок, а другие десять детям Москвы, Петрограда и Вознесенска, он долго расспрашивал делегатов о положении дел в Самаре и Башкирии, беседовал с ними о задачах Советской власти в Туркестане и о том, какую национальную политику надо проводить в этой бывшей царской колонии, чтобы она стала притягательной силой, путеводным маяком всех угнетаемых народов колоний.

Затем Владимир Ильич провел заседание Совета Труда и Обороны, на котором разбирались и выносились решения больше чем по десятку насущных вопросов, от организации гидротехнических отрядов до принятия условий товарообмена с французскими предпринимателями, от охраны продовольственных грузов на пристанях до мобилизации работников водного транспорта.

После Совет Народных Комиссаров под председательством Ленина решал другие важные и мелкие не решенные СТО вопросы.

Их была добрая дюжина.

Теперь, знакомясь с ними, поражаешься, с каким сугубым вниманием вникал Ленин во все подробности даже самых мелких дел. Но также невольно думаешь, как небережно, как расточительно относились к энергии Владимира Ильича, словно считая его силы неисчерпаемыми, предоставляли тратить их на решение тех дел, с которыми легко могли справиться и другие.

Так было и в тот день, когда лишь после звонка Надежды Константиновны, сказавшей, что торжественная часть заседания окончилась, что речей больше не будет, он, прихватив с собой присланную утром Стасовой старую, восемнадцатилетней давности карикатуру на юбилей Михайловского, поехал.

О том, как, в каких трудах прошел день Владимира Ильича, никто в зале, конечно, не знал. Рассекая рукой возникшую в зале овацию, Ленин поблагодарил, «во-первых», товарищей, приславших ему приветствия, а «во-вторых», еще больше за то, что его избавили от обязанности выслушивать такую излишнюю вещь, как юбилейные речи...

Впрочем, незачем здесь пересказывать хорошо известную, вошедшую во все собрания сочинений «антиюбилейную» речь Ленина.

Когда начался концерт, он уселся в первом ряду, по соседству с Добровейном, с которым время от времени переговаривался как со старым знакомым. Откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки, вполоборота к залу, Ленин слушал трио Чайковского. Задумчиво-сосредоточенное выражение лица Владимира Ильича постепенно становилось спокойным, черты теряли твердость, смягчались и распрямлялись складки.

Квартет имени Страдивариуса сменил на эстраде трио. Ленин разнял руки и закинул одну, словно от усталости, за спинку стула. Губы его чуть шевелились.

После квартета Добровейн кивнул соседу, поднялся со стула, подошел к роялю. И над залом зазвучала захватившая всех «Патетическая соната» Бетховена.

А после концерта, уже у выхода из зала, прощаясь с товарищами, Ленин говорил:

— Прелестная, прелестная музыка. Не знаю, как речи,— не слыхал. Но музыка прелестная. Спасибо, товарищи. Отличные музыканты. А Добровейн лучше всех! Не Добровейн, а Отличновейн, Прелестновейн! Чудесно-чудесновейн!

Мне об этом вечере рассказывала человек трудной судьбы, литератор Софья Виноградская. Восторженная шестнадцатилетняя девчушка, она получила билет на собрание в Московском комитете партии от секретаря редакции «Правды» Марии Ильиничны Ульяновой, у которой в то время она работала помощницей.

— Знал ли ваш муж о том, что он «Чудесновейн»?— спросил я у Марии Альфредовны.

— Нет! Как бы он радовался! Как был бы счастлив, узнав о такой оценке Ленина. Я сама прочитала об этом лишь в пятьдесят седьмом году, когда в журнале «Новый мир» опубликовали цикл рассказов Виноградской «Первые годы». Вот он,— и Мария Альфредовна достала с книжной полки номер журнала.

— Старые знакомые! — повторила моя собеседница.— Правда!

Первое знакомство Ленина с Добровейном произошло задолго до того апрельского вечера, лет на девять раньше. В Париже, в 1911 году. Это была мимолетная встреча. Ленин договаривался с ним, тогда еще совсем молодым музыкантом, выпускником Московской консерватории, об устройстве концерта, весь доход от которого должен пойти на поддержку нуждающихся политэмигрантов.

Мне кажется, что Ленин был в Париже также и на вечере, посвященном столетию со дня рождения Герцена, где выступал Горький, а Добровейн играл произведения любимых Герценом композиторов.

— Мой муж,— немного помолчав, продолжала Мария Альфредовна,— удивлялся поразительной памяти Владимира Ильича на лица. В восемнадцатом году он стремился попасть на все митинги, где выступал Ленин. И вот однажды, на Красной площади, когда Добровейн подобрался поближе к трибуне, чтобы лучше слышать,— микрофонов тогда ведь не было,— он заметил, что Ленин смотрит прямо на него и, видимо, через столько лет, после мимолетной встречи в Париже, разглядев его в толпе, узнал, улыбнулся и кивнул ему...

* * *

...С тех пор прошли годы.

Ленин умер.

Горький жил в Сорренто.

Музыкант, некогда игравший им в доме в Машковом переулке, в Большом театре и в Колонном зале, гастролировал на всех континентах мира.

И вот однажды, приехав с концертами в Норвегию, Добровейн прочитал в газете объявление о предстоящем открытом собрании Географического общества, где дол-

жен был выступать Фритьоф Нансен, который всю жизнь был для него человеком-легендой, подобным прославленным героям античности, этот ученый, словно вышедший из саг Скандинавии, чтобы снова уже не огнем и мечом, а подвигами личной отваги и во имя науки и человечности покорить сердца людей. Все книги Нансена, переведенные на русский язык, Добровейн знал назубок. А когда дочурка Наташа была еще несмышленышем, он вслух читал ей о «Фраме», затертом во льдах, и переходе Нансена на лыжах через Гренландию. И, читая объявление в газете, Добровейн вдруг впервые осознал, что Фритьоф — не легенда, не имя, не Антей, не Прометей, а живой человек, которого можно увидеть и услышать.

В те дни окончательно стало известно, что в своей отчаянной, самоотверженной попытке спасти участников потерпевшей крушение во льдах Арктики экспедиции Нобиле Амундсен погиб.

Вечер был посвящен его памяти.

А наутро Добровейн писал жене в Берлин:

«Осло. 1928 г. Вчера был на заседании Географического общества в память Амундсена. Нансен говорил так хорошо и трогательно, что все ревели, ревел и я, хотя ничего не понимал, что он там говорит, но и сам старик в конце концов разревелся. Все эти Свердрупы, Ларсены и прочие белые медведи очень хороший народ...»

А еще через год Нансен сам пришел на концерт Добровейна, где тот между прочим исполнял и «Патетическую» и «Аппассионату».

Как мог он не поделиться своей радостью с женой!

Вот что узнала она об этом событии из письма, написанного на следующее утро:

«На концерте был Нансен, пришел ко мне, тряс мне руку... и в большом восторге, говорит, что никогда еще искусство так его не захватывало, как в этом концерте... Сегодня пригласил меня к себе...»

Разумеется, приглашение было принято с восторгом.

«Пульхегда» — двухэтажный дом Нансена с башенкой-кабинетом в Люсакере — пригороде столицы. С трепетом душевным подымался по ступеням «Пульхегды» званый гость.

В просторном доме все было просто и скромно, старая мебель — ничего лишнего. Лишь рояль (Ева, покойная жена Фритьофа, в свое время была известной певи-

цей) да стенная роспись в древненорвежском стиле, сделанная известным художником Эриком Вереншельдом, свидетельствовали о том, что хозяин дома не пуританин.

Человек такой славы мог бы жить и побогаче. Впрочем, нет,— тогда это был бы не Нансен. Ведь два года возглавляя напряженную, поглощавшую все его время работу по возвращению военнопленных на родину и затем собирая на всех континентах деньги в помощь голодающим Поволжья, он трудился безвозмездно, отказывая себе во всем. Переезжая из города в город, из страны в страну, ютился в чердачных номерах дешевых гостиниц.

Ему уже перевалило за шестьдесят, но он ездил в поездах, покупая билеты в вагон подешевле, с маленьким ручным чемоданом, чтобы не тратиться на носильщиков, чтобы не взять ни гроша из «Фонда Нансена». А затем, получив как лауреат Нобелевской премии немалую сумму, не в пример многим иным лауреатам он целиком истратил ее на покупку тракторов и других сельскохозяйственных машин и орудий и семян для создания двух советских опытно-показательных станций, которые должны были научить окрестное крестьянство, как понаучному вести земледелие. Другую сумму, которой хватило бы, пожалуй, на многие безбедные годы жизни большой семьи,— гонорар за собрание сочинений — Нансен отдал частью на помощь греческим беженцам, вынужденным из-за греко-турецкой войны покинуть родные места, а остальные деньги — на те же сельскохозяйственные опытные станции в Саратовской губернии и на Украине.

Такой уж это был человек.

В тот светлый апрельский вечер в «Пульхегду» пришли еще закадычный друг Нансена, написавший лучший его портрет, художник Вереншельд и Лив, дочь Фритьофа. О многом переговорено было за непременным в Скандинавии горячим, душистым кофе. Речь зашла и об их общем друге Горьком, который в свое время убедил Нансена написать для молодежи книгу о другом знаменитом путешественнике — Христофоре Колумбе, да помешала война. О Горьком Добровейн многое мог порассказать хозяину, интересовавшемуся каждой мелочью жизни писателя, которого считал великим. Ведь знакомство их началось еще в прошлом веке. Горький жил тог-

да в Нижнем Новгороде и работал в газете, а сыну валторниста в оркестре городского театра — Исайке (Зайчику, как его называли тогда сверстники и позже, когда он уже стал взрослым, друзья) шел седьмой год.

По вечерам, приходя к своему родственнику, учителю Богдановичу, снимавшему квартиру по соседству с семейством Добровейнов, Горький рассказывал народные сказки и прочие занятные истории детям — сыну Богдановича Адаму, Исаю и его брату Лене.

Едва ли не Горький выучил этих ребят грамоте. А когда он оставался ночевать у Богдановича — что случалось довольно часто,— мальчики по утрам будили Алексея Максимовича и гурьбой провожали его в редакцию. Каждый вечер, когда он приходил к своему родственнику, был для них праздником. Родители Исая и Лени были недовольны тем, что дети так много времени проводят с этим усатым, долговязым, тощим, непрестанно кашляющим парнем. Они и подумать не могли, что когда-нибудь город этот будет назван его именем.

— Как бы мальчики не заразились чахоткой! — опасливо говорили родители.

— Уже тогда у него был туберкулез? — озабоченно спросил Нансен.

И рассказал, что, когда после революции он снова побывал в России, он познакомился с Горьким не по книгам, не по переписке, а лично. Потом он много думал о Горьком, вспоминал его рассказы о жизни ученых в голодном, холодном Петрограде и очень беспокоился о нем самом. Совсем неважно выглядел Алексей Максимович при этой встрече.

И вот, воспользовавшись тем, что Норвежский Красный Крест отправлял в Петроград пароход с продовольствием, Нансен послал ему приглашение.

«Я считаю, что Вам совершенно необходимо изменить обстановку и питание, и поэтому Вы должны на время покинуть Россию. Мне кажется, что Вам, например, было бы очень полезно пожить некоторое время в Норвегии,— писал Фритьоф.— У Вас слишком слабое здоровье, и оставаться в Петрограде на следующую зиму Вам было бы просто опасно. Я это очень остро ощущаю, и Вы, конечно, должны понимать, что Ваша жизнь слишком драгоценна для всего мира, так же как и для Вашей родины, чтобы непростительно пренебрегать всем, что

необходимо для укрепления Вашего здоровья... Я полагаю, что Вы обязаны,— настаивал он,— сделать все возможное для укрепления своего здоровья, и лучшее, что Вы сейчас можете предпринять,— это избежать петроградской зимы и поехать на зиму в Норвегию...»

Фритьоф обещал помочь в осуществлении этой поездки Горького за границу.

Когда я впервые прочитал письмо Нансена, мне невольно вспомнилась тревога Ленина — так строки эти похожи были на те, которые отправил Горькому Владимир Ильич через несколько месяцев после письма Нансена.

«Я устал так, что ничегошеньки не могу,

А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерационально.

В Европе в *хорошем* санатории будете и лечиться и *втрое больше дела делать.*

Ей-ей.

А у нас ни лечения, ни дела — одна *суетня.* Зряшняя *суетня.*

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас.

Ваш *Ленин».*

Так эти два неповторимых человека, независимо друг от друга, сплетали свои усилия, чтобы уговорить Горького поехать лечиться и тем продлить на много лет его жизнь.

«Я очень тронут Вашим письмом и сердечно благодарю за приглашение приехать в Норвегию, литературу и людей которой я давно искренне люблю,— отвечал Горький Нансену.— Вероятно, я воспользуюсь приглашением Вашим в декабре или январе. Я действительно устал и был бы рад несколько отдохнуть, работая над книгой, которую мне хочется писать. Еще раз примите мою благодарность за доброе Ваше отношение,— это так ценно, так важно теперь, когда связи между людьми столь легко рвутся и всюду возникает вражда, часто бессмысленная, лишенная оправданий».

Однако намеченная поездка в Норвегию так и не состоялась.

За границей Горький сначала застрял в Берлине, а затем, по совету врачей, осел в Италии, куда к нему часто заезжал и Добровейн.

В одном из писем Горький благодарил его за вечера в Сорренто, когда тот исполнял свои вариации на русские темы и музыку русских композиторов.

И в вечер первого посещения «Пульхегды», где он вскоре стал своим человеком, Добровейн играл Нансену русскую музыку. Рояль был открыт.

И снова, как тогда, на Машковом, в Москве, в зеркале крышки отражались лица слушателей. Молодая Лив. Седобородый художник. И внимательный, весь ушедший в музыку Нансен. Свисающие концы седых усов его так похожи на усы Горького. А сам он...

«Просто не могу тебе описать, как чудно было у Нансена. Это такой светлый, очаровательный человек, сильный, уверенный в правоте своего дела и притом совершенный ребенок, который может часами хохотать из-за пустяка. Со мной он был страшно ласков. Почти что полночи со мной разговаривал и рассказал мне огромную часть своего полярного путешествия, а также рассказывал мне о своих планах на будущее, о жизни животных в полярных странах и тому подобное. Ты, конечно, понимаешь, как я потел и чуть было не напустил в штаны от восторга. Потом я играл ему русскую музыку, которую он очень любит, так как много бывал в России. Его можно немного сравнить с Алексеем Максимовичем, что-то есть общее у этих двух людей. Нансен, между прочим, очень хорошо говорит о Горьком. В довершение всех чудес подарил мне портрет с такой надписью, от которой у Буша, вероятно, сделался бы припадок желчи...»

— Вот это фото! — Мария Альфредовна вытаскивает из кипы бумаг большой портрет уже совсем седого Нансена и переводит дарственную надпись на нем:

«Люсакер. 27 апреля 1928 года.

Исаю Добровейну.

С восхищением и благодарностью за незабываемые часы, унесенные Вашей музыкой в лучший мир.

От *Фритьофа Нансена*».

Добровейн рассказал своему новому другу о том вечере, когда он играл Горькому и Ленину, и слова Ленина об «Аппассионате» были для Нансена неожиданны.

Весной, после первой поездки в Советскую Россию, его пришел интервьюировать корреспондент английской «Дейли кроникл», ожидая услышать обычные слова и поношения и фразы о красной опасности, однако, оставаясь верным истине, он был вынужден передать своей газете: «Нансен выразил уверенность в том, что в настоящее время для России невозможно никакое другое правительство, кроме Советского, что Ленин является выдающейся личностью и что в России не делается никаких приготовлений к войне».

Эти слова Нансена, звучавшие как вызов Антанте и Лиге Наций, напечатанные жирным шрифтом, дали материал для новой травли великого гуманиста.

И все же Нансену нелегко было представить, что и в годы ожесточенной гражданской войны, интервенции четырнадцати держав, блокады, голода и разрухи Ленин, поглощенный крупными и мелкими государственными делами, мог выкроить время для музыки. Это теперь еще больше укрепляло его в правоте того, что он восемь лет назад сказал английскому корреспонденту.

Добровейн рассказал ему еще и о другом вечере, отданном Лениным музыке. Это было 23 ноября двадцать первого года. В Большом театре Добровейн играл Четвертый концерт Бетховена с оркестром. Среди публики находились Горький и Ленин.

Такое было время, такая жадность у голодного народа к музыке, что артисты выступали зачастую по нескольку раз в день. И в тот вечер, хотя к нему после концерта в артистическую зашли Горький с Лениным, Добровейн, познакомив Владимира Ильича с женой, заторопился. Он спешил в Колонный зал, чтобы принять участие в каком-то сборном концерте.

— А нельзя ли и нам пойти с вами? — спросил Горький.

— Да! Можно? Хочу еще раз вас послушать! — присоединился Владимир Ильич.

— Идемте! Идемте!

И они вчетвером, Мария Альфредовна, Горький, Ленин и Добровейн, вышли из стынущего Большого театра в лютый метельный мороз и направились пешком — недалеко ведь — к бывшему Дворянскому собранию, ныне Дому Союзов. Снег тогда очищался только с тротуаров, и сугробы по обе их стороны превращали скользкие тро-

туары в снежные коридоры. Ветер, обжигая лица, крутил поземку.

Ленин нахлобучил шапку поглубже, поднял воротник шубы.

И вдруг неведомо откуда взявшаяся, словно вынырнувшая из сугроба, дрожащая собачонка увязалась за ними.

В Дом Союзов вошли не с главного подъезда, а с бокового, артистического, входа. И едва открыли тяжелую дверь, как внутрь, в раздевалку, между Горьким и Лениным первой прошмыгнула собачонка.

Дежурный у гардероба, где тогда никто не раздевался, сразу же заметил ее и, взглянув на вошедших, угрожающе рявкнул:

— Шляются тут всякие! Да еще собак за собой водят. Во-он ее!

Горький, иронически усмехнувшись, бросил взгляд на блюстителя порядка. Добровейн хотел заступиться за своих спутников, объяснить, что «не всякие, мол», но Ленин жестом остановил его и, подойдя к двери, притворил ее и выпустил собаку на улицу.

Об этом Добровейн рассказал в тот вечер в «Пульхегде», но он не мог рассказать тогда о том, что в Швейцарии, в дни первой мировой войны, русский эмигрант Ульянов в Цюрихской библиотеке попросил только что вышедшую книгу Нансена о его путешествии в Сибирь через Карское море.

Не мог он, конечно, рассказать и о том, как Ленин был озабочен тем, чтобы на обращенное к нему послание Нансена, переданное по радио 4 мая 1919 года, было отвечено «архилюбезно» по отношению к Нансену и резко в сторону Вильсона, Ллойд Джорджа и Клемансо.

С семнадцатого апреля, более двух недель, Нансен никак не мог отправить свое послание в Москву.

Пароходы в Россию не ходили.

По сухопутью границы были фронтами.

Курьеры не ездили.

Блокада.

Наконец, удалось уговорить немецкую радиостанцию «Науэн» передать 4 мая радиограмму Ленину.

В этом послании Нансен сначала излагал текст свое-

го обращения к «большой четверке», президенту США Вильсону, премьер-министрам стран Антанты — Англии, Франции, Италии — Ллойд Джорджу, Клемансо и Орландо.

«Сэр, положение с продовольствием в России, где каждый месяц сотни тысяч людей умирают от голода и болезней, является одной из проблем, больше всего волнующих в настоящее время умы всех людей»,— писал он им и предлагал создать комиссию для организации помощи России продуктами питания и медикаментами... Далее Нансен сообщал в своем послании Ленину, что лидеры Антанты соглашались на такую помощь при условии, что Красная Армия приостановит свои действия против белых. Причем они даже не обмолвились о том, что это условие будет обязательным и для держав, участвующих в интервенции против Советской республики.

Это был с их стороны лицемерный маневр.

Разбитые армии Колчака откатывались к Уралу.

Деникин еще только собирал силы для наступления с Кавказа и Дона на Россию. И Антанта стремилась выиграть своим ставленникам передышку, воспользовавшись для этого гуманным предложением Нансена.

Ленин, разгадав этот нехитрый маневр, писал Чичерину и Литвинову из Кремля в «Метрополь», в заднем флигеле которого помещался тогда Наркоминдел, что нужно точнее и подробнее сказать, что «Вы-де ссылаетесь на гуманитарный... характер предложения. За это всяческие благодарности и комплименты *лично* Нансену. Ежели гуманитарные цели, *не впутывайте, любезный,* политику, а *везите прямо* (это подчеркнуть). Везите прямо! Мы даже *заплатить* готовы и втридорога, и *Вас* охотно пустим для контроля и *Вам* всякие гарантии дадим»...

Но ежели только перемирие, а не мир со странами Антанты, который Советская Россия неоднократно, но безответно предлагала,— это уже политика.

«Хорошо ли это смешивать «гуманитарное» с «политикой»? Нет, это худо, ибо это лицемерие, в котором *Вы* не виноваты и мы *не Вас* обвиняем».— Лицемеры —это Вильсон, Клемансо, Ллойд Джордж и Орландо. Это они настоящие виновники войны. Это *«они* ведут войну, *их* суда, их пушки, их патроны, *их* офицеры» и т. д. Спасаемые ими белые, те, кто срывают переговоры о мире,—

это *«монархисты и погромщики евреев, восстановители помещичьей земли»...»*

Ленин советовал Чичерину «разъяснить, развить, *доказать* эти три пункта» Нансену. Что же касается самого Нансена, то «благодарим, принимаем, зовем, приезжайте, контролируйте, и мы поедем куда угодно (время, место) и *заплатим* даже *по тройной цене* лесом, рудой, судами...»

В таком духе и было составлено ответное письмо Чичерина, переданное также по радио.

«Позвольте мне от имени Российского Советского правительства передать Вам нашу глубочайшую благодарность за проявленное Вами горячее участие к благосостоянию русского народа. Принимая во внимание всеобщее уважение, которым Вы окружены, Советское правительство будет особенно радо вступить с Вами в сношения в целях проведения в жизнь Вашего плана помощи. Мы, разумеется, покроем все расходы этого предприятия и стоимость съестных припасов и можем уплатить, если Вы пожелаете, русскими товарами».

Нансен немедля сообщил об этом предложении и желании Страны Советов вести переговоры о мире заправилам Антанты.

Но ответа от них не получил.

Передышка им была уже не нужна.

Деникин начал продвижение на Донбасс, а войска Юденича перешли в наступление и, как казалось, со дня на день должны были взять Петроград.

Бережно храня в своем архиве сверхважительный ответ Чичерина, Нансен не знал, однако, что он вдохновлен был письмом Ленина, и Добровейн не мог ему этого рассказать, ведь тогда никто, кроме тех, кому оно адресовано, его не знал.

В «Пульхегде» Нансен рассказывал своему новому другу о планах на будущее. Он, зарабатывая лекциями недостающие деньги, готовил тогда международную экспедицию на Северный полюс на «цеппелине» и, как обычно, вникал во все мелочи предприятия. Полет над дрейфующими льдами и высадка на них с дирижабля.

Вылет экспедиции, возглавляемой Нансеном, был назначен на лето следующего года.

Но зимой он занемог. У него, человека, всю жизнь в непрестанных трудах не знавшего отдыха, на шестьдесят девятом году сдало сердце.

На лыжной прогулке он впал в полуобморочное состояние,— таким и нашли Нансена друзья,— только лыжная палка, на которую он опирался грудью, не давала упасть на снег.

...Наступила весна. Близился день Эйдсволла, день конституции, национальный праздник Норвегии, день, когда дети, студенты, школьная молодежь, в расцвеченных флагами колоннах, с веселыми оркестрами проходит манифестациями по улицам норвежских городов.

В свое время, покинув «Фрам», затерянный в ледяной пустыне в морозное утро семнадцатого мая, не зная хорошенько, где он со своим единственным спутником находится, как далеко неизвестная земля, от которой их отделяют бесчисленные торосы и полыньи, лежа в спальном мешке на плавучей льдине, Нансен вспоминал, как торжественно празднуют этот день на родине.

«Воображаю себя,— заносил он в дневник,— среди детских процессий и людского потока, который течет в этот час по улицам города,— радость светится в каждом взоре... О, как все там дорого сердцу и как красиво!»

13 мая Добровейн на Карл-Юхангате, главной улице Осло, по пути на репетицию повстречал жену Нансена.

— Фритьофу стало лучше, он даже выходит на балкон. Дело идет на поправку,— обрадовала она музыканта...

Репетиция с оркестром продолжалась несколько часов, и, когда Добровейн возвращался в гостиницу, на всех домах дворники вывешивали национальные флаги. Увидев, что они приспущены и что многие люди на улице, не стесняясь, плачут, он понял: Нансен умер!..

Похороны были назначены на семнадцатое мая. День национального праздника стал днем национального горя...

Портал главного здания университета выходит на Карл-Юхангате, по которой идут колонны манифестантов.

Открытый гроб с телом Фритьофа Нансена был поставлен на лестнице портала. Там же, немного повыше, разместился оркестр филармонии.

Детские шествия на этот раз проходили в полном безмолвии. И, только поравнявшись с порталом университета, школьники под звуки печальной музыки Эдварда Грига — «Орфея норвежских фиордов и гор», прощаясь со своим великим соотечественником, опускали флажки и знамена.

Оркестром управлял Добровейн.

Через несколько дней Лив писала Марии Добровейн (мы тогда еще не были на «ты»,— поясняет она):

«...Пожалуйста, передайте господину Добровейну мое искреннее спасибо за то, что он 17 мая так замечательно играл с оркестром. И я буду всегда благодарна, что как раз он в этот день был во главе оркестра. Вместо того чтобы ему это сказать, когда я потом зашла к нему, мы бросились в объятия друг друга и плакали. Он был трогателен, и я этого никогда не забуду...»

В фойе Большого зала Дома концертов в шведском городе Гетеборге расставлены скульптурные портреты «Орфеев Скандинавии». Спокойный датчанин Кай Нильсен, изваянный из белого мрамора, певец Суоми — Жан Сибелиус, высеченный резцом прославленного финского скульптора, отлитая из бронзы голова Франца Бервальда — первого шведа, чьи симфонии широко зазвучали за пределами страны. И вдруг среди них я увидел нервное, вдохновенное, встревоженное лицо питомца Московской консерватории, нижегородца Исая Добровейна, того, слушать которого так любил Ленин, того, кто в грозные дни октября 1941 года взмахом дирижерской палочки здесь, в Гетеборге, в этом доме, повел за собой оркестр и, исполняя Первую симфонию Шостаковича, широко раскрыл стены переполненного зала и заставил всех, кто слушал его, перенестись в далекий край, в Подмосковье, поливаемое холодными осенними дождями и горячей кровью,— туда, где решались судьбы народов и судьбы самой Скандинавии.

А в апреле сорок третьего года, в разгар войны, впервые за рубежом в этом зале прозвучала героическая, прорвавшаяся сквозь блокаду Ленинградская симфония Шостаковича.

Конечно, сила взрывной волны, так же как и музыка, лишь колебание воздушных волн. Но убедительнее ли она?

В годы Отечественной войны в этом зале шла борьба

за души. И когда здесь звучали симфонии Советской России, выигрывали не новоявленные наследники «Железного канцлера», а те, кто «с гордостью, может быть наивной», думал: «Вот какие чудеса могут делать люди...»

Круги жизни каждого человека бесчисленное множество раз пересекаются кругами жизни других людей. И для меня точкой, в которой пересеклись, скрестились сразу линии Ленина, Максима Горького и почетного депутата Московского Совета Фритьофа Нансена, стали те минуты, когда они слушали вдохновенное исполнение страстной сонаты Бетховена.

Я не знаток музыки, может быть, поэтому, когда речь заходит об «Аппассионате», перед моим внутренним зрением встает не бурный поток гармонически завершенных звуков, неудержимо рвущийся из-под пальцев упоенного ими артиста, а отдавшиеся воле этого потока,— унесенные им в лучший мир Ленин, Горький, Нансен, лица которых пианист видит отраженными в темно-красном зеркале откинутой крышки рояля.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Украинский прозаик и драматург Владимир Васильевич КАНИВЕЦ родился в 1923 году в селе Веселая Долина на Полтавщине. С 1939 года жил в Донбассе, был рабочим-железнодорожником. Оттуда во время Великой Отечественной войны ушел на фронт, где сражался в рядах Советской Армии.

После демобилизации поселился в Риге. Там в 1952 году окончил литературный факультет Латвийского государственного университета. Литературную деятельность начал с драматургии в 1953 году. Известны его пьесы «После свадьбы» (1956), «Жених с орденом» (1958), «Затопленный остров» (1963).

Создавая циклы рассказов (опубликованы сборники: «Открытие Тофаларии» — 1962 год, «Письма любимой» — 1965 год), Владимир Канивец серьезно занялся историей русского и украинского народов. Результатом этих многолетних исследований явились исторические повести «Кармалюк» (1965) о герое крестьянского восстания на Украине в начале XIX века и «Александр Ульянов» (1961), которая переведена на несколько языков.

В 1963 году вышел роман «Костры в тайге», но автор продолжал изучение архивных материалов Москвы и Ленинграда, Ульяновска и Астрахани, Горького и Казани. Он задался целью проследить, каким было влияние отца и матери Ульяновых на формирование мировоззрения, характеров детей, и в первую очередь Александра и Владимира. Так родился замысел романа «Ульяновы», увидевшего свет в 1967 году.

В нем писатель стремился передать особую атмосферу дружбы и духовной близости, которая царила в семье Ульяновых.

Этот роман, теперь уже переведенный на русский язык, отмечен Государственной премией Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко за 1970 год.

Плодом поездки в Шушенское оказалась небольшая книга для детей — повесть «Мальчик и жар-птица». Это рассказ о жизни Владимира Ильича в шушенской ссылке 1897—1900 гг.

Публикуемый в нашем сборнике новый вариант исторической повести-хроники «Студент университета» рассказывает о первом студенческом годе, первом аресте и первой ссылке Владимира Ильича.

В творческих планах Владимира Канивца — работа над новой книгой, которая завершит цикл произведений о В. И. Ленине. В романе «Утро гения» писатель стремится рассказать о борьбе Ленина против народничества, о создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Савва Артемович ДАНГУЛОВ родился в 1912 году в городе Армавире на Кубани. Литературную деятельность начал как журналист в газетах Северного Кавказа: «Большевистская смена» (Ростов-на-Дону), «Армавирская коммуна», «Власть труда» (Орджоникидзе). В годы войны он — корреспондент «Красной звезды» на Калининском, Западном, Воронежском фронтах. В последующие годы на дипломатической работе: в центральном аппарате Министерства иностранных дел, а также за рубежом (в 1944—1947 гг.— первый секретарь и советник посольства СССР в Румынии). Последние четырнадцать лет С. А. Дангулов — заместитель главного редактора журнала «Иностранная литература». В настоящее время — главный редактор журнала «Советская литература».

Ведущая тема творчества писателя — советская дипломатия как сфера жизни нового человека, его государственной деятельности. Книга «Ленин разговаривает с Америкой» вышла двумя изданиями («Молодая гвардия», 1961, 1963) и переведена на языки народов СССР — украинский, латышский, армянский, азербайджанский, туркменский, киргизский, неоднократно издавалась за рубежом — в Болгарии, Польше, Румынии. Книга эта представляет собой повесть в рассказах. Дмитрий Рыбаков, молодой рабочий, призванный революцией на дипломатический пост, рассказывает о первых шагах советской дипломатии.

В центре книги — Ленин. «Нам нужна новая дипломатия, способная храбро сражаться за свои идеалы и собирать силы,— говорит в одном из рассказов Ленин.— Собирать!.. Все лучшее, что есть там, все деятельное отвоевать у того мира! Правдой нашей отвоевать!.. А к нам придут за честностью, за разумом, за жизнью светлой, за счастьем в конце концов. Человек зрел. Он понимает: только наша правда может сделать его счастливым».

В последующее издание этой книги, которая вышла теперь в Детгизе (1965) и названа по одному из рассказов «Тропа», автор включил большой раздел документальных рассказов о поисках, исследовательском труде писателя.

Новая большая работа автора — роман «Дипломаты». Роман издан также за рубежом: несколькими изданиями в Берлине и в Будапеште. Роман обнимает события одного года — от осени семнадцатого до осени восемнадцатого—и деятельность В. И. Ленина в эту напряженную пору.

В центре романа — плеяда советских дипломатов, через которых революция разговаривала с внешним миром: Чичерин, Литвинов, Воровский. Ей противостоят кадровые дипломаты капиталистического мира. Ненависть к революции невиданно сплотила еще недавних антагонистов,— поведение иностранных дипломатов в России восемнадцатого года тому пример. В единоборстве с ними, единоборстве столь же упорном, сколь и суровом, советская дипломатия

помогает молодой Советской республике добыть победу и вывести Россию из войны.

В издательстве «Советская Россия» вышла новая работа Дангулова «Двенадцать дорог на Эгль».

Книгу составляют документальные рассказы о поездках автора за рубеж, из которых он вернулся с новыми материалами о В. И. Ленине и первых советских дипломатах — Г. В. Чичерине, В. В. Воровском, М. М. Литвинове, А. М. Коллонтай, Л. Б. Красине; о Джоне Риде, Георгии Димитрове, Бела Куне, Роберте Майноре, Бесси Битти, Герберте Уэллсе, А. Рисе Вильямсе и Фритьофе Нансене, людях разной судьбы, наших единомышленниках и просто друзьях, сделавших немало доброго для молодой Советской России.

Советской дипломатии посвящен и сценарий фильма «На одной планете», написанный совместно с М. Папавой («Ленфильм», 1965).

Попутно С. А. Дангулов написал четыре повести на колоритном материале родной ему Кубани: «Лоба» («Москва», 1957), «Нана» («Знамя», 1962), «Невеста», «Буря» («Москва», 1964).

Геннадий Семенович ФИШ родился в 1903 году в семье инженера-строителя. Детство и юность писателя прошли в Ленинграде. В 1925 году он окончил факультет общественных наук (отделение языковедения и литературы) и одновременно Институт истории искусств.

В эти же годы работал в ленинградской «Красной газете» и секретарем редакции детского пионерского журнала «Новый Робинзон», сотрудничал в многотиражке на заводе «Красный путиловец».

Литературную деятельность начал как поэт, опубликовал несколько книг — стихотворных сборников: «Разведка» (1927), «Контрольные цифры» (1929) и переводы баллад Киплинга. Создал сценарии кинофильмов «Девушка с характером» и «За советскую родину» (экранизация «Кимас-озера»).

Первое крупное прозаическое произведение — «Падение Кимас-озера» вышло в 1932 году. Это лирико-героическая новелла, исторический рассказ о смелом рейде курсантов Петроградской интернациональной военной школы под командой Тойво Антикайнена в глубокий тыл противника во время ликвидации белофинской авантюры 1922 года.

М. Горький отозвался об этой книге такими словами: «Падение Кимас-озера» — книжка хорошая. Написано просто, живо, серьезно и — «духоподъемно».

Затем писатель издал ряд книг о Карелии в годы гражданской войны и социалистического строительства, о революции в Финляндии. Это «Мы вернемся, Суоми!» — роман о восстании лесорубов Пахьяла на севере Финляндии (1934), «Третий поезд» (1935) — повесть о доставке хлеба, собранного и отправленного в 1918 году трудящимися Советской России в помощь голодающим финским рабочим, «Ялгуба», вышедшая в 1936 году,— цикл фольклорных, исторических и современных новелл о советской Карелии. М. Горький назвал ее «весьма интересной и социально значительной вещью, которая будет прочитана с радостью и «с пользой для души» (1936), «Клятва» (1937) — роман о финляндской революции 1918 года, при-

чинах ее поражения, которым автор, по словам Андрея Платонова, «дал свое решение проблеме исторического романа».

В 1939 году Г. С. Фиш пишет книгу «Вредная черепашка и теленомус» — о творческой победе мичуринцев на колхозных полях нашей страны. В 1939—1940 гг. Г. С. Фиш — участник войны с белофиннами.

Всю Великую Отечественную войну писатель провел в рядах действующей Советской Армии в качестве военного корреспондента сначала армейской газеты «Во славу Родины», а затем газеты Карельского фронта «В бой за Родину». Был в частях Северной Армии, освободившей северную Норвегию от фашистских захватчиков. В октябре 1941 года писатель становится членом партии. Он награжден двенадцатью орденами и медалями.

В дни войны, помимо корреспонденций, Геннадий Фиш опубликовал «Северную повесть», посвященную победе под Тихвином, и «День рождения» — о карельских партизанах.

После войны вышел роман «Каменный бор» о послевоенной жизни в Советской Карелии.

Основная, «генеральная» тема творчества писателя — тема пролетарского интернационализма. Она же нашла отражение в книгах о скандинавских странах, которым Г. С. Фиш посвятил 15 лет творчества. В них он реалистично и живописно изображает жизнь скандинавских народов. Это — «Здравствуй, Дания!» (1969), «Встречи в Суоми» (1960), отмеченные почетными дипломами Советского комитета защиты мира, «Отшельник Атлантики» (об Исландии — 1963), «Норвегия рядом» (1963) и «У шведов» (1966).

В 1968 году вышла книга «Мои друзья скандинавы».

В последнее время написаны «Финский повар» и другие повести и очерки, связанные с пребыванием В. И. Ленина в Финляндии и Швеции.

Книги Г. С. Фиша переведены на многие языки народов Советского Союза и вышли за рубежом на 21 языке.

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Амбассадор — посол.

Битти Бесси (1886—1947) — американская писательница, журналистка. Очевидец событий Октябрьской революции. В 1918—1921 гг. встречалась с В. И. Лениным. Книга «Красное сердце России» написана в 1918 году с симпатией к революционным массам. В 1921 году — участница агитпоездки по голодающему Поволжью. В последние годы жизни работала в США радиокомментатором.

Брайд Исаак Мак — корреспондент бостонской газеты «Кристиан сайенс монитор». Писал о рабочих. В 1919 году перешел линию фронта и добрался до Москвы, где беседовал с Лениным. В декабре опубликовал в газете записки о встрече в Кремле.

Буллит Вильям Кристиан (родился в 1891 году) — американский дипломат, журналист, разведчик. В 1934—1936 гг. посол в Москве, с 1936 до 1941 года — в Париже. Известен как представитель агрессивной, антисоветской политики; в годы второй мировой войны занимал прогитлеровскую позицию.

Вилья Франциско (настоящее имя Доротео Аранго; 1877—1923) — один из руководителей партизанского движения мексиканских крестьян. Создатель партизанской армии во время мексиканской революции 1911 года. В 1913 году поддержал либералов и их лидера Каррансу, провозглашенного президентом и предательски выступившего потом против партизан. В 1914 году объединенные отряды Вилья и Сапаты заняли столицу Мексики, но вскоре были разбиты каррансистами. Движение было подавлено.

Вильям Альберт Рис (1883—1962) — прогрессивный американский деятель-публицист. Впервые приехал в Россию в 1917 году вместе с Джоном Ридом. В 1918 году вступил в Красную Армию, организовал Интернациональный легион. Одним из первых написал книгу очерков о вожде Октябрьской революции — «Ленин-человек и его дело» (1919). В 1921 году вышла книга «Сквозь русскую революцию». В 1931 году, после приезда в СССР, написал очерк «Величайшая в мире приемная». После смерти автора было опубликовано «Путешествие в революцию».

Гомперс Самюэл (1850—1924) — реакционный деятель американского профсоюзного движения, предатель рабочего класса. Бессменный председатель Американской федерации труда, направлял ее деятельность на отказ от революционной борьбы, препятствовал организации рабочей партии; способствовал срыву стачек. В 1918 году участвовал в создании Панамериканской федерации труда.

Графтио Генрих Осипович (1869—1949) — ученый-энергетик и инженер, один из пионеров отечественного гидростроительства, с 1932 года академик

Густав I Васа (1496—1560) — король Швеции с 1523 по 1560 год. Пришел к власти после успешной так называемой 2-й Шведской освободительной войны — восстания шведских крестьян против владычества Дании. В 1544 году на Вестеросском риксдаге получил признание наследственности королевской власти за домом Васа. В 1555 году напал на Россию и проиграл войну.

Дебс Юджин (1855—1926) — деятель рабочего движения США. В 1893 году организовал Американский союз железнодорожников. После подавления забастовки, возглавлявшейся этим профсоюзом, Дебс был заключен в тюрьму. Он один из организаторов социал-демократической партии (1898 год). В 1900 году — один из организаторов социалистической партии. В разные годы кандидатура Дебса выставлялась на президентских выборах. В 1905 году вместе с Де Леоном и Хейвудом участвовал в создании профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». Пропагандировал идеи социализма среди американских рабочих. В 1918 году за выступления против империалистической войны был осужден на 10 лет. В 1921 году освобожден по амнистии.

Дуайен — старейшина дипломатического корпуса в какой-либо стране.

Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857) — французский политический деятель, генерал, палач июньского восстания 1848 года, военный диктатор.

Керзон Джордж Натаниел, лорд (1859—1925) — английский политический деятель и дипломат, один из наиболее агрессивных представителей английского империализма. В 1899—1905 гг. вице-король Индии. В 1919—1923 гг. министр иностранных дел. Один из организаторов интервенции против Советского государства. Автор ультиматума Советскому правительству, содержащего клеветнические обвинения и провокационные требования.

Киви Алексис (А. Стенвалль; 1834—1872) — крупный финский писатель-реалист и драматург. Основное произведение — роман «Семеро братьев» (1870) из жизни финского крестьянства.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — социолог и публицист, член общества «Земля и воля», позднее — партии «Народная воля»; автор «Исторических писем», опубликованных под псевдонимом Миртов.

Лахтари — буквально «мясники». Такое прозвище дали белогвардейцам за исключительную жестокость (финск.).

Люберсак Жан, граф — офицер французской армии, монархист; входил в состав французской военной миссии, находился в России в 1917—1918 гг.

Майнор Роберт (Биллистер Д., 1884—1952) — видный американский социалист, журналист и художник-карикатурист. С 1920 года член Компартии США, один из руководителей. Редактор американской «Дейли Уоркер». Неоднократно подвергался репрессиям за политическую деятельность.

Мартенс Людвиг Карлович (1875—1948) — советский ученый в области машиностроения и теплотехники. Член Коммунистической партии с 1893 года. С 1919 до 1921 года на дипломатической работе в США (представитель Советского правительства). Позднее работал в хозяйственных и научных учреждениях.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный философ, логик и экономист.

Мултанское дело — провокационный процесс (1892—1896 гг.) группы крестьян-удмуртов — жителей села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии, клеветнически обвиненных полицейскими властями (с целью разжигания межнациональной розни) в принесении человеческой жертвы языческим богам. С горячей речью в защиту обвиняемых выступил В. Г. Короленко. Всем обвиняемым был вынесен оправдательный приговор.

Муни Том (1885—1942) — известный участник рабочего движения США; рабочий-литейщик. В 1912—1916 гг.— руководитель профсоюза литейщиков. В 1916 году арестован по провокационному обвинению в организации взрыва в Сан-Франциско. Под давлением мирового общественного движения в 1939 году освобожден.

Нейти — барышня *(финск.)*.

Певцов Михаил Васильевич (1843—1902) — русский путешественник и географ, исследователь Центральной Азии. Член Русского географического общества и один из организаторов его Западносибирского отдела.

Платтен Фридрих (Фриц) (1883—1942) — швейцарский коммунист, один из организаторов Швейцарской коммунистической партии (1921). Делегат Циммервальдской конференции. Член Бюро Коминтерна. В 1917 году — главный организатор переезда Ленина, американских и других большевиков-эмигрантов из Швейцарии в Россию. Участник III Коминтерна. С 1921 года — секретарь Компартии Швейцарии. С 1923 года жил в СССР. Возглавлял сельскохозяйственную коммуну швейцарских рабочих. Преподавал в Международном аграрном институте и в Московском институте иностранных языков.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — французский буржуазный политический деятель, представитель монополистических кругов. Адвокат. В 1912—1913 гг.— премьер-министр и министр иностранных дел. В 1913—1920 гг.— президент. С 1922 до 1929 года несколько раз возглавлял правительство.

Ревель — прежнее название города Таллина.

Робинс Раймонд (1873—1955) — крупный американский делец, полковник. В 1917—1918 гг.— глава Миссии Красного Креста в России. Несколько раз был принят В. И. Лениным. Друг советской России. По возвращении в США подвергся политическим преследованиям сенатской комиссии Овермена.

Рэнсом (Рансом) Артур (родился в 1884 году) — английский буржуазный писатель, журналист. Ряд лет жил в России, был корреспондентом нескольких газет (1916—1924). Несколько раз беседовал с В. И. Лениным.

Сапата Эмилиано (родился около 1877 года, умер в 1919 году) — герой мексиканской революции 1910—1917 гг., виднейший руководитель крестьянского движения в Мексике.

Стефенс Джозеф Линкольн (1866—1936) — американский публицист. Один из основных представителей течения «разгребателей грязи» — литераторов, разоблачавших коррупцию правительственного аппарата и методы обогащения крупных монополий. Автор книг «Позор городов», «Борьба за самоуправление» и «Строители». Под влиянием Октябрьской революции изменил политическую позицию и в 30-х годах вступил в компартию.

Стриндберг Йухан Август (1849—1912) — выдающийся шведский писатель-реалист, автор многих романов, нескольких драм.

Стэнли Генри Мортон (настоящее имя и фамилия Джон Роулендс; 1841—1904) — знаменитый путешественник по Африке. Родился в Англии, в 17 лет переехал в Америку. Корреспондент и руководитель многих экспедиций.

Тальман — председатель *(шведск.)*.

Торквато Тассо (1544—1595) — великий итальянский поэт эпохи Возрождения.

Торпари — безземельные крестьяне Финляндии.

Фендрик — прапорщик *(шведск.)*.

Филоксера — насекомое, опаснейший вредитель винограда.

Хаммер Арманд — американский промышленник, секретарь «Американского объединения компании медикаментов и химических препаратов». В 1925—1930 гг. в России возглавлял концессию этой компании по производству и сбыту канцелярских товаров.

Хаммер Юлиус (родился в 1874 году) — американский миллионер. Дружественно отнесся к Октябрьской революции в России. С 1921 по 1927 год председатель правления американской концессии «Аламерико» по разработке Алапаевского асбестового рудника.

Хейвуд Уильям (Билль) (1869—1928) — видный деятель рабочего движения США. Рабочий-горняк. Один из руководителей левого крыла социалистической партии; один из основателей профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». Неоднократно подвергался репрессиям. Вскоре после организации компартии вступил в ее ряды (1919 год). С 1921 года жил в СССР, работал в МОПР, выступал в печати как журналист.

Хилл Хилстром Джозеф (1882—1915) — американский поэт-песенник, рабочий. Активный деятель профсоюзного движения. Суд штата Юта ложно обвинил его в убийстве и приговорил к расстрелу.

Шлеры — сандалии на деревянной подошве.

Штейнмец Чарлз Протеус (Карл Август Рудольф) (1865—1923) — известный американский электротехник, инженер, профессор. Родился в Германии, эмигрировал в США. Основные труды посвящены исследованию процессов в электрических машинах и аппаратах. Изобрел дуговую магнетитовую лампу.

Шюцкоровцы — член массовой вооруженной реакционной организации в Финляндии, созданной в 1917 году финской буржуазией в целях подавления революционного движения.

Юрьев — русское название города Тарту в Эстонии; Дерпт — его немецкое название.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ

Том II

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1970, 736 стр. с илл.

Редактор приложений Е. Усыскина

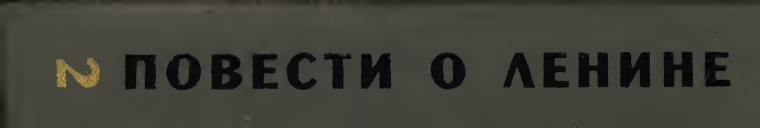
Редактор **В.** Полонская
Художественный редактор **И.** Смирнов
Технический редактор А. Гинзбург
Корректор **Л.** Сухоставская

A 10763. Подписано в печать 23 XI 1970 года. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 23,0. Усл.-печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 38,56. Заказ 500. Тираж 100.000.

Цена 1 руб. 49 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» полиграфкомбинатом им. Я. Коласа, Минск, Красная, 23.


2 ПОВЕСТИ О ЛЕНИНЕ